

Принципы психологии, том 2 (из 2)

Уильям Джеймс

AMERICAN SCIENCE SERIES—ADVANCED COURSE

THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY

BY
WILLIAM JAMES
PROFESSOR OF PSYCHOLOGY IN HARVARD UNIVERSITY

IN TWO VOLUMES

VOL. II.



NEW YORK
HENRY HOLT AND COMPANY

The Project Gutenberg eBook of The Principles of Psychology, Volume 2 (of 2).

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать ее, дарить или повторно использовать на условиях Лицензии проекта "Гутенберг", прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Принципы психологии, том 2 (из 2)

Автор: Уильям Джеймс

Дата выхода: 4 августа 2018 [eBook #57634]

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Клэр Грэм и Марком Д'Хуге в издательстве "Свободная литература (Изображения щедро предоставлены Hathi Trust)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGY, VOLUME 2 (OF 2)

ПРИНЦИПЫ ПСИХОЛОГИИ

УИЛЬЯМ ДЖЕЙМС

ПРОФЕССОР ПСИХОЛОГИИ ГАРВАРДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

В ДВУХ ТОМАХ

VOL II.

НЬЮ-ЙОРК

ГЕНРИ ХОЛТ И КОМПАНИЯ

1918

СОДЕРЖАНИЕ.

ГЛАВА XVII.

Ощущение, 1

Его отличие от восприятия, 1. Его познавательная функция - знакомство с качествами, 3. Отсутствие чистых ощущений после первых дней жизни, 7. "Относительность знания", 9. Закон контраста, 13. Психологические и физиологические теории, 17. Эксперименты Геринга, 20. Эксцентрическая проекция ощущений, 31.

ГЛАВА XVIII.

Воображение, 44

Наши образы обычно расплывчаты, 45. Смутные образы не обязательно являются общими представлениями, 48. Индивидуумы различаются по воображению; исследования Габона, 50. Визионерский тип, 58. Аудиальный тип, 60. Мотивированный тип, 61. Тактильные образы, 65. Нейронный процесс воображения, 68. Его отношения с процессом ощущения, 72.

ГЛАВА XIX.

Восприятие "вещей", 76

Восприятие и ощущение, 76. Восприятие определенных и вероятных вещей, 82. Иллюзии, 85;- первого типа, 86;- второго типа, 95. Нейронный процесс в восприятии, 103. Апперцепция, 107. Является ли восприятие бессознательным умозаключением? 111. Галлюцинации, 114. Нейронный процесс при галлюцинациях, 122. Теория Бине, 129. Время восприятия, 131.

ГЛАВА XX.

Восприятие пространства, 134

Ощущение грубой обширности, 134. Восприятие пространственного порядка, 145. Пространство - "отношения", 148. Смысл локализации, 158. 'Локальные знаки', 155. Построение "реального" пространства, 166. Подразделение исходных чувственных пространств, 167. Ощущение движения над поверхностями, 171. Измерение пространств ощущений друг другом, 177. Их суммирование, 181. Ощущения движения в суставах, 189. Ощущения мышечных сокращений, 197. Резюме на сегодняшний день, 202. Как слепые воспринимают пространство, 203. Зрительное пространство, 211. Гельмгольц и Рид о проверке ощущений, 216. Теория идентичных точек, 222. Теория проекции, 228. Двусмысленность впечатлений сетчатки, 231; - движения глаз, 234. Выбор визуальной реальности, 237. Ощущения, которые мы игнорируем, 240. Ощущения, которые кажутся подавленными, 243. Обсуждение причин Вундта и Гельмгольца для отрицания того, что ощущения сетчатки имеют протяженность, 248. Резюме, 268. Исторические замечания, 270.

ГЛАВА XXI.

Восприятие реальности, 283

Вера и ее противоположности, 283. Различные порядки реальности, 287. Практические" реальности, 293. Ощущение собственного телесного существования - ядро всей реальности, 297. Первостепенная реальность ощущений, 299. Влияние эмоций и активных импульсов на веру, 307. Вера в теории, 311. Сомнение, 318. Отношения веры и воли, 320.

ГЛАВА XXII.

Рассуждение, 323

Рецепты", 327. В рассуждениях мы выделяем существенные качества, 329. Что подразумевается под способом постижения, 332. Что подразумевается под существованием общих предложений, 337. Два фактора рассуждения, 340. Проницательность, 343. Роль, которую играет ассоциация по сходству, 345. Интеллектуальный контраст между животным и человеком: ассоциация по сходству - фундаментальное человеческое отличие, 348. Различные порядки человеческого гения, 360.

ГЛАВА XXIII.

Производство движения, 373

Диффузная волна, 373. Каждое ощущение производит рефлекторное воздействие на весь организм, 374.

ГЛАВА XXIV.

Инстинкт, 383

Его определение, 383. Инстинкты не всегда слепы и неизменны, 389. Два принципа неравномерности инстинктов: 1) их торможение привычками, 394; 2) их транзиторность, 398. У человека больше инстинктов, чем у любого другого млекопитающего, 403. Рефлекторные импульсы, 404. Подражание, 408. Подражание, 409. Драчливость, 409. Сочувствие, 410. Охотничий инстинкт, 411. Страх, 415. Приобретательская способность, 422. Конструктивность, 426. Игра, 427. Любопытство, 429. Общительность и застенчивость, 430. Скрытность, 432. Чистоплотность, 434. Стыд, 435. Любовь, 437. Материнская любовь, 439.

ГЛАВА XXV.

Эмоции, 442

Инстинктивная реакция и эмоциональное выражение незаметно переливаются друг в друга, 442. Выражение горя, 443; страха, 446; ненависти, 449. Эмоция является следствием, а не причиной телесного выражения, 449. Трудность проверки этой точки зрения, 454. Возражения против нее, 456. Более тонкие эмоции, 468. Отсутствие специальных мозговых центров для эмоций, 472. Эмоциональные различия между людьми, 474. Генезис различных эмоций, 477.

ГЛАВА XXVI.

Воля, 486

Волевые движения: они предполагают память о произвольных движениях, 487. Кинестетические впечатления, 488. Нет необходимости предполагать чувства иннервации,

503. Мысленная подсказка" для движения может быть образом его зрительных или слуховых эффектов, а также образом ощущений, 518. Идеино-двигательное действие, 522. Действие после обдумывания, 528. Пять типов решения, 531. Ощущение усилия, 535. Нездоровье воли: 1) взрывной тип, 537; 2) препятствующий тип, 546. Удовольствие и боль - не единственные источники действия, 549. Все сознание импульсивно, 551. То, что мы хотим, зависит от того, какая идея преобладает в нашем сознании, 559. Внешние эффекты идеи вытекают из мозгового механизма, 560. Усилие внимания к естественно противной идее - существенная черта желания, 562. Спор о свободе воли, 571. Психология, как наука, может с уверенностью постулировать детерминизм, даже если свобода воли истинна, 576. Воспитание воли, 579. Гипотетические схемы мозга, 582.

ГЛАВА XXVII.

Гипнотизм, 594

Режимы действия и восприимчивость, 594. Теории о гипнотическом состоянии, 596. Симптомы транса, 601.

ГЛАВА XXVIII.

Необходимые истины и влияние опыта, 617

Программа главы, 617. Элементарные чувства являются врожденными, 618. Вопрос относится к их комбинациям, 619. Что подразумевается под "опытом", 620. Спенсер об опыте предков, 620. Два способа возникновения новых мозговых структур: "задний" и "передний", 625. Генезис элементарных ментальных категорий, 631. Генезис естественных наук, 633. Научные представления возникают как случайные вариации, 636. Генезис чистых наук, 641. Серия равномерно возрастающих терминов, 644. Принцип опосредованного сравнения, 645. Принцип пропущенных посредников, 646. Классификация, 646. Предикация, 647. Формальная логика, 648. Математические пропозиции, 652. Арифметика, 653. Геометрия, 656. Наше учение то же, что и учение Локка, 661. Отношения идей *против* связей вещей, 663. Естественные науки - это внутренние идеальные схемы, с которыми порядок природы оказывается конгруэнтным, 666. Метафизические принципы - это, собственно, только постулаты, 669. Эстетические и моральные принципы совершенно не согласуются с порядком природы, 672. Резюме того, что предшествует, 675. Происхождение инстинктов, 678. Недостаточность доказательств передачи приобретенных привычек следующему поколению, 681. Взгляды Вейсмана, 683. Заключение, 688.

ИНДЕКС, 691.

ПСИХОЛОГИЯ.

ГЛАВА XVII.

СЕНСАЦИЯ.

После внутреннего восприятия - внешнее! В следующих трех главах речь пойдет о процессах, с помощью которых мы постоянно познаем существующий мир пространства и материальные вещи, которые он содержит. И сначала о процессе, называемом сенсацией.

ОЩУЩЕНИЕ И ВОСПРИЯТИЕ.

Слова "ощущение" и "восприятие" в народной речи не имеют четко разграниченных значений, а в психологии их значения и вовсе пересекаются. Оба они называют процессы, в которых мы познаем объективный мир; оба (при нормальных условиях) нуждаются в стимуляции входящих нервов, прежде чем они могут произойти; восприятие всегда включает в себя ощущение как часть себя; а ощущение, в свою очередь, никогда не происходит во взрослой жизни без восприятия. Таким образом, это названия для различных познавательных функций, а не для различных видов психических фактов. Чем ближе познаваемый объект к простому качеству, такому как "горячий", "холодный", "красный", "шум", "боль", воспринимаемому безотносительно к другим вещам, тем больше душевное состояние приближается к чистому ощущению. Напротив, чем полнее отношения, в которых находится объект; чем больше он является чем-то классифицированным, расположенным, измеренным, сравненным, наделенным функцией и т. д. и т. п.; тем безоговорочнее мы называем душевное состояние восприятием, и тем относительно меньшую роль в нем играет ощущение.

Сенсация, таким образом, пока мы придерживаемся аналитической точки зрения, отличается от восприятия только крайней простотой своего объекта или содержания.^[1] Его функция - простое знакомство с фактом. Функция восприятия, с другой стороны, - знание о^[2] факте; и это знание допускает бесчисленные степени усложнения. Но и в ощущении, и в восприятии мы воспринимаем факт как непосредственно присутствующую внешнюю реальность, и этим они отличаются от "мысли" и "представления", чьи объекты не проявляются таким непосредственным физическим образом. С физиологической точки зрения и ощущения, и восприятия отличаются от "мыслей" (в более узком смысле этого слова) тем, что в их производстве участвуют нервные токи, поступающие с периферии. При восприятии эти нервные токи вызывают объемные ассоциативные или репродуктивные процессы в коре головного мозга; но когда ощущение возникает само по себе или с минимумом восприятия, сопутствующие репродуктивные процессы также минимальны.

В этой главе я рассмотрю некоторые общие вопросы, особенно касающиеся ощущений. В следующей главе речь пойдет о восприятии. Я полностью обойду стороной классификацию и естественную историю наших особых "ощущений", поскольку эти вопросы занимают достойное место и достаточно хорошо освещены во всех книгах по физиологии.^[3]

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ОЩУЩЕНИЙ.

Чистое ощущение - это абстракция; и когда мы, взрослые, говорим о наших "ощущениях", мы имеем в виду одно из двух: либо определенные объекты, а именно простые качества или атрибуты, такие как твердое, горячее, боль; либо те наши мысли, в которых знакомство с этими объектами менее всего сочетается со знанием об их отношениях к другим вещам. Поскольку мы можем думать или говорить только об отношениях объектов, с

которыми мы уже *знакомы*, мы вынуждены постулировать функцию в нашей мысли, благодаря которой мы сначала осознаем *голые непосредственные сущности*, по которым различаются несколько наших объектов. Этой функцией является ощущение. И подобно тому, как логики всегда указывают на различие между содержательными терминами дискурса и отношениями между ними, так и психологи, как правило, готовы признать эту функцию, видения терминов или предметов, как нечто отличное от знания о них и их отношений *между собой*. Мысль с первой функцией является сенсационной, со второй - интеллектуальной. Наши самые ранние мысли почти исключительно сенсационны. Они просто дают нам набор *этих*, или *своих*, предметов дискурса, а их отношения не раскрываются. Когда мы впервые видим *свет*, мы, по выражению Кондильяка, скорее *являемся* им, чем видим его. Но все наши последующие оптические знания связаны с тем, что дает этот опыт. И если бы мы были ослеплены с того первого момента, наша эрудиция в этой области не имела бы существенных особенностей, пока сохраняется память. В учебных заведениях для слепых ученикам рассказывают о свете не меньше, чем в обычных школах. Изучаются отражение, преломление, спектр, теория эфира и т. д. Но самому хорошо обученному слепому от рождения ученику такого заведения все же не хватает знаний, которые есть у наименее обученного зрячего ребенка. Они никогда не смогут показать ему, что такое свет в его "первом намерении"; и потерю этого разумного знания не сможет заменить никакое книжное обучение. Все это настолько очевидно, что мы обычно видим, как ощущение "постулируется" как элемент опыта, даже теми философами, которые менее всего склонны придавать ему большое значение или отдавать должное знаниям, которые оно приносит.[4]

Но беда в том, что большинство, если не все, из тех, кто это признает, признают это как *дробную часть* мысли, в старомодном атомистическом смысле, который мы так часто критиковали.

Возьмем, к примеру, боль, называемую зубной. Мы снова и снова ощущаем ее и приветствуем как один и тот же реальный предмет во вселенной. Поэтому, как предполагается, в нашем сознании должен быть отдельный карман для нее, в который она и ничто другое не поместится. Этот карман, когда он заполнен, и есть ощущение зубной боли; он должен быть заполнен либо наполовину, когда бы и в какой бы форме зубная боль ни присутствовала в нашей мысли, и независимо от того, много или мало остального разума заполнено в то же самое время. И тут, конечно, возникает парадокс и загадка: если знание о зубной боли хранится в этом отдельном ментальном кармане, то как оно может быть известно *sim alio* или приведено в единое целое с чем-либо еще? Этот карман не знает ничего другого; никакая другая часть разума не знает зубной боли. Познание зубной боли *sim alio* должно быть чудом. А у чуда должен быть агент. А агентом должен быть субъект или Эго "вне времени" - и все остальное, как мы видели в главе X. И тут начинается избитый круг обвинений между сенсуалистами и спиритуалистами, от которого нас спасает наша решимость с самого начала принять психологическую точку зрения и признать знание, будь то простая зубная боль или философские системы, как окончательный факт. Есть реальности и есть "состояния ума", и последние знают первые; и так же замечательно для состояния ума быть "ощущением" и знать простую боль, как для него быть мыслью и знать систему связанных вещей.[5] Но нет никаких оснований полагать, что когда разные состояния ума знают разные вещи об одной и той же зубной боли, они делают это в силу того, что все они *содержат* слабую или яркую первоначальную боль. Совсем наоборот. Прошедшее ощущение моей подагры было болезненным, как говорит Рид; *мысль* о том, что та же подагра

уже прошла, приятна и ни в каком отношении не напоминает прежнее ментальное состояние.

Итак, ощущения сначала знакомят нас с бесчисленным множеством вещей, а затем сменяются мыслями, которые познают те же вещи совершенно иными способами. И главная доктрина Локка остается вечно верной, какими бы туманными ни были некоторые его формулировки: "Хотя существует великое множество ощущений, но

"хотя существует великое множество соображений, в которых вещи могут быть сопоставлены одна с другой, и таким образом множество отношений; однако все они *заканчиваются* и касаются тех простых идей[6] либо от ощущения, либо от размышления, которые, как я думаю, являются целым материалом всех наших знаний..... Простые идеи, которые мы получаем от ощущений и размышлений, являются *границами* наших мыслей; за их пределами разум, какие бы усилия он ни прилагал, не в состоянии продвинуться ни на йоту; он также не может сделать никаких открытий, когда хочет проникнуть в природу и скрытые причины этих идей."[7]

Природа и скрытые причины идей никогда не будут разгаданы, пока не будет прояснена *связь* между мозгом и сознанием. Все, что мы можем сказать сейчас, - это то, что ощущения стоят *первыми* на пути сознания. Прежде чем возникнут представления, должны возникнуть ощущения; но прежде чем возникнут ощущения, не обязательно должен существовать психический факт, достаточно нервного тока. Если нервный ток не будет дан, ничто другое не займет его место. Снова процитируем доброго Локка:

"Не в силах самого возвышенного ума или расширенного понимания, с помощью любой быстроты или разнообразия мыслей, изобрести или оформить одну новую простую идею [т.е. ощущение] в сознании..... Я бы попросил любого человека попытаться представить себе вкус, который никогда не воздействовал на его нёбо, или сформулировать идею запаха, которого он никогда не чувствовал; и когда он сможет это сделать, я также заключу, что слепой человек имеет представления о цветах, а глухой человек - истинные отчетливые представления о звуках".[8]

Мозг устроен так, что все токи в нем текут в одну сторону. Сознание в некотором роде идет вместе со всеми токами, но только когда в него вливаются новые токи, оно приобретает сенсационный *оттенок*. И только тогда сознание непосредственно *сталкивается* (если воспользоваться словом мистера Брэдли) с реальностью вне себя.

Разница между такой встречей и любым концептуальным знанием очень велика. Слепой может знать все о голубизне неба, а я могу знать все о вашей зубной боли, концептуально проследивая их причины от первобытного хаоса, а их последствия - до трещины гибели. Но до тех пор, пока он не почувствует синеву, а я - зубную боль, наши знания об этих реалиях, сколь бы обширными они ни были, будут пустыми и неадекватными. Кто-то должен *почувствовать* синеву, кто-то должен *испытать* зубную боль, чтобы сделать человеческое знание об этих вещах реальным. Концептуальные системы, которые не начинали и не заканчивали в ощущениях, были бы подобны мостам без опор. Системы о фактах должны погрузиться в ощущения, как мосты погружают свои опоры в скалу. Ощущения - это устойчивая скала, *terminus a quo* и *terminus ad quem* мысли. Найти такие конечные точки - наша цель во всех теориях: сначала придумать, когда и где можно получить определенное ощущение, а затем получить его. Нахождение этой точки прекращает дискуссию. Неспособность найти его уничтожает ложное представление о знании. Только когда вы выводите возможное ощущение для меня из вашей теории и даете его мне, когда и где

требует теория, я начинаю быть уверенным, что ваша мысль имеет хоть какое-то отношение к истине.

Чистые ощущения могут быть реализованы только в самые ранние дни жизни. Они практически невозможны во взрослом возрасте при наличии воспоминаний и приобретенных ассоциаций. До получения всех впечатлений на органы чувств мозг погружается в глубокий сон, и сознание практически отсутствует. Даже первые недели после рождения человеческие младенцы проводят в почти беспробудном сне. Чтобы нарушить эту дремоту, требуется сильный сигнал от органов чувств. В мозгу новорожденного это приводит к возникновению абсолютно чистых ощущений. Но пережитое оставляет "невообразимый след" на материи извилин, и следующее впечатление, передаваемое органом чувств, вызывает мозговую реакцию, в которой свою роль играет пробудившийся остаток предыдущего впечатления. Вследствие этого возникает другой вид ощущений и более высокий уровень познания; и это усложнение продолжается до конца жизни, причем ни одно из двух последовательных впечатлений не падает на одинаковый мозг, и ни одна из двух последовательных мыслей не является абсолютно одинаковой. (См. т. I, с. 230 и далее).

Первое ощущение, которое получает младенец, является для него Вселенной. А Вселенная, которую он впоследствии познает, есть не что иное, как усиление и импликация этого первого простого зародыша, который, благодаря аккреции, с одной стороны, и инвагинации - с другой, стал настолько большим, сложным и артикулированным, что его первые владения невозможно вспомнить. В своем бессловесном пробуждении к сознанию чего-то там, пока еще просто этого (или чего-то, для чего даже термин "это" был бы слишком дискриминационным, и интеллектуальное признание чего было бы лучше выражено простым междометием "lo!"), младенец сталкивается с объектом, в котором (хотя он и дан в чистом ощущении) содержатся все "категории понимания". Он обладает объективностью, единством, субстанциональностью, причинностью в том полном смысле, в каком ими обладает любой последующий объект или система объектов. Здесь юный знаток встречает и приветствует свой мир; и чудо познания разгорается, как говорит Вольтер, как в самом низком ощущении младенца, так и в высшем достижении мозга Ньютона. Физиологическим условием этого первого чувственного опыта, вероятно, являются нервные токи, поступающие сразу из многих периферических органов. Позже один сбивчивый факт, который эти токи вызывают, воспринимается как множество фактов и содержит множество качеств.[9] Поскольку токи меняются, а мозговые пути под их воздействием формируются, приходят другие мысли с другими "объектами", и "одна и та же вещь", которая воспринималась как настоящее это, вскоре оказывается прошлым это, о котором стало известно многое из того, о чем не подозревали. Принципы этого развития уже были изложены в главах XII и XIII, и здесь нет необходимости что-либо добавлять к этому изложению.

"ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ЗНАНИЯ".

Читателю, которому надоело так много *Erkenntnisstheorie*, я могу только сказать, что я и сам так думаю, но что при настоящем состоянии мнений о сенсации необходимо попытаться прояснить, что означает это слово. Ученики Локка стремятся сделать невозможное с ощущениями, и против них мы должны снова настаивать на том, что ощущения, "собранные вместе", не могут создать наши более интеллектуальные состояния ума. Ранние ученики Платона нехотя признавали существование ощущений, но они растоптали их в пыль как нечто телесное, непознаваемое и мерзкое.[10] Его последние последователи, похоже, стремятся вообще вытеснить его из бытия. Единственной реальностью для неогегельянцев становятся *отношения*, отношения без терминов, или те, чьи термины лишь умозрительно

такowymi являются, а на самом деле состоят из узлов, или сплетений отношений, более тонких, *и так до бесконечности*.

"Если исключить из того, что мы считали реальным, все качества, образуемые отношениями, то окажется, что их не осталось". "Абстрагируйте множество отношений от одной вещи, и не останется ничего..... Без отношений она бы вообще не существовала".^[11] "Единое чувство - это ничто реальное". "На признании отношений как составляющих *природу* идей, покоится возможность любой надежной теории их реальности".

Подобные цитаты из покойного Т. Х. Грина^[12] были бы скорее любопытными, чем важными, если бы не то, что сенсуалисты сами верят в так называемую "относительность знания", которая, если бы они только поняли ее, то увидели бы, что она идентична доктрине профессора Грина. Они говорят нам, что отношение ощущений друг к другу - это нечто, принадлежащее их сущности, и что ни одно из них не имеет абсолютного содержания:

"Что, например, черный цвет ощущается только в контрасте с белым или, по крайней мере, в отличии от более бледного или более глубокого черного; точно так же тон или звук ощущается только в чередовании с другими или в тишине; и точно так же запах, вкус, прикосновение - только, так сказать, *in statu nascendi*, в то время как при продолжении стимула все ощущения исчезают. Все это, на первый взгляд, великолепно согласуется как с самим , так и с фактами. Но при более внимательном рассмотрении становится ясно, что ни то, ни другое не соответствует действительности".^[13]

Два основных факта, на основании которых доктрина универсальной относительности получила широкое распространение, таковы:

- 1) *психологический факт*, что большая часть наших фактических знаний - *это* отношения вещей: даже наши простейшие ощущения во взрослой жизни привычно относятся к классам по мере того, как мы их воспринимаем; и
- 2) *физиологический факт*, что наши органы чувств и мозг должны иметь периоды изменения и отдыха, иначе мы перестанем чувствовать и думать.

Ни один из этих фактов ничего не доказывает о наличии или отсутствии в нашем сознании абсолютных качеств, с которыми мы знакомимся чувственно. Конечно, не психологический факт; ведь наша неизменная любовь к сопоставлению и сравнению вещей не изменяет внутренних качеств или природы сравниваемых вещей и не отменяет их абсолютной данности. И уж точно не физиологический факт; ведь продолжительность времени, в течение которого мы можем ощущать или воспринимать то или иное качество, совершенно не имеет отношения к внутреннему строению ощущаемого качества. Более того, во многих случаях это время достаточно велико, как известно страдающим невралгией.^[14] И доктрина относительности, не доказанная этими фактами, категорически опровергается другими, еще более очевидными фактами. Мы настолько далеки от того, чтобы не знать (по словам профессора Бейна) "ни одной вещи самой по себе, а только разницу между ней и другой вещью", что если бы это было правдой, то вся конструкция нашего знания рухнула бы. Если бы мы ощущали только *разницу* между *C* и *D* или *c* и *d* в музыкальной шкале, то, будучи одинаковыми в двух парах нот, сами пары были бы одинаковыми, и язык мог бы обойтись без субстантивов. Но профессор Бейн не имеет в виду то, что говорит, и нам не нужно тратить

время на эту расплывчатую и популярную форму доктрины.^[15] Факты, которые, кажется, витают в умах ее сторонников, - это те, которые лучше всего описать под заголовком физиологического закона.

ЗАКОН КОНТРАСТА.

Сначала я перечислю основные факты, которые подпадают под этот закон, а затем отмечу, как мне кажется, их значение для психологии.^[16]

[Нигде явления контраста не проявляются лучше, а их законы не поддаются точному изучению, чем в связи с чувством зрения. Здесь можно легко наблюдать оба вида - одновременный и последовательный, поскольку они происходят постоянно. Обычно они остаются незамеченными, в соответствии с общим законом экономии, который заставляет нас отбирать для осознанного наблюдения только те элементы нашего объекта, которые послужат нам для эстетической или практической пользы, и пренебрегать остальными; точно так же мы игнорируем двойные изображения, *волнообразные движения* и т. д., которые существуют для всех, но которые не различимы без пристального внимания. Но если быть внимательным, то можно легко обнаружить общие факты, связанные с контрастом. Мы обнаруживаем, что *в целом цвет и яркость одного объекта всегда, очевидно, влияют на цвет и яркость любого другого объекта, рассматриваемого одновременно с ним или сразу после него.*

В первую очередь, если мы смотрим в течение мгновения на какую-либо поверхность, а затем переводим взгляд в другое место, то цвет, дополняющий цвет и степень яркости, противоположные цвету и яркости первой поверхности, смешиваются с цветом и яркостью второй. Это *последовательный контраст*. Он находит свое объяснение в усталости органа зрения, заставляя его реагировать на любой конкретный стимул все менее и менее охотно, чем дольше этот стимул продолжает действовать. Это хорошо видно на примере очень заметных изменений, которые происходят при длительной фиксации одной определенной точки любого поля. Поле медленно темнеет, становится все более и более нечетким, и, наконец, если человек достаточно натренирован в том, чтобы держать глаз совершенно устойчивым, небольшие различия в оттенках и цветах могут полностью исчезнуть. Если теперь отвести глаза в сторону, сразу же образуется негативное послеображение только что зафиксированного поля, которое смешивает свои ощущения с теми, которые могут возникнуть от всего остального, на что смотрят. Это влияние отчетливо проявляется только тогда, когда первая поверхность была "зафиксирована" без движения глаз. Однако оно присутствует постоянно, даже когда глаз блуждает от точки к точке, заставляя каждое ощущение в большей или меньшей степени модифицироваться под влиянием только что пережитого. По этой причине последовательный контраст почти обязательно присутствует в случаях одновременного контраста и усложняет явления.

Зрительный образ изменяется не только под влиянием других ощущений, испытанных ранее, но и под влиянием всех тех, которые испытываются одновременно с ним, и особенно тех, которые исходят от смежных участков сетчатки. Это явление одновременного контраста. В нем, как и в последовательном контрасте, участвуют и яркость, и оттенок. Яркий объект кажется еще ярче, когда его окружение темнее его самого, и темнее, когда оно ярче его самого. Два цвета, расположенные рядом друг с другом, очевидно, изменяются от примеси к каждому из них дополнения другого. И наконец, серая поверхность рядом с цветной имеет оттенок дополнения последней.^[17]

Явления одновременного контраста в зрении настолько осложнены другими сопутствующими явлениями, что их трудно выделить и наблюдать в чистом виде. Тем не

менее, очевидно, что это очень важно сделать, если мы хотим провести свои исследования точно. Пренебрежение этим принципом привело к множеству ошибок при учете наблюдаемых фактов. Как мы уже убедились, если позволить глазу блуждать по полю, как это обычно бывает, возникает последовательный контраст, и необходимо учитывать его присутствие. Избежать этого можно, только тщательно фиксируя хорошо отдохнувшим глазом точку одного поля, а затем наблюдая за изменениями, которые происходят в этом поле, когда рядом с ним располагается контрастное поле. Такой ход обеспечит чистый одновременный контраст. Но даже в этом случае он сохраняется в своей чистоте лишь на мгновение. Он достигает своего максимума сразу после введения контрастного поля, а затем, если фиксация продолжается, начинает быстро ослабевать и вскоре исчезает; таким образом, он претерпевает изменения, аналогичные тем, которые наблюдаются при постоянной фиксации любого поля и утомлении сетчатки от неизменных раздражителей. Если продолжать фиксировать одну и ту же точку, то цвет и яркость одного поля имеют тенденцию распространяться и смешиваться с цветом и яркостью соседних полей, заменяя таким образом *"одновременную индукцию"* на одновременный контраст.

При анализе явлений одновременного контраста мы должны не только признать и устранить эффекты последовательного контраста, временных изменений из-за фиксации и одновременной индукции, но и принять во внимание *различные другие влияния, которые изменяют его эффекты*. При благоприятных обстоятельствах эффекты контраста очень поразительны, и если бы они всегда проявлялись с такой силой, то не могли бы не привлечь внимания. Но они не всегда очевидны из-за различных мешающих причин, которые не являются исключением из законов контраста, но оказывают модифицирующее влияние на его явления. Например, когда наблюдаемый грунт имеет много отличительных особенностей - *крупное зерно, шероховатую поверхность, сложный узор* и т. д., - эффект контраста проявляется слабее. Это не означает, что эффект контраста отсутствует, просто возникающие ощущения подавлены множеством других, более сильных ощущений, которые полностью занимают внимание. На такой почве слабые негативные послеобразы - несомненно, вызванные изменениями сетчатки - могут стать невидимыми; и даже слабые объективные различия в цвете могут стать незаметными. Например, слабое пятно или жирное пятно на шерстяной ткани, легко заметное на расстоянии, когда волокна не различимы, исчезает при ближайшем рассмотрении, когда обнаруживается сложная природа поверхности.

Другой частой причиной кажущегося отсутствия контраста является наличие узких темных промежуточных полей, таких как *границы поля с черными линиями или затененные контуры объектов*. Когда такие поля мешают контрасту, это происходит потому, что черное и белое могут поглощать много цвета, не становясь при этом четко окрашенными; а также потому, что такие линии разделяют другие поля слишком далеко, чтобы они могли отчетливо влиять друг на друга. Даже слабые объективные различия в цвете могут быть сделаны незаметными с помощью таких средств.

Третий случай, когда контраст не проявляется, - это когда *цвет контрастирующих полей слишком слаб или слишком интенсивен*, или когда *между двумя полями существует большая разница в яркости*. В последнем случае, как легко показать, именно контраст яркости мешает цветовому контрасту и делает его незаметным. По этой причине контраст лучше всего проявляется между полями примерно одинаковой яркости. Но интенсивность цвета не должна быть слишком велика, так как тогда сама его темнота потребует темного контрастного поля, которое слишком поглощает наведенный цвет, чтобы контраст проявился в полной мере. Аналогичная ситуация возникает, если поля слишком светлые.

Поэтому для получения наилучшего контрастного эффекта контрастирующие поля должны находиться рядом, не должны быть разделены тенями или черными линиями, иметь однородную текстуру и быть примерно одинаковой яркости и средней интенсивности цвета. Такие условия не часто встречаются в природе, мешающие влияния присутствуют почти во всех обычных объектах, что делает эффект контраста гораздо менее очевидным. Чтобы устранить эти помехи и создать условия, наиболее благоприятные для появления хороших эффектов контраста, были придуманы различные эксперименты, которые будут объяснены при сравнении конкурирующих теорий объяснения.

Существует две теории - психологическая и физиологическая, которые пытаются объяснить явления контраста.

Психологическая из них первой получила широкое распространение. Ее наиболее активным защитником был Гельмгольц. Он объясняет контраст как обман суждений. В обычной жизни наши ощущения представляют для нас интерес лишь постольку, поскольку они дают нам практические знания. Наша главная задача - узнавать объекты, и у нас нет случая точно оценить их абсолютную яркость и цвет. Следовательно, мы не только не получаем никакой пользы от этого, но и пренебрегаем постоянными изменениями их оттенков, и очень неуверенно определяем точную степень их яркости или тон их цвета. Когда объекты находятся рядом друг с другом, "мы склонны считать те различия, которые воспринимаются ясно и уверенно, большими, чем те, которые кажутся неопределенными в восприятии или о которых приходится судить с помощью памяти"[18], подобно тому как мы видим человека среднего роста выше, чем он есть на самом деле, когда он стоит рядом с коротышкой. Такие обманы легче возможны при оценке небольших различий, чем больших; также там, где есть только один элемент различия, а не много. В большом числе случаев контраста, во всех из которых беловатое пятно окружено со всех сторон цветной поверхностью - эксперимент Мейера, эксперимент с зеркалом, цветные тени и т. д., которые вскоре будут описаны, - контраст возникает, по словам Гельмгольца, из-за того, что "цветное освещение или прозрачное цветное покрытие, по-видимому, распространяется по полю, и наблюдение не показывает непосредственно, что оно не попадает на белое пятно".[19] Поэтому мы считаем, что видим последнее через первый цвет. Теперь

"Цвета имеют для нас наибольшее значение в той мере, в какой они являются свойствами тел и могут служить знаками для распознавания тел..... Мы привыкли, формируя суждение о цветах тел, исключать меняющуюся яркость и цвет освещения. У нас достаточно возможностей исследовать одни и те же цвета предметов при полном солнечном свете, при голубом свете ясного неба, при слабом белом свете пасмурного дня, при красновато-желтом свете заходящего солнца или свечи. Кроме того, в процесс вовлекаются цветные отражения окружающих предметов. Поскольку мы видим одни и те же цветные объекты при различном освещении, мы учимся формировать правильное представление о цвете объекта, несмотря на разницу в освещении, то есть судить о том, как этот объект выглядел бы при белом освещении; а поскольку нас интересует только постоянный цвет объекта, мы не осознаем особых ощущений, на которых основывается наше суждение. Так же и мы, видя объект через цветное покрытие, не теряем надежды различить, что относится к цвету покрытия, а что - к объекту. В упомянутых экспериментах мы делаем то же самое и там, где покрытие над объектом вовсе не окрашено, из-за обмана, в который мы впадаем и в результате которого приписываем телу ложный цвет, цвет, дополняющий цветную часть покрытия".[20]

Мы думаем, что видим дополнительный цвет через цветной покров, - ведь два этих цвета вместе дают ощущение белого, которое мы испытываем на самом деле. Однако если каким-либо образом белое пятно осознается как самостоятельный объект или сравнивается с другим объектом, который, как известно, белый, наше суждение больше не обманывается, и контраст не возникает.

"Как только контрастное поле распознается как самостоятельное тело, лежащее над цветным грунтом, или даже благодаря адекватному прослеживанию его контуров воспринимается как отдельное поле, контраст исчезает. Поскольку, таким образом, суждение о пространственном положении, материальной независимости рассматриваемого объекта имеет решающее значение для определения его цвета, из этого следует, что контраст-цвет возникает не в результате акта ощущения, а в результате акта суждения".[21]

Короче говоря, кажущееся изменение цвета или яркости за счет контраста происходит без изменения возбуждения органа, без изменения ощущения; но в результате ложного суждения неизменное ощущение неверно интерпретируется, что приводит к изменению *восприятия* яркости или цвета.

В противовес этой теории была разработана теория, которая пытается объяснить все случаи контраста как зависящие чисто от *физиологического действия терминального аппарата зрения*. Геринг является наиболее видным сторонником этой точки зрения. Благодаря большой оригинальности в разработке экспериментов и настаивая на строгой осторожности в их проведении, он смог обнаружить недостатки в психологической теории и практически установить обоснованность своей собственной. Каждое зрительное ощущение, утверждает он, связано с физическим процессом в нервном аппарате. Контраст возникает не из-за ложной идеи, являющейся результатом бессознательных умозаключений, а из-за того, что возбуждение любой части сетчатки и последующее ощущение зависят не только от ее собственного освещения, но и от освещения остальной части сетчатки.

"Если этот психофизический процесс вызывается, как это обычно бывает, световыми лучами, падающими на сетчатку, то его характер зависит не только от природы этих лучей, но и от конституции всего нервного аппарата, связанного с органом зрения, и от того состояния, в котором он находится".[22]

Когда ограниченная часть сетчатки возбуждается внешними раздражителями, остальная часть сетчатки, особенно непосредственно прилегающие к ней участки, также реагирует на них, причем таким образом, чтобы вызвать ощущение яркости и цвета, противоположного тому, который был у непосредственно возбужденной части. Когда серое пятно видно само по себе, а также когда оно кажется цветным благодаря контрасту, объективный свет от пятна в обоих случаях одинаков. Гельмгольц утверждает, что нейронный процесс и соответствующее *ощущение* также остаются неизменными, но по-разному *интерпретируются*; Геринг - что нейронный процесс и ощущение сами изменяются, а "интерпретация" является прямым сознательным коррелятом измененных условий сетчатки. Согласно первому варианту, контраст имеет психологическое происхождение, согласно другому - чисто физиологическое. В приведенных выше случаях, когда контраст-цвет больше не проявляется - на земле со многими различными чертами, на поле, границы которого очерчены черными линиями, и т. д., - психологическая теория, как мы видели, объясняет это тем, что при таких обстоятельствах мы считаем меньшее цветовое пятно независимым объектом на

поверхности и больше не обманываемся, принимая его за нечто, поверх чего нарисован цвет земли. Физиологическая теория, с другой стороны, утверждает, что эффект контраста все же возникает, но условия таковы, что небольшие изменения цвета и яркости, которые он вызывает, становятся незаметными.

Эти две теории, изложенные в общих чертах, могут показаться одинаково правдоподобными. Херинг, однако, убедительно доказал с помощью экспериментов с послеобразами, что процесс на одном участке сетчатки действительно изменяет процесс на соседних участках в условиях, когда обман суждений невозможен.^[23] Внимательное изучение фактов контраста покажет, что его явления должны быть обусловлены именно этой причиной. *Во всех случаях, которые можно исследовать, будет видно, что сторонники психологической теории не проводили свои эксперименты с достаточной тщательностью.* Они не исключили последовательный контраст, упустили из виду изменения, вызванные устойчивой фиксацией, и не смогли должным образом учесть различные модифицирующие влияния, о которых говорилось выше. Мы можем легко убедиться в этом, если рассмотрим наиболее яркие эксперименты по одновременному контрасту.

Один из самых известных и легко организуемых - *эксперимент Мейера*. Клочок серой бумаги помещается на цветной фон, и оба они накрываются листом прозрачной белой бумаги. После этого серое пятно приобретает контрастный цвет, дополняющий цвет фона, который просвечивает с беловатым оттенком сквозь покрывающую его бумагу. Гельмгольц объясняет это явление следующим образом:

"Если фон зеленый, то и покрывающая его бумага кажется зеленоватого цвета. Если теперь вещество бумаги без видимого перерыва распространяется на серое пятно, лежащее под ней, мы думаем, что видим предмет, мерцающий сквозь зеленоватую бумагу, а такой предмет, в свою очередь, должен быть розово-красным, чтобы давать белый свет. Однако если границы серого пятна настолько фиксированы, что оно кажется самостоятельным объектом, то непрерывность с зеленоватой частью поверхности теряется, и мы воспринимаем его как серый объект, лежащий на этой поверхности".^[24]

Контраст-цвет можно заставить исчезнуть, обведя черным контуры серого лоскутка или поместив поверх папиросной бумаги другой серый лоскуток той же степени яркости, и сравнив два серых цвета. Ни на одном из них контрастный цвет теперь не появляется.

Херинг^[25] ясно показывает, что такая интерпретация неверна, и что мешающие факторы должны быть объяснены иначе. Во-первых, эксперимент может быть поставлен так, что нас невозможно обмануть, заставив поверить в то, что мы видим серый цвет через цветную среду. Из листа серой бумаги нарежьте полосы шириной 5 мм таким образом, чтобы попеременно оставалось пустое пространство и полоска серого цвета, одинаковой ширины, причем полосы удерживаются вместе необрезанными краями серого листа (таким образом, получается подобие решетки). Положите это на цветной фон, например, зеленый, накройте оба листа прозрачной бумагой, а сверху поставьте черную рамку, закрывающую все края, оставляя видимыми только полосы, которые теперь попеременно зеленые и серые. Серые полосы кажутся сильно окрашенными по контрасту, хотя, поскольку они занимают столько же места, сколько и зеленые, мы не обманываемся, полагая, что видим первые через зеленую среду. То же самое происходит, если мы сплетаем в узор корзины узкие полосы зеленого и серого цвета и накрываем их прозрачной бумагой.

Почему же, если это истинное ощущение, обусловленное физиологическими причинами, а не ошибкой суждения, которое вызывает контраст, цвет исчезает, когда прослеживаются очертания серого лоскутка, что позволяет нам распознать его как самостоятельный объект? Во-первых, это не обязательно происходит, в чем легко убедиться, попробовав провести эксперимент. Контрастный цвет часто остается отчетливо видимым, несмотря на черные контуры. Во-вторых, существует множество адекватных причин, по которым эффект должен быть изменен. Одновременный контраст всегда наиболее силен на границе двух полей; но узкое черное поле теперь разделяет их и само по себе контрастно усиливает белизну обоих исходных полей, которые и так были мало насыщены цветом; и на черном, и на белом контраст-цвет проявляется только при самых благоприятных обстоятельствах. Даже слабые объективные различия в цвете могут исчезнуть при таком прослеживании контуров, как это можно увидеть, если положить на серый фон клочок тускло окрашенной бумаги, накрыть его прозрачной бумагой и проследить его контуры. Таким образом, мы видим, что цвету мешает не распознавание контрастного поля как самостоятельного объекта, а ряд вполне объяснимых физиологических нарушений.

То же самое можно доказать и в случае, если держать над папиросной бумагой второй серый клочок и сравнивать его с тем, что находится под ней. Чтобы избежать нарушений, вызванных использованием бумаги разной яркости, второй клочок следует сделать точно таким же, как и первый, накрыв серую бумагу той же папиросной бумагой и аккуратно вырезав из обеих вместе кусочек квадратной формы около 10 мм. Чтобы тщательно предохраниться от последовательного контраста, который так легко усложняет явления, мы должны тщательно предотвратить все предыдущие возбуждения сетчатки цветным светом. Это можно сделать следующим образом: Положите лист папиросной бумаги на стеклянную панель, которая опирается на четыре подставки; под бумагу положите первый серый клочок. С помощью проволоки закрепите второй серый лоскуток на 2-3 см выше стеклянной пластины. Оба лоскутка выглядят совершенно одинаково, за исключением краев. Теперь посмотрите на оба лоскутка, не совсем приспособив глаза, так, чтобы они оказались рядом друг с другом, с очень узким пространством между ними. Подложите под стеклянную пластинку цветное поле (зеленое), и контраст сразу же появится на обоих клочках. Если на верхнем клочке он проявляется менее четко, то это связано с его светлыми и темными краями, неравномерностью, зернистостью и т. д. При точной фиксации существенных изменений не происходит, хотя тогда на верхнем лоскутке яркий край со стороны света и темный край со стороны тени несколько нарушаются. При дальнейшей фиксации контраст ослабевает и, наконец, переходит в одновременную индукцию, в результате чего лоскутки становятся неотличимыми от земли. Уберите зеленое поле, и оба клочка станут зелеными в результате последовательной индукции. При свободном движении глаза эти явления не проявляются, но контраст продолжается бесконечно и становится все сильнее. Когда Гельмгольц обнаружил, что контраст на нижнем клочке исчез, это, очевидно, произошло потому, что он действительно держал глаз неподвижным. Этот эксперимент может быть нарушен неправильным держанием верхнего клочка, различием в яркости его краев или другими неравенствами, но не признанием его "независимым телом, лежащим над цветным грунтом", на котором основывается психологическое объяснение.

Подобным образом можно показать, что требования психологического объяснения неадекватны и в других случаях контраста. Часто используются вращающиеся диски, которые особенно эффективны для демонстрации хороших контрастных явлений, поскольку все неравенства грунта исчезают и остается совершенно однородная поверхность. На белом диске располагаются цветные сектора, которые прерываются посередине узкими черными полями таким образом, что при вращении диска белый цвет смешивается с цветным и

черным, образуя цветной диск слабой насыщенности, на котором появляется серое кольцо. Последнее окрашивается по контрасту с полем, которое его окружает. Гельмгольц объясняет этот факт следующим образом:

"Разница сравниваемых цветов кажется большей, чем она есть на самом деле, либо потому, что эта разница, когда она единственная и привлекает к себе внимание, производит более сильное впечатление, чем когда она одна среди многих, либо потому, что различные цвета поверхности воспринимаются как изменения одного цвета поверхности, которые могут возникнуть из-за падающих на нее теней, цветных рефлексов или смешения с цветной краской или пылью. На самом деле, чтобы создать объективно серое пятно на зеленой поверхности, необходимо придать ему красноватую окраску".[26]

Это объяснение легко доказать, раскрасив диск узкими зелеными и серыми концентрическими кольцами и придав каждому из них разную насыщенность. Контраст появляется, хотя грунтового цвета нет, и разница уже не одна, а много. Факты, которые Гельмгольц приводит в поддержку своей теории, также легко обернуть против него. Он утверждает, что если цвет грунта слишком интенсивен или если серое кольцо окаймлено черными кругами, контраст становится слабее; что на белом клочке, наложенном на цветное поле, контраст не появляется; и что серое кольцо при сравнении с таким клочком теряет свой контраст-цвет полностью или частично. Херинг указывает на неточность всех этих утверждений. При благоприятных условиях невозможно заставить контраст исчезнуть с помощью черных ограждающих линий, хотя они, естественно, являются мешающим элементом; увеличение насыщенности поля, если необходимо избежать нарушения за счет увеличения яркости-контраста, требует более темного серого поля, на котором контрастные цвета воспринимаются менее легко; а тщательное использование белого лоскута приводит к совершенно другим результатам. Контрастный цвет появляется на нем, когда он впервые помещен над цветным полем; но если его тщательно закрепить, то контрастный цвет очень быстро уменьшается как на нем, так и на кольце, что объясняется выше. Чтобы обеспечить точность наблюдения, следует избегать любых осложнений, связанных с последовательным контрастом: сначала расположите белый лоскут, затем поместите серый экран между ним и диском, дайте глазу отдохнуть, приведите колесо в движение, зафиксируйте лоскут, а затем уберите экран. Контраст сразу же появляется четко, и его исчезновение при дальнейшей фиксации можно точно наблюдать.

Достаточно упомянуть несколько других случаев контраста. Так называемый зеркальный эксперимент состоит в том, что под углом 45° ставится зеленое (или иначе окрашенное) стекло, образующее угол с двумя белыми поверхностями, одна из которых горизонтальна, а другая вертикальна. На каждой белой поверхности находится черное пятно. То, что находится на горизонтальной поверхности, видно через стекло и кажется темно-зеленым, а другое отражается от поверхности стекла в глаз и кажется красным. Эксперимент может быть поставлен так, что мы не осознаем присутствия зеленого стекла, но думаем, что смотрим прямо на поверхность с зеленым и красным пятнами на ней; в этом случае нет обмана суждения, вызванного учетом цветной среды, через которую, как нам кажется, мы видим пятно, и поэтому психологическое объяснение не применимо. При исключении последовательного контраста путем фиксации контраст вскоре исчезает, как и во всех подобных экспериментах.[27]

Цветные тени долгое время считались убедительным доказательством того, что одновременный контраст имеет психологическое происхождение. Они образуются всякий раз, когда непрозрачный объект освещается с двух разных сторон светом разных цветов. Когда свет от одного источника белый, его тень имеет цвет другого света, а вторая тень имеет цвет, дополняющий цвет поля, освещенного обоими источниками. Если теперь взять трубку, затемненную изнутри, и через нее посмотреть на цветную тень, причем окружающее поле не будет видно, а затем убрать цветной свет, то тень по-прежнему будет казаться цветной, хотя "обстоятельства, которые ее вызвали, исчезли". Это рассматривается психологами как убедительное доказательство того, что цвет обусловлен обманом суждений. Однако можно легко показать, что сохранение цвета, видимого через трубку, связано с усталостью сетчатки от преобладающего света, и что при удалении цветного света цвет постепенно исчезает, так как равновесие сетчатки постепенно восстанавливается. Когда последовательный контраст тщательно предотвращается, одновременный контраст, будь то прямой или через трубку, никогда не задерживается на мгновение после удаления цветного поля. Физиологическое объяснение применимо ко всем явлениям, связанным с цветными тенями.[28]

Если мы имеем небольшое поле, освещенность которого остается постоянной, окруженное большим полем с изменяющейся яркостью, то увеличение или уменьшение яркости последнего приводит к соответствующему видимому уменьшению или увеличению яркости первого, в то время как большое поле кажется неизменным. Экснер заявляет:

"Эта иллюзия чувства показывает, что мы склонны считать постоянной доминирующую яркость в нашем поле зрения и, следовательно, относить изменение разницы между ней и яркостью ограниченного поля к изменению яркости последнего".

Однако можно показать, что результат зависит не от иллюзии, а от реальных изменений в сетчатке, которые изменяют испытываемые ощущения. Раздражимость тех участков сетчатки, которые освещаются большим полем, значительно снижается под влиянием усталости, так что увеличение яркости становится гораздо менее заметным, чем было бы без этого снижения раздражимости. Малое поле, однако, показывает изменения за счет изменения контрастного эффекта, вызванного на нем окружающими частями сетчатки.[29]

Приведенные выше случаи ясно показывают, что *за цветовой контраст отвечают физиологические процессы, а не обман суждений*. Однако, говоря это, мы не утверждаем, что наше восприятие цвета никогда не изменяется в какой-либо степени под влиянием нашего суждения о том, чем может быть конкретная цветная вещь перед нами. У нас есть несомненные цветовые иллюзии, вызванные неверными умозаключениями о том, какой объект находится перед нами. Так, фон Криз[30] рассказывает, как бродил по вечнозеленым лесам, покрытым снегом, и думал, что сквозь прорехи между ветвями видит глубокую синеву гор, покрытых соснами, снегом и освещенных ярким солнечным светом; тогда как на самом деле он видел белый снег на близлежащих деревьях, лежащих в тени].[31]

Такая ошибка, как эта, несомненно, имеет психологическое происхождение. Это неправильная *классификация* явлений, обусловленная возбуждением сложных процессов ассоциаций, среди которых есть и представление об оттенке, отличном от того, который действительно находится перед глазами. В последующих главах подобные иллюзии будут рассмотрены достаточно подробно. Но было бы ошибкой интерпретировать более простые случаи контраста в свете подобных иллюзий. Эти иллюзии могут быть устранены в одно мгновение, и мы потом удивляемся, как они могли возникнуть. Они возникают из-за недостаточного внимания или из-за того, что впечатление, которое мы получаем, является

признаком более чем одного возможного объекта и может быть истолковано в любом случае. Ни в одном из этих пунктов они не похожи на простой цветовой контраст, который, несомненно, является феноменом ощущения, вызванного немедленно.

Я так подробно остановился на фактах цветового контраста, потому что они представляют собой хороший текст для комментария в моей борьбе против мнения, что ощущения - это неизменные психические вещи, которые сосуществуют с высшими психическими функциями. И сенсуалисты, и интеллектуалы согласны с тем, что такие ощущения существуют. Они *сливаются*, говорят чистые сенсуалисты, и составляют высшую психическую функцию; они *объединяются* благодаря деятельности Принципа мышления, говорят интеллектуалисты. Я сам утверждал, что они *не существуют* в высшей психической функции или наряду с ней, когда она существует. Вещи, которые их вызывают, существуют; и высшая психическая функция также знает эти же вещи. Но как ее знание о вещах вытесняет их знание, так и она вытесняет их, когда они приходят, будучи в той же мере прямым следствием каких бы то ни было сиюминутных мозговых условий. Психологическая теория контраста, с другой стороны, считает, что ощущения все еще существуют сами по себе без изменений перед разумом, в то время как "относящаяся к ним деятельность" последнего свободно обращается с ними и решает к своему собственному удовлетворению, чем должно быть каждое из них, учитывая, чем являются и другие. Вундт прямо говорит, что закон относительности - это "не закон ощущения, а закон апперцепции", и слово "апперцепция" означает для него высшую интеллектуальную спонтанность.^[32] Такой взгляд на вещи относится к философии, которая смотрит на *данные* чувств как на нечто земное и подневольное, а на "связь их вместе" - как на нечто духовное и свободное. Дух может даже изменить внутреннее качество самих чувственных фактов, если таким образом он может лучше связать их друг с другом! Но (помимо того, что трудно понять, как изменение ощущений должно их лучше соотнести) разве не очевидно, что эти отношения являются частью "содержания" сознания, частью "объекта", в той же мере, что и ощущения? Зачем же приписывать первые исключительно *познающему*, а вторые - *познаваемому*? *Знающий* - это в каждом случае уникальный импульс мысли, соответствующий уникальной реакции мозга на условия. Все, что показывают нам факты контраста, - это то, что одна и та же *реальная вещь* может давать нам совершенно разные ощущения при изменении условий, и поэтому мы должны быть осторожны, выбирая один из них в качестве истинного представителя вещи.

Помимо явлений контраста, существует множество других фактов, доказывающих, что при совместном воздействии двух объектов на нас ощущения, которые давал бы один из них, становятся иными. Определенный участок кожи, погруженный в горячую воду, дает ощущение определенного тепла. При большем количестве погруженной кожи тепло становится гораздо более интенсивным, хотя, конечно, тепло воды остается тем же самым. Определенная степень, а также интенсивность, количество стимула необходимы для ощущения любого качества. Фик и Вундт не смогли отличить тепло от прикосновения, когда оба раздражителя были нанесены через отверстие в карточке и таким образом ограничены небольшим участком кожи. Точно так же существует *хроматический минимум* размера объектов. Изображение, которое они отбрасывают на сетчатку глаза, должно иметь определенный размер, иначе оно вообще не дает ощущения цвета. И наоборот, большая интенсивность внешнего впечатления может сделать субъективный объект более объемным. Это происходит, как будет показано в [главе XIX](#), при увеличении освещенности: Вся комната расширяется и сжимается в зависимости от того, поднимаем мы или опускаем газовую

струю. Нелегко объяснить любой из этих результатов как иллюзию суждения, вызванную умозаключением о неправильной объективной причине ощущений, которые мы получаем. Не легче обстоит дело и с наблюдением Вебера о том, что талер, положенный на кожу лба, в холодном состоянии кажется тяжелее, чем в теплом; или с наблюдением Сабадфольди о том, что маленькие деревянные диски при нагревании до 122° по Фаренгейту часто кажутся тяжелее, чем те, которые больше, но не нагреты таким образом;[33] или с наблюдением Холла о том, что тяжелая точка, перемещаемая по коже, кажется, движется быстрее, чем легкая, движущаяся с той же скоростью.[34]

Блейлер и Леманн несколько лет назад обратили внимание на странную идиосинкразию, обнаруженную у некоторых людей и заключающуюся в том, что впечатления на глазах, коже и т.д. сопровождались отчетливыми ощущениями звука.[35] *Цветной слух* - так иногда называют это явление, которое теперь неоднократно описано. Совсем недавно венский аурист Урбаншиц доказал, что эти случаи являются лишь крайними примерами очень общего закона, и что все наши органы чувств влияют на ощущения друг друга.[36] У пациентов У. оттенок цветowych пятен, расположенных на таком расстоянии, что их невозможно было распознать, немедленно воспринимался, когда вилка звучала близко к уху. Иногда, наоборот, поле затемнялось от звука. Острота зрения повышалась, так что буквы, слишком далекие для чтения, можно было прочесть, услышав звук вилки. Урбаншиц, варьируя свои эксперименты, обнаружил, что их результаты были взаимными, и что звуки, которые находились на пределе слышимости, становились слышимыми, когда перед глазами появлялись огни различных цветов. Было обнаружено, что обоняние, вкус, осязание, ощущение температуры и т. д. колеблются при виде света и звуков. Индивидуумы сильно различались по степени и виду производимого эффекта, но почти каждый испытуемый, похоже, был в той или иной степени затронут. Эти явления несколько напоминают "динамогенное" влияние ощущений на силу мышечного сокращения, наблюдавшееся М. Фере и позднее описанное. Наиболее знакомыми примерами являются усиление боли под воздействием шума или света, а также усиление тошноты под воздействием всех сопутствующих ощущений. Люди, испытывающие какие-либо страдания, инстинктивно стремятся к тишине и темноте.

Наверное, каждый согласится с тем, что лучший способ формулировки всех подобных фактов - физиологический: должно быть, мозговой процесс первого ощущения усиливается или иным образом изменяется под воздействием другого приходящего тока. Никто, конечно, не предпочтет здесь психологическое объяснение. Что ж, мне кажется, что все случаи психической реакции на множество стимулов должны быть похожи на эти, и что физиологическая формулировка везде самая простая и самая лучшая. Когда одновременный красный и зеленый свет заставляет нас видеть желтый цвет, когда три ноты гаммы заставляют нас услышать аккорд, это происходит не потому, что ощущения красного, зеленого и каждой из трех нот входят в ум как таковые и там "соединяются" или "объединяются его соответствующей деятельностью" в желтый цвет и аккорд, а потому, что большая сумма световых и воздушных волн возбуждает новые корковые процессы, которым непосредственно соответствуют желтый цвет и аккорд. Даже когда чувственные качества вещей становятся объектами нашего высшего мышления, это, конечно, то же самое. Их отдельные ощущения не продолжают существовать там в скрытом виде. Их заменяет высшая мысль, которая, хотя и является отличной от них психической единицей, знает те же самые чувственные качества, которые знают они.

Принципы, изложенные в главе VI, подтверждаются в этой новой связи. *Нельзя построить одну мысль или одно ощущение из многих; и только прямой эксперимент может сообщить нам о том, что мы будем воспринимать, когда получим много стимулов одновременно.*

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ" ОЩУЩЕНИЙ.

Мы часто слышим мнение, что все наши ощущения сначала кажутся нам субъективными или внутренними, а затем особым образом "экстрадируются" или "проецируются", чтобы оказаться расположенными во внешнем мире. Так, в ценной работе профессора Лэдда мы читаем, что

"Ощущения... являются психическими состояниями, *местом которых - в той мере, в какой о них можно сказать, что оно есть, - является разум.* Перенос этих ощущений с простого ментального состояния на физические процессы, расположенные на периферии тела, или на качества вещей, спроецированных в пространство, внешнее по отношению к телу, является ментальным актом. Скорее можно сказать, что это ментальное *достижение* [ср. Cudworth, [прим. 10](#), о том, что знание - это *завоевание*], поскольку это акт, который в своем совершенстве является результатом долгого и сложного процесса развития..... Два примечательных этапа, или "эпохальных" достижения в процессе развития представлений об ощущениях, требуют особого рассмотрения. Это "*локализация*", или перенос составных ощущений из простого состояния ума в процессы или условия, признанные происходящими в более или менее определенных фиксированных точках или областях тела; и "*эксцентрическая проекция*" (иногда называемая "эксцентрическим восприятием"), или придание этим ощущениям объективного существования (в самом полном смысле слова "объективный") как качеств объектов, расположенных в поле пространства и находящихся в контакте с телом или на более или менее отдаленном расстоянии от него."[\[37\]](#)

Мне кажется, что для этой точки зрения нет ни малейших доказательств. Оно сочетается с мнением, что наши ощущения изначально лишены всякого пространственного содержания,[\[38\]](#) мнение, которое я, признаться, совершенно не могу понять. Когда я смотрю на свою книжную полку напротив, я не могу представить себе, каким бы воображаемым ни было чувство, которое я мог бы когда-либо получить от нее, кроме чувства того же самого большого протяженного внешнего факта, который я воспринимаю сейчас. Так далеко от истины, что наш первый способ чувствовать вещи - это чувствовать их как субъективные или ментальные, что, скорее, истиной является прямо противоположное. Наш самый ранний, инстинктивный, наименее развитый вид сознания - объективный; и только по мере развития рефлексии мы начинаем осознавать внутренний мир вообще. Тогда, правда, мы все больше и больше обогащаем его, вплоть до того, что становимся идеалистами, трофеями внешнего мира, который поначалу был единственным миром, который мы знали. Но субъективное сознание, осознающее себя как субъективное, поначалу не существует. Даже приступ боли, конечно, сначала ощущается объективно, как нечто в пространстве, побуждающее к двигательной реакции, и до самого конца находится не в сознании, а в какой-то телесной части.

"Ощущение, которое не должно пробуждать ни импульса к движению, ни тенденции к внешнему эффекту, очевидно, было бы бесполезным для живого существа. В соответствии с принципами эволюции такое ощущение никогда не могло бы развиваться. Поэтому каждое ощущение изначально относится к чему-то внешнему и

независимому от разумного существа. Ризоподы (по наблюдениям Энгельмана) втягивают свои псевдоподии при соприкосновении с инородными телами, даже если эти инородные тела - псевдоподии других особей их собственного вида, в то время как при взаимном контакте их собственных псевдоподий такого сжатия не происходит. Таким образом, эти низшие животные уже могут ощущать внешний мир - даже при отсутствии врожденных представлений о причинности и, вероятно, без ясного осознания пространства. На самом деле убежденность в том, что что-то существует вне нас, приходит не от мысли. Она исходит из ощущений; она покоится на том же основании, что и наша убежденность в собственном существовании..... Если мы рассмотрим поведение новорожденных животных, то никогда не найдем у них признания того, что они прежде всего осознают свои ощущения как чисто субъективные возбуждения. Мы гораздо охотнее склонны объяснять поразительную уверенность, с которой они пользуются своими ощущениями (и которая является следствием адаптации и наследственности), как результат врожденной интуиции внешнего мира..... Вместо того чтобы начинать с первоначальной чистой субъективности ощущений и искать, как она могла бы приобрести объективное значение, мы должны, напротив, начать с того, что ощущения обладают объективностью, а затем показать, как для рефлектирующего сознания последние становятся интерпретируемыми как эффект объекта, как, короче говоря, первоначальная непосредственная объективность сменяется отдаленной."[39]

Другая путаница, гораздо более распространенная, чем отрицание объективного характера ощущений, заключается в предположении, что все они изначально находятся *внутри тела* и проецируются наружу в результате вторичного акта. Это вторичное суждение, по мнению М. Тейна, всегда ложно, пока речь идет о месте самого ощущения. Но случается, что оно *попадает* на реальный объект, находящийся в точке, на которую проецируется ощущение; поэтому мы можем назвать его результат, по мнению этого автора, *верической галлюцинацией*. [40] Слово "сенсация", начать с того, что в психологической литературе постоянно используется так, как будто оно означает одно и то же с *физическим впечатлением* либо в конечных органах, либо в центрах, которое является его предшествующим условием, и это несмотря на то, что под сенсацией мы понимаем психический, а не физический факт. Но те, кто прямо подразумевает под ним психический факт, все же оставляют ему физическое место, все еще думают о нем как об объективно обитающем в тех самых нервных путях, которые вызывают его появление, когда они возбуждены; и затем (идя еще дальше) они думают, что он должен *поместить себя* туда, куда *они* его помещают, или субъективно ощущать это место как свою среду обитания в первом случае, и после этого должен быть *перемещен*, чтобы появиться в другом месте.

Все это кажется крайне запутанным и невразумительным. Сознание, как мы видели в предыдущей главе (т. I, стр. 214), нельзя назвать *обитаемым* местом. Оно находится в динамических отношениях с мозгом и в когнитивных отношениях со всем и вся. С одной точки зрения, *мы* можем сказать, что ощущение находится в одном месте с мозгом (если захотим), так же как с другой точки зрения мы можем сказать, что оно находится в одном месте с любым качеством, которое оно может познавать. Но предположение, что ощущение примитивно *ощущает себя или свой объект в одном месте с мозгом*, абсолютно беспочвенно, и ни *априорная* вероятность, ни факты из опыта не могут быть приведены, чтобы показать, что такое избавление составляет какую-либо часть изначальной познавательной функции нашей чувствительности.

Где же, в таком случае, находятся объекты наших первоначальных ощущений?

Конечно, ребенок, недавно родившийся в Бостоне, который получает ощущения от пламени свечи, освещающей спальню, или от своей пеленки, не чувствует, что оба эти объекта расположены на 72° западной долготы и 41° северной широты. Он не чувствует, что они находятся на третьем этаже дома. Он даже не чувствует, что они находятся справа или слева от каких-либо других ощущений, которые он может получать от других объектов в комнате в то же время. Короче говоря, он ничего не знает об их пространственном соотношении с чем-либо еще в мире. Пламя занимает свое место, боль занимает свое место; но пока эти места не отождествляются и не различаются с какими-либо другими местами. Это придет позже. Ибо места, впервые ощутимо познанные таким образом, являются элементами пространственного мира ребенка, которые остаются с ним всю его жизнь; и благодаря памяти и последующему опыту он узнает об этих местах огромное количество вещей, которые сначала ему были неизвестны. Но до конца времен определенные места мира остаются для него определенными как места, *где были эти ощущения*; и его единственным возможным ответом на вопрос, *где что находится*, будет сказать "*там*" и назвать какое-то ощущение, подобное тем, первым, которое определит место. Пространство *означает* лишь совокупность всех наших возможных ощущений. Не существует никакого дублирующего пространства, известного в *мире* или созданного "эпохальным достижением", в которое опускаются наши ощущения, изначально беспространственные. Они *привносят* пространство и все его места в наш интеллект, а не выводят его оттуда.

Под своим телом, таким образом, ребенок впоследствии подразумевает просто *то место*, где была или есть боль от булавки и множество других подобных ощущений. Не более верно сказать, что он локализует эту боль в своем теле, чем сказать, что он локализует свое тело в этой боли. Верно и то, и другое: эта боль - часть того, что он *подразумевает под словом "тело"*. Точно так же под внешним миром ребенок понимает не что иное, как *то место*, где ощущается пламя свечи и множество других подобных ощущений. Он не больше помещает свечу во внешний мир, чем внешний мир в свечу. Опять же, он делает и то, и другое; ведь свеча - часть того, что он *подразумевает под "внешним миром"*.

Это (как мне кажется) будет признано, и (я надеюсь) станет еще более правдоподобным в главе о восприятии пространства. Но последующее развитие этого восприятия настолько сложно, что эти простые принципы легко упускаются из виду. Одна из сложностей возникает из-за того, что вещи *движутся*, и первоначальный объект, которым мы их ощущаем, распадается на две части, одна из которых остается как их местонахождение, а другая уходит как их качество или природа. Затем мы сравниваем то, где они *были*, с тем, где они *находятся*. Если мы не двигаемся, то ощущение того, где они *были*, остается неизменным; но в настоящий момент мы сами двигаемся, так что это тоже меняется, и "где они были" становится уже не тем реальным ощущением, которым оно было изначально, а ощущением, которое мы просто представляем себе как возможное. Постепенно система этих возможных ощущений все больше и больше занимает место реальных ощущений. "Верх" и "низ" становятся "субъективными" понятиями; восток и запад становятся более "правильными", чем "право" и "лево" и т.д.; и вещи, наконец, становятся более "истинно" расположенными по их отношению к определенным идеальным фиксированным координатам, чем по их отношению либо к нашим телам, либо к тем объектам, по которым их местоположение было определено изначально. *Этот пересмотр наших первоначальных локализаций - дело сложное; он содержит некоторые факты, которые вполне естественно можно назвать*

транслокациями, в результате которых ощущения оказываются задвинутыми дальше, чем они были первоначально.

Мало что может быть более поразительным, чем изменчивость расстояния, на которое могут быть отнесены объекты многих наших ощущений. Жужжание мухи можно принять за далекий паровозный свисток; или сама муха, увиденная не в фокусе, может на мгновение создать у нас иллюзию далекой птицы. Одни и те же вещи кажутся то гораздо ближе, то гораздо дальше, в зависимости от того, смотрим мы на них через тот или иной конец оперного стекла. Все наше оптическое образование в значительной степени связано с определением расстояний до объектов наших ощущений. Младенец ухватывается за луну; позже, как говорят, он проецирует это ощущение на расстояние, которое, как он знает, находится за пределами его досягаемости. В часто цитируемом случае с "молодым джентльменом, который родился слепым" и которому мистер Чезелден "вылечил" катаракту, сообщается, что "когда он впервые увидел, он был настолько далек от суждения о расстояниях, что считал все предметы, которые касались его глаз (как он выражался), тем, что он чувствовал кожей". Другие пациенты, родившиеся слепыми, но получившие облегчение благодаря хирургической операции, описывали, как они подносили руку близко к глазам, чтобы нащупать предметы, которые они сначала видели, и только постепенно вытягивали руку, когда обнаруживали, что контакта не происходит. Из этих фактов многие сделали вывод, что самые ранние зрительные объекты должны казаться нам находящимися в непосредственном контакте с глазами.

Но тактильные объекты также могут быть затронуты подобной двусмысленностью ситуации.

Если потянуть за один из волос на голове, мы довольно точно ощущаем направление потяжки по движениям головы.^[41] Но ощущение потягивания локализуется не в той части волоса, за которую держатся пальцы, а в самом скальпе. Это, по-видимому, связано с тем, что наши волосы почти не служат осязательным органом. Однако у существ с *вибриссами* и у тех четвероногих, чьи усы являются осязательными органами, вряд ли можно сомневаться в том, что ощущения проецируются из корня в стержень волоса. Мы сами приближаемся к этому, когда прикасаемся к бороде в целом или к волосам в целом. Мы ощущаем прикосновение на некотором расстоянии от кожи.

При прикосновении к неподвижным и твердым придаткам тела, таким как зубы и ногти, мы ощущаем контакт там, где он объективно находится, а не глубже, где расположены нервные окончания. Если же зуб шатается, мы ощущаем два контакта, пространственно разделенных: один у его корня, другой у верхушки.

Переход от этой легкости к легкости твердого тела, органически не связанного с поверхностью, а лишь случайно соприкасающегося с ней, происходит мгновенно. Острием трости мы можем выводить буквы в воздухе или на стене так же, как и кончиком пальца, и при этом ощущать размер и форму пути, описываемого кончиком трости, так же мгновенно, как без трости мы ощущали бы путь, описываемый кончиком нашего пальца. Точно так же рисовальщик сразу же воспринимает острие карандаша, хирург - конец ножа, дуэлянт - кончик рапиры, когда она вонзается в кожу противника. Находясь на середине вибрирующей лестницы, мы чувствуем не только свои ноги на круге, но и удары ножек лестницы о землю далеко внизу. Если мы трясем запертые железные ворота, мы чувствуем, что середина, на которой лежат наши руки, движется, но мы также чувствуем устойчивость концов, где находятся петли и замок, и кажется, что мы чувствуем все три сразу.^[42] И все же

местом контакта во всех этих случаях является кожа, ощущения которой, соответственно, иногда интерпретируются как объекты на поверхности, а иногда - как объекты на большом расстоянии.

В главе о пространстве мы узнаем, что наши ощущения собственного движения в основном обусловлены чувствительностью наших вращающихся *суставов*. Иногда, фиксируя внимание, скажем, на локтевом суставе, мы можем почувствовать движение в самом суставе; но мы всегда одновременно осознаем путь, который во время движения описывают в воздухе кончики наших пальцев, и при этом сами эти пальцы никак физически не изменяются в результате движения. Удар по локтевому нерву за локтем ощущается и там, и в пальцах. Охлаждение локтя вызывает боль в пальцах. Электрические токи, проходящие по нервным стволам, будь то кожные или более специальные чувствительные (например, зрительный нерв), вызывают ощущения, которые нечетко локализуются за пределами пройденных нервных путей. Люди, у которых ампутированы ноги или руки, как известно, склонны сохранять иллюзорное ощущение того, что потерянная рука или нога находится там. Даже если они не испытывают это чувство постоянно, оно может периодически возвращаться. Иногда это происходит в результате электрического возбуждения нервных стволов, заложенных в культе.

"Недавно я фарадизировал, - рассказывает доктор Митчелл, - случай вывиха плеча, не предупредив пациента о возможном результате. В течение двух лет он совершенно перестал чувствовать конечность. Когда ток воздействовал на плечевое сплетение нервов, он вдруг громко закричал: "О, рука, рука!" и попытался схватить отсутствующий член. Призрак, который я создал, быстро исчез, но никакой дух не мог бы сильнее поразить человека, настолько реальным он казался".[\[43\]](#)

Теперь видимое положение потерянной конечности меняется. Часто нога кажется лежащей на земле или повторяет положение искусственной ноги, если таковая используется. Иногда при потере руки локоть кажется согнутым, а кисть - зафиксированной на груди. Иногда, опять же, положение неестественное, и рука кажется выпирающей из плеча, или стопа находится на одном уровне с коленом оставшейся ноги. Иногда положение расплывчато, а иногда неоднозначно, как у другого пациента доктора Вейра Митчелла, который

"Потерял ногу в возрасте одиннадцати лет и помнит, что стопа постепенно приближалась и, наконец, достигла колена. Когда он начал носить искусственную ногу, она со временем вернулась в прежнее положение, и в настоящее время он никогда не осознает ногу как укороченную, если только в течение некоторого времени не говорит и не думает о культе и об отсутствующей ноге, когда ... направление внимания на эту часть вызывает чувство дискомфорта и субъективное ощущение активного и неприятного движения пальцев. Вместе с этими ощущениями сразу же возвращается иллюзия того, что нога находится в колене".

Все эти и подобные им факты можно легко описать так, как будто наши ощущения под влиянием обстоятельств могут мигрировать из своего *первоначального местоположения* вблизи мозга или поверхности тела и появляться вдали от него; и (при других обстоятельствах) возвращаться снова после миграции. Но небольшой анализ происходящего показывает, что это описание неточно.

Объективность, с которой каждое из наших ощущений первоначально приходит к нам, просторный и пространственный характер, составляющий примитивную часть его содержания, в первую очередь не соотносится ни с каким другим ощущением. Когда мы

впервые открываем глаза, перед нами возникает оптический объект, который является *местом*, но который еще не соотнесен ни с каким другим объектом и не отождествлен ни с каким другим известным местом. Это место, с которым мы пока только *знакомы*. Когда позже мы узнаем, что это же место находится перед нами, это означает лишь то, что мы узнали о нем нечто, а именно, что оно *конгруэнтно тому другому месту*, называемому "передним", которое дается нам определенными ощущениями руки и кисти или головы и тела. Но в первый момент нашего оптического опыта, даже если мы уже были знакомы с нашей головой, рукой и телом, мы не могли ничего знать об их отношениях с этим новым видимым объектом. Его нельзя было сразу же определить его местоположение по отношению к *ним*. Как его место согласуется с теми местами, которые подсказывают чувства, - это вопрос, о котором нам может сообщить только последующий опыт; и в следующей главе мы увидим с некоторыми подробностями, как последующий опыт делает это с помощью дискриминации, ассоциации, выбора и других постоянно работающих функций разума. Поэтому, когда младенец хватается за луну, это не означает, что то, что он видит, не вызывает у него ощущения, которое он впоследствии узнает как расстояние; это означает лишь то, что он не узнал, на каком *тактильном или мануальном расстоянии* находятся вещи, которые появляются на этом *зрительном расстоянии*.^[44] И когда человек, только что прооперированный по поводу катаракты, нащупывает вблизи лица далекие предметы, это означает то же самое. Все обычные оптические признаки различия расстояний отсутствуют в ощущениях бедного существа. Его зрение монокулярно (одновременно оперируется только один глаз); хрусталика нет, и все расфокусировано; он испытывает фотофобию, лакримацию и другие болезненные ощущения, связанные с самим глазным яблоком, место которого он уже давно научился узнавать тактильно; что же удивляться, что первая тактильная реакция, которую вызывают новые ощущения, должна быть связана с тактильным положением самого органа? А что касается его утверждений по этому поводу, то что удивляться, если, как говорит профессор Поль Жане, они по-прежнему выражаются на тактильном языке, который является единственным, который он знает. "*Прикосновение* означает для него получение впечатления без предварительного движения". Теперь такое впечатление получает его глаз; поэтому он может сказать, что предметы "касаются его".

"Весь его язык, заимствованный из осязания, но применяемый к объектам его зрения, заставляет нас думать, что он воспринимает иначе, чем мы сами, тогда как, в сущности, это лишь его другой способ говорить об одном и том же опыте".^[45]

Другие случаи транслокации наших ощущений так же легко интерпретируются, не предполагая никакой "проекции" из центра, в котором они первоначально воспринимались. К сожалению, детали очень сложны, и то, что я говорю сейчас, может стать полностью ясным только после того, как мы перейдем к следующей главе. Тогда мы увидим, что мы постоянно выбираем некоторые из наших ощущений в качестве *реальности* и низводим другие до статуса их *признаков*. Когда мы получаем один из знаков, мы думаем о реальности, которую обозначаем; и странно, что тогда реальность (которая сама по себе не обязательно должна быть ощущением в данный момент, а только идеей) становится настолько интересной, что приобретает галлюцинаторную силу, которая может даже затмить относительно неинтересный знак и полностью отвлечь наше внимание от последнего. Таким образом, ощущения, которые вызывают наши суставы при вращении, являются признаками того, что благодаря большому количеству других ощущений, тактильных и оптических, мы узнали как движение всей конечности. Это движение всей конечности - то, о чем мы думаем, когда нервы сустава возбуждаются таким образом; и *его* место настолько важнее, чем место сустава, что наше ощущение последнего, так сказать, вбирается в наше восприятие первого, и ощущение движения, кажется, распространяется на наши пальцы рук и ног. Но,

абстрагировав свое внимание от ощущения всей конечности, мы можем прекрасно воспринимать то же самое ощущение, как если бы оно было сосредоточено в одном месте. Мы можем отождествить его с по-другому расположенным тактильным и визуальным образом самого "сустава".

Точно так же, когда мы чувствуем, как кончик трости упирается в землю. Своеобразное движение руки (невозможное в одном направлении, но свободное во всех остальных), которое мы испытываем, когда наконечник касается "земли", является для нас знаком визуального и тактильного объекта, который мы уже знаем под этим названием. Мы думаем о "земле" как о существующем и дающем нам ощущение такого рода движения. Ощущение, говорим мы, исходит *от* земли. Место земли кажется нам ее местом; хотя в то же самое время и по очень похожим практическим причинам мы думаем о другом оптическом и тактильном объекте, а именно о "руке", и считаем, что ее место *также* должно быть местом наших ощущений. Другими словами, мы берем объект или чувственное содержание А, и, путая его с другим объектом, известным в другом месте, В, или с двумя объектами, известными в другом месте, В и С, мы отождествляем его место с их местами. Но во всем этом *нет никакого "проецирования"* (о котором говорят философы-экстрасенсы) А из *первоначального* места; не нужно противоречить примитивному местоположению, которое он сначала занимал *вдали* от других ощущений; не существует естественного "центра", из которого он изгоняется. Это означало бы, что А изначально пришло к нам в определенных локальных отношениях с другими ощущениями, ибо быть *вне* В и С - значит быть в локальных отношениях с ними в той же мере, в какой быть в них. Но оно было не более вне В и С, чем в них, когда впервые пришло к нам. Оно просто не имело к ним никакого отношения. Сказать, что мы ощущаем местоположение ощущения "в мозгу", "напротив глаза" или "под кожей", - значит сказать о нем столько же и иметь с ним дело столь же непримитивным образом, как и сказать, что оно находится за милю от нас. Все это вторичные восприятия, способы определения места ощущения *per aliud*. Они включают в себя множество ассоциаций, идентификаций и воображений и допускают большую долю колебаний и неопределенности в результате.[46]

Таким образом, я прихожу к выводу, что в теории "эксцентрической проекции" нет истины. Она обусловлена ошибочным предположением, что телесные процессы, вызывающие ощущение, должны быть и его местом.[47] Но у ощущений нет места в этом смысле. Они *становятся* местами друг для друга, как только опыт связывает их вместе; но это не нарушает примитивного места, принадлежащего какому-либо из них. И хотя наши ощущения не могут затем так анализировать и говорить о себе, все же в самом первом своем появлении они в той же мере, что и в любой более поздний момент, познают все те качества, которые мы в конце концов извлекаем и представляем себе под именами *объективности*, *внешности* и *протяженности*. Несомненно, субъективность и внутренность - это понятия, которые человеческий разум приобретает в *последнюю очередь*.[48]

[1] Кто-то скажет, что у нас никогда не бывает по-настоящему простого объекта или содержания. Мое определение ощущения не требует, чтобы простота была абсолютно, а только относительно, предельно. Стоит, однако, мимоходом предостеречь читателя от нескольких умозаключений, которые часто делаются. Один из них заключается в том, что, поскольку мы постепенно учимся анализировать так много качеств, мы должны заключить, что в сознании не существует действительно неразложимых ощущений. Другой вывод

заключается в том, что, поскольку процессы, порождающие наши ощущения, многочисленны, ощущения, рассматриваемые как субъективные факты, также должны быть составными. Приведем пример: ребенку вкус лимонада сначала кажется простым качеством. Позже он узнает, что многие стимулы и многие нервы участвуют в проявлении этого вкуса в его сознании, и он также учится воспринимать отдельно кислинку, прохладу, сладость, лимонный аромат и т. д., а также несколько степеней силы каждого из них, - опыт распадается на большое количество аспектов, каждый из которых абстрагируется, классифицируется, называется и т. д., и все они оказываются элементарными ощущениями, на которые разлагается первоначальный "вкус лимонада". На основании этого утверждается, что последний никогда не был такой простой вещью, какой казался. Я уже критиковал такого рода рассуждения в главе VI (см. с. 170 и далее). Ум ребенка, наслаждающегося простым вкусом лимонада, и ум того же ребенка, выросшего и анализирующего его, находятся в двух совершенно разных состояниях. Субъективно эти два состояния ума представляют собой два совершенно разных вида факта. Более позднее состояние ума говорит: "Это *тот же самый вкус (или жидкость)*, который более раннее состояние воспринимало как простой", но это не делает два состояния идентичными. Это не что иное, как случай изучения все новых и новых тем дискурса или вещей. Многие из этих тем, однако, должны быть признаны сопротивляющимися любому анализу, например, различные цвета. Тот, кто видит синий и желтый "в" определенном зеленом, имеет в виду лишь то, что, когда зеленый сталкивается с этими другими цветами, он видит отношения *сходства*. Тот, кто видит в нем абстрактный "цвет", имеет в виду лишь то, что он видит сходство между ним и всеми другими объектами, известными как цвета. (Само сходство в конечном счете не может быть объяснено идентичным абстрактным элементом, заключенным во всех сходствах, как уже было показано, р. 492 и далее.) Тот, кто видит в зеленом абстрактную бледность, интенсивность, чистоту, имеет в виду другие сходства. Это все внешние определения этого особого зеленого, знания о нем, *zufällige Ansichten*, как сказал бы Герbart, а не *элементы* его состава. Сравните статью Мейнонга в *Vierteljahrschrift für wiss. Phil.*, xii. 324.

[2] См. т. I, с. 221.

[3] Тем, кто хочет получить более полную информацию, чем та, которую дает "Человеческое тело" Мартина, можно порекомендовать книгу Бернштейна "Пять чувств человека" в Международной научной серии, а также "Физиологическую психологию" Лэдда или Вундта. Наиболее полным компендиумом является "Handbuch der Physiologie" Л. Германа, том iii.

[4] "Ощущения, которые мы *постулируем* как знаки или поводы наших восприятий" (A. Seth: *Scottish Philosophy*, p. 89). "Их существование *предполагается* только потому, что без них было бы невозможно объяснить сложные явления, непосредственно присутствующие в сознании" (J. Dewey: *Psychology*, p. 34). Даже такой великий враг сенсации, как Т. Х. Грин, вынужден под протестом допускать ее некое гипотетическое существование. "Восприятие предполагает ощущение" (*Contemp. Review*, vol. xxxi. p. 747). Ср. также такие отрывки, как в его "Пролегоменах к этике", §§ 48, 49. Физиологически сенсорные и репродуктивные или ассоциативные процессы могут нарастать и ослабевать независимо друг от друга. Там, где преобладает часть, непосредственно связанная со стимуляцией органов чувств, мысль имеет сенсационный характер и отличается от других мыслей в сенсационном направлении. Те мысли, которые лежат дальше всего в этом направлении, мы для практического удобства называем *ощущениями*, так же как и те, которые лежат ближе к противоположной крайности, мы называем *представлениями*. Но чистых концепций у нас не больше, чем чистых ощущений. Наши самые редкие интеллектуальные состояния предполагают некоторую телесную чувствительность, так же как наши самые тупые чувства имеют некоторую

интеллектуальную сферу. Здравый смысл и обычная психология выражают это, говоря, что умственное состояние состоит из отдельных drobных частей, одна из которых - ощущение, другая - концепция. Мы, однако, считающие каждое психическое состояние целостной вещью (Vol. I. p. 276), не можем говорить так, но должны говорить о степени сенсационного или интеллектуального характера, или функции, психического состояния. Профессор Геринг, как обычно, лучше других улавливает истину. Говоря о зрительном восприятии, он говорит: "При нынешнем состоянии наших знаний недопустимо утверждать, что в первый и последний раз одна и та же картина на сетчатке вызывает совершенно одинаковые чистые ощущения, но что эти ощущения, в результате практики и опыта, в последний раз интерпретируются по-другому и перерастают в восприятие, отличное от первого. Ибо единственными реальными данными являются, с одной стороны, физическая картина на сетчатке, - и она в обоих случаях одна и та же; и, с другой стороны, результирующее состояние сознания (*ausgeloste Empfindungscomplex*), - и оно в обоих случаях различно. О чем-то третьем, а именно о чистом ощущении, возникающем между сетчаткой и мысленными образами, мы ничего не знаем. Тогда мы можем, если хотим избежать всяких гипотез, только сказать, что нервный аппарат реагирует на один и тот же стимул в последний раз иначе, чем в первый, и что вследствие этого сознание тоже различно". (Hermann's Hdbch., iii. i. 567-8.)

[5] Однако даже такие авторы, как профессор Бейн, самым беспричинным образом отрицают, что ощущениям что-либо известно. "Очевидно, что самая низкая или ограниченная форма ощущений не содержит элемента знания. Простое состояние ума, называемое ощущением алого цвета, не является знанием, хотя и является необходимой подготовкой к нему". "Не является знанием об алом" - это все, что может с полным правом сказать профессор Бейн.

[6] Под простыми представлениями об ощущениях Локк подразумевает только ощущения.

[7] Essay c. H. U., bk. ii. ch. xxiii. § 29; гл. xxv. § 9.

[8] *Op. cit.* bk. ii. ch. ii. § 2.

[9] "Так далеко от истины, что мы обязательно имеем столько чувств в сознании в одно и то же время, сколько входов для чувства, которое в это время играет, что это фундаментальный закон чистого ощущения, что каждое мгновенное состояние организма дает только одно чувство, как бы многочисленны ни были его части и его экспозиции..... Для этого изначального единства сознания не имеет значения, что притоки к единому ощущению находятся вне организма, а не внутри него, во внешнем объекте с несколькими ощущаемыми свойствами, а не в живом теле с его несколькими чувствительными функциями..... Единство, таким образом, не создается "объединением" нескольких компонентов; но множественность образуется *диссоциацией* не подозреваемых разновидностей внутри единства; субстанциальная вещь - не продукт синтеза, но остаток дифференциации." (J. Martineau: A Study of Religion (1888), p. 193-4). Сравните также Ф. Х. Брэдли, "Логика", книга I, глава II.

[10] В антисенсуалистской литературе часто встречаются такие отрывки, как: "Чувство - это некое тупое, запутанное и глупое восприятие, навязанное душе извне, посредством которого она воспринимает изменения и движения внутри собственного тела, а также познает отдельные тела, существующие вокруг нее, но не может ясно понять, что они собой представляют, и не вникает в их природу; оно предназначено природой, как говорит Плотин, не столько для познания, сколько для использования тела. Ибо душа, страдающая от того,

что она воспринимает посредством *страсти*, не может овладеть или *покорить* ее, то есть познать или понять. Ибо так Анаксагор у Аристотеля очень удачно выражает природу знания и разума под понятием "*покорение*". Поэтому необходимо, чтобы, поскольку ум постигает все вещи, он был свободен от смешения и страстей, для чего, как говорит Анаксагор, он может *овладеть и покорить* свои объекты, то есть *знать и понимать* их. Подобным образом Плотин в своей книге "Ощущение и память" считает, что *страдать и быть побежденным* - одно, как и *знать и побеждать*; по этой причине он заключает, что тот, кто страдает, не знает..... Чувство, страдающее от внешних объектов, лежит как бы распростертое под ними и побеждено ими..... Чувство, таким образом, есть определенный вид дремотного и сонного восприятия той пассивной части души, которая как бы спит в теле, и действует с ним конкретно..... Это энергия, исходящая от тела, и определенный вид дремотной или спящей жизни души, смешанной с ней. Восприятия этого соединения, или души, как бы наполовину спящей и наполовину бодрствующей, являются запутанными, неясными, мутными и загроможденными когитациями, весьма отличными от энергий нозической части,... которые являются свободными, ясными, безмятежными, удовлетворительными и пробужденными когитациями. То есть знания". И т. д., и т. п. (R. Cudworth: Трактат о вечной и неизменной морали, кн. III. гл. II.) Аналогично Малебранш: "Теодор: - О, о, Арист! Бог знает боль, удовольствие, тепло и все остальное. Но он не чувствует этих вещей. Он знает боль, поскольку знает, в чем состоит то изменение души, в котором заключается боль. Он знает ее, потому что только он один вызывает ее в нас (как я сейчас докажу), и он знает, что он делает. Одним словом, он знает это, потому что его знание не имеет границ. Но он не чувствует ее, ибо в этом случае он был бы несчастен. Значит, знать боль - не значит чувствовать ее. Аристэ: - Это верно. Но чувствовать ее - значит знать ее, не так ли? Теодор: - Нет, поскольку Бог нисколько ее не чувствует, но при этом прекрасно знает. Но чтобы не спорить о терминах, если вы согласны с тем, что чувствовать боль - это знать ее, согласитесь хотя бы с тем, что это не значит знать ее ясно, что это не значит знать ее по свету и по доказательствам - словом, что это не значит знать ее природу; другими словами, если говорить точно, это значит не знать ее вообще. Чувствовать боль, например, - значит чувствовать себя несчастным, не зная ни того, что мы есть, ни того, какова эта модальность нашего бытия, которая делает нас несчастными..... Наложите молчание на свои чувства, воображение и страсти, и вы услышите чистый голос внутренней истины, ясные и очевидные ответы нашего общего учителя. Никогда не путайте доказательства, полученные в результате сравнения идей, с живостью ощущений, которые вас трогают и волнуют. Чем живее наши ощущения и чувства (*сантименты*), тем больше тьмы они проливают. Чем ужаснее или приятнее наши фантомы и чем больше в них тела и реальности, тем они опаснее и способны сбить нас с пути". (Entretiens sur la Métaphysique, 3me Entretien, *ad init.*) Теодор Малебранша благоразумно не пытается объяснить, как "бесконечное счастье" Бога совместимо с тем, что он не испытывает радости.

[11] Грин: Prolegomena, §§ 20, 28.

[12] Introd. to Hume, §§ 146, 188. Трудно сказать, что именно этот апостольский человек, но крайне немощный писатель имеет в виду под словом "отношения". Иногда кажется, что это означает систему связанных фактов. Повсеместное распространение на его страницах "заблуждения психолога" (см. т. I, с. 196), его постоянное опирание на путаницу между известной вещью, мыслью, которая ее знает, и более далекими вещами, известными об этой вещи и об этой мысли посредством более поздних и дополнительных мыслей, не позволяют прояснить его смысл. Сравните, однако, с приведенными в тексте высказываниями такие, как: "Пробуждение Самосознания от сна чувств - это абсолютное новое начало, и ничто не может войти в "хрустальную сферу" интеллекта, кроме как в том виде, в каком оно

определено интеллектом. То, чем является чувство для чувства, ничто для мысли. То, чем смысл является для мысли, определяется мыслью. Поэтому в ощущениях не может быть никакой "реальности", к которой можно было бы отнести мир мысли". (Edward Caird's *Philosophy of Kant*, 1st ed. pp. 393-4.) "Когда, - снова говорит Грин, - чувствуя боль или удовольствие от жары, я воспринимаю ее как связанную с действием приближения к огню, не воспринимаю ли я отношение, *одной из составляющих которого, во всяком случае, является простое ощущение?* Истинный ответ - *нет*". "Восприятие в его простейшей форме... - восприятие как первый взгляд или прикосновение к объекту, в котором не распознается ничего, кроме того, что видно или к чему прикасаются, - *не является и не содержит ощущения*" (*Contemp. Rev.*, xxxi. pp. 746, 750.) "Простое ощущение - это, по правде говоря, фраза, которая не отражает никакой реальности". "Простое ощущение, таким образом, как материя, не сформированная мыслью, не имеет места в мире фактов, в космосе возможного опыта". (Прологомены к этике, §§ 46, 50.) - Я высказался по этому вопросу несколько более полно в "Разуме", х. 27 и далее.

[13] Stumpf: *Tonpsychologie*, i. pp. 7, 8. Фраза Гоббса, *sentire semper idem et non sentire ad idem recidunt*, обычно рассматривается как первоначальное утверждение доктрины относительности. Дж. С. Милль (*Examn. of Hamilton*, p. 6) и Бэйн (*Senses and Intellect*, p. 321; *Emotions and Will*, pp. 550, 570-2; *Logic*, i. p. 2; *Body and Mind*, p. 81) являются подписчиками этой доктрины. Ср. также "Анализ" Дж. Милля, издание J. S. Mill, II. 11, 12.

[14] Мы можем устойчиво слышать ноту в течение получаса. Различия между органами чувств заметны. Обоняние и вкус, кажется, быстро утомляются.

[15] В массовом сознании ее смешивают с совершенно иной доктриной "относительности знания", которую проповедовали Гамильтон и Спенсер. Эта доктрина гласит, что наше знание относительно *нас* и не относится к объекту, как тот сам по себе. Она не имеет никакого отношения к обсуждаемому нами вопросу о том, содержат ли наши объекты познания абсолютные термины или состоят исключительно из отношений.

[16] То, что следует в скобках, вплоть до стр. 27, принадлежит перу моего друга и ученика г-на Э. Б. Делабарра.

[17] Эти явления имеют близкие аналоги в явлениях контраста, представленных температурным чувством (см. W. Preyer в *Archiv f. d. ges. Phys.*, Bd. xxv. p. 79 ff.). Последовательный контраст здесь проявляется в том, что теплое ощущение кажется более теплым, если до этого было холодное; а холодное - более холодным, если предыдущее было теплым. Если палец, который был погружен в горячую воду, и другой, который был в холодной воде, погрузить в теплую воду, то та же вода покажется холодным пальцем для первого и теплой для второго. Одновременно с этим ощущение тепла на любом участке кожи вызывает ощущение холода в непосредственной близости от него, и *наоборот*. Это можно увидеть, если нажать ладонью на две металлические поверхности площадью около полутора дюймов и на расстоянии трех четвертей дюйма друг от друга; кожа между ними кажется заметно теплее. Так же и небольшой предмет точно такой же температуры, как ладонь, кажется теплым, если холодный предмет и холодным, если теплый предмет прикасается к коже рядом с ним.

[18] Гельмгольц, *Physiolog. Optik*, p. 392.

[19] *Loc. cit.* p. 407.

[20] *Loc. cit.* p. 408.

[21] *Loc. cit.* p. 406.

[22] E. Hering, in Hermann's Handbuch d. Physiologie, iii. 1, p. 565.

[23] Hering: 'Zur Lehre vom Lichtsinne.' - Из этих экспериментов можно привести следующий (на стр. 24 и далее) в качестве типичного: "Из темно-серой бумаги вырежьте две полосы длиной 3-4 см и шириной 1/2 см и положите их на фон, одна половина которого белая, а другая - темно-черная, таким образом, чтобы по одной полоске лежало по обе стороны от линии границы, параллельно ей и на расстоянии не менее 1 см от нее. Зафиксируйте на 1/2 - 1 минуту точку на границе между полосками. Одна полоса будет казаться намного ярче другой. Закройте и прикройте глаза, и появится негативное послесвечение..... Разница в яркости полос в послеобразе в целом гораздо больше, чем при прямом зрении..... Эта разница в яркости полос далеко не всегда увеличивается и уменьшается вместе с разницей в яркости двух половин фона..... Наступает фаза, когда разница в яркости двух половин фона полностью исчезает, но при этом оба последующих изображения полос остаются очень четкими, одно из них ярче, а другое темнее фона, который одинаково ярок на обеих половинах. Здесь уже не может быть и речи о контрастном эффекте, потому что *условие, необходимое для контраста*, а именно разная яркость фона, больше не существует. Это доказывает, что различная яркость послеобразов полос должна иметь своим основанием различное состояние возбуждения соответствующих участков сетчатки, а из этого следует, что оба эти участка сетчатки были по-разному стимулированы во время первоначального наблюдения; ибо различный послеэффект требует здесь различного предэффекта..... При первоначальном расположении объективно одинаковые полосы имели разную яркость, потому что обе соответствующие части сетчатки были действительно по-разному возбуждены".

[24] Helmholtz, *Physiolog. Optik*, p. 407.

[25] В *Archiv f. d. ges. Physiol.*, Bd. xli. §. 1 ff.

[26] Helmholtz, *loc. cit.* p. 412.

[27] См. Геринг: *Archiv f. d. ges. Physiol.*, Bd. xli. S. 358 ff.

[28] Hering: *Archiv f. d. ges. Physiol.*, Bd. xl. S. 172 ff.; Delabarre: *American Journal of Psychology*, ii. 636.

[29] Hering: *Archiv f. d. ges. Physiol.*, Bd. xli. S. 91 ff.

[30] *Die Gesichtsempfindungen u. ihre Analyse*, p. 128.

[31] На этом вклад г-на Делабарра заканчивается.

[32] *Physiol. Psych.*, i. 351, 458-60. Полную бессмыслицу закона относительности лучше всего можно увидеть в трактовке Вундта, где великий "*всеобъемлющий Gesetz der Beziehung*", призванный объяснить закон Вебера, а также явления контраста и многое другое, может быть определен только как тенденция *ощущать все вещи по отношению друг к другу!* Благословите его маленькую душу! Но почему же она так изменяет вещи, если ощущает их в отношении друг к другу?

[33] Ladd: *Physiol. Psych.*, p. 348.

[34] *Mind*, x. 567.

[35] *Zwangemässige Lichtempfindung durch Schall* (Leipzig, 1881).

[36] Pflüger's Archiv, xlii. 154.

[37] Физиологическая психология, 385, 387. См. также такие отрывки, как в Bain; The Senses and the Intellect, pp. 364-6.

[38] "В особенности мы должны избегать всех попыток, явных или скрытых, объяснить *пространственные* качества представлений чувств простым описанием качеств простых ощущений и способов их сочетания. Именно положение и протяженность в пространстве составляют особенность объектов как уже *не* просто ощущений или привязанностей ума. Как ощущения, они не находятся *вне* себя и не обладают качествами, обозначаемыми словом spread-out". (Ladd, *op. cit.* p. 391.)

[39] A. Riehl: Der Philosophische Kriticismus, Bd. ii. Theil ii. p. 64.

[40] Об интеллекте, часть ii. кн. ii. гл. ii. §§ vii, viii. Сравните такие высказывания, как: "Следствием этого является то, что когда ощущение имеет своим обычным условием присутствие объекта, более или менее удаленного от нашего тела, и опыт однажды познакомил нас с этим расстоянием, мы будем располагать наше ощущение на этом расстоянии - так, собственно, и происходит с ощущениями слуха и зрения. Периферическая оконечность слухового нерва находится в глубокой камере уха. Зрительный нерв находится в самом внутреннем углублении глаза. Но все же, в нашем нынешнем состоянии, мы никогда не располагаем наши ощущения звука или цвета в этих местах, а находимся без нас, и часто на значительном расстоянии от нас..... Все наши цветовые ощущения, таким образом, проецируются за пределы нашего тела и облекают более или менее отдаленные предметы, мебель, стены, дома, деревья, небо и прочее. Вот почему, когда мы впоследствии размышляем над ними, мы перестаем относить их к себе; они отчуждены и отделены от нас, настолько, что кажутся отличными от нас. Проецируясь на нервную поверхность, в которой мы локализуем большинство других ощущений, связь, соединявшая их с другими и с нами самими, оказывается неразорванной..... Таким образом, все наши ощущения расположены неверно, и красный цвет не более протяжен на кресле, чем ощущение покалывания на кончиках пальцев. Все они расположены в сенсорных центрах энцефалона; все они кажутся расположенными в других местах, и общий закон приписывает каждому из них его кажущееся положение". (vol. ii. pp. 47-53.) - Аналогично Шопенгауэр: "Теперь я покажу то же самое на примере чувства зрения. Непосредственные *данные* здесь ограничиваются ощущениями сетчатки, которые, правда, допускают значительное разнообразие, но в конечном счете сводятся к впечатлению света и темноты с их оттенками, а также цвета. Это ощущение насквозь субъективно, то есть находится внутри организма и под кожей". (Schopenhauer: Satz vom Grunde, p. 58.) Затем этот философ *последовательно* перечисляет, что делает интеллект, чтобы сделать изначально субъективное ощущение объективным: 1) он переворачивает его нижней стороной вверх; 2) сводит его двойственность к единственности; 3) меняет его плоскость на твердость; 4) проецирует его на расстояние от глаза. И снова: "*Ощущения* - это то, что мы называем впечатлениями наших органов чувств, в той мере, в какой они доходят до нашего сознания как состояния нашего собственного тела, особенно нашего нервного аппарата; мы называем их *восприятиями*, когда мы формируем из них представление внешних объектов". (Helmholtz: Tonempfindungen, 1870, p. 101.) - И еще: "Сенсация всегда в психических центрах, но она проявляется на возбужденной части периферии. Другими словами, человек осознает явление в нервных центрах, ... но воспринимает его в периферических органах. Это явление зависит от опыта самих ощущений, в котором есть *отражение* субъективного явления и тенденция со стороны восприятия вернуться как бы к внешней причине, вызвавшей психическое состояние, поскольку последняя связана с первой." (Sergi: Psychologie Physiologique (Paris, 1888), p.

189.)- Самый ясный и лучший отрывок, который я знаю, находится в Liebmann: Der Objective Anblick (1869), pp. 67-72, но он, к сожалению, слишком длинный, чтобы его цитировать.

[41] Это доказывается приемом Вебера, когда голова плотно прижимается к опоре другим человеком, после чего направление тяги перестает восприниматься.

[42] Лотце: Мед. Psych., 428-433; Lipps: Grundtatsachen des Seelenlebens, 582.

[43] Injuries to Nerves (Philadelphia, 1872), p. 350 ff.

[44] В действительности это, вероятно, означает лишь беспокойное движение желания, которое он мог совершить даже после того, как осознал свое бессилие прикоснуться к объекту.

[45] Revue Philosophique, vii. p. 1 ff., замечательная критическая статья, в которой М. Жане приводит библиографию рассматриваемых случаев. См. также Дюнан: *ibid.* xxv. 165-7. Их также обсуждает и аналогично интерпретирует Т. К. Эббот: Sight and Touch (1864), глава x.

[46] Об этом свидетельствуют также промежуточные и укороченные местоположения утраченных руки и ноги в случаях ампутации. Легко понять, почему фантомная нога может продолжать следовать положению искусственной. Но я признаюсь, что не могу объяснить ее полупозиции.

[47] Именно из этого путаного предположения проистекает проверенная временем загадка, как, имея на сетчатке глаза перевернутое изображение, мы можем видеть все с правой стороны. *Наивно* предполагается, что наше сознание живет в картинке и ощущает ее положение по отношению к другим объектам пространства. Но на самом деле картина не существует ни как среда обитания, ни как что-либо еще для непосредственного сознания. Наше представление о ней - это чрезвычайно позднее представление. Внешний объект сразу же наделяется всеми теми качествами, которые позже будут названы и определены в связи с другими ощущениями. Внизу" этого объекта мы видим то, что на ощупь потом узнаем как свои *ноги*, "вверху" - место, где мы видим то, что знаем как головы других людей, и т. д. и т. п. Беркли уже давно сделал этот вопрос совершенно ясным (см. его "Очерк новой теории зрения", §§ 93-98, 113-118).

[48] Для полного обоснования читатель должен ознакомиться со следующей главой. Против приведенного сейчас краткого изложения он может возразить, что в непосредственном поле зрения младенца различные предметы, которые появляются, с самого начала расположены *относительно друг друга*. Я допускаю, что *если их различать*, то они будут казаться расположенными именно так. Но это части содержания одного ощущения, а не отдельно переживаемые ощущения, о которых идет речь в данном тексте. Полностью развитый "мир", в котором все наши ощущения в конечном итоге находят свое местоположение, - это не что иное, как воображаемый объект, сформированный по образцу поля зрения, путем добавления и продолжения одного ощущения другим упорядоченным и систематическим образом. В подтверждение своего текста я должен сослаться на стр. 57-60 книги Рия, процитированной выше на [стр. 32](#), и на Uphues: Wahrnehmung und Empfindung (1888), особенно *Einleitung* и стр. 51-61.

ГЛАВА XVIII.

ИМАГИНАЦИЯ.

Ощущения, однажды испытанные, изменяют нервный организм, так что их копии снова возникают в сознании после того, как первоначальный внешний стимул исчезает.

Однако в сознании не может возникнуть ни одной ментальной копии любого вида ощущений, которые никогда не были непосредственно вызваны извне.

Слепые могут мечтать о зрелищах, глухие - о звуках в течение многих лет после того, как они потеряли зрение или слух;[49] но человека, *родившегося* глухим, никогда нельзя заставить представить себе, на что похож звук, и у человека, *родившегося* слепым, никогда не может возникнуть мысленное видение. По словам Локка, которые уже цитировались, "разум не может создать для себя ни одной новой простой идеи". Оригиналы всех этих идей должны быть даны извне. Фантазия, или воображение, - это названия способности воспроизводить копии оригиналов, которые были однажды прочувствованы. Воображение называют "репродуктивным", когда копии буквальны; "продуктивным", когда элементы из разных оригиналов перекомбинируются так, чтобы получились новые целые.

Послеобразы относятся скорее к ощущениям, чем к воображению; поэтому наиболее непосредственными явлениями воображения, по-видимому, являются те запоздалые образы (обусловленные тем, что немцы называют *Sinnesgedächtniss*), о которых говорилось в т. I, с. 617, - принудительные преследования сознания отголосками необычных переживаний в течение нескольких часов после того, как последние имели место. Феномены, которые обычно приписывают воображению, - это, однако, те мысленные картины возможных чувственных переживаний, к которым приводят обычные процессы ассоциативного мышления.

Будучи представленными в достаточно конкретном окружении, чтобы составить *дату*, эти картины, когда они оживают, образуют *воспоминания*. Мы уже изучали механизм воспоминаний в главе XVI. Когда мысленные образы состоят из данных, свободно комбинируемых и не воспроизводящих в точности ни одну из прошлых комбинаций, мы имеем акты воображения, правильно названные так.

НАШИ ОБРАЗЫ ОБЫЧНО РАСПЛЫВЧАТЫ.

Для обычной "аналитической" психологии каждый чувственно различимый элемент воображаемого объекта представлен отдельной идеей, а весь объект воображается "скоплением" или "бандой" идей. Мы уже видели множество причин, чтобы отвергнуть эту точку зрения (см. т. I, с. 276 и далее). Воображаемый объект, каким бы сложным он ни был, в любой момент мыслится в одной идее, которая осознает все его качества вместе. Если я соскользну в обычную манеру разговора и скажу, что различные идеи "сочетаются", читатель поймет, что это лишь для популярности и удобства, и не станет понимать это как уступку атомистической теории в психологии.

Юм был героем атомистической теории. Идеи были не только копиями первоначальных впечатлений, произведенных на органы чувств, но и, по его мнению, совершенно адекватными копиями, причем все они были настолько отделены друг от друга, что не имели никакой связи. Юм доказывает, что идеи в воображении являются полностью адекватными копиями, не с помощью наблюдения, а с помощью *априорных* рассуждений, следующим образом:

"Разум не может сформировать никакого понятия о количестве или качестве, не сформировав точного понятия о степенях каждого из них", ибо "признано, что ни один объект не может явиться чувствам; или, другими словами, что ни одно впечатление[50] не может стать настоящим для разума, не будучи определенным в своих степенях как количества, так и качества. Путаница, в которую иногда вовлекаются впечатления, происходит только от их слабости и неустойчивости, а не от способности разума принимать впечатления, которые в своем реальном существовании не имеют ни определенной степени, ни пропорции. Это противоречие в терминах; и даже подразумевает самое плоское из всех противоречий, а именно, что "одна и та же вещь может как быть, так и не быть". Так как все идеи происходят от впечатлений и являются лишь их копиями и репрезентациями, то все, что верно в отношении одного, должно быть признано и в отношении другого. Впечатления и идеи различаются только по силе и живости. Вышеприведенный вывод не основан на какой-либо конкретной степени живости. Поэтому на него не могут повлиять никакие изменения в этой области. Идея - это более слабое впечатление; и поскольку сильное впечатление обязательно должно иметь определенное количество и качество, то и с его копией или представителем дело обстоит точно так же".[51]

Малейший интроспективный взгляд покажет любому человеку ошибочность этого мнения. Юм, несомненно, имел образы своих произведений, не видя отчетливо каждое слово и каждую букву на страницах, которые проплывали перед его мысленным взором. Поэтому его сентенция - изящный пример того, как человек может быть ослеплен *априорными* теориями в отношении самых вопиющих фактов. Весьма примечательно, что психологи эмпирической школы самого Юма, как правило, были более виновны в этой слепоте, чем их оппоненты. Фундаментальные *факты* сознания в целом были более точно освещены спиритуалистическими авторами. Ни один из учеников Юма, насколько мне известно, вплоть до Тейна и Хаксли, никогда не брал на себя труд опровергнуть мнение своего учителя. Профессор Хаксли в своей блестящей работе о Юме изложил суть дела следующим образом:

"Когда сложные впечатления или сложные идеи воспроизводятся в памяти, вероятно, что копии никогда не передают все детали оригинала с идеальной точностью, и уж точно они редко делают это. Никто не обладает настолько хорошей памятью, чтобы, если он наблюдал природный объект только один раз, повторный осмотр не показал ему того, что он забыл. Поэтому почти все, если не все, наши воспоминания - это скорее наброски, чем портреты оригиналов: основные черты очевидны, а второстепенные - неясны или не представлены.

"Теперь, когда несколько сложных впечатлений, более или менее отличающихся друг от друга - скажем, что из десяти впечатлений в каждом шесть одинаковы, а четыре отличаются от всех остальных, - последовательно предъявляются уму, легко понять, каков должен быть характер результата. Повторение шести одинаковых впечатлений усилит шесть соответствующих элементов сложной идеи, которая, таким образом, приобретет большую яркость; в то время как четыре различных впечатления каждого не только не приобретут большей силы, чем имели вначале, но, в соответствии с законом ассоциации, все они будут иметь тенденцию появляться одновременно и, таким образом, нейтрализуют друг друга.

"Эту умственную операцию можно понять, рассмотрев, что происходит при создании составных фотографий - когда изображения лиц шести посетителей, например, получают на одной и той же фотопластинке в течение шестой части

времени, необходимого для съемки одного портрета. В результате все те моменты, в которых шесть лиц сходятся, подчеркиваются, а все те, в которых они различаются, остаются неясными; таким образом, получается то, что можно назвать *общим* портретом шести человек, в отличие от *конкретного* портрета любого из них.

"Таким образом, наши представления о единичных сложных впечатлениях неполны в одном смысле, а о многочисленных, более или менее сходных сложных впечатлениях - в другом; то есть они *общие*, а не *конкретные*. Отсюда следует, что наши представления о рассматриваемых впечатлениях не являются, в строгом смысле слова, копиями этих впечатлений; в то же время они могут существовать в сознании независимо от языка.

"Общие идеи, которые формируются из нескольких схожих, но не идентичных сложных переживаний, называются *абстрактными* или *общими* идеями; и Беркли попытался доказать, что все общие идеи - это не что иное, как конкретные идеи, приложенные к определенному термину, который придает им более широкое значение и заставляет их вспоминать, по случаю, другие личности, которые похожи на них. Хьюм говорит, что считает это "одним из величайших и ценнейших открытий, которые были сделаны в последние годы в литературной республике", и стремится подтвердить его таким образом, чтобы "поставить вне всяких сомнений и споров".

"Я могу осмелиться выразить сомнение, преуспел ли он в своей цели; но тема эта заумная, и я должен довольствоваться замечанием, что хотя взгляд Беркли, по-видимому, в значительной степени применим к таким общим идеям, которые формируются после приобретения языка, и ко всем более абстрактным видам концепций, тем не менее общие идеи о чувственных объектах могут быть получены указанным способом и могут существовать независимо от языка. Во сне человек видит дома, деревья и другие объекты, которые вполне узнаваемы как таковые, но напоминают реальные предметы, увиденные "краем глаза", или картины, отбрасываемые плохо сфокусированным волшебным фонарем. К нам обращается человек, похожий на фигуру, увиденную в сумерках; или мы путешествуем по странам, где каждая черта пейзажа расплывчата; очертания холмов плохо обозначены, а реки не имеют определенных берегов. Короче говоря, это общие представления о многих прошлых впечатлениях о людях, холмах и реках. Анатом, который сосредоточенно изучает несколько экземпляров нового вида животных, со временем приобретает настолько яркое представление о его форме и строении, что эта идея может принять зримые очертания и стать своего рода сном наяву. Но образ, который при этом возникает, является родовым, а не конкретным. Это не копия какого-то одного образца, а более или менее среднее звено серии; и, кажется, нет причин сомневаться в том, что умы детей, прежде чем они научатся говорить, и глухонемых населены аналогичными родовыми представлениями о разумных объектах".[52]

Являются ли расплывчатые образы "абстрактными идеями"?

Единственный момент, который я склонен критиковать в этом изложении, - это отождествление профессором Хаксли *этих общих образов с "абстрактными или общими идеями"* в смысле универсальных представлений. Тейн дает более верную точку зрения. Он пишет

"Несколько лет назад я впервые увидел в Англии, в Кью-Гарденс, араукарию, и я шел вдоль клумб, глядя на эти странные растения с их жесткой корой и компактными, короткими, чешуйчатыми листьями мрачного зеленого цвета, чья резкая, грубая,

щетилистая форма врезалась в тонкую мягко освещенную дернину свежей травяной площадки. Если я теперь поинтересуюсь, что оставил во мне этот опыт, то найду, во-первых, разумное представление араукарии; фактически, я смог почти точно описать форму и цвет растения. Но между этим представлением и прежними ощущениями, отголоском которых оно является, есть разница. Внутреннее подобие, на основе которого я только что сделал свое описание, расплывчато, а мои прошлые ощущения были точными. Ибо, несомненно, каждая из араукарий, которые я тогда видел, вызывала во мне отчетливое зрительное ощущение; в природе нет двух абсолютно одинаковых растений; я наблюдал, возможно, двадцать или тридцать араукарий; без сомнения, каждая из них отличалась от других размером, обхватом, более или менее тупыми углами ветвей, более или менее резким выступом чешуи, стилем текстуры; следовательно, мои двадцать или тридцать зрительных ощущений были разными. Но ни одно из этих ощущений не сохранилось полностью в своем отголоске; двадцать или тридцать возродившихся ощущений притупили друг друга; таким образом, расстроенные и склеенные своим сходством, они смешались вместе, и мое нынешнее представление - это только их остаток. Это продукт, или, скорее, фрагмент, который откладывается в нас, когда мы проходим через ряд схожих фактов или личностей. Из многочисленных переживаний на следующий день остается четыре или пять более или менее отчетливых воспоминаний, которые, стершись, оставляют после себя простое бесцветное, смутное представление, в которое входят как компоненты различные оживающие ощущения, в совершенно слабом, неполном и угасшем состоянии. *Оно лишь сопровождает ее и, если можно так выразиться, является рудой, из которой она добывается.* Ибо представление, хотя и плохо набросанное, - это эскиз, разумный эскиз отдельного индивидуума..... Более того, моя абстрактная идея совершенно ясна и определена; теперь, когда я обладаю ею, я никогда не перестану узнавать араукарию среди различных растений, которые мне показывают; она отличается от смутного и плавающего представления, которое я имею о какой-то конкретной араукарии".[53]

Другими словами, размытая картинка - это такой же единичный ментальный факт, как и четкая картинка; и *использование любой из картинок разумом для символизации целого класса людей - это новая ментальная функция*, требующая иной модификации сознания, чем простое восприятие того, что картинка четкая или нет. Я могу сокрушаться по поводу нечеткости моего мысленного образа отсутствующего друга. Однако это не мешает моей мысли иметь в виду только его. Я могу иметь в виду все человечество, но при этом в моем сознании может быть очень четкий образ одного человека. Значение является функцией более "переходных" частей сознания, "бахромы" отношений, которые мы ощущаем вокруг образа, будь он резким или тусклым. Это было объяснено в предыдущем месте (см. т. I, с. 473 и далее, особенно примечание к с. 477), и я бы вообще не стал касаться этого вопроса здесь, если бы не его исторический интерес.

Наши представления или образы прошлого чувственного опыта могут быть либо отчетливыми и адекватными, либо тусклыми, размытыми и неполными. Вполне вероятно, что разная степень, в которой разные люди способны сделать их четкими и полными, имеет отношение к поддержанию таких философских споров, как спор Беркли с Локком по поводу абстрактных идей. Локк говорил о том, что мы обладаем "общим представлением о треугольнике", который "не должен быть ни косым, ни прямоугольным, ни равнобедренным, ни равнобедренным, ни скаленовым, но всем и ничем одновременно". Беркли заявляет:

"Если кто-либо обладает способностью формировать в своем уме такое представление о треугольнике, как здесь описано, то напрасно пытаться оспорить его, да и я не стану об этом. Все, чего я хочу, - это чтобы читатель полностью и определенно выяснил, есть ли у *него* такая идея или нет".[\[54\]](#)

До недавнего времени все философы полагали, что существует некий типичный человеческий разум, на который похожи все индивидуальные умы, и что о таких способностях, как "воображение", можно сделать универсальные выводы. В последнее время, однако, на нас обрушилась масса откровений, которые заставляют нас понять, насколько ложной является эта точка зрения. Существуют воображения, а не "Воображение", и их необходимо изучать в деталях.

ЛЮДИ РАЗЛИЧАЮТСЯ ПО ВООБРАЖЕНИЮ.

Первым прорывом в этом направлении стал Фехнер в 1860 году. Фехнер был одарен необычным талантом субъективного наблюдения, и в главе xliv своей "Психофизики" он привел результаты тщательнейшего сравнения своих собственных оптических послеобразов с оптическими картинками памяти, вместе с отчетами нескольких других людей об их оптических картинках памяти.[\[55\]](#) В результате было показано огромное личное разнообразие. "Было бы интересно", - пишет он, - "разработать эту тему статистически; и я сожалею, что другие занятия помешали мне осуществить мое прежнее намерение действовать таким образом".

Намерение Фехнера было независимо осуществлено мистером Гальтоном, публикация результатов которого в 1880 году, можно сказать, стала эпохой в описательной психологии.

"Нет необходимости, - говорит Гальтон, - беспокоить читателя моими первыми предварительными шагами. После того как исследование было достаточно начато, оно приняло форму представления определенного количества напечатанных вопросов большому числу людей. Вряд ли можно найти более трудную задачу, чем составление вопросов, которые не могут быть неправильно поняты, на которые можно легко ответить и которые охватывают всю суть исследования. Я сделал все возможное в этом отношении, не забыв о самом важном - а именно, склонить моих корреспондентов к свободному письму с более полным объяснением своих ответов, а также на смежные темы. Эти отдельные письма оказались гораздо более поучительными и интересными, чем ответы на заданные вопросы.

"Первая группа довольно длинной серии запросов касалась освещения, определения и окраски мысленного образа и была сформулирована следующим образом:

"Прежде чем ответить на любой из вопросов, приведенных на противоположной странице, подумайте о каком-нибудь определенном объекте - предположим, это ваш стол для завтрака, за который вы сели сегодня утром, - и внимательно рассмотрите картину, которая возникнет перед вашим мысленным взором".

"1. *Освещенность*. Тусклое или достаточно четкое изображение? Сопоставима ли его яркость с яркостью реальной сцены?

"2. *Четкость*. - Все ли объекты хорошо определены в одно и то же время, или место наиболее четкого определения в какой-то момент более сжато, чем в реальной сцене?

"3. *Цвета* фарфора, тостов, хлебной корочки, горчицы, мяса, петрушки или чего-либо другого, что могло быть на столе, достаточно отчетливы и естественны?

"Первые результаты моего расследования поразили меня. Я начал с опроса друзей из научного мира, поскольку они были наиболее склонны давать точные ответы относительно этой способности к визуализации, , о которой постоянно говорят романисты и поэты, которая оставила неизгладимый след в словарях всех языков , и которая служит материалом, из которого строятся сны и хорошо известные галлюцинации больных людей.

"К своему изумлению, я обнаружил, что подавляющее большинство ученых, к которым я впервые обратился, заявили, что психические образы им неизвестны, и смотрели на меня как на фантаста, полагая, что слова "психические образы" действительно выражают то, что, по моему мнению, все их подразумевают. У них было не больше представлений о его истинной природе, чем у дальтоника, который не видит своего дефекта, о природе цвета. У них был умственный недостаток, о котором они не подозревали, и, естественно, предполагали, что те, кто утверждал, что обладает им, были романтиками. Чтобы проиллюстрировать их умственные установки, достаточно привести несколько строк из письма одного из моих корреспондентов, который пишет

"Эти вопросы предполагают согласие с каким-то предложением относительно "глаза разума" и "образов", которые он видит..... Это указывает на некоторое изначальное заблуждение.... Только с помощью фигуры речи я могу описать свое воспоминание о сцене как "мысленный образ", который я могу "увидеть" своим "умом"... Я не вижу ее... не больше, чем человек видит тысячу строк Софокла, которые он готов повторить под давлением. Память владеет им" и т. д.

"Примерно такой же результат дали мне расспросы, сделанные моим другом среди членов Французского института.

"С другой стороны, когда я разговаривал с людьми, которых встречал в обществе, я обнаружил, что преобладает совершенно иная позиция. *Многие мужчины и еще большее число женщин, а также многие мальчики и девочки заявили, что они привычно видят мысленные образы, и что они совершенно отчетливы для них и полны красок.* Чем больше я давил на них и переспрашивал, изображая недоверчивость, тем очевиднее становилась истинность их первых утверждений. Они описывали свои образы в мельчайших подробностях и говорили тоном удивления по поводу моих явных колебаний в принятии их слов. Я чувствовал, что и сам должен был бы говорить точно так же, как они, если бы описывал сцену, представшую перед моими глазами среди бела дня, слепому человеку, который упорно сомневался в реальности зрения. Успокоенный этим счастливым опытом, я возобновил свои расспросы среди ученых людей и вскоре нашел разрозненные примеры того, что я искал, хотя и не в таком изобилии, как в других местах. Затем я более широко распространил свои вопросы среди моих друзей и через их руки получил ответы... от лиц обоих полов и разных возрастов, а в конце концов - от случайных корреспондентов почти во всех цивилизованных странах.

"Я также получил партии ответов из различных учебных заведений как в Англии, так и в Америке, которые были сделаны после того, как учителя полностью объяснили смысл вопросов и заинтересовали ими мальчиков. Они обладают достоинством ответов, полученных в результате всеобщей переписи населения, чего не хватает другим моим данным, потому что я не могу ни на минуту предположить, что авторы

этих ответов составляют бессистемную часть тех, кому они были посланы. В самом деле, я знаю некоторых, которые отрицают всякое обладание этой способностью, и многих других, которые, обладая ею в слишком слабой степени, чтобы позволить им выразить свои переживания в удовлетворительной для себя манере, вообще не присылали ответов. Тем не менее, было отмечено значительное статистическое сходство между наборами ответов, предоставленных школьниками, и теми, которые прислали мои отдельные корреспонденты, и я могу добавить, что они согласуются в этом отношении с устной информацией, которую я получил в других местах. Соответствие ответов из столь разных источников, которое было очевидно с самого начала, тот факт, что их очевидная достоверность в целом значительно возросла в результате перекрестного допроса (хотя я мог бы привести один или два забавных случая полочки), и очевидные усилия, предпринятые для того, чтобы дать точные ответы, убедили меня в том, что получить достоверные ответы на психологические вопросы гораздо проще, чем я предполагал. Многие люди, особенно женщины и умные дети, получают удовольствие от самоанализа и стараются изо всех сил объяснить свои психические процессы. Я думаю, что удовольствие от самоанализа должно быть сильной составляющей того удовольствия, которое, как говорят, многие получают, исповедуясь священникам".

"Итак, мы имеем два довольно примечательных результата: первый - это доказанная возможность статистического проникновения в процессы, происходящие в умах других людей, какие бы *априорные* возражения ни выдвигались против такой возможности; и второй - то, что ученые люди, как класс, обладают слабыми способностями к визуальному представлению. По последнему пункту нет никаких сомнений, как бы он ни объяснялся. Мой собственный вывод заключается в том, что чрезмерная готовность к восприятию четких мысленных образов антагонистична приобретению привычки к высоко обобщенному и абстрактному мышлению, особенно когда шаги рассуждения осуществляются с помощью слов как символов, и что если способность видеть картины когда-либо была у людей, которые много думают, то она очень склонна быть утраченной в результате неупотребления. Самые высокие умы, вероятно, те, в которых она не утрачена, а подчинена и готова к использованию в подходящих случаях. Однако я вынужден сказать, что отсутствующая способность, по-видимому, заменяется другими способами восприятия, в основном, как я полагаю, связанными с зарождающимся двигательным чувством, не только глазных яблок, но и мышц в целом, так что *люди, которые объявляют себя полностью лишенными способности видеть мысленные картины, тем не менее могут давать реалистичные описания того, что они видели, и могут выражать себя так, как если бы они были одарены ярким зрительным воображением. Они также могут стать художниками ранга королевских академиков.....* [56]

"Ошибочно полагать, что острое зрение сопровождается четкой зрительной памятью. Я знаю не мало примеров, в которых подчеркивается независимость этих двух способностей; и у меня есть по крайней мере один случай, когда большой интерес к очертаниям и точная оценка прямоты, квадратности и т. п. не сопровождаются способностью к визуализации. Эта способность также не сопровождается мечтательностью. У меня есть случаи, когда она очень сильна, и в то же время сны редки и слабы или вовсе отсутствуют. Один друг говорит мне, что его сны не имеют и сотой доли той силы, что его фантазии в бодрствовании.

"Визуализирующие и идентифицирующие способности отнюдь не обязательно сочетаются. Один выдающийся писатель, пишущий на метафизические темы, уверяет меня, что он исключительно быстро узнает лицо, которое видел раньше, но не может вызвать мысленный образ любого лица с ясностью.

"Некоторые люди обладают способностью объединять в одном восприятии больше, чем может быть увидено в один момент двумя глазами.....

"Я обнаружил, что несколько человек могут с помощью того, что они часто описывают как своего рода осязание, визуализировать в один и тот же момент все вокруг изображения твердого тела. Многие могут сделать это почти, но не полностью вокруг земного шара. Выдающийся минералог уверяет меня, что он способен представить себе одновременно все грани кристалла, с которым он знаком. Позвольте мне процитировать одну любопытную способность, которой я обладаю в связи с этим. Она проявляется лишь изредка, во сне или, скорее, в кошмарах, но в этих обстоятельствах я прекрасно осознаю, что могу охватить целую сферу одним восприятием. Кажется, что она находится в пределах моего умственного глазного яблока и рассматривается центростремительно".

"Эта способность к постижению практически достигается во многих случаях косвенными методами. Это обычный подвиг - охватить все окружение воображаемой комнаты с такой быстротой, что остается сомнение, не было ли оно просмотрено одновременно. Некоторые люди имеют привычку рассматривать объекты как частично прозрачные; таким образом, если они так расположат в своем воображении земной шар, чтобы одновременно видеть его северный и южный полюса, они не смогут увидеть его экваториальные части. Они также могут воспринимать все комнаты воображаемого дома одним мысленным взглядом, причем стены и пол в них как будто сделаны из стекла. Четвертый класс людей имеет привычку вспоминать сцены не с той точки зрения, с которой они наблюдались, а с расстояния, и они представляют себя актерами на мысленной сцене. Тем или иным способом способность видеть объект целиком, а не только один его аспект, присуща многим людям.

"Место, в котором возникает образ, сильно различается. Большинство людей видят его в неопределенном виде, другие - перед глазами, третьи - на расстоянии, соответствующем реальности. Существует способность, которая редко встречается в природе, но, как я полагаю, может быть приобретена без особого труда, проецировать мысленную картину на лист бумаги и удерживать ее там, чтобы ее можно было очертить карандашом. К этому я еще вернусь.

"Обычно образы не становятся сильнее, если на них заикливаться; первая мысль обычно самая энергичная, но так бывает не всегда. Иногда мысленное представление о местности неразрывно связано с ощущением ее положения по отношению к точкам компаса, реальным или воображаемым. Из разных источников я получал полные и любопытные описания этой сильной географической тенденции, и в одном или двух случаях у меня есть основания считать ее связанной со значительной способностью к географическому пониманию.

"Способность к визуализации выше у женского пола, чем у мужского, и несколько, но не намного, выше у мальчиков-школьников, чем у мужчин. После достижения зрелости дальнейшее увеличение возраста, судя по многочисленным заявлениям на этот счет, не ослабляет способности, а скорее наоборот; однако преклонный возраст иногда сопровождается растущей привычкой к тяжелому абстрактному

мышлению, и в этих случаях - нередких среди тех, кого я опрашивал, - способность, несомненно, ослабевает. Есть основания полагать, что она очень высока у некоторых маленьких детей, которые, похоже, тратят годы на то, чтобы с трудом проводить различие между субъективным и объективным миром. Язык и изучение книг, безусловно, способствуют его притуплению.

"Способность к визуализации - это природный дар, и, как и все природные дары, она имеет тенденцию передаваться по наследству. В этом даре тенденция к наследованию исключительно сильна, чему у меня есть множество доказательств, особенно в отношении некоторых довольно редких особенностей,... которые, если они вообще существуют, обычно встречаются среди двух, трех или более братьев и сестер, родителей, детей, дядей и тетей, а также двоюродных братьев и сестер".

"Поскольку семьи так сильно различаются в отношении этого дара, мы можем предположить, что расы также будут различаться, и нет никаких сомнений, что так оно и есть. Мне не хотелось бы говорить о цивилизованных народах, поскольку их природные способности слишком сильно изменены воспитанием, чтобы можно было оценивать их вскользь. Однако я могу сказать о французах, которые, похоже, обладают способностью к визуализации в высокой степени. Особые способности, которые они демонстрируют в организации церемоний и *праздников* всех видов, а также их несомненный гений в тактике и стратегии, показывают, что они способны предвидеть последствия с необычайной четкостью. Их изобретательность во всех технических приспособлениях является дополнительным свидетельством в том же направлении, как и их необыкновенная ясность выражения. Их фраза "figurez-vous", или "представь себе", кажется, выражает их доминирующий способ восприятия. Наш эквивалент слова "воображать" неоднозначен.

"Я знаю много случаев, когда люди мысленно считывали партитуры при игре на фортепиано или рукописи при произнесении речей. Один государственный деятель уверял меня, что некоторая нерешительность в произнесении речи, которая у него иногда возникает, объясняется тем, что его мучает образ его рукописной речи с оригинальными подчистками и исправлениями. Он не может избавиться от этого призрака и ломает голову, пытаясь его расшифровать.

"Некоторые немногие люди мысленно видят в печатном виде каждое произнесенное слово; они обращают внимание на визуальный эквивалент, а не на звук слов, и считывают их обычно с длинной воображаемой полосы бумаги, такой, какую разматывают с телеграфных аппаратов".

Более подробную информацию читатель найдет в книге мистера Гальтона "Исследования человеческих способностей", стр. 83-114.^[57] Я сам в течение многих лет собирал у каждого из моих студентов-психологов описания их собственного визуального воображения; и нашел (вместе с некоторыми любопытными идиосинкразиями) подтверждение всех вариаций, о которых сообщает мистер Гальтон. В качестве примера я привожу выдержки из двух случаев, находящихся на разных концах шкалы. Авторы - двоюродные братья, внуки выдающегося ученого. Тот, кто хорошо визуализирует, рассказывает:

"Сегодня утром стол для завтрака одновременно тусклый и яркий; он тусклый, если я пытаюсь думать о нем, когда мои глаза открыты на какой-либо предмет; он совершенно ясный и яркий, если я думаю о нем с закрытыми глазами. Все предметы сразу ясны, но когда я ограничиваю свое внимание каким-либо одним предметом,

он становится гораздо более отчетливым. Цвет всего, что стояло на столе, совершенно яркое. - Объем моих изображений почти не ограничен: Я могу видеть все четыре стороны комнаты, я могу видеть все четыре стороны двух, трех, четырех, даже более комнат с такой отчетливостью, что если бы вы спросили меня, что находится на каком-либо определенном месте в любой из них, или попросили бы меня сосчитать стулья и т.д., я мог бы сделать это без малейшего колебания. - Чем больше я учу наизусть, тем более ясно я вижу образы моих страниц. Еще до того, как я смогу прочесть строки, я вижу их так, что могу очень медленно передать их слово в слово, но мой ум настолько занят разглядыванием напечатанного изображения, что я не имею ни малейшего представления о том, что я говорю, о смысле этого и т. д. Когда я впервые столкнулся с этим, я думал, что это просто потому, что я плохо знаю строки; но я полностью убедил себя, что я действительно вижу изображение. Самым сильным доказательством того, что это действительно так, я считаю следующее:

"Я могу смотреть вниз с мысленно увиденной страницы и видеть слова, с *которых начинаются* все линии, и от любого из этих слов я могу продолжить линию. Я нахожу, что это гораздо легче сделать, если слова начинаются по прямой линии, чем если есть разрывы". Пример:

Étant fait....

Tous....

A des....

Que fit....

Céres....

Avec....

Un fleur....

Comme....

(Лафонтен 8. iv.)".

Плохой визуализатор заявляет:

"Моя способность формировать мысленные образы, судя по тому, что я изучил образы других людей, кажется дефектной и несколько своеобразной. Процесс, посредством которого я, кажется, запоминаю какое-либо конкретное событие, не является серией отдельных образов, но своего рода панорамой, слабые впечатления от которой ощутимы сквозь густой туман; я не могу закрыть глаза и получить отчетливый образ кого-либо, хотя раньше, несколько лет назад, мне это удавалось, и эта способность, кажется, постепенно исчезла. - В моих самых ярких снах, где события выглядят как самые реальные факты, меня часто беспокоит тусклость зрения, из-за которой образы кажутся нечеткими. - Что касается стола для завтрака, то в нем нет ничего определенного. Все расплывчато. Я не могу сказать, *что* я вижу. Я не могу сосчитать стулья, но знаю, что их десять. Я ничего не вижу в деталях. Главное - это общее впечатление, что я не могу точно сказать, что я вижу. Насколько я могу вспомнить, цвета примерно те же, только очень сильно размытые. Пожалуй, единственный цвет, который я вижу отчетливо, - это цвет скатерти, и я мог бы, наверное, увидеть цвет обоев, если бы мог вспомнить, какого они цвета".

Человеку, у которого сильно развито зрительное воображение, трудно понять, как те, кто лишен этой способности, вообще могут думать. *У некоторых людей, несомненно, вообще нет зрительных образов, достойных этого названия,* [58] и вместо того, чтобы увидеть свой стол для завтрака, они говорят вам, что *помнят* его или *знают*, что на нем было. Это

знание и воспоминание происходит, несомненно, с помощью вербальных образов, как уже объяснялось в главе IX, с. 265-6.

Изучение афазии (см. т. I, с. 54) в последние годы показало, насколько неожиданно велики различия между людьми в отношении воображения. И в то же время расхождения между поражением и симптомами в разных случаях заболевания были в значительной степени прояснены. У некоторых людей привычные "мыслительные материалы", если их можно так назвать, являются зрительными, у других - слуховыми, артикуляционными или двигательными; у большинства, пожалуй, они равномерно перемешаны. Одно и то же локальное повреждение головного мозга должно привести к разным практическим результатам у людей, которые отличаются друг от друга таким образом. В одном случае она выведет из строя очень часто используемый мозговой тракт, в другом может затронуть неважную область. Особенно поучительный случай был опубликован Шарко в 1883 году.^[59] Пациент был

Мистер Х., купец, родившийся в Вене, высокообразованный, владеющий немецким, испанским, французским, греческим и латынью. До начала болезни, которая привела его к профессору Шарко, он читал Гомера наизусть. Он мог, начав с любого стиха из первой книги "Илиады", без колебаний повторить наизусть следующие стихи. Вергилий и Гораций были ему знакомы. Он также знал достаточно современного греческого для деловых целей. В течение года (с того момента, как его увидел Шарко) он обладал исключительной *зрительной* памятью. Он не успевал подумать о людях или вещах, как черты, формы и цвета возникали перед ним с такой же ясностью, четкостью и точностью, как если бы предметы стояли перед ним. Когда он пытался вспомнить какой-нибудь факт или цифру из своей объемистой полиглотской переписки, перед ним появлялись сами письма со всем их содержанием, неровностями, подчистками и прочим. В школе он декламировал с мысленно увиденной страницы, с которой считывал строку за строкой и букву за буквой. При вычислениях он мысленно проводил глазами по воображаемым столбцам цифр и выполнял таким образом самые разнообразные арифметические действия. Он никогда не мог вспомнить отрывок из пьесы, чтобы перед ним не возникла вся сцена, сцена, актеры и зрители. Он был большим путешественником. Будучи хорошим рисовальщиком, он зарисовывал понравившиеся ему виды, и его память всегда точно воспроизводила весь пейзаж. Если он вспоминал разговор, высказывание, помолвку, то перед его мысленным взором вставали место, люди, вся сцена.

Его *слуховая память* всегда была неполноценной или, по крайней мере, второстепенной. У него не было музыкального вкуса.

За полтора года до обследования, после деловых тревог, потери сна, аппетита и т. д., он вдруг в один прекрасный день заметил в себе необычайную перемену. После полного замешательства наступил резкий контраст между его прежним и новым состоянием. Все вокруг казалось таким новым и чужим, что сначала он подумал, что, должно быть, сходит с ума. Он был нервным и раздражительным. Хотя он видел все вещи отчетливо, он полностью утратил память на формы и цвета. Убедившись в этом, он убедился в своей вменяемости. Вскоре он обнаружил, что может вести свои

дела, используя свою память совершенно по-новому. Теперь он может четко описать разницу между двумя своими состояниями.

Каждый раз, когда он возвращается в А., откуда его часто вызывают дела, ему кажется, что он попадает в незнакомый город. Он рассматривает памятники, дома и улицы с таким же удивлением, как если бы увидел их впервые. Постепенно, однако, память возвращается, и он снова чувствует себя как дома. Когда его попросили описать главное общественное место города, он ответил: "Я знаю, что оно есть, но представить его невозможно, и я ничего не могу вам о нем рассказать". Он часто рисовал порт А. Сегодня он тщетно пытается проследить его основные очертания. Когда его просят нарисовать минарет, он задумывается, говорит, что это квадратная башня, и грубо рисует четыре линии: одну для земли, одну для верха и две для сторон. На просьбу нарисовать аркаду он отвечает: "Я помню, что она состоит из полукруглых арок и что две из них, встречаясь под углом, образуют свод, но как это *выглядит*, я совершенно не представляю". Профиль человека, который он нарисовал по просьбе, был как будто нарисован маленьким ребенком; и все же он признался, что ему помогло нарисовать его разглядывание прохожих. Точно так же он нарисовал бесформенные каракули для дерева.

Лица жены и детей он помнит не лучше, чем портрет А. Даже после того, как он побыл с ними некоторое время, они кажутся ему необычными. Он забывает собственное лицо, а однажды заговорил со своим изображением в зеркале, приняв его за незнакомца. Он жалуется на потерю чувства цвета. "У моей жены черные волосы, это я знаю; но я не могу вспомнить их цвет, как не могу вспомнить ее лицо и черты". Эта зрительная амнезия распространяется и на предметы из детства - отцовский особняк и т. д., забытые.

Никаких других расстройств, кроме этой потери зрительных образов. Теперь, когда он ищет что-то в своей переписке, ему приходится рыться среди писем, как другим людям, пока он не встретит отрывок. Он может вспомнить только несколько первых стихов "Илиады" и должен *нащупать*, чтобы прочитать Гомера, Вергилия и Горация. Цифры, которые он добавляет, он должен теперь шептать про себя. Он ясно осознает, что должен помочь своей памяти слуховыми образами, что он и делает с усилием. *Слова и выражения, которые он вспоминает, теперь кажутся эхом в его ухе, что является для него совершенно новым ощущением.* Если он хочет выучить наизусть что-либо, например, ряд фраз, он должен *прочитать их несколько раз вслух*, чтобы произвести впечатление на слух. Когда впоследствии он повторяет то, о чем идет речь, в его сознании возникает ощущение внутреннего слуха, которое предшествует артикуляции. Раньше это чувство было ему неизвестно. Он свободно говорит по-французски, но утверждает, что больше не может думать по-французски, а должен получать французские слова, переводя их с испанского или немецкого, языков своего детства. Он больше не видит визуальных снов, а только слова, обычно испанские. У него наблюдается определенная степень вербальной слепоты - ему мешает греческий алфавит и т. д. [60]

Если бы этот пациент с самого начала обладал слуховым типом воображения, очевидно, что повреждение, каким бы оно ни было, его центров оптического воображения, повлияло бы на его практическую жизнь гораздо менее глубоко.

"Слуховой тип, - пишет М. А. Бине, [61], - *встречается реже, чем зрительный.*

Люди этого типа представляют себе то, о чем думают, на языке звуков. Чтобы запомнить урок, они воспроизводят в памяти не вид страницы, а звучание слов. Они

рассуждают, а также запоминают на слух. При мысленном сложении они устно повторяют названия фигур и добавляют, так сказать, звуки, не задумываясь о графических знаках. Воображение также принимает слуховую форму. "Когда я пишу сцену, - говорил Легуве Скрибу, - я *слышу*, а вы *видите*. В каждой фразе, которую я пишу, до моего слуха доносится голос говорящего человека". *Вы, которые занимаетесь театром*, ваши актеры ходят, жестикулируют перед вашими глазами; я - *слушатель*, вы - *зритель*". "Ничего более верного, - сказал Скриб, - знаете ли вы, где я нахожусь, когда пишу пьесу? Посреди партера". Понятно, что *чистый аудиал*, стремящийся развить только одну из своих способностей, может, как и чистый визуал, совершать поразительные подвиги памяти - Моцарт, например, записал по памяти *Мизерере* Сикстинской капеллы после двух прослушиваний; глухой Бетховен, сочиняя и внутренне повторяя свои огромные симфонии. С другой стороны, человек слухового типа, как и зрительного, подвергается серьезным опасностям; ведь если он теряет слуховые образы, то остается без ресурсов и полностью разрушается.

"Возможно, что люди с галлюцинациями слуха и , страдающие манией, что они жертвы преследования, могут принадлежать к слуховому типу; и что преобладание определенного вида воображения может предрасполагать к определенному порядку галлюцинаций, а возможно, и к бреду".

"Остается *моторный тип* - возможно, самый интересный из всех, и уж точно тот, о котором известно меньше всего. Люди, принадлежащие к этому типу [*les moteurs*, по-французски, *motiles*, как мистер Гальтон предлагает называть их по-английски], используют в памяти, рассуждениях и всех своих интеллектуальных операциях образы, полученные в результате движения. Чтобы понять этот важный момент, достаточно вспомнить, что "все наши восприятия, и в особенности такие важные, как зрение и осязание, содержат в качестве неотъемлемых элементов движения наших глаз и конечностей; и если движение является существенным фактором при реальном восприятии объекта, оно должно быть столь же существенным фактором, когда мы видим тот же объект в воображении" (Рибо).^[62] Например, сложное впечатление от мяча, который находится в нашей руке, является результатом оптических впечатлений от осязания, мускульных настроек глаза, движений пальцев и мышечных ощущений, которые они вызывают. Когда мы представляем себе мяч, его образ должен включать в себя образы этих мышечных ощущений, так же как и образы ощущений сетчатки и эпидермиса. Они образуют множество *двигательных образов*. Если раньше их существование не признавалось, то это потому, что наши знания о мышечных ощущениях появились сравнительно недавно. В старых психологиях оно никогда не упоминалось, а количество органов чувств ограничивалось пятью.

Есть люди, которые лучше запоминают рисунок, когда проводят пальцем по его контурам". Лекок де Буабодран использовал это средство в своем художественном обучении, чтобы приучить своих учеников рисовать по памяти. Он заставлял их следить за очертаниями фигур с помощью карандаша, который держал в воздухе, вынуждая их таким образом ассоциировать мускулатуру со зрительной памятью. Гальтон приводит любопытный подтверждающий факт. Полковник Монкриф часто наблюдал в Северной Америке за молодыми индейцами, которые, изредка посещая его жилище, проявляли большой интерес к гравюрам, которые им показывали. Один из них тщательно обводил острием ножа контур рисунка в

"Иллюстрированных лондонских новостях", говоря, что это нужно для того, чтобы он мог лучше вырезать его по возвращении домой. В этой легкости моторные образы должны были усилить визуальные. Молодой дикарь был *моторным*[63] Когда двигательные образы разрушены, человек теряет память о движениях, а иногда, что еще более любопытно, он теряет способность их выполнять. Патология дает нам примеры моторной афазии, аграфии и т.д. Возьмем случай с аграфией.

Образованный человек, умеющий писать, вдруг теряет эту способность в результате черепно-мозговой травмы. Его рука и кисть ни в коем случае не парализованы, но он не может писать. Откуда эта потеря способности? Он сам говорит нам: он больше не знает, как. Он забыл, как выводить буквы, он потерял память о движениях, которые нужно выполнять, у него больше нет тех двигательных образов, которые раньше, когда он писал, направляли его руку..... Другие пациенты, страдающие слепотой на слова, прибегают к этим двигательным образам именно для того, чтобы компенсировать другие недостатки..... Человек, пораженный таким образом, не может читать буквы, которые находятся перед его глазами, даже если его зрение достаточно хорошо для этой цели. Эта потеря способности читать на глаз может в определенное время стать единственной проблемой пациента. Изуродованным людям удастся читать изобретательным окольным путем, который они часто открывают сами: достаточно обвести буквы пальцем, чтобы понять их смысл. Что же происходит в таком случае? Как рука может заменить глаз? Моторный образ дает ключ к решению проблемы. Если пациент может читать, так сказать, пальцами, то это происходит потому, что при обведении букв он производит определенное количество мышечных впечатлений, которые соответствуют письму. Находясь на сайте, пациент читает по буквам (Шарко): ощущение графических движений подсказывает смысл написанного так же хорошо, как и зрение".[64]

Воображение слепоглухонемой, такой как Лора Бриджман, должно быть полностью ограничено тактильным и моторным материалом. *Все слепоглухонемые должны принадлежать к "тактильному" и "двигательному" типам* французских авторов. Когда молодому человеку, которому доктор Франц удалил катаракту, показывали различные геометрические фигуры, он сказал, что "не мог сформировать из них представление о квадрате и диске, пока не почувствовал ощущение того, что видит, в точках своих пальцев, как будто он действительно прикасался к предметам".[65]

Профессор Штрикер из Вены, у которого подвижная форма воображения развита необычайно сильно, дал очень тщательный анализ своего собственного случая в паре монографий, с которыми должны ознакомиться все студенты.[66] Его воспоминания как о собственных движениях, так и о движениях других людей неизменно сопровождаются отчетливыми мышечными ощущениями в тех частях тела, которые, естественно, используются для осуществления или сопровождения движения. Например, думая о марширующем солдате, он как будто помогает образу маршировать, идя сам у него в тылу. И если он подавляет это сочувственное чувство в своих собственных ногах и концентрирует все свое внимание на воображаемом солдате, последний становится как бы парализованным. В целом его воображаемые движения, каких бы то ни было объектов, кажутся парализованными в тот момент, когда их не сопровождают ощущения движения ни в его собственных глазах, ни в его собственных конечностях.[67] Движения членораздельной речи играют преобладающую роль в его психической жизни.

"Когда после экспериментальной работы я перехожу к ее описанию, то, как правило, воспроизвожу в первую очередь только те слова, которые я уже связывал с восприятием различных деталей наблюдения, пока оно происходило. Ибо речь играет во всех моих наблюдениях столь важную роль, что я обычно облакаю явления в слова так же быстро, как и наблюдаю их".[68]

Большинство людей, если их спросить, *в каких терминах они представляют себе слова*, ответят: "В слуховых". И только когда их внимание специально привлекается к этому вопросу, они затрудняются сказать, преобладают ли слуховые или моторные образы, связанные с органами артикуляции. Хороший способ обратить внимание на эту трудность - предложенный Стрикером: Частично откройте рот, а затем представьте любое слово с губными или зубными зубами, например, "пузырь", "карапуз". Является ли ваш образ при этих условиях отчетливым? Для большинства людей образ сначала "плотный", как звучание слова, если бы они попытались произнести его с приоткрытыми губами. Многие так и не могут представить себе слова с открытым ртом; другим это удастся после нескольких предварительных попыток. Этот эксперимент доказывает, насколько зависимо наше словесное воображение от реальных ощущений в губах, языке, гортани и т. д.

"Когда мы вспоминаем впечатление от слова или предложения, если мы его не произносим, мы чувствуем щекотание органов, которые вот-вот придут к этому моменту. Артикуляционные части - гортань, язык, губы - ощутимо возбуждаются; *подавленная артикуляция, по сути, является материалом нашего воспоминания, интеллектуальным проявлением, идеей речи*".[69]

Открытый рот в эксперименте Стрикера не только препятствует реальной артикуляции губ, но наше ощущение его открытости удерживает нас от воображения их артикуляции, подобно тому, как ощущение яркого света удерживает нас от сильного воображения темноты. У людей, чье слуховое воображение слабо, артикуляционный образ, кажется, составляет весь материал для вербальной мысли. Профессор Стрикер говорит, что в его собственном случае ни один слуховой образ не входит в слова, о которых он думает.[70] Однако, как и большинство психологов, он считает правилом свои личные особенности и утверждает, что вербальное мышление обычно и повсеместно является исключительно моторным представлением. Я, конечно, получаю слуховые образы, как гласных, так и согласных, в дополнение к артикуляционным образам или ощущениям, на которые этот автор делает такой акцент. И я обнаружил, что многие мои студенты, повторив его эксперименты, приходят к этому выводу. *Поначалу* возникают трудности из-за открытого рта. Однако вскоре она исчезает, как и трудности, связанные с мысленным произнесением одной гласной при непрерывном звучании другой. Однако, что, вероятно, остается верным, так это то, что большинство людей обладают менее слуховым и более артикуляционным вербальным воображением, чем они склонны осознавать. Сам профессор Стрикер обладает акустическими образами, он может представить себе звуки музыкальных инструментов и своеобразный голос друга. Статистическое исследование вариаций акустического, тактильного и моторного воображения в больших масштабах, вероятно, принесет меньше плодов, чем исследование зрительных образов Гальтоном. Несколько монографий компетентных наблюдателей, таких как Стрикер, о своих собственных особенностях дали бы гораздо больше ценной информации о разнообразии, которое преобладает.[71]

Осязательные образы очень сильны у некоторых людей. Самые яркие осязательные образы возникают, когда мы сами едва избегаем локальной травмы или когда видим другого пострадавшего. Тогда место может действительно покалывать от воображаемых ощущений - возможно, не совсем воображаемых, поскольку в результате могут появиться гусиная плоть,

побледнение или покраснение и другие свидетельства реального сокращения мышц в этом месте.

"Один образованный человек, - пишет писатель, которого всегда следует цитировать, когда речь заходит о силе воображения,[\[72\]](#) , - рассказал мне однажды, что, войдя однажды в свой дом, он получил шок от того, что раздавил палец одного из своих маленьких детей в двери. В момент испуга он почувствовал сильную боль в соответствующем пальце своего собственного тела, и эта боль не покидала его три дня".

Тот же автор делает следующее заключение, которое, вероятно, может подтвердить большинство мужчин:

"На коже мне легко удастся вызвать предложенные ощущения там, где я захочу. Но поскольку необходимо затягивать мысленное усилие, я могу пробудить только те ощущения, которые по своей природе продолжительны, как тепло, холод, давление. Мимолетные ощущения, такие как укол, порез, удар и т. д., я не в состоянии вызвать, потому что не могу представить их *ex abrupto* с необходимой интенсивностью. Ощущения первого порядка я могу вызвать на любом участке кожи; и они могут стать настолько живыми, что, хочу я того или нет, мне приходится проводить рукой по этому месту, как если бы это был настоящий отпечаток на коже".[\[73\]](#)

Рассказ Мейера о его собственных зрительных образах очень интересен, и на нем мы можем закончить наш обзор различий между нормальными способностями к воображению у разных людей.

"После долгих тренировок, - говорит он, - мне удалось добиться того, что я могу вызывать субъективные зрительные ощущения по своему желанию. Все свои эксперименты я проводил днем или ночью с закрытыми глазами. Сначала это было очень трудно. В первых опытах, которые удались, вся картина была светящейся, тени давались в несколько менее сильном голубоватом свете. В более поздних опытах я видел предметы темными, с яркими контурами, или, скорее, я видел их контурные рисунки, яркие на темном фоне. Я могу сравнить эти рисунки не столько с рисунками мелом на доске, сколько с рисунками, сделанными фосфором на темной стене ночью, хотя фосфор показал бы светящиеся пары, которые отсутствовали в моих линиях. Если я хотел, например, увидеть лицо, не имея в виду конкретного человека, я видел очертания профиля на темном фоне. Когда я пытался повторить эксперимент старшего Дарвина, я видел только края штампа в виде ярких линий на темном фоне. Иногда, однако, я видел кубик действительно белым, а его края - черными; тогда он оказывался на более бледном фоне. Вскоре я смог по своему желанию менять белый кубик с черными границами на светлом поле и черный кубик с белыми границами на темном поле; и сейчас я могу это делать в любой момент. После долгой практики... эти эксперименты удались еще лучше. Теперь я могу вызвать перед глазами почти любой объект, который мне нравится, как субъективный облик, и это при его естественном цвете и освещении. Я вижу их почти всегда на более или менее светлом или темном, в основном тускло изменяющемся фоне. Даже знакомые лица я вижу довольно четко, с истинным цветом волос и щек. Странно, что я вижу эти лица в основном в профиль, тогда как описанные [в предыдущем отрывке] были все анфас. Вот некоторые окончательные результаты этих экспериментов:

"1) Через некоторое время после появления изображений они исчезают или меняются на другие, причем я не могу этому помешать.

"2) Когда цвет не является неотъемлемой частью объекта, я не всегда могу его контролировать. Лицо, например, никогда не кажется мне синим, а всегда имеет свой естественный цвет; красную ткань, с другой стороны, я иногда могу изменить на синюю.

"3) Иногда мне удается увидеть чистые цвета без объектов; тогда они заполняют все поле зрения.

"4) Мне часто не удается увидеть предметы, которые мне не известны, просто выдумки моей фантазии, и вместо них появляются знакомые предметы аналогичного рода; например, однажды я пытался увидеть латунную рукоять шпаги с латунной гардой, вместо которой появилась более знакомая картина гарды рапиры.

"5) Большинство этих субъективных представлений, особенно когда они были яркими, оставляли после себя образы, когда глаза быстро открывались во время их присутствия. Например, я подумал о серебряном стремях, и после того, как я посмотрел на них некоторое время, я открыл глаза и долгое время после этого видел их послеобразы.

"Эти эксперименты удавались лучше всего, когда я спокойно лежал на спине и закрывал глаза. Я не мог терпеть никакого шума вокруг себя, так как это мешало видению достичь необходимой интенсивности. Теперь эксперименты удаются мне так легко, что я удивляюсь, как они не удались вначале, и мне кажется, что они должны удаваться всем. Главное в них - добиться достаточной интенсивности изображения, направив внимание исключительно на него и устранив все мешающие впечатления".[\[74\]](#)

Негативные послеобразы, которые возникали в воображении Мейера, когда он открывал глаза, - очень интересное, хотя и редкое явление. Насколько мне известно, на сайте есть только один другой опубликованный отчет о подобном опыте.[\[75\]](#) *Казалось бы, в таком случае нейронный процесс, соответствующий воображению, должен быть полностью связан с реальными ощущениями, вплоть до сетчатки. Это приводит к новому вопросу, к которому мы можем теперь обратиться: что такое*

НЕЙРОННЫЙ ПРОЦЕСС, ЛЕЖАЩИЙ В ОСНОВЕ ВООБРАЖЕНИЯ?

Общепринятая идея заключается в том, что это лишь более мягкая степень того же процесса, который имел место, когда вещь, которую сейчас воображают, была чувственно воспринята. Профессор Бейн пишет

"Поскольку ощущение в первую очередь распространяет нервные токи через внутреннюю часть мозга наружу, к органам выражения и движения, - сохранение этого ощущения после устранения внешней возбуждающей причины может быть лишь продолжением тех же самых диффузных токов, возможно, менее интенсивных, но ничем не отличающихся. Удар, остающийся в ухе и мозге после звука грома, должен проходить по тем же кругам и действовать так же, как и во время самого звука. У нас нет оснований полагать, что в этом самоподдерживающемся состоянии впечатление меняет свое местоположение или переходит в какие-то новые круги, которые обладают особым свойством удерживать его. Каждая часть, приведенная в действие *после удара*, должна была быть приведена в действие ударом, только

более сильным. С этой единственной разницей в интенсивности, способ существования ощущения, существующего после факта, по существу тот же самый, что и способ его существования во время факта..... Если так обстоит дело с впечатлениями, *сохраняющимися* после прекращения действия причины, то какую точку зрения мы должны принять относительно впечатлений, *воспроизводимых* только психическими причинами или без помощи оригинала, как при обычном воспоминании? Каков порядок работы мозга с возроденным ощущением сопротивления, запаха или звука? Есть только один ответ, который кажется приемлемым. *Возобновленное ощущение занимает те же части мозга и тем же способом, что и первоначальное ощущение, и никаких других частей, и никаким другим способом.* Я полагаю, что если бы наши современные знания о мозге были доступны самым ранним спекулянтам, то это единственная гипотеза, которая пришла бы им в голову. Ибо где же должно быть воплощено прошлое чувство, если не в тех же органах, что и настоящее? Только так можно сохранить его идентичность; чувство, воплощенное по-другому, было бы другим чувством".[76]

Из текста профессора Бейна неясно, имеет ли он в виду под "теми же органами" только те же части *внутри мозга*, или же и *периферические* части, занятые первоначальным чувством. Примеры, которые он сам приводит, - это почти все случаи воображения *движения*, в которых периферические органы действительно затронуты, поскольку фактические движения слабого рода сопровождаются идеей. Этого и следовало ожидать. Все токи стремятся устремиться в мозг и разрядиться в мышечной системе; а представление о движении делает это с особой легкостью. Но вопрос остается открытым: Протекают ли токи *назад*, так что если оптические центры (например) возбуждаются по "ассоциации" и воображается зрительный объект, то ток бежит *вниз к сетчатке* и возбуждает ее симпатически с высшими трактами? Другими словами, *могут ли периферические органы чувств возбуждаться сверху или только извне? Возбуждаются ли они в воображении?* Примеры профессора Бейна почти ничего не говорят по этому поводу. Он говорит лишь следующее:

"Мы можем думать об ударе по руке до тех пор, пока кожа не будет действительно раздражена и воспалена. Внимание, направленное на какую-либо часть тела, например, на большой палец ноги, способно вызвать отчетливое ощущение в этой части, которое мы объясняем только предположением, что там проходит оживленный нервный ток, создавая своего рода ложное ощущение, влияние изнутри, имитирующее влияние извне в ощущениях... (См. труды мистера Брейда из Манчестера о гипнозе и т. д.)".

Если судить по собственному опыту, все подобные ощущения возникают после того, как двигательные токи проникают в кожу и вызывают там сокращение мышц - мышц, сокращение которых вызывает "гусиную плоть", когда это происходит в широких масштабах. У меня никогда не возникает *ощущения* в коже, как бы сильно я его ни *представлял*, пока не произойдет какое-то фактическое изменение в состоянии самой кожи. Истина, по-видимому, заключается в том, что случаи, когда периферические органы чувств непосредственно возбуждаются в результате воображения, являются исключительной редкостью, если они вообще существуют. *В обычных случаях воображения кажется более естественным предположить, что место этого процесса - чисто мозговое, и что органы чувств остаются в стороне.* Доводы в пользу такого заключения вкратце таковы:

1) В воображении *отправная точка* процесса должна находиться в мозгу. Теперь мы знаем, что в нервной системе токи обычно текут в одну сторону, а для возбуждения периферических органов чувств в этих случаях ток должен был бы течь в обратном направлении.

2) Между воображаемыми и ощущаемыми объектами существует разница в качестве сознания, которую можно назвать почти абсолютной. Вряд ли можно спутать самый живой образ фантазии с самым слабым реальным ощущением. Ощущаемый объект обладает пластической реальностью и внешностью, которой полностью лишен воображаемый объект. Более того, как говорит Фехнер, в воображении внимание как бы оттягивается назад, к мозгу, а в ощущениях (даже после образов) оно направлено вперед, к органам чувств.[77] Разница между этими двумя процессами ощущается как разновидность, а не как простое "больше" или "меньше" одного и того же.[78] Если бы ощущение звука было только сильным воображением, а воображение - слабым ощущением, то должна была бы существовать граница опыта, где мы никогда не могли бы сказать, слышим ли мы слабый звук или воображаем сильный. Сравнивая настоящее ощущение, которое мы ощущаем, с прошлым, которое мы воображали, следует помнить, что мы часто считаем воображаемое *ощущение более сильным* (см. выше, том I, стр. 500, примечание). Это необъяснимо, если воображение является просто более слабым возбуждением чувственного процесса.

На эти доводы можно привести следующие возражения:

1): Ток, очевидно, *действительно* течет назад по зрительному нерву в негативном послеобразе Мейера и Фере. Поэтому он *может* течь в обратном направлении; поэтому он *может* течь в обратном направлении в некоторой, пусть даже незначительной степени, при любом воображении.[79]

То 2): Утверждаемое различие не абсолютно, и ощущение и воображение трудно различить там, где ощущение настолько слабо, что просто ощутимо. Ночью, услышав очень слабый удар часов на далеком расстоянии, наше воображение воспроизводит и ритм, и звук, и часто трудно сказать, какой из них был последним настоящим ударом. Так и в случае с плачем ребенка в отдаленной части дома мы не уверены, слышим ли мы его до сих пор или только представляем себе этот звук. Некоторые скрипачи пользуются этим при завершении диминуэндо. После достижения пианиссимо они продолжают смычок, как будто продолжают играть, но стараются не касаться струн. Слушатель слышит в воображении более слабый звук, чем предшествующее пианиссимо. Этот феномен не ограничивается слухом:

"Если мы медленно приближаем палец к поверхности воды, то часто обманываем себя относительно момента, в который происходит смачивание. Испуганный пациент считает, что чувствует нож хирурга, в то время как он все еще находится на некотором расстоянии".[80]

Визуальное восприятие дает множество примеров, когда одно и то же зрительное ощущение воспринимается как тот или иной объект в зависимости от интерпретации разума. Многие из этих примеров предстанут перед нами в следующих двух главах; а в *главе XIX* будут описаны аналогичные иллюзии в других органах чувств. Взятые вместе, все эти факты заставляют нас признать, что *субъективное различие между воображаемыми и ощущаемыми объектами менее абсолютно, чем утверждалось, и что корковые процессы, лежащие в основе воображения и ощущений, не столь дискретны, как принято считать на первый взгляд. То, что периферические сенсорные процессы обычно вовлекаются в воображение, кажется маловероятным; то, что они иногда могут быть вызваны из коры головного мозга вниз, не может, однако, быть догматически отрицаемо.*

Тогда процесс воображения может перейти в процесс ощущения. Другими словами, подлинные ощущения могут возникать централизованно. Когда мы перейдем к изучению галлюцинаций в главе о внешнем восприятии, мы увидим, что это отнюдь не редкое явление. Однако сейчас мы должны признать, что обычно эти два процесса не переходят друг в друга; и мы должны спросить, почему. Причина должна быть одна из двух. Либо

1. Процессы ощущения занимают иную локализацию, чем процессы воображения; либо
2. Занимая ту же локальность, они обладают интенсивностью, которую при нормальных обстоятельствах не могут вызвать токи из других областей коры головного мозга, и для производства которой требуются токи с периферии.

Кажется почти несомненным (после того, что было сказано в главе II. с. 49-51), что процесс воображения отличается от процесса ощущения интенсивностью, а не локальностью. Как бы это ни было в случае с низшими животными, предположение о том, что центры воображения и ощущений локально различаются, не подтверждается никакими фактами, полученными при наблюдении за человеком. После разрушения затылочной кости гемианопсия, которая возникает у человека, является сенсорной слепотой, а не просто потерей оптических представлений. Если бы центры грубых оптических ощущений находились под корой головного мозга, пациенты в таких случаях все равно ощущали бы свет и темноту. Поскольку они не сохраняют даже этого впечатления на утраченной половине поля, мы должны предположить, что ниже коры головного мозга нет центров для зрения любого рода, и что corpora quadrigemina и другие нижние оптические ганглии являются органами для рефлекторного движения глазных мышц, а не для сознательного зрения. Более того, нет никаких фактов, которые обязывали бы нас думать, что в затылочной коре одна часть связана с ощущениями, а другая - с представлениями или воображением. Патологические случаи, которые принято считать доказательством этого, лучше объясняются нарушениями проводимости между оптическим и другими центрами (см. с. 50). В тяжелых случаях гемианопсии образы пациента исчезают вместе с его чувствительностью к свету. Они исчезают настолько полно, что он даже не понимает, что с ним происходит. Чтобы понять, что человек слеп к правой половине поля зрения, нужно иметь представление о возможном существовании этой части поля. Но у таких пациентов дефект должен быть выявлен врачом, а сами они знают только, что с их глазами "что-то не так". То, о чем вы не имеете представления, вы не можете пропустить; и то, что они точно не пропустили эту большую область из поля зрения, объясняется тем, что их представление и память о ней потеряны вместе с ощущениями. Человек, ослепший только глазами, видит *темноту*. Человек, лишенный зрительных мозговых центров, может видеть темноту в тех частях сетчатки, которые связаны с мозгом, не больше, чем он может видеть ее на коже спины. Он вообще не может видеть в этой части поля; и он не может думать о свете, который он должен был бы ощущать *там*, потому что само понятие о существовании этого конкретного "там" вычеркнуто из его сознания.^[81]

Теперь, если мы признаем, что ощущение и воображение обусловлены деятельностью одних и тех же центров в коре головного мозга, мы можем увидеть очень хорошую телеологическую причину, почему они должны соответствовать отдельным видам процессов в этих центрах, и почему процесс, который дает ощущение, что объект действительно там, должен обычно возбуждаться только токами, поступающими с периферии, а не токами из соседних частей

коры. Короче говоря, мы видим, почему *сенсационный процесс должен быть прерван всеми нормальными идеологическими процессами, какими бы интенсивными они ни были*. Ибо, как справедливо замечает доктор Мюнстерберг:

"Если бы не было этого своеобразного расположения, мы не различали бы реальность и фантазию, наше поведение не соответствовало бы фактам о нас, а было бы неуместным и бессмысленным, и мы не могли бы сохранить себя живыми..... То, что наши мысли и воспоминания должны быть копиями ощущений, интенсивность которых значительно снижена, является, таким образом, следствием, логически выводимым из естественной адаптации мозгового механизма к окружающей среде."^[82]

Механически разрыв между идейным и сенсационным типами процесса должен означать, что, когда достигнута наибольшая интенсивность идейного процесса, возникает порядок *сопротивления*, который может прорвать только новый порядок силы. Ток с периферии и есть необходимая сила нового порядка; а то, что происходит после преодоления сопротивления, и есть сенсационный процесс. Мы можем предположить, что последний состоит в каком-то новом и более бурном распаде нервной материи, которая теперь взрывается на более глубоком уровне, чем в другое время.

Как же нам представить себе "сопротивление", которое препятствует такому распаду, такой интенсивности процесса? Это должно быть либо внутреннее сопротивление, некая сила сплоченности в самих нейронных молекулах, либо внешнее влияние, обусловленное другими клетками коры головного мозга. Когда мы перейдем к изучению процесса галлюцинации, мы увидим, что необходимо учитывать оба фактора. В клетках нашего мозга существует определенная степень внутренней молекулярной сплоченности, для разрушения которой, вероятно, требуется внезапный прилив разрушительной энергии. Входящие периферические токи обладают этой энергией с самого начала. Токи из соседних областей коры могли бы достичь ее, если бы они могли *накапливаться* в центре, который мы, как предполагается, рассматриваем. Но поскольку в часы бодрствования каждый центр общается с другими по ассоциативным путям, такого накопления произойти не может. Токи коры головного мозга, которые входят в центр, сразу же выходят из него, пробуждая следующие идеи; уровень напряжения в клетках не поднимается до высшей точки взрыва, и последняя должна быть получена внезапным током с периферии или не получена вовсе.

^[49] Профессор Джастроу установил путем статистических исследований среди слепых, что если слепота наступила до периода, охватывающего между пятым и седьмым годами, то зрительные центры, кажется, приходят в упадок, и зрительные сны и образы постепенно изживаются. Если же зрение теряется после седьмого года, зрительное воображение, кажется, сохраняется на протяжении всей жизни. См. интересную статью профессора Дж. о снах слепых в *New Princeton Review* за январь 1888 года.

^[50] Впечатление означает сенсацию для Юма.

^[51] Трактат о человеческой природе, часть i. § vii.

^[52] Huxley's Hume, pp. 92-94.

^[53] On Intelligence (N. Y.), vol. ii. p. 139.

^[54] Principles, Introd. § 13. Сравните также процитированный выше отрывок, т. I, p. 469.

[55] Различия, отмеченные Фехнером между послеобразами и собственно образами воображения, следующие:

После-образы.

Чувствуются принудительными;

кажутся несущественными,
парообразными;

Резкие по очертаниям;

Яркие;

почти бесцветные;

Постоянно сохраняются;

Не могут быть добровольно изменены.

Являются точными копиями
оригиналов.

Легче получить с закрытыми, чем
с открытыми глазами;

кажутся подвижными, когда голова
или глаза
двигаться;

Поле, в котором они появляются
(с закрытыми глазами) темное,
суженное,

Образы воображения.

Чувствуют себя подвластными нашей спонтанности;

Имеют, как бы, больше тела;

размыты;

темнее, чем даже самые темные
темнее, чем даже самый темный черный цвет после
изображения;

Имеют живую окраску;

Постоянно исчезают и должны
и должны возобновляться усилием воли.
В конце концов даже это не может их оживить.

Могут быть обменены по желанию на другие.

Не могут нарушать необходимые законы
внешнего вида своих оригиналов - например,
человека нельзя представить
спереди и сзади одновременно. Воображение
воображение должно ходить вокруг него,
так сказать;

Легче получить с открытыми, чем
с закрытыми глазами;

Не нужно следить за движениями головы
или глаза.

Поле обширно в трех
измерения, и объекты могут быть

плоским, близко к глазам, в
спереди, и образы не имеют
Перспектива;

представляться в нем над или за
почти так же легко, как и впереди.

Внимание кажется направленным
вперед.

При воображении внимание ощущается как

по направлению к органу чувств, в
наблюдению за послеобразами.

если бы оно было направлено назад к
мозга.

Наконец, Фехнер говорит о невозможности одновременного внимания к послеобразам и образам воображения, даже если они относятся к одному и тому же объекту и, как можно ожидать, будут сочетаться. Все эти отличия верны для Фехнера; но многие из них не были бы верны для других людей. Я привожу их в качестве примера наблюдений, которые может повторить любой читатель, обладающий достаточным терпением. К ним можно добавить, как универсальное утверждение, что послеобразы кажутся больше, если мы проецируем их на дальний экран, и меньше, если мы проецируем их на ближний, в то время как в мысленных картинах такого изменения не происходит.

[56] [Я сам - хороший рисовальщик, у меня живой интерес к картинам, статуям, архитектуре и декору, а также острая чувствительность к художественным эффектам. Но я крайне плохой визуализатор и часто оказываюсь не в состоянии воспроизвести в своем сознании картины, которые я самым тщательным образом рассматривал. J.]

[57] См. также Маккош и Осборн, Princeton Review, Jan. 1884. Есть несколько хороших примеров высокого развития факультета в "London Spectator", 28 декабря 1878 года, стр. 1631, 1634, 4, 11, 25 января и 18 марта 1879 года.

[58] Возьмем следующее сообщение одного из моих студентов: "Я не могу сформировать в своем сознании какое-либо визуальное подобие стола. После многих попыток я могу получить лишь туманную поверхность, на которой ничего нет. Я не вижу ни разнообразия в цвете, ни положительных ограничений в объеме, а то, что я вижу, я не могу разглядеть достаточно хорошо, чтобы определить его положение относительно моего глаза или наделить его каким-либо качеством размера. В таком же положении я нахожусь и в отношении слова "собака". Я вообще не могу увидеть его в своем сознании и поэтому не могу сказать, должен ли я провести по нему взглядом, если бы увидел его".

[59] Progrès Médical, 21 juillet. Я сокращаю немецкий отчет об этом случае в Wilbrand: Die Seelenblindheit (188).

[60] В письме к Шарко этот интересный пациент добавляет, что его характер также изменился: "Раньше я был восприимчив, легко приходил в восторг и обладал богатой фантазией. Теперь я спокоен и холоден, и фантазия никогда не уносит мои мысли вдаль..... Я гораздо менее восприимчив, чем раньше, к гневу или печали. Недавно я потерял мою дорогую любимую мать; но я чувствовал гораздо меньше горя от этой утраты, чем если бы я мог мысленно увидеть ее физиономию и фазы ее страданий, и особенно меньше, чем если бы я мог наблюдать в воображении внешние последствия ее безвременной потери для членов семьи".

[61] Psychologie du Raisonnement (1886), p. 25.

[62] [Я сам очень плохой визуализатор и обнаружил, что редко могу вызвать в памяти хотя бы одну букву алфавита чисто ретинальным способом. Я должен проследить букву, мысленно пробежав глазами по ее контуру, чтобы ее образ был хоть сколько-нибудь отчетливым". Опросив большое количество других людей, в основном студентов, я обнаружил, что, возможно, половина из них говорит, что не испытывает подобных трудностей с мысленным восприятием букв. Многие утверждают, что могут сразу увидеть целое слово, особенно такое короткое, как "собака", не испытывая при этом никаких ощущений от последовательного создания букв путем обведения их взглядом. J.]

[63] Вряд ли стоит говорить, что в современном начальном образовании, где так широко используется доска, детей учат буквам и т. д. по всем возможным каналам сразу: зрением, слухом и движением.

[64] См. интересный случай подобного рода, о котором сообщает Фарж, в "Энцефале", 7^{me} Année, p. 545.

[65] Philosophical Transactions, 1841, p. 65.

[66] Studien über die Sprachvorstellungen (1880) и Studien über die Bewegungsvorstellungen (1882).

[67] Профессор Штрикер признается, что путем практики ему удалось заставить свои движения глаз "действовать викарно" для движений ног, когда он представлял себе идущих людей.

[68] Bewegungsvorstellungen, p. 6.

[69] Bain: Senses and Intellect, p. 339.

[70] Studien über Sprachvorstellungen, 28, 31 и т. д. Ср. стр. 49-50 и т. д. Против Штрикера см. Stumpf, Tonpsychol., 155-162, и Revue Philosophique, xx. 617. См. также Paulhan, Rev. Philosophique, xvi. 405. Стрикер отвечает Паульхану в томе xviii. p. 685. П. отвечает в томе xix p. 118. Стрикер сообщает, что из 100 опрошенных он нашел только *одного*, который *не* чувствовал губ, когда молча думал о буквах М, В, Р; и из 60 человек только *двое* не ощущали внутренней артикуляции во время чтения (pp. 59-60).

[71] Думаю, следует признать, что некоторые люди не имеют ярких предметных образов *ни* в одном из отделов своей чувствительности. Один из моих студентов, интеллигентный юноша, так упорно отрицал, что у него в голове *вообще что-то есть*, когда он думает, что я был сильно озадачен его случаем. У меня самого, конечно, нет такой яркой игры зарождающихся движений или моторных образов, как описывает профессор Стрикер. Когда я пытаюсь представить ряд марширующих солдат, все, что я улавливаю, - это вид неподвижных ног сначала в одной фазе движения, а затем в другой, и эти виды крайне несовершенны и кратковременны. Иногда (особенно когда я пытаюсь стимулировать свое воображение, например, повторяя строки Виктора Гюго о полке,

"Leur pas est si correct, sans tarder nor courir,
Qu'on croit voir des ciseaux se fermer et s'ouvrir,").

Мне кажется, что я получаю мгновенный проблеск реального движения, но он до последней степени тусклый и неопределенный. Все эти образы поначалу кажутся чисто ретинальными. Однако я думаю, что их сопровождают быстрые движения глаз, хотя эти последние вызывают

такие слабые ощущения, что их почти невозможно обнаружить. Совершенно отсутствуют собственные движения ног; фактически, чтобы вызвать их, я останавливаю свое воображение на солдатах. Мои оптические образы в целом очень тусклые, темные, беглые и сжатые. Срисовать их было бы совершенно невозможно, и все же я прекрасно отличаю одно от другого. Мои слуховые образы - слишком неадекватные репродукции своих оригиналов. У меня *нет* образов вкуса или запаха. Осязательное воображение довольно отчетливо, но очень слабо проявляется в отношении большинства объектов, о которых я думаю. Все мои мысли также не вербализуются, поскольку у меня есть теневые схемы отношений, которые так же склонны заканчиваться кивком головы или выдохом, как и определенным словом. В целом, смутные образы или ощущения движения внутри моей головы к различным частям пространства, в которых лежат или символизируются термины, о которых я думаю, вместе с движениями дыхания через гортань и ноздри, составляют далеко не последнюю часть моей *мысли*. Я сомневаюсь, что моя трудность в предоставлении более четкого счета является полностью вопрос неполноценной власти интроспективного внимания, хотя это, несомненно, играет свою роль. Внимание, *ceteris paribus*, всегда должно быть неполноценным в пропорции к слабости внутренних образов, которые предлагаются ему, чтобы удержать.

[72] Geo. Герм. Meyer, Untersuchungen üb. d. Physiol. d. Nervenfaser (1843), p. 233. Другие случаи см. в Tuke's Influence of Mind upon Body, гл. ii. и vii.

[73] Meyer, *op. cit.* p. 238.

[74] Meyer, *op. cit.* pp. 238-41.

[75] Это мнение д-ра Ш. Фере в Revue Philosophique, хх. 364. Рассказ Иоганна Мюллера о гипнагогических галлюцинациях, плавающих перед глазами в течение нескольких мгновений после их открытия, кажется, больше относится к категории спонтанных галлюцинаций (см. его "Физиологию", Лондон, 1843, с. 1394). Невозможно сказать, относятся ли эти слова в Vorlesungen Вундта, i. 387, к его личному опыту или нет; скорее всего, нет. *Не стоит сомневаться*, что у такого некачественного визуализатора, как я, не может быть таких послеобразов. Мне также пока не удалось получить информацию о них от моих учеников.

[76] Senses and Intellect, p. 338.

[77] См. выше, [примечание 55](#).

[78] В. Кандинский (Kritische u. klinische Betrachtungen im Gebiete der Sinnestäuschungen (Berlin, 1885), p. 135 ff.) настаивает на том, что даже в самых ярких псевдогаллюцинациях (см. ниже, [глава XX](#)), которые можно рассматривать как самые интенсивные возможные результаты процесса воображения, нет никакой внешней объективности, воспринимаемой в представленной вещи, и что *ganzer Abgrund* отделяет эти "идеи" от настоящей галлюцинации и объективного восприятия.

[79] В некоторых гипнотических галлюцинациях это, по-видимому, протекает и в обратном направлении. Предложите "субъекту", находящемуся в гипнотическом трансе, что на листе бумаги нарисован красный крест, затем сделайте вид, что убираете воображаемый крест, в то время как вы говорите субъекту, чтобы он пристально смотрел на точку на бумаге, и он вскоре скажет вам, что видит "синевато-зеленый" крест. В подлинности результата сомневались, но, похоже, нет веских причин отвергать рассказ М. Бинэ (Le Magnetisme

Animal, 1887, p. 188). М. Бине, следуя за М. Парино и основываясь на результатах одного эксперимента, в свое время считал, что местом возникновения обычных негативных послеобразов являются оптические центры мозга, а не сетчатка. Эксперимент заключается в следующем: Смотрите неподвижно, открыв один глаз, на цветное пятно на белом фоне. Затем закройте этот глаз и неподвижно посмотрите *другим* глазом на обычную поверхность. После этого появится негативное изображение цветного пятна. (Psychologie du Raisonnement, 1886, p. 45.) Но г-н Делабарр доказал (American Journal of Psychology, ii. 326), что это послеображение связано не с высшим мозговым процессом, а с тем, что процесс сетчатки в *закрытом* глазу влияет на сознание в определенные моменты, и что его объект затем проецируется в поле, видимое открытым глазом. М. Бинэ сообщает мне, что его убедили доказательства, приведенные г-ном Делабарром.

Однако факт остается фактом: негативные послеобразы герра Мейера, М. Фере и гипнотических субъектов являются исключением из всего, что мы знаем о нервных токах, если они обусловлены рефлекторным центробежным током в сетчатке. Возможно, в дальнейшем они будут объяснены каким-то другим способом. Пока же мы можем лишь записать их в разряд парадоксов. Сиг. Теория Серджи о том, что в восприятии *всегда* присутствует рефлекторная волна, вряд ли заслуживает серьезного рассмотрения (Psychologie Physiologique, pp. 99, 189). Теория Серджи была недавно подтверждена с почти невероятной грубостью Ломброзо и Оттоленги в Revue Philosophique, xxix. 70 (январь 1890 г.).

[80] Lotze, Med. Psych. p. 509.

[81] См. важную статью Бине в Revue Philosophique, xxvi. 481 (1888); также Dufour, в Revue Méd. de la Suisse Romande, 1889. No. 8, цитируется в Neurologisches Centralblatt, 1890. p. 48.

[82] Die Willenshandlung (1888), pp. 129-40.

ГЛАВА XIX.

ВОСПРИЯТИЕ "ВЕЩЕЙ".

СРАВНЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ОЩУЩЕНИЯ.

Чистое ощущение, как мы видели выше, [с. 7](#), является абстракцией, никогда не реализуемой во взрослой жизни. Любое качество вещи, воздействующее на наши органы чувств, делает нечто большее: оно вызывает в полушариях процессы, обусловленные организацией этого органа прошлым опытом, и результат этих процессов в сознании принято называть идеями, которые предлагает ощущение. Первая из этих идей - идея *вещи*, которой принадлежит ощущаемое качество. *Сознание конкретных материальных вещей, присутствующих в ощущении*, сегодня называется *восприятием*. [83] Сознание таких вещей может быть более или менее полным; оно может состоять из одного лишь названия вещи и других ее существенных признаков, или же из различных отдаленных отношений вещи. Невозможно провести какую-либо резкую границу между пустым и более богатым сознанием, потому что, как только мы выходим за пределы первого грубого ощущения, все наше сознание становится вопросом внушения, и различные внушения постепенно переходят друг в друга, являясь продуктами одного и того же психологического механизма ассоциации. В более непосредственном сознании меньше, в более отдаленном больше, ассоциативные процессы вступают в игру.

Восприятие, таким образом, отличается от ощущения сознанием более отдаленных фактов, связанных с объектом ощущения:

"Когда я поднимаю глаза от бумаги, на которой пишу, я вижу стулья, столы и стены моей комнаты, каждый своей формы и на своем расстоянии. Из окна я вижу деревья и луга, лошадей и волов, далекие холмы. Я вижу каждое из них соответствующего размера, соответствующей формы и на соответствующем расстоянии; и эти детали являются такой же непосредственной информацией глаза, как и цвета, которые я вижу с его помощью. Однако философия установила, что мы не получаем от глаза ничего, кроме ощущений цвета..... Как же тогда мы получаем от глаза точную информацию о размере, форме и расстоянии? Только по ассоциации. Цвета на теле различны, в зависимости от его фигуры, формы, и размера. Но ощущения цвета и то, что мы можем здесь, для краткости, назвать ощущениями протяженности, фигуры, расстояния, были так часто объединены, ощущались в связке, что ощущение цвета никогда не переживается без поднятия идей протяженности, фигуры, расстояния, в таком тесном союзе с ним, что они не только не могут быть разделены, но и фактически предполагаются как видимые. Зрение, как его называют, фигуры или расстояния, кажущееся простым ощущением, на самом деле является сложным состоянием сознания - последовательностью, в которой предшествующее, ощущение цвета, и последующее, ряд идей, настолько тесно объединены ассоциацией, что кажутся не одной идеей, а одним ощущением".

Этот отрывок из книги Джеймса Милля[84] дает четкое изложение доктрины, которую Беркли в своей "Теории зрения" впервые сделал неотъемлемой частью психологии. Беркли сравнил наши зрительные ощущения со словами языка, которые являются лишь знаками или поводами для нашего интеллекта перейти к тому, что имеет в виду говорящий. Как звуки, называемые словами, не имеют внутреннего родства с идеями, которые они обозначают, так и наши зрительные ощущения, по мнению Беркли, не имеют внутреннего родства с вещами, о присутствии которых они дают нам знать. Эти вещи *осязаемы*; их реальные свойства, такие как форма, размер, масса, консистенция, положение, проявляются только при осязании. Но видимые признаки и осязаемые значения по давнему обычаю так "тесно переплетены, смешаны и объединены вместе, а предрассудки так утвердились и закрепились в наших мыслях в течение долгого времени, благодаря использованию языка и отсутствию рефлексии"[85], что нам кажется, что мы *видим* весь объект, осязаемый и видимый, в одном простом неделимом акте.

Сенсорные и репродуктивные процессы мозга вместе взятые, таким образом, дают нам содержание наших восприятий. Каждая конкретная материальная вещь представляет собой совокупность ощущаемых качеств, с которыми мы познакомились в разное время. Некоторые из этих качеств, поскольку они более постоянны, интересны или практически важны, мы рассматриваем как существенные составляющие вещи. В общем виде таковыми являются осязаемая форма, размер, масса и т. д. Другие свойства, более изменчивые, мы рассматриваем как более или менее случайные или несущественные. Первые качества мы называем реальностью, вторые - видимостью. Так, я слышу звук и говорю "лошадь-вагон"; но звук - это не лошадь-вагон, это одно из наименее важных ее проявлений. Настоящая лошадь - это ощущаемая или, по крайней мере, ощущаемая и видимая вещь, которую в моем воображении вызывает звук. Поэтому, когда я получаю, как сейчас, картинку для глаз

коричневого цвета с непараллельными линиями и непохожими углами и называю ее своим большим массивным прямоугольным столом для библиотеки из орехового дерева, эта картинка не является столом. Она даже не похожа на стол, каким он является для зрения, когда его правильно видят. Это искаженный перспективный вид трех сторон того, что я мысленно *воспринимаю* (более или менее) во всей полноте и неискаженной форме. Задняя часть стола, его квадратные углы, его размер, его тяжесть - это черты, которые я осознаю, когда смотрю, почти так же, как я осознаю его название. Название, конечно, подсказано обычаем. Но не в меньшей степени это касается спинки, размера, веса, квадратности и т. д.

Природа, как говорит Рид, экономна в своих действиях, и не будет тратиться на конкретный инстинкт, чтобы дать нам то знание, которое опыт и привычка вскоре дадут.

Воспроизведенные виды и контакты, связанные с настоящим ощущением в единство *вещи* с именем, - вот тот сложный объективный материал, из которого состоит мой реально воспринимаемый стол. Младенцы должны пройти через длительное обучение глаза и уха, прежде чем они смогут воспринимать реальность, которую воспринимают взрослые. *Любое восприятие - это приобретенное восприятие.* [86]

Восприятие может быть определено, по словам г-на Салли, как процесс, посредством которого разум

"дополняет ощущение-впечатление сопровождением или эскортом оживших ощущений, причем вся совокупность актуальных и оживших ощущений застывает или "интегрируется" в форму перцепции, то есть, по-видимому, непосредственного постижения или познания объекта, присутствующего в данный момент в определенной местности или области пространства". [87]

Ум каждого читателя предоставит множество примеров описанного здесь процесса, и записывать их было бы излишне и утомительно. В главе "Пространство" мы уже обсудили некоторые из наиболее интересных; ведь при восприятии формы и положения очень трудно решить, какая часть нашего ощущения объекта обусловлена воспроизведением прошлого опыта, а какая - непосредственными ощущениями глаза. Поэтому в оставшейся части этой главы я ограничусь некоторыми дополнительными общими положениями, связанными с процессом восприятия.

Первый момент связан с тем "застыванием" или "интеграцией", о котором говорит мистер Салли, настоящего с отсутствующими и просто представленными ощущениями. В церебральном смысле эти слова означают не что иное, как то, что процесс, возбужденный в органе чувств, направляется по различным путям, которые привычка уже организовала в полушариях, и что вместо того, чтобы иметь такое сознание, которое соотносилось бы с простым сенсорным процессом, мы имеем то, которое соотносится с этим более сложным процессом. Это, как выясняется, сознание того более сложного "объекта", всей "вещи", вместо того чтобы быть сознанием того более простого объекта, тех немногих качеств или атрибутов, которые действительно впечатляют наши периферические нервы. Это сознание должно обладать единством, которое сохраняет каждый "участок" нашего потока мысли до тех пор, пока его объективное содержание не претерпевает ощутимых изменений. Больше этого мы сказать не можем; мы, конечно, не должны говорить то, что обычно говорят психологи, и рассматривать восприятие как сумму отдельных психических образований, а именно: настоящее ощущение *плюс* множество образов из прошлого, "интегрированных"

вместе таким образом, что их невозможно описать. Восприятие - это одно состояние ума или ничего - как я уже часто говорил.

Во многих случаях легко сравнить психические результаты сенсорного и перцептивного процессов. Мы видим заметную разницу в том, как ощущаются запечатленные части объекта, вследствие того, что они познаются вместе с воспроизведенными частями, в более высоком состоянии ума. Их ощутимое качество меняется под нашим взглядом. Возьмем уже цитированную фразу "*Pas de lieu Rhône que nous*": можно читать ее снова и снова и не признать, что звуки идентичны тем, что произносятся *на веслах вашего собственного каноэ*. По мере того как мы улавливаем английское значение, сам звук, кажется, меняется. Вербальные звуки обычно воспринимаются вместе с их значением в момент звучания. Однако иногда ассоциативные иррадиации затормаживаются на несколько мгновений (разум занят другими мыслями), пока слова остаются в ухе как отголоски акустических ощущений. Затем, как правило, внезапно возникает их интерпретация. Но в этот момент часто можно удивиться изменению самого *ощущения* слова. Наш собственный язык звучал бы для нас совсем иначе, если бы мы слышали его без понимания, как мы слышим иностранный язык. Подъемы и спады голоса, странные сибиллянты и другие согласные звуки падали бы на наше ухо таким образом, о котором мы сейчас не можем составить никакого представления. Французы говорят, что английский звучит для них как *gazouillement des oiseaux* - впечатление, которое он, конечно, не производит ни на одно родное ухо. Многие из нас, англичан, описали бы звучание русского языка в похожих терминах. Все мы осознаем сильные перепады голоса, взрывные и гортанные звуки немецкой речи так, как не может их осознать ни один немец.

Возможно, именно по этой причине, если мы смотрим на изолированное печатное слово и долго его повторяем, оно в конце концов принимает совершенно неестественный вид. Пусть читатель попробует проделать это с любым словом на этой странице. Вскоре он начнет сомневаться, что это может быть то самое слово, которое он всю жизнь использовал с таким значением. Оно смотрит на него с листа, как стеклянный глаз, в котором нет никакой догадки. Его тело действительно есть, но душа исчезла. Этот новый способ внимания к нему сводит его к сенсорной наготы. Раньше мы никогда не обращали на него внимания подобным образом, но привыкли, что он облекается в смысл, как только попадает на глаза, и быстро переходили от него к другим словам фразы. Короче говоря, мы воспринимали его с облаком ассоциаций и, воспринимая его таким образом, чувствовали его совсем иначе, чем сейчас, когда оно отделено и одиноко.

Еще одно хорошо известное изменение - когда мы смотрим на пейзаж вверх ногами. Этот маневр в определенной степени сбивает восприятие; градации расстояния и другие пространственные определения становятся неопределенными; репродуктивные или ассоциативные процессы, короче говоря, снижаются; и одновременно с их уменьшением цвета становятся богаче и разнообразнее, а контрасты света и тени - более заметными. То же самое происходит, когда мы переворачиваем картину дном вверх. Мы теряем большую часть ее смысла, но, чтобы компенсировать эту потерю, мы лучше чувствуем ценность простых оттенков и штрихов и осознаем любой недостаток чисто разумной гармонии или баланса, который они могут демонстрировать.^[88] Точно так же, если мы лежим на полу и смотрим вверх на рот человека, который говорит позади нас. Его нижняя губа занимает привычное место верхней на нашей сетчатке и кажется оживленной самой необычной и неестественной подвижностью, подвижностью, которая теперь поражает нас, потому что (ассоциативные процессы нарушены непривычной точкой зрения) мы получаем ее как голое ощущение, а не как часть знакомого воспринимаемого объекта.

На следующей странице нам встретятся и другие примеры. На данный момент их достаточно, чтобы доказать нашу точку зрения. И снова мы вынуждены признать, что, когда качества объекта производят впечатление на наше чувство и мы после этого воспринимаем объект, ощущение как таковое этих качеств не все же существует внутри восприятия и является его составной частью. Ощущение - это одно, а восприятие - другое, и ни одно из них не может происходить одновременно с другим, потому что их мозговые условия не одинаковы. Они могут *походить друг на друга*, но ни в коем случае не являются идентичными состояниями сознания.

ВОСПРИЯТИЕ - ЭТО ВОСПРИЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ И ВЕРОЯТНЫХ ВЕЩЕЙ.

Главным мозговым условием восприятия являются пути ассоциаций, идущие от уже сформированного ощущения-впечатления. Если определенное ощущение прочно ассоциируется с атрибутами определенной вещи, то эта вещь почти наверняка будет воспринята, когда мы получим это ощущение. Примерами таких вещей могут быть знакомые люди, места и т. д., которые мы узнаем и называем с первого взгляда. Но *если ощущение связано с более чем одной реальностью*, так что может возникнуть любой из двух несоответствующих наборов остаточных свойств, восприятие становится сомнительным и колеблющимся, и *самое большее, что можно сказать о нем, - это то, что оно будет относиться к вероятной вещи*, к вещи, которая чаще всего вызывала у нас это ощущение.

В этих неоднозначных случаях интересно отметить, что восприятие редко бывает абортивным; *некоторое* восприятие имеет место. Два несоответствующих набора ассоциаций не нейтрализуют друг друга, не смешиваются и не превращаются в размытое пятно. Чаще всего мы получаем сначала один объект в его полноте, а затем другой в его полноте. Иными словами, *все мозговые процессы таковы, что порождают то, что мы можем назвать фигурным сознанием*. Если пути вообще иррадируют, то они иррадируют в последовательные системы и вызывают мысли об определенных объектах, а не просто солянках из элементов. Даже в тех случаях, когда функции мозга наполовину выведены из строя, как при афазии или засыпании, этот закон фигурного сознания остается в силе. Человек, которого внезапно клонит в сон при чтении вслух, будет читать неправильно; но вместо того, чтобы издавать просто бульон слогов, он будет делать такие ошибки, как "время ужина" вместо "государь", "свержение" вместо "против", или вообще произносить совершенно воображаемые фразы, состоящие из нескольких определенных слов, вместо фраз из книги. Так и при афазии: при легкой форме заболевания ошибки пациента заключаются в использовании целых неправильных слов вместо правильных. Только при самых тяжелых поражениях он становится совершенно невнятным. Эти факты показывают, насколько тонкими являются ассоциативные связи; насколько тонкими и в то же время сильными те связи между мозговыми путями, которые заставляют любое их количество, однажды возбужденное вместе, впоследствии иметь тенденцию вибрировать как систематическое целое. Небольшая группа элементов, *"это"*, общая для двух систем, А и В, может затронуть А или В, в зависимости от того, как случай решит следующий шаг (см. рис. 47). Если случится так, что одна точка, ведущая от *"этого"* к В, окажется на мгновение чуть более проницательной, чем любая другая, ведущая от *"этого"* к А, то это небольшое преимущество нарушит равновесие в пользу всей системы В. Течения пронесутся сначала через эту точку, а затем по всем путям В, с каждым шагом вперед делая А все более и более невозможным. Мысли, соотносимые с А и В, в таком случае будут иметь разные, хотя и схожие объекты. Сходство, однако, будет заключаться в какой-то очень ограниченной особенности, если *"это"* будет маленьким.

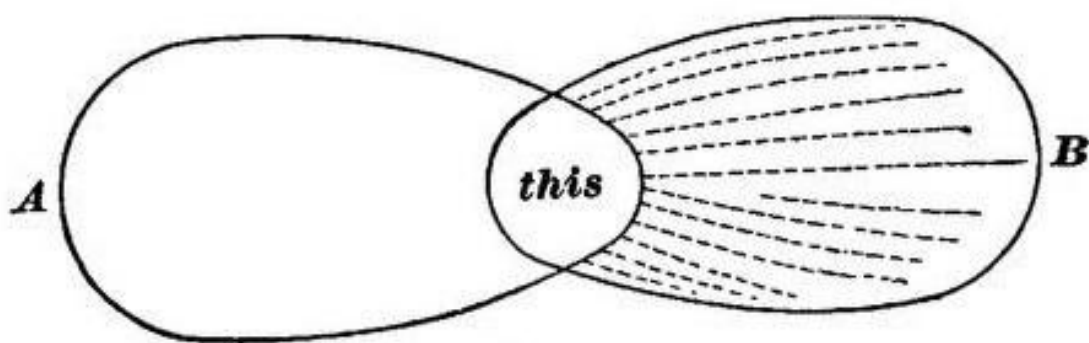


Рис. 47.

Таким образом, самые слабые ощущения приводят к восприятию определенных вещей, если только они похожи на те, которые эти вещи обычно вызывают. Фактически, ощущение должно быть сильным и отчетливым, чтобы не наводить на мысль о предмете, а если это неярко выраженное чувство, то действительно казаться таковым. Ауре при эпилепсии, световые шары, огненное зрение, рев в ушах, ощущения, которые вызывает электрический ток при прохождении через голову, - все это не имеет формы, потому что они сильны. Более слабые ощущения того же рода, вероятно, подсказали бы объекты. Много лет назад, после прочтения книги Мори *"Сон и воспоминания"*, я впервые начал наблюдать за теми идеями, которые постоянно мелькают в голове, - словами, видениями и т. д., оторванными от основного потока мыслей, но различимыми вниманием, которое следит за ними. Например, голова лошади, моток веревки, якорь - вот идеи, которые приходили ко мне без спроса, пока я писал эти последние строки. Часто их можно объяснить тонкими ассоциативными связями, часто - вообще никак. Но я не раз удивлялся тому, что, заметив какую-то подобную идею, обнаруживал, закрыв глаза, что на сетчатке остался след от какого-то яркого или темного предмета, на который я недавно смотрел и который, очевидно, навел меня на эту мысль. "Очевидно", - говорю я, потому что общая форма, размер и положение объекта, о котором думали, и послеобраза были одинаковыми, хотя идея имела детали, которых не хватало изображению на сетчатке. Вероятно, мы никогда не узнаем, какую роль играют послеобразы сетчатки в определении хода наших мыслей. Судя по моему собственному опыту, я должен подозревать, что она немаловажна. [89]

ИЛЛЮЗИИ.

Давайте теперь, для краткости, рассмотрим А и В на рис. 47 так, как если бы они обозначали объекты, а не мозговые процессы. Кроме того, предположим, что и А, и В - это объекты, которые, вероятно, могут вызвать ощущение, которое я назвал "это", но в данном случае именно А, а не В, действительно вызывает это ощущение. Если, таким образом, в данном случае "это" предполагает А, а не В, то результат - *правильное восприятие*. Но если, наоборот, "это" предполагает В, а не А, то результат - *ложное восприятие*, или, как его технически называют, *иллюзия*. Но процесс один и тот же, независимо от того, истинно или ложно восприятие.

Обратите внимание, что в каждой иллюзии ложным является то, что выводится, а не то, что сразу дается. Если бы "это" ощущалось само по себе, то все было бы в порядке, оно вводит в заблуждение только тем, что предполагает. Если это зрительное ощущение, то оно может привести на мысль о тактильном объекте, например, которого, как показывает последующий

тактильный опыт, там нет. Так называемое "заблуждение органов чувств", о котором так много говорили древние скептики, - это не заблуждение самих органов чувств, а скорее интеллекта, который неверно интерпретирует то, что дают органы чувств.[90]

Исходя из этого, давайте рассмотрим эти иллюзии немного подробнее. Они возникают по двум основным причинам. *Неправильный объект воспринимается либо потому, что*

1) *Хотя в данном случае он и не является реальной причиной, он все же является привычной, неизменной или наиболее вероятной причиной "этого"; либо потому, что*

2) *ум временно заполнен мыслями об этом объекте, и поэтому "это" особенно склонно предлагать его в данный момент.*

Я приведу несколько примеров под каждой из этих категорий. Первая глава является наиболее важной, поскольку включает в себя ряд постоянных иллюзий, которым подвержены все люди и которые можно развеять только с помощью большого опыта.

Иллюзии первого типа.



Рис. 48.

Один из самых древних примеров датируется Аристотелем. Скрестите два пальца и покатайте между ними горошину, ручку или другой маленький предмет. Он будет казаться двойным. Профессор Крюм Робертсон дал самый четкий анализ этой иллюзии. Он замечает, что, если предмет соприкасается сначала с указательным, а затем со вторым пальцем, эти два контакта кажутся находящимися в разных точках пространства. Прикосновение указательным пальцем кажется выше, хотя на самом деле палец ниже; прикосновение вторым пальцем кажется ниже, хотя на самом деле палец выше. "Мы воспринимаем контакты как двойные, потому что относим их к двум разным частям пространства". Соприкасающиеся стороны двух пальцев обычно не находятся вместе в пространстве и обычно никогда не касаются одного предмета; поэтому тот предмет, который сейчас их касается, кажется находящимся в двух местах, то есть кажется двумя вещами.[91]

Существует целый ряд иллюзий, которые возникают в результате оптических ощущений, интерпретируемых нами в соответствии с нашим обычным правилом, хотя теперь они вызываются необычным объектом. Примером может служить *стереоскоп*. Глаза видят по одному изображению, причем эти два изображения немного разнятся: то, которое видит правый глаз, представляет собой вид объекта, взятый с точки, расположенной немного правее той, с которой взято изображение левого глаза. Картинки, отбрасываемые твердыми предметами на оба глаза, имеют такое же несоответствие. Поэтому мы реагируем на это

ощущение обычным образом и воспринимаем твердый предмет. Если же картинки поменять местами, то мы воспринимаем пустотелый слепок объекта, так как пустотелый слепок будет отбрасывать именно такие несопоставимые картинки, как эти. Прибор Уитстона, *псевдоскоп*, позволяет нам смотреть на твердые предметы и видеть каждым глазом изображение другого глаза. При этом мы воспринимаем твердый предмет полым, *если это предмет, который, вероятно, может быть полым*, но не в противном случае. Человеческое лицо, например, никогда не кажется псевдоскопу полым. В этой неравномерности реакции на различные объекты одни кажутся полыми, другие - нет; воспринимающий процесс верен своему закону, который заключается в том, *чтобы всегда реагировать на ощущение определенным и фигурным образом, если это возможно, и настолько вероятным образом, насколько это допускает случай*. Сопоставление лиц и пустот нарушает все наши привычки к ассоциациям. По той же причине очень легко заставить интальо слепок лица или нарисованную внутреннюю часть маски из картона выглядеть выпуклой, а не вогнутой, как на самом деле.

Наше ощущение *положения* предметов по отношению к глазу состоит из представлений о том, как мы должны двигать рукой, чтобы дотронуться до них. Определенные места изображения на сетчатке, определенные активно вырабатываемые положения глазных яблок, обычно связаны с ощущением каждого определенного положения, которое может занимать внешняя вещь. Поэтому мы воспринимаем привычное положение, даже если оптическое ощущение искусственно привнесено из другой части пространства. Призмы искривляют световые лучи таким образом и отбрасывают на сетчатку изображение предмета, находящегося, скажем, в точке *a* пространства, точно так же, как (без призм) отбрасывал бы свое изображение предмет, находящийся в точке *b*. Соответственно, мы ощущаем объект в точке *b*, а не *a*. Если призма находится только перед одним глазом, мы видим объект в точке *b* этим глазом, а в его правильном положении *a* - другим, другими словами, мы видим его двояко. Если оба глаза вооружены призмами, расположенными под углом вправо, то при быстрых попытках прикоснуться к ним мы проводим рукой справа от всех предметов. И это иллюзорное ощущение их положения длится до тех пор, пока не закрепится новая ассоциация, когда при снятии призм сначала возникает противоположная иллюзия. Пассивные или непреднамеренные изменения положения глазных яблок, похоже, учитываются разумом не больше, чем призмы; поэтому мы спонтанно не делаем никаких поправок на них в нашем восприятии расстояний и движений. Надавите пальцем на одно из глазных яблок в напряженном положении, и предметы будут двигаться и перемещаться соответственно, как при использовании призм.

Любопытные *иллюзии движения* предметов возникают всякий раз, когда глазные яблоки двигаются без нашего намерения. В следующей главе мы узнаем, что первоначальное зрительное ощущение движения возникает при прохождении любого изображения через сетчатку. Однако первоначально это ощущение не относится ни к объекту, ни к глазам. Такая определенная отнесенность вырастает позже и подчиняется определенным простым законам. Мы считаем, что объекты движутся: 1) всякий раз, когда мы получаем ощущение движения сетчатки, но думаем, что наши глаза неподвижны; и 2) всякий раз, когда мы думаем, что наши глаза движутся, но не получаем ощущения движения сетчатки. Напротив, мы считаем объекты неподвижными, 1) когда мы получаем ощущение движения сетчатки, но думаем, что наши глаза движутся; и 2) когда мы не думаем, что наши глаза движутся, и не получаем ощущения движения сетчатки. Таким образом, восприятие состояния движения или покоя объекта зависит от того, какое представление мы формируем о движении наших собственных глаз. Многие виды стимуляции заставляют наши глаза двигаться без нашего ведома. Если мы смотрим на водопад, реку, железнодорожный состав или любое другое

тело, которое постоянно проходит перед нами в одном и том же направлении, оно увлекает за собой наши глаза. Это движение глаз может заметить посторонний наблюдатель. Если объект проплывает слева от нас, наши глаза следят за той частью объекта, которая сначала привлекла их внимание, пока эта часть не исчезнет из виду. Тогда они снова поворачиваются вправо и ловят новый кусочек, за которым снова следуют влево, и так до бесконечности. Это придает им колебательный характер: медленные непроизвольные повороты влево чередуются с быстрыми добровольными рывками вправо. Но *колебания продолжаются* еще некоторое время после того, как объект замирает или взгляд переводится на новый объект, и это создает иллюзию, что теперь все движется в противоположном направлении. Ведь мы не осознаем медленных автоматических движений глазных яблок влево и думаем, что вызванные ими ощущения движения сетчатки должны быть вызваны движением объекта вправо; в то время как быстрые добровольные движения глазных яблок вправо мы интерпретируем как попытки преследовать и поймать снова те части объекта, которые ускользают влево.

Точно такие же колебания глазных яблок происходят *при головокружении*, с точно такими же результатами. Легче всего головокружение возникает при кружении на пятках. Это ощущение движения головы и тела в пространстве, и сейчас уже довольно хорошо известно, что оно вызвано раздражением полукружных каналов внутреннего уха.[92] Когда после кружения мы останавливаемся, нам кажется, что в течение нескольких секунд мы вращаемся в обратном направлении, а затем объекты продолжают вращаться в том же направлении, в котором за мгновение до этого вращалось наше тело. Причина в том, что наши *глаза обычно стремятся сохранить* свое поле зрения. Если мы внезапно повернем голову влево, глазам будет трудно за этим последовать. Они по инерции, как бы компенсируя инерцию, движутся по своим орбитам вправо. Даже если мы *ошибочно думаем*, что голова движется влево, это приводит к тому, что глаза движутся вправо, как это можно наблюдать у любого человека с головокружением после вихревых движений. Поскольку эти движения неосознанны, ощущения движения сетчатки, которые они вызывают, естественно, относятся к видимым объектам. А периодические добровольные подергивания глаз влево, которыми мы то и дело возвращаем их из крайних правых положений, в которые их приводит рефлекторное движение, просто подтверждают и усиливают наше впечатление о поле зрения, вращающемся влево: нам кажется, что мы периодически преследуем и обгоняем объекты в их полете влево. Все это явление исчезает через несколько секунд. И оно часто прекращается, если мы добровольно фиксируем взгляд на определенной точке.[93]

Оптическое головокружение, как называют эти иллюзии объективного движения, иногда возникает при мозговых нарушениях, интоксикациях, параличе и т. д. Человек просыпается со слабостью одной из глазных мышц. Тогда предполагаемое вращение орбиты не даст ожидаемого результата в виде движения сетчатки - ощущения - отсюда и ложные восприятия, один из самых интересных случаев которых будет рассмотрен в последующих главах.

Существует иллюзия движения противоположного рода, с которой каждый знаком на *железнодорожных станциях*. Привычно, когда мы сами движемся вперед, все наше поле зрения скользит по сетчатке назад. Когда наше движение связано с движением вагона, автомобиля или лодки, в которых мы сидим, все неподвижные объекты, видимые через окно, вызывают у нас ощущение скольжения в противоположном направлении. Следовательно, всякий раз, когда у нас возникает это ощущение, что окно со *всеми* видимыми через него объектами движется в одном направлении, мы реагируем на него привычным образом и

воспринимаем неподвижное поле зрения, по которому окно и мы сами внутри него движемся своим собственным движением. Поэтому, когда на станции рядом с нашим поездом идет другой, заполняя все окно, и, постояв немного, начинает удаляться, мы считаем, что движется именно *наш* поезд, а другой поезд неподвижен. Однако если мы увидим какую-нибудь часть станции через окна или между вагонами другого поезда, иллюзия нашего собственного движения мгновенно исчезнет, и мы воспримем другой поезд как движущийся. Это, опять же, всего лишь обычный и вероятный вывод из наших ощущений.[\[94\]](#)

Еще одна иллюзия, связанная с движением, объясняется Гельмгольцем. Большинство придорожных объектов, домов, деревьев и т. д., кажутся маленькими, если смотреть на них из окон мчащегося поезда. Это происходит потому, что в первую очередь мы воспринимаем их неоправданно близко. А воспринимаем мы их неоправданно близко из-за их необычайно быстрого параллактического полета назад. Когда мы сами движемся вперед, все объекты скользят назад, как уже говорилось выше; но чем ближе они находятся, тем быстрее происходит это кажущееся перемещение. Относительная быстрота движения назад настолько привычно ассоциируется с близостью, что когда мы ее ощущаем, то воспринимаем близость. Но при определенном размере изображения на сетчатке глаза чем ближе объект, тем меньше, по нашему мнению, его реальный размер. Поэтому в поезде, чем быстрее мы едем, тем ближе кажутся деревья и дома, а чем ближе они кажутся, тем меньше они выглядят.[\[95\]](#)

*Другие иллюзии возникают из-за того, что ощущение конвергенции неправильно интерпретируется. Когда мы сближаем глазные яблоки, мы воспринимаем *приближение* того предмета, на который смотрим. Какие бы предметы ни приближались, пока мы смотрим на них, они вынуждают нас, пока они не очень далеки, сближать глаза. Следовательно, приближение вещи является *вероятным* объективным фактом, когда мы чувствуем, что наши глаза сходятся. У большинства людей внутренние прямые мышцы, благодаря которым происходит сближение, слабее остальных, и совершенно пассивное положение глазных яблок, положение, которое они принимают, когда прикрыты и не смотрят ни на что конкретное, является либо параллельным, либо слегка расходящимся. Заставьте человека смотреть обоими глазами на какой-нибудь близкий объект, а затем отгородите объект от одного из его глаз картой или книгой. Есть вероятность, что вы увидите, как глаз, отгороженный таким образом, повернется немного наружу. Уберите экран, и вы увидите, как он повернется внутрь, когда снова поймает объект. Другой глаз тем временем остается таким же, как и вначале. Для большинства людей, соответственно, все предметы кажутся *приближенными*, когда, после того как на них посмотрели одним глазом, используются оба глаза; и они кажутся *удаленными* при противоположном изменении. У людей, чьи наружные прямые мышцы недостаточны, иллюзии могут быть противоположного рода.*

Размер изображения на сетчатке является плодотворным источником иллюзий. В норме изображение на сетчатке увеличивается по мере приближения объекта. Но ощущение, вызванное этим увеличением, возникает и при приближении любого объекта, который действительно увеличивается в размерах без изменения расстояния до него. Поэтому увеличение изображения на сетчатке является неоднозначным признаком. Оперное стекло увеличивает луну. Но большинство людей скажут вам, что через него она выглядит меньше, только гораздо ближе и ярче. Они воспринимают увеличение как знак приближения; и

восприятие приближения заставляет их на самом деле обратить вспять ощущение, которое его вызывает, - преувеличивая наш привычный обычай принимать во внимание кажущееся увеличение любого приближающегося объекта и уменьшать его в воображении до его естественного размера. Точно так же в театре стекло приближает сцену, но едва ли увеличивает людей на ней.

Известное увеличение *видимого размера луны на горизонте* - результат ассоциации и вероятности. Луна видна сквозь парообразный воздух и выглядит более тусклой и сумрачной, чем когда она поднимается ввысь; кроме того, она видна над полями, деревьями, живыми изгородями, ручьями и т. п., которые разбивают промежуточное пространство и заставляют нас лучше осознать его размеры. Обе эти причины заставляют Луну казаться более удаленной от нас, когда она находится низко; а поскольку угол ее зрения не уменьшается, мы считаем, что она должна быть более крупным телом, и воспринимаем ее именно так. Она выглядит особенно огромной, когда появляется прямо за каким-нибудь известным крупным объектом, например, домом или деревом, достаточно удаленным, чтобы составлять угол не больше, чем угол самой Луны.[\[96\]](#)

Чувство аккомодации также порождает ложное восприятие размера. Обычно мы аккомодируем глаза на объект, когда он приближается к нам. Обычно в таких условиях объект отбрасывает на сетчатку более крупное изображение. Но, полагая, что объект остается прежним, мы делаем поправку на это и рассматриваем все ощущение глаз, которое мы получаем, как значимое только для *приближения*. Когда мы ослабляем аккомодацию и в то же время изображение на сетчатке становится меньше, вероятной причиной всегда является *удаляющийся* объект. Однако в тот момент, когда мы надеваем выпуклые очки, аккомодация расслабляется, а изображение на сетчатке становится не меньше, а больше. Именно это и произошло бы, если бы наш объект, удаляясь, увеличивался. Такой вероятный объект мы, соответственно, воспринимаем, хотя и с некоторым колебанием относительно уменьшения, поскольку увеличение видимого размера также является вероятным признаком приближения, и в некоторые моменты интерпретируется соответствующим образом. - Атропин парализует мышцы аккомодации. Можно получить дозу, которая ослабит эти мышцы, но не усыпит их полностью. Когда мы смотрим на известный близкий объект, нам приходится делать такое же волевое усилие, как если бы он находился намного ближе; но поскольку его изображение на сетчатке не увеличивается пропорционально этому предполагаемому приближению, мы считаем, что он, должно быть, стал меньше, чем обычно. Вследствие этой так называемой *микropsии* Обер рассказывает, что он видел человека, по всей видимости, размером не больше фотографии. Но из-за маленького размера человек снова показался ему далеким. Реальное расстояние составляло два или три фута, и он казался прислоненным к стене комнаты.[\[97\]](#) Об этих колебаниях мы еще поговорим в следующей главе.[\[98\]](#)



Рис. 49.

Миссис К. Л. Франклин недавно с редкой точностью описала и объяснила иллюзию, самое любопытное в которой то, что она никогда не была замечена раньше. Возьмите одну пару скрещенных линий (рис. 49), держите их в горизонтальной плоскости перед глазами и смотрите вдоль них, на таком расстоянии, что при закрытом правом глазе 1, а при закрытом левом 2, выглядит как проекция вертикальной линии. Теперь пристально посмотрите в точку пересечения линий, открыв оба глаза, и вы увидите третью линию, торчащую, как булавка, сквозь бумагу под прямым углом к плоскости двух первых линий. Объяснение этой иллюзии очень простое, но настолько косвенное, что я вынужден обратиться за ним к рассказу самой миссис Франклин.^[99] Достаточно сказать, что изображения двух линий падают на "соответствующие" ряды точек сетчатки, и что иллюзорная вертикальная линия - единственный объект, способный отбрасывать такие изображения. Вариация эксперимента выглядит следующим образом:

"На рис. 50 все линии проведены так, что проходят через общую точку. С небольшим трудом один глаз можно поставить в положение этой точки - нужно только держать бумагу так, чтобы, закрыв один глаз, другой видел все линии, наклоненные ни вправо, ни влево. Через мгновение можно представить, что линии - это вертикальные посохи, выходящие из плоскости бумаги"... Я считаю, что эта иллюзия [говорит миссис Франклин] имеет чисто психическое происхождение. Когда линия лежит в плоскости, проходящей через видимый вертикальный меридиан одного глаза, и на нее смотрят только этим глазом... у нас нет хороших способов узнать, как она направлена в этой плоскости..... Теперь из всех линий в природе, которые лежат в пределах такой плоскости, гораздо большее число составляют вертикальные линии. Поэтому мы склонны думать, что линия, которую мы воспринимаем как находящуюся в такой плоскости, - это вертикальная линия. Но увидеть сразу множество линий, готовых бросить свои образы на вертикальный меридиан, - такое с нами почти никогда не случалось, за исключением случаев, когда все они были вертикальными линиями. Поэтому, когда такое случается, у нас возникает еще более сильная тенденция думать, что то, что мы видим перед собой, - это группа вертикальных линий".

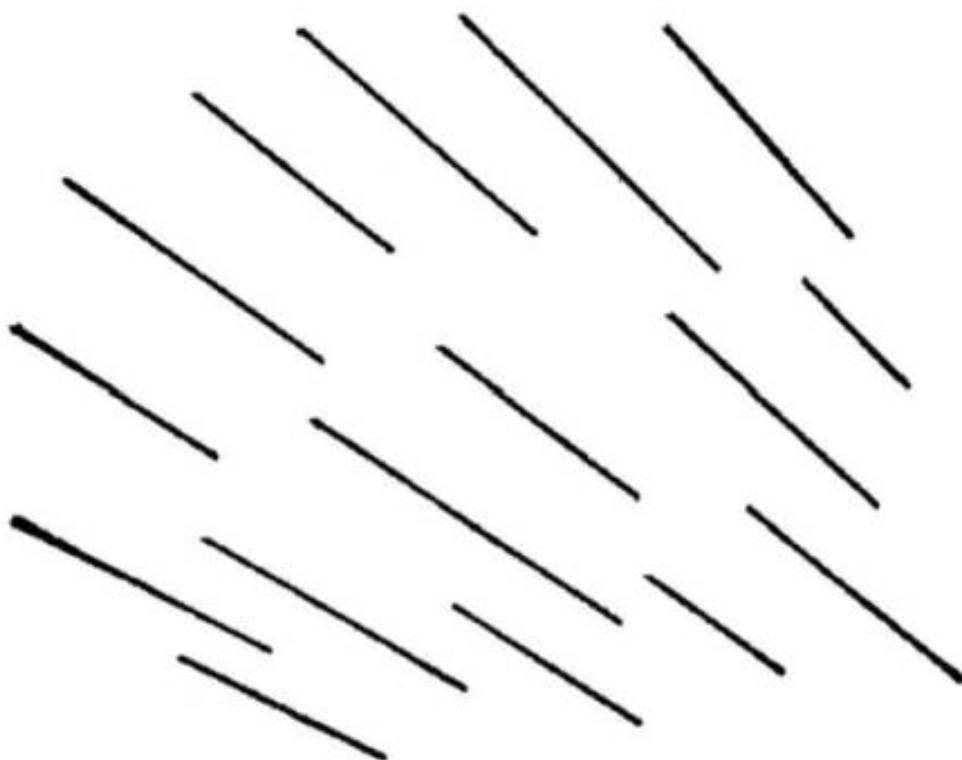


Рис. 50.

Другими словами, мы видим, как всегда, наиболее вероятный объект.

Все вышесказанное может служить примером первого типа иллюзий, о которых говорилось [на странице 86](#). Я мог бы, конечно, привести множество других, но было бы утомительно перечислять все тауматропы и зоетропы, диорамы и трюки жонглеров, в которых они воплощаются. В главе "Сенсация" мы увидели, что многие иллюзии, обычно относимые к этому типу, с физиологической точки зрения являются иллюзиями другого рода, и что ассоциативные процессы, строго говоря, не имеют никакого отношения к их возникновению.

Иллюзии второго типа.

Теперь мы можем перейти к иллюзиям второго из двух типов, выделенных [на странице 86](#). В этом типе мы воспринимаем неправильный объект, потому что наш ум в это время полон мыслей о нем, и любое ощущение, которое в наименьшей степени связано с ним, как бы запускает уже заложенный поезд и дает нам ощущение, что объект действительно находится перед нами. Вот знакомый пример:

"Если спортсмен, стреляя вальдшнепа в укрытии, видит, как птица размером и цветом примерно с вальдшнепа поднимается и летит сквозь листву, не успевает разглядеть больше, чем то, что это птица такого размера и цвета, он тут же умозаключает о других качествах вальдшнепа, а потом с отвращением обнаруживает, что подстрелил дрозда. Я сам так делал и с трудом верил, что дрозд - это та птица, в которую я стрелял, настолько полно мое мысленное восприятие дополняло зрительное".^[100]

Как и в случае с дичью, так и в случае с врагами, призраками и тому подобным. Тот, кто ждет в темном месте, ожидая или сильно опасаясь определенного объекта, будет интерпретировать любое резкое ощущение как присутствие этого объекта. Мальчик, играющий в "шпиона", преступник, скрывающийся от преследователей, суеверный человек, спешащий в полночь через лес или мимо церковного двора, человек, заблудившийся в лесу, девушка, трепетно назначившая вечернюю встречу своему суженому, - все они подвержены зрительным и звуковым иллюзиям, которые заставляют их сердца биться, пока не рассеются. Двадцать раз в день влюбленному, бродящему по улицам со своей озабоченной фантазией, кажется, что он видит перед собой чепец своего кумира.

Иллюзия корректора. Помню, как однажды вечером в Бостоне, ожидая машину "Маунт Оберн", которая должна была доставить меня в Кембридж, я очень отчетливо прочитал это название на вывеске машины, на которой (как я потом узнал) было написано "Северная авеню". Иллюзия была настолько яркой, что я с трудом поверил, что мои глаза меня обманули. Все чтение в большей или меньшей степени происходит таким образом.

"Практикующиеся читатели романов и газет не смогли бы так быстро справиться с задачей, если бы для восприятия слов им приходилось точно видеть каждую букву каждого слова. Более половины слов приходят им в голову, и едва ли половина - с печатной страницы. Если бы это было не так, если бы мы воспринимали каждую букву саму по себе, то типографские ошибки в известных словах никогда бы не остались незамеченными. Дети, чьи мысли еще не настолько готовы, чтобы воспринимать слова с первого взгляда, читают их неправильно, если они напечатаны неправильно, то есть правильно, в соответствии со способом печати. На иностранном языке, хотя он может быть напечатан теми же буквами, мы читаем тем медленнее, что не понимаем или не можем быстро воспринять слова. Но мы тем более легко замечаем опечатки. По этой причине латинские и греческие, а еще лучше древнееврейские произведения печатаются правильнее, потому что гранки лучше исправляются, чем немецкие. Из двух моих друзей один знал много иврита, другой мало; последний, однако, давал уроки иврита в гимназии; и когда он позвал другого, чтобы тот помог исправить упражнения своих учеников, оказалось, что он мог обнаружить всевозможные мелкие ошибки лучше, чем его друг, потому что восприятие слов как совокупностей у последнего было слишком быстрым."

Свидетельства о личности, как гласит притча, ошибочны по тем же причинам. Человек стал свидетелем стремительного преступления или несчастного случая и уносит с собой его мысленный образ. Позже он сталкивается с заключенным, которого сразу же воспринимает в свете этого образа и узнает или "идентифицирует" как участника, хотя, возможно, никогда не был рядом с этим местом. Точно так же и на так называемых "материализующих сеансах", которые дают мошеннические медиумы: в темной комнате человек видит фигуру в марлевой мантии, которая шепотом говорит ему, что она - дух его сестры, матери, жены или ребенка, и падает ему на шею. Темнота, предыдущие формы и ожидание настолько заполнили его сознание предчувствиями, что неудивительно, что он воспринимает то, что ему предлагают. Эти мошеннические "спиритические сеансы" могли бы послужить ценнейшими документами для психологии восприятия, если бы только их можно было удовлетворительно исследовать. В гипнотическом трансе любой предложенный объект воспринимается чувственно. У некоторых испытуемых это происходит более или менее полно после пробуждения от транса. По-видимому, при благоприятных условиях подобная восприимчивость к внушению может существовать у некоторых людей, которые в других случаях вообще не поддаются внушению.

Эта восприимчивость больше проявляется в низших чувствах, чем в высших. Один немецкий наблюдатель пишет

"Мы знаем, что слабый запах или вкус могут быть истолкованы нами очень разнообразно, и одно и то же ощущение сейчас будет названо одним, а в следующий момент - другим. Предположим, в комнате приятно пахнет цветами: Посетитель замечает его, пытается распознать, что это такое, и, наконец, все отчетливее понимает, что это духи роз - пока в конце концов не обнаруживает букет фиалок. Тогда он внезапно узнает фиалковый запах и удивляется, как он мог наткнуться на розы - точно так же и со вкусом. Попробуйте какое-нибудь мясо, чьи видимые характеристики замаскированы способом приготовления, и вы, возможно, начнете принимать его за оленину, а закончите тем, что будете совершенно уверены, что это оленина, пока вам не скажут, что это баранина; тогда вы отчетливо почувствуете вкус баранины. Таким образом можно заставить человека чувствовать вкус или запах того, что он хочет, если только заранее убедиться, что он будет воспринимать это так, как мы хотим, говоря ему: "Разве это не похоже на вкус и т. д.?" или "Разве это не пахнет так же, как и т. д.?". Таким образом можно обманывать целые компании; объявите, например, во время трапезы, что мясо на вкус "высокое", и почти каждый, кто не одушевлен духом противления, обнаружит привкус гнили, которого в действительности там вовсе нет.

"В *ощущении* этот феномен менее заметен, потому что мы находимся так близко к объекту, что наше ощущение его никогда не бывает неполным. Тем не менее, можно привести примеры из этого чувства. При поверхностном ощупывании ткани можно с уверенностью принять ее за бархат, в то время как это, возможно, длинношерстная ткань; или человек, возможно, не может решить, надел ли он шерстяные или хлопчатобумажные чулки, и, пытаясь выяснить это по ощущениям на коже ног, он может понять, что получает ощущение хлопка или шерсти в зависимости от того, что он думает о том или ином. Когда ощущения в пальцах несколько притуплены холодом, мы замечаем множество подобных явлений, поскольку тогда мы более подвержены путанице объектов осязания друг с другом".^[102]

Высокие авторитеты сомневаются в способности воображения фальсифицировать настоящие впечатления от ощущений.^[103] Тем не менее, она несомненно существует. В течение последних двух недель меня раздражал слабый, но неприятный запах в моей библиотеке. Причиной моего раздражения стал выход газа из печи под лестницей. Это, похоже, закрепилось в моем воображении как некий стандарт восприятия, так как через несколько дней после того, как печь была исправлена, я снова почувствовал "тот же запах". На этот раз он был связан с новой парой индийских резиновых туфель, которые принесли из магазина и положили на стол. Однако этот запах не покидал меня в течение нескольких дней, несмотря на то что никто из членов семьи или посетителей не заметил ничего неприятного. Часть этого времени я чувствовал неуверенность в том, запах был воображаемым или реальным; в конце концов он исчез. Каждый, наверное, может привести подобные примеры из области обоняния. Когда мы заплатили неверному водопроводчику за то, что он притворился, что починил наши стоки, рассудок мешает носу воспринимать тот же самый неизменный запах, пока не пройдет несколько дней. Что касается вентиляции или отопления помещений, то в течение некоторого времени мы склонны чувствовать себя так, как, по нашему мнению, должны чувствовать. Если мы считаем, что вентилятор закрыт, то ощущаем тесноту в комнате. Когда же мы обнаруживаем, что она открыта, гнет исчезает.

Крайний случай приведен в следующем отрывке:

"Однажды ко мне в кабинет пришла пациентка в состоянии сильного возбуждения из-за неприятного запаха в вагоне, в котором она ехала, и который, по ее словам, исходил, вероятно, от какого-то очень больного человека, которого, должно быть, только что везли в этом вагоне. Не оставалось сомнений, что с ней что-то случилось, так как она была очень бледна, ее тошнило, ей было трудно дышать и она испытывала другие признаки телесного и душевного расстройства. С некоторым трудом мне удалось успокоить ее, и она ушла, заявив, что запах не похож ни на что из того, что она когда-либо испытывала, и является чем-то ужасным. Выйдя вскоре из своего кабинета, я случайно встретил ее на углу улицы в ожидании автомобиля: мы вместе вошли в машину. Она сразу же обратила мое внимание на тот же тошнотворный запах, который она ощутила в другом вагоне, и начала страдать так же, как и раньше, когда я указал ей, что это просто запах, который всегда исходит от соломы, лежавшей в конюшне. Она быстро поняла, что это тот же самый запах, и неприятные ощущения, которые возникли, пока она была одержима другим восприятием его характера, сразу же прошли".[104]

То же самое происходит и с осязанием. Каждый, наверное, чувствовал, как меняется качество ощущений под его рукой, как внезапный контакт с чем-то влажным или волосатым, в темноте, пробуждает шок отвращения или страха, который переходит в спокойное узнавание какого-то знакомого объекта? Даже такая маленькая вещь, как крошка картофеля на скатерти, которую мы подбираем, думая, что это крошка хлеба, на несколько мгновений кажется нашему воображению ужасной и непохожей на то, чем она является.

Вес или мышечное чувство - это ощущение; но кто не слышал анекдот о том, как сэр Хамфри Дэви показывал только что открытый им металлический натрий? "Боже мой, какой он тяжелый!" - сказал тот; показывая, что его представление о том, какими должны быть металлы как класс, фальсифицировало ощущения, которые он получал от очень легкого вещества.

В чувстве слуха подобные ошибки встречаются повсеместно. Я уже упоминал о галлюцинаторном эффекте мысленных образов очень слабых звуков, таких как отдаленные удары часов (выше, с. 71). Но даже когда присутствуют более сильные звуковые ощущения, каждый должен вспомнить опыт, в котором они изменили свой акустический характер, как только интеллект отнес их к другому источнику. На днях один из моих друзей сидел в моей комнате, когда часы, обладающие богатым низким звоном, начали бить. "Холло!" - сказал он, - "слышишь, это ручной орган в саду", - и был удивлен, обнаружив настоящий источник звука. Несколько лет назад у меня самого была очень яркая иллюзия подобного рода. Однажды поздно вечером, сидя за чтением, я вдруг услышал грозный шум, доносившийся из верхней части дома, которую он, казалось, заполнял. Он прекратился, а через мгновение возобновился. Я вышел в коридор, чтобы прислушаться, но он больше не появлялся. Однако, когда я вернулся в комнату, он снова раздался, низкий, мощный, тревожный, как шум наводнения или *предвестник* ужасного шторма. Он доносился со всех концов света. Весьма напуганный, я снова вышел в коридор, но он уже снова прекратился. Вернувшись в комнату во второй раз, я обнаружил, что это не что иное, как дыхание маленького скотч-терьера, который спал на полу. Примечательно, что как только я понял, что это было, я был вынужден подумать, что это другой звук, и не смог *услышать* его так, как слышал за мгновение до этого".

В анекдотах, приведенных Дельбёфом и Ридом, это, вероятно, также имело место, хотя об этом и не говорится. Рид рассказывает:

"Я помню, что однажды, лежа в постели и испугавшись, я услышал биение собственного сердца; но я принял его за стук в дверь, встал и открыл дверь не один раз, прежде чем обнаружил, что звук раздается в моей собственной груди".
("Расследование", гл. iv. § 1.)

История Дельбёфа такова:

"Прославленный П. Я. ван Бенеден-старший прогуливался как-то вечером с другом по лесистому холму близ Шодфонтена. "Не слышишь ли ты, , - сказал друг, - шум охоты на горе? Мсье ван Бенеден прислушивается и действительно различает говор собак. Некоторое время они прислушиваются, ожидая с минуты на минуту увидеть проходящего мимо оленя; но голос собак, кажется, не удаляется и не приближается. Наконец к ним подходит деревенский житель, и они спрашивают его, кто это может охотиться в такой поздний час. Но он, указывая на лужицы воды у их ног, отвечает: "Вон те маленькие зверьки - это то, что вы слышите". И там действительно оказалось несколько жаб вида *Bombinator igneus*..... Этот батрак в сезон спаривания издает серебристую или скорее кристаллическую ноту..... Грустный и чистый, этот голос ничуть не напоминает голос гончей, пускающей в погоню". [105]

Чувство зрения, как мы уже видели при изучении космоса, таит в себе иллюзии обоих рассмотренных типов. Ни одно чувство не дает таких изменчивых впечатлений об одном и том же объекте, как зрение. Ни с одним чувством мы не склонны относиться к ощущениям, которые сразу же возникают, как к простым знакам; ни с одним чувством мы не можем вызвать из памяти вещь и, как следствие, воспринять ее так мгновенно. Вещь", которую мы воспринимаем, всегда напоминает, как мы видели, объект какого-то отсутствующего ощущения, обычно другую оптическую фигуру, которая в нашем сознании стала стандартом реальности; и именно это постоянное сведение наших оптических объектов к более "реальным" формам привело некоторых авторов к ошибке считать, что ощущения, которые мы сначала воспринимаем, изначально и изначально не имеют никакой формы. [106]

Можно привести множество забавных примеров случайных и эпизодических иллюзий зрения. Достаточно двух. Один - это мое собственное воспоминание. Я лежал на своей койке на пароходе и слушал, как матросы гомонят на палубе снаружи; когда, повернув глаза к окну, я совершенно отчетливо увидел, что главный инженер судна вошел в мою каюту и стоит, глядя через окно на людей, работающих над охраной. Удивленный его вторжением, а также его сосредоточенностью и неподвижностью, я продолжал наблюдать за ним и гадать, как долго он будет стоять так. Наконец я заговорил, но, не получив ответа, сел на койке и тут увидел, что то, что я принял за инженера, было моей собственной фуражкой и пальто, висевшими на колышке у окна. Иллюзия была полной; инженер был необычным на вид человеком, и я безошибочно видел его; но после того как иллюзия исчезла, мне было трудно по собственной воле сделать так, чтобы фуражка и пальто вообще были похожи на него.

Следующая история, которой я обязан моему другу профессору Хайату, относится, вероятно, к разряду нередких:

"Зимой 1858 года, находясь в Венеции, я испытал несколько своеобразную иллюзию, о которой вы просите меня рассказать. Я помню обстоятельства очень точно, потому что часто повторял эту историю и старался, чтобы все сопутствующие обстоятельства не были преувеличены. Я путешествовал с матерью, и мы сняли номер в гостинице, которая располагалась в старом дворце. Комната, в которой я легла спать, была большой и возвышенной. Ярко светила луна, и я помню, как стоял перед задрапированным окном и думал о романтичности обстановки, об остатках

старых историй о рыцарях и дамах и о том, что даже в этой комнате могли происходить любовные сцены и кровавые трагедии. Ночь была так прекрасна, что многие прогуливались по узким переулкам или так называемым улицам, напевая на ходу, и я некоторое время лежал без сна, слушая эти патрули серенадистов, и, конечно, в конце концов заснул. Я почувствовал, что кто-то близко склонился надо мной и мешает мне дышать; меня разбудило ощущение какого-то незваного присутствия. Открыв глаза, я увидел, так отчетливо, как никогда не видел ни одного живого человека, задрапированную голову в футах или восемнадцати дюймах справа и прямо над моей кроватью. Ужас, овладевший моим юным воображением, превосходил все, что я когда-либо испытывал. Голова была покрыта длинной черной вуалью, которая развевалась в лунном свете, лицо было бледным и красивым, а нижняя часть обтянута белой лентой, которую обычно носят монахини католических орденов. Мои волосы, казалось, встали дыбом, а обильный пот свидетельствовал об истинности ужаса, который я испытывала. Некоторое время я лежала так, а затем, постепенно овладевая своими суеверными страхами, решила попытаться схватиться с явлением. Оно оставалось совершенно отчетливым, пока я резко не потянулся к нему рукой, а затем исчезло, чтобы, однако, вернуться снова, как только я опустил на подушку. На второй или третий раз, когда я схватился за голову, повторного появления не последовало, и тогда я увидел, что призрак не был реальным присутствием, а зависел от положения моей головы. Если я переводил взгляд влево или вправо от первоначального положения, в котором находилась моя голова в момент пробуждения, призрак исчезал, а вернувшись примерно в то же положение, я мог заставить его появиться вновь почти с той же интенсивностью, что и в первый раз. В результате этих экспериментов я убедился, что иллюзия возникла под влиянием воображения, которому помогала реальная фигура, созданная визуальным срезом лунного луча, пробивающегося сквозь кружевные занавески окна. Если бы я поддался первому ужасу ситуации и накрылся с головой, то, вероятно, поверил бы в реальность явления, поскольку я ни единым словом, насколько мне известно, не преувеличил яркость своих ощущений".

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ВОСПРИЯТИИ.

Теперь уже достаточно сказано, чтобы доказать общий закон восприятия, который заключается в том, что *в то время как часть того, что мы воспринимаем, поступает через наши органы чувств от объекта перед нами, другая часть* (и это может быть большая часть) *всегда исходит* (по выражению Лазаруса) *из нашей собственной головы.*

В сущности, это лишь один случай (причем самый простой) того общего факта, что наши нервные центры - это орган, реагирующий на впечатления, и что наши полушария, в частности, даны нам для того, чтобы записи нашего личного прошлого опыта могли сотрудничать в этой реакции. Конечно, такой общий способ изложения факта является расплывчатым; и все те, кто придерживается современной теории идей, сразу же бросят ему упрек в этой расплывчатости. Их способ описания процесса гораздо более подробен. Ощущение, говорят они, пробуждает "образы" других ощущений, связанных с ним в прошлом. Эти образы "сливаются", или "объединяются" Эго с настоящим ощущением в новый продукт, перцепцию, и т. д. и т. п. В действительности происходит нечто настолько неотличимое от этого в практическом плане, что может показаться, что против такого утверждения следует возражать с осторожностью, особенно если нет конкурирующей теории элементарных процессов, которую можно было бы предложить. И все же, если это представление о поднимающихся, слетающихся и сливающихся образах мифологическое (а мы все время так считали), то почему мы должны его рассматривать, если только не признать

его просто фигурой речи? Как таковая она, конечно, удобна и желанна. Но если мы попытаемся вложить в него точный смысл, то обнаружим лишь, что мозг реагирует по путям, проторенным предыдущим опытом, и заставляет нас обычно воспринимать вероятное, то есть то, что в предыдущих случаях чаще всего вызывало реакцию.

Но мы можем, я думаю, без опасности быть слишком спекулятивными, быть немного более точными, чем это, и представить себе физиологическую причину, почему ощущаемое качество объекта меняется, когда вместо того, чтобы быть воспринятым в простом ощущении, объект воспринимается как вещь. Все сознание, по-видимому, зависит от определенной медлительности процесса в клетках коры головного мозга. Чем быстрее токи, тем меньше чувств они пробуждают. Если область А будет так связана с другой областью В, что каждый ток, входящий в А, будет немедленно стекать в В, мы не будем очень сильно осознавать тот объект, который А может заставить нас чувствовать. Если В, напротив, не имеет такого обильного канала разрядки, возбуждение задержится там дольше, чем распространится в других местах, и наше сознание того, что объект, который В заставляет нас чувствовать, будет сильным. Доведя это до идеального максимума, мы можем сказать, что если А не оказывает никакого сопротивления передаче тока вперед и если ток заканчивается в В, то, независимо от того, какие причины могут инициировать ток, мы не получим никакого сознания объекта, свойственного А, а, напротив, яркое ощущение объекта, свойственного В. И это будет верно, хотя в другое время связь между А и В может быть менее открытой, и каждый ток, входящий в А, может дать нам сильное сознание объекта, свойственного А. Другими словами, в той мере, в какой ассоциации привычны, качества предполагаемой вещи будут иметь тенденцию заменять собой в сознании качества вещи, находящейся непосредственно там; или, короче говоря, *в той мере, в какой опыт вероятен, он будет иметь тенденцию быть непосредственно ощущаемым*. Во всех подобных переживаниях пути широко открыты от клеток, впервые подвергшихся воздействию, к тем, которые связаны с предложенными идеями. Круглое послеображение на удаляющейся стене или потолке на самом деле *воспринимается* как эллипс, квадратное послеображение креста - как косая нога и т. д., потому что только в процессе, связанном с видением последних фигур, внутренние токи находят паузу (см. следующую главу).

Мы должны помнить об этом, когда, имея дело с глазом, будем указывать на ошибочность принципа, заложенного Ридом и Гельмгольцем, что истинные ощущения никогда не могут быть изменены внушениями опыта.

Иллюзия, о которой я еще не говорил, служит дополнительной иллюстрацией этого. *Когда мы хотим выполнить какое-то движение, а оно по какой-то причине не происходит, если только ощущение того, что часть не двигается, не является сильным, мы склонны чувствовать себя так, как будто движение действительно имело место*. Так обычно происходит при анестезии подвижных частей тела. Закройте глаза пациента, держите его анестезированную руку неподвижно и попросите его поднять руку к голове; когда он откроет глаза, то с удивлением обнаружит, что движения не произошло. Во всех отчетах о случаях анестезии, кажется, упоминается эта иллюзия. Штернберг, который писал на эту тему в 1885 году,^[107] утверждает как закон, что намерение двигаться - это то же самое, что и ощущение движения. Позже мы увидим, что это неверно ([глава XXV](#)); но, безусловно, *намерение может вызывать ощущение движения с галлюцинаторной интенсивностью*. Штернберг приводит следующий эксперимент, который, как мне кажется, удастся по крайней мере половине тех, кто его пробует: Положите ладонь на край стола, свесив указательный палец в положение крайнего сгибания, а затем усилием воли согните его еще больше. Положение других

пальцев делает это невозможным, и все же, если мы не смотрим, чтобы увидеть палец, нам кажется, что мы чувствуем его движение". Он приводит слова Экснера о похожем эксперименте с челюстями: Положите какую-нибудь твердую резину или другое не вдавливаемое препятствие между задними зубами и сильно укусите: вам покажется, что вы чувствуете, как челюсть двигается и передние зубы приближаются друг к другу, хотя по природе вещей никакого движения произойти не может.[108] - Визуальное внушение пути, пройденного кончиком пальца, как *места* движения-ощущения в суставе, о котором мы говорили на [странице 41](#), - еще один пример этой полугаллюцинаторной силы внушаемой вещи. Ампутированные люди, как мы узнали, все еще чувствуют свои потерянные ноги и т. д. Это необходимое следствие закона специфических энергий, поскольку если центральная область, соотнесенная со стопой, вызывает хоть какое-то ощущение, то она должна вызывать ощущение стопы.[109] Но самое любопытное, что многие из этих пациентов могут *заставить стопу двигаться*, а когда они это делают, то отчетливо *чувствуют, как происходит движение*. Они могут, выражаясь их собственным языком, "работать" или "шевелить" потерянными пальцами ног.[110]

Во всех этих различных случаях мы имеем дело с данными, которые в обычной жизни неразрывно связаны друг с другом. Из всех возможных переживаний трудно представить себе пару, более равномерно и непрерывно соединенную, чем желание двигаться, с одной стороны, и ощущение изменения положения частей тела - с другой. От самых ранних наших предков, имевших ноги, и до наших дней движение ног, должно быть, всегда сопровождалось желанием двигать ими; и здесь, если где-либо, следует искать последствия привычки. Процесс желания должен, таким образом, влиться в процесс ощущения исполненного повеления и пробудить это ощущение в максимальной степени при условии, что одновременно не возникнет никаких других положительно противоречащих ощущений. У большинства из нас, когда воля не справляется со своей задачей, возникает противоречивое ощущение. Мы ощущаем сопротивление или неизменное положение конечности. Но ни при анестезии, ни при ампутации не может быть никаких противоречивых ощущений в стопе, которые бы нас поправили; поэтому воображение имеет всю силу факта.

[АППЕРЦЕПЦИЯ.](#)

В Германии со времен Гербарта психология всегда много говорила о процессе, называемом *апперцепцией*. [111] Говорят, что поступающие идеи или ощущения "апперцептируются" "массой" идей, уже имеющих в сознании. Совершенно очевидно, что процесс, который мы описывали как восприятие, является апперцептивным процессом. Так же как и все распознавание, классификация и называние; и, выходя за рамки этих простейших предположений, все дальнейшие мысли о наших восприятиях также являются апперцептивными процессами. Я сам не использовал слово "апперцепция", потому что в истории философии оно имело очень разные значения: [112] и "психическая реакция", "интерпретация", "концепция", "ассимиляция", "проработка" или просто "мысль" - идеальные синонимы его гербартианского значения, широко принятого. Кроме того, вряд ли стоит претендовать на анализ так называемых апперцептивных представлений за пределами первой или перцептивной стадии, поскольку их вариации и степени буквально бесчисленны. Апперцепция" - это название для совокупности эффектов того, что мы изучали как ассоциации; и очевидно, что то, что данный опыт подскажет человеку, зависит от того, что мистер Льюс называет его психостатическими условиями, его характером и запасом идей, или, другими словами, его характером, привычками, памятью, образованием, предыдущим опытом и сиюминутным настроением. Называя все эти вещи "воспринимающей массой", мы

не получаем никакого представления о том, что на самом деле происходит в голове или в мозгу, хотя, конечно, в некоторых случаях это может быть удобно. В целом я склонен считать термин мистера Льюиса "ассимиляция" наиболее плодотворным из всех, которые когда-либо использовались.[113]

Профессор Х. Штейнталь проанализировал апперцептивные процессы с такой детализацией, которая просто обременительна.[114] Однако его введение в этот вопрос можно процитировать. Он начинает с анекдота из юмористической газеты.

"В купе железнодорожного вагона сидят шесть незнакомых друг с другом людей и оживленно беседуют. С сожалением выясняется, что один из них должен сойти на следующей станции. Один из них говорит, что из всех вещей предпочитает такие встречи с совершенно незнакомыми людьми, и что в таких случаях он привык не спрашивать, кто или что его спутники, и не говорить, кто или что он сам. Тогда другой говорит, что возьмется решить этот вопрос, если они все вместе ответят ему на совершенно несвязанный вопрос. Они начали. Он вырвал из блокнота пять листков, написал на каждом вопрос и дал по одному каждому из своих спутников с просьбой написать ответ ниже. Когда листки были ему возвращены, он, прочитав их, без колебаний повернулся к остальным и сказал первому: "Вы - ученый"; второму: "Вы - солдат"; третьему: "Вы - филолог"; четвертому: "Вы - журналист"; пятому: "Вы - фермер". Все признали, что он прав, после чего он вышел и оставил пятерых позади. Каждый из них хотел узнать, какой вопрос получили остальные; и вот, он задал каждому один и тот же вопрос. Он звучал следующим образом:

"Какое существо уничтожает то, что само породило?"

На это естествоиспытатель ответил: "жизненная сила"; солдат - "война"; филолог - "Кронос"; публицист - "революция"; фермер - "кабан". Этот анекдот, как мне кажется, если и не правдив, то, по крайней мере, великолепно придуман. Его рассказчик заставляет журналиста продолжить: "В этом и заключается шутка. Каждый отвечает на первое, что приходит ему в голову,[115] а это то, что имеет самое непосредственное отношение к его жизненным целям. Каждый вопрос - это эксперимент по сверлению отверстий, а ответ - это отверстие, через которое можно заглянуть в наши внутренности"... Так и мы все. Мы все способны распознать священнослужителя, солдата, ученого, делового человека не только по покрою одежды и положению тела, но и по тому, что они говорят и как это выражают. Мы определяем место человека в жизни по интересу, который он проявляет, и по тому, как он его проявляет, по объектам, о которых он говорит, по точке зрения, с которой он смотрит на вещи, судит о них, представляет их себе, короче говоря, по его способу восприятия.....

"У каждого человека есть одна группа идей, относящихся к его собственной личности и интересам, и другая, связанная с обществом. У каждого есть своя группа идей о растениях, религии, праве, искусстве и т. д., и особенно о розе, эпической поэзии, проповедях, свободной торговле и т. п. Таким образом, умственное содержание каждого человека, даже необразованного и детей, состоит из масс или кругов знаний, каждый из которых лежит внутри какого-то большего круга, наряду с другими, аналогично включенными, и каждый из которых включает меньшие круги внутри себя..... Восприятие такой вещи, как лошадь... есть процесс между настоящим изображением лошади перед нашими глазами, с одной стороны, и теми

слитыми или переплетенными изображениями и идеями всех лошадей, которых мы когда-либо видели, с другой;... процесс между двумя факторами или моментами, из которых один существовал до процесса и был старым достоянием ума (группа идей, или понятие, а именно), в то время как другой только что представлен уму и является непосредственно предшествующим фактором (ощущение-впечатление). Первое воспринимает второе; второе воспринимается первым. Из их сочетания возникает апперцепция-продукт: знание о том, что воспринимаемое существо - лошадь.

Предыдущий фактор относительно последующего активен и *априорен*; последующий фактор дан, *апостериорен*, пассивен..... Тогда мы можем определить апперцепцию как движение двух масс сознания (*Vorstellungsmassen*) друг против друга, чтобы произвести познание.

"*Априорный* фактор мы называли активным, а *апостериорный* - пассивным, но это верно лишь относительно..... Хотя *априорный* момент обычно проявляет себя как более мощный, вполне могут происходить процессы апперцепции, в которых новое наблюдение трансформирует или обогащает группу представлений апперцептора. Ребенок, который до сих пор видел только четырехугольные столы, воспринимает круглый стол как стол; но тем самым обогащается апперцептивная масса ("стол"). К его прежним знаниям о столах добавляется новая особенность: они не обязательно должны быть четырехугольными, но могут быть и круглыми. В истории науки достаточно часто случалось, что какое-либо открытие, будучи воспринятым, то есть приведенным в связь с системой наших знаний, трансформировало всю систему. В принципе, однако, мы должны утверждать, что, хотя любой из факторов одновременно активен и пассивен, *априорный* фактор почти всегда более активен из двух".^[116]

Этот рассказ Штейнталя очень четко показывает *разницу между нашими психологическими концепциями и тем, что в логике называется понятиями*. В логике понятие неизменно; но то, что в народе называют "представлениями о вещах", изменяется в процессе использования. Цель "науки" - достичь настолько адекватных и точных понятий, чтобы нам никогда не пришлось их менять. В каждом разуме идет вечная борьба между тенденцией сохранять неизменными и тенденцией обновлять свои представления. Наше образование - это постоянный компромисс между консервативными и прогрессивными факторами. Каждый новый опыт должен быть утилизирован под *каким-то* старым. Главное - найти ту голову, которая должна быть наименее изменена, чтобы принять его. Некоторые полинезийские туземцы, впервые увидев лошадей, называли их свиньями - это была ближайшая голова. Мой ребенок двух лет в течение недели играл с первым попавшимся апельсином, называя его "мячом". Первые попавшиеся ему на глаза целые яйца он назвал "картошкой", привыкнув к тому, что яйца разбивают в стакан, а картошку - без кожуры. Складной карманный винт он не стесняясь называл "плохими ножницами". Вряд ли кому-то из нас удастся легко сделать новую голову, когда приходит новый опыт. Большинство из нас все больше и больше поработаются привычными представлениями и все меньше и меньше способны усваивать впечатления любым способом, кроме старого. Старый фогизм, короче говоря, - это неизбежный финиш, к которому нас подталкивает жизнь. Объекты, которые нарушают наши устоявшиеся привычки "восприятия", просто не принимаются во внимание; или, если по какому-то случаю мы вынуждены путем аргументов признать их существование, через двадцать четыре часа признания как не бывало, и все следы неприемлемой истины исчезли из нашей мысли. Гениальность, по правде говоря, означает не более чем способность к нестандартному восприятию.

С другой стороны, ничто так не радует, с младенчества и до конца жизни, как способность ассимилировать новое со старым, встречать каждого угрожающего нарушителя или нарушительницу нашего известного ряда понятий, как только он появляется, видеть его неожиданность и принимать его как старого замаскированного друга. Эта победоносная ассимиляция нового, по сути, и есть тип всех интеллектуальных удовольствий. Жажда его - это любопытство. Отношение нового к старому, пока ассимиляция еще не произошла, - это удивление. Мы не испытываем ни любопытства, ни удивления, когда речь идет о вещах, настолько далеких от нас, что у нас нет ни понятий, к которым их можно отнести, ни стандартов, по которым их можно измерить.[117] Фуэгийцы во время путешествия Дарвина удивлялись маленьким лодкам, но приняли большой корабль как "само собой разумеющееся". Только то, что мы уже частично знаем, вызывает у нас желание узнать больше. Сложнейшие текстильные ткани, грандиозные работы по металлу для большинства из нас - это как воздух, вода и земля, абсолютное существование, не пробуждающее никаких идей. Само собой разумеется, что гравюра или надпись на медной пластине должны обладать такой степенью красоты. Но если нам показывают *рисунок пером* такого же совершенства, наше личное сочувствие к трудности задачи заставляет нас немедленно удивляться мастерству. Старушка, любясь картиной академика, говорит ему: "А это действительно все сделано *вручную*?"

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ВОСПРИЯТИЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕМ?

Широко распространенное мнение (которого придерживались такие люди, как Шопенгауэр, Спенсер, Гартман, Вундт, Гельмгольц, а в последнее время его интересно отстаивает М. Бине)[118] гласит, что *восприятие следует называть своего рода операцией рассуждения, выполняемой более или менее бессознательно и автоматически*. Поначалу вопрос кажется вербальным, в зависимости от того, насколько широко следует понимать термин "рассуждение". Если каждый раз, когда присутствующий знак подсказывает нашему уму отсутствующую реальность, мы делаем умозаключение; и если каждый раз, когда мы делаем умозаключение, мы рассуждаем; тогда восприятие, несомненно, является рассуждением. Только в нем нет места для бессознательной части. Оба участника, и настоящий знак, и смежные вещи, на которые он намекает, находятся за бортом, и не требуется никаких промежуточных идей. Большинство сторонников данного тезиса, однако, выдвигают более сложное предположение. Они имели в виду, что восприятие - это *опосредованное* умозаключение, а промежуточный термин - бессознательное. Когда возникает ощущение, которое я назвал "это" (стр. 83, выше), они считают, что в сознании происходит некий процесс, подобный следующему:

"Это" - это М;
но М - это А;
поэтому "это" есть А.[119]

Теперь, кажется, нет никаких оснований предполагать эту дополнительную работу колеса в уме. Классификация "этого" как М сама по себе является актом восприятия, и, если бы все восприятие было умозаключением, для его выполнения требовался бы еще более ранний силлогизм, и так далее *in finitum*. Единственным выходом из этой спирали было бы представить процесс в измененном виде, таким образом:

"Это" подобно тем;
Те - это А;

Поэтому "это" есть А.

Основная предпосылка здесь не предполагает ассоциаций по смежности, не называет *тех* как М, а лишь предполагает безымянные сходные образы, воспоминания об аналогичных ощущениях прошлого, с которыми персонажи, составляющие А, были привычно связаны. Но опять же, какие основания для признания этого воспоминания? Мы совершенно не осознаем никаких подобных образов прошлого. А концепция всех форм ассоциаций как следствий элементарного факта привычных путей в мозгу делает такие образы совершенно излишними для объяснения рассматриваемых явлений. Поскольку мозговой процесс "это", знак А, неоднократно возбуждался вместе с процессом полного объекта А, прямые пути иррадиации от одного к другому должны быть уже установлены. И хотя возможны и окольные пути, например, от "этого" к "тем", а затем от "тех" к "А" (пути, которые привели бы практически к тому же выводу, что и прямые), все же нет никаких оснований считать их пройденными сейчас, тем более что видимость указывает в другую сторону. В *явном* рассуждении такие пути, несомненно, пройдены; в восприятии они, по всей вероятности, закрыты. Таким образом, далеко не всегда восприятие является разновидностью рассуждения, называемого так должным образом, и оно, и рассуждение являются координатными разновидностями того более глубокого процесса, который психологически известен как ассоциация идей, а физиологически - как закон привычки в мозгу. *Таким образом, называть восприятие бессознательным рассуждением - это либо бесполезная метафора, либо положительно ошибочная путаница между двумя разными вещами.*

Еще один момент, и мы можем оставить тему восприятия. *Сэр В. Гамильтон считал, что он открыл "великий закон", который был полностью упущен психологами, и который, "простой и универсальный", заключается в следующем: "Знание и чувство, восприятие и ощущение, хотя всегда сосуществуют, всегда находятся в обратном соотноении друг к другу".*

Гамильтон писал так, как будто восприятие и ощущение - это два сосуществующих элемента, входящих в единое состояние сознания. Спенсер уточняет его, утверждая, что это два взаимоисключающих *состояния* сознания, а не два элемента одного состояния. Если считать, что ощущение, как это делают и Гамильтон, и Спенсер, означает чувство *удовольствия* или *боли*, то нет сомнений, что закон, как бы он ни был выражен, верен; и что ум, который сильно осознает приятность или болезненность переживания, *ipso facto* менее приспособлен для наблюдения и анализа его внешней причины.^[120] Однако, помимо удовольствия и боли, этот закон представляется лишь следствием того факта, что чем более концентрированным является состояние сознания, тем более ярким оно является. Когда мы чувствуем цвет или слышим тон *как таковой*, мы воспринимаем его более интенсивно, замечаем его лучше, чем когда мы осознаем его просто как одно из многих других свойств общего объекта. Более рассеянное мозговое возбуждение перцептивного состояния, вероятно, несовместимо с таким же сильным возбуждением отдельных частей, как и сенсорное состояние. Таким образом, мы возвращаемся к нашему собственному более раннему различению между перцептивными и сенсорными процессами и к примерам, которые мы приводили на [стр. 80, 81](#).^[121]

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ.

Мы видели, что между нормальным восприятием и иллюзией нет никакого разрыва, *процесс* идентичен в обоих случаях. Последние иллюзии, которые мы рассматривали, можно с полным основанием назвать галлюцинациями. Теперь мы должны рассмотреть ложные

восприятия, которые чаще всего называют этим именем.^[122] В обыденном языке считается, что галлюцинация отличается от иллюзии тем, что в то время как в иллюзии объект действительно существует, *в галлюцинации объективный стимул вообще отсутствует*. В дальнейшем мы увидим, что это предполагаемое отсутствие объективного стимула в галлюцинации является ошибкой, и что галлюцинации часто являются лишь *крайними проявлениями* процесса восприятия, в которых вторичная мозговая реакция находится вне нормальной пропорции с периферийным стимулом, вызывающим активность. Галлюцинации обычно возникают внезапно и носят характер навязывания субъекту. Но они обладают различной степенью кажущейся *объективности*. Следует избегать одной ошибки *in limine*. О них часто говорят как о мысленных образах, спроецированных наружу по ошибке. Но если галлюцинация является полной, она представляет собой нечто большее, чем мысленный образ. *Галлюцинация - это строго чувственная форма сознания, такое же хорошее и истинное ощущение, как если бы там был реальный объект*. Объекта там нет, вот и все.

Более легкие степени галлюцинаций были обозначены как *псевдогаллюцинации*. Псевдогаллюцинации и галлюцинации стали резко отличаться друг от друга только в течение нескольких лет. Доктор Кандинский пишет об их различии следующим образом:

"При неосторожном расспросе пациента мы можем спутать его псевдогаллюцинаторные восприятия с галлюцинациями. Но для незамутненного сознания самого пациента, даже если он имбецил, отождествление этих двух явлений невозможно, по крайней мере в сфере зрения. В момент псевдогаллюцинации зрения пациент ощущает себя в совершенно ином отношении к этой субъективной разумной видимости, чем в том, в котором он находится, когда подвергается истинной зрительной галлюцинации. Последняя - это сама реальность; первая, напротив, всегда остается субъективным явлением, которое человек обычно рассматривает либо как посланное ему как знак Божьей милости, либо как искусственно вызванное его тайными преследователями..... Если он на *собственном опыте* знает, что такое настоящая галлюцинация, то ему совершенно невозможно принять за нее псевдогаллюцинацию..... Конкретный пример сделает разницу очевидной:

"Однажды доктор Н. L.... вдруг услышал среди голосов своих преследователей ("доносящихся из пустоты в середине стены") довольно громкий голос, внушительно говоривший ему: "Измени свою национальную принадлежность". Поняв, что это означает, что его единственная надежда состоит в том, чтобы перестать быть подданным российского царя, он на мгновение задумался, какое подданство было бы лучше, и решил стать английским подданным. В тот же миг он увидел псевдогаллюцинаторного льва натуральной величины, который появился и быстро положил свои передние лапы ему на плечи. Он живо ощутил эти лапы как довольно болезненное локальное давление (полная галлюцинация осязания). Затем тот же голос со стены сказал: "Теперь у вас есть лев - теперь вы будете править", после чего пациент вспомнил, что лев - это национальная эмблема Англии. Лев показался Л. очень отчетливым и ярким, но, тем не менее, он продолжал сознавать, как он впоследствии выразился, что видел животное не телесными, а мысленными глазами. (После выздоровления он назвал аналогичные явления "экспрессивно-пластическими идеями"). Соответственно, он не испытывал никакого ужаса, хотя и чувствовал прикосновение когтей. Если бы лев был полной галлюцинацией, пациент, как он сам отметил после выздоровления, почувствовал бы сильный страх и, скорее всего, закричал бы или обратился в бегство. Если бы это был просто образ

фантазии, он бы не связал его с голосами, в объективной реальности которых он в то время был совершенно убежден".[123]

От обычных образов памяти и фантазии псевдогаллюцинации отличаются тем, что они гораздо более яркие, минутные, подробные, устойчивые, резкие и спонтанные, в том смысле, что отсутствует всякое ощущение нашей собственной активности в их создании. У доктора Кандинского был пациент, который после приема опиума или гашиша страдал обильными псевдогаллюцинациями и галлюцинациями. Поскольку он также обладал сильной способностью к визуализации и был образованным врачом, эти три вида явлений можно было легко сравнить. Хотя псевдогаллюцинации проецировались наружу (обычно не дальше предела отчетливого зрения, фута или около того), они *не имели характера объективной реальности*, которым обладали галлюцинации, но, в отличие от картин воображения, их было почти невозможно вызвать по желанию. Большинство "голосов", которые слышат люди (независимо от того, приводят ли они к галлюцинациям или нет), являются псевдогаллюцинациями. Их называют "*внутренними*" голосами, хотя их характер совершенно не похож на внутреннюю речь субъекта с самим собой. Я знаю двух человек, которые слышат такие внутренние голоса, делающие непредвиденные замечания всякий раз, когда они затихают и прислушиваются к ним. Они являются весьма распространенным явлением при бредовом помешательстве и в конце концов перерастают в яркие галлюцинации. Последние сравнительно часто встречаются в спорадической форме, и некоторые люди склонны к их частому появлению. Из результатов "Переписи галлюцинаций", начатой Эдмундом Гурни, следует, что, грубо говоря, один человек из каждых десяти, вероятно, имел яркие галлюцинации в какой-то период своей жизни.[124] Следующие случаи из жизни здоровых людей дадут представление о том, что представляют собой эти галлюцинации:

"Когда мне было восемнадцать лет, однажды вечером я вела очень болезненный разговор с пожилым человеком. Мое расстройство было настолько велико, что я взяла толстую вязальную спицу из слоновой кости, которая лежала на каминной полке в гостиной, и во время разговора разломала ее на мелкие кусочки. В разгар дискуссии мне очень захотелось узнать мнение брата, с которым у меня были необычайно близкие отношения. Обернувшись, я увидел его сидящим у дальнего края центрального стола со сложенными руками (необычная для него поза), но, к моему ужасу, по саркастическому выражению его рта я понял, что он не сочувствует мне, не "принимает мою сторону", как я тогда выразился бы. Удивление охладило меня, и разговор был прекращен.

"Через несколько минут после этого, имея возможность поговорить с братом, я повернулся к нему, но его уже не было. Я спросил, когда он вышел из комнаты, и мне ответили, что его в ней не было, чему я не поверил, решив, что он зашел на минуту и незаметно вышел. Примерно через полтора часа после этого он появился и с некоторым трудом убедил меня, что в тот вечер его не было рядом с домом. Он до сих пор жив и здоров".

А вот еще один случай:

"Однажды вечером в марте 1873 или 74 года, не могу вспомнить, в каком году, я присматривал за больной кроватью моей матери. Около восьми часов вечера я пошел в столовую, чтобы поставить чашку чая, и, повернувшись от буфета к столу, увидел на другой стороне стола перед камином, который ярко горел, как и газ, стоящего с прижатой к боку рукой в истинно военной манере солдата лет тридцати,

с темными, пронзительными глазами, смотрящими прямо в мои. На нем была небольшая фуражка со стоячим пером; его костюм также был выдержан в солдатском стиле. Он не показался мне ни духом, ни призраком, ни чем-либо необычным, только живым человеком; но, поглядев на него с минуту, я понял, что это неземное существо, потому что он не двигал ни глазами, ни телом, а присмотревшись, я увидел огонь за окном. Я, конечно, был поражен, но не выбежал из комнаты. Я чувствовал себя ошеломленным. Однако я быстро вышел и, обратившись к служанке в холле, спросил ее, не видела ли она чего-нибудь. Она ответила, что нет. Я пошел в комнату матери и проговорил с ней около часа, но ни разу не упомянул об этой теме, боясь ее взволновать, и в конце концов совсем забыл о ней, вернувшись в столовую, все еще в забытии о случившемся, но повторяя, как и прежде, поворот от буфета к столу, чтобы приготовить еще чаю. Я случайно взглянул в сторону огня и снова увидел солдата. На этот раз я был совершенно встревожен и поспешно выбежал из комнаты. Я позвала отца, но когда он пришел, то ничего не увидел".

Иногда страдает более одного чувства. Ниже приводится такой случай:

"В ответ на вашу просьбу описать мои переживания от 30 октября 1886 года я напишу вам письмо.

"В вышеупомянутый день, 30 октября 1886 года, я находился в --, где преподавал. Я выполнил свою обычную рутинную работу за день и сидел в своей комнате, занимаясь тригонометрическими формулами. Каждый день я ожидал известий о заключении моей жены, и, естественно, в течение некоторого времени все мои мысли были заняты ею. Она, кстати, находилась в Б..., примерно в пятидесяти милях от меня.

"В то время, однако, ни она, ни ожидаемое событие не занимали моих мыслей; как я уже сказал, я работал над тригонометрическими формулами, и весь вечер занимался тригонометрией. Около одиннадцати часов, когда я сидел, погружившись в синусы, косинусы, тангенсы, котангенсы, секансы и косекансы, я очень отчетливо почувствовал на своем левом плече прикосновение и легкое пожатие, как будто кто-то пытался привлечь мое внимание другим способом и потерпел неудачу. Не поднимаясь, я повернул голову - между мной и дверью стояла моя жена, одетая точно так же, как я видел ее в последний раз, примерно пять недель назад. Когда я повернулся, она сказала: "Это маленький Герман, он пришел". Было сказано еще что-то, но это единственная фраза, которую я могу вспомнить. Чтобы убедиться, что я не сплю и не вижу сон, я поднялся со стула, ущипнул себя и пошел к фигуре, которая сразу же исчезла, как только я поднялся. Я не могу сказать, сколько времени длился этот эпизод, но знаю, что я не спал и находился в обычном хорошем состоянии. Прикосновение было очень отчетливым, фигура была абсолютно идеальной, стояла примерно в трех футах от двери, которая была закрыта и не открывалась в течение вечера. Голос звучал безошибочно, и я узнал бы в нем голос жены, даже если бы не повернулся и вообще не увидел фигуру. Тон был разговорным, как будто она произнесла бы те же слова, если бы действительно стояла здесь.

"Что касается меня самого, то, как я уже говорил, я был в обычном хорошем состоянии; я не болел ни до, ни после этого случая, меня не мучила даже головная боль.

"Вскоре после описанного выше переживания я лег на ночь и, как это обычно бывает, спокойно проспал до утра. Я не стал особенно размышлять о странном появлении накануне вечером, и хотя я думал о нем, я не никому рассказывать. На следующее утро я встал, не сознавая, что мне что-то снилось, но мне очень крепко внушили мысль, что в телеграфной конторе меня что-то ждет. Я попытался отбросить это впечатление, поскольку, насколько я знал, для него не было никаких оснований. От нечего делать я отправился на прогулку и, чтобы избавиться от впечатления, о котором говорилось выше, пошел прочь от телеграфной конторы. Однако по мере того, как я шел, впечатление превратилось в убеждение, и я действительно повернулся и пошел к тому самому месту, которое решил не посещать, - к телеграфной конторе. Первым, кого я увидел, придя в контору, был телеграфист, который, будучи в близких отношениях со мной, заметил: "Здравствуйте, папа, у меня для вас телеграмма". В телеграмме сообщалось о рождении мальчика весом девять фунтов и о том, что все идет хорошо. Итак, у меня нет никакой теории относительно событий, описанных выше; у меня никогда не было подобного опыта ни до, ни после; я не верю в спиритизм, ничуть не суеверен, очень мало знаю о "переносе мыслей", "бессознательной церебрации" и т. д. и т. п., но я абсолютно уверен в том, о чем пытался рассказать.

"Что касается замечания, которое я услышал: "Это маленький Герман" и т. д.; я бы добавил, что мы заранее решили назвать ребенка, если это будет мальчик, *Германом - кстати, моим собственным именем*".^[125]

Галлюцинация иногда сопровождается изменением общего сознания, что больше похоже на внезапное погружение в сон. Следующий случай рассказал мне мужчина 43 лет, у которого раньше не было ничего похожего на это:

"Сегодня утром, когда я сидел за столом и читал циркуляр "Лояльного легиона", со мной произошла очень любопытная вещь, подобной которой я никогда не испытывал. Это было совершенно реально, настолько реально, что потребовалось несколько минут, чтобы прийти в себя. Мне кажется, что это было прямое проникновение в какой-то другой мир. Раньше я никогда не испытывал ничего похожего, кроме ночных снов. Я, конечно, не спал. Но ощущение было именно таким. Я только сел за стол и заинтересовался циркуляром, как на минуту словно потерял себя и оказался на верхнем этаже высокого здания, очень белого, сияющего и чистого, с благородным окном справа от того места, где я сидел. Через это окно я смотрел на чудесный пейзаж, совершенно новый для меня. Никогда прежде у меня не было такого ощущения бесконечности природы, таких великолепных просторов света, цвета и *чистоты*. Я знаю, что в течение трех минут я был полностью потерян, потому что, когда я начал приходить в себя, так сказать, - сидя в этом другом мире, я еще три или четыре минуты спорил о том, что было сном, а что - реальностью. Сидя там, я получил слабое ощущение С.... [город, в котором жил писатель], сначала отдаленное и смутное. Потом, помню, я подумал: "А что, я ведь когда-то жил в С....; возможно, я туда возвращаюсь". Постепенно С.... вернулся, и я снова оказался за своим столом. В течение нескольких минут процесс определения моего местонахождения был очень забавным. Но весь опыт был совершенно восхитительным, в нем было такое чувство блеска, ясности и легкости. Я полагаю, что в целом это продолжалось около семи или десяти минут".

Галлюцинации при лихорадочном делирии представляют собой смесь псевдогаллюцинации, истинной галлюцинации и иллюзии. В этом отношении опиум, гашиш

и белладонна похожи на них . Один из моих друзей рассказал о приступе гашиш-делириума следующее:

"Я читал газету, и признаком приближающегося бреда была неспособность удерживать мысли на повествовании. Едва я прилег на диван, как перед моими глазами появилось несколько рядов человеческих рук, которые на мгновение заколебались, повернулись и затем сменились ложками. Те же движения повторялись, предметы менялись на колеса, оловянных солдатиков, фонарные столбы, метлы и другие бесчисленные нелепости. Эта сцена длилась около десяти минут, и за это время, можно с уверенностью сказать, я увидел не менее тысячи различных предметов. Эти кружащиеся образы не были похожи на реалии жизни, а имели характер вторичных образов, возникающих в глазах после взгляда на какой-нибудь ярко освещенный предмет. Достаточно было одного внушения человека, который находился со мной в комнате, чтобы вызвать образ предложенной вещи, в то время как без внушения появлялись все обычные предметы жизни и множество нереальных чудовищ, которые совершенно невозможно описать, и которые казались творениями мозга".

"Характер симптомов быстро менялся. Казалось, что по мне прошла какая-то волна, и я осознал, что мой пульс быстро бьется. Я достал часы и усилием воли засек время ударов сердца, 135 с точностью до минуты.

Я чувствовал каждую пульсацию во всей своей системе, и началось любопытное подергивание, которое никакими усилиями разума не удавалось остановить".

"Были моменты кажущейся ясности, когда казалось, что я могу видеть внутри себя и наблюдать за работой своего сердца. На меня нахлынул странный страх, уверенность, что я никогда не оправлюсь от действия опиата, за которым так же быстро последовало чувство огромного интереса к эксперименту, уверенность, что этот опыт был самым новым и волнующим из всех, через которые я когда-либо проходил.

"Мой разум находился в крайне впечатлительном состоянии. Любое место, о котором я думал или которое предлагал, появлялось со всей отчетливостью реальности. Я подумал о Гигантском проходе в Стаффе, и тут же оказался в порталах пещеры Фингала. Со всех сторон возвышались огромные базальтовые колонны, а огромные волны катились через пропасть и в тишине разбивались о скалистый берег. Внезапно раздался грохот и взрыв, и по пещере эхом прокатилось слово "Ишмарал". При произнесении этого удивительного слова огромные колонны базальта превратились в крутящиеся булавки для одежды, и я громко рассмеялся над этой нелепостью.

" (Здесь я могу сказать, что слово "Ишмарал", похоже, преследовало и другие мои галлюцинации, поскольку я помню, что впоследствии часто слышал его). Затем я испытал нечто вроде метемпсихоза. Любое животное или предмет, о котором я думал, могло превратиться в существо, которое владело моим разумом. Я подумал о лисе, и мгновенно превратился в это животное. Я отчетливо ощущал себя лисой, видел свои длинные уши и кустистый хвост и каким-то интровизией чувствовал, что вся моя анатомия - это анатомия лисы. Внезапно точка зрения изменилась. Глаза, казалось, находились в задней части рта; я выглянул между раздвинутыми губами, увидел два ряда острых зубов и, закрыв рот со щелчком, не увидел ничего.

"Затем я превратился в бомбу, ощутил свой размер, вес и толщину и испытал ощущение, будто я выстрелил вверх из гигантской мортиры, посмотрел вниз на землю, разорвался и упал обратно в ливень железных осколков.

"Я превращался в бесчисленное множество других предметов, многие из которых были настолько абсурдны, что я не в состоянии представить себе, что послужило причиной их появления. Например, я был маленькой фарфоровой куклой, погруженной в бутылку с оливковым маслом, в следующий момент - палочкой скрученной конфеты, затем скелетом, заключенным в вертящийся гроб, и так до бесконечности.

"К концу бреда вихревые образы появились снова, и меня преследовало необычное творение мозга, которое появлялось вновь каждые несколько мгновений. Это был образ двуликой куклы, с цилиндрическим телом, спускающимся к острию, как у прищепки.

"Она всегда была одна и та же, с чем-то вроде короны на голове, и раскрашена в два цвета, зеленый и коричневый, на голубом фоне. Выражение янусоподобных профилей всегда было одинаковым, как и украшения тела". Оправившись от действия наркотика, я не мог в точности представить себе, как появляется это необычное чудовище, но в последующих опытах меня постоянно посещал этот фантом, и я всегда узнавал каждую деталь его композиции. Это было похоже на посещение какого-то давно забытого места и встречу с каким-то зрелищем, которое исчезло из памяти, но оказалось совершенно знакомым, как только на него взглянули".

"Действие препарата продолжалось около полутора часов, после чего я немного захмелел и почувствовал головокружение; но после десятичасового сна я снова стал самим собой, если не считать легкой неспособности удерживать внимание на каком-либо произведении в течение длительного времени, которая сохранялась в течение почти всего следующего дня".

НЕЙРОННЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ГАЛЛЮЦИНАЦИЯХ.

Примеры этих необычных извращений восприятия можно было бы приводить бесконечно, но у меня нет больше места. Давайте обратимся к вопросу о том, каков может быть физиологический процесс, которым они обусловлены. Разумеется, он должен заключаться в возбуждении изнутри тех центров, которые активны при нормальном восприятии, идентичном по виду и степени тому, которое обычно требуется вызвать реальными внешними объектами. Особый процесс, который вызывают токи от органов чувств, при нормальных обстоятельствах, казалось бы, не может быть вызван никаким другим способом. На с. 72 и далее мы видели, что центры, возбуждаемые входящими периферическими токами, вероятно, идентичны центрам, используемым в простом воображении; и что яркость сенсорного типа сознания, вероятно, коррелирует с дискретной степенью *интенсивности* процесса, который в нем возбуждается. Отсылая читателя к этому отрывку и к тому, что было сказано в последнее время на с. 103 и далее, я перехожу к завершению моей теории перцептивного процесса анализом того, что, по всей вероятности, происходит при галлюцинациях, называемых так строго.

Мы видели (с. 75), что свободный выход клеток друг на друга через ассоциативные пути является вероятной причиной того, что максимальная интенсивность функции не достигается, когда клетки возбуждаются своими соседями в коре головного мозга. В конце главы XXV мы вернемся к этой концепции и, уточнив ее, используем для объяснения

некоторых явлений, связанных с волей. Идея заключается в том, что утечка по этим путям происходит слишком быстро, чтобы внутреннее напряжение в любом центре могло накопиться до максимальной точки взрыва, если только возбуждающие токи не превышают те, которые различные части коры передают друг другу. Токи с периферии - это (как кажется) единственные токи, чья энергия может победить супраидеальное сопротивление (так сказать) клеток и вызвать тот особый интенсивный вид распада, с которым связано сенсационное качество. *Если, однако, утечка вперед прекратится*, напряжение внутри некоторых клеток может достичь точки взрыва, даже если возбуждающее их влияние исходит только из соседних участков коры головного мозга. Пусть пустая кадка с течью в дне, опрокинутая на подставку так, что если она когда-нибудь наполнится водой, то расстроится, представляет собой состояние покоя центра для определенного рода ощущений. Пусть налитая в него вода обозначает токи, которые являются его естественным стимулом; тогда отверстие в его дне будет, конечно, представлять "пути", по которым он передает свое возбуждение другим связанным с ним клеткам. Теперь пусть два других сосуда выполняют функцию по снабжению его водой. Один из этих сосудов обозначает соседние клетки коры головного мозга и может вливать едва ли больше воды, чем вытекает через утечку. Поэтому ведро никогда не поднимается из-за поступления воды из этого источника. Ток воды проходит через него и совершает работу в другом месте, но в самом ведре не возбуждается ничего, кроме того, что обозначает *идейную* активность. Другой сосуд, однако, обозначает периферийные органы чувств и поставляет такой обильный поток воды, что ведро быстро наполняется, несмотря на утечку, и в нем *происходит взрыв*; другими словами, возбуждается *чувственная* активность. Но очевидно, что если бы течь была закупорена, то более медленный поток воды также закончился бы, расстроив ведро.

Если мы возьмем серию процессов A B C D E, связанных между собой в таком порядке, и предположим, что ток через них очень быстрый, то интенсивность будет незначительной, пока, возможно, не наступит пауза в точке E. Но как только ток будет перекрыт в любом месте, скажем, между C и D, процесс в C должен стать более интенсивным и даже может взорваться, чтобы произвести ощущение в сознании вместо идеи.

Похоже, что некоторые галлюцинации лучше всего объяснить именно таким образом. На самом деле мы имеем регулярный ряд фактов, которые можно сформулировать в соответствии с единым законом, согласно которому *содержательная сила состояния сознания находится в обратной пропорции к его внушаемости*. Именно места остановок нашей мысли заняты отчетливыми образами. Большинство слов, которые мы произносим, вообще не успевают пробудить образы; они просто пробуждают следующие слова. Но когда предложение *останавливается*, образ на некоторое время задерживается перед мысленным взором (см. т. I. с. 243). Опять же, всякий раз, когда ассоциативные процессы снижаются и затрудняются из-за приближения бессознательного состояния, как при засыпании, обмороке или наркотическом опьянении, мы обнаруживаем сопутствующее увеличение интенсивности любого частичного сознания, которое может сохраниться. У некоторых людей то, что М. Мори назвал "гипнагогическими" галлюцинациями^[126], является регулярным сопутствующим процессом засыпания. Перед мысленным взором проходят вереницы лиц, пейзажей и т. д., сначала как фантазии, затем как псевдогаллюцинации, наконец, как полноценные галлюцинации, формирующие сновидения. Если рассматривать ассоциативные пути как пути дренажа, то перекрытие одного за другим по мере прогрессирования надвигающегося церебрального паралича должно действовать подобно затыканию дыры на дне ведра и делать более интенсивной деятельность в тех системах клеток, которые вообще сохраняют какую-либо активность.

Уровень повышается, потому что токи не отводятся, пока, наконец, не произойдет полный сенсационный взрыв.

Обычное объяснение гипнагогических галлюцинаций состоит в том, что это идеи, лишенные своих обычных *редукторов*. Говорят, что в сомнамбулизме, когда ощущения исчезают, разум, не имея более сильных вещей, с которыми можно было бы сравнить свои идеи, приписывает им полноту реальности. В обычное время объекты нашего воображения низводятся до *статуса* субъективных фактов благодаря постоянному контрасту наших ощущений с ними. Однако если устранить ощущения, предполагает эта точка зрения, то "образы" сразу же "спроецируются" во внешний мир и предстанут как реальность. Таким образом объясняется и иллюзия сновидений. Это, действительно, в какой-то мере дает представление о фактах.^[127] Но это, конечно, не объясняет необычайную живость и полноту многих наших снов-фантазий. Процесс "воображения" должен (в этих случаях, по крайней мере^[128]) быть не просто относительно, а абсолютно и сам по себе более интенсивным, чем в другое время. Дело в том, что это не процесс воображения, а подлинный сенсационный процесс; и, следовательно, данная теория является ложной в том, что касается этого момента.

Объяснение эпилептического припадка, данное доктором Хьюлингом Джексоном, признано мастерским. Оно включает в себя принципы, точно такие же, как те, которые я привожу здесь. Потеря сознания" при эпилепсии происходит из-за того, что наиболее высокоорганизованные процессы мозга истощаются и выходят из строя. Менее организованные (более инстинктивные) процессы, обычно подавляемые другими, затем возвышаются, так что мы получаем в качестве простого следствия освобождения от торможения бессмысленные или маниакальные действия, которые так часто следуют за приступом.^[129]

Точно так же подергивание мышц, которое так часто пугает нас, когда мы находимся в точке засыпания, может быть истолковано как повышение (в определенных нижних двигательных центрах) обычного "тонического" напряжения до точки взрыва, когда торможение, обычно оказываемое высшими центрами, слишком внезапно исчезает.

Тогда выявляется одно возможное условие галлюцинации, какими бы ни были другие условия. *Когда нормальные пути связи между центром и другими центрами нарушаются, любая активность, которая может существовать в первом центре, имеет тенденцию увеличиваться в интенсивности, пока, наконец, не будет достигнута точка, в которой последнее внутреннее сопротивление будет преодолено, и полный сенсационный процесс взорвется.*^[130] Таким образом, случается, что причины активности клеток мозга, которые обычно приводят к слабому сознанию, могут вызвать очень сильное сознание, когда переполнение этих клеток остановлено оцепенением остальной части мозга. Так, легкое периферическое раздражение, если оно вообще достигает центров сознания во время сна, порождает сон о сильном ощущении. Все книги о сновидениях полны анекдотов, которые иллюстрируют это. Например, М. Мори во время сна щекочут перышком нос и губы. Ему снится, что его пытаются, прикладывая к лицу гипс, который отрывают, разрывая кожу носа и губ. Декарту, которого укусила блоха, снится, что его пронзает шпага. Один друг рассказывает мне, когда я пишу эти строки, что несколько дней назад его волосы изменили свое положение на лбу, когда он "задремал" в кресле. Мгновенно ему приснилось, что кто-то нанес ему удар. Примеры можно приводить *до бесконечности*, но и этих достаточно.^[131]

Похоже, у нас есть объяснение определенному количеству галлюцинаций. *Когда нормальная иррадиация внутрикоркового возбуждения по ассоциативным путям нарушается, любая случайная спонтанная активность или любая периферическая стимуляция (пусть и неадекватная в другое время), с помощью которой можно посетить мозговой центр, запускает в нем процесс полной сенсационной интенсивности.*

В галлюцинациях, искусственно создаваемых у гипнотических субъектов, обычно требуется некоторая степень периферического возбуждения. Мозг спит, насколько позволяет его собственное спонтанное мышление, и слова "магнетизера" пробуждают корковый процесс, который втягивает в себя любые токи соответствующего рода, которые могут поступать с периферии, что приводит к яркому объективному восприятию предложенной вещи. Так, укажите на точку на листе бумаги и назовите ее "фотографией генерала Гранта", и ваш испытуемый вместо точки увидит фотографию генерала. Точка придает объективность внешнему виду, а предложенное представление о генерале придает ему форму. Затем увеличьте точку с помощью линзы, удвойте ее с помощью призмы или подтолкнув глазное яблоко, отразите ее в зеркале, переверните вверх ногами или сотрите, и испытуемый скажет вам, что "фотография" была увеличена, удвоена, отражена, перевернута или исчезла. Говоря языком М. Бине, [\[132\]](#) точка - это внешняя *точка репрезентации*, которая необходима для придания объективности вашему внушению, и без которой последнее породит лишь *концепцию* в сознании испытуемого. [\[133\]](#) М. Бинэ показал, что такая периферическая *точка де-реп* используется в огромном количестве не только гипнотических галлюцинаций, но и галлюцинаций безумных. Последние часто бывают *односторонними*, то есть пациент слышит голоса всегда с одной стороны от себя или видит фигуру только тогда, когда открыт один из его глаз. Во многих из этих случаев было точно доказано, что болезненное раздражение внутреннего уха или помутнение влаги в глазу было отправной точкой тока, который больные акустические или оптические центры пациента облекали в свои особые продукты в виде идей. *Галлюцинации, возникающие таким образом, являются "иллюзиями", и теория М. Бине, согласно которой все галлюцинации должны начинаться на периферии, может быть названа попыткой свести галлюцинации и иллюзии к одному физиологическому типу*, а именно к тому, к которому относится нормальное восприятие. В каждом случае, по мнению М. Бине, будь то восприятие, галлюцинация или иллюзия, мы получаем яркость ощущений с помощью тока от периферических нервов. Это может быть всего лишь след тока. Но этого следа достаточно, чтобы зажечь максимальный или супраидейный процесс, чтобы воспринимаемый объект приобрел характер *экстернальности*. Какова будет природа объекта, целиком зависит от конкретной системы путей, в которой разгорается процесс. Часть объекта во всех случаях поступает от органов чувств, остальное - от разума. Но мы не можем с помощью интроспекции провести различие между этими частями; и наша единственная формула результата состоит в том, что мозг *отреагировал* на впечатление обычным образом. Так и в сновидениях, которые мы рассмотрели, и в галлюцинациях, о которых рассказывает М. Бине, мы можем сказать только, что мозг *отреагировал* ненормальным образом.

М. Теория Бинэ действительно объясняет множество случаев, но, конечно, не все. Призма не всегда удваивает ложное восприятие, [\[134\]](#) как и последнее не всегда исчезает, когда глаза закрыты. Доктор Хак Тьюк [\[135\]](#) приводит несколько примеров здравомыслящих людей с хорошо экстериоризированными галлюцинациями, которые не отвечали тестам Бине; а мистер Эдмунд Гурни [\[136\]](#) приводит ряд причин, по которым интенсивность

коркового процесса может быть результатом местной патологической активности в той же степени, что и его особенность. По мнению Бине, аномально или исключительно активная часть коры головного мозга задает *характер* того, что должно появиться, в то время как периферический орган чувств сам по себе может дать *интенсивность*, достаточную для того, чтобы это появилось в реальном пространстве. Но поскольку эта интенсивность, в конце концов, является лишь вопросом степени, непонятно, почему при редких условиях эта степень не *может* быть достигнута исключительно внутренними причинами. В этом случае наряду с периферическими галлюцинациями, которые теория М. Бине допускает только в одном случае, мы должны иметь определенные галлюцинации, инициируемые центрально. *Поэтому в целом представляется вероятным, что галлюцинации с центральным началом могут существовать.* Насколько часто они возникают - другой вопрос. Существование галлюцинаций, затрагивающих более одного чувства, является аргументом в пользу центральной инициации. Ведь если допустить, что увиденная вещь может иметь свою отправную точку во внешнем мире, то голос, который она произносит, должен быть обусловлен влиянием из зрительной области, то есть иметь центральное происхождение.

Спорадические случаи галлюцинаций, посещающие людей лишь раз в жизни (а это, по-видимому, наиболее частый тип), по любой теории трудно понять в деталях. Они часто бывают необычайно полными; а тот факт, что многие из них сообщаются как *верифицированные*, то есть совпадающие с реальными событиями, такими как несчастные случаи, смерть и т. д., с теми, кого видели, является дополнительным осложнением этого явления. Первое действительно научное исследование галлюцинаций во всех их возможных аспектах, на основе большого количества эмпирического материала, было начато мистером Эдмундом Гурни и продолжается другими членами Общества психических исследований; и "Перепись" сейчас применяется в нескольких странах под эгидой Международного конгресса экспериментальной психологии. Остается надеяться, что из этих совместных трудов в конце концов вырастет нечто основательное. Факты перетекают в явления двигательного автоматизма, транса и т.д.; и ничто, кроме широкого сравнительного исследования, не может дать действительно поучительных результатов.^[137]

Роль, которую играют периферические органы чувств в галлюцинациях, столь же неясна, как и в случае с воображением. Видимые вещи часто кажутся непрозрачными и скрывают фон, на который они проецируются. Из этого, однако, не следует, что сетчатка действительно участвует в видении. Противоположный процесс, происходящий в зрительных центрах, препятствует восприятию сетчатки, производимому внешней реальностью, что в психическом плане эквивалентно сокрытию ее воображаемой фигурой. Отрицательные послеобразы мысленных картин, о которых сообщали Мейер и Фере, и отрицательные послеобразы гипнотических галлюцинаций, о которых сообщали Бине и другие, пока что являются единственным доказательством того, что в этом процессе участвует сетчатка. Но пока эти послеобразы не будут объяснены каким-то другим способом, мы должны признать возможность центробежного тока из оптических центров вниз в периферический орган зрения, каким бы парадоксальным ни казалось направление такого тока.

ВРЕМЯ ВОСПРИЯТИЯ.

Время, которое занимает процесс восприятия, исследовалось различными экспериментаторами. Кто-то называет его временем восприятия, кто-то временем выбора, кто-то временем дискриминации. Результаты уже были приведены в главе XIII (т. I, с. 523 и далее), к которой мы и отсылаем читателя.

Д-р Романес приводит интересный вариант этих измерений времени. Он обнаружил^[138]

"поразительное различие между разными людьми в отношении скорости, с которой они способны *читать*. Конечно, чтение предполагает чрезвычайно сложные процессы восприятия как чувственного, так и интеллектуального порядка; но если мы выберем для этих наблюдений людей, привыкших много читать, то можем считать, что все они находятся на одном уровне в отношении количества практики, которую они имели, так что различия в их скорости чтения могут быть справедливо отнесены к реальным различиям в их скорости формирования сложных восприятий в быстрой последовательности, а не к каким-либо чисто случайным различиям, возникающим из-за большей или меньшей способности, приобретенной в результате специальной практики.

"Мои эксперименты заключались в том, что я помечал краткий печатный абзац в книге, которая никогда не читалась ни одним из тех, кому она должна была быть представлена. Абзац, содержащий простые изложения простых фактов, был помечен на полях карандашом. Затем книгу положили перед читателем открытой, однако страница была закрыта листом бумаги. Указав читателю на этом листе бумаги, какую часть нижележащей страницы занимает помеченный абзац, я внезапно убрал лист бумаги одной рукой, а другой запустил хронограф. Двадцать секунд отводилось на чтение абзаца (десять строк октаво), и как только это время истекало, я снова неожиданно клал лист бумаги на печатную страницу, передавал книгу следующему читателю и повторял эксперимент, как и раньше. Тем временем первый читатель, как только книга была убрана, записывал все, что помнил о прочитанном. И так же поступали со всеми остальными читателями.

"Результаты ряда экспериментов, проведенных по этому методу, показали, как я уже говорил, поразительные различия в *максимальной* скорости чтения, которая возможна для разных людей, привыкших к объемному чтению. Иными словами, разница может составлять 4 к 1; или, говоря иначе, за определенное время один человек может прочитать в четыре раза больше, чем другой. Более того, оказалось, что между медлительностью чтения и способностью к усвоению нет никакой связи; напротив, когда все усилия направлены на то, чтобы усвоить как можно больше за определенное время, быстрые читатели (как показывают их письменные заметки) обычно дают лучший отчет о тех частях абзаца, которые были пройдены медленными читателями, чем те, которые способны дать; и самый быстрый читатель, которого я нашел, также лучше всех усваивает. Далее я должен сказать, что нет никакой связи между быстротой восприятия, проверяемой таким образом, и интеллектуальной активностью, проверяемой общими результатами интеллектуальной работы; поскольку я пробовал эксперимент с несколькими очень выдающимися людьми в науке и литературе, большинство из которых, как я обнаружил, были медленными читателями".^[139]

^[83] Слово "восприятие", однако, использовалось по-разному. Исторические заметки см. в Hamilton's Lectures on Metaphysics, ii. 96. Для Гамильтона восприятие - это "сознание внешних объектов" (ib. 28). Спенсер определяет его, как ни странно, как "различение отношения или отношений между *состояниями сознания*, частично репрезентативными и

частично репрезентативными; эти состояния сознания должны быть сами известны в той степени, в какой они вовлечены в знание их отношений" (Psychol., § 355).

[84] Анализ, i. 97.

[85] Теория видения, 51.

[86] Процесс обучения особенно очевиден в случае с ухом, поскольку все внезапные звуки кажутся младенцам тревожными. Знакомые шумы дома и улицы держат их в постоянном страхе до тех пор, пока они либо не узнают предметы, которые их издают, либо не притупятся к ним частым опытом их безвредности.

[87] наброски, с. 153.

[88] Ср. Helmholtz, Optik, pp. 433, 723, 728, 772; и Spencer, Psychology, vol. ii. p. 249, note.

[89] Более или менее геометрически правильные фантазмы, возникающие при надавливании на глазные яблоки, переполнении головы, вдыхании анестетиков и т. д., можно снова привести в доказательство того, что слабые и неясные возбуждения органов чувств преобразуются мозгом в фигурные объекты, только факты не совсем четко поддаются интерпретации; и, возможно, фигурность объясняется какой-то особенностью сетчатки, пока еще не изученной. Красивые узоры, которые могли бы сойти за обои, сменяют друг друга, когда на глазные яблоки долго нажимают. Хорошо известен рассказ Гете о его собственном фантоме цветка. Он появлялся в центре его зрительного поля всякий раз, когда он закрывал глаза и опускал голову, "разворачиваясь и развивая из своей внутренней части новые цветы, состоящие из разноцветных или иногда зеленых листьев, не естественных, а фантастических форм, симметричных, как розетки скульпторов" и т. д. (цитируется по "Физиологии" Мюллера, перевод Бали, стр. 1397). Укрепления и зигзагообразные узоры, которые хорошо известны как появление в поле зрения при некоторых функциональных расстройствах, имеют характеристики (устойчивость, принудительность, вытеснение других объектов), наводящие на мысль о ретинальном происхождении - вот почему весь класс явлений, рассматриваемых в этой заметке, кажется мне все еще сомнительно связанным с мозговым фактором в восприятии, о котором говорится в тексте. -Я копирую из книги Тейна об интеллекте (т. I. с. 61) перевод интересного наблюдения профессора М. Лазаруса, в котором наблюдается тот же эффект послеобраза. Сам Лазарус предлагает название "иллюзии видения" для таких модификаций идеальных картин под воздействием периферических стимулов ("Lehre von den Sinnestäuschungen", 1867, p. 19). "Я был на террасе Кальтбад в Риги в очень ясный полдень и пытался разглядеть Вальдбрудер, скалу, выделяющуюся среди гигантской стены окружающих ее гор, на вершинах которых мы видим, как корону, ледники Титлиса, Ури-Ротсдока и т. д. Я смотрел попеременно то невооруженным глазом, то в подзорную трубу, но невооруженным глазом не мог ее различить. В течение шести-десяти минут я неотрывно смотрел на горы, цвет которых менялся в зависимости от высоты или наклона между фиолетовым, коричневым и темно-зеленым, и я безрезультатно утомился, когда перестал смотреть и отвернулся. В этот момент я увидел перед собой (не могу вспомнить, были ли мои глаза закрыты или открыты) фигуру отсутствующего друга, похожую на труп..... Я сразу же спросил себя, как мне пришло в голову вспомнить об отсутствующем друге. Через несколько секунд я восстановил нить своих мыслей, прерванную поисками Вальдбрудера, и без труда обнаружил, что мысль о моем друге по очень простой необходимости появилась среди них. Но, кроме того, он появился в виде трупа. Как это произошло? В этот момент, то ли от усталости, то ли для того, чтобы подумать, я закрыл глаза и сразу же обнаружил, что все поле зрения на значительном протяжении покрыто тем же оттенком, что и труп, - зеленовато-желто-серым. Я сразу же подумал, что здесь заложен принцип желаемого объяснения, и

попытался вызвать в памяти формы других людей. И действительно, эти формы тоже были похожи на трупы; стоя или сидя, как я пожелал, все они имели трупный оттенок. Люди, которых я хотел увидеть, не все представляли передо мной как разумные фантомы; и опять же, когда мои глаза были открыты. Я не видел фантомов, или, во всяком случае, видел их только тускло, без определенного цвета. Я спросил, как это происходит, что фантомы людей подвергаются воздействию и окрашиваются так же, как окружающее их зрительное поле, как прослеживаются их очертания и имеют ли их лица и одежда одинаковый цвет. Но было уже слишком поздно, или, возможно, влияние размышлений и изучения было слишком сильным. Все внезапно побледнело, и субъективное явление, которое могло продолжаться еще несколько минут, исчезло. Очевидно, что здесь внутреннее воспоминание, возникшее по законам ассоциации, сочеталось с оптическим послеобразом. Чрезмерное возбуждение периферии зрительного нерва, то есть долгое предшествующее ощущение моих глаз при созерцании цвета горы, косвенно вызвало субъективное и стойкое ощущение дополнительного цвета; и мое воспоминание, соединившись с этим субъективным ощущением, превратилось в описанный мною трупный фантом".

[90] Cp. Th. Reid's Intellectual Powers, essay ii. chap. xxii, и A. Binet, in Mind, ix. 206. М. Бине указывает на тот факт, что то, что ошибочно предполагается, всегда является объектом какого-то другого чувства, нежели "это". "Оптические иллюзии" - это, как правило, ошибки осязания и мышечной чувствительности, и ошибочно воспринимаемый объект и опыт, который его исправляет, в этих случаях оба являются тактильными.

[91] Обратную иллюзию трудно вызвать. Точки *a* и *b*, находящиеся в нормальном контакте, означают для нас одно и то же пространство, и поэтому можно предположить, что при одновременном прикосновении, как при прикосновении пары штангенциркулей, мы должны ощущать только один объект, в то время как на самом деле мы ощущаем два. В связи с этим следует отметить, что предмет, помещенный между двумя пальцами в их обычном, не скрещенном положении, всегда вызывает ощущение *двух контактов*. Когда пальцы *прижаты друг к другу*, мы чувствуем, что между ними находится *один предмет*. А когда пальцы скрещены и соответствующие точки *a* и *b* одновременно *нажаты*, мы действительно получаем нечто похожее на иллюзию единственности, то есть получаем очень сомнительное удвоение.

[92] Пуркинье, Мах и Брейер - вот авторы, которым мы в основном обязаны объяснением чувства головокружения. Я обнаружил (American Journal of Otology, Oct. 1882), что у глухонемых (чьи полукружные каналы или слуховые нервы часто дезорганизованы) очень часто отсутствует восприимчивость к головокружениям или завихрениям.

[93] Непроизвольное продолжение движений глаз - не единственная причина ложного восприятия в этих случаях. Как мы увидим в [главе XX](#), существует также истинное негативное послеображение первоначальных двигательных ощущений сетчатки.

[94] Насколько мне известно, мы никогда не испытываем обратную иллюзию на железнодорожной станции, считая, что другой поезд движется, в то время как он неподвижен.

[95] Гельмгольц: Physiol. Optik, 365.

[96] Cp. "Теория зрения" Беркли, §§ 67-79; Helmholtz: Physiologische Optik, pp. 630-1; Lechalas in Revue Philosophique, xxvi. 49.

[97] *Physiol. Optik*, p. 602.

[98] Кажется вероятным, что напряжение *прямых* мышц имеет отношение к колебаниям суждений в этих случаях с атропином. Внутренние прямые мышцы сокращаются всякий раз, когда мы аккомодируем. Они прищуриваются и вызывают двоение в глазах, когда иннервация для аккомодации чрезмерна. Чтобы видеть одиночно, при напряжении атропинизированной аккомодации, сокращение внутренних *прямых* должно быть нейтрализовано соответствующим чрезмерным сокращением внешних *прямых*. Но это признак спада объекта и т. д.

[99] *American Journal of Psychology*, i. 101 ff.

[100] Romanes, *Mental Evolution in Animals*, p. 324.

[101] M. Lazarus: *Das Leben d. Seele*, ii (1857), p. 32. При обычном восприятии речи половина слов, которые мы слышим, как нам кажется, привносится из нашей собственной головы. Язык, с которым мы хорошо знакомы, мы понимаем, даже если он произносится на низких тонах и на расстоянии. Незнакомый язык в таких условиях невразумителен. Если нам не досталось хорошего места в иностранном театре, мы не сможем уследить за диалогом; а за границей большинство из нас беспокоит не только то, что туземцы говорят так быстро, но и то, что они говорят так неразборчиво и так низко. Словесные объекты для интерпретации звуков не являются бдительными и готовыми в нашем сознании, как это происходит в нашем знакомом родном языке, и не запускаются по столь слабой подсказке.

[102] G. H. Meyer, *Untersuchungen*, etc., pp. 242-8.

[103] Helmholtz, P. O. 438. Этот вопрос вскоре снова встанет перед нами в главе о восприятии пространства.

[104] C. F. Taylor, *Sensation and Pain*, p. 37 (N. Y., 1882).

[105] *Examen Critique de la Loi Psychophysique* (1883), p. 61.

[106] Сравните эссе A. W. Volkmann "Ueber Ursprüngliches und Erworbenes in den Raumanschauungen", на стр. 139 его *Untersuchungen im Gebiete der Optik*; и главу xiii вклада Hering'a в *Handbuch der Physiologie Hermann'a*, vol. iii.

[107] В "Трудах Американского общества психических исследований", стр. 253-4, я попытался объяснить некоторые вариации этого сознания. Из 140 человек, у которых я обнаружил ощущение потерянной ноги, некоторые делали это с *сомнением*. "Либо они чувствуют ее только время от времени, либо только когда она болит, либо только когда они пытаются ею пошевелить; либо они чувствуют ее только тогда, когда "много думают о ней" и прилагают усилия, чтобы ее вызвать. Когда они "становятся невнимательными", ощущение "возвращается" или "перепрыгивает" обратно, к культе. Каждая степень сознания, от полной и постоянной галлюцинации до чего-то едва отличимого от обычного воображения, кажется, представлена в ощущении отсутствующей конечности, о котором говорят эти пациенты. Действительно, я редко встречал более правдоподобные доказательства того, что воображение и ощущения - это лишь различия в яркости одного и того же процесса, чем эти признания, если брать их в целом. Многие пациенты говорят, что с трудом могут определить, чувствуют ли они конечность или воображают ее".

[108] *Pflüger's Archiv*, xxxvii. 1.

[109] Не все пациенты испытывают эту дополнительную иллюзию.

[110] Я должен сказать, что *почти* во всех случаях за волевым усилием следует фактическое сокращение мышц в *культе*.

[111] Cp. Herbart, Psychol. als. Wissenschaft, § 125.

[112] Сравните исторические обзоры K. Lange: Ueber Apperception (Plauen, 1879), pp. 12-14; Staude в Wundt's Philosophische Studien, i. 149; и Marty в Vierteljsch. f. wiss. Phil., x. 347 и далее.

[113] Problems, vol. i. p. 118 ff.

[114] См. его Einleitung in die Psychologie u. Sprachwissenschaft (1881) p. 166 ff.

[115] Один из моих коллег, задав себе этот вопрос после прочтения анекдота, рассказал мне, что ответил: "Гарвардский колледж". За несколько дней до этого преподаватели этого учебного заведения проголосовали за то, чтобы не выдавать дипломы тем членам выпускного класса, которые могли нарушить порядок в день занятий. У. ДЖ.

[116] *Op. cit.* pp. 166-171.

[117] Великая максима в педагогике заключается в том, чтобы привязать каждую новую часть знаний к уже существующей диковинке, то есть каким-то образом ассимилировать ее материю с тем, что уже известно. Отсюда вытекает преимущество "сравнивать все далекое и чужое с чем-то близким, делать неизвестное понятным на примере известного и связывать все обучение с личным опытом ученика..... Если учитель должен объяснить расстояние солнца от земли, пусть он спросит.... "Если кто-нибудь там, на солнце, выстрелит из пушки прямо в вас, что вы должны сделать?" "Уйти с дороги", - был бы ответ. "В этом нет необходимости", - может ответить учитель. Ты можешь спокойно лечь спать в своей комнате и снова встать, можешь дожидаться дня конфирмации, можешь выучиться ремеслу и состариться, как я, - вот только пушечное ядро приблизится, *тогда* ты можешь прыгнуть в одну сторону! Видите, как велико расстояние до солнца!" (K. Lange, Ueber Apperception, 1879, p. 76 - очаровательная, хотя и пространная работа).

[118] А. Шопенгауэр, Satz vom Grunde, гл. iv. Г. Спенсер, Psychol., часть vi. гл. ix, x. Э. В. Гартман, Phil. of the Unconscious (B), гл. vii, viii. В. Вундт, Beiträge, pp. 422 ff.; Vorlesungen, iv, xiii. Н. Helmholtz, Physiol. Optik, pp. 430, 447. А. Binet, Psychol. du Raisonnement, chaps. iii, v. Вундт и Гельмгольц недавно "отреклись". См. выше, т. I. с. 169 примечание.

[119] Когда не все М, а только некоторые М являются А, когда, другими словами, М "нераспределено", вывод может быть ошибочным. Иллюзии, таким образом, были бы *логическими заблуждениями*, если бы истинные восприятия были действительными силлогизмами. Они делали бы ложные выводы из нераспределенных средних терминов.

[120] Физиологическую гипотезу, объясняющую этот факт, см. в Spencer, Psychol., ii. p. 250, примечание.

[121] Вот еще один хороший пример, взятый из "Оптики" Гельмгольца, с. 435: "Вид идущего человека - привычное для нас зрелище. Мы воспринимаем его как единое целое и замечаем лишь самые яркие его особенности. Для того чтобы ощутить перпендикулярные и боковые колебания такой идущей фигуры, требуется сильное внимание и особый выбор точки зрения. Мы должны выбрать подходящие точки или линии на заднем плане, с которыми можно сравнить положение ее головы, но если на удаленного шагающего человека посмотреть через астрономический телескоп (который инвертирует объект), какой необычный

прыгающий и раскачивающийся вид он представляет! Теперь нетрудно заметить колебания тела и многие другие детали походки..... Но, с другой стороны, ее общий характер, легкий или неуклюжий, величественный или грациозный, воспринимается труднее, чем в вертикальном положении".

[122] Иллюзии и галлюцинации следует отличать от *заблуждений*. Заблуждение - это ложное мнение о каком-либо факте, которое не обязательно должно быть связано с ложным восприятием разумных вещей, хотя часто это так и есть. Например, у нас могут быть религиозные заблуждения, медицинские заблуждения, заблуждения о собственной значимости, о характерах других людей и т. д., *ad libitum*. Бредовые идеи безумных склонны к определенным типичным формам, которые часто очень трудно объяснить. Но во многих случаях это, безусловно, теории, которые пациенты придумывают для объяснения своих ненормальных телесных ощущений. В других случаях они обусловлены слуховыми и зрительными галлюцинациями. Доктор Клаустон (Клинические лекции о психических заболеваниях, лекция iii *ad fin.*) приводит следующие особые галлюцинации, которые были обнаружены примерно у ста меланхолических пациенток, страдавших подобным образом. Были бредовые идеи

всеобщего преследования;	безденежья;
общей подозрительности;	что за ними следит полиция;
быть отравленным;	быть очень злым;
быть убитым;	надвигающаяся смерть;
быть заговоренным против;	надвигающееся бедствие;
быть обманутым;	душа погибает;
быть проповедуемым в церкви;	не иметь желудка;
быть беременным;	не иметь внутренностей;
иметь кость в горле;	не имеющий ни желудка, ни мозгов;
потерявший много денег;	быть покрытым паразитами;
непригодная для жизни;	о ней пишут письма;
что она не оправится;	имущество украдено;
что ее убьют;	ее дети убиты;
что ее сварят заживо;	совершившая кражу;
что ее ждет голодная смерть;	Ноги из стекла;
что плоть кипит;	рога на голове;
что голова отрублена	быть хлороформированным;
от тела;	совершивший убийство;
что детей сжигают;	страх быть повешенным;
что вокруг происходят убийства;	когда человек обзывается;
что неправильно принимать пищу;	что на них действуют духи;
быть в аду;	быть человеком;
быть искушаемым дьяволом;	преображение тела;
быть одержимым дьяволом;	насекомые, выходящие из тела;
совершившая	изнасилование, совершённое над ней;
непростительный грех;	венерическая болезнь;

невидимые силы;	быть рыбой;
ее собственная личность;	быть мертвым;
быть в огне;	совершив самоубийство души.

[123] В. Кандинский: *Kritische u. Klinische Betrachtungen im Gebiete d. Sinnestäuschungen* (1886), p. 42.

[124] См. *Proceedings of Soc. for Psych. Research*, Dec. 1889, pp. 7, 183. Международный конгресс экспериментальной психологии в настоящее время руководит переписью, а настоящий писатель является его представителем в Америке.

[125] Этот случай относится к тому классу, который мистер Майерс называет "верическим". В последующем письме писатель сообщает мне, что видение произошло примерно за пять часов до рождения ребенка.

[126] *Le Sommeil et les Rêves* (1865), гл. iii, iv.

[127] Эта теория неполной ректификации внутренних образов их обычными редукторами наиболее блестяще изложена М. Тейном в его работе "Интеллект", книга ii, глава i.

[128] Конечно, не во всех случаях, потому что клетки, остающиеся активными, сами находятся на пути к тому, чтобы быть подавленными общим (неизвестным) состоянием, которым обусловлен сон.

[129] Полное изложение теорий Джексона см. в его "Кроонийских лекциях", опубликованных в *Brit. Med. Journ.* за 1884 год. Ср. также его замечания в обсуждении статьи доктора Мерсье о торможении в "Brain", xi. 361.

Потеря живости образов в процессе бодрствования, как и ее приобретение при засыпании, хорошо описаны М. Тейном, который пишет (об интеллекте, i. 50, 58), что часто днем, когда он устал и сидит в кресле, ему достаточно закрыть один глаз платком, как "постепенно зрение другого глаза становится неясным, и он закрывается. Все внешние ощущения постепенно исчезают или, во всяком случае, перестают быть заметными; внутренние образы, с другой стороны, слабые и быстрые в состоянии полного бодрствования, становятся интенсивными, отчетливыми, цветными, устойчивыми и продолжительными: возникает своего рода экстаз, сопровождаемый ощущением расширения и комфорта. Предупрежденный частым опытом, я знаю, что наступает сон и что я не должен мешать нарастающему видению; я остаюсь пассивным, и через несколько минут оно завершается. Архитектура, пейзажи, движущиеся фигуры медленно проходят мимо, а иногда остаются, с несравненной четкостью форм и полнотой бытия; наступает сон, и я больше не знаю о реальном мире, в котором нахожусь. Много раз, подобно М. Мори, я осторожно приводил себя в чувство в различные моменты этого состояния и таким образом мог отметить его характер: интенсивный образ, который кажется внешним объектом, является лишь более сильным продолжением слабого образа, который за мгновение до этого я признавал внутренним; какой-то клочок леса, какой-то дом, какой-то человек, который я смутно представлял себе, закрыв глаза, через минуту представал передо мной с полными телесными подробностями, чтобы превратиться в полную галлюцинацию. Затем, проснувшись от прикосновения руки, я чувствую, что фигура распадается, теряет цвет и испаряется: то, что казалось субстанцией, превращается в тень..... В таких случаях я часто видел, как на мгновение образ *бледнеет*, теряет цвет и испаряется; иногда, когда я открывал глаза, фрагмент пейзажа или юбка платья, казалось, все еще парили над каминными трубами или на черном очаге". Такое сохранение объектов сновидений в течение нескольких мгновений после открытия глаз, по-видимому, не является

чрезвычайно редким явлением. О многих случаях мне сообщали непосредственно. Сравните "Физиологию" Мюллера, Baly's tr., p. 945.

[130] Я говорю "нормальные" пути, потому что галлюцинации не являются несовместимыми с тем, что *некоторые* пути ассоциаций остаются. Некоторые гипнотические пациенты не только испытывают галлюцинации от предложенных им объектов, но и усиливают их и разыгрывают ситуацию. Но пути здесь кажутся слишком узкими, а размышления, которые должны были бы сделать галлюцинацию невероятной, не приходят в голову субъекта. В целом, чем более узкой является череда "идей", тем более ярким является сознание каждой из них. При обычных обстоятельствах весь мозг, вероятно, играет роль в дренаже любого центра, который может быть идейно активным. Когда дренаж уменьшается каким-либо образом, это, вероятно, делает активный процесс более интенсивным.

[131] М. А. Мори приводит ряд примеров: *op. cit.* pp. 126-8.

[132] Очень важные эксперименты М. Бинэ, впервые опубликованные в томе XVII "Философского обозрения" (1884), также полностью приведены в главе ix его и Фере работы "Животный магнетизм" в Международной научной серии. Если на бумаге нет ни точки, ни какой-либо другой видимой метки, то суждение субъекта о "портрете", по-видимому, должно основываться на том, что он видит, что происходит со всем листом.

[133] Трудно отличить у загипнотизированного пациента подлинную сенсорную галлюцинацию чего-то предполагаемого от простого представления о нем, соединенного с верой в то, что оно есть. Меня удивляла расплывчатость, с которой такие испытуемые часто обводят на чистой бумаге контуры картин, которые, по их словам, они "видят" на ней. С другой стороны, на сайте можно услышать, как они говорят, что не находят разницы между настоящим цветком, который вы им показываете, и воображаемым цветком, который, как вы им говорите, находится рядом с ним. Когда им говорят, что один из них воображаемый и что они должны выбрать настоящий, они иногда говорят, что выбор невозможен, а иногда указывают на воображаемый цветок.

[134] Только на днях трем загипнотизированным девушкам мне не удалось удвоить галлюцинацию с призмой. Конечно, это могла быть не совсем полноценная галлюцинация.

[135] Мозг, xi. 441.

[136] Mind, x. 161, 316; и Phantasms of the Living (1886), i. 470-488.

[137] В только что упомянутой работе мистера Гурни критически обсуждается большое количество верических случаев.

[138] Mental Evolution in Animals, p. 186.

[139] *Литература.* Лучшее описание восприятия, с которым я знаком, содержится в книге г-на Джеймса Салли "Иллюзии" в Международной научной серии. О галлюцинациях существует большая литература. Гурни, Кандинский (как уже цитировалось) и некоторые статьи Краепелина в "Vierteljahrschrift für Wissenschaftliche Philosophie", том v (1881), являются наиболее систематическими исследованиями, сделанными в последнее время. Все работы по безумию посвящены им. Работы доктора В. В. Айрленда "Пятно на мозге" (1886) и "Через ворота из слоновой кости" (1890) содержат много информации по этому вопросу. Гурни дает довольно полные ссылки на старую литературу. Наиболее важной с точки зрения теории является статья мистера Майерса о Демоне Сократа в "Трудах Общества психических исследований" за 1889 год, с. 522.

ГЛАВА XX.

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВА.[140]

ОЩУЩЕНИЕ ГРУБОЙ ОБШИРНОСТИ.

В ощущениях слуха, осязания, зрения и боли мы привыкли выделять среди других элементов элемент объемности. Отголоски грозы мы называем более объемными, чем скрип грифельного карандаша; вход в теплую ванну вызывает на коже ощущение большей массивности, чем укол булавки; небольшая невралгическая боль, тонкая, как паутинка, на лице кажется менее обширной, чем сильная болезненность нарыва или огромный дискомфорт при колике или люмбаго; а одинокая звезда выглядит меньше, чем полуденное небо. В ощущении головокружения или субъективного движения, которое, как доказали последние исследования, связано со стимуляцией полукружных каналов уха, пространственный характер очень заметен. Вопрос о том, дает ли "мышечное чувство" непосредственное знание о пространстве, до сих пор вызывает споры среди психологов. В то время как некоторые заходят так далеко, что приписывают все наше познание протяженности исключительно его помощи, другие отрицают за ним все экстенсивные качества, какие бы они ни были. В этих условиях нам лучше отложить его рассмотрение, признав, однако, что на первый взгляд кажется, будто мы ощущаем нечто более объемное, когда сокращаем мышцы бедра, чем когда дергаем веком или какой-нибудь мелкой мышцей на лице. Более того, кажется, что это различие заключается в ощущении самих мышц бедра.

В ощущениях запаха и вкуса этот элемент меняющейся обширности кажется менее заметным, но не полностью отсутствует. Некоторые вкусы и запахи кажутся менее обширными, чем сложные вкусы, такие как вкус жареного мяса или сливового пудинга, с одной стороны, или тяжелые запахи, такие как мускус или тубероза, с другой. Эпитет "резкий", которым наделяют представителей класса кислот, как бы показывает, что для народного сознания в производимом ими впечатлении есть что-то узкое и, так сказать, полосатое, в то время как другие вкусы и запахи более крупные и округлые.

Ощущения, исходящие от внутренних органов, также отличаются большим или меньшим объемом. Примерами этого могут служить истощение и пустота, удушье, сердцебиение, головная боль, и, конечно, не менее пространственным является сознание нашего общего телесного состояния при тошноте, лихорадке, сильной сонливости и усталости. Все наше кубическое содержимое кажется нам тогда ощутимо проявленным как таковое и ощущается гораздо больше, чем любая локальная пульсация, давление или дискомфорт. Кожа и сетчатка глаза - это органы, в которых космический элемент играет самую активную роль. Мало того, что максимальный объем, предоставляемый сетчаткой, превосходит объем, предоставляемый любым другим органом, так еще и тонкость, с которой наше внимание может разделить этот объем и воспринять его как состоящий из меньших частей, одновременно сосуществующих рядом друг с другом, не имеет аналогов в других местах.[141] Ухо дает больший простор, чем кожа, но значительно менее способно его разделить.[142]

Итак, мой первый тезис заключается в том, что этот элемент, различимый в каждом ощущении, хотя и более развитый в одних, чем в других, является изначальным

ощущением пространства, из которого все точные знания о пространстве, которые мы имеем впоследствии, сотканы процессами дискриминации, ассоциации и отбора. Экстенсивность", как называет ее мистер Джеймс Уорд,[143] с этой точки зрения, становится элементом каждого ощущения так же, как и интенсивность. Последнюю каждый признает различимым, хотя и не отделимым ингредиентом ощущаемого качества. Таким же образом экстенсивность, будучи совершенно особым видом ощущения, не поддающимся описанию, кроме как в терминах самой себя, и неотделимая в реальном опыте от некоторого сенсационного качества, которому она должна сопутствовать, сама по себе не может получить иного названия, кроме как *сенсационный элемент*.

Теперь следует отметить, что *необъятность*, о которой мы говорили до сих пор, столь же велика в одном направлении, как и в другом. Его размеры настолько неопределенны, что в нем пока не существует вопроса о поверхности в противоположность глубине; "объем" - лучшее краткое название для данного ощущения. *Ощущения разных порядков примерно сопоставимы между собой по объему*. Это говорит о том, что пространственное качество каждого из них одинаково, где бы оно ни находилось, поскольку различные качественные элементы, например тепло и запах, несопоставимы. Люди, родившиеся слепыми, по сообщениям, удивляются величине предметов, которые предстают перед ними после восстановления зрения. Франц говорит о своем пациенте, излеченном от катаракты: "Он видел все гораздо больше, чем предполагал, исходя из представлений, полученных с помощью чувства осязания. Движущиеся и особенно живые объекты казались очень большими".[144] Громкие звуки обладают определенной грандиозностью ощущений. Невозможно представить себе взрыв пушки как нечто, заполняющее небольшое пространство. Вообще, кажется, что звуки занимают все пространство между нами и их источником, а в случае некоторых из них, таких как песня сверчка, свист ветра, шум прибоя или далекий железнодорожный поезд, не имеют определенной точки отсчета.

В сфере зрения мы имеем факты того же порядка. Светящиеся тела, как говорит Геринг, дают нам восприятие, "которое кажется *просторным (raumhaft)* по сравнению с восприятием строго поверхностного цвета. Светящееся железо выглядит светящимся насквозь, так же как и пламя".[145] Светящийся туман, полоса солнечного света воздействуют на нас таким же образом. Как призывает Геринг:

"Мы должны отличать *просторные* ощущения от поверхностных, а также отчетливые от нечетко ограниченных. Темнота, которую с закрытыми глазами человек видит перед собой, - это, например, пространственное ощущение. Мы видим перед собой не черную поверхность, как стена, а пространство, заполненное темнотой, и даже когда нам удастся увидеть эту темноту как прерванную черной стеной, перед этой стеной все равно остается темное пространство. То же самое происходит, когда мы оказываемся с открытыми глазами в абсолютно темной комнате. Ощущение темноты также нечетко ограничено. Примером четко ограниченного пространства является ощущение прозрачной и цветной жидкости в бокале; желтый цвет вина виден не только на ограниченной поверхности бокала; ощущение желтого цвета заполняет всю внутренность бокала. Днем так называемое пустое пространство между нами и видимыми объектами выглядит совсем не так, как ночью. Растущая темнота оседает не только на предметах, но и между нами и предметами, чтобы в конце концов полностью закрыть их и заполнить только пространство. Если я загляну в темный ящик, то увижу, что он *наполнен* темнотой, и это проявляется не только в виде темного цвета боковин или стенок ящика.

Тенистый угол в хорошо освещенной комнате наполнен темнотой, которая есть не только *на* стенах и полу, но и *между* ними, в пространстве, которое они включают. Каждое ощущение возникает там, где я его испытываю, и если я испытываю его сразу во всех точках определенного просторного пространства, то это объемное ощущение. Куб из прозрачного зеленого стекла дает нам пространственные ощущения; непрозрачный куб, окрашенный в зеленый цвет, напротив, дает только ощущения поверхности".[146]

Существуют определенные квазимоторные ощущения в голове, когда мы меняем направление внимания, которые в равной степени кажутся связанными с тремя измерениями. Если с закрытыми глазами мы думаем о верхней части дома, а затем о подвале, о расстоянии перед нами, а затем о том, что позади нас, о пространстве далеко справа, а затем далеко слева, у нас возникает нечто гораздо более сильное, чем идея, - реальное ощущение, а именно, как будто что-то в голове движется в другом направлении. Фехнер, как мне кажется, был первым, кто опубликовал замечания по поводу этих ощущений. Он пишет следующее:

"Когда мы переносим внимание с объектов одного чувства на объекты другого, у нас возникает неопишемое ощущение (хотя в то же время совершенно определенное и воспроизводимое с удовольствием) измененного направления, или по-разному локализованного напряжения (*Spannung*). Мы чувствуем напряжение, направленное вперед в глазах, и напряжение, направленное вбок в ушах, усиливающееся с ростом степени нашего внимания и меняющееся в зависимости от того, насколько внимательно мы смотрим на объект или слушаем что-то; поэтому мы говорим о *напряжении внимания*. Разница наиболее отчетливо ощущается, когда внимание быстро вибрирует между глазом и ухом. Это чувство локализуется с наибольшей разницей в различных органах чувств в зависимости от того, как тонко мы хотим различить вещь на ощупь, вкус или запах.

"Но теперь, когда я пытаюсь живо вызвать в памяти или воображении картину, у меня возникает чувство, совершенно аналогичное тому, которое я испытываю, когда пытаюсь остро уловить вещь глазом или ухом; и это аналогичное чувство локализуется совершенно по-разному. Если при остром внимании к реальным объектам (как и к послеобразам) напряжение явно направлено вперед, и, когда внимание переключается с одного чувства на другое, только меняет свое направление между органами чувств, оставляя остальную часть головы свободной от напряжения, то при воспоминании или фантазии дело обстоит иначе; ибо здесь чувство полностью отходит от внешних органов чувств и, кажется, скорее укрывается в той части головы, которую заполняет мозг. Если я захочу, например, вспомнить какое-нибудь место или человека, оно возникнет передо мной с живостью не в зависимости от того, как я напрягаю свое внимание вперед, а скорее в зависимости от того, как я, так сказать, оттягиваю его назад".[147]

Представляется вероятным, что ощущения, которые описывает Фехнер, частично обусловлены воображаемыми ощущениями полукружного канала.[148] Они, несомненно, передают наиболее тонкое восприятие изменения направления; и когда, как в данном случае, изменения не воспринимаются как происходящие во внешнем мире, они занимают смутное внутреннее пространство, расположенное внутри головы.[149]

В самой коже существует смутная форма проекции в третье измерение, на которую обратил внимание Геринг.

"Тепло ощущается не только на поверхности кожи, но, передаваясь через воздух, может казаться простирающимся в большей или меньшей степени от поверхности в третье измерение окружающего пространства..... Мы можем определить в темноте место, где находится излучающее тепло тело, двигая рукой туда-сюда и следя за колебаниями нашего ощущения тепла. Само ощущение, однако, не проецируется полностью в то место, где мы локализуем горячее тело, а всегда остается в районе руки".

Внутренняя полость рта кажется больше, когда ее исследует язык, чем когда на нее смотрят. Кратер только что удаленного зуба и движения шатающегося зуба в гнезде кажутся совершенно чудовищными. Мошкара, жужжащая в барабанной перепонке уха, часто кажется размером с бабочку. Пространственная чувствительность барабанной перепонки до сих пор была очень мало изучена, хотя эта тема вполне может стоить больших усилий. Если мы вводим в наружное ухо какой-нибудь маленький предмет, например, кончик свернутого бумажного фонарика, то удивляемся большому лучевому ощущению, которое вызывает его присутствие, и чувству ясности и открытости, которое возникает, когда его убирают. Не имеет значения, вызваны ли эти далеко идущие ощущения реальным облучением отдаленных нервов или нет. Мы рассматриваем сейчас не объективные причины пространственного ощущения, а его субъективные разновидности, и эксперимент показывает, что один и тот же объект вызывает большее ощущение на внутренней, чем на внешней кутикуле уха. Давление воздуха в барабанной полости на мембрану дает поразительно сильное ощущение. Мы можем увеличить это давление, зажав ноздри, закрыв рот и пропустив воздух через евстахиевы трубы с помощью экспираторного усилия; и мы можем уменьшить его, вдохнув или сглотив при тех же условиях закрытого рта и носа. В любом случае мы получаем большое круглое трехмерное ощущение внутри головы, которое, кажется, должно происходить от поражения органа, гораздо большего, чем барабанная перепонка, поверхность которой едва превышает ноготь мизинца.

Кроме того, барабанная перепонка способна делать ощутимыми различия в давлении внешней атмосферы, слишком незначительные, чтобы ощущаться в виде шума или более сильным способом. Если читатель будет сидеть с закрытыми глазами и позволит своему другу бесшумно поднести к его лицу какой-нибудь твердый предмет, например большую книгу, он сразу же почувствует присутствие предмета и его положение, а также его уход. Друг писателя, впервые проделавший этот эксперимент, безошибочно различал три степени твердости доски, решетчатой рамы и сита, поднесенных к его уху. Поскольку это ощущение никогда не используется обычными людьми в качестве средства восприятия, мы можем с уверенностью предположить, что его ощущаемое качество у тех, чье внимание обращено на него в первый раз, принадлежит ему как ощущению и ничем не обязано образовательным внушениям. Но это ощущаемое качество наиболее отчетливо и безошибочно относится к смутному пространственному простору в трех измерениях - в той же мере, что и ощущаемое качество ретинального чувства, когда мы лежим на спине и заполняем все поле зрения пустым голубым небом. Когда к уху подносят предмет, мы сразу же чувствуем себя закрытыми, сжатыми; когда предмет убирают, мы внезапно ощущаем, как если бы прозрачность, ясность, открытость возникли вне нас. И любой, кто возьмет на себя труд понаблюдать за этим ощущением, признает, что оно включает в себя третье измерение в смутном, неизмеримом состоянии.[\[150\]](#)

Читатель наверняка заметил в этом перечислении фактов, что *объемность ощущений, похоже, мало зависит от размера органа, который их вызывает*. Ухо и глаз - сравнительно маленькие органы, но они дают нам ощущения огромного объема. Такое же отсутствие точной пропорции между размером ощущения и размером затронутого органа наблюдается и в пределах отдельных органов чувств. На боковых участках сетчатки объект кажется меньше, чем на фовеа, в чем можно легко убедиться, если держать два указательных пальца параллельно и на расстоянии пары дюймов друг от друга и переводить взгляд с одного глаза на другой. Тогда палец, на который непосредственно не смотрят, будет казаться уменьшающимся, и это независимо от направления пальцев. На языке крошка или калибр маленькой трубочки кажется больше, чем между пальцами. Если провести через кожу две равноудаленные точки (например, тупые точки компаса или ножниц) так, чтобы получилась пара параллельных линий, то в одних местах они будут казаться дальше друг от друга, чем в других. Если, например, провести их горизонтально по лицу так, чтобы рот оказался между ними, то у испытуемого возникнет ощущение, что они начинают расходиться около рта и включать его в четко очерченный эллипс. Подобным образом, если держать точки компаса на расстоянии одного-двух сантиметров друг от друга и провести их вниз по предплечью через запястье и ладонь, проводя одну вдоль одного пальца, а другую - вдоль соседнего, то получится единая линия, вскоре распадающаяся на две, которые становятся более разветвленными ниже запястья, снова сжимаются на ладони и, наконец, снова быстро расходятся к кончикам пальцев. Пунктирные линии на рис. 51 и 52 представляют собой истинный путь компасных точек, а полные линии - их кажущийся путь.

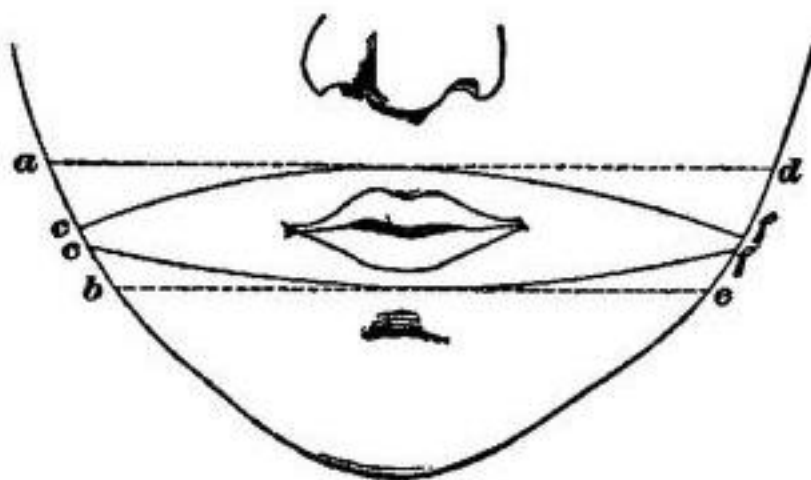


Рис. 51 (по Веберу).

Кроме того, один и тот же участок кожи может передавать более обширные ощущения в зависимости от способа стимуляции. Если прижать край карты к коже, то расстояние между ее концами будет казаться короче, чем между двумя кончиками компаса, касающимися тех же конечных точек.[\[151\]](#)

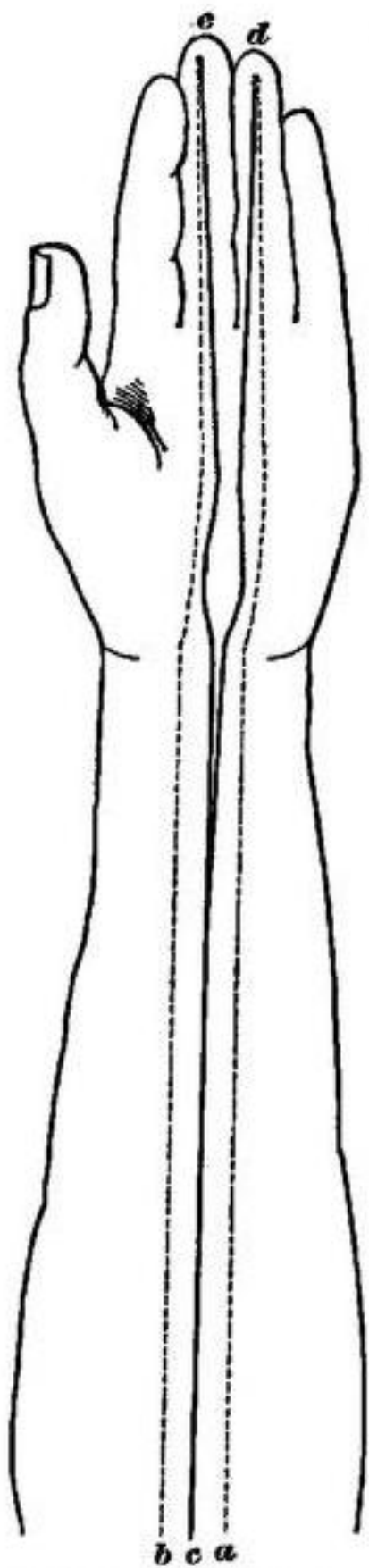


Рис. 52 (по Веберу).

В глазу интенсивность нервной стимуляции, по-видимому, увеличивает объем ощущений, а также их яркость. Если мы попеременно поднимаем и опускаем газ, то вся комната и все предметы в ней как бы попеременно увеличиваются и уменьшаются. Если закрыть серым стеклом половину страницы с мелким шрифтом, то шрифт, видимый через стекло, кажется значительно меньше, чем тот, что виден вне его, и чем темнее стекло, тем больше разница. Если перед сетчаткой глаза находится ограниченное помутнение, не пропускающее часть света, то объекты, проецируемые на эту часть, могут казаться вдвое меньше, чем если бы их изображение падало за ее пределами.^[152] Обратный эффект, по-видимому, вызывают некоторые наркотики и анестетики. Морфий, атропин, датурин и холод притупляют чувствительность кожи, так что расстояния на ней кажутся меньше. Хашиш вызывает странные извращения общей чувствительности. Под его воздействием тело человека может казаться либо чрезвычайно увеличенным, либо странно сжатым. Иногда один член тела изменяет свою пропорцию по отношению к остальным; или, например, спина кажется полностью отсутствующей, как будто человек полый сзади. Сравнительно близкие предметы отдаляются на огромное расстояние, короткая улица предстает перед глазами в неизмеримой перспективе. Эфир и хлороформ иногда дают не совсем одинаковые результаты. Панум, немецкий физиолог, рассказывает, что когда, будучи мальчиком, он лечился эфиром от невралгии, предметы в комнате становились чрезвычайно маленькими и далекими, прежде чем его поле зрения потемнело и начался рев в ушах. Он также упоминает, что его друг в церкви, тщетно пытаясь не заснуть, видел, как проповедник становился все меньше и меньше и все больше отдалялся. Я сам однажды наблюдал такое же уменьшение объектов в начале хлороформирования. При различных заболеваниях головного мозга мы находим аналогичные нарушения.

Можем ли мы определить физиологические условия, которые заставляют элементарную ощутимую величину одного ощущения так сильно отличаться от величины другого?

Только несовершенно. Одним из факторов, влияющих на результат, несомненно, является количество нервных окончаний, одновременно возбуждаемых внешним агентом, который пробуждает ощущение. Когда согревается много кожных нервов или освещается большая поверхность сетчатки, наши ощущения сильнее, чем когда возбуждается меньшая нервная поверхность. Одно ощущение, вызванное двумя точками компаса, хотя и кажется простым, все же ощущается гораздо сильнее и острее, чем ощущение, вызванное одной точкой. Прикосновение одной точки всегда можно распознать по ее остроте. Эта страница кажется читателю гораздо меньше, если он закроет один глаз, чем если оба глаза будут открыты. Так же как и луна, и этот последний факт показывает, что явление не имеет ничего общего с параллаксом. Знаменитый мальчик, которому Чезельден вылечил катаракту, после операции на первом глазу считал, что "все вещи он видит очень большими", но когда ему вылечили второй глаз, он сказал, что "предметы сначала казались большими этому глазу, но не такими большими, как сначала другому; и, глядя на один и тот же предмет обоими глазами, он думал, что он выглядит примерно вдвое больше, чем только на первом глазу, но не вдвое, что мы никак не можем обнаружить".

Более сильное ощущение одних частей одной и той же поверхности по сравнению с другими, а также одного порядка поверхностей по сравнению с другими (сетчатки по сравнению с кожей, например), также может быть в определенной степени объяснено действием того же фактора. Это анатомический факт, что наиболее пространственно чувствительные поверхности (сетчатка, язык, кончики пальцев, и т.д.) снабжены нервными стволами необычной толщины, которые должны поставлять на каждую единицу площади необычно большое количество терминальных волокон. Но вариации протяженности ощущений подчиняются, вероятно, лишь очень грубому закону численной пропорции к

количеству волокон. Звук не является вдвое более объемным для двух ушей, чем для одного; а приведенные выше вариации ощущений, когда одна и та же поверхность возбуждается в разных условиях, показывают, что ощущения являются результатом нескольких факторов, из которых анатомический является лишь основным. Было выдвинуто множество хитроумных гипотез, чтобы назначить факторы, действующие в различных условиях, которые дают противоречивые объемы ощущаемого пространства. Позже мы подробно разберем некоторые из этих случаев, но заранее следует признать, что многие из них вообще не поддаются анализу.[153]

ВОСПРИЯТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОРЯДКА.

До сих пор мы устанавливали или пытались установить лишь существование смутной формы или *квала* пространственности как неотделимого элемента, связанного с другими особенностями каждого из наших ощущений. Приведенные нами многочисленные примеры вариаций этого обширного элемента призваны лишь прояснить его сугубо сенсационный характер. Лишь в очень немногих из них читатель сможет объяснить вариации дополнительным интеллектуальным элементом, например, предложением вспомнить опыт. Почти во всех случаях это казалось непосредственным психическим эффектом особого рода возбужденного нервного процесса; и все нервные процессы, о которых идет речь, сходятся в том, что они предоставляют уму пространство в форме простого тотального простора, в котором, по крайней мере, *примитивно*, не царит *порядок частей или подразделений*.

Пусть никого не удивляет это представление о пространстве без порядка. Пространство без порядка может существовать так же, как и порядок без пространства.[154] И примитивные восприятия пространства, безусловно, являются неупорядоченными. Порядок, который потенциально включают в себя первые воспринятые пространства, должен быть, прежде чем он будет отчетливо воспринят разумом, вплетен в эти пространства путем довольно сложного набора интеллектуальных действий. Первичные величины, которые дают ощущения, должны быть *измерены и подразделены* сознанием, а также *сложены* вместе, прежде чем они смогут образовать в результате своего синтеза то, что мы знаем как реальное пространство объективного мира. В этих операциях воображение, ассоциации, внимание и отбор играют решающую роль; и хотя они нигде не добавляют никакого нового материала к пространственным данным ощущений, они так тасуют и манипулируют этими данными и прячут настоящие за воображаемыми, что неудивительно, что некоторые авторы зашли так далеко, что считают, что данные ощущений вообще не имеют пространственной ценности, и что интеллект, поскольку он производит подразделения, также придает им пространственное качество из своих собственных ресурсов.

Что касается нас самих, то, обнаружив, что все наши ощущения (пусть пока еще не связанные и нерасчлененные) относятся к обширным объектам, *мы сталкиваемся со следующей проблемой: Как организовать эти поначалу хаотично заданные пространства в единый регулярный и упорядоченный "мир пространства", который мы теперь знаем?*

Начнем с того, что нет никаких оснований полагать, что несколько чувственных пространств, которые может осознать разумное существо, каждое из которых наполнено своим особым содержанием, должны стремиться, просто *потому, что их много*, вступить в какое-либо определенное пространственное взаимодействие друг с другом или расположиться в каком-либо определенном порядке позиций. Даже в себе мы можем это признать. Различные

чувства могут сосуществовать в нас, не принимая никакого определенного пространственного порядка. Шум ручья, возле которого я пишу, запах кедров, комфорт, которым наполнен мой завтрак, и мой интерес к этому параграфу - все они лежат в моем сознании отдельно, но ни в коем случае не вне и не рядом друг с другом. Их пространства переплетаются и по большей части заполняют один и тот же смутный объективный мир. Даже там, где качества гораздо менее разрозненны, мы можем иметь нечто похожее. Если взять только наши субъективные и телесные ощущения, то бывают моменты, когда, лежа или сидя неподвижно, нам очень трудно отчетливо ощутить длину спины или направление движения ног от плеч. Сильным усилием нам удастся беспристрастно рассредоточить внимание по всему лицу, и тогда мы ощущаем реальную форму нашего тела как бы единым образом. Но в целом несколько частей сильно выделяются в сознании, а остальные ускользают от внимания; и тогда поразительно, насколько расплывчато и неоднозначно наше восприятие их относительного порядка расположения. Очевидно, что для упорядоченного расположения множества чувств-пространств в сознании необходимо нечто большее, чем просто их раздельное существование. Каково же это дополнительное условие?

Если несколько чувственных пространств должны восприниматься рядом друг с другом и в определенном порядке, они должны выглядеть как части более обширного чувственного пространства, которое может войти в сознание просто и все сразу. Думаю, понятно, что трудность правильной оценки формы своего тела с помощью чистого ощущения возникает из-за того, что очень трудно вообще ощутить его совокупность как единое целое. Эта проблема аналогична той, что возникает при одновременном мышлении вперед и назад. Осознавая голову, мы склонны не осознавать ноги, и таким образом в наше восприятие себя вносится элемент временной преемственности, который превращает последнее из акта интуиции в акт конструирования. Этот элемент конструктивности присутствует в еще большей степени и влечет за собой те же последствия, когда мы имеем дело с объективными пространствами, слишком большими, чтобы их можно было охватить одним взглядом. Относительное расположение магазинов в городе, разделенном множеством извилистых улиц, приходится конструировать из данных, воспринимаемых последовательно, и результатом этого является большая или меньшая степень расплывчатости.

То, что ощущение должно быть выделено как часть из более обширного пространства, является *непременным условием* того, что оно будет восприниматься в определенном пространственном порядке. Проблема упорядочивания наших ощущений в пространстве является, таким образом, в первую очередь проблемой дискриминации, но не дискриминации в чистом виде; ведь тогда не только сосуществующие виды, но и сосуществующие звуки обязательно предполагали бы такой порядок, чего, как известно, не происходит. То, что дискриминируется, будет выглядеть как небольшое пространство внутри большего пространства, это правда, но это лишь самый зачаток порядка. Для того чтобы местоположение объекта в этом пространстве стало точным, должны возникнуть другие условия; и лучший способ изучить их - сделать небольшую паузу и *проанализировать, что означает выражение "пространственный порядок"*.

Пространственный порядок - это абстрактный термин. Конкретные восприятия, которые он охватывает, - это фигуры, направления, положения, величины и расстояния. Выделить что-то одно из всего этого из общей необъятности - значит частично внести порядок в эту необъятность. Разделить простор на множество этих вещей - значит постичь его совершенно упорядоченным образом. Что же это за вещи по отдельности? Начнем с того, что никто не

может ни на мгновение усомниться в том, что некоторые из них являются качествами ощущений, как и вся необъятность, в которой они находятся. Возьмем фигуру: квадрат, круг и треугольник в первый раз предстают перед глазами просто как три различных вида впечатлений, каждое из которых настолько своеобразно, что мы узнаем его, если оно вернется. Когда пациенту Наннели удалили катаракту, и его взору предстали куб и шар, он сразу же заметил разницу в их формах; и хотя он не мог сказать, какой из них куб, а какой шар, он видел, что они не одной и той же формы. Так и с линиями: если мы вообще способны замечать линии в нашем поле зрения, то невозможно представить, чтобы вертикальная линия не воздействовала на нас иначе, чем горизонтальная, и не была бы признана воздействующей на нас подобным образом при повторном представлении, хотя мы могли бы еще не знать ни названия "вертикаль", ни каких-либо его коннотаций, помимо этой особой привязанности нашей чувствительности. Так и с углами: тупой угол воздействует на наше чувство совсем не так, как острый. Расстояние-отдаленность тоже является простым ощущением - ощущением линии, соединяющей две удаленные точки: удлинняя линию, вы изменяете ощущение, а вместе с ним и ощущаемое расстояние.

Пространство-отношения.

Но вместе с расстоянием и направлением мы переходим к категории пространственных *отношений* и сразу же сталкиваемся с мнением, которое делает из всех отношений нечто *toto caelo*, отличное от всех фактов ощущения или воображения. Для платонизирующей школы в психологии отношение - это энергия чистой мысли, и как таковая она совершенно несоизмерима с теми данными чувственности, между которыми она может быть воспринята.

Мы можем, следовательно, представить себе ученика этой школы, который скажет нам: "Предположим, что вы сделали отдельное специфическое ощущение каждой линии и каждого угла, что это даст? Вам еще нужно учесть порядок направлений и расстояний; вам еще нужно указать относительные величины всех этих ощущаемых фигур; вам нужно определить их соответствующие позиции, прежде чем можно будет сказать, что вы внесли порядок в ваше пространство. И ни одно из этих определений не может быть осуществлено иначе, как через акт связанной мысли, так что ваша попытка дать отчет о пространстве в терминах чистой чувствительности разрушается почти в самом начале. *Положение*, например, никогда не может быть ощущением, ибо оно не имеет в себе ничего внутреннего; оно может возникнуть только *между* точкой, линией или другой фигурой и *посторонними координатами* и никогда не может быть элементом ощущаемой данности, линии или точки, самой по себе. Тогда давайте признаем, что только Мысль может раскрыть загадку пространства, и что Мысль - это восхитительная, но непостижимая тайна".

Достоинством такого метода решения проблемы является краткость. Давайте, однако, не будем спешить, а посмотрим, не сможем ли мы проникнуть немного глубже, терпеливо рассмотрев, что же такое эти пространственные отношения.

Отношение" - очень скользкое слово. Оно имеет так много различных конкретных значений, что использование его в качестве абстрактной универсалии может легко внести недоумение в нашу мысль. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы избежать двусмысленности, и везде, где нам приходится использовать это слово, убедиться в том, что оно имеет точное значение в данной конкретной области применения. В настоящее время мы имеем дело с пространственными отношениями, и никакими другими. Большинство "отношений" - это чувства совершенно иного порядка, чем термины, которые они связывают. Отношение сходства, например, может в равной степени существовать между жасмином и туберозой или между стихами мистера Браунинга и мистера Стори; само по себе оно не является ни

ароматным, ни поэтическим, и можно простить тех, кто отрицает в нем всякое сенсационное содержание. Но как в области количества отношение между двумя числами есть другое число, так и в области пространства отношения являются фактами того же порядка, что и факты, с которыми они связаны. Если эти последние являются пятнами в круге зрения, то первые являются некоторыми другими пятнами между ними. Когда мы говорим об отношении направления двух точек друг к другу, мы имеем в виду просто ощущение линии, соединяющей эти две точки. *Линия - это и есть отношение*; почувствуйте ее - и вы почувствуете отношение, увидите ее - и вы увидите отношение; вы не можете никаким мыслимым образом думать о последнем, кроме как представляя себе первое (пусть даже смутно), или описывать или указывать на одно, кроме как указывая на другое. И как только вы представили себе линию, отношение встает перед вами во всей своей полноте, и больше ничего не нужно делать. Точно так же отношение *направления* между двумя линиями идентично своеобразному ощущению формы пространства, заключенного между ними. Это отношение принято называть угловым.

Если эти отношения являются ощущениями, то не менее важны и отношения положения. *Отношение положения между верхней и нижней точками вертикальной линии - это сама линия*, и ничто иное. Отношения положения между точкой и горизонтальной линией под ней потенциально многочисленны. Есть одно, более важное, чем остальные, называемое расстоянием. Это ощущение, идеальное или реальное, от перпендикуляра, проведенного из точки к линии.^[155] Две линии, проведенные от каждой крайней точки горизонтали к точке, дают нам особое ощущение треугольности. Можно сказать, что это ощущение является *локусом* всех отношений положения рассматриваемых элементов. *Право и лево, верх и низ - это опять-таки чистые ощущения*, отличающиеся друг от друга и от всего остального в целом. Как и все ощущения, они могут быть только обозначены, но не описаны. Если мы возьмем куб и обозначим одну сторону *верхней*, другую *нижней*, третью *передней*, а четвертую *задней*, то не останется никаких слов, с помощью которых мы могли бы описать другому человеку, какая из оставшихся сторон *правая*, а какая *левая*. Мы можем только указать и сказать, что *вот здесь* - право, а *там* - лево, точно так же, как мы должны сказать, что *это* - красное, а *это* - синее. Из двух точек, рассматриваемых рядом друг с другом, одна всегда испытывает одно из этих чувств, а другая - противоположное; то же самое верно и в отношении крайних точек любой линии.^[156]

Таким образом, представляется неоспоримым, что все космические отношения, за исключением отношений величины, являются не более и не менее чем чистыми объектами сенсации. Но *величина*, по-видимому, выходит за пределы этой узкой сферы. У нас есть отношения величины и малости между временами, числами, интенсивностями и качествами, а также пространствами. Невозможно, чтобы такие отношения образовывали особый вид просто пространственного чувства. Это следует признать: отношение количества является общим и встречается во многих категориях сознания, в то время как другие рассмотренные нами отношения являются специфическими и встречаются только в пространстве. Когда наше внимание переходит от более короткой линии к более длинной, от меньшего пятна к большему, от слабого света к более сильному, от более бледного синего к более насыщенному, от маршевой мелодии к галопу, этот переход сопровождается в синтетическом поле сознания своеобразным чувством различия, которое мы называем ощущением *большого*, - большей длины, большего простора, большего света, большего синего, большего движения. Это переходное ощущение *большого* должно быть идентичным самому себе при всех этих различных аккомпанементах, иначе мы не могли бы дать ему одно

и то же название в каждом случае. Мы получаем его, когда переходим от короткой вертикальной линии к длинной горизонтальной, от маленького квадрата к большому кругу, а также когда проходим между фигурами, чьи формы конгруэнтны. Но когда фигуры конгруэнтны, наше сознание связи гораздо более отчетливо, и наиболее отчетливо оно проявляется тогда, когда в процессе аналитического внимания мы замечаем сначала *часть*, а затем и *все целое одной* линии или фигуры. Тогда *большая часть* целого действительно выделяется, как отдельный кусок пространства, и так и представляется. Такое же точное ощущение возникает, когда мы можем наложить одну линию или фигуру на другую. Это непереносимое условие точного измерения *большого* привело некоторых к мысли, что само ощущение возникает в каждом случае из первоначального опыта наложения. Это, вероятно, не совсем верное мнение, но для нашей цели это несущественно. Поскольку подразделения чувственного пространства должны быть точно соизмерены друг с другом, объективные формы, занимающие одно подразделение, должны прямо или косвенно накладываться на другое, и разум должен получить непосредственное ощущение выдающегося *плюса*. И даже если мы только смутно ощущаем, что одно из подразделений больше или меньше, разум должен быстро пройти между ним и другим подразделением и получить немедленный ощутимый шок от того, что *оно больше*.

*Таким образом, мы, кажется, объяснили все пространственные отношения и сделали их ясными для нашего понимания. Это не что иное, как ощущения конкретных линий, конкретных углов, конкретных форм перехода или (в случае с отдельным *more*) конкретных выдающихся частей пространства после наложения двух фигур. Эти ощущения отношений могут быть фактически произведены как таковые, как, например, когда геометр проводит карандашом новые линии через фигуру, чтобы продемонстрировать отношения ее частей, или же они могут быть идеальными представлениями линий, не нарисованных в действительности. Но в любом случае их появление в сознании эквивалентно более детальному подразделению, познанию и измерению рассматриваемого пространства. Таким образом, доведение подразделений до сознания составляет весь процесс, посредством которого мы переходим от нашего первого смутного ощущения полного простора к познанию этого простора в деталях. Чем многочисленнее подразделения, тем более сложным и совершенным становится познание. Но так как все подразделения сами по себе являются ощущениями, и даже ощущение "больше" или "меньше" есть если не фигура, то, по крайней мере, ощущение перехода между двумя ощущениями фигуры, то из этого следует, насколько мы еще можем судить, что *все пространственное знание в основе своей является чувственным*, и что, поскольку ощущения лежат вместе в единстве сознания, никакой новый материальный элемент не поступает к ним из сверхчувственного источника.*[\[157\]](#)

Приведение подразделений в сознание! Это, таким образом, наша следующая тема. Они могут быть доведены до сознания в трех аспектах: в отношении их локализации, в отношении их размера, в отношении их формы.

Смысл локализации.

Ограничившись пока проблемой локальности, давайте начнем с простого случая чувствительной поверхности, только две точки которой получают стимуляцию извне. Как, во-первых, эти две точки ощущаются рядом друг с другом с промежутком между ними? Для

этого мы должны осознать две вещи: двойственность возбужденных точек и протяженность невозбужденного интервала. Одна только двойственность, хотя и является необходимым, но не достаточным условием пространственного разделения. Мы можем, например, различать два звука в одном и том же месте, сладкое и кислое в одном и том же лимонаде, теплое и холодное, круглое и острое соприкосновение в одном и том же месте на коже и т. д. [158] При любой дискриминации распознавание разумом двойственности двух ощущений происходит тем легче, чем сильнее ощущения контрастируют по качеству. Если две возбужденные точки вызывают одинаковые ощущения, они должны, поневоле, представляться разуму как одно целое; и, не различаясь вообще, они, *a fortiori*, не локализируются отдельно. Пятна на спине, удаленные друг от друга на четыре сантиметра, вообще не имеют качественного контраста и сливаются в единое ощущение. Точки, удаленные друг от друга менее чем на три тысячные доли миллиметра, вызывают на сетчатке ощущения, настолько контрастные, что мы сразу воспринимаем их как две. Итак, эти непохожести, которые возникают так медленно, когда мы переходим от одной точки к другой в спине, гораздо быстрее на языке и кончиках пальцев, но с такой немыслимой быстротой на сетчатке глаза, - что это такое? Можем ли мы узнать что-нибудь об их внутренней природе?

Самый естественный и непосредственный ответ заключается в том, что это непохожесть *места*, чистая и простая. По словам немецкого физиолога [159], которому психофизика обязана многим:

"Ощущения с самого начала (*von vornherein*) локализованы..... Каждое ощущение, как таковое, с самого начала подвержено влиянию пространственного качества, так что это качество не является чем-то вроде внешнего атрибута, приходящего к ощущению от более высокой способности, но должно рассматриваться как нечто имманентно пребывающее в самом ощущении".

И все же, как только мы задумаемся над этим ответом, возникает непреодолимая логическая трудность. Ни одно ощущение не может само по себе привести к осознанию *положения*. Предположим, что ни одно ощущение, кроме ощущения одной точки, никогда не пробуждается. Может ли это быть ощущением какого-то особого *места* или *существования*? Конечно, нет. *Только когда возникает ощущение второй точки, первая может приобрести определение "вверх", "вниз", "вправо" или "влево", и все эти определения относятся к этой второй точке.* Каждая точка, насколько она расположена, является таковой только в силу того, чем она не является, а именно в силу другой точки. Это равносильно тому, чтобы сказать, что положение не имеет в себе ничего *внутреннего*; и что, хотя чувство абсолютной величины может, *чувство места не может, возможно, сформировать имманентный элемент в любом отдельном ощущении.* Тот самый писатель, которого мы цитировали, прислушался к этому возражению, так как он продолжает (стр. 335), говоря, что ощущения, таким образом изначально локализованные, "являются таковыми только *сами по себе*, но не в представлении сознания, которое еще не присутствует..... Они, в первую очередь, лишены всех взаимных отношений друг с другом". Но такая локализация ощущений "сама по себе", по-видимому, означает не что иное, как восприимчивость или *потенциальную возможность* быть отчетливо локализованными, когда наступит время и будут выполнены другие условия. Можем ли мы теперь узнать что-нибудь о такой восприимчивости самой по себе, прежде чем она принесет свои скрытые плоды в развитом сознании?

'Локальные признаки'.

Начнем с того, что каждое ощущение на коже и каждое висцеральное ощущение, кажется, извлекает из своего топографического места особый оттенок чувства, которого оно не имело бы в другом месте. И это ощущение *само по себе* кажется совершенно отличным от восприятия места. Говорит Вундт :[160]

"Если прикоснуться пальцем сначала к щеке, а затем к ладони, оказывая каждый раз точно такое же давление, то ощущения, несмотря на это, показывают четко выраженное различие в этих двух случаях. Точно так же, когда мы сравниваем ладонь с тыльной стороной руки, затылок с ее передней поверхностью, грудь со спиной; короче говоря, любые два отдаленных участка кожи друг с другом. Более того, внимательно наблюдая, мы легко заметим, что даже довольно близко расположенные друг к другу места различаются по качеству ощущений. Если мы переходим от одной точки нашей кожной поверхности к другой, мы обнаруживаем совершенно постепенное и непрерывное изменение наших ощущений, несмотря на то, что объективная природа контакта остается неизменной. Даже ощущения соответствующих точек на противоположных сторонах тела, хотя и похожи, но не идентичны. Если, например, прикоснуться сначала к тыльной стороне одной руки, а затем к другой, то можно заметить качественную несхожесть ощущений. Не следует думать, что такие различия - дело воображения и что мы воспринимаем ощущения как разные, потому что представляем их себе как занимающие разное место. При достаточном обострении внимания мы можем, ограничившись одним лишь качеством ощущений, полностью абстрагироваться от их локальности и все же заметить различия столь же отчетливо."

Отличаются ли эти локальные контрасты друг от друга абсолютно непрерывными градациями, мы сказать не можем. Но мы знаем (продолжает Вундт), что

"они меняются, когда мы переходим от одной точки кожи к соседней, с очень разной степенью быстроты. На тонко чувствующих частях, используемых главным образом для осязания, таких как кончики пальцев, разница ощущений между двумя близко приближенными точками уже сильно выражена; в то время как в частях менее деликатных, таких как рука, спина, ноги, различия ощущений наблюдаются только между отдаленными точками".

Внутренние органы тоже имеют свои специфические *качества* ощущений. Воспаление почки отличается от воспаления печени; различаются боли в суставах и мышечных вставках. Боль в зубных нервах совершенно не похожа на боль от ожога. Но среди всех этих различий преобладают очень важные и любопытные сходства. Внутренние боли, местонахождение которых мы не можем видеть и не имеем возможности узнать, если только характер самой боли не покажет это, ощущаются *там, где* им положено. Заболевания желудка, почек, печени, прямой кишки, простаты и т. д., костей, мозга и его оболочек относятся к их надлежащему положению. Боли в нервах описывают длину нерва. Такие локализации, как вертикальная, лобная или затылочная головная боль внутричерепного происхождения, заставляют нас заключить, что соседние части, внутренние или внешние, могут обладать в силу этого факта общей особенностью ощущений, в отношении которой их ощущения совпадают и которая служит признаком их близости. Эти *локальные* окраски, более того, настолько сильны, что мы воспринимаем их как одно и то же, при всех контрастах ощущаемых качеств в сопутствующем восприятии. Холод и тепло широки, как полюса между

собой; но если оба они попадают на щеку, то к ним примешивается нечто, что делает их в *этом отношении* тождественными; точно так же, наоборот, несмотря на тождество холода с самим собой, где бы он ни находился, когда мы получаем его сначала на ладони, а затем на щеке, возникает некоторое различие, которое навсегда разъединяет эти два ощущения.^[161]

А теперь вернемся к вопросу, поставленному минуту назад: *могут ли эти различия простого качества ощущений, варьирующиеся в зависимости от местности, но при этом чувственно и внутренне не имеющие ничего общего с положением, составлять упомянутые нами "восприимчивости", условия восприятия положения, местностей, к которым они принадлежат?* Номера на ряду домов, начальные буквы набора слов не имеют никакого внутреннего родства с точками пространства, и все же они являются условиями нашего знания о том, где находится любой дом в ряду или любое слово в словаре. Могут ли модификации чувств, о которых идет речь, быть метками или ярлыками такого рода, которые ни в коем случае не раскрывают положение места, к которому они прикреплены, но направляют нас к нему с помощью того, что Беркли назвал бы "привычной связью"? Многие авторы безоговорочно отвечают на этот вопрос утвердительно; Лотце, который в своей "Медицинской психологии"^[162] впервые описал ощущения подобным образом, назвал их, таким образом, *локальными знаками*. Этот термин получил широкое распространение в Германии, и, говоря в дальнейшем о "теории локальных знаков", я всегда буду иметь в виду теорию, которая отрицает, что в ощущениях может присутствовать какой-либо элемент фактической локальности, присущего пространственного порядка, какой-либо тон, как это было, который кричит нам сразу и без лишних слов: "Я здесь," или "Я там."

Если, как это вполне может быть, к этому времени мы обнаружим, что у нас есть соблазн принять теорию локальных знаков в общем виде, нам придется прояснить еще несколько вопросов. Чтобы знак привел нас к тому, что он обозначает, у нас должен быть какой-то другой источник знания об этом предмете. Либо эта вещь была дана в предыдущем опыте, частью которого был и знак - они *связаны*; либо это то, что Рид называет "естественным" знаком, то есть чувство, которое, впервые войдя в разум, вызывает в его родных силах познание вещи, которая до сих пор оставалась дремлющей. В обоих случаях, однако, знак - это одно, а вещь - другое. В случае, который мы сейчас рассматриваем, *знак - это качество чувства, а вещь - положение*. Теперь мы увидели, что положение точки не только выявляется, но и создается благодаря существованию других точек, с которыми она находится в определенных отношениях. *Если знак может с помощью какого-либо механизма, который он приводит в движение, вызвать сознание либо других точек, либо отношений, либо того и другого, то он, казалось бы, выполняет свою функцию и открывает нам искомое положение.*

Но такой механизм уже знаком нам. Это не больше и не меньше, чем закон привычки в нервной системе. Если какая-либо точка чувствительной поверхности часто возбуждалась одновременно с другими точками, или непосредственно перед ними, или после них, а затем стала возбуждаться одна, то возникает тенденция к тому, что ее воспринимающий нервный центр иррадирует в нервные центры других точек. С субъективной точки зрения это то же самое, как если бы мы сказали, что своеобразное ощущение первой точки предполагает ощущение всей области, с возбуждением которой привычно ассоциируется ее собственное возбуждение.

Возьмем случай с желудком. При сильном надавливании на эпигастрий, при сокращении определенных мышц и т. д. желудок сдавливается, и его особый локальный признак пробуждается в сознании одновременно с локальными признаками других сдавленных частей. Существует также ощущение полного простора, вызванное совокупным раздражением, и *где-то* здесь, по-видимому, находится ощущение желудка. Предположим, что позже в желудке возникнет боль, вызванная какой-либо немеханической причиной. Она будет оттенена местным признаком желудка, и нервный центр, поддерживающий это последнее ощущение, возбудит центр, поддерживающий кожные и мышечные ощущения, привычно связанные с ним, когда возбуждение было механическим. Из этой комбинации снова возникнет та же самая особенная обширность. Одним словом, "что-то" в ощущении желудка "напоминает" нам об общем пространстве, частью которого являются также диафрагмальные и эпигастральные ощущения, или, выражаясь более кратко, предполагает соседство этих последних органов.[163]

Вернемся к случаю двух возбужденных точек на поверхности с невозбужденным пространством между ними. Общий результат предыдущего опыта состоял в том, что когда на одну из точек воздействовал внешний предмет, этот же предмет касался и непосредственно соседних частей. Таким образом, каждая точка вместе со своим локальным знаком ассоциируется с кругом окружающих точек, причем по мере увеличения круга эта ассоциация ослабевает. Каждая из них оживляет свой собственный круг; но когда они возбуждаются вместе, самым сильным будет оживление, вызванное *совместным* облучением. Теперь тракт, *соединяющий две возбужденные точки*, - единственная часть, общая для двух кругов. Поэтому чувства всего этого тракта пробуждаются в воображении со значительной живостью, когда к его концам прикасается внешний раздражитель. Вместе с впечатлением от двух отдельных точек ум получает смутное представление о линии. Двойственность точек происходит от контраста их локальных признаков: линия - от ассоциаций, в которые опыт превратил эти последние. Если идеальная линия не возникает, мы имеем двойственность без ощущения интервала; если линия возбуждается фактически, а не идеально, мы имеем интервал, данный с его концами, в виде единого протяженного ощущаемого объекта". Э. Х. Вебер в знаменитой статье, в которой он заложил основы всех наших точных знаний об этих предметах, *считал логическим условием для восприятия двух разделенных точек, что ум должен, наряду с осознанием их, осознавать невозбужденный интервал как таковой. Я лишь попытался показать, как известные законы опыта могут привести к выполнению этого требования.* Конечно, если локальные признаки всей области предлагают лишь небольшой качественный контраст между собой, предложенная линия будет лишь смутно определена или отличима по длине или направлению от других возможных линий в ее окрестностях. Именно это происходит в заднем проходе, где сознание может разделить два пятна, лишь смутно ощущая их расстояние и направление друг от друга.

Отношение положения двух точек и *есть* предполагаемый интервал или линия. Обратимся теперь к простейшему случаю - *одионой возбужденной точке. Как она может определить свое положение?* Никак, если только опыт не заставляет постоянно отмечать или проследживать какую-то одну линию от него к соседней точке. На спине, животе, внутренностях и т. д. такого проследживания обычно не происходит. Следствием этого является то, что единственное предложение - это предложение всего соседнего круга; т.е. *точка просто напоминает общую область, в которой она находится.* В процессе последовательного конструирования, правда, мы можем также получить ощущение расстояния между пятном и каким-то другим конкретным местом. Внимание, усиливая локальный признак одной части круга, может пробудить новый круг вокруг этой части, и таким образом *de proche en proche* мы можем спускать наше ощущение, скажем, от щеки к

ноге. Но когда мы впервые прикоснулись к щеке, мы совсем не чувствовали стопы.^[164] С конечностями, губами, языком и другими подвижными частями дело обстоит иначе. У нас есть инстинктивная тенденция при прикосновении к части, обладающей меньшей дискриминационной чувствительностью, двигать членом так, чтобы предмет прикосновения скользил по нему к месту, где чувствительность наибольшая. Если к нашей руке прикасается какое-либо тело, мы перемещаем руку по нему, пока кончики пальцев не смогут исследовать его. Если подошва ноги касается чего-либо, мы подносим ее к пальцам и так далее. Таким образом, возникают линии привычного прохождения от всех точек члена к его чувствительному кончику. Именно эти линии наиболее легко вспоминаются при прикосновении к любой точке, и их вспоминание совпадает с осознанием расстояния прикоснувшейся точки от "кончика". Думаю, любой человек, касаясь какой-либо точки на руке или запястье, должен понимать, что именно отношение к кончикам пальцев обычно вызывает у него наибольший интерес. Точки на предплечье предполагают либо кончики пальцев, либо локоть (последний - место большей чувствительности^[165]). На стопе - пальцы ног, и так далее. Точка может быть познана в ее отношениях ко всему телу сразу, только пробудив *зрительный* образ всего тела. Такое пробуждение еще более очевидно, чем в ранее рассмотренных случаях, является вопросом чистой ассоциации.

Это приводит нас к глазу. На сетчатке глаза фовеа и желтое пятно вокруг нее образуют очаг утонченной чувствительности, к которому инстинктивным действием мышц глазного яблока перемещается каждое впечатление, падающее на удаленную часть поля. Немногие люди, пока их внимание не будет привлечено к этому факту, осознают, как почти невозможно удержать заметный объект в поле зрения. В тот момент, когда волевое усилие ослабевает, мы обнаруживаем, что, сами того не ведая, повернули глаза так, чтобы переместить объект в центр. Вот почему большинство людей не в состоянии удерживать взгляд на точке пространства, в которой ничего нет. Предметы на стенах комнаты неудержимо притягивают к себе фовеа. Если мы созерцаем пустую стену или лист бумаги, то через мгновение всегда замечаем, что смотрим прямо на какое-то пятнышко на ней, которое, незамеченное вначале, в конце концов "притягивает наш взгляд". Таким образом, *всякий раз, когда изображение, падающее на точку Р сетчатки, возбуждает внимание, оно привычнее движется от этой точки к фовеа, чем в любом другом направлении.* Линия, прочерченная изображением, не всегда является прямой. Когда направление точки от фовеа не вертикальное и не горизонтальное, а косое, прослеживаемая линия часто представляет собой кривую, вогнутость которой направлена вверх, если направление восходящее, и вниз, если направление нисходящее. В этом может убедиться каждый, кто возьмет на себя труд провести простой эксперимент со светящимся телом, например пламенем свечи в темном помещении или звездой. Сначала посмотрите на какую-нибудь точку, удаленную от источника света, а затем внезапно переведите взгляд на него. Светящееся изображение обязательно упадет последовательно на непрерывный ряд точек, начиная с той, которая первой попала в поле зрения, и заканчивая фовеа. Но в силу медленности, с которой угасает возбуждение сетчатки, вся серия точек будет мгновение видна как послесвечение, демонстрирующее вышеуказанную особенность формы в зависимости от положения.^[166] Эти лучистые линии не являются ни регулярными, ни неизменными у одного и того же человека, ни, вероятно, одинаково изогнутыми у разных людей. Мы непрерывно проводим их между фовеа и каждой точкой поля зрения. Объекты остаются в своей периферийной нечеткости только до тех пор, пока их не замечают. Как только мы обращаем на них внимание, они становятся отчетливыми благодаря одному из этих движений, что приводит к распространенному среди неподготовленных людей представлению о том, что мы видим

отчетливо все части поля зрения сразу. *Результатом этого непрерывного отслеживания радиусов является то, что всякий раз, когда локальный знак Р пробуждается падающим на него пятном света, он сразу же вспоминает, даже если глазное яблоко не двигается, локальные знаки всех других точек, которые лежат между Р и фовеа.* Он вспоминает их в воображаемой форме, точно так же, как при нормальном рефлекторном движении вспоминает их в яркой форме; и вместе с их воспоминанием возникает более или менее слабое сознание всей линии, на которой они лежат. Другими словами, ни один луч света не может упасть на какое-либо пятно сетчатки без того, чтобы местный признак этого пятна не показал нам, путем припоминания линии его наиболее привычных ассоциаций, его направление и расстояние от центра поля. Таким образом, фовеа выступает в качестве источника системы полярных координат, по отношению к которой каждая точка сетчатки благодаря непрерывно повторяющемуся процессу ассоциаций определяет свое расстояние и направление. Если бы только Р была освещена, а все остальное поле было бы темным, мы все равно, даже с неподвижными глазами, знали бы, высоко или низко, справа или слева лежит Р, через *идеальную полосу*, отличную от всех других полосок, которую только Р обладает способностью пробуждать.^[167]

И на этом мы можем завершить первый большой раздел нашего предмета. Мы показали, что в пределах каждого чувства опыт принимает *ab initio* пространственную форму. Мы также показали, что в случае сетчатки и кожи каждый ощущаемый итог может быть разделен дискриминационным вниманием на ощущаемые части, которые также являются пространствами, и на отношения между частями, которые также являются ощущаемыми пространствами. Кроме того, мы видели (в [примечании 167](#)), что различные части, будучи разграниченными, обязательно попадают в определенный порядок, как в силу определенных градаций их качества, так и в силу фиксированного порядка времени-сукцессии, в котором движения вызывают их. Но во всем этом ничего не было сказано о сравнительном *измерении* одного чувственного пространства по отношению к другому, или о том, как, суммируя наши разнообразные простые чувственные пространства-опыты вместе, мы в конце концов строим то, что мы считаем единым, непрерывным и бесконечным объективным Пространством реального мира. К этому более сложному исследованию мы и перейдем.

ПОСТРОЕНИЕ "РЕАЛЬНОГО" ПРОСТРАНСТВА.

Эта проблема распадается на две подчиненные.

(1) *Как происходит полное подразделение и измерение нескольких сенсорных пространств? и*

(2) *Как происходит их взаимное дополнение, слияние, приведение к одному масштабу, одним словом, как происходит их синтез?*

Я думаю, что, как и в только что законченном исследовании, мы смогли обойтись без привлечения каких-либо данных, кроме тех, которые могли дать чистая чувствительность, с одной стороны, и обычные интеллектуальные способности различения и воспоминания, с другой; так и здесь мы выйдем из нашего более сложного поиска с убеждением, что все факты могут быть объяснены на основании предположения, что никакие другие психические силы не были в действии, кроме тех, которые мы находим везде в психологии: чувствительность, а именно, для данных; и дискриминация, ассоциация, память и выбор для перестановок и комбинаций, которые они претерпевают.

1. Подразделение исходных чувственных пространств.

Как пространственные подразделения доводятся до сознания, другими словами, как происходит пространственная дискриминация? Общая тема дискриминации была рассмотрена в предыдущей главе. Здесь нам нужно только спросить, каковы условия, которые делают пространственную дискриминацию гораздо более тонкой в зрении, чем в осязании, и в осязании, чем в слухе, обонянии или вкусе.

Первое важное условие заключается в том, что различные точки поверхности должны отличаться по качеству имманентной чувствительности, то есть каждая должна нести свой особый локальный признак. Если бы кожа везде чувствовала себя одинаково, то ножную ванну можно было бы отличить от полного погружения, как меньшую, но никогда не отличить от мокрого лица. Локальные признаки необходимы; две точки, имеющие один и тот же локальный признак, всегда будут ощущаться как одна и та же точка. Мы не считаем их двумя, пока не обнаружим, что их ощущения различны. [168] Если бы не было никаких раздражителей, кроме однородных, то этот орган различал бы наибольшее количество раздражителей, мог бы насчитать больше всего звезд или точек компаса или лучше всего сравнить размеры двух влажных поверхностей, чья местная чувствительность была бы наименее равномерной. Кожа, чувствительность которой быстро исчезает от очага, как вершина фурункула, была бы лучше, чем однородный покров, для пространственного восприятия. Сетчатка с ее изысканно чувствительной фовеа имеет эту особенность и, несомненно, в значительной степени обязана ей той мелочности, с которой мы можем разделить на части общую величину ощущений, которые она дает. На его периферии локальные различия не так быстро затухают, и мы можем насчитать там меньше подразделений.

Но эти локальные различия ощущений, пока поверхность не возбуждена извне, почти нулевые. Я не могу ощутить их чисто мысленным актом внимания, если они не относятся к совершенно различным частям тела, как нос и губа, кончик пальца и ухо; их контраст нуждается в усилении внешнего возбуждения, чтобы быть ощутимым. При пространственной значительности колик - или, если называть их более просторно звучащим жаргоном, "болеи в животе" - можно с трудом отличить северо-восточный угол от юго-западного, но гораздо легче это сделать, если, прижав палец к первой области, сделать боль там более интенсивной.

Тогда для пробуждения внимания к местным различиям требуется дополнительное ощущение, вызванное ими. После того как внимание пробудилось таким образом, оно может продолжать осознавать различия без посторонней помощи; подобно тому как парус на горизонте может быть слишком тусклым, чтобы мы могли его заметить, пока чей-то палец, приложенный к этому месту, не укажет нам на него, но может оставаться видимым и после того, как палец уберут. Но все это верно только при условии, что отдельные точки поверхности могут быть стимулированы исключительно. Если же вся поверхность сразу возбуждается извне, причем однородно, как, например, при погружении тела в соленую воду, локальная дискриминация не развивается. Местные признаки, правда, пробуждаются все сразу, но в таком множестве, что ни один из них, со своим специфическим качеством, не выделяется на фоне остальных. Если же погрузить в воду одну конечность, то контраст между мокрой и сухой частями будет сильным, и, особенно у поверхности воды, локальные признаки привлекут внимание, создавая ощущение кольца, окружающего член. Точно так же два или три мокрых пятна, разделенные сухими, или две или три твердые точки на коже

помогут разбить наше сознание о величине последней. В подобных случаях, когда точки, получающие одинаковое возбуждение, тем не менее ощущаются как локально различные, а объективные раздражители также считаются множественными, - например, компасные точки на коже или звезды на сетчатке глаза, - обычное объяснение, несомненно, справедливо, и мы считаем внешние причины множественными, потому что различаем местные ощущения от них.

Способность к частичной стимуляции, таким образом, является вторым условием, способствующим дискриминации. Чувствительная поверхность, которая должна быть возбуждена во всех своих частях сразу, не может дать ничего, кроме ощущения неразделенной величины. Так обстоит дело с обонятельными, а также, по всей видимости, и с вкусовыми поверхностями. Из множества вкусов и ароматов, даже одновременно представленных, каждый затрагивает всю совокупность своего органа, каждый предстает со всей обширностью, которую дает этот орган, и кажется взаимопроникающим с остальными.[169]

Несколько лет назад я был готов без колебаний назвать третье условие различения, сказав, что оно будет наиболее развито в том органе, который восприимчив к *самым разнообразным качествам* ощущений. Сетчатка глаза, несомненно, является таким органом. Цвета и оттенки, которые она воспринимает, бесконечно более многочисленны, чем разнообразие кожных ощущений. И она может чувствовать одновременно белое и черное, в то время как ухо ни в коем случае не может так ощущать звук и тишину. Но поздние исследования Дональдсона, Бликса и Гольдшейдера,[170] на специфические точки тепла, холода, давления и боли на коже; старые исследования Чермака (повторенные позже Клугом в лаборатории Людвига), показывающие, что горячая и холодная точка компаса не легче различаются как две, чем две одинаковой температуры; и некоторые неопубликованные эксперименты мои собственные - все это не позволяет мне сейчас много говорить об этом условии.[171] Есть, однако, одно качество ощущений, которое особенно возбуждает, - это *ощущение движения по любой из наших поверхностей*. Выделение его в отдельное элементарное качество чувствительности - одно из самых последних психологических достижений, и оно достойно того, чтобы задержать нас на нем на некоторое время.

Ощущение движения над поверхностями.

Физиологи обычно считают, что *ощущение движения* невозможно до тех пор, пока положения *terminus a quo* и *terminus ad quem* не будут познаны по отдельности, а последовательное занятие этих положений движущимся телом будет восприниматься как разделенное определенным промежутком времени.[172] На самом деле, однако, таким образом мы воспринимаем только самые медленные движения. Видя стрелку часов в положении XII, а затем в положении VI, мы судим, что она прошла через этот интервал. Видя солнце то на востоке, то на западе, я делаю вывод, что оно прошло над моей головой. Но мы можем *сделать вывод* только о том, что мы уже знаем в общих чертах каким-то более прямым способом, и экспериментально ясно, что ощущение движения дается нам как прямое и простое *ощущение*. Чермак уже давно указал на разницу между тем, что мы видим движение секундной стрелки часов, когда смотрим прямо на нее, и тем, что замечаем факт изменения ее положения, когда фиксируем взгляд на какой-то другой точке циферблата. В первом случае мы имеем специфическое качество ощущений, которое отсутствует во втором. Если читатель найдет участок кожи - например, руку, - на котором пара точек компаса, расположенных на расстоянии дюйма друг от друга, будет ощущаться как единое

впечатление, и если он затем проведет на этом участке карандашом линии длиной в десятую часть дюйма, он будет отчетливо ощущать движение точки и смутно понимать направление этого движения. Восприятие движения здесь, конечно, не вытекает из уже существующего знания о том, что его начальная и конечная точки являются отдельными положениями в пространстве, потому что положения в пространстве, расположенные в десять раз шире друг от друга, не различаются как таковые при возбуждении делителями. То же самое происходит с сетчаткой глаза. Пальцы, брошенные на ее периферийные участки, невозможно сосчитать - то есть пять трактов сетчатки, которые они занимают, не воспринимаются разумом как пять отдельных позиций в пространстве, и все же малейшее движение пальцев воспринимается как движение, и никак иначе. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что наше чувство движения, будучи гораздо более тонким, чем чувство положения, не может быть производным от него. Любопытное наблюдение Экснера [173] завершает доказательство того, что движение является примитивной формой чувствительности, показывая, что оно гораздо более тонкое, чем наше ощущение последовательности во времени. Этот очень способный физиолог заставил две электрические искры появиться в быстрой последовательности, одна рядом с другой. Наблюдатель должен был указать, какая из них появилась первой - правая или левая. Когда интервал сокращался до 0,044", различить временной порядок в искрах становилось невозможно. Но Экснер обнаружил, что если искры сблизить в пространстве настолько, чтобы их круги облучения перекрывались, то глаз ощущает их вспышки как движение одной искры от точки, занятой первой, к точке, занятой второй, и тогда временной интервал можно сделать минимальным, до 0,015", прежде чем разум начнет сомневаться, началось ли кажущееся движение справа или слева. На коже аналогичные эксперименты дали схожие результаты.

Виерордт, почти в то же время, [174] обратил внимание на некоторые устойчивые иллюзии, среди которых можно назвать следующие: Если другой человек осторожно проведет линию по нашему запястью или пальцу, причем последний будет неподвижен, то нам покажется, что член движется в направлении, противоположном точке проведения линии. Если же мы, наоборот, проведем конечностью по неподвижной точке, то нам покажется, что точка тоже движется. Если читатель прикоснется указательным пальцем к своему лбу, а затем повернет голову так, что кожа лба окажется под кончиком пальца, то у него возникнет непреодолимое ощущение, что последний сам находится в движении в направлении, противоположном движению головы. Так и при отведении пальцев друг от друга; некоторые из них могут двигаться, а остальные оставаться неподвижными, но неподвижные будут ощущаться так, как будто они активно отделяются от остальных. Эти иллюзии, по мнению Виерордта, являются пережитками примитивной формы восприятия, когда движение ощущалось как таковое, но приписывалось всему содержанию сознания, и еще не выделялось как принадлежащее исключительно одной из его частей. Когда наше восприятие полностью развито, мы выходим за рамки простого относительного движения вещи и земли и можем приписать абсолютное движение одному из этих компонентов нашего общего объекта, а абсолютный покой - другому. Например, когда в поле зрения весь фон движется вместе, мы думаем, что это мы сами или наши глаза движутся; а любой объект на переднем плане, который может двигаться относительно фона, мы считаем неподвижным. Но примитивно эта дискриминация не может быть проведена идеально. Ощущение движения распространяется на все, что мы видим, и заражает его. Любое относительное движение объекта и сетчатки заставляет объект казаться движущимся, а нас - чувствовать себя в движении. Даже сейчас, когда весь объект движется, мы все еще испытываем головокружение; и мы все еще видим кажущееся движение всего поля зрения, когда внезапно дергаем головой и глазами или быстро качаем ими туда-сюда. Нажатие на глазные яблоки дает ту же иллюзию. Во всех этих случаях мы знаем, что происходит на самом деле,

но условия необычны, поэтому наши примитивные ощущения остаются бесконтрольными. Так же происходит, когда облака проплывают мимо луны. Мы *знаем, что* луна неподвижна, но *видим, что* она движется даже быстрее, чем облака. Даже когда мы медленно переводим взгляд, примитивное ощущение сохраняется в рамках победоносной концепции. Если мы внимательно изучим этот опыт, то обнаружим, что любой объект, на который мы смотрим, кажется движущимся навстречу нашему взгляду.

Но самым ценным вкладом в эту тему является статья Г. Х. Шнайдера,^[175] который рассматривает этот вопрос с зоологической точки зрения и на примерах из каждой ветви животного царства показывает, что движение - это качество, с помощью которого животные легче всего привлекают внимание друг друга. Инстинкт "притворства смерти" - это вовсе не притворство смерти, а скорее паралич от страха, который спасает насекомое, ракообразное или другое существо от того, чтобы его враг *вообще не заметил*. В человеческой расе он параллелен затаившему дыхание мальчику, играющему в "я шпион", к которому приближается ищущий; а его обратная сторона проявляется в наших произвольных взмахами руками, прыжках вверх-вниз и т. д., когда мы хотим привлечь чье-то внимание на расстоянии. Существа, "преследующие" свою добычу, и существа, скрывающиеся от преследователей, одинаково показывают, как неподвижность уменьшает заметность. В лесу, если мы ведем себя тихо, белки и птицы могут дотронуться до нас. Мухи будут садиться на чучела птиц и неподвижных лягушек.^[176] С другой стороны, огромный шок от ощущения, что вещь, на которой мы сидим, начинает двигаться, преувеличенное возбуждение, когда насекомое неожиданно пролетает по нашей коже или кошка бесшумно подходит и шмыгает за руку, чрезмерные рефлекторные эффекты от щекотки и т. д. показывают, насколько захватывающим является ощущение движения *само по себе*. Котенок не может не преследовать движущийся мячик. Впечатления, слишком слабые, чтобы их вообще можно было осознать, немедленно ощущаются, если они движутся. Сидящая муха остается незамеченной - мы чувствуем ее, как только она проползает. Тень может быть слишком слабой для восприятия. Однако как только она движется, мы ее видим. Шнайдер обнаружил, что тень с четкими очертаниями и прямой фиксацией может быть воспринята при движении, хотя ее объективная сила может быть вдвое меньше, чем у неподвижной тени, настолько слабой, что она просто исчезает. С размытой тенью при непрямом зрении разница в пользу движения была гораздо больше - 13,3:40,7. Если мы держим палец между закрытым веком и солнечным светом, то не замечаем его присутствия. Однако стоит нам пошевелить им туда-сюда, как мы его заметим. Подобное зрительное восприятие воспроизводит условия зрения у лучезарных.^[177]

Уже достаточно сказано, чтобы показать, что *при обучении пространственному различению движения впечатлений по сенсорным поверхностям должны были стать главным фактором*, разделившим наше сознание поверхностей на сознание их частей. Даже сегодня основная функция периферических участков сетчатки - это роль дозорных, которые, когда над ними проносятся лучи света, кричат "Кто там идет?" и вызывают фовеа на место. Большинство участков кожи выполняют ту же функцию, что и кончики пальцев. Конечно, кончики пальцев и фовеа оставляют *часть* полномочий прямого восприятия маргинальной сетчатке и коже соответственно. Но стоит отметить, что такое восприятие лучше всего развивается на коже наиболее подвижных частей (это хорошо показали труды Виерордта и его учеников); и что у слепых, чья кожа исключительно разборчива, она, по-видимому, стала таковой благодаря въедливой привычке большинства из них дергать и двигать ее под любым предметом, который может коснуться их, чтобы лучше ознакомиться с

его формой. Первым это заметил Чермак. Это можно легко проверить. Конечно, *движение поверхности под объектом (в целях стимуляции) эквивалентно движению объекта над поверхностью*. При исследовании форм и размеров вещей глазом или кожей движения этих органов непрерывны и неудержимы. Каждое такое движение рисует точки и линии объекта на поверхности, запечатлевает их в сотни раз резче и заставляет обратить на них внимание. Огромная роль, которую играют движения в нашей перцептивной деятельности, по мнению многих психологов[178], доказывает, что мышцы сами по себе являются воспринимающим пространством органом. Не поверхностная чувствительность, а "мышечное чувство" является для этих авторов первоначальным и единственным раскрытием объективной протяженности. Но все они не заметили, с какой особой интенсивностью мышечные сокращения вызывают чувствительность поверхности, и что простое различие впечатлений (совершенно не считая вопроса об измерении пространства между ними) в значительной степени зависит от подвижности поверхности, на которую они падают.[179]

2. Измерение пространства ощущений относительно друг друга.

Все, что мы можем сказать в ответ на проблему дискриминации, уже сказано выше. Теперь перейдем к измерению нескольких пространств друг относительно друга, что является первым шагом в конструировании из наших разнообразных пространств-опытов единого пространства, которое мы считаем реальным миром.

Первое, что кажется очевидным, - это то, что у нас нет возможности сразу же с точностью сравнить между собой объемы, выявляемые различными ощущениями. Наша ротовая полость действительно кажется себе меньше, а языку - больше, чем пальцу или глазу, наша барабанная перепонка кажется больше, чем кончик пальца, наши губы ощущаются больше, чем равная им поверхность бедра. Такое сравнение является непосредственным, но оно расплывчато, и для получения точных данных мы должны прибегнуть к другой помощи.

Большим подспорьем в сравнении объемов, ощущаемых одной сенсорной поверхностью с другой, является суперпозиция - наложение одной поверхности на другую, а также наложение одной внешней вещи на множество поверхностей. Таким образом вводятся точные эквиваленты и общие меры, а также подготавливается почва для получения численных результатов.

Если бы мы не могли наложить одну часть нашей кожи на другую или один предмет на обе части, нам вряд ли удалось бы прийти к тому знанию о собственной форме, которым мы обладаем. Первоначальные различия в размерах наших разных частей оставались бы смутно действующими, и у нас не было бы уверенности в том, сколько губы соответствует столько-то лбу, сколько пальца - столько-то спине.

Но благодаря возможности исследовать одну часть поверхности за счет другой мы получаем прямое восприятие кожных эквивалентов. Примитивные различия в размерах уходят на второй план, когда мы сразу чувствуем, что определенная длина поверхности бедра соприкасается со всей ладонью и пальцами. А когда движение противоположных пальцев проводит линию сначала по этой же длине бедра и затем по всей руке, мы получаем новый способ измерения, менее прямой, но подтверждающий эквивалентность, установленную первым. Таким образом, путем наложения частей и проведения линий на разных частях одинаковыми движениями человек, лишенный зрения, может вскоре научиться сводить все размеры своего тела к однородной шкале. Применяя те же методы к предметам своего размера или меньше, он с такой же легкостью может ознакомиться с их протяженностью,

выраженной в терминах, полученных из его собственной массы, ладоней, футов, локтей, пролетов, шагов, саженой (размахов рук) и т. д. В этих сокращениях следует заметить, что *когда резидентные ощущения величины двух противоположных поверхностей вступают в конфликт, одно из ощущений выбирается в качестве истинного стандарта, а другое рассматривается как иллюзорное. Так, считается, что пустая зубная впадина на самом деле меньше, чем палец, который она не принимает, хотя на ощупь она может быть больше; и в целом можно сказать, что рука, как почти единственный орган пальпации, придает другим частям свою собственную величину, вместо того чтобы определять ее размер с их помощью. В общем, это, как говорит Фехнер, объем, ощущаемый более чувствительной частью, к которому сводятся другие объемы.*^[180]

Но даже если бы исследование одной поверхности другой было невозможно, мы всегда могли бы измерить наши различные поверхности друг с другом, прикладывая один и тот же протяженный объект сначала к одной, а затем к другой. Конечно, мы могли бы предположить, что сам объект увеличивается и уменьшается по мере того, как он скользит от одного места к другому (см. выше, с. 141); но принцип упрощения нашего мира вскоре заставил бы нас отказаться от этого предположения в пользу более простого, что объекты, как правило, сохраняют свои размеры, и что на большинство наших ощущений влияют ошибки, на которые необходимо постоянно делать поправку.

В сетчатке нет оснований полагать, что размеры двух отпечатков (линий или пятен), падающих на разные области, примитивно ощущаются как находящиеся в каком-то точном взаимном соотношении. Только когда впечатления исходят от одного и того же *объекта*, мы оцениваем их размеры как одинаковые. Да и то лишь тогда, когда отношение объекта к глазу считается в целом неизменным. Когда объект при движении меняет свое отношение к глазу, ощущения, вызываемые его изображением даже на одной и той же области сетчатки, становятся настолько непостоянными, что в итоге мы не придаем никакого абсолютного значения пространственному ощущению сетчатки, которое мы можем получить в любой момент. Это заблуждение относительно величины сетчатки становится настолько полным, что практически невозможно сравнивать визуальные величины объектов на разных расстояниях без проведения эксперимента по наложению. Мы не можем заранее сказать, какую часть далекого дома или дерева охватит наш палец. Различные ответы на привычный вопрос "Какова величина Луны?" - ответы, которые варьируются от "тележного колеса" до "вафли", - наглядно демонстрируют это. Самое трудное в обучении молодого рисовальщика - научиться непосредственно ощущать сетчаткой глаза (то есть примитивно ощущать) величины, которые имеют различные объекты в поле зрения. Для этого он должен восстановить то, что Рёскин называет "невинностью глаза", то есть своего рода детское восприятие цветовых пятен просто как таковых, без осознания того, что они означают.

Для остальных эта невинность потеряна. *Из всех визуальных величин каждого известного объекта мы выбрали одну, как реальную, о которой следует думать, а все остальные деградировали, чтобы служить ее признаками.* Эта "реальная" величина определяется эстетскими и практическими интересами. Это та величина, которую мы получаем, когда объект находится на расстоянии, наиболее благоприятном для точного зрительного различения его деталей. Это расстояние, на котором мы держим все, что рассматриваем. Дальше этого расстояния мы видим его слишком маленьким, ближе - слишком большим. И большие, и меньшие ощущения исчезают, когда мы подсказываем им этот, более важный смысл. Когда я смотрю вдоль обеденного стола, я не замечаю, что дальние тарелки и стаканы *кажутся* мне гораздо меньше моих собственных, потому что я *знаю*, что все они

одинаковы по размеру; и ощущение их, которое является настоящим ощущением, затмевается в бликах знания, которое является просто воображаемым.

Если несоответствия между зрительными пространствами и пространствами *между собой* могут быть таким образом уменьшены, то, конечно, не может быть никаких трудностей в приравнивании зрительных пространств к пространствам, предоставленным осязанию. В этом уравнении, вероятно, осязание-ощущение преобладает как реальное, а зрение служит знаком - уменьшение необходимо не только из-за гораздо большего постоянства ощущаемых величин по сравнению с видимыми, но и из-за большего практического интереса, который чувство осязания имеет для нашей жизни. Как правило, вещи приносят нам пользу или вред только при непосредственном контакте с нашей кожей: зрение - это лишь своего рода предвосхищение осязания; последнее, по выражению мистера Спенсера, является "родным языком мысли", и идиомы служанки должны быть переведены на язык госпожи, прежде чем они смогут ясно донестись до разума.^[181]

Позже мы увидим, что ощущения, возникающие в суставах при движении конечности, используются как знаки пути, пройденного конечностью. Но об этом позже. Что касается приравнивания звуковых, обонятельных и вкусовых объемов к объемам, создаваемым более разборчивыми органами чувств, то они слишком неопределенны и не нуждаются в комментариях. Однако в отношении боли можно заметить, что ее размер должен быть уменьшен до нормального осязательного размера органа, который является ее местом. Палец, на котором сидит преступник, и пульсация артерий в нем, оба "ощущаются" большими, чем мы думаем, что они на самом деле "есть".

В приведенном отчете было замечено, что *когда два сенсорных пространственных впечатления, которые, как считается, исходят от одного и того же объекта, различаются, то истинным считается то, которое наиболее интересно с практической или эстетической точки зрения*. Этот закон интереса действует повсеместно, хотя постоянный интерес, например, к осязанию, может противостоять сильному, но мимолетному интересу, например, к боли, как в только что приведенном случае с преступником.

3. Сумма пространств чувств.

Теперь перейдем к следующему шагу в нашем построении реального пространства: *Каким образом различные пространства ощущений складываются в единый и консолидированный континуум?* Ведь в человеке они, во всяком случае, изначально бессвязны.

И здесь первым делом выясняется, что *изначально наши пространственные впечатления образуют хаос, из которого мы не имеем возможности сразу же их вычленить*. Объекты различных органов чувств, переживаемые вместе, в первом случае не оказываются ни внутри, ни рядом, ни далеко за пределами друг друга, ни пространственно непрерывными, ни прерывистыми, в любом определенном смысле этих слов. То же самое можно сказать и об объектах, ощущаемых различными частями одного и того же органа до того, как дискриминация выполнит свою работу. Самое большее, что мы можем сказать, - это то, что все наши пространственные переживания вместе образуют *объективную совокупность* и что эта *объективная совокупность* огромна.

Даже сейчас пространство внутри нашего рта, которое так хорошо известно и точно измеряется его обитателем - языком, вряд ли можно сказать, что его внутренние направления и размеры известны в каком-то точном соотношении с теми, что есть в большом мире снаружи. Он образует почти маленький мир сам по себе. Когда стоматолог вырезает небольшую полость в одном из наших зубов, мы чувствуем, как твердое острие его инструмента скребет в разных направлениях поверхность, которая кажется нашему чувству смутно большей, чем нам подсказывает последующее использование зеркала. И хотя направления соскабливания так сильно различаются *между собой*, ни одно из них не может быть идентифицировано с конкретным направлением во внешнем мире, которому оно соответствует. Таким образом, пространство зубной чувствительности - это маленький мир, который может стать конгруэнтным внешнему миру только благодаря дальнейшему опыту, который изменит его объем, определит его направления, сплавит его границы и, наконец, впишет его как определенную часть в определенное целое. И даже если бы вращение каждого сустава ощущалось как различие *между собой*, как множество различий в направлении в общей комнате; даже если бы то же самое было верно для различных следов на коже и различных следов на сетчатке, соответственно, из этого все равно не следовало бы, что ощущения направления на этих различных поверхностях интуитивно сопоставимы между собой или с другими направлениями, даваемыми ощущениями полукружных каналов. Из этого не следует, что мы должны сразу же судить об отношениях их всех друг к другу в одном пространстве-мире.

Если при неестественном положении рук мы "ощущаем" предметы, то у нас возникает недоумение по поводу их формы, размера и положения. Пусть читатель ляжет на спину с вытянутыми над головой руками, и он с удивлением обнаружит, насколько плохо он способен распознать геометрические отношения предметов, находящихся в пределах досягаемости его рук. Но геометрические отношения, о которых здесь идет речь, - это не что иное, как тождества между направлениями и размерами, воспринимаемыми таким образом, и теми, которые воспринимаются более обычными способами. Эти два способа интуитивно не соответствуют друг другу.

Насколько слаба связь между системой зрительных и тактильных направлений у человека, видно из того, с какой легкостью микроскописты учатся обратным движениям руки при манипулировании предметами на столике прибора. Чтобы переместить *предметное* стекло в левую сторону, они должны притянуть его к *ощущаемой* правой. Но уже через несколько дней эта привычка становится второй натурой. Так и при завязывании галстука, бритье перед зеркалом и т. д. правая и левая стороны оказываются перевернутыми, а направления движений рук - противоположными тем, что кажутся. Однако это никогда не раздражает нас. Только когда мы случайно пытаемся завязать галстук другому человеку, мы узнаем, что существует два способа совмещения зрительного и осязательного восприятия. Пусть кто-нибудь впервые попробует писать или рисовать, глядя на изображение своей руки и бумаги в зеркале, и он будет в полном недоумении. Но очень короткая тренировка научит его отменять в этом отношении ассоциации всей предыдущей жизни.

Призмы демонстрируют это еще более поразительным образом. Если на глаза надеть очки со слегка призматическими стеклами, основания которых повернуты, например, вправо, то каждый предмет, на который смотрят, будет, по-видимому, смещен влево; а рука, протянутая для того, чтобы схватить любой такой предмет, ошибется, пройдя мимо него с левой стороны. Но менее часа практики в таких очках исправляют суждение, и больше ошибок не совершается. На самом деле вновь сформировавшиеся ассоциации уже настолько сильны,

что, когда призмы впервые откладываются в сторону, снова совершается противоположная ошибка, привычки всей жизни нарушаются, и рука теперь проходит справа от каждого предмета, к которому она стремится прикоснуться.

Таким образом, первобытный хаос в значительной степени сохраняется на протяжении всей жизни, пока мы обладаем непосредственной чувствительностью. Мы ощущаем различные объекты и их величину, вместе или последовательно; но как только речь заходит о порядке и отношениях многих из них сразу, наше интуитивное восприятие остается до самого конца самым смутным и неполным. Пока мы обращаем внимание на один или, самое большее, на два-три объекта, все остальные *исчезают*, и самое большее, что мы чувствуем, - это то, что они все еще остаются на окраине и могут быть снова пойманы, если повернуть в определенную сторону. Тем не менее *во всей этой путанице мы представляем себе мир, раскинувшийся совершенно неподвижно и упорядоченно, и верим в его существование. Вопрос в том, как возникают эта концепция и эта вера? Как сглаживается и выравнивается хаос?*

В основном с помощью двух операций: Некоторые переживания воспринимаются как существующие вне и рядом друг с другом, а другие воспринимаются как взаимопроникающие друг в друга и занимающие одно и то же место. Таким образом, то, что было бессвязным и безотносительным, в итоге становится связным и определенно связанным; нетрудно проследить в деталях принципы, которыми руководствуется разум при таком расположении своих восприятий.

Прежде всего, следуя великому интеллектуальному закону экономии, мы упрощаем, объединяем и отождествляем все, что только возможно. *Все разумные данные, которые можно рассматривать вместе, мы располагаем вместе. Их несколько протяженностей кажутся одной протяженностью. Место, в котором появляется каждый из них, считается тем же самым, что и место, в котором появляются остальные. Они становятся, короче говоря, столькими свойствами одной и той же реальной вещи.* Это первая и великая заповедь, фундаментальный "акт", посредством которого наш мир становится пространственно организованным.

При таком объединении в "вещь" одно из объединяющихся ощущений принимается за вещь, а другие ощущения - за ее более или менее случайные свойства, или способы появления.^[182] Ощущение, выбранное в качестве вещи по существу, является наиболее постоянным и практически важным из всех; чаще всего это твердость или вес. Но твердость или вес никогда не бывают без тактильного объема; и поскольку мы всегда видим что-то в руке, когда чувствуем что-то там, мы приравниваем ощущаемый объем к видимому, и в дальнейшем этот общий объем также склонен фигурировать как сущность "вещи". Часто так фигурирует форма, иногда температура, вкус и т. д.; но по большей части температура, запах, звук, цвет или любые другие явления, которые могут произвести на нас яркое впечатление одновременно с ощущаемой или видимой массой, фигурируют среди случайностей. Запах и звук производят на нас впечатление, правда, когда мы не видим и не осязаем вещь; но они сильнее всего, когда мы видим или осязаем, поэтому мы находим *источник* этих свойств в осязаемом или видимом пространстве, в то время как сами свойства мы рассматриваем как изливающиеся в ослабленной форме в пространства, заполненные другими вещами. *При этом, как можно заметить, данные чувств, чьи пространства объединяются в одно, предоставляются различными органами чувств.* Такие данные не имеют тенденции вытеснять друг друга из сознания, но могут присутствовать в нем одновременно. Часто,

правда, они изменяются одновременно и достигают максимума вместе. Поэтому мы можем быть уверены, что общее правило нашего разума заключается в том, чтобы находить друг в друге все ощущения, которые связаны в одновременном опыте и не мешают восприятию друг друга.^[183]

Различные впечатления от одного и того же органа чувств мешают восприятию друг друга, и их нельзя рассматривать одновременно. Поэтому мы не размещаем их в пространстве друг друга, а располагаем их в последовательном порядке внешности, каждое рядом с остальными, в пространстве большем, чем то, которое приносит одно ощущение. Однако это более широкое пространство является скорее объектом концепции, чем непосредственной интуиции, и несет на себе все признаки того, что оно создано разумом по частям. Слепой человек формирует его из тактильных, двигательных и слуховых ощущений, а зрячий - почти исключительно из зрительных. Поскольку визуальную конструкцию понять проще всего, давайте рассмотрим ее в первую очередь.

Каждое отдельное зрительное ощущение или "поле зрения" ограничено. Чтобы получить новое поле зрения для нашего объекта, старое должно исчезнуть. Но это исчезновение может быть лишь частичным. Пусть первым полем зрения будет А В С. Если мы перенесем наше внимание на предел С, он перестанет быть пределом и станет центром поля, а за ним появятся новые части, которых раньше не было:^[184] А В С меняется, короче говоря, на С D E. Но хотя части А В потеряны для зрения, их образ остается в памяти; и если мы думаем о нашем первом объекте А В С как о существовавшем или как о продолжающем существовать вообще, мы должны думать о нем так, как он был представлен первоначально, а именно как распространяющийся от С в одном направлении так же, как С D E распространяется в другом. А В и D E никогда не могут соединиться в одном месте (как они могли бы, если бы были объектами разных чувств), потому что они никогда не могут быть восприняты одновременно: мы должны потерять одно, чтобы увидеть другое. Таким образом (буквы означают "вещи"), мы получаем представление о последовательных полях вещей по аналогии с несколькими вещами, которые мы воспринимаем в одном поле. Они должны быть вне и рядом друг с другом, и мы понимаем, что их сопоставленные пространства должны составлять большее пространство. А В С + С D E должны, короче говоря, воображаться существующими в виде А В С D E или не воображаться вовсе.

Обычно мы можем восстановить что-либо потерянное из виду, перемещая наше внимание и наши глаза обратно в его направлении; и через эти постоянные изменения каждое поле видимых вещей приходит, наконец, к мысли о том, что оно всегда имеет бахрому *других вещей, которые можно увидеть*, распространяющуюся во всех направлениях вокруг него. Тем временем движения, с которыми чередуются различные поля, также ощущаются и запоминаются; и постепенно (через ассоциацию) то или иное движение приходит в нашу мысль, чтобы предложить ту или иную степень новых объектов введения. Постепенно, поскольку объекты неограниченно варьируются по виду, мы абстрагируемся от их природы и думаем отдельно только об их протяженности, для которой различные движения остаются единственными постоянными вводителем и помощниками. Поэтому мы все чаще думаем о движении и протяженности как о взаимообусловленных понятиях, пока наконец (вместе с Бэйном и Дж. С. Миллем) не начинаем считать их синонимами и говорить: "Что *значит* слово *"протяженность"*, если не возможность движения?"^[185] При этом мы забываем, что (какой бы внутренней экстенсивностью ни обладали движения), та видимая размашистость,

которая является образцом абстрактной экстенсивности, которую мы воображаем, пришла к нам первоначально от ощущений сетчатки.

Мышечные ощущения глазного яблока *означают* этот вид видимого размаха, точно так же как этот видимый размах может в более позднем опыте *обозначать* "реальные" объемы, расстояния, длины и ширины, известные осязанию и локомоции.^[186] Однако в конечном итоге, когда мы видим людей, качество, природа, то, *что мы подразумеваем* под обширностью, похоже, является тем чувством, которое вызывают наши стимулы сетчатки.

У человека, лишенного зрения, принципы, по которым строится представление о реальном пространстве, те же самые. Кожные ощущения занимают у него место ретинальных, придавая качество латеральной разбросанности, когда наше внимание переходит от одного их участка к другому, пробуждаемое скользящим по ним объектом. Обычно движущимся объектом является наша рука, и ощущения движения в суставах неизменно сопровождают ощущения в коже. Но кожные ощущения - это то, что слепой человек *подразумевают* под своей кожей; поэтому размер кожных ощущений выступает как абсолютный или реальный размер, а размер суставных ощущений становится их признаком. Предположим, например, что слепой ребенок с мозолью на пальце ноги (чтобы сократить описание) исследует свою ногу кончиком пальца и чувствует резкую боль, возникающую в момент прикосновения к мозоли. Эксперимент дает ему четыре различных вида ощущений - два из них продолжительные, два внезапные. Первая пара - это ощущения движения в суставах верхней конечности и ощущения движения на коже ноги и стопы. Эти объекты, рассматриваемые вместе, идентифицируются как одно объективное пространство - рука движется в том же пространстве, в котором лежит нога. Вторая пара объектов - это боль в мозоли и особое ощущение, которое мозоль вызывает у пальца. Их пространства также сливаются; и поскольку каждое из них отмечает конец своеобразной серии движений (рука двигается, нога поглаживается), пространства движений *категорически* отождествляются друг с другом в *этом* конце. Если бы по ноге были распределены другие маленькие волдыри, то таких эмфатических точек было бы несколько; пространства движения были бы идентифицированы не только как совокупность, но и как точка за точкой.^[187]

Так же и с пространствами за пределами тела. Продолжая ощущать сустав за пределами пальца, ребенок ударяется о другой предмет, о котором он все еще может думать, когда снова возвращает руку к мозоли. Этот предмет, находящийся в конце сустава-ощущения, означает для него новое место, и чем больше таких предметов множится в его опыте, тем шире становится пространство его представлений. Если, блуждая сегодня по лесу по новой тропинке, я вдруг оказываюсь на поляне, которая воздействует на мои чувства точно так же, как и другая, которой я достиг на прошлой неделе в конце другой прогулки, я считаю, что эти два одинаковых ощущения представляют собой одну и ту же сохраняющуюся поляну, и делаю вывод, что достиг ее двумя разными дорогами. Пройденные пространства совпадают по своим конечным точкам; хотя, если не считать общих ощущений, которые дают эти конечные точки, я вообще не должен был бы связывать одну прогулку с другой. Ситуация ничуть не отличается, когда речь идет о более коротких движениях. Если, двигая сначала одной рукой, а затем другой, слепой ребенок получает одно и то же ощущение на руке, и получает его снова, когда повторяет любой из этих процессов, он считает, что коснулся одного и того же объекта обоими движениями, и делает вывод, что движения заканчиваются в одном и том же месте. Перемещаясь от места к месту, отмеченному таким образом, и

складывая места, пройденные одно за другим, он строит свое представление о масштабах внешнего мира. У видящего человека процесс идентичен, только его единицы измерения, которые могут быть последовательными видами с высоты птичьего полета, намного больше, чем в случае со слепым.

ОЩУЩЕНИЯ В СУСТАВАХ И ОЩУЩЕНИЯ В МЫШЦАХ.

1. Ощущения движения в суставах.

Меня заставили говорить об ощущениях, возникающих в суставах. Поскольку до сих пор эти ощущения слишком часто игнорировались в психологии, то, войдя сейчас в их подробное изучение, я, вероятно, одновременно оживлю интерес читателя, который под воздействием довольно сухих абстракций предыдущих страниц мог, вероятно, ослабнуть.

Когда, просто сгибая указательный палец правой руки в пястном суставе, я провожу его кончиком сантиметр по ладони левой руки, является ли мое ощущение размера сантиметра чисто и просто ощущением на коже ладони, или же к этому имеют отношение мышечные сокращения правой руки и предплечья? На предыдущих страницах я постоянно предполагал, что пространственное восприятие - это дело поверхностей. Поначалу рассмотрение "мышечного чувства" как измерителя пространства было отложено на более поздний этап. Многие авторы, среди которых первым был Томас Браун в своих *"Лекциях по философии человеческого разума"*, а последним - не менее известный психолог, чем профессор Дельбёф, [188] считают, что сознание активного мускульного движения, осознающего свою собственную величину, является *fons et origo* всех пространственных измерений. Если бы эта теория была верна, то из нее следовало бы, что два кожных ощущения, одно - большого участка, другое - маленького, обладают разницей в пространственности не как непосредственный элемент, а исключительно в силу того, что большое ощущение, чтобы *последовательно* возбудить свои точки, требует большего мышечного сокращения, чем малое. Фиксированные ассоциации с несколькими количествами мышечных сокращений, необходимых в данном конкретном опыте, объясняли бы, таким образом, кажущиеся размеры кожных пятен, которые, следовательно, были бы не примитивными данными, а производными результатами.

Мне кажется, что никаких доказательств мышечных измерений не существует; но все факты можно объяснить поверхностной чувствительностью, если принять во внимание также чувствительность суставных поверхностей.

Самым ярким и очевидным аргументом, который может привести сторонник мускульной теории, несомненно, является следующий факт: если с закрытыми глазами прочертить в воздухе фигуры вытянутым указательным пальцем (движения могут происходить от пястного, запястного, локтевого или плечевого сустава, безразлично), то в каждом случае мы *осознаем*, и даже наиболее остро, геометрический путь, описываемый кончиком пальца. Ее углы, ее деления ощущаются так же отчетливо, как если бы их видел глаз; при этом поверхность пальца не получает никакого впечатления. [189] Но с каждым изменением фигуры меняются мышечные сокращения, а вместе с ними и ощущения, которые они вызывают. Не являются ли эти ощущения теми чувственными данными, которые позволяют нам осознать длину и направление линии, которую мы различаем?

Если нам захочется возразить на это предположение сторонника восприятия с помощью мышечных ощущений, что мы *усвоили* пространственное значение этих ощущений путем повторных опытов, *когда мы видим*, какая фигура рисуется, когда ощущается каждая особая

мышечная группировка, так что в конечном счете мышечные пространственные ощущения будут выведены из ощущений сетчатки, наш оппонент может немедленно утихомирить нас, указав на то, что у людей, рожденных слепыми, данное явление еще более совершенно, чем у нас.

Если мы предположим, что слепой, возможно, изначально прослеживал фигуры на кожной поверхности щеки, бедра или ладони, а теперь может вспомнить конкретную фигуру, которую при каждом движении воспринимала кожная поверхность, он может ответить, что тонкость моторного восприятия намного превосходит тонкость восприятия большинства кожных поверхностей; что, в самом деле, мы можем чувствовать фигуру, прорисованную только в ее дифференциалах, так сказать, - фигуру, которую мы только *начинаем* прослеживать кончиком пальца, фигуру, которая, прорисованная таким же образом *на* нашем кончике пальца рукой другого человека, будет почти, если не полностью, неузнаваема.

Поборник мышечного чувства, похоже, будет торжествовать *до тех пор, пока мы не обратимся к суставным хрящам*, как к внутренним поверхностям, чья чувствительность вызывается каждым нашим движением, каким бы деликатным оно ни было.

Чтобы определить, какую роль они играют в нашей геометризации, необходимо рассмотреть несколько фактов. Медицинским работникам давно известно, что у пациентов с кожной анестезией конечностей, чьи мышцы также нечувствительны к возбуждению фарадического тока, может сохраняться очень точное ощущение того, как конечность может быть согнута или вытянута рукой другого человека.^[190] С другой стороны, это чувство движения может быть нарушено, когда тактильная чувствительность хорошо сохранена. То, что притворное ощущение исходящей иннервации не играет в этих случаях никакой роли, очевидно из того факта, что движения, при которых конечность меняет свое положение, являются пассивными, накладываемыми на нее врачом-экспериментатором. Авторы, которые пытались *обосновать* этот вопрос, были вынуждены в порядке исключения предположить, что суставные поверхности являются местом восприятия, о котором идет речь.^[191]

То, что суставные поверхности чувствительны, следует из того факта, что при воспалении они становятся местом мучительных болей, а также из того, что каждый, кто поднимает тяжести или жмет против сопротивления, чувствует, что каждое увеличение противодействующей ему силы предаст себя его сознанию в основном путем возникновения новых ощущений или усиления старых, в суставах или около них. Если принять во внимание строение и способ взаимного применения двух суставных поверхностей, то окажется, что, если допустить, *что* поверхности чувствительны, то для деликатного задействования чувствительности не может быть более благоприятных механических условий, чем те, которые реализуются в тонко градуированных вращениях и стойко сопротивляющихся изменениях давления, задействованных в каждом акте разгибания или сгибания. Тем не менее очень жаль, что у нас пока нет прямых свидетельств, нет высказываний пациентов со здоровыми суставами, случайно вскрытыми, о впечатлениях, которые они испытывают при надавливании или трении хряща.

Первое приближение к прямым доказательствам, насколько мне известно, содержится в работе Левински,^[192] опубликованной в 1879 году. У этого наблюдателя был пациент, внутренняя половина ноги которого была анестезией. Когда этот пациент вставал, у него возникала любопытная иллюзия относительно положения конечности, которая исчезала,

как только он снова ложился: он считал себя *коленопреклоненным*. Если, как говорит Левински, предположить, что внутренняя половина сустава разделяет нечувствительность соответствующей части кожи, то он *должен был бы* чувствовать, когда суставные поверхности прижимаются друг к другу в акте стояния, наружную половину сустава наиболее сильно. Но именно такое ощущение он будет испытывать и в том случае, если по какой-то случайности попытается привести ногу в коленопреклоненное положение. Этот случай заставил Левински исследовать стопы некоторых атаксичных пациентов с несовершенным чувством положения. В каждом случае он обнаружил, что при одновременном сгибании *и разгибании* пальцев ног (суставные поверхности раздвигаются) исчезает всякое ощущение степени сгибания. Напротив, когда он надавливал *на* палец, одновременно сгибая его, пациент ощущал степень сгибания гораздо лучше, очевидно, потому, что искусственное увеличение суставного давления компенсировало патологическую нечувствительность частей.

После статьи Левински появилось важное экспериментальное исследование А. Голдшейдера^[193], которое полностью подтверждает нашу точку зрения. Пациент наблюдал, как его пальцы, руки и ноги пассивно вращались в различных суставах в механическом аппарате, который регистрировал как скорость движения, так и величину углового вращения. Никаких активных мышечных сокращений не происходило. Минимальная ощущаемая величина вращения во всех случаях была удивительно мала и составляла менее одного углового градуса во всех суставах, кроме пальцев. Такие смещения, по словам автора (с. 490), едва ли можно обнаружить глазом. Точка приложения силы, которая вращала конечность, не имела никакого значения для результата. Вращения вокруг тазобедренного сустава, например, так же тонко ощущались, когда нога была подвешена за пятку, как и когда она была подвешена за бедро во время выполнения движений. Анестезия кожи, вызванная индукционными токами, также не оказывала никакого мешающего влияния на восприятие, как и различные степени давления движущейся силы на кожу. Фактически, оно становилось тем более отчетливым, чем больше сопутствующие ощущения давления устранялись искусственной анестезией. Когда же искусственно анестезировали сами суставы, восприятие движений становилось тупым, а угловые вращения приходилось значительно увеличивать, прежде чем они становились ощутимыми. Все эти факты доказывают, по мнению герра Гольдшейдера, что *суставные поверхности и только они являются отправной точкой впечатлений, с помощью которых немедленно воспринимаются движения наших членов*.

Применив этот результат, который кажется неуязвимым, к случаю с отслеживанием пальцев, мы видим, что наше восприятие последних не дает никаких оснований для теории мышечного чувства. *Мы, несомненно, локализуем кончик пальца в последовательных точках его пути с помощью ощущений, которые мы получаем от наших суставов*. Но если это так, то можно спросить, почему мы чувствуем, что фигура прорисовывается не в самом суставе, а в совершенно другом месте? И почему мы ощущаем ее гораздо большей, чем она есть на самом деле?

Отвечая на эти вопросы, я задам другой: Зачем мы вообще двигаем суставами? Конечно же, для того, чтобы получить нечто более ценное, чем сами бесполезные суставные ощущения. И эти более интересные ощущения в основном возникают на *коже* движущейся части, или на какой-то другой части, через которую она проходит, или на глазах. Движениями пальцев мы изучаем конфигурацию всех реальных объектов, с которыми нам приходится иметь дело, как собственного тела, так и чужих вещей. Ничто из того, что нас интересует, не находится в суставе; все, что нас интересует, - *это* либо часть нашей кожи, либо то, что мы видим, когда

обрабатываем ее. Таким образом, кутанные ощущения и видимые экстензии становятся важными для нас вещами. Каждый раз, когда сустав двигается, хотя мы не видим и не ощущаем его кутанельно, воспоминания о событиях и видах на коже, которые раньше совпадали с этой степенью движения, в идеале пробуждаются как значение движения, и ум отбрасывает текущий знак, чтобы заняться только значением. Само суставное ощущение как таковое при этом не исчезает. Небольшое внимание легко обнаруживает его, со всеми его тонкими особенностями, скрытыми под его более обширными предложениями; так что в действительности ум имеет перед собой два пространственных восприятия, совпадающих по форме, но различных по масштабу и месту, любое из которых он может замечать отдельно, или оба сразу, - совместное пространство, которое он *чувствует*, и реальное пространство, которое он *имеет в виду*.

Суставные пространства так хорошо служат в качестве знаков благодаря своей способности к *параллельному изменению* всех особенностей внешнего движения. В реальном мире нет ни одного направления, ни одного соотношения расстояний, которому не соответствовало бы то или иное направление или степень вращения суставов. Суставные ощущения, как и все ощущения, вместилищны. Конкретные из них контрастируют *между собой*, как контрастируют различные направления в пределах одной и той же протяженности. Если я вытяну руку прямо у плеча, вращение плечевого сустава даст мне одно ощущение движения; если затем я взметну руку вперед, тот же самый сустав даст мне другое ощущение движения. Оба эти движения ощущаются как происходящие в пространстве и различаются по специфическому качеству. Почему бы специфике качества не заключаться только в ощущении особого *направления*?^[194] Почему бы нескольким совместным ощущениям не *быть* столькими восприятиями движения в стольких различных направлениях? То, что мы не можем объяснить, почему они *должны быть*, не является предположением, что они не должны быть, так как мы никогда не можем объяснить, почему любой орган чувств должен пробуждать те ощущения, которые он вызывает.

Но если совместные ощущения - это направления и протяженности, стоящие по отношению друг к другу, то задача ассоциации при интерпретации их значения в глазных или кожных терминах значительно упрощается. Пусть движение *bc* определенного сустава получает свою абсолютную пространственную ценность от кожного ощущения, которое оно всегда способно вызвать; тогда более длительное движение *abcd* того же сустава будет оценено как имеющее большую пространственную ценность, даже если оно никогда не могло полностью слиться с кожным ощущением. Так и в отношении различий направления: столько-то различий в суставах = столько-то различий в коже; следовательно, больше различий в суставах = больше различий в коже. *Фактически, суставное ощущение может прекрасно служить картой в уменьшенном масштабе, реальности, которую воображение может по своему усмотрению отождествлять с тем или иным разумным расширением, одновременно известным каким-то другим способом.*

Когда суставное ощущение само по себе приобретает эмоциональный интерес, - а это происходит всякий раз, когда сустав воспален и болит, - вторичные внушения не возникают, и движение ощущается там, где оно есть, и в присутствии ему масштабе величины.^[195]

Локализация ощущения сустава в пространстве, одновременно известном иным способом (т. е. глазом или кожей), - это то, что обычно называют *экстрадицией* или *эксцентрической проекцией ощущения*. В предыдущей главе я много говорил на эту тему; но теперь мы должны более подробно рассмотреть, что происходит в этом случае. Содержание

совместного чувства, прежде всего, является объектом и само по себе представляет собой место. Чтобы его *поместить*, скажем, в *локоть*, локоть в том виде, в каком его видят или обрабатывают, уже должен стать другим объектом для ума, и с его местом, которое таким образом известно, должно объединиться место, которое заполняет суставное ощущение. То, что последний должен ощущаться "в локте", является, таким образом, "проекцией" его на место другого объекта в той же мере, в какой он может ощущаться в кончике пальца или на конце трости. Но когда мы говорим "проекция", мы обычно имеем в виду понятие "*там*", противопоставленное "*здесь*". Что есть *здесь*, когда мы говорим, что ощущение сустава *находится там*? По-видимому, "*здесь*" - это место, которое ум выбрал для своего собственного наблюдательного пункта, обычно это место в голове, но иногда в горле или груди - не строго фиксированное место, а область, из любой части которой он может посылать свои различные акты внимания. Выдача из любой из *этих* областей является общим законом, по которому мы воспринимаем местонахождение северной звезды, наш собственный голос, контакт наших зубов друг с другом, кончик нашего пальца, острие нашей трости на земле или движение в нашем локтевом суставе.

Но чтобы расстояние между "*здесь*" и "*там*" можно было *ощутить*, все промежуточное пространство должно само стать объектом восприятия. Осознание этого промежуточного пространства - *непременное условие* проекции ощущения сустава на дальний его конец. Когда оно заполнено нашими собственными телесными тканями (например, когда проекция идет только до локтя или кончика пальца), мы ощущаем его протяженность и глазом, и исследующими движениями, и резидентными ощущениями, которые заполняют его длину. Когда оно выходит за пределы нашего тела, живых ощущений не хватает, но конечностей, рук и глаз достаточно, чтобы дать о нем знать. Позвольте мне, например, определить ощущение движения, исходящее из моего локтевого сустава, в острие моей трости на расстоянии ярда от моей руки. Либо я вижу этот ярд, когда размахиваю тростью, и тогда видимый конец трости впитывает мое ощущение так же, как его впитывает видимый локоть, либо я слеп и представляю трость как предмет, продолжающий мою руку, либо потому, что я исследовал и руку, и трость другой рукой, либо потому, что я прижимал их обе вдоль моего тела и ноги. Если я проецирую свое ощущение сустава еще дальше, то это скорее концепция, чем отчетливое воображение пространства. Я *думаю*: "*дальше*", "*в три раза дальше*" и т. д.; и таким образом получаю символический образ далекого пути, на который я указываю.^[196] Но "поглощение" совместного ощущения далеким местом, в каких бы терминах оно ни воспринималось, никогда не является ничем иным, как слиянием в одну "*вещь*", о котором уже говорилось [на странице 184](#), любых различных чувственных объектов, интересующих наше внимание одновременно.

2. Ощущения мышечного сокращения.

Читатели, знакомые с психологической литературой, наверняка не заметили в нашем изложении обычного упоминания о "*мышечном чувстве*". Это слово используется с крайней неопределенностью, чтобы охватить все резидентные ощущения, будь то движение или положение, в наших членах, и даже для обозначения предполагаемого чувства эфферентной разрядки от мозга. Позже мы увидим веские причины отрицать существование последнего ощущения. По крайней мере, большую часть ощущений движения в конечностях мы объяснили чувствительностью суставных поверхностей. Кожа и связки также должны испытывать ощущения, возникающие при их растяжении или сжатии во время сгибания или разгибания. И я склонен думать, что *ощущения наших сокращающихся мышц сами по себе, вероятно, играют столь же малую роль в формировании нашего точного знания о пространстве, как и любой другой класс ощущений, которыми мы обладаем*. Мышцы,

действительно, играют важную роль, но это происходит благодаря отдаленному воздействию их сокращений на другие чувствительные части, а не благодаря возбуждению их собственных ощущений. Другими словами, *мышечные сокращения лишь косвенно помогают нам воспринимать пространство, воздействуя на поверхности*. В коже и сетчатке оно производит движение стимула по поверхности; в суставах оно производит движение поверхностей друг на друга - такое движение, несомненно, является наиболее тонким способом возбуждения рассматриваемых поверхностей. Возникает сомнение, что мышечная чувствительность как таковая играет даже подчиненную роль в качестве *признака* этих более непосредственных геометрических восприятий, которые так единообразно ассоциируются с ней как эффекты сокращения, рассматриваемого объективно.

Для такого мнения можно привести множество причин. Во-первых, *априори* кажется невероятным, чтобы такие органы, как мышцы, давали нам ощущения, изменения которых были бы точно пропорциональны пространствам, пройденным при их сокращении. Как говорит Г. Э. Мюллер, [197] их сенсорные нервы должны возбуждаться либо химически, либо механическим сжатием, пока длится сокращение, и ни в том, ни в другом случае возбуждение не может быть пропорционально положению, в котором находится конечность. Химическое состояние мышцы зависит от *предыдущей* работы в большей степени, чем от фактически происходящего сокращения; а внутреннее давление в ней зависит от сопротивления в большей степени, чем от достигнутого укорочения. *Поэтому внутренние мышечные ощущения, скорее всего, будут лишь ощущениями массивного напряжения или усталости и не будут нести в себе точной дискриминации длины пройденного пути.*

Эмпирически мы находим эту вероятность подтвержденной многими фактами. Рассудительный А. В. Фолькманн отмечает [198], что:

"Мышечное чувство дает достаточно точные доказательства существования движения, но почти не дает прямой информации о его протяженности или направлении. Мы не знаем, что сокращения *длинного супинатора* имеют более широкий диапазон, чем сокращения *брюшного супинатора*; и что волокна двуглавой мышцы сокращаются в противоположных направлениях - это факт, о котором само мышечное чувство не дает ни малейшего намека. Мышечное чувство принадлежит к тому классу общих ощущений, которые говорят нам о наших внутренних состояниях, но не о внешних отношениях; оно не относится к пространственно-воспринимающим чувствам".

Е. Х. Вебер в своей статье "Тастсинн" обратил внимание на то, что такие крупные и сильные мышечные движения, как движения диафрагмы, происходят постоянно, и мы не воспринимаем их как движение.

Г. Х. Льюс делает аналогичное замечание. Когда мы думаем о наших мышечных ощущениях как о движениях в пространстве, это потому, что в нашем воображении вместе с ними укоренилось движение на поверхности, которое мы одновременно ощущаем.

"Так, при вдохе происходит сокращение мышц ребер и диафрагмы. Поскольку мы *видим*, как расширяется грудная клетка, мы знаем это как движение и можем думать о нем только как о таковом. Но саму диафрагму мы не видим, и, следовательно, никто из тех, кто не просвещен в физиологии, не думает о движении этой диафрагмы. И даже когда физиолог говорит, что диафрагма движется при каждом вдохе, каждый, кто не видел, как она движется вниз, представляет это как движение вверх, потому что грудная клетка движется вверх". [199]

Мой личный опыт, похоже, убедительно подтверждает эту точку зрения. В течение многих лет я был знаком с большим, круглым, гладким ощущением в области горла, характерным для глотания и ни для чего другого, но которое, хотя я часто задавался этим вопросом, никогда не наводило меня на мысль о движении чего-либо. Читатель, вероятно, знает из собственного опыта, какое именно ощущение я имею в виду. Только после того, как один из моих студентов рассказал мне об этом, я узнал его объективную причину. Если мы посмотримся в зеркало, когда у нас зияет рот, то увидим, что в момент возникновения этого ощущения отвисающее нёбо *поднимается* за счет сокращения присущих ему мышц. Сокращение этих мышц и сжатие слизистой оболочки нёба и вызывают это ощущение; и сначала я был поражен тем, что, исходя из такого маленького органа, оно может казаться таким объемным. Любопытно, что не успел я понять на глаз его объективное пространственное значение, как оказался способен мысленно *ощутить* его как движение вверх тела, находящегося в положении язычка. Теперь, когда я его вижу, моя фантазия, так сказать, *вводит* в него образ поднимающегося язычка; и он легко и естественно *усваивает* этот образ. Одним словом, мышечное сокращение вызвало у меня ощущение, которое я в течение сорока лет не мог истолковать в двигательном смысле, и которое два взгляда на глаза сделали меня постоянным хозяином. На мой взгляд, не нужно больше никаких доказательств того, что мышечное сокращение, как таковое, не обязательно воспринимать непосредственно как движение в пространстве.

Возьмем, к примеру, сокращения мышц, которые заставляют глазное яблоко вращаться. Многие авторы полагают, что именно ощущение этих мышц играет главную роль в нашем восприятии протяженности. Пространство между двумя предметами, по мнению этих авторов, *означает* не что иное, как количество сокращений, необходимых для того, чтобы перенести *фовеа* с первого предмета на второй. Но закройте глаза и обратите внимание на сокращения сами по себе (даже в сочетании с тонкими поверхностными ощущениями закатывания глазного яблока под веки), и мы с удивлением обнаружим, насколько расплывчатым представляется их пространственное значение. Закройте глаза и закатите их, и вы сможете без малейшего приближения к точности определить внешний объект, который первым попадется на глаза, когда вы откроете их снова.^[200] Более того, если бы мышечные сокращения глаз имели большое значение для создания ощущения видимого пространства, у нас должна была бы возникнуть естественная иллюзия, от которой мы не находим и следа. Поскольку ощущения в мышцах становятся непропорционально интенсивными по мере того, как глазное яблоко переходит в крайне эксцентричное положение, все места на крайних *границах* поля зрения должны казаться дальше от центра, чем они есть на самом деле, потому что фовеа не может добраться до них без количества этих ощущений, полностью превышающего количество фактического вращения.^[201] Когда мы обращаемся к мышцам тела в целом, мы обнаруживаем ту же неясность. Голдшейдер обнаружил, что минимальное воспринимаемое вращение конечности вокруг сустава было не меньше, когда движение было "активным" или производилось мышечным сокращением, чем когда оно было "пассивным".^[202] Сознание активного движения настолько притуплялось, когда сустав (один!) становился анестетичным при фарадизации, что становилось очевидным, что ощущение сокращения никогда не могло быть использовано для *тонкого* различения экстензий. А то, что оно не используется для грубого различения, Голдшейдеру стало ясно из некоторых других результатов, которые слишком косвенны, чтобы я мог привести их в деталях.^[203] Его общий вывод состоит в том, что мы ощущаем наши движения исключительно суставными поверхностями и что наши мышечные сокращения, по всей вероятности, едва ли вызывают такого рода восприятие вообще.^[204]

Мой вывод заключается в том, что "мышечное чувство" должно вернуться на ту скромную позицию, с которой его поднял Чарльз Белл, и больше не фигурировать в психологии как ведущий орган восприятия пространства, которым его так долго "выставляли".

Прежде чем приступить к детальному изучению пространства, воспринимаемого глазом, мы должны посмотреть, что мы можем узнать о пространстве, известном слепым. Но пока мы это делаем, давайте окинем взглядом результаты последних страниц и еще раз спросим себя, требует ли создание упорядоченных пространственных представлений из примитивной бессвязности каких-либо умственных способностей, выходящих за рамки тех, что проявляются в обычных интеллектуальных операциях. Я считаю очевидным - если допустить, что пространственный *квале* существует в примитивных ощущениях, - что дискриминация, ассоциация, сложение, умножение и деление, смешение в общие образы, замена симиляров, избирательное подчеркивание и абстрагирование от неинтересных деталей вполне способны дать нам все пространственные восприятия, которые мы до сих пор изучали, без помощи какой-либо таинственной "ментальной химии" или силы "синтеза" для создания элементов, отсутствующих в исходных данных ощущения. Перед лицом мистических попыток, как бы они ни были заучены, нельзя не признать, что в реальном пространстве нет ни одного ориентира, ни одной длины, ни одной точки компаса, которые не были бы одним из наших ощущений, либо пережитых непосредственно как представление, либо в идеале предложенных другим ощущением, которое стало служить его знаком. Низводя одни ощущения до ранга знаков и возвышая другие до ранга означаемых реальностей, мы сглаживаем морщины наших первых хаотических впечатлений и придаем непрерывный порядок тому, что было довольно бессвязной множественностью. Но *содержание* порядка остается идентичным содержанию множественности - чувственное и то, и другое, насквозь.

КАК СЛЕПЫЕ ВОСПРИНИМАЮТ ПРОСТРАНСТВО.

Построение реального пространства слепым человеком отличается от построения пространства зрячим наиболее очевидно тем, что в нем большую роль играет синтез и относительное подчинение анализу. Глаза видящего ребенка воспринимают всю комнату сразу, и прежде чем он начнет различать отдельные объекты, у него должно возникнуть дискриминационное внимание. Слепой ребенок, напротив, должен сформировать свой мысленный образ комнаты путем добавления, кусочек за кусочком, частей, которые он учится узнавать последовательно. С помощью наших глаз мы можем мгновенно, с высоты птичьего полета, увидеть пейзаж, который слепой человек обречен создавать по кусочкам, возможно, после нескольких недель исследований. Однако мы находимся именно в его положении, когда речь идет о пространствах, превышающих наш зрительный диапазон. Мы воспринимаем океан как единое целое, мысленно умножая впечатления, которые мы получаем в любой момент, находясь в море. Расстояние между Нью-Йорком и Сан-Франциско исчисляется в днях пути; расстояние от Земли до Солнца во столько раз больше диаметра Земли и т. д.; а о более длинных расстояниях можно сказать, что у нас нет адекватного мысленного образа, а есть только числовые вербальные символы.

Но символ часто дает нам эмоциональный эффект восприятия. Такие выражения, как бездонный небесный свод, бескрайние просторы океана и т. д., обобщают множество вычислений для воображения и дают ощущение огромного горизонта. Так же обстоит дело и со слепыми. Они мысленно умножают количество отчетливо ощущаемой свободы передвижения и получают немедленное ощущение еще большей свободы. Таким образом,

слепые люди никогда не лишены сознания своего горизонта. Все они любят путешествовать, особенно с компаньоном, который может описать им объекты, мимо которых они проезжают. В прериях они чувствуют большую открытость; в долинах они чувствуют себя замкнутыми; один из них сказал мне, что, по его мнению, мало кто из зрячих людей может наслаждаться видом с горной вершины больше, чем он. Слепой человек, входя в дом или комнату, сразу же получает представление о ее размерах и, в некоторой степени, о ее обустройстве благодаря отзвукам своего голоса и шагов. Здесь на помощь приходит тимпаническое чувство, о котором говорилось на [с. 140](#), *выше*, и, возможно, другие формы тактильной чувствительности, которые еще не изучены. Мистер У. Хэнкс Леви, слепой автор книги "Слепота и слепые" (Лондон), рассказывает о своих способностях к восприятию следующее:

"Находясь в доме или под открытым небом, гуляя или стоя на месте, я, хотя и совершенно слепой, могу определить, когда нахожусь напротив какого-либо предмета, и определить, высокий он или низкий, стройный или громоздкий. Я также могу определить, одиночный ли это объект или сплошной забор; плотный ли это забор или состоящий из открытых рельсов; и часто это деревянный забор, кирпичная или каменная стена или быстро растущая живая изгородь. Обычно я не могу воспринимать предметы, находящиеся намного ниже моего плеча, но иногда можно различить очень низкие объекты. Это может зависеть от природы объектов или от какого-то аномального состояния атмосферы. Воздушные потоки не могут иметь никакого отношения к этой способности, так как состояние ветра не оказывает на нее прямого влияния; чувство слуха не имеет к ней никакого отношения, так как, когда снег лежит толстым слоем на земле, предметы становятся более отчетливыми, хотя шаги не слышны. Кажется, что я воспринимаю предметы через кожу лица, и впечатления сразу же передаются в мозг. Единственная часть моего тела, обладающая такой способностью, - это лицо; в этом я убедился с помощью соответствующих экспериментов. Затыкание ушей не мешает ей, но закрытие лица плотной вуалью полностью ее уничтожает. Ни одно из пяти чувств не имеет никакого отношения к существованию этой силы, и вышеуказанные обстоятельства побуждают меня назвать это непризнанное чувство именем "лицевое восприятие"... Проходя по улице, я могу отличить магазины от частных домов и даже указать на двери, окна и т. д., причем независимо от того, закрыты двери или открыты. Когда окно состоит из одного целого листа стекла, его труднее обнаружить, чем окно, состоящее из множества маленьких стекол. Из этого следует, что стекло - плохой проводник ощущений, во всяком случае, ощущений, специально связанных с этим чувством. Когда воспринимаются предметы, расположенные ниже лица, ощущение, кажется, идет по косой линии от предмета к верхней части лица. Прогуливаясь с другом по Форест-Лейн, Стратфорд, я сказал, указывая на забор, отделявший дорогу от поля: "Эти перила не доходят до моего плеча". Он посмотрел на них и сказал, что они выше. Мы, однако, измерили и обнаружили, что они примерно на три дюйма ниже моего плеча. В момент наблюдения я находился на расстоянии около четырех футов от рельсов. Безусловно, в данном случае восприятие лица было более точным, чем зрение. Когда нижняя часть забора представляет собой кирпичную кладку, а верхняя - рельсы, этот факт может быть обнаружен, а линия, на которой они сходятся, легко воспринимается. Также можно обнаружить неровности высоты, выступы и углубления в стенах".

По словам г-на Леви, способность видеть лицом уменьшается от тумана, но не от обычной темноты. Когда-то он мог определить, когда облако заслоняет горизонт, но теперь он утратил

эту способность, которой, как он знает, обладают несколько человек, полностью ослепших. Эти эффекты водных паров сразу же наводят на мысль, что источником восприятия могут быть колебания тепла, излучаемого объектами. Один слепой джентльмен, мистер Килбурн, инструктор в Институте Перкинса в Южном Бостоне, обладающий упомянутой способностью в необычной степени, доказал, однако, что он не более тонко чувствует температуру на лице, чем обычные люди. Он сам полагал, что его уши не имеют никакого отношения к этой способности, пока полное их затыкание не только ватой, но и шпаклевкой, полностью устранившей восприятие, не доказало, что его первое впечатление было ошибочным. Многие слепые сразу же говорят, что в этом деле замешаны уши.

Звуки, безусловно, играют гораздо более заметную роль в психической жизни слепых, чем в нашей собственной. Во время прогулки за городом звуковые мутации, далекие и близкие, составляют их главное наслаждение. И в значительной степени их воображение о расстоянии и о предметах, перемещающихся из одного отдаленного места в другое, похоже, состоит в том, что они думают, как определенная звучность будет изменена при смене места. Несомненно, что полукружные ощущения играют большую роль в определении точек компаса и направления на отдаленные объекты, как у слепых, так и у нас. Мы *начинаем* движение к ним с помощью подобных ощущений; и сколько направлений, столько и различных ощущений.[205]

Единственный момент, который представляет теоретическую трудность, - это продление в пространстве направления после старта. Десять страниц назад мы видели, что для того, чтобы экстрадация происходила за пределы кожи, данный участок кожи и пространство за его пределами должны составлять общий объект для какой-то другой сенсорной поверхности. Для большинства из нас такой сенсорной поверхностью являются глаза; для слепых это могут быть только другие участки кожи, соединенные или не соединенные с движением. Но простое ощупывание руками во всех направлениях должно закончиться тем, что все тело будет окружено сферой ощущаемого пространства. И эта сфера должна увеличиваться с каждым движением локомоции, причем эти движения получают свои пространственные значения от сопровождающих их полукруго-канальных ощущений и от все более далеких частей больших неподвижных объектов (таких, как кровать, обшивка или забор), которые они приводят в состояние захвата. Можно предположить, что знание пространства, приобретенное в результате стольких последовательных дискретных действий, всегда сохранять несколько суставчатый и, так сказать, гранулированный характер. Когда мы, одаренные зрением, думаем о пространстве, слишком большом, чтобы вместить его в одно поле зрения, мы склонны представлять его составным, наполненным более или менее резкими остановками и стартами (подумайте, например, о пространстве отсюда до Сан-Франциско), или же мы символически уменьшаем масштаб и представляем, насколько больше на карте это расстояние будет выглядеть по сравнению с другими, с которыми мы знакомы в целом.

Опросив многих слепых, я склонен считать, что использование воображаемых карт в уменьшенном масштабе встречается у них реже, чем у остальных людей. Возможно, необычайная изменчивость визуальных величин вещей делает эту привычку естественной для нас, в то время как фиксированность тактильных величин не дает им впасть в нее. (Когда слепому молодому человеку, которого оперировал доктор Франц, показали портрет в медальоне, он был крайне удивлен, что лицо можно вместить в такой маленький компас: это показалось бы ему, по его словам, таким же невозможным, как вместить бушель в пинту). Как бы то ни было, но пространство, которое, по мнению каждого слепого, выходит за пределы его тела, ощущается им как единый плавный континуум - все следы тех мышечных запусков,

остановок и разворотов, которые руководили его формированием, были удалены из памяти. Другими словами, это обобщенный образ пространства-элемента, общего для всех этих переживаний, с несущественными особенностями каждого из них. На самом же деле то, где в этом пространстве могло произойти начало или остановка, было совершенно случайным. Возможно, оно никогда больше не произойдет именно в этом месте, и поэтому внимание полностью отбрасывает его. Даже такое длинное пространство, как пройденное за несколько миль, не обязательно предстанет перед мысленным взором слепого в виде серии локомоторных актов. Только там, где есть какая-то явная двигательная трудность, например, ступенька, на которую нужно подняться, трудный переход или исчезновение пути, в представлении возникают отдельные двигательные образы. В других местах пространство кажется непрерывным, и его части могут даже казаться сосуществующими; хотя, как однажды заметил мне один очень умный слепой друг: "Думать о таких расстояниях - это, вероятно, больше умственного износа и траты мозгов у слепых, чем у зрячих". Это, по-видимому, указывает на то, что в представлении слепого человека больше элементов последовательного дополнения и конструирования.

Наши собственные визуальные исследования происходят посредством бесчисленных остановок и запусков глазных яблок. Однако все они исчезают из конечного пространства нашего визуального воображения. Они нейтрализуют друг друга. Мы даже можем распределить свое внимание на правую и левую стороны одновременно и думать об этих двух четвертях пространства как о сосуществующих. Предлагает ли сглаживание локомоторных помех из тактильного пространства-сферы слепого человека какой-либо больший парадокс? Конечно, нет. И любопытно отметить, что и у него, и у нас есть одно особое локомоторное чувство, которое упрямо твердит о себе до последнего. И мы, и он, по причинам, слишком очевидным, чтобы их перечислять, спонтанно представляем себе пространство как лежащее перед нами. Если мы думаем о пространстве позади себя, нам, как правило, приходится мысленно *поворачиваться*, и при этом пространство впереди исчезает. Но в этом, как и в других вещах, о которых мы говорили, люди сильно различаются. Одни, представляя себе комнату, могут думать обо всех шести ее поверхностях сразу. Другие мысленно оборачиваются или, по крайней мере, представляют себе комнату в нескольких последовательных и взаимоисключающих актах (см. [с. 54](#), выше).

Сэр Уильям Гамильтон, а вслед за ним и Дж. С. Милль с одобрением цитируют мнение Платнера (философа XVIII века) о пространственном восприятии слепых. Платнер сказал:

"Внимательное наблюдение за человеком, родившимся слепым... убедило меня в том, что чувство осязания само по себе совершенно неспособно дать нам представление о протяженности и пространстве..... Фактически, для слепых людей время служит вместо пространства. Близость и расстояние означают в их устах не что иное, как меньшее или большее время... необходимое для перехода от одних ощущений к другим".

После моих собственных наблюдений за слепыми людьми я вряд ли стал бы считать это мнение чем-то эксцентричным, достойным того, чтобы встать в один ряд с другим убеждением, что цвет примитивно воспринимается без протяженности, если бы не замечательное "Эссе о тактильном и визуальном пространстве" М. Ш. Дюнана, появившееся в *Revue Philosophique* за 1888 год. Этот автор цитирует[206] трех очень компетентных свидетелей, всех служащих учреждений для слепых (из текста не следует, что не один из них сам был слепым), которые утверждают, что слепые люди *живут только во времени*. Сам М.

Дюнан не разделяет этого мнения, но он настаивает на том, что представление слепого и зрячего человека о пространстве *не имеет абсолютно ничего* общего и что нас обманывают, заставляя верить, что то, что они подразумевают под пространством, аналогично тому, что подразумеваем мы, в силу того, что многие из них являются полуслепыми и по-прежнему мыслят в визуальных терминах, а также в силу того, что все они *говорят* в визуальных терминах, как и мы. Но при рассмотрении доводов М. Дюнана обнаруживается, что все они опираются на беспочвенное логическое предположение, что восприятие геометрической формы, которое мы получаем с помощью глаз, и восприятие, которое слепой получает с помощью пальцев, должно быть либо абсолютно идентичным, либо абсолютно непохожим. Они не могут быть похожими в разнообразии, "ибо это простые понятия, а они суть таковые, чтобы войти в ум или выйти из него все сразу, так что тот, кто вообще имеет простое понятие, обладает им во всей его полноте..... Поэтому, поскольку невозможно, чтобы слепые имели представления о формах, о которых идет речь, *полностью идентичные* нашим зрительным представлениям, из этого следует, что их представления должны быть *радикально отличны от наших и полностью несводимы к ним*". [207] Далее М. Дюнан без труда находит слепого, который все еще сохраняет грубое ощущение рассеянного света и на вопрос отвечает, что *этот свет не имеет протяженности*. Однако при дальнейших расспросах оказывается, что "не имеет протяженности" означает лишь то, что он не охватывает никаких конкретных тактильных объектов и не находится в пределах их очертаний; так что (с учетом свободы выражения) результат полностью совпадает с нашим собственным мнением. Относительно застойное ощущение рассеянного света на сетчатке, не меняющееся при обращении с различными объектами, естественно, остается объектом, находящимся в стороне. Если бы слово "протяженность" привычно использовалось для обозначения тактильной протяженности, то это ощущение, не имеющее никаких тактильных ассоциаций, естественно, не имело бы "протяженности". И все же оно было бы *аналогично* тактильным ощущениям, обладая качеством величины. Конечно, у него не было бы *других* осязательных качеств, так же как у осязательных объектов нет других оптических качеств, кроме величины. Между сферами чувств возникают всевозможные аналогии. Почему в большинстве языков слова "сладкий" и "мягкий" употребляются как синонимы и почему оба эти прилагательные применяются к объектам стольких видов чувств? Грубые звуки, тяжелые запахи, жесткий свет, холодные цвета - вот другие примеры. Из подобных аналогий также не следует, что сравниваемые ощущения должны быть составными и иметь некоторые идентичные части. В главе XIII мы видели, что сходство и различие - это элементарные отношения, которые не следует в каждом случае сводить к смешению абсолютного тождества и абсолютной разнородности содержания (ср. т. I, с. 492-3).

Таким образом, я прихожу к выводу, что, хотя в своих поверхностных определениях пространство слепого очень отличается от нашего пространства, между ними все же сохраняется глубокая аналогия. Большое" и "малое", "далекое" и "близкое" - это сходные содержания сознания у нас обоих. Но *мера* величины и протяженности у него и у нас совершенно различна. Он, например, не может понять, что мы имеем в виду, говоря о том, что предметы становятся меньше по мере удаления, потому что он всегда должен представлять себе их в неизменном осязательном размере. Не следует также ожидать, что слепой, впервые получивший зрение, узнает свои новые оптические объекты по их знакомым тактильным названиям, какова бы ни была аналогия между этими двумя расширениями. Молинье писал Локку:

"Предположим, что человек родился слепым, а теперь стал взрослым и научился на ощупь различать куб и шар,... чтобы, пощупав один и другой, сказать, какой из них куб, а какой шар. Предположим, что куб и шар поставили на стол, а слепого

заставили видеть; спросите, может ли он теперь своим зрением, до того как прикоснулся к ним, различить и сказать, который из них шар, а который куб?"

Это осталось в литературе как "вопрос Молинье". Молинье ответил: "Нет". А Локк заявляет:[208]

"Я согласен с этим мыслящим джентльменом, которого я с гордостью называю своим другом, и придерживаюсь мнения, что слепой с первого взгляда не сможет сказать, который из них шар, а который куб, пока он только видит их; хотя он мог бы безошибочно назвать их на ощупь и, конечно, отличить их по различию их фигур, которые он чувствует".

Это мнение не получило экспериментального подтверждения. Начиная с случая Чезелдена и далее, пациенты, прооперированные по поводу врожденной катаракты, сначала не могли назвать предметы, которые они видели. "Ну что, киска, в другой раз я тебя узнаю", - сказал пациент Чеселдена, поймав кошку, пристально посмотрев на нее и усадив на место. Некоторая часть этой неспособности, несомненно, объясняется общим душевным смятением, вызванным новым опытом, и слишком неблагоприятными условиями для восприятия, которые создает глаз с только что удаленным хрусталиком. То, что аналогия внутренней природы между сетчаткой и тактильными ощущениями выходит за рамки простой экстенсивности, доказывают случаи, когда пациенты были самыми умными, как, например, молодой человек, прооперированный доктором Францем, , который с первого взгляда назвал круглые, треугольные и четырехугольные фигуры.[209]

ВИЗУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО.

Именно когда мы переходим к детальному анализу условий *зрительного* восприятия, возникают трудности, которые заставляют психологов обращаться к новым и *квазимифическим* психическим способностям. Но я твердо уверен, что и здесь точное исследование даст тот же вердикт, что и в изученных до сих пор случаях. Эта тема завершает наш обзор фактов; и если она даст результат, который я предсказываю, мы окажемся в наилучшем положении для нескольких заключительных страниц критического исторического обзора.

Если обычного человека спросить, как он может видеть вещи такими, какие они есть, он просто ответит: открыв глаза и посмотрев. Однако этот невинный ответ уже давно не может быть принят наукой. Существуют различные парадоксы и несоответствия в *том*, что мы воспринимаем при, казалось бы, одинаковых оптических условиях, которые сразу же вызывают вопросы. Не говоря уже о проверенных временем загадках, почему мы видим вертикально при перевернутой сетчатке и почему мы не видим двойко, и оставляя в стороне всю область цветовых контрастов и двусмысленностей, как не имеющих прямого отношения к проблеме пространства, можно сказать, что одно и то же изображение на сетчатке заставляет нас видеть предметы разного размера и формы в разное время, и столь же несомненно, что одно и то же движение глаз варьирует в своем воспринимающем значении. Если бы акт восприятия был полностью и *просто* понятен, то для каждого отдельного суждения о размере, форме и положении объекта можно было бы назначить отдельную оптическую модификацию как его причину. И связь между ними должна быть настолько постоянной, что, учитывая одну и ту же модификацию, мы всегда должны иметь одно и то же суждение. Но если мы внимательно изучим факты, *то вскоре обнаружим, что такой постоянной связи между суждением и модификацией сетчатки, или суждением и модификацией мышц, не существует*. Суждение кажется результатом сочетания ретинальных, мышечных и интеллектуальных факторов друг с другом; и любой из них может

время от времени одерживать верх над остальными таким образом, что, кажется, этот вопрос не подчиняется простому закону.

Научное изучение этого вопроса, если опустить Декарта, началось с Беркли, и особое восприятие, которое он анализировал в своей "Новой теории зрения", было восприятием расстояния или глубины. Исходя из физического предположения, что разница в расстоянии до точки не может повлиять на характер ее изображения на сетчатке, поскольку "расстояние, будучи линией, направленной в сторону глаза, проецирует только одну точку в глазном фонде, которая остается неизменной, будь расстояние больше или меньше", он пришел к выводу, что расстояние не может быть зрительным ощущением, а должно быть интеллектуальным "внушением" от "обычая" какого-то невизуального опыта. По мнению Беркли, этот опыт был тактильным. Его трактовка предмета была чрезмерно расплывчатой, что не было позором для него, как прорывателя новых земель, но поскольку она была принята и с энтузиазмом обнята во всей своей расплывчатости почти всеми британскими психологами, которые пришли ему на смену, для нас будет хорошо начать изучение зрения с опровержения его идеи о том, что глубина не может восприниматься в терминах чисто визуального ощущения.

Третье измерение.

Берклианцы единодушно полагают, что ни одно ощущение сетчатки не может быть примитивно объемным; если оно вообще имеет протяженность (что они едва ли склонны признать), то только двух-, а не трехмерную протяженность. В начале этой главы мы опровергли это и привели факты, доказывающие, что все объекты ощущений объемны в трех измерениях (ср. [с. 136](#) и далее). Невозможно лечь на спину на холме, позволить пустой бездне синевы заполнить все поле зрения и все глубже погружаться в чисто сенсационный режим сознания по отношению к ней, не ощущая, что неопределенная, ощутимая, кружащая глубина является таким же неоспоримым ее атрибутом, как и широта. Мы можем искусственно преувеличить это ощущение глубины. Встаньте и посмотрите с вершины холма на далекий вид; представьте себе как можно ярче расстояние до самого горизонта, а затем с *перевернутой головой* посмотрите на то же самое. Произойдет поразительное увеличение перспективы, наиболее ощутимое уменьшение максимального расстояния; а подняв голову, вы сможете увидеть, как линия горизонта снова приближается.^[210]

Заметьте, я пока ничего не говорю о нашей оценке "реальной" величины этой глубины или расстояния. Я лишь хочу подтвердить его существование как естественного и неизбежного оптического спутника двух других оптических измерений. Поле зрения - это всегда *единица объема*. Каким бы ни был его абсолютный и "реальный" размер, относительные величины его размеров являются функциями друг друга. Действительно, чаще всего случается так, что ощущение ширины и высоты берет свою абсолютную меру из ощущения глубины. Если мы погружаем голову в умывальник, то ощущаемая близость дна заставляет нас чувствовать, что боковой простор невелик. Если же мы, напротив, находимся на вершине горы, то даль горизонта несет в себе пропорциональную высоту и длину горных цепей, которые ограничивают наш обзор. Но, как уже говорилось выше, не будем сейчас рассматривать вопрос об абсолютных размерах - он должен быть подробно рассмотрен позже. Ограничимся тем, как три измерения, которые мы видим, фиксируют свои значения *относительно друг друга*.

В книге "Исследование человеческого разума" Рида есть раздел "Геометрия видимых величин", в котором он предполагает проследить, какими были бы восприятия у расы "идоменианцев", ограниченных единственным чувством зрения. Соглашаясь с Беркли, что одно лишь зрение не может дать знания о третьем измерении, он с юмором выводит различные гениальные нелепости в их интерпретации материальных явлений, возникающих перед их глазами.

Я же, напротив, твердо уверен, что один из идомениан Рида, обладай он нашими интеллектуальными способностями, выстроил бы точно такую же концепцию внешнего мира, как и мы.^[211] Даже если бы его глазные яблоки были неподвижны, а не подвижны, как у нас, это только замедлило бы, а не сорвало бы его образование. Ведь *один и тот же объект*, попеременно охватывая своими боковыми движениями различные участки сетчатки, определял бы взаимную эквивалентность первых двух измерений поля зрения; и, возбуждая в разной степени физиологические причины восприятия глубины, он устанавливал бы шкалу эквивалентности между первыми двумя и третьим.

Прежде всего, одно из ощущений, вызываемых объектом, выбирается для представления его "реального" размера и формы в соответствии с принципами, изложенными на [стр. 178](#) и [179](#). *Одно ощущение измеряет присутствующую "вещь", а "вещь" затем измеряет другие ощущения.* Периферийные части сетчатки уравниваются с центральной, получая изображение одного и того же объекта. Это не нуждается в пояснениях, если объект не меняет своего расстояния или фронта. Но предположим, в более сложном случае, что объект - это палка, которую сначала видят во всю длину, а затем поворачивают вокруг одного из ее концов; пусть этот фиксированный конец рядом с глазом. В этом движении изображение палки будет становиться все короче; ее дальний конец будет все меньше и меньше отделяться от ближнего фиксированного конца; вскоре он будет заслонен последним, а затем снова появится на противоположной стороне и, наконец, на этой стороне вернется к своей первоначальной длине. Предположим, что это движение станет привычным опытом; разум, вероятно, отреагирует на него в соответствии со своей обычной манерой (которая заключается в объединении всех данных, которые каким-либо образом можно объединить), и будет считать это движением постоянного объекта, а не трансформацией колеблющегося. Так вот, *ощущение глубины*, которое он получает во время опыта, пробуждается скорее дальним, чем ближним концом объекта. Но какова глубина? Чем измерить ее величину? Почему, в тот момент, когда дальний конец готов к затмению, разница его расстояния от расстояния ближнего конца должна быть оценена как вся длина палки; но эта длина уже была оценена как определенное оптическое ощущение ширины. *Таким образом, мы видим, что заданные величины зрительного ощущения глубины становятся признаками фиксированных величин зрительного ощущения ширины. Измерение расстояния, как верно сказал Беркли, является результатом внушения и опыта. Но только зрительный опыт достаточен для его получения, и это он ошибочно отрицал.*

Предположим, полковник стоит перед своим полком на параде, и предположим, что он идет под прямым углом к самому среднему человеку в строю. Продвигаясь вперед и осматривая строй в любом направлении, он все больше и больше смотрит *вниз* и все меньше и меньше *на* него, пока, находясь на расстоянии от среднего человека, не почувствует, что крайние люди *наиболее* удалены; тогда, когда строй почти не отбрасывает бокового изображения на его сетчатку, какое расстояние он должен определить как расстояние до крайних людей? Конечно, половину длины полка в том виде, в каком он был изначально; но эта длина мгновение назад была объектом сетчатки, раскинувшимся перед его взором в боковом

направлении. Теперь он просто приравнял ретинальное ощущение глубины к ретинальному ощущению ширины. Если бы полк двигался, а полковник стоял на месте, результат был бы тот же. Таким образом, существо, наделенное одними лишь глазами, вряд ли могло не измерить все три измерения пространства, в котором оно обитает. И мы сами, я думаю, хотя и можем часто "осознавать" расстояние в локомоторных терминах (как утверждает Беркли, мы всегда должны это делать), но не менее часто делаем это в терминах нашей карты сетчатки, и всегда таким образом, тем более спонтанно. Если бы это было не так, три зрительных измерения не могли бы казаться нам ни однородными, ни соизмеримыми между собой.

Тогда давайте признаем расстояние по крайней мере таким же подлинно оптическим содержанием сознания, как высота или ширина. Сразу же возникает вопрос: можно ли с какой-либо строгостью утверждать, что любое из них является оптическим ощущением? Мы все время настаивали на утвердительном ответе на этот вопрос, но теперь должны справиться с трудностями, превосходящими все те, что стояли перед нами до сих пор.

Гельмгольц и Рид об ощущениях.

Ощущение - это, как мы видели в [главе XVII](#), психический аффект, который следует непосредственно за стимуляцией органов чувств. Его предшественник непосредственно физический, без психических связей, без актов памяти, умозаключений или ассоциаций. Соответственно, если мы полагаем, что связь между нейронным процессом в органе чувств, с одной стороны, и сознательной привязанностью, с другой, по своей природе однородна, *один и тот же процесс должен всегда давать одно и то же ощущение; и наоборот, если то, что кажется ощущением, меняется, в то время как процесс в органе чувств остается неизменным, причина предположительно в том, что это действительно не ощущение, а более высокий психический продукт, вариации которого зависят от событий, происходящих в системе высших мозговых центров.*

Теперь *размер* поля зрения варьируется в огромных пределах во всех трех измерениях, при этом мы не можем однозначно определить процесс в зрительном тракте, от которого зависят вариации. Мы только что видели, насколько невозможным было такое определение в случае, когда поворот головы вниз приводил к увеличению. В целом, максимальное ощущение глубины или расстояния, кажется, играет ведущую роль в определении кажущейся величины всего поля, а два других измерения, кажется, следуют за ним. Если, как в первом случае, я смотрю вблизи на умывальник, то боковая протяженность поля уменьшается пропорционально его близости. Если я смотрю с горы, то видимые вещи становятся огромными по высоте и ширине, пропорционально дальности горизонта. Но *когда мы спрашиваем, какие изменения в глазу определяют, насколько велико должно быть это максимальное ощущение глубины или расстояния* (которое, несомненно, ощущается как единая необъятность), *мы оказываемся не в состоянии указать ни на одно из них как на его абсолютно закономерное сопутствующее явление.* Конвергенция, аккомодация, двойные и разрозненные изображения, разница в параллактическом смещении при движении головы, блеклость оттенков, тусклость контуров и малость сетчаточного изображения названных и известных объектов - все это процессы, которые имеют *отношение* к восприятию "далеко" и "близко"; Но эффект каждого из них в определении такого восприятия в один момент может быть в другой момент отменен присутствием какого-то другого ощущаемого качества в объекте, которое заставляет нас, очевидно, напоминая нам о прошлом опыте, судить о том, что он находится на другом расстоянии и имеет другую форму. Если мы раскрасим внутреннюю часть картонной маски так же, как и внешнюю, и посмотрим

на нее одним глазом, то ощущения аккомодации и параллакса будут присутствовать, но не заставят нас увидеть ее полой, такой, какая она есть. Наше ментальное знание о том, что человеческие лица всегда выпуклые, преобладает над ними, и мы непосредственно воспринимаем нос ближе к нам, чем щеку, а не дальше.

Другие органические признаки близости и расстояния, как показывают аналогичные эксперименты (о которых мы еще долго будем говорить более подробно), имеют столь же колеблющееся значение. Они теряют свою ценность всякий раз, когда сопутствующие обстоятельства способствуют сильному интеллектуальному убеждению, что объект, представленный взгляду, *неправдоподобен - он не может быть тем, чем или где его заставили бы нас воспринимать.*

Теперь сразу же возникает вопрос: *Могут ли ощущения, вызванные этими процессами в глазу, поскольку они так легко нейтрализуются и отменяются интеллектуальными внушениями, вообще когда-либо быть прямыми ощущениями расстояния?* Не следует ли предположить, что, поскольку расстояния, которые мы видим, *несмотря на них*, являются выводами из прошлого опыта, то и расстояния, которые мы видим с их помощью, также являются такими выводами? Не должны ли мы, короче говоря, безоговорочно сказать, что расстояние должно быть интеллектуальным, а не чувственным содержанием сознания и что каждое из этих зрительных ощущений служит лишь сигналом для пробуждения этого содержания, причем наш интеллект так устроен, что иногда он охотнее замечает один сигнал, а иногда другой?

Когда-то давно Рид (Inquiry, с. vi. sec. 17) сказал:

"Можно принять за общее правило, что вещи, порожденные обычаем, могут быть отменены или изменены в результате неупотребления или противоположного обычая. С другой стороны, это сильный аргумент в пользу того, что эффект обусловлен не обычаем, а конституцией природы, если обнаруживается, что противоположный обычай не изменяет и не ослабляет его".

Короче говоря, способ видения вещей, которому можно научиться, предположительно был усвоен, и только то, что мы не можем усвоить, является инстинктивным.

Похоже, что именно такой точки зрения придерживается Гельмгольц, поскольку он подтверждает максиму Рида, заявляя с укором:

"В нашем восприятии не может быть сенсационных элементов, которые могут быть преодолены или отменены факторами явно экспериментального происхождения. Все, что может быть преодолено внушениями опыта, должно рассматриваться как продукт опыта и обычая". Если следовать этому правилу, то окажется, что сенсационными являются только *качества*, в то время как почти все *пространственные* атрибуты являются результатом привычки и опыта".[\[212\]](#)

Этот отрывок Гельмгольца приобрел, как мне кажется, почти прискорбную известность. Читатель, пожалуйста, обратите внимание на его радикальный смысл. Он не только хотел бы, да и делает это по причинам, которые мы только что сами рассматривали, отрицать расстояние, чтобы быть оптическим ощущением; но, распространяя тот же метод критики на суждения о размере, форме и направлении, и находя ни один сетчатки или мышечного процесса в глазах, чтобы быть неразрывно связаны с любой из них, он идет так далеко, чтобы сказать, что все оптические пространства восприятия, что угодно должно иметь

интеллектуальные происхождения, и содержание, что никаких элементов визуальной чувствительности не может объяснить.[213]

Поскольку Вундт и другие согласны с Гельмгольцем в этом вопросе, и поскольку их выводы, если они верны, непримиримы со всем сенсуализмом, который я преподавал до сих пор, на мне, очевидно, лежит обязанность защищать свою позицию от этой новой атаки. Но поскольку эта глава о космосе уже настолько обросла эпизодами и деталями, я думаю, что лучше оставить опровержение их общего принципа для следующей главы, а на данном этапе просто признать его несостоятельность. Это, конечно, выглядит высокомерно; но если читатель потерпит меня еще не очень много страниц, я надеюсь успокоить его. А пока я с уверенностью утверждаю, что *одни и те же внешние объекты на самом деле ощущаются нами по-разному в зависимости от того, как наш мозг реагирует на них, заставляя нас воспринимать их в том или ином виде*. Это настолько верно, что можно, вместе со Штумпфом,[214] перевернуть вопрос Гельмгольца и спросить: "Что стало бы с нашими ощущениями, если бы опыт не был способен их так преобразовать?" Штумпф добавляет: "Все ошибочные восприятия, которые зависят от особенностей органов, более или менее прекрасно исправляются под влиянием воображения, следующего за руководством опыта".

Если, таким образом, среди фактов оптического восприятия пространства (которые мы должны теперь рассмотреть более подробно) мы находим случаи идентичного органического процесса глаза, дающего нам различные восприятия в разное время, в результате различных сопутствующих обстоятельств, предлагающих нашему воображению различные объективные факты, мы не должны поспешно заключать вместе со школой Гельмгольца и Вундта, что органический процесс глаза, чистый и простой, без сопутствующих обстоятельств, не способен дать нам никакого ощущения пространственного рода вообще. Мы должны скорее попытаться выяснить, *каким образом* обстоятельства могут так трансформировать пространственное ощущение, которое, если бы не их присутствие, вероятно, ощущалось бы в своей естественной чистоте. И я могу с таким же успехом сказать заранее, что мы обнаружим, что это средство не более или менее чем ассоциация - *внушение сознанию оптических объектов, не присутствующих в действительности*, но более привычно ассоциирующихся с "сопутствующими обстоятельствами", чем ощущение, которое они теперь вытесняют, и представляемых теперь с квазигаллюцинаторной силой. Но прежде чем прийти к такому выводу, необходимо рассмотреть наиболее важные факты оптического пространственного восприятия в связи с органическими условиями, от которых они зависят. Читателей, знакомых с немецкой оптикой, извинит то, что им уже знакомо в следующем разделе.[215]

Начнем долгое и довольно утомительное исследование с самого важного случая. Физиологи давно ищут простой закон, с помощью которого можно было бы связать видимое направление и расстояние до объектов с впечатлениями, производимыми на сетчатку. На этот счет существовали две основные теории: "теория идентичных точек" и "теория проекции", каждая из которых несовместима с другой, и каждая за определенными пределами становится несовместимой с фактами.



Рис. 54.

Эта теория исходит из того, что на обеих сетчатках впечатление на верхней половине заставляет нас воспринимать объект ниже, на нижней половине - выше горизонта; а на правой половине - объект слева, на левой половине - справа от средней линии. Таким образом, каждый квадрант одной сетчатки в целом соответствует *аналогичному* квадранту другой; а в пределах двух аналогичных квадрантов, например *al* и *ar*, должны, если бы соответствие осуществлялось последовательно, находиться геометрически сходные точки, которые при одновременном воздействии света, излучаемого одним и тем же объектом, должны заставить этот объект отображаться в одном и том же направлении для любого глаза. Эксперимент подтверждает это предположение. Если смотреть на звездный свод параллельными глазами, то все звезды кажутся одиночными; законы перспективы показывают, что при данных обстоятельствах параллельные лучи света, исходящие от каждой звезды, должны попадать на точки сетчатки, *которые* геометрически подобны друг другу. Тот же результат можно получить и более искусственным путем. Если мы возьмем две совершенно одинаковые картинки, меньшие или, по крайней мере, не большие, чем на обычном стереоскопическом слайде, и посмотрим на них так, как смотрят на стереоскопические слайды, то есть одним глазом (срединная перегородка ограничивает взгляд каждого глаза картинкой напротив), мы увидим только одну плоскую картинку, все части которой кажутся четкими и едиными.^[216] Одинаковые точки впечатляют, оба глаза видят свой объект в одном направлении, и два объекта, следовательно, сливаются в один.

То же самое можно показать и другим способом. С неподвижной головой сфокусируйте взгляд на какой-нибудь заметной объективной точке за стеклом; затем закройте поочередно любой глаз и сделайте на стекле небольшую чернильную метку, "закрывающую" объект, который видит тот глаз, который на мгновение открыт. При взгляде обоими глазами чернильные метки будут казаться одиночными и расположенными в том же направлении, что и объективная точка. И наоборот, пусть глаза сходятся на одном чернильном пятне на стекле, а затем, попеременно закрывая их, отмечают, какие объекты за стеклом это пятно закрывает для правого и левого глаза соответственно. Теперь, когда оба глаза открыты, и эти объекты, и пятно будут появляться в одном и том же месте, причем то один, то другой из трех становится более отчетливым в зависимости от колебаний внимания сетчатки.^[217]

Каково же направление этого общего места? Единственный способ определить направление объекта - *указать на него*. Большинство людей, если их попросить посмотреть на объект через горизонтальный край листа бумаги, скрывающий руку, а затем указать на него пальцем (постепенно поднимая руку, чтобы в конце концов кончик пальца оказался над листом бумаги), обнаруживают, что помещают палец не между глазом и объектом, а между последним и корнем носа, и это независимо от того, используются оба глаза или один из

них. Геринг и Гельмгольц выражают это тем, что мы судим о направлении объектов так, как они представляются воображаемому циклопическому глазу, расположенному между двумя нашими реальными глазами, оптическая ось которого пересекает угол конвергенции последних. Наши две сетчатки действуют, согласно Герингу, так, как если бы они были наложены на место этого воображаемого двойного глаза; мы видим соответствующими точками каждого из них, расположенных далеко друг от друга, как они есть на самом деле, так же, как мы *должны были бы* видеть, если бы они были наложены и могли быть возбуждены вместе.

Суждение об объективной единственности и суждение об идентичном направлении, кажется, неизбежно связаны друг с другом. А суждение о тождественном направлении, по-видимому, влечет за собой необходимость общего начала, между глазами или в другом месте, из которого, как кажется, можно оценить все ощущаемые направления. Вот почему циклопический глаз действительно является фундаментальной частью формулировки теории идентичных точек сетчатки, и почему Геринг, величайший поборник этой теории, делает на нем такой большой акцент.

Из закона идентичности проекции изображений на геометрически сходные точки следует, что изображения, падающие на геометрически несходные точки двух сетчаток, должны проецироваться в разных направлениях, и что их объекты, следовательно, должны появляться в двух местах, или выглядеть двойными. Возьмем параллельные лучи от звезды, падающие на два глаза, которые сходятся на близком объекте, О, а не параллельны, как в предыдущем случае. Если SL и SR на рис. 55 - это параллельные лучи, то каждый из них будет падать на носовую половину сетчатки, на которую он попадает.

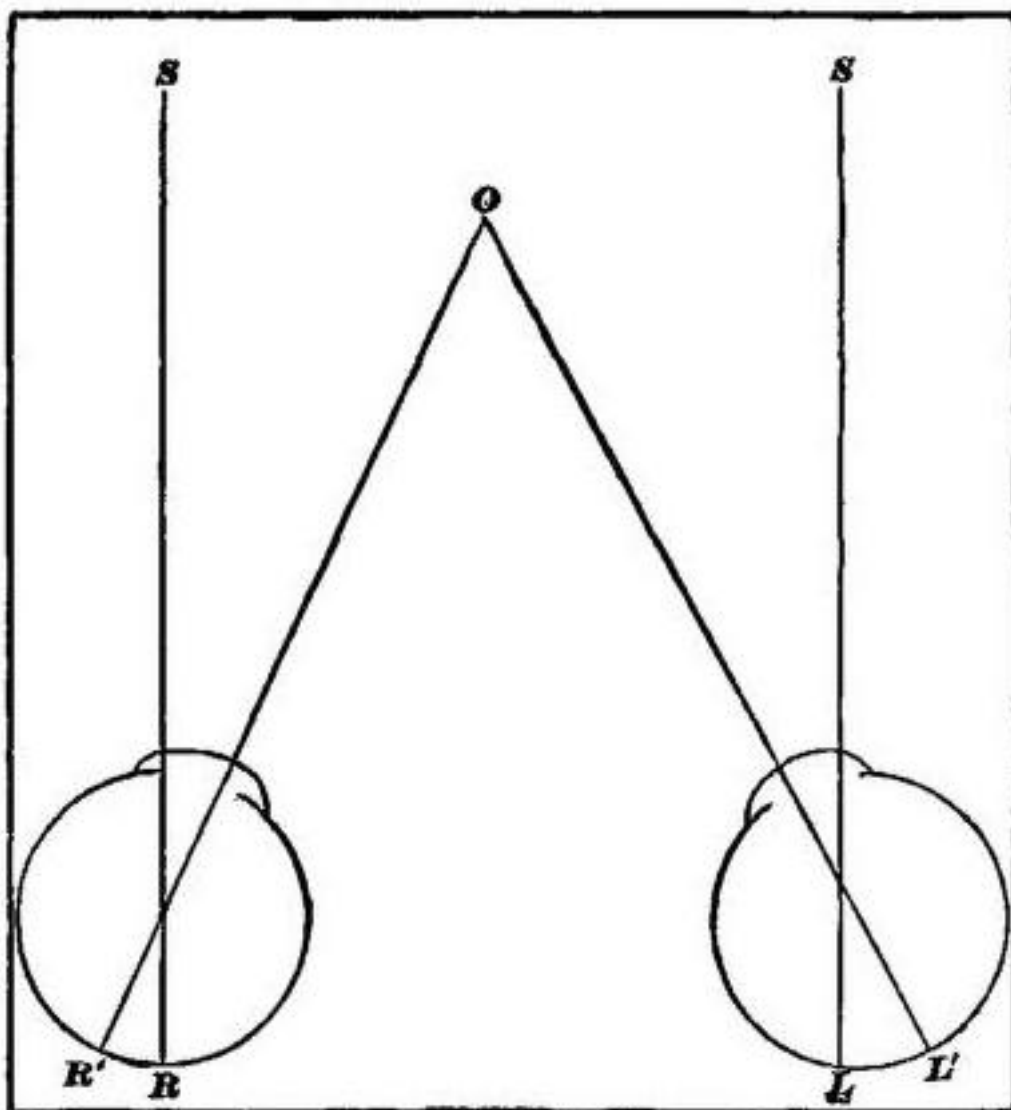


Рис. 55.

Но две носовые половины несопоставимы, геометрически *симметричны*, а не геометрически *подобны*. Поэтому изображение на левой из них будет выглядеть как бы лежащим в направлении влево от линии зрения циклопического глаза; изображение на правой будет казаться далеко справа от того же направления. Короче говоря, звезда будет видна двойной - "гомонимически" двойной.

И наоборот, если смотреть на звезду прямо с параллельными осями, О будет видно двояко, потому что ее изображения будут воздействовать на внешнюю или щечную половину обеих сетчаток, а не на одну внешнюю и одну носовую половину. Расположение изображений здесь будет обратным по сравнению с предыдущим случаем. Изображение правого глаза теперь будет появляться слева, а изображение левого глаза - справа: двойные изображения будут "гетерономными".

Те же рассуждения и тот же результат должны быть применимы, если место объекта по отношению к направлению двух оптических осей таково, что его изображения падают не на несходные половины сетчатки, а на несходные части сходных половин. Здесь, конечно, направления проекции будут менее сильно разнесены, чем в другом случае, и двойные изображения будут казаться лежащими на меньшем расстоянии друг от друга.

Тщательные эксперименты, проведенные многими наблюдателями по так называемому гаглоскопическому методу, подтверждают этот закон и показывают, что на обеих сетчатках существуют *соответствующие точки, имеющие единое визуальное направление*. За подробностями следует обратиться к специальным трактатам.

Отметим важное следствие. Если мы возьмем неподвижный объект и позволим глазам менять направление и конвергенцию, то чисто геометрическое исследование покажет, что будут некоторые положения, в которых два его изображения накладывают отпечаток на соответствующие точки сетчатки, но больше тех, в которых они накладывают отпечаток на несопоставимые точки. Первые составляют так называемый гороптер, и их открытие было сопряжено с большими математическими трудностями. Объекты или части объектов, которые находятся в гороптере глаза в любой момент времени, не могут казаться двойными. *Объекты, лежащие вне гороптера, казалось бы, если бы теория идентичных точек была строго верна, обязательно и всегда должны казаться двойными.*

Здесь возникает первый большой конфликт теории тождества с опытом. Если бы теория была верна, мы все должны были бы интуитивно знать о гороптере как о линии наиболее отчетливого зрения. Объекты, расположенные в других местах, должны были бы казаться если не двойными, то, по крайней мере, размытыми. И все же ни один живой человек не проводит такого различия между частями своего поля зрения. Для большинства из нас все поле зрения кажется единым, и только благодаря редкой случайности или специальному обучению нам удастся разглядеть двойное изображение. В 1838 году Уитстоун в своем поистине классическом труде о бинокулярном зрении и стереоскопе[218] показал, что несоразмерность точек, на которые падают два изображения объекта, в определенных пределах влияет не на его видимую целостность, а скорее на *расстояние*, на котором он должен появиться. Кроме того, Уитстоун сделал наблюдение, ставшее впоследствии предметом жарких споров, в котором он пытался показать, что не только разрозненные изображения могут сливаться, но и изображения на соответствующих или одинаковых точках могут быть видны двояко.[219]

К сожалению, слабость моих собственных глаз не позволяет мне провести достаточное количество экспериментов, чтобы сформировать определенное личное мнение по этому вопросу. Однако мне кажется, что баланс доказательств не в пользу уитстоновской интерпретации, и что разрозненные точки могут сливаться, а идентичные точки по этой причине никогда не дают двойных изображений. Два вопроса: "Можем ли мы видеть одиночное изображение с разрозненными точками?" и "Можем ли мы видеть двойное изображение с одинаковыми точками?", хотя на первый взгляд они могут показаться, как показалось Гельмгольцу, лишь двумя способами выражения одного и того же вопроса, на самом деле различны. На первый вопрос вполне можно ответить утвердительно, а на второй - отрицательно.

Добавьте к этому, что эксперимент, процитированный Гельмгольцем выше, далеко не всегда удается, но что многие люди помещают палец между объектом и *одним* из глаз, чаще всего правым;[220], наконец, обратите внимание, что теория тождества, с ее циклопической отправной точкой для всех линий направления, сама по себе не дает оснований для определения *расстояния* на любой линии, на котором должен появиться объект, и должна быть поддержана в этом отношении вспомогательными гипотезами, которые, в руках Геринга и других, стали настолько сложными, что легко становятся жертвой критических атак; И вскоре может показаться, что *закон идентичных направлений на соответствующие точки, хотя и является простой формулой для краткого выражения многих*

фундаментальных явлений, ни в коем случае не является адекватным объяснением всей сути восприятия сетчатки.[221]

Теория проекции.

Лучше ли обстоят дела с теорией проекции? Эта теория допускает, что каждый глаз видит объект в отличном от другого направлении, вдоль линии, проходящей от объекта через середину зрачка к сетчатке. Таким образом, непосредственно зафиксированная точка видна на оптических осях обоих глаз. Однако есть только одна точка, которая объединяет эти две оптические оси, - это точка, в которой они сходятся. Все, на что смотрят непосредственно, видно в этой точке, и, таким образом, видится как единое целое, так и на соответствующем расстоянии. Легко показать несовместимость этой теории с теорией тождества. Возьмем объективную точку (например, О на рис. 50, когда смотрят на звезду), отбрасывающую свои изображения R' и L' на геометрически несхожие части сетчатки и воздействующую на внешнюю половину каждого глаза. По теории тождества она обязательно должна казаться двойной, в то время как по теории проекции нет никаких причин, почему бы ей не казаться одинарной, если только она расположена по каждой линии видимого направления, ни ближе, ни дальше, чем точка ее пересечения с другой линией.

Каждая точка в поле зрения должна, по правде говоря, если бы теория проекции была единообразно действительной, казаться одинокой, совершенно независимо от изменяющегося положения глаз, поскольку из каждой точки пространства две линии видимого направления проходят к двум сетчаткам; и на пересечении этих линий или как раз там, где находится точка, там, согласно теории, она и должна появляться. Таким образом, возражения против этой теории в точности обратны возражениям против теории тождества. Если бы господствовала последняя, мы должны были бы постоянно видеть большинство вещей двойными. Если бы господствовала теория проекции, мы никогда не должны были бы видеть ничего двойного. На самом деле для теории тождества мы получаем слишком мало двойных изображений, а для теории проекции - слишком много.

Сторонники теории проекции, начиная с Агилониуса, всегда объясняли двойные изображения как результат ошибочного суждения о расстоянии до объекта, образы которого воображение проецирует вдоль двух линий видимого направления либо ближе, либо дальше точки их пересечения. Это станет ясно из диаграммы.

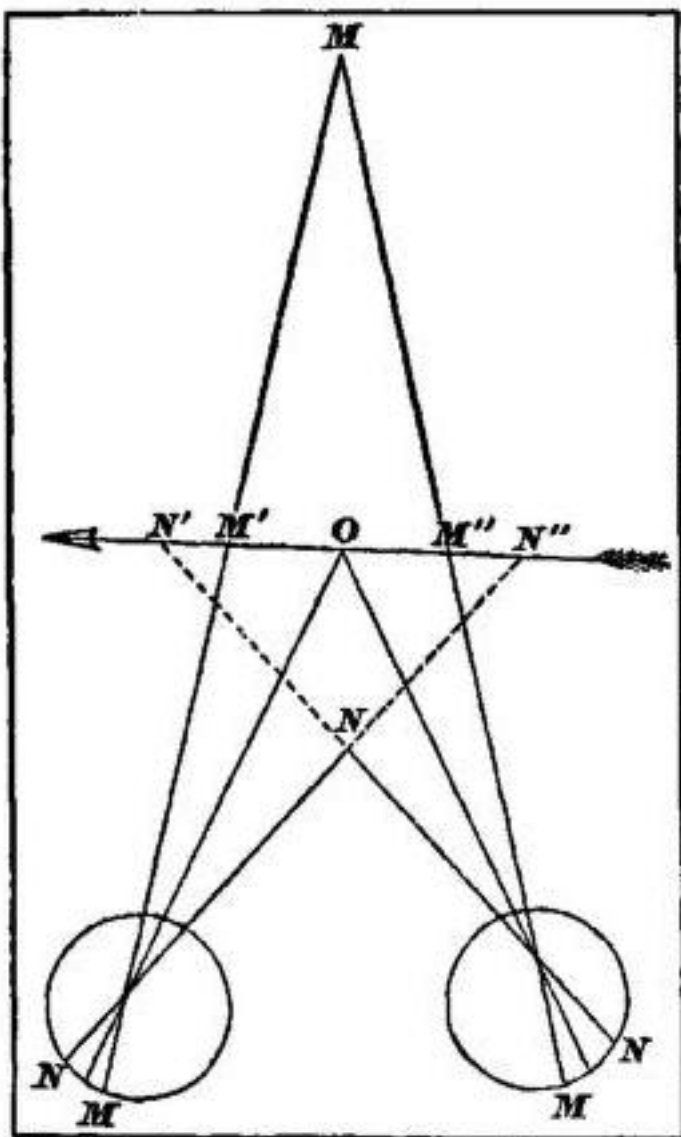


Рис. 56.

Пусть O - точка, на которую смотрят, M - объект, находящийся дальше, а N - объект, находящийся ближе, чем она. Тогда M и N пошлют линии видимого направления MM и NN к двум сетчаткам. Если считать, что N находится дальше O , то он обязательно должен лежать там, где две линии видимого направления NN пересекают плоскость стрелки, или в двух местах, в N' и в N'' . Если M оценивается как близкое к O , то по той же причине оно должно образовывать два изображения в точках M' и M'' .

На самом деле мы часто ошибаемся в определении расстояния. Если читатель возьмет свои указательные пальцы, один за другим, по средней линии и поочередно зафиксирует их, он увидит, что тот, на который не смотрят, удвоился; он также заметит, что он кажется ближе к плоскости того, на который смотрят, каким бы он ни был, чем он есть на самом деле. Изменение видимого размера при изменении конвергенции глаз также доказывает изменение видимого расстояния. Расстояние, на котором сходятся оси, кажется, на самом деле оказывает своего рода притяжение на объекты, расположенные в других местах. Будучи расстоянием, которое мы наиболее остро ощущаем, оно, так сказать, вторгается во все поле нашего восприятия. Если положить на стол два полудоллара на расстоянии дюйма или двух

друг от друга, а глаза постоянно фиксировать на острие ручки, проведенной по средней линии на разном расстоянии между монетами и лицом, то наступит такое расстояние, при котором ручка окажется между левым полудолларом и правым глазом, а правым полудолларом и левым глазом. Тогда два полудоллара сольются в один, и этот полудоллар покажет свое явное приближение к острию пера тем, что внезапно покажется значительно уменьшенным в размерах.[222]

Однако, несмотря на эту склонность к неточности, мы никогда не ошибаемся в том, что полудоллар находится за острием пера. Он может казаться недостаточно далеким, но все же он дальше, чем острие. В целом можно сказать, что там, где объекты нам известны, ни у одного из них не возникает такой иллюзии расстояния, как того требует теория. А у некоторых наблюдателей, например у Геринга, она, похоже, вообще не возникает. Если я смотрю в бесконечную даль и попадаю пальцем в двойные изображения, они не кажутся бесконечно далекими. Чтобы объекты, находящиеся на разных расстояниях, казались равноудаленными, необходимо принять тщательные меры предосторожности, чтобы они были одинаковыми по внешнему виду, и исключить все внешние причины, позволяющие приписать одному из них местоположение, отличное от того, которое приписывается другому. Так, Дондерс пытается доказать закон проекции, беря две одинаковые электрические искры, расположенные одна за другой на темной поверхности, причем одна видна двояко; или железный стержень, помещенный так близко к глазам, что его двойное изображение кажется таким же широким, как изображение закрепленной печной трубы; верх и низ объектов отсекаются экранами, чтобы предотвратить все предположения о перспективе, и т.д. Три объекта в каждом эксперименте кажутся расположенными в одной плоскости.[223]

Добавьте к этому признаваемую *всеми* наблюдателями невозможность когда-либо увидеть двойное изображение с помощью *фовеа*, а также тот факт, что такие авторитеты, как цитируемые в примечании к наблюдению Уитстона, отрицают, что они могут видеть двойное изображение с одинаковыми точками, и мы вынуждены заключить, что *теория проекции, как и ее предшественница, терпит крах. Ни одна из них не формулирует точно и исчерпывающе закон для всех наших восприятий.*

Неоднозначность ретинальных впечатлений.

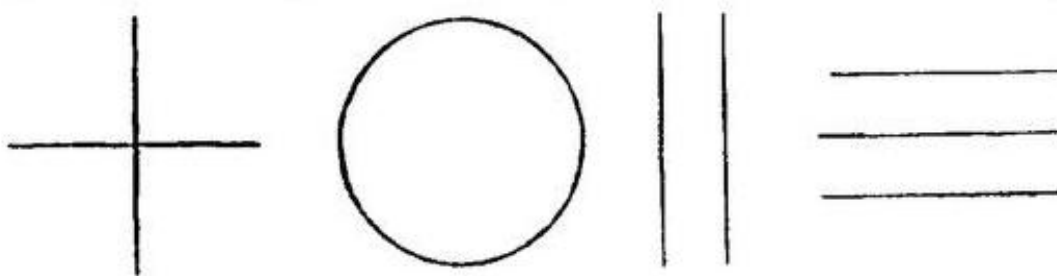


Рис. 57.

Что пытается сделать каждая из теорий? Сделать из видимого местоположения фиксированную функцию ретинального впечатления. Можно привести и другие факты, чтобы показать, насколько далеки от фиксированности перцептивные функции ретинальных впечатлений. Некоторое время назад мы уже упоминали о необычайной неоднозначности ретинального изображения как индикатора величины. Создайте послесвечение солнца и посмотрите на кончик своего пальца: он будет меньше ногтя. Спроецируйте его на стол, и оно будет большим, как клубника; на стену - большим, как

тарелка; на гору - большим, чем дом. И все же это неизменный отпечаток сетчатки. Приготовьте лист с сильно выделенными на нем фигурами, изображенными на рис. 57, и получите путем прямой фиксации отчетливое послеображение каждой из них.



Рис. 58 и 59.

Спроецируйте послесвечение креста на верхнюю левую часть стены, и оно будет выглядеть так, как показано на рис. 58; на верхнюю правую часть - как на рис. 59. Круг, спроецированный таким же образом, будет искажен в два разных эллипса. Если две параллельные линии спроецировать на потолок или пол далеко впереди, то их дальние концы разойдутся; а если три параллельные линии провести по одинаковым поверхностям, то верхняя пара будет казаться дальше друг от друга, чем нижняя.

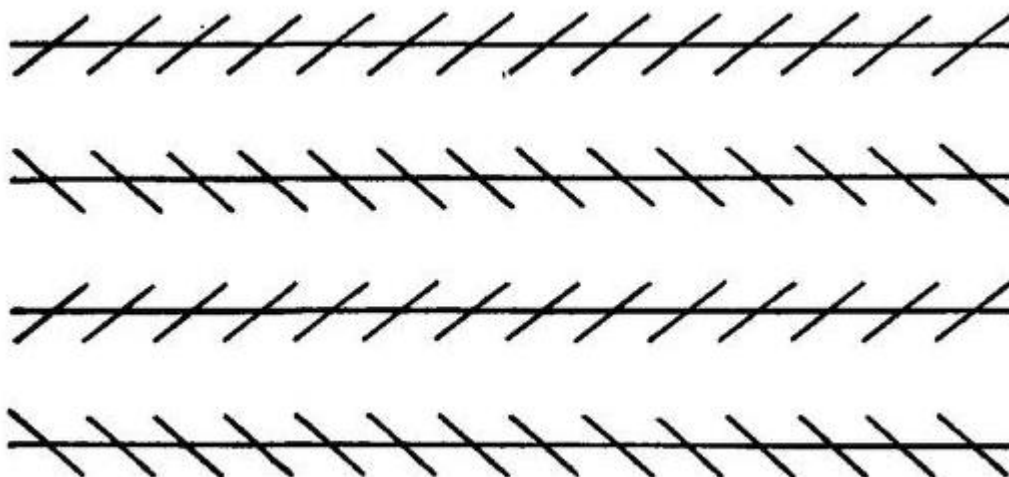


Рис. 60.

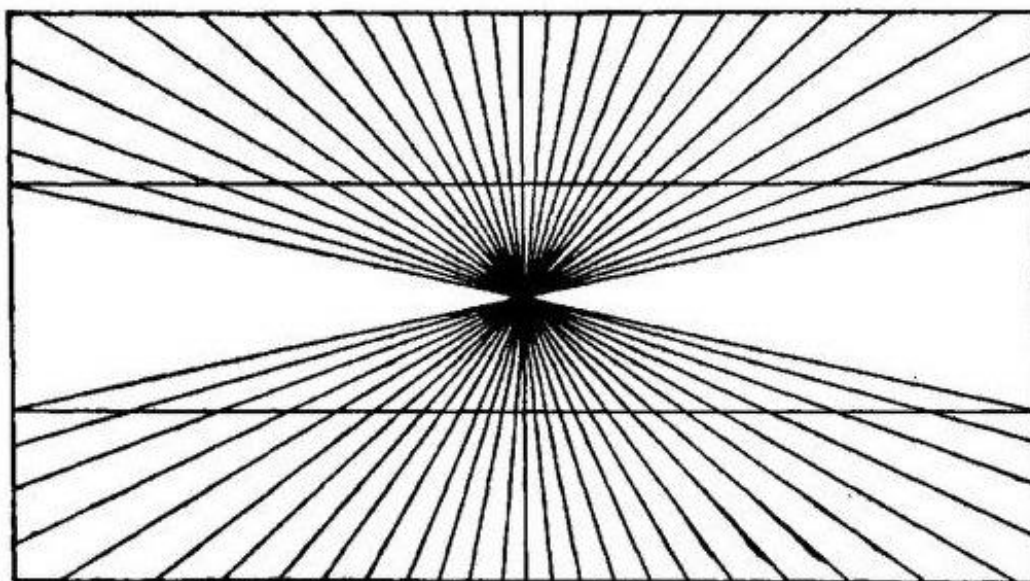


Рис. 61.

Добавление одних линий к другим имеет тот же искажающий эффект. В так называемом узоре Зельнера (рис. 60) длинные параллели наклоняются друг к другу, когда мы проводим над ними короткие наклонные линии, однако их изображения на сетчатке остаются такими же, какими были всегда. Аналогичное искажение параллелей показано на рис. 61.

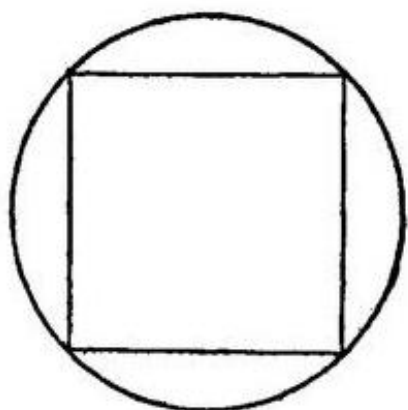


Рис. 62.

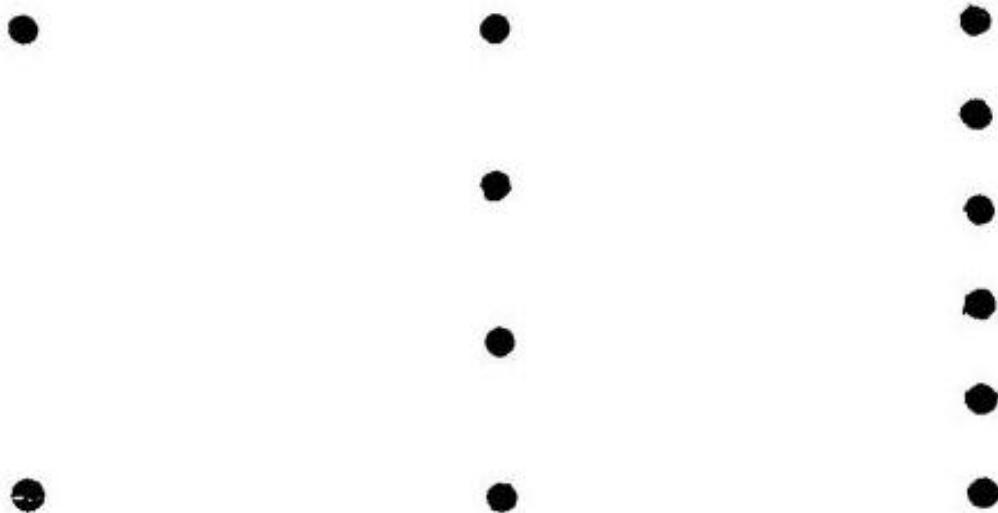


Рис. 63.

Построение квадрата внутри круга (рис. 62) придает контуру последнего изрезанный вид там, где углы квадрата касаются его. Если нарисовать радиусы внутри одного из прямых углов на том же рисунке, то он будет казаться больше другого. На рис. 63 ретинальное изображение пространства между крайними точками во всех трех линиях одинаково, но оно кажется гораздо больше, когда заполняется другими точками.

В стереоскопе некоторые пары линий, которые при обычных обстоятельствах выглядят одиночными, сразу же кажутся двойными, когда мы добавляем к ним некоторые другие линии.[\[224\]](#)

Неоднозначное значение движений глаз.

Эти факты свидетельствуют о неопределенности пространственного значения различных *отпечатков сетчатки*. Возьмем теперь *движения глаз*, и мы обнаружим аналогичные колебания. Когда мы следим взглядом за движущимся объектом, это движение "добровольное"; когда наши глаза колеблются туда-сюда после того, как мы заставили себя кружиться, это "рефлекс"; а когда на глазное яблоко надавливают пальцем, это "пассивное" движение. Во всех этих трех случаях мы получаем ощущение от движения, когда оно само по себе происходит. Но объективные восприятия, к которым нас приводит это ощущение, отнюдь не одинаковы. В первом случае мы можем видеть неподвижное поле зрения с одним движущимся объектом в нем; во втором - общее поле, плывущее более или менее устойчиво в одном направлении; в третьем - внезапный скачок или поворот того же общего поля.

Чувство конвергенции глазных яблок допускает такое же неоднозначное толкование. Когда объекты находятся вблизи, мы сильно сходимся на них, чтобы увидеть их; когда вдали, мы устанавливаем наши зрительные оси параллельно. Но точная степень конвергенции не ощущается; точнее, ощущаясь, она не позволяет определить абсолютное расстояние до объекта, который мы рассматриваем. Уитстоун устроил свой стереоскоп таким образом, что размер изображения на сетчатке мог меняться без изменения конвергенции; или, наоборот, конвергенция могла меняться без изменения изображения на сетчатке. При таких обстоятельствах, говорит он,[\[225\]](#) объект, казалось, приближался или удалялся в первом случае, не изменяя своего размера, во втором - изменял свой размер, не изменяя расстояния - как раз обратное тому, что можно было бы ожидать". Однако Уитстоун

добавляет, что "фиксация внимания" превращает каждое из этих восприятий в его противоположность. Такое же недоумение возникает при взгляде через призматические очки, которые изменяют конвергенцию глаз. Мы не можем решить, приблизился ли объект, или стал больше, или и то, и другое, или ни то, ни другое; и наше суждение колеблется самым удивительным образом. Мы даже можем заставить наши глаза разойтись, но объект все равно будет казаться на небольшом расстоянии. Когда мы смотрим в стереоскоп, изображение кажется на неопределенном расстоянии". Эти и другие факты заставили Гельмгольца отрицать, что чувство конвергенции имеет какое-либо очень точное значение в качестве измерителя расстояния.[226]

С чувством аккомодации дело обстоит примерно так же. Дондерс показал[227], что кажущаяся увеличительная сила очков умеренной выпуклости почти не зависит от увеличения изображения на сетчатке, а скорее от расслабления аккомодационной мышцы. Это говорит о том, что объект находится на большом расстоянии, а значит, он гораздо крупнее, поскольку его размер на сетчатке скорее увеличивается, чем уменьшается. Но в этом случае происходит то же колебание суждений, что и в предыдущем случае конвергенции. При уменьшении объект казался больше, но теперь из-за кажущегося увеличения его размера кажется, что он не уменьшился, а приблизился. Таким образом, эффект противоречит своей собственной причине. Каждый человек, впервые надев очки, испытывает сомнение в том, приближается или удаляется поле зрения.[228]

Существует еще один обман, возникающий у людей, у которых внезапно парализована одна глазная мышца. Этот обман привел Вундта к утверждению, что собственно ощущение глазного яблока, приходящее ощущение вращения, говорит нам только о направлении движения глаз, но не о его протяженности.[229] По этой причине, а также потому, что не только Вундт, но и многие другие авторы считают, что явления при этих частичных параличах свидетельствуют о существовании ощущения иннервации, ощущения исходящего нервного тока, противопоставленного всем афферентным ощущениям, представляется уместным отметить эти факты с некоторой степенью детализации.

Предположим, человек просыпается утром с наполовину парализованной наружной прямой мышцей правого глаза, каков будет результат? Он сможет лишь с большим усилием вращать глазом, чтобы смотреть на предметы, лежащие далеко справа. Что-то в прилагаемых им усилиях заставит его чувствовать, будто объект лежит гораздо дальше вправо, чем на самом деле. Если закрыть левый и звуковой глаз и попросить человека быстро коснуться пальцем предмета, расположенного справа от него, он укажет пальцем вправо от него. Современное объяснение "чего-то" в усилиях, вызывающих этот обман, заключается в том, что это ощущение исходящего разряда из нервных центров, "чувство иннервации", по выражению Вундта, необходимое для того, чтобы открытый глаз с его ослабленной мускулатурой оказался на объекте, к которому нужно прикоснуться. Если этот объект расположен на 20 градусов вправо, пациент теперь должен иннервировать так же мощно, чтобы повернуть глаз на эти 20 градусов, как раньше он делал это, чтобы повернуть глаз на 30 градусов. Следовательно, он, как и раньше, считает, что повернул его на 30 градусов; и так до тех пор, пока в силу вновь приобретенного обычая он не усвоит измененное пространственное значение всех разрядов, которые его мозг производит в правом отводящем нерве. Чувство иннервации", поддерживаемое этим и другими наблюдениями, играет огромную роль в космических теориях некоторых философов, особенно Вундта. В другом месте я попытаюсь показать, что эти наблюдения ни в коем случае не оправдывают сделанных на их основе выводов и что рассматриваемое чувство, вероятно, является полностью фиктивным образованием.[230] Пока же достаточно указать на то, что даже те, кто придает ему

наибольшее значение, вынуждены с готовностью, с которой смещение поля зрения исправляется и дальнейших ошибок удается избежать, признать, что точное пространственное значение *предполагаемого ощущения исходящей энергии столь же неоднозначно и неопределенно, как и любого другого из рассмотренных нами до сих пор зрительных ощущений.*

Теперь я привел то, что никто не назовет преуменьшением фактов и аргументов, с помощью которых пытаются изгнать заслугу непосредственного выявления пространства из каждого вида зрительных ощущений, взятых самих по себе. Читатель признает, что они выглядят очень правдоподобно, и, скорее всего, задастся вопросом, сможет ли моя собственная теория этого вопроса устоять после их пагубных доказательств. Но дело далеко не безнадежно, и введение до сих пор не сделанной дискриминации, если я не ошибаюсь, легко оправдывает точку зрения, принятую на этих страницах, в то же время она делает неоспоримое допущение для всех двусмысленностей и иллюзий, на которые так много внимания обращают сторонники интеллектуалистской теории.

Выбор визуальной реальности.

У нас есть родные и фиксированные оптические пространственные ощущения; *но опыт заставляет нас выбирать из них определенные, чтобы они были исключительными носителями реальности: остальные становятся лишь знаками и подсказками к ним.* Фактор *отбора*, на котором мы уже так много акцентировали внимание, здесь, как и везде, является решающим словом загадки. Если бы Гельмгольц, Вундт и другие, имея перед собой неоднозначное ощущение сетчатки, означающее то один размер и расстояние, то другой, не ограничились простыми словами: "Размер и расстояние не являются этим ощущением, они - нечто за его пределами, что оно просто вызывает, и чье собственное место рождения находится далеко - в "синтезе" (Вундт) или в "опыте" (Гельмгольц), в зависимости от случая; если бы они пошли дальше, чтобы определенно задать и определенно ответить на вопрос: что такое размер и расстояние в их собственных сущностях? они не только избежали бы нынешней прискорбной расплывчатости своих теорий пространства, но и увидели бы, что объективные пространственные атрибуты "обозначаются" просто и исключительно *определенными другими оптическими ощущениями, которые сейчас отсутствуют, но которые предполагаются нынешними ощущениями.*

Что, например, представляет собой крест, который, как нам кажется, мы видим на стене, когда проецируем прямоугольное послеображение высоко вверх справа или слева (рис. 58 и 59)? Не является ли он, по сути, ретинальным ощущением? Воображаемое, не ощущаемое, правда, но от этого не менее сущностное и изначальное ощущение, или ретинальное ощущение, - ощущение, которое мы должны были бы получить, если бы на стене *перед нами* стоял "настоящий" крест и бросал свое изображение на наш глаз. Это изображение - не то, которое сейчас хранит наша сетчатка. На нашей сетчатке сейчас хранится изображение, которое отбрасывает крест квадратной формы, находящийся перед нами, но которое отбрасывал *бы* крест с кривой ножкой, если бы он действительно находился на стене в том отдалении, куда мы смотрим. Назовем это реальное изображение на сетчатке "квадратным". Квадратное изображение - это одно из бесчисленных изображений, которые может отбрасывать крест с кривой ногой. Почему же из этого бесчисленного множества образов должен быть выбран другой, причем отсутствующий, чтобы представлять исключительно "истинную" форму кривого креста? Почему этот отсутствующий и воображаемый образ кривой ноги должен вытеснить из нашего сознания настоящий и

ощущаемый образ квадрата? Почему, когда объективный крест придает нам так много форм, меняя свое положение, мы должны думать, что ощущаем истинную форму только тогда, когда крест находится прямо перед нами? И если ответить на этот вопрос, то как может отсутствующее и представленное ощущение косоугой фигуры так успешно вторгнуться на место представленной квадратной?

Прежде чем ответить на любой из этих вопросов, давайте вдвойне убедимся в наших фактах и посмотрим, насколько верно то, что, *имея дело с предметами, мы всегда выбираем один из зрительных образов, которые они дают, для определения реальной формы или размера.*

Вопрос размера уже затрагивался, так что больше о нем говорить не нужно. Что касается формы, то почти все формы, которые бросают объекты на сетчатку, являются перспективными "искажениями". Квадратные столешницы постоянно представляют два острых и два тупых угла; круги, нарисованные на обоях, коврах или листах бумаги, обычно выглядят как эллипсы; параллели то приближаются, то удаляются; человеческие тела укорачиваются; и переходы от одной к другой из этих изменяющихся форм бесконечны и непрерывны. Однако из всего этого потока всегда выделяется одна фаза. Это форма, которую объект имеет, когда мы видим его легче всего и лучше всего: когда наши глаза и объект находятся в положении, которое можно назвать *нормальным*. В этом положении наша голова находится в вертикальном положении, а зрительные оси либо параллельны, либо симметрично сходятся; плоскость объекта перпендикулярна зрительной плоскости; и если объект содержит много линий, он повернут так, чтобы сделать их, насколько это возможно, либо параллельными, либо перпендикулярными зрительной плоскости. В этой ситуации мы сравниваем все фигуры друг с другом; здесь производится каждое точное измерение и принимается решение.^[231]

Очень легко понять, почему нормальная ситуация должна иметь такое исключительное превосходство. Во-первых, это положение, в котором нам легче всего держать в руках все, что мы рассматриваем; во-вторых, это точка поворота между всеми правыми и всеми левыми перспективными видами данного объекта; в-третьих, это единственное положение, в котором симметричные фигуры кажутся симметричными, а равные углы - равными; В-четвертых, это часто та исходная точка движений, из которой глаз меньше всего страдает от осевых поворотов, при которой легче всего происходит *суперпозиция*^[232] ретинальных изображений различных линий и различных частей одной и той же линии, и, следовательно, при которой глаз может производить лучшие сравнительные измерения в своих развертках. Все эти достоинства выделяют нормальную позицию. Ни одна другая точка зрения не дает столько эстетических и практических преимуществ. Здесь мы считаем, что видим объект таким, какой он *есть*; в других местах - только таким, каким он кажется. Однако опыт и привычка вскоре учат нас, что кажущаяся видимость переходит в реальную путем непрерывных градаций. Более того, они учат нас, что кажущееся и сущее могут странным образом чередоваться. Теперь реальный круг может превратиться в кажущийся эллипс; теперь эллипс, скользя в том же направлении, может стать кажущимся кругом; теперь прямоугольный крест становится косоугольным; теперь косоугольный становится прямоугольным.

Почти любая форма в косом зрении может быть, таким образом, производной почти любой другой в "первичном" зрении; и мы должны научиться, когда мы получаем одно из первых проявлений, переводить его в соответствующее из второго класса; мы должны узнать, какой оптической "реальностью" является один из оптических знаков. Узнав это, мы подчиняемся тому закону экономии или упрощения, который господствует во всей нашей психической

жизни, когда мы обращаем внимание исключительно на "реальность" и игнорируем, насколько нам позволяет наше сознание, "знак", с помощью которого мы ее восприняли. Признаки каждой вероятной реальной вещи множественны, а сама вещь едина и неизменна, и мы получаем такое же психическое облегчение, отказываясь от первых ради вторых, как и от мысленных образов со всеми их колебаниями ради определенных и неизменных *имен*, которые они предлагают. Выбор нескольких "нормальных" образов из джунглей нашего оптического опыта в качестве реальных объектов, о которых мы будем думать, психологически является явлением, параллельным привычке мыслить словами, и имеет аналогичное применение. И в том, и в другом случае мы заменяем немногочисленные и фиксированные термины на многообразные и расплывчатые.

Ощущения, которые мы игнорируем.

Это служение ощущениям как простым знакам, которые следует игнорировать, когда они вызывают другие ощущения, являющиеся их знаками, было впервые замечено Беркли и отмечено во многих отрывках, как, например, в следующем:

"Знаки, мало рассматриваемые сами по себе или ради них самих, но только в их относительной способности и ради тех вещей, о которых они являются знаками, случается, что ум упускает их из виду, чтобы сразу же перенести свое внимание на обозначаемые вещи... которые по истине и строгости не *видны*, но только *предполагаются* и *постигаются* посредством соответствующих объектов зрения, которые только и *видны*". (Божественный визуальный язык, § 12.)

Беркли, конечно, ошибался, полагая, что предложенная вещь даже не была *изначально* объектом зрения, как сейчас знак, который ее вызывает. Рид выразил принцип Беркли еще более ясным языком:

"Видимые проявления объектов предназначены природой только в качестве знаков или указаний, и разум мгновенно переходит к обозначаемым вещам, не делая ни малейшего размышления о знаке, ни даже не воспринимая, что есть такая вещь..... Ум приобрел устойчивую и неизбывную привычку невнимания к ним (знакам). Ибо они появляются не раньше, чем быстро, как молния, обозначаемая вещь преуспевает и поглощает все наше внимание. У них нет названия в языке; и хотя мы осознаем их, когда они проходят через разум, но их прохождение настолько быстро и настолько привычно, что их совершенно не слышно; они не оставляют никаких следов ни в памяти, ни в воображении". (Исследование, гл. v. §§ 2, 3).

Если мы проанализируем факты, то найдем все виды невнимания между крайней формой невнимания, упомянутой Ридом (или еще более крайней формой), и полным сознательным восприятием присутствующих ощущений. Иногда буквально невозможно осознать последнее. Иногда небольшая хитрость или усилие легко приводят к тому, что мы различаем его вместе или попеременно с "объектом", который он обнаруживает. Иногда же настоящее ощущение принимается за объект или воспроизводит его черты в неискаженном виде, и *тогда*, конечно, оно получает полный отблеск разума.

Самое глубокое невнимание - к субъективным оптическим ощущениям, строго говоря, или к тем, которые вообще не являются признаками внешних объектов. Гельмгольц очень удовлетворительно описывает эти явления, *muscae volitantes*, негативные послеобразы, двойные образы и т. д. Он говорит:

"Мы с легкостью и точностью относимся к нашим ощущениям только в той мере, в какой они могут быть использованы для познания внешних вещей; и мы привыкли пренебрегать всеми теми их частями, которые не имеют никакого значения для внешнего мира. Так уж сложилось, что для наблюдения за этими последними, более субъективными ощущениями, требуются по большей части специальные приемы и практика. Хотя может показаться, что нет ничего проще, чем осознать свои собственные ощущения, тем не менее опыт показывает, что достаточно часто либо особый талант, подобный тому, который в выдающейся степени проявил Пуркинье, либо случайность, либо теоретические спекуляции являются необходимыми условиями для открытия субъективных явлений. Так, например, слепое пятно на сетчатке глаза было открыто Мариоттом теоретическим путем; точно так же я открыл существование "суммирующих" тонов в акустике. В большинстве случаев именно случайность заставляет наблюдателей, чье внимание было особенно приковано к субъективным явлениям, открывать то или иное; только там, где субъективные проявления настолько интенсивны, что мешают восприятию объектов, они замечаются всеми людьми одинаково. Но если они однажды были обнаружены, то последующим наблюдателям, поставленным в соответствующие условия и направившим свое внимание в нужное русло, по большей части не составляет труда их воспринять. Но в многих случаях - например, при феномене слепого пятна, при различении повышенных тонов и сочетаний тонов с основным тоном музыкальных звуков и т. д. - требуется такое напряжение внимания, даже при наличии соответствующих инструментальных средств, что большинство людей терпят неудачу. Сами послеобразы ярких объектов большинство людей воспринимают только при исключительно благоприятных условиях, а чтобы увидеть более слабые образы такого рода, требуется постоянная практика. Часто случается, что люди, страдающие каким-либо глазным заболеванием, ухудшающим зрение, впервые замечают *волевые мышцы*, которые всю жизнь были в стекловидном теле, но теперь они твердо уверены, что возникли после болезни; на самом же деле последняя лишь сделала их более внимательными ко всем зрительным ощущениям. Известны также случаи, когда один глаз постепенно слеп, и пациент жил неопределенное время, не зная об этом, пока случайно не закрыл здоровый глаз, и слепота другого не стала очевидной.

"Большинство людей, впервые узнав о бинокулярном двойном изображении, бывают поражены тем, что никогда не замечали его раньше, хотя всю жизнь имели привычку видеть одиночно только те немногие объекты, которые находились примерно на одинаковом расстоянии от точки фиксации, а остальные, более близкие и более дальние, составляющие подавляющее большинство, всегда были двойными".

"Затем мы должны *научиться* обращать внимание на наши конкретные ощущения, и мы учимся этому обычно только для тех ощущений, которые являются средством познания внешнего мира. Только в той мере, в какой они служат этой цели, наши ощущения имеют для нас какое-либо значение в обычной жизни. Субъективные ощущения интересны в основном только для научных исследователей; если бы они были замечены при обычном использовании органов чувств, они могли бы вызвать только беспокойство. В то время как, следовательно, мы достигаем необычайной степени твердости и безопасности в объективном наблюдении, мы не только не достигаем этого, когда речь идет о субъективных явлениях, но мы фактически достигаем в высокой степени способности не замечать их вообще и сохранять себя

независимыми от их влияния при оценке объектов, даже в тех случаях, когда их сила могла бы привести их легко привлечь наше внимание." (Physiol. Optik, pp. 431-2.)

Даже если ощущение не просто субъективно, как в случаях, о которых говорит Гельмгольц, а является признаком чего-то внешнего, мы также можем, как говорит Рид, упустить его внутреннее качество и обратить внимание исключительно на образ "вещи", на которую оно указывает. Но здесь каждый *может* легко заметить само ощущение, если захочет. Обычно мы видим лист бумаги равномерно белым, хотя часть его может быть в тени. Но мы можем в одно мгновение, если захотим, заметить тень как локальный цвет. Человек, идущий навстречу, обычно не меняется в размерах, но мы можем, направив наше внимание особым образом, сделать так, чтобы он, казалось, это сделал. Все образование художника состоит в том, чтобы научиться видеть как представленные знаки, так и изображаемые вещи. Независимо от того, что *означает* поле зрения, он видит его так же, как и *ощущает*, то есть как совокупность цветовых пятен, ограниченных линиями, - все это образует оптическую схему, о внутренних пропорциях которой тот, кто не является художником, вряд ли имеет сознательное представление. Внимание обычного человека проходит *мимо* них, чтобы понять их значение; внимание художника возвращается назад и задерживается на них ради них самих. Не рисуй вещь такой, какая она *есть*, но такой, какой она *выглядит!*" - таков бесконечный совет каждого учителя своему ученику; при этом забывается, что то, чем она "является", так же "выглядела" бы, если бы ее поместили в ситуацию, которую мы называем "нормальной" для зрения. В этой ситуации ощущение как "знак" и ощущение как "объект" сливаются в одно целое, и между ними нет контраста.

Ощущения, которые кажутся подавленными.

Но большую трудность представляют некоторые особые случаи, которые мы должны теперь рассмотреть. Речь идет о *случаях, когда настоящее ощущение, существование которого, как предполагается, доказывается его внешними условиями, кажется абсолютно подавленным или измененным образом "вещи", которую оно вызывает.*

Этот вопрос возвращает нас к тому, что было сказано на [стр. 218](#). Процитированный там отрывок из Гельмгольца относится к этим случаям. Он считает, что они окончательно опровергают изначальную и внутреннюю пространственность любого из наших ощущений сетчатки; ведь если бы такое ощущение, реально присутствующее, имело имманентную и существенную пространственную детерминацию, то она вполне могла бы быть дополнена, наложена или даже на мгновение затмлена внушениями о его значении, но как она могла бы быть изменена или полностью *подавлена* таким образом? Он говорит о том, что реально существующие ощущения *подавляются* внушениями опыта.

"У нас нет ни одного хорошо подтвержденного примера. Во всех тех иллюзиях, которые провоцируются *ощущениями* в отсутствие их обычно возбуждающих объектов, ошибка никогда не исчезает благодаря лучшему пониманию реально присутствующего объекта и пониманию причины обмана. Фосфены, вызванные давлением на глазное яблоко, тракцией входа зрительного нерва, послеобразы и т.д., остаются спроецированными на свое видимое место в поле зрения, подобно тому, как изображение, спроецированное поверхность зеркала, продолжает видаться за зеркалом, хотя мы *знаем*, что всем этим видимостям не соответствует внешняя реальность. Правда, мы можем отвлечь наше внимание и удерживать его от ощущений, не имеющих отношения к внешнему миру, например, от слабых послеобразов, энтоптических объектов и т. д. Но что стало бы с нашими восприятиями вообще, если бы мы обладали способностью не только игнорировать,

но и *превращать в свои противоположности* любую их часть, которая отличалась бы от того внешнего опыта, образ которого, как образ настоящей реальности, сопровождает их в сознании?"[233]

И снова:

"По аналогии со всем остальным опытом мы должны были бы ожидать, что побежденные чувства сохраняются в нашем восприятии, хотя бы в форме узнаваемых иллюзий. Но это не так. Непонятно, как предположение об изначально пространственных ощущениях может объяснить наши оптические познания, когда в конечном итоге те, кто верит в эти самые ощущения, оказываются вынужденными предположить, что они *преодолены* нашим лучшим суждением, основанным на опыте".

Эти слова, исходящие из такого круга лиц, неизбежно имеют большой вес. Но авторитет даже Гельмгольца не должен поколебать критического самообладания. А если отказаться от абстрактных обобщений и вплотную заняться конкретикой, то, думаю, легко убедиться, что из нее не следует никаких выводов, подобных тем, что мы процитировали. Но для того, чтобы вести дискуссию с пользой, *мы должны разделить предполагаемые случаи на группы.*

(а) Для Гельмгольца *цветовосприятие* в равной степени с пространственным восприятием является интеллектуальным делом. Так называемый одновременный цветовой контраст, при котором один цвет изменяет другой рядом с тем, о котором говорится, объясняется им как бессознательное умозаключение. В *главе XVII* мы обсуждали проблему цветового контраста; принципы, которые применялись при ее решении, окажутся применимыми и к части данной проблемы. По моему мнению, Геринг окончательно доказал, что, когда один цвет кладется рядом с другим, он изменяет ощущение последнего, причем не в силу простого мысленного внушения, как это сделал бы Гельмгольц, а путем фактического возбуждения нового нервного процесса, которому немедленно соответствует измененное ощущение цвета. Объяснение этому физиологическое, а не психологическое. Трансформация исходного цвета в вызывающий цвет происходит из-за исчезновения физиологических условий, при которых был получен первый цвет, и из-за индукции в новых условиях подлинного нового ощущения, к которому "внушения опыта" не имеют никакого отношения.

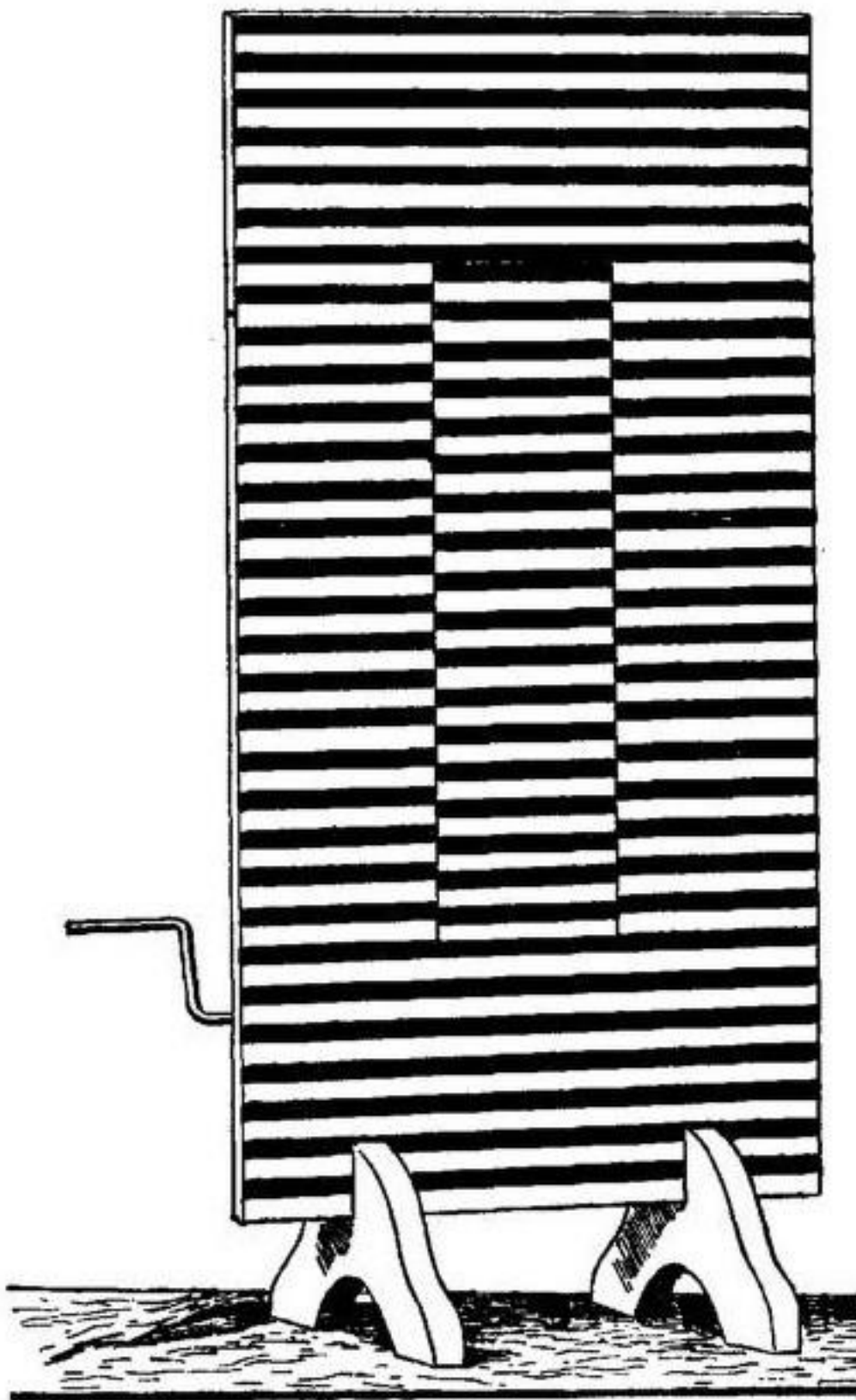


Рис. 64.

О том, что процессы в зрительном аппарате распространяются латерально, если можно так выразиться, свидетельствуют и явления контраста, возникающие после созерцания различных движений. Вот несколько примеров. Если, перегнувшись через поручни движущегося судна, мы посмотрим на мчащуюся вдоль борта воду, а затем переведем взгляд на палубу, то перед нами появится полоса досок, движущихся в направлении,

противоположном тому, в котором мгновение назад мы наблюдали движение воды, а по обе стороны от этой полосы другая полоса досок будет двигаться так же, как и вода. Если смотреть на водопад или на дорогу из окна вагона движущегося трамвая, возникает такая же иллюзия, которую можно легко проверить в лаборатории с помощью простого прибора. Доска с окном шириной пять-шесть дюймов и любой удобной длины держится вертикально на двух ножках. С обратной стороны доски, над и под окном, расположены два ролика, один из которых снабжен кривошипом. Через эти ролики пропускается бесконечная лента из любой фигурной ткани (один из них можно отрегулировать на подшипниках таким образом, чтобы ткань всегда была натянута и не соскальзывала), а поверхность передней доски также покрыта тканью или бумагой такого характера, чтобы привлекать внимание. При вращении кривошипа центральная полоса приходит в непрерывное движение, в то время как края поля остаются в состоянии покоя, но через некоторое время начинают двигаться в противоположном направлении. Остановка кривошипа приводит к иллюзорной видимости движения в обратном направлении по всему полю.

Диск с нарисованной на нем архимедовой спиралью, вращающийся на обычной вращающейся машине, производит еще более поразительные эффекты.



Рис. 65.

"Если вращение происходит в том направлении, в котором спиральная линия приближается к центру диска, то вся поверхность последнего кажется расширяющейся во время вращения и сжимающейся после его прекращения; и наоборот, если движение вращения происходит в противоположном направлении. Если в первом случае глаза наблюдателей обращены от вращающегося диска к какому-либо знакомому объекту - например, к лицу друга, - последний, кажется, сокращается или удаляется несколько поразительным образом, и расширяется или приближается после противоположного движения спирали." [234]

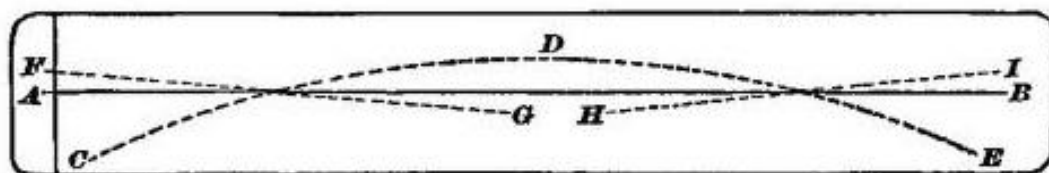


Рис. 66.

Элементарной формой этих двигательных иллюзий, по-видимому, является иллюзия, описанная Гельмгольцем на стр. 568-571 его "Оптики". Движение чего-либо в поле зрения под острым углом к прямой линии ощутимо искажает эту линию. Так, на рис. 66: пусть AB - линия, проведенная на бумаге, CDE - след, сделанный по этой линии острием компаса, за которым неуклонно следит глаз при его движении. Когда острие компаса проходит от С к D, линия кажется движущейся вниз; когда оно проходит от D к E, линия кажется движущейся вверх; в то же время вся линия кажется наклоненной в направлении FG в течение первой половины движения компаса и в направлении HI в течение последней половины; изменение одного наклона на другой становится совершенно отчетливым, когда острие компаса проходит над D.

Любая линия, по которой мы проводим острием карандаша, кажется оживленной быстрым движением по направлению к острию карандаша. Это кажущееся движение двух предметов относительно друг друга, даже когда один из них абсолютно неподвижен, напоминает нам о случаях, приведенных у Виерордта на [странице 188](#), и, кажется, возвращает нас на примитивную стадию восприятия, когда еще не были сделаны те различия, которые мы делаем сейчас, когда чувствуем движение. Если провести острие карандаша по "узору Зельнера" (рис. 60, [стр. 232](#)) и проследить за ним взглядом, то вся фигура становится сценой необычайного кажущегося волнения, условия которого Гельмгольц очень точно подметил. Иллюзия фигуры Цёльнера полностью или почти полностью исчезает у большинства людей, если они пристально смотрят на одну ее точку неподвижным глазом; то же самое происходит и со многими другими иллюзиями.

Теперь все эти факты, взятые вместе, показывают - неясно, правда, но определенно - что нынешние возбуждения и последствия прежних возбуждений могут изменить результат процессов, происходящих одновременно на расстоянии от них в сетчатке или других частях аппарата оптических ощущений. В последних рассмотренных случаях движущийся глаз, когда он проводит фовеа по определенным частям фигуры, кажется, таким образом определяет модификацию ощущений, которые дают другие части, и эта модификация является "искажением" фигуры. Правда, это утверждение ничего не объясняет. Оно лишь предохраняет случаи, к которым оно применимо, от ложного объяснения. Ложное объяснение этих иллюзий состоит в том, что они интеллектуальные, а не чувственные, что это вторичные, а не первичные психические факты. Говорят, что искаженная фигура - это фигура, которую разум заставляют вообразить, ошибочно делая

бессознательные выводы из некоторых предпосылок, о которых он не имеет четкого представления. И предполагается, что воображаемая фигура достаточно сильна, чтобы подавить восприятие любых реальных ощущений. Но Гельмгольц, Вундт, Дельбёф, Цёльнер и все сторонники бессознательного умозаключения расходятся между собой, когда речь заходит о том, какими могут быть эти бессознательные предпосылки и умозаключения.

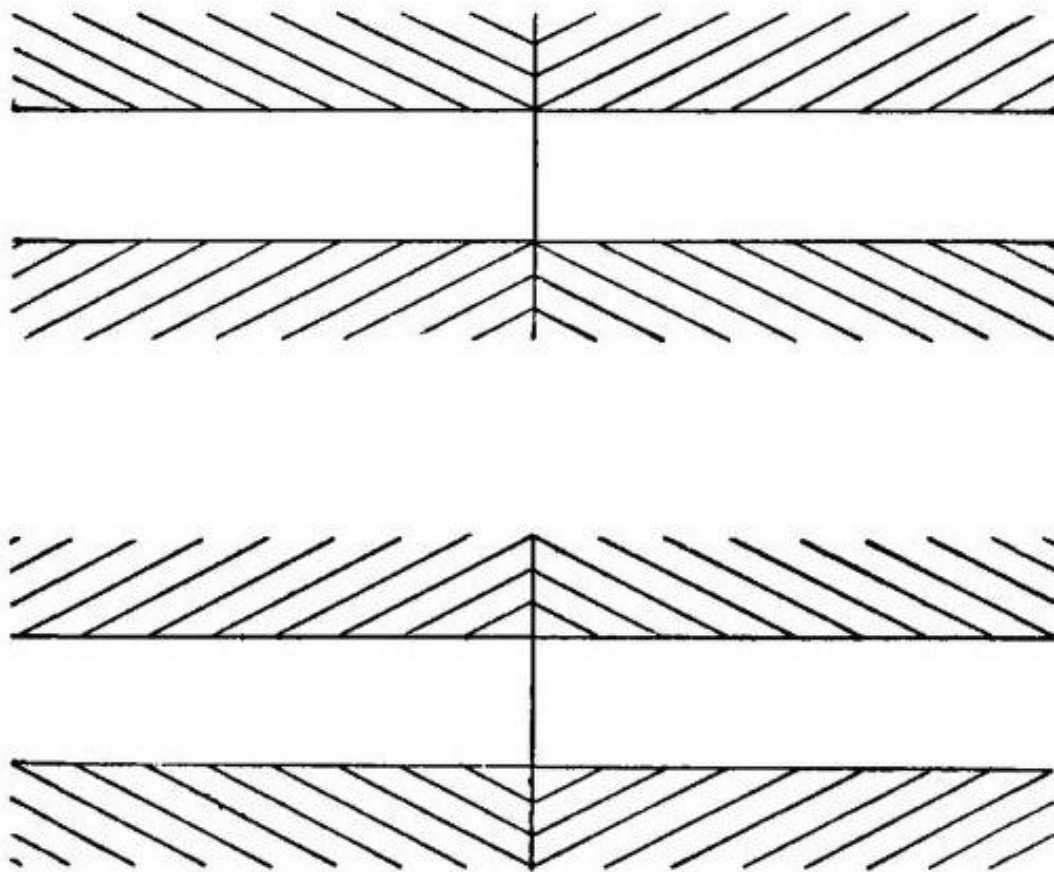


Рис. 67.



Рис. 68.

То, что малые углы выглядят пропорционально большими, чем большие, - это, вкратце, фундаментальная иллюзия, к которой почти все авторы сводят особенность рис. 67, как и рис. 60, 61, 62 (с. 232). Вундт рассматривает эту особенность малых углов как случай, когда заполненное пространство кажется больше, чем пустое, как на рис. 68; и это, согласно и Дельбёфу, и Вундту, объясняется тем, что для перемещения глаза по заполненному пространству требуется больше мышечной иннервации, чем по пустому, поскольку точки и линии в заполненном пространстве неизбежно задерживают и сковывают глаз, и это заставляет нас чувствовать, будто он выполняет большую работу, т.е. преодолевает большее расстояние.^[235] Однако, если вспомнить, что было доказано, что мышечные движения *не* имеют *никакого* отношения к иллюзиям водопада и вращающейся спирали, и что трудно понять, как особая форма мышечного объяснения Вундта и Дельбёфа может быть применима к иллюзии компасной точки, рассмотренной минуту назад, мы должны заключить, что эти

авторы, вероятно, преувеличили, мягко говоря, охват их мышечного объяснения в случае разделенных углов и линий. Никогда мы не испытываем таких сильных мышечных ощущений, как тогда, когда, вопреки природе, обязываем наши глаза быть неподвижными; но фиксация взгляда на одной точке фигуры, отнюдь не заставляющая эту часть казаться больше, у большинства людей полностью рассеивает иллюзию этих диаграмм.

Что касается Гельмгольца, то для объяснения увеличения малых углов он ссылается на [236], который он называет "*законом контраста*" между направлениями и расстояниями линий, аналогичным закону контраста между цветами и интенсивностью света. Линии, пересекающие другую линию, заставляют последнюю казаться более наклоненной в сторону от них, чем она есть на самом деле. Более того, четко различимые величины кажутся большими, чем равные им величины, которые мы лишь смутно ощущаем. Но это, конечно, сенсуалистический закон, родная функция нашего зрительного аппарата. Такой контраст, как и негативное послеображение вращающейся спирали, не может быть выведен из каких-либо ассоциаций идей или воспоминаний о прошлых объектах. Принцип контраста критикуется Вундтом, [237] который говорит, что благодаря ему маленькие пространства должны казаться нам меньше, а не больше, чем они есть на самом деле. Гельмгольц мог бы возразить (если бы это возражение не было столь же фатальным для единообразия его собственного принципа, как и для принципа Вундта), что если мышечное объяснение верно, то оно не должно порождать прямо противоположные иллюзии в коже. На с. 141 мы видели, что разделенные пространства кажутся на коже короче, чем пустые. К приведенным там примерам добавим следующий: Разделите линию на бумаге на равные половины, проколите конечные точки и сделайте проколы вдоль одной из половин; затем кончиком пальца на противоположной стороне бумаги проведите по линии проколов; пустая половина будет казаться намного длиннее проколотов. Это, по-видимому, возвращает нас к не поддающимся анализу законам, в силу которых наше ощущение размера определяется по-разному в коже и в сетчатке глаза, даже если объективные условия одинаковы. Объяснение Герингом фигуры Цёльнера можно найти в Hermann's Handb. d. Physiologie, iii. 1. p. 579. Липпс [238] приводит еще одну причину, по которой линии, пересекающие другую линию, кажутся отогнутыми от нее больше, чем это есть на самом деле. Если, говорит он, мы проведем (рис. 69) линию pt на линии ab и будем следить за ней взглядом, то, достигнув точки t , мы на мгновение соскользнем с ab и пойдем по tp , не осознавая отчетливо, что мы все еще не на главной линии. Это вызывает ощущение, будто остаток tb главной линии немного отклонился от своего первоначального направления. Иллюзия проявляется в форме кажущегося сближения концов b, b , двух главных линий. Это, на мой взгляд, было бы более удовлетворительным объяснением данного класса иллюзий, чем любое из тех, которые давали предыдущие авторы, если бы не то, что происходит в коже.

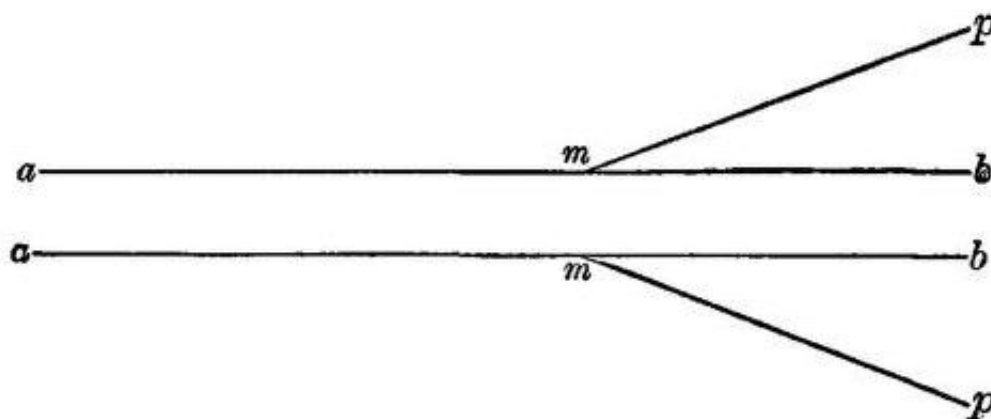


Рис. 69.

Учитывая все обстоятельства, я чувствую себя вправе отбросить всю его партию иллюзий как не имеющую отношения к нашему нынешнему исследованию. Что бы они ни доказывали, они не доказывают, что наши зрительные восприятия формы и движения не могут быть так называемыми ощущениями. Гораздо более вероятно, что они соответствуют явлениям иррадиации и цветового контраста, а также примитивным иллюзиям движения Виерордта. Они показывают нам, если вообще показывают, царство ощущений, в котором наш привычный опыт еще не оставил следов, и которые сохраняются, несмотря на наше лучшее знание, не вызывая суггестии к тем другим пространственным ощущениям, которые, как мы все время знаем из внешних свидетельств, составляют реальные пространственные детерминации диаграммы. Очень вероятно, что если бы эти ощущения были столь же частыми и практически важными, как сейчас они незначительны и редки, мы бы закончили тем, что заменили бы их значениями - реальными пространственными величинами диаграмм. Тогда нам будет казаться, что мы видим их непосредственно, и иллюзии исчезнут, как иллюзии о размере зубной впадины, когда зуб уже неделю как вылез.

(b) Другая группа случаев, которые мы можем отбросить, - это случаи двойных изображений. Убеденный антисенсуалист должен отрицать всякую врожденную тенденцию видеть двойные изображения, когда стимулируются разрозненные точки сетчатки, потому что, по его словам, большинство людей никогда их не получают, а видят все вещи одиночными, которые опыт заставил их считать одиночными. "Может ли двоение, так легко нейтрализуемое нашими знаниями, вообще быть данностью ощущения?" - мог бы спросить такой антисенсуалист.

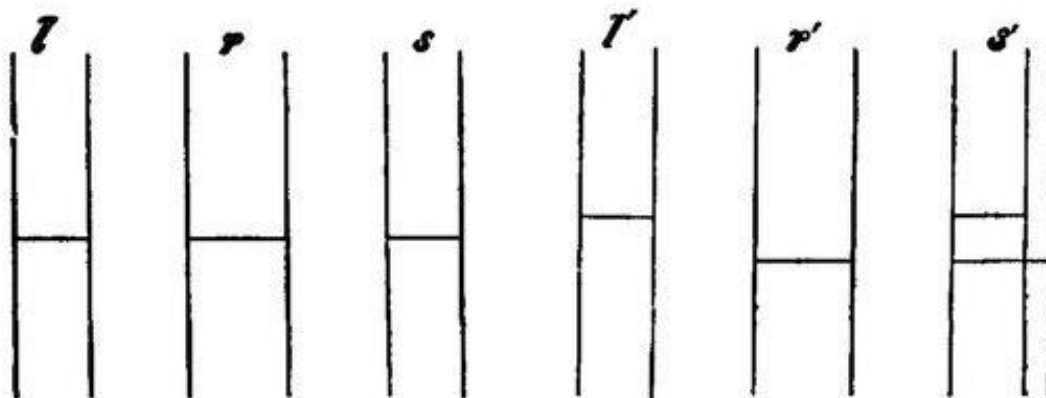


Рис. 70.

На это можно ответить, что *это* данность ощущения, но данность, которая, как и многие другие данные, должна быть сначала дискриминирована. Как правило, ни одно из чувственных качеств не различается без мотива.^[239] А те качества, которые впоследствии мы научились различать, изначально ощущались нами как нечто непонятное. Точно так же можно представить, что голос или запах, которые мы научились различать, теперь не являются ощущениями. Можно легко приобрести навык различения двойных изображений, хотя, как говорит Геринг, это искусство, которым нельзя овладеть ни за год, ни за два. Для таких мастеров, как сам Геринг или Ле Конте, обычные стереоскопические диаграммы малопригодны. Вместо того чтобы объединяться в единое целое, они просто пересекают друг друга своими удвоенными линиями. Фолькманн показал множество способов, с помощью

которых добавление вторичных линий, различающихся в двух полях, помогает нам увидеть двойные первичные линии. Эффект аналогичен тому, который мы наблюдали в случаях, описанных минуту назад, где данные линии изменяют свое пространственное значение путем добавления новых линий, причем мы не можем сказать почему, за исключением того, что определенное взаимное сцепление линий и модификация результирующего ощущения происходит по психофизиологическим законам. Так, если на рис. 70 линии l и r пересекаются горизонтальной линией на одном уровне и рассматриваются стереоскопически, то в пространстве они выглядят как одна пара линий s . Но если горизонталь находится на разных уровнях, как в l' , r' , появляются три линии, как в s'' .^[240]

Не будем больше говорить о двойных изображениях. Факты доказывают лишь то, о чем говорит Фолькманн:^[241] что, хотя могут существовать наборы волокон сетчатки, организованные таким образом, чтобы создавать впечатление двух отдельных пятен, возбуждение других волокон сетчатки может подавить эффект первого возбуждения и помешать нам действительно произвести различие. Однако еще более отдаленные процессы в сетчатке могут привести к тому, что удвоение попадет в поле зрения; и, попав туда, оно станет таким же подлинным ощущением, как и все, что дает нам жизнь.^[242]

(с) Если исключить эти группы иллюзий, либо как случаи дефектного различения, либо как смену одного пространственного ощущения другим при изменении общего процесса в сетчатке, то остаются еще две группы, которые могут нас озадачить. Первая - это послеобразы, искаженные при проецировании на косые плоскости; вторая связана с нестабильностью наших суждений об относительном расстоянии и размере, которые дает глаз, и включает в себя, в частности, так называемые псевдоскопические иллюзии.

Явления первой группы были описаны на [стр. 232](#). А. В. Фолькманн изучил их с привычной для него ясностью и тщательностью.^[243] Даже воображаемая наклонная стена на картине, если на нее бросить послесвечение, исказит ее форму и заставит нас *увидеть* форму, естественной проекцией которой на сетчатке было бы послесвечение, если бы эта форма лежала на стене. Так, на экране в перспективе нарисована вывеска, и глаз, после того как он пристально посмотрел на прямоугольный крест, переводится на нарисованную вывеску. Последующее изображение появляется на вывеске в виде крестов. Это обратное явление перспективного рисунка, как на рис. 71, на котором действительно косоногие фигуры воспринимаются как прямоугольные кресты.

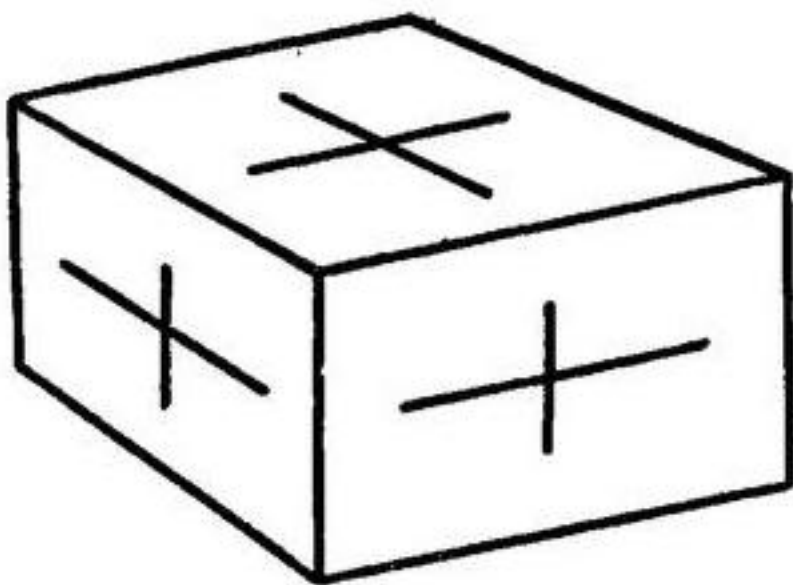


Рис. 71.

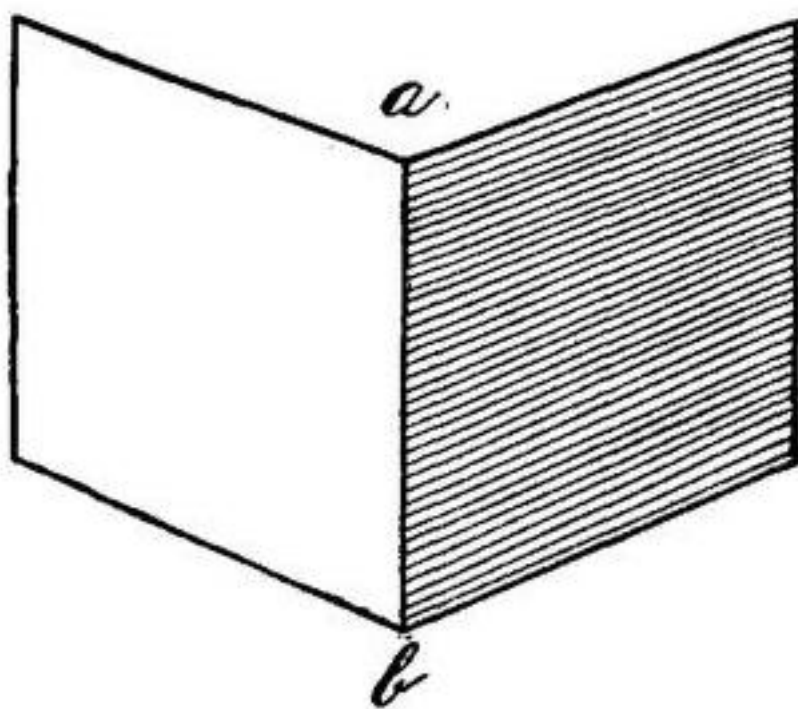


Рис. 72.

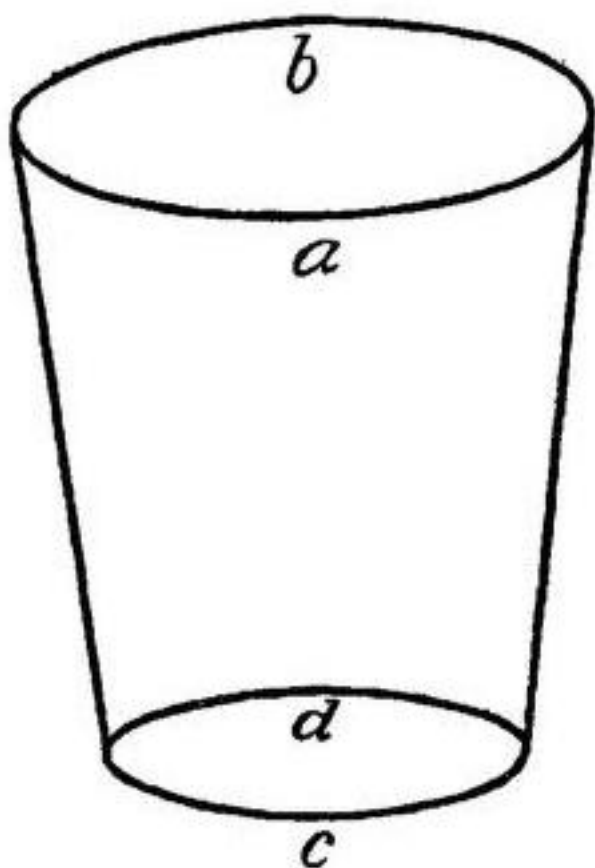


Рис. 73.

Неустойчивые суждения об относительном расстоянии и размере также упоминались на [стр. 231-2](#). Каким бы ни был размер изображения на сетчатке, которое создает объект, он воспринимается как нормального размера. Например, движущийся к нам человек не *увеличивается в размерах*; а мой палец, один сустав которого может с лихвой скрыть его от моего взгляда, тем не менее воспринимается как объект гораздо меньшего размера, чем человек. Что касается расстояний, то часто можно сделать так, чтобы дальняя часть объекта казалась близкой, а ближняя - далекой. Человеческий профиль в инталии, на который пристально смотрят одним глазом или даже обоими, вскоре непреодолимо напоминает барельеф. Внутренняя часть обычной маски из картона, раскрашенная так же, как и внешняя, и рассматриваемая одним глазом в прямом свете, также кажется выпуклой, а не впалой. Иллюзия настолько сильна, после долгой фиксации, что друг, нарисовавший для меня такую маску, сказал, что вскоре мне стало трудно понять, как накладывать кисть. Согните визитную карточку посередине так, чтобы ее половинки образовали угол 90° , больше или меньше; положите ее вертикально на стол, как на рис. 72, и смотрите на нее одним глазом. Вы можете создать впечатление, что она открывается либо в вашу сторону, либо от вас. В первом случае угол ab лежит на столе, и b находится ближе к вам, чем a ; во втором случае ab кажется вертикальным по отношению к столу, как это и есть на самом деле - a находится ближе к вам, чем b .^[244] Снова посмотрите одним или двумя глазами на отверстие винного бокала или тумблера (рис. 73), расположенного выше или ниже уровня глаз. Изображение отверстия на сетчатке представляет собой овал, но мы можем видеть этот овал одним из двух способов: как если бы это был перспективный вид круга, край которого b находится дальше от нас, чем край a (в этом случае мы должны смотреть вниз на круг), или как если бы край a был более удаленным краем (в этом случае мы должны смотреть на него вверх через сторону b бокала). При изменении способа видения края само стекло меняет

свою форму в пространстве, выглядит прямым или кажется наклоненным к глазу или от него,[\[245\]](#) в зависимости от того, находится ли оно под или над ним.

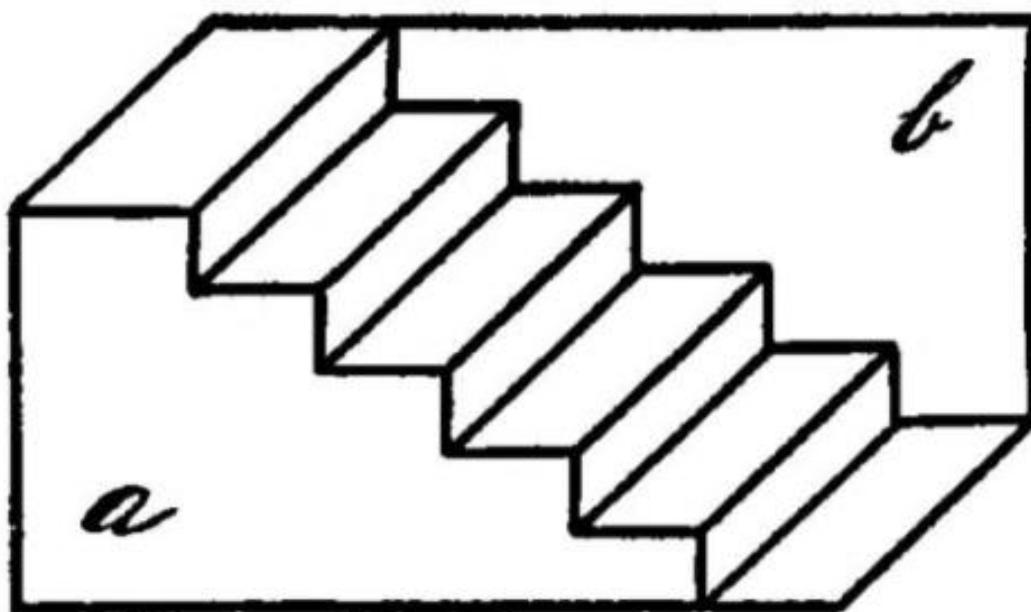


Рис. 74.

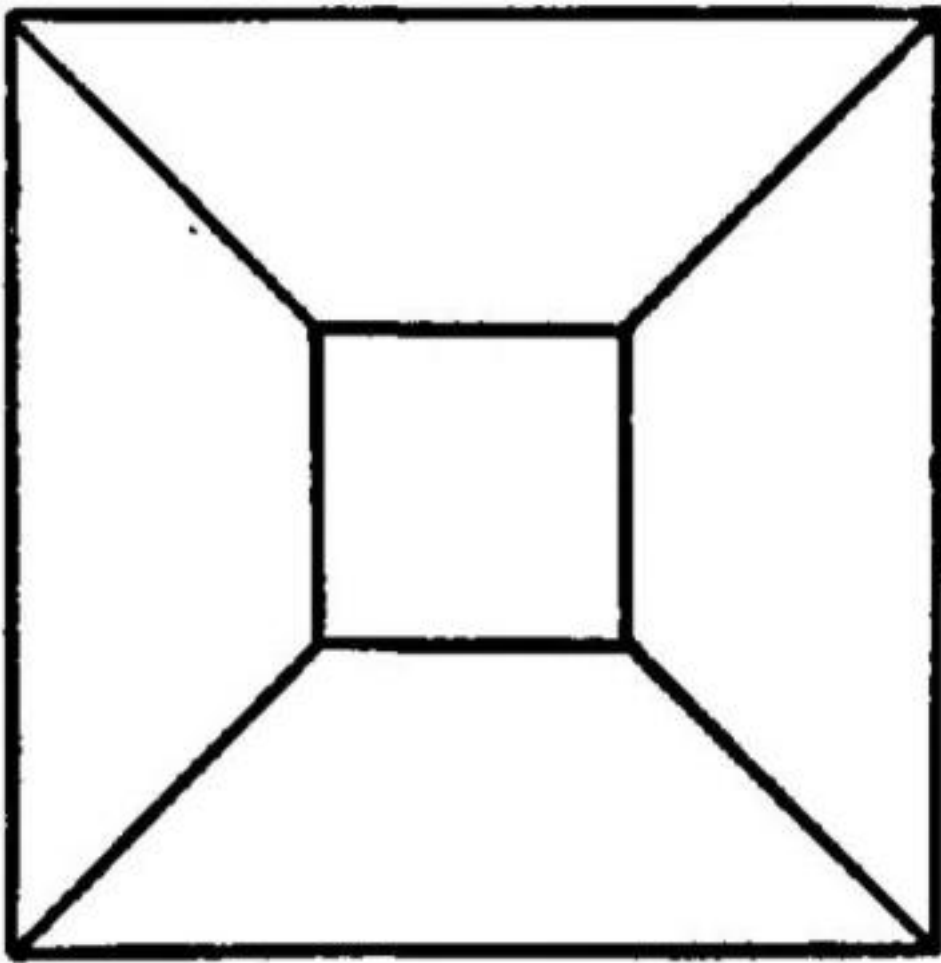


Рис. 75.

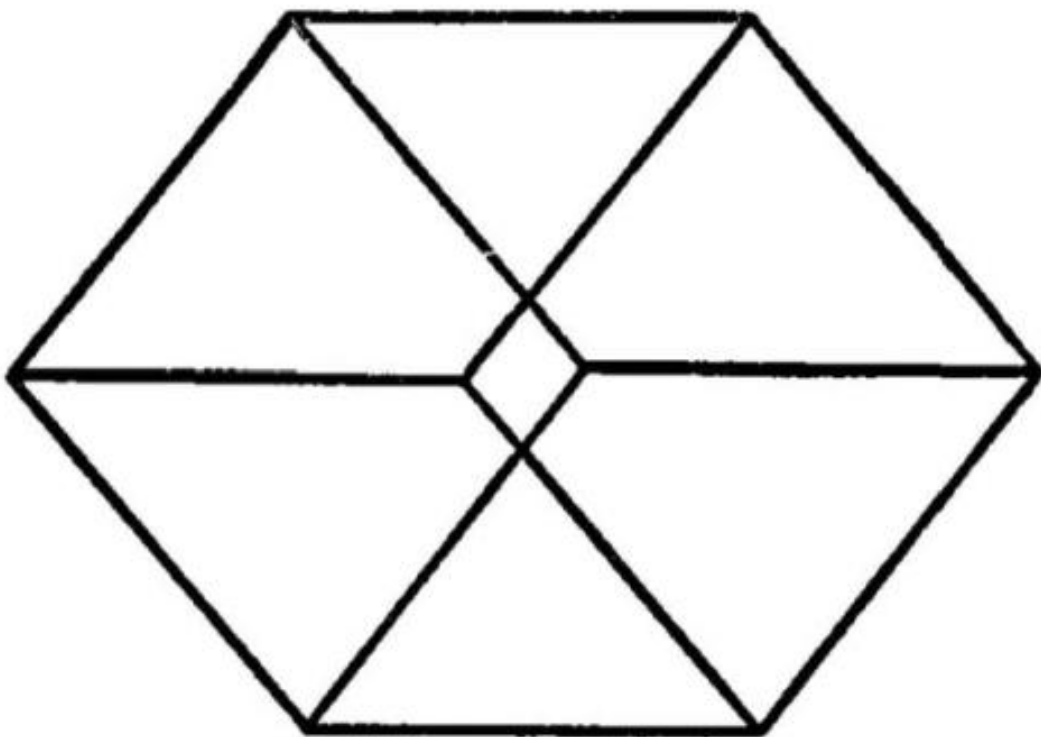


Рис. 76.

Плоскостные диаграммы также могут быть задуманы как твердые тела, причем более чем одним способом. Например, рис. 74, 75, 76 - неоднозначные перспективные проекции, и каждая из них может напоминать два разных природных объекта. Какой бы из этих объектов мы ни представляли себе ясно в момент взгляда на фигуру, мы, кажется, *видим* перед собой ее во всей полноте. Немного практики позволит нам по желанию перекидывать фигуры, так сказать, с одного объекта на другой. Достаточно обратить внимание на один из изображенных углов и представить его либо твердым, либо полым - вытянутым к нам из плоскости бумаги или задвинутым за нее - и вся фигура, повинувшись сигналу, мгновенно преображается под нашим взглядом. [246]

Особенность всех этих случаев заключается в неоднозначности восприятия, к которому приводит фиксированный отпечаток сетчатки. При одинаковом возбуждении сетчатки, будь то послеобразы, маски или диаграммы, мы *видим* то этот объект, то другой, как если бы сетчаточный образ *как таковой* не имел существенного пространственного значения. Конечно, если бы форма и длина были первоначальными ощущениями сетчатки, прямоугольники не должны были бы становиться острыми или тупыми, а линии не должны были бы изменять свою относительную длину, как они это делают. Если бы *облегчение* было оптическим чувством, оно не должно было бы колебаться туда-сюда при неизменности всех оптических условий. Здесь, как нигде, отрицатели пространственных ощущений должны быть в состоянии сделать свой последний шаг. [247]

Надо признать, что на первый взгляд их доводы правдоподобны. Но одно дело - полностью отбросить чувствительность сетчатки как пространственную функцию в тот момент, когда мы обнаруживаем двусмысленность в ее проявлениях, а другое - откровенно изучить условия, которые могли привести к этой двусмысленности. Первый способ - дешевый, оптовый, неглубокий; второй - трудный и сложный, но в итоге полный поучительности. Давайте попробуем сами.

В случае с диаграммами 72, 73, 74, 75, 76 реальный объект, линии, встречающиеся или пересекающиеся на плоскости, заменен *воображаемым твердым телом, которое мы описываем как видимое. На самом деле она не видна, а лишь так ярко представлена, что приближается к видению реальности.* Однако мы все время чувствуем, что предполагаемое твердое тело не является таковым на самом деле. *Причина*, по которой одно твердое тело может казаться более легким, чем другое, и *почему в целом легче воспринимать диаграмму твердой, чем плоской, объясняется, по-видимому, вероятностью.* [248] В нашем прошлом опыте эти линии бесчисленное количество раз рисовались на нашей сетчатке твердыми телами за то время, что мы видели их плоскими на бумаге. И сотни раз мы смотрели вниз на верхнюю поверхность параллелопипедов, лестниц и стаканов за то, что смотрели вверх на их дно - поэтому мы видим твердые тела легче всего, как бы сверху.

Привычка или вероятность, кажется, также управляют иллюзией инталийного профиля и полый маски. Мы *никогда не видели* человеческого лица, кроме как в рельефе - отсюда и случай, когда нынешние ощущения пересиливают. Отсюда и то упорство, с которым человеческие лица и формы, а также другие чрезвычайно знакомые выпуклые объекты отказываются казаться полыми при просмотре через псевдоскоп Уитстоуна. Наше восприятие, кажется, привязано к определенным тотальным способам видения

определенных объектов. В тот момент, когда объект вообще предлагается, он овладевает сознанием во всей полноте своей стереотипной привычной формы. Этим объясняется внезапность трансформаций при изменении восприятия. Объект полностью переходит от того к другому, знакомому, а сомнительные, неопределенные и составные вещи исключаются, видимо, потому, что мы *не привыкли* к их существованию.

Когда мы переходим от диаграмм к реальной сложенной визитной карточке и к реальному стакану, воображаемая форма кажется столь же реальной, как и правильная. Карточка переворачивается, ободок стакана наклоняется то в одну, то в другую сторону, как будто какая-то внутренняя пружина внезапно разжалась в нашем глазу. При этих изменениях реальное изображение на сетчатке получает различные *дополнения от разума*. Но примечательно то, что дополнение и образ настолько полно сочетаются, что становятся единой плотью и не могут быть различимы в результате. Если дополнение, как мы его называли (на [стр. 237-8](#)), представляет собой набор воображаемых отсутствующих ощущений глаза, то они кажутся ничуть не менее яркими, чем ощущения, которые глаз получает сейчас извне.

Случай с послеобразами, искаженными проецированием на наклонную плоскость, еще более странен, поскольку воображаемая перспективная фигура, лежащая в плоскости, кажется, не столько сочетается с той, которую глаз видел мгновение назад, сколько подавляет ее и занимает ее место.[\[249\]](#) Итак, во всем этом нужно объяснить, как получилось, что, когда воображаемые ощущения обычно настолько уступают по живости реальным, в этих немногих случаях они оказываются почти или совсем им соответствующими.

Загадка разрешается, когда мы отмечаем класс, к которому принадлежат все эти переживания. Они являются "восприятиями" определенных "вещей", определенно расположенных в трехмерном пространстве. Разум единообразно использует свои ощущения для *идентификации вещей*. Ощущение неизменно сопровождается идеей, именем или "нормальным" аспектом ([р. 238](#)) *вещи*. Особенностью *оптических* признаков вещей является их необычайная изменчивость. Вещь", за которой мы следим глазом, никогда не сомневаясь в ее физической идентичности, будет беспрестанно менять свой ретинальный образ. Крест, кольцо, развевающиеся в воздухе, пройдут через все мыслимые угловые и эллиптические формы. Однако все время, пока мы смотрим на них, мы сохраняем представление об их "реальной" форме, мысленно сочетая полученные картинки с представлениями о своеобразных положениях в пространстве. Мы воспринимаем не крест и кольцо в чистом виде, а крест, *который так держат*, и кольцо, *которое так держат*. С самого рождения мы каждый час своей жизни стремимся *исправить* кажущуюся форму вещей и перевести ее в реальную, отмечая, как они расположены или держатся. Ни в одном другом классе ощущений не происходит такой непрерывной коррекции. Что же удивительного в том, что понятие "так расположено" должно непреодолимо оказывать свое привычное корректирующее воздействие, даже когда объект, с которым оно сочетается, является лишь послеобразом, и заставлять нас воспринимать последний под измененной, но более "реальной" формой? Реальная" форма - это тоже ощущение, вызванное памятью; но оно настолько *вероятно*, настолько *привычно*, когда мы имеем именно такую комбинацию оптических впечатлений, что обладает непобедимой свежестью реальности и, кажется, пробивает тот закон, который в других местах обрекает репродуктивные процессы быть гораздо более слабыми, чем ощущения.

И снова эти случаи образуют крайность. Где-то в списке наших фантазий об отсутствующих чувствах должно быть найдено самое яркое из всех. Эти оптические репродукции реальной формы - самые яркие из всех. Глупо рассуждать на основе случаев,

лежащих ниже по шкале, чтобы доказать, что шкала не может содержать таких крайних случаев, как эти; и особенно глупо, поскольку мы можем определенно видеть, почему эти воображения должны быть более яркими, чем любые другие, всякий раз, когда они вспоминают формы привычных и вероятных вещей. Эти последние, постоянно повторяясь и воспроизводясь, прокладывают глубокие борозды в нервной системе. В соответствии с ними будут разработаны пути наименьшего сопротивления, неустойчивого равновесия, способные стать активными во всей своей совокупности, когда какая-либо точка будет затронута. Даже когда объективный стимул несовершенен, мы все равно будем *видеть* полную выпуклость человеческого лица, правильный наклон угла или размах кривой, или расстояние между двумя линиями. Наш ум будет подобен многограннику, грани которого - это те позиции восприятия, на которые ему легче всего опираться. Они надеты на него *привычными* объектами, и от одной из них он может перейти, только перевернувшись в другую.[250]

Геринг хорошо объяснил сенсационно яркий характер этих привычно воспроизводимых форм. Он говорит: после того, как напомнил нам, что каждое зрительное ощущение связано с физическим процессом в нервном аппарате:

"Если этот психофизический процесс возбуждается, как это обычно бывает, световыми лучами, падающими на сетчатку, то его форма зависит не только от природы этих лучей, но и от конституции всего нервного аппарата, связанного с органом зрения, и от того *состояния*, в котором он находится. Один и тот же раздражитель может вызывать совершенно разные ощущения в зависимости от этого состояния.

"Формирование нервного аппарата, естественно, частично зависит от врожденной предрасположенности; но *совокупность* воздействий, оказываемых на него раздражителями в течение жизни, независимо от того, поступают ли они через глаза или из других мест, является одним из факторов его развития. Говоря иначе, произвольный и добровольный опыт и упражнения помогают определить материальную структуру нервного органа зрения, а значит, и способы, которыми он может реагировать на изображение на сетчатке как на внешний стимул. То, что опыт и упражнения вообще возможны в зрении, является следствием репродуктивной способности, или памяти, его нервной субстанции. Каждая конкретная активность органа делает его более подходящим для повторения *того же самого*; требуются все более легкие прикосновения, чтобы повторение произошло. Орган привыкает к повторяющейся деятельности.....

"Предположим, что в первом опыте сложных ощущений, вызванных определенным изображением на сетчатке, некоторые части были сделаны особым объектом внимания. При повторении чувственного опыта окажется, что, несмотря на идентичность внешнего стимула, эти части будут воспроизведены более легко и сильно; и когда это произойдет сто раз, неравенство, с которым различные составляющие сложного ощущения обращаются к сознанию, станет еще больше.

"Теперь, при нынешнем состоянии наших знаний, мы не можем утверждать, что и в первое, и в последнее появление рассматриваемого изображения на сетчатке вызывается одно и то же *чистое ощущение*, но что в последний раз разум *интерпретирует* его иначе в результате опыта; ибо единственные известные нам вещи - это, с одной стороны, изображение на сетчатке, которое оба раза одно и то же, а с другой - ментальное восприятие, которое оба раза разное; о третьей вещи, такой как чистое ощущение, интерполированное между изображением и

восприятием, мы ничего не знаем. Поэтому, если мы хотим избежать гипотез, мы должны просто сказать, что нервный аппарат реагирует в последний раз иначе, чем в первый, и дает нам в результате другую группу ощущений".

"Но не только при повторении одного и того же изображения на сетчатке, но и при повторении похожих изображений будет действовать этот закон. Части изображения, общие для последовательных опытов, будут пробуждать в нервном аппарате более сильный отклик, чем другие части. Отсюда следует, что *репродукция обычно избирательна*: более сильно реверберирующие части картины вызывают более сильные чувства, чем остальные. Это может привести к тому, что последние будут упущены из виду и как бы исключены из восприятия. Может даже случиться так, что вместо исключенных по собственному желанию частей в сознание приходят ощущения от совершенно других элементов - элементов, объективно не содержащихся в стимуле. Группа ощущений, а именно, для которой сильная тенденция к воспроизведению стала, путем частого повторения, укоренилась в нервной системе, легко возрождается как *целое*, когда возвращается не весь ее ретинальный образ, а только существенная его часть. В этом случае мы получаем некоторые ощущения, для которых не существует адекватного стимула в ретинальном изображении, и которые обязаны своим существованием исключительно репродуктивной силе нервного аппарата. Это *дополнительное (ergänzende) воспроизведение*.

"Таким образом, достаточно нескольких точек и несвязных штрихов, чтобы мы увидели человеческое лицо, и без специально направленного внимания мы не замечаем, что видим многое, что на самом деле не нарисовано на бумаге. Внимание покажет, что контуры были неполными в тех местах, где мы считали их полными..... Части восприятия, получаемые при дополнительном воспроизведении, зависят, однако, так же, как и другие его части, от реакции нервного аппарата на изображение на сетчатке, хотя эта реакция может быть не прямой, в случае с получаемыми частями. И пока они присутствуют, мы имеем полное право называть их ощущениями, поскольку они ничем не отличаются от тех ощущений, которые соответствуют реальному стимулу на сетчатке. Часто, однако, они не являются постоянными; многие из них могут быть исключены при более тщательном наблюдении, но это не доказано в случае с all..... При видении одним глазом ... распределение частей в третьем измерении является по существу работой этого дополнительного воспроизведения, т.е. прежнего опыта..... Когда определенный способ локализации конкретной группы ощущений становится для нас второй натурой, наше лучшее знание, наше суждение, наша логика оказываются бесполезными..... Вещи, в действительности отличающиеся друг от друга, могут давать сходные или почти идентичные изображения на сетчатке; например, объект, вытянутый в трех измерениях, и его плоское перспективное изображение. В таких случаях часто от мелких случайностей, а особенно от нашей воли зависит, будет ли возбуждена та или иная группа ощущений..... Мы можем видеть рельеф полым, как слепок, или *наоборот*; ведь рельеф, освещенный слева, может выглядеть так же, как его слепок, освещенный справа. Размышляя об этом, по направлению теней можно сделать вывод, что перед нами рельеф, и представление о нем направит нервные процессы по нужному пути, так что *ощущение* рельефа внезапно пробудится..... Когда изображение на сетчатке имеет такую природу, что два различных способа реакции со стороны нервного аппарата, так сказать, одинаково или почти одинаково неизбежны, от мелких случайностей должно зависеть, будет ли реализована та или иная реакция. В этих случаях наши предыдущие знания часто

оказывают решающее влияние и помогают правильному восприятию одержать победу. Голое представление о нужном объекте само по себе является слабым воспроизведением, которое с помощью правильной сетчатой картины перерастает в ясное и живое ощущение. Но если в нервном аппарате еще нет предрасположенности к производству того восприятия, которое наше суждение говорит нам, что оно правильное, наше знание тщетно пытается вызвать ощущение этого; тогда мы знаем, что видим нечто, чему не соответствует реальность, но мы все равно видим это".[251]

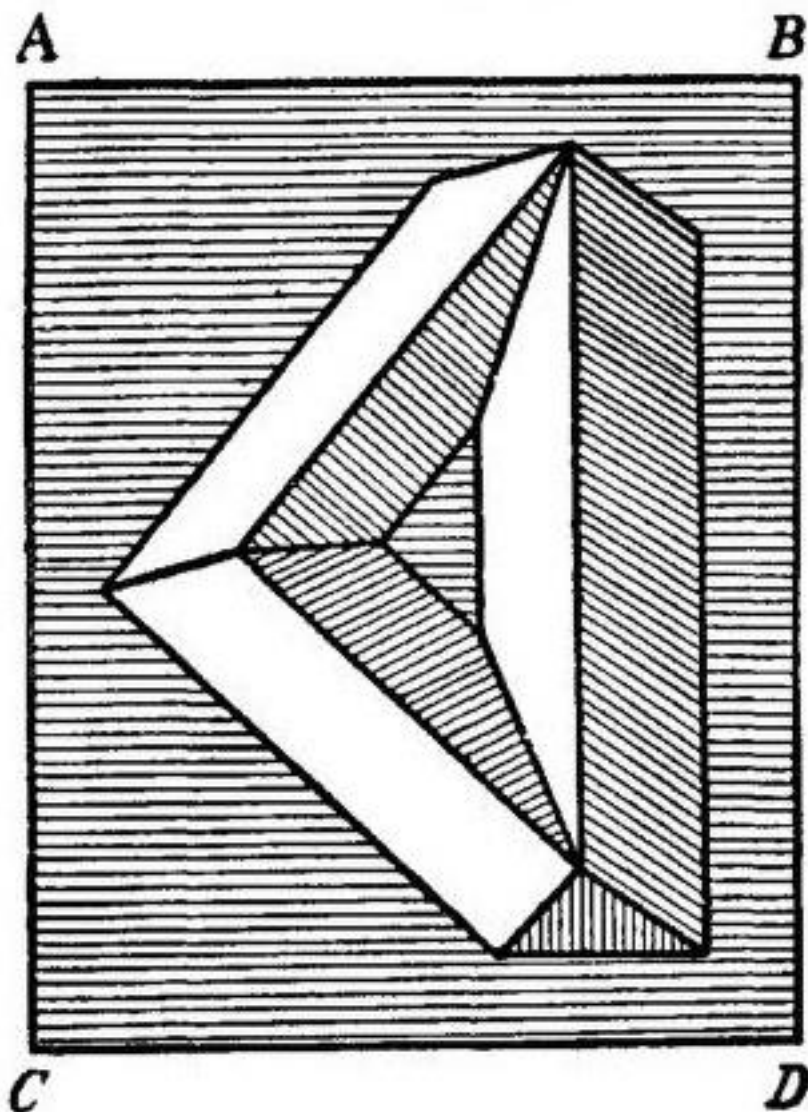


Рис. 77.

Заметьте, что ни один объект, не являющийся вероятным, ни один объект, который мы не упражняемся в воспроизведении, не может приобрести такую живость в воображении. Объективные углы постоянно меняют свои углы к глазам, пространства - свои видимые размеры, линии - свое расстояние. Но ни при какой трансформации положения в пространстве объективная прямая линия не кажется изогнутой, и только в одном положении из бесконечности ломаная линия выглядит прямой. Соответственно, невозможно, проецируя изображение прямой линии на две поверхности, составляющие друг с другом телесный угол, придать самой линии ощутимый "изгиб". Посмотрите с ее помощью на угол вашей комнаты: последующее изображение, которое может перекрывать все три поверхности угла, все

равно остается прямым. Фолькманн построил сложную проекционную поверхность, подобную той, что нарисована на рис. 77, но он обнаружил, что невозможно так наложить на нее прямое послеизображение, чтобы изменить ее видимую форму.

Одна из ситуаций, в которой мы чаще всего видим вещи, - это распластанные на земле перед нами предметы. Нас постоянно учат делать поправку на *эту* перспективу и приводить вещи к их реальной форме, несмотря на оптическое искажение. Поэтому, если предыдущие объяснения верны, мы должны обнаружить, что эта привычка является неизменной. *Нижняя* половина сетчатки, которая привычно видит *дальнюю* половину предметов, разложенных на земле, должна была приобрести привычку увеличивать свои изображения с помощью воображения, чтобы сделать их более чем равными тем, которые попадают на верхнюю поверхность сетчатки; и от этой привычки должно быть трудно избавиться, даже когда обе половины объекта равноудалены от глаза, как в случае с вертикальной линией на бумаге. Дельбёф, соответственно, обнаружил, что если попытаться рассечь такую линию, то точка деления окажется примерно на половину ее длины. [\[252\]](#)

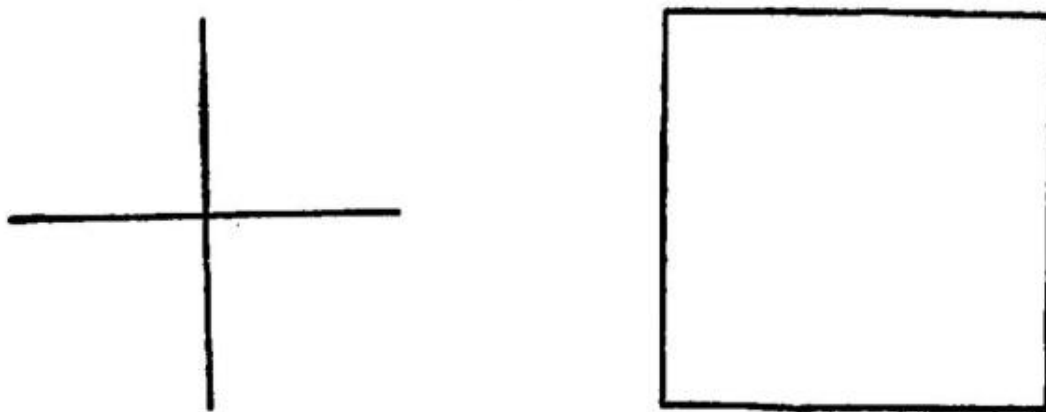


Рис. 78.

Точно так же квадратный крест или квадрат, нарисованный на бумаге, должен казаться выше, чем он есть в ширину. В том, что это действительно так, читатель может убедиться, взглянув на рис. 78. По аналогичным причинам верхняя и нижняя половины буквы S или цифры 8 почти не отличаются друг от друга. Но если перевернуть их вверх ногами, то верхняя половина выглядит гораздо крупнее. [\[253\]](#)

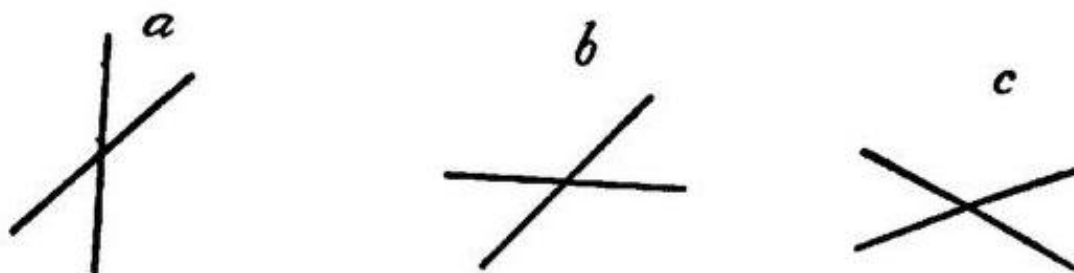


Рис. 79.

Геринг пытался объяснить наше преувеличение малых углов таким же образом. С прямыми углами мы связаны больше, чем с любыми другими: прямые углы, по сути, представляют

совершенно уникальный интерес для человеческого разума. Природа их почти не рождает, но мы мыслим пространство с их помощью и ставим их повсюду. Поэтому тупые и острые углы, всегда являющиеся ракурсами прямых углов, особенно легко воскрешают в памяти прямые углы. Трудно смотреть на такие фигуры, как a , b , c на рис. 79, не видя их в перспективе, как приближения, по крайней мере, к ракурсным прямоугольным формам.[254]

В то же время подлинная сенсационная форма линий перед нами во всех случаях искажения предложенной перспективой может быть правильно воспринята умом, способным полностью абстрагироваться от понятия перспективы. Способность к абстрагированию у каждого своя. Художественное обучение совершенствует ее, так что через некоторое время ошибки в вертикальном разрезе, в оценке высоты относительно ширины и т. д. становятся невозможными. Другими словами, мы учимся воспринимать оптические ощущения в чистом виде.[255]

Подводя итог изучению иллюзий, можно сказать, что они ни в коем случае не подрывают нашу точку зрения о том, что любое пространственное определение вещей изначально дается в виде ощущения глазами. Они лишь показывают, насколько сильными могут стать некоторые воображаемые ощущения глаз.

Эти ощущения, в той мере, в какой они вызывают в сознании определенные формы, являются, по-видимому, исключительно ретинальными. Движения глазных яблок играют большую роль в формировании нашего восприятия, это правда; но они не имеют никакого отношения к формированию какого-либо единого ощущения формы. Их функция сводится к возбуждению различных ощущений формы путем прослеживания полос сетчатки, а также к их сравнению и сопоставлению друг с другом путем наложения различных частей поверхности сетчатки на одну и ту же объективную вещь. Анализ Гельмгольцем фактов нашего "измерения поля зрения", за исключением пары оплошностей, мастерски выполнен и, кажется, доказывает, что движения глаза сыграли определенную роль в возникновении у нас чувства эквивалентности сетчатки - эквивалентности, разумеется, различных форм и размеров сетчатки, а не самих форм и размеров. Суперпозиция - это способ, с помощью которого движения глаз достигают этого результата. Объект прослеживает линию АВ на периферийном участке сетчатки. Мы быстро перемещаем глаз так, чтобы тот же объект проследил линию ab на центральном участке. После этого, на наш взгляд, АВ и ab считаются эквивалентными. Но, как признает Гельмгольц, суждение об эквивалентности не зависит от того, как мы можем ощущать форму и длину нескольких изображений на сетчатке:

"Сетчатка подобна паре компасов, острия которых мы последовательно прикладываем к концам нескольких линий, чтобы увидеть, сходятся они по длине или нет. Все, что нам нужно знать о компасах, это то, что расстояние между их точками остается неизменным. Каково это расстояние и какова форма компасов - вопрос неважный".[256]

Измерение предполагает наличие материала для измерения. Ощущения сетчатки дают материал; объективные вещи образуют мерило; движение выполняет операцию измерения, которая, конечно, может быть хорошо выполнена только там, где можно заставить один и тот же объект попасть на многие тракты сетчатки. Это практически невозможно там, где тракты составляют широкий угол друг с другом. Но есть определенные направления в поле зрения, определенные линии сетчатки, по которым особенно легко

заставить изображение объекта скользить. Объект становится "линейкой" для этих линий, по выражению Гельмгольца,^[257] заставляя их казаться прямыми на всем протяжении, если объект выглядел для нас прямым в той их части, на которой он был наиболее отчетливо виден.

Но вся эта необходимость наложения показывает, насколько лишены точного пространственного значения ощущения движения *как таковые*. Как мы сравниваем пространственную ценность двух трактов сетчатки, накладывая их последовательно на одну и ту же объективную линию, так же мы должны сравнивать пространственную ценность объективных углов и линий, накладывая их на один и тот же тракт сетчатки. Ни та, ни другая процедура не потребовались бы, если бы движения глаз воспринимались сразу, например, с помощью чистого мышечного чувства или иннервации, как отдельные длины и направления в пространстве. Тогда для сравнения трактов сетчатки достаточно было бы просто заметить, как ощущается перемещение по ним *любого* изображения. И две объективные линии можно было бы сравнивать, как перемещая по ним различные тракты сетчатки, так и прокладывая их вдоль одной и той же. Сравнить непараллельные фигуры было бы так же легко, как сейчас судить о параллельных.^[258] Те из них, для прохождения которых требуется одинаковое количество движения, были бы равны, в каком бы направлении ни происходило движение.

ОБЩЕЕ РЕЗЮМЕ.

На этом мы можем закончить наше длинное и, боюсь, для многих читателей утомительное исследование. Факты о зрении представляют собой запутанные джунгли; и тех, кто глубоко вникнет в физиологическую оптику, больше поразят наши упущения, чем обилие деталей. Но для студентов, которые, возможно, упустили из виду лес за деревьями, я вкратце изложу суть наших аргументов с самого начала, а затем перейду к краткому историческому обзору, который сделает их более рельефными.

Все наши ощущения являются позитивно и необъяснимо обширными целыми.

Ощущения, способствующие восприятию *пространства*, по-видимому, относятся исключительно к поверхности кожи, сетчатке и суставам. Мышечные ощущения не играют заметной роли в формировании наших ощущений формы, направления и т. д.

Общая величина кожных или ретинальных ощущений вскоре подразделяется дискриминационным вниманием.

Движения помогают этому процессу благодаря особому возбуждающему свойству ощущений, которые вызывают стимулы, перемещающиеся по поверхности.

Подразделения, будучи разграниченными, приобретают определенные отношения положения друг к другу в общем пространстве. Эти "отношения" сами по себе являются ощущениями вмещающих подразделений. Когда эти подразделения не являются местом действия стимулов, отношения воспроизводятся только в воображаемой форме.

Различные пространства ощущений, в первую очередь, несопоставимы друг с другом; примитивно и они, и их подразделения лишь смутно сопоставимы по объему и форме.

Воспитание нашего пространственного восприятия состоит в основном из двух процессов - приведения различных ощущений к общей *мере* и *сложения их* в единое всеохватывающее пространство реального мира.

И измерение, и сложение осуществляются с помощью *вещей*.

Воображаемая совокупность позиций, занимаемых всеми реальными или возможными, движущимися или неподвижными вещами, которые мы знаем, и есть наше представление о "реальном" пространстве - очень неполное и смутное представление во всех умах.

Соизмерение наших ощущений пространства друг с другом происходит главным образом за счет последовательного возбуждения различных ощущений одной и той же *вещью*, выбора определенных ощущений в качестве ощущений ее *реального* размера и формы и низведения других до статуса просто их *признаков*.

Для последовательного применения одной и той же вещи к разным дающим пространство поверхностям движение необходимо, и поэтому оно играет большую роль в нашем пространственном воспитании, особенно в воспитании глаза. Если рассматривать абстрактно, то движение предмета по чувствительной поверхности воспитывает нас не хуже, чем движение поверхности по предмету. Но самодвижение органа, несущего поверхность, значительно *ускоряет* результат.

В полностью образованном пространственном восприятии текущее ощущение обычно является тем, что Гельмгольц (Physiol. Optik, p. 797) называет "знаком, толкование значения которого оставлено на усмотрение". Но понимание в этом процессе исключительно репродуктивно и никогда продуктивно; его функция ограничивается припоминанием предыдущих пространственных ощущений, с которыми было связано данное ощущение и которые могут быть признаны более реальными, чем оно.

Наконец, это воспроизведение может быть в случае определенных визуальных форм столь же ярким или почти столь же ярким, как и реальные ощущения.

Третье измерение является исходным элементом всех наших пространственных ощущений. В глазу оно подразделяется с помощью различных дискриминаций. Более отдаленные подразделения часто полностью закрыты и, будучи подавленными, имеют эффект уменьшения абсолютной пространственной ценности общего поля зрения.[\[259\]](#)

ИСТОРИЯ.

В заключение приведем краткий исторический обзор. Первым достижением в изучении пространственного восприятия стала теория зрения Беркли. Она была направлена на установление двух моментов: во-первых, что *расстояние* - это не зрительная, а осязательная форма сознания, предполагаемая зрительными знаками; во-вторых, что не существует единого качества или "идеи", общей для ощущений осязания и зрения, такой, что до опыта можно было бы предвидеть по виду объекта что-либо о его ощущаемом размере, форме или положении, или по осязанию - что-либо о его виде.

Другими словами, то примитивно хаотичное или полухаотичное состояние наших различных пространств ощущений, которое мы продемонстрировали, было навсегда установлено Беркли; и он завещал психологии проблему описания того, как эти представления гармонизируются, чтобы все они относились к одному и тому же расширенному миру.

Его ученики в Великобритании решили эту проблему по примеру Беркли и в значительной степени так же, как это сделали мы сами, - с помощью идей различных органов чувств, подсказывающих друг другу в результате ассоциации. Но, то ли потому, что они были

опьянены принципом ассоциации, то ли потому, что в количестве деталей они потеряли общие ориентиры, они забыли, как правило, указать, *под какой чувственной формой находятся примитивные пространственные впечатления*, которые позже стали ассоциироваться с таким количеством других чувственных признаков. Не обращая внимания на наставление своего учителя Локка о том, что разум не может создать для себя ни одной новой простой идеи, они, похоже, по большей части пытаются *объяснить само экстенсивное качество*, объяснить и развить его путем простого объединения чувств, которые первоначально им не обладали. Вначале они испаряют природу протяженности, делая ее равнозначной простому "сосуществованию", а затем объясняют сосуществование как то же самое, что и *последовательность*, при условии, что это чрезвычайно быстрая или обратимая последовательность. Таким образом, восприятие пространства возникает, нигде не постулируясь. Единственные постулируемые вещи - это нерасширенные чувства и время. Томас Браун говорит (лекция ххiii.): "Я склонен обратить вспять именно тот процесс, который обычно предполагается; и вместо того, чтобы выводить меру времени из протяженности, вывести знание и первоначальную меру протяженности из времени". Браун и оба Милля считают, что ощущения сетчатки, цвета, в их примитивном состоянии, ощущаются без протяженности, и что последняя просто становится неразрывно связанной с ними. Джон Милль говорит: "Каким бы ни было впечатление, производимое на сетчатку линией, ограничивающей два цвета, я не вижу оснований думать, что с помощью одного только глаза мы могли бы получить представление о том, что мы сейчас имеем в виду, когда говорим, что один из цветов находится вне [рядом] с другим".[260]

Откуда же берется расширение, которое так неразрывно связано с этими нерасширенными цветными ощущениями? Из "размаха и движения" *глаз* - из мышечных ощущений. Но, как говорит профессор Бейн, если ощущения движения дают нам какое-либо свойство вещей, "то это, по-видимому, не пространство, а время".[261] А Джон Милль говорит, что "идея пространства - это, в сущности, идея времени".[262] Пространство, таким образом, нельзя найти ни в одном элементарном ощущении, но, по словам Бейна, "как качество, оно не имеет другого происхождения и другого значения, чем *ассоциация* этих различных [непространственных] двигательных и чувствительных эффектов".[263]

Эта фраза звучит достаточно мистически для того, кто понимает ассоциацию как ничего не *производящую*, а только как связывающую вместе то, что уже было произведено отдельными способами. Правда заключается в том, что английская ассоцианистская школа, пытаясь показать, как многого может достичь их принцип, совершенно перегнула палку и выступила с теорией пространственного восприятия, которая в соответствии с общим характером их философии должна вызывать у них отвращение. На самом деле существует только три возможных вида теории относительно пространства. Либо (1) не существует пространственного *качества* ощущений вообще, и пространство - это просто символ последовательности; либо (2) существует *обширное качество, данное сразу* в определенных конкретных ощущениях; либо, наконец, (3) существует *качество, произведенное* из внутренних ресурсов ума, чтобы охватить ощущения, которые, как данные изначально, не являются пространственными, но которые, будучи брошены в пространственную форму, становятся объединенными и упорядоченными. Это последняя кантовская точка зрения. Штумпф восхитительно называет его теорией "психического стимула", в которой грубые ощущения рассматриваются как толчки, побуждающие разум к проявлению его дремлющей силы.

Браун, Миллс и Бэйн на фоне этих возможностей, кажется, сбились с пути, как заблудшие овцы. С "ментальной химией", о которой говорят Миллсы, - это точно то же самое, что и

"психический синтез" Вундта, который, как мы вскоре увидим, является принципом, явно предназначенным для выполнения того, что Ассоциация никогда не сможет выполнить, - они придерживаются третьей точки зрения, но в других местах подразумевают первую. И, находясь между невозможностью получить от простой ассоциации что-либо, не содержащееся в ассоциированных ощущениях, и нежеланием допускать спонтанную ментальную продуктивность, они барахтаются в мрачной дилемме. Мистер Салли присоединяется к ним в том, что я должен назвать неопределенным и колеблющимся способом. Мистер Спенсер, конечно, вынужден претендовать на то, что все психические качества "развиваются" из предшественников, отличных от них самих, так что нам, возможно, не стоит удивляться его отказу придать пространственное качество любому из нескольких элементарных ощущений, из которых вырастает наше пространственное восприятие. Так (Психология, ii. 168, 172, 218):

"Никакая идея протяженности не может возникнуть *при одновременном* возбуждении" множества нервных окончаний, таких как кожа или сетчатка, поскольку это подразумевало бы "знание их относительного положения", то есть "заранее существующую идею особой протяженности, что абсурдно". "Никакие отношения между *последовательными* состояниями сознания не дают сами по себе никакого представления о протяженности". "Мышечные ощущения, сопровождающие движение, совершенно отличны от связанных с ними представлений о пространстве и времени".

Мистер Спенсер не менее яростно выступает против кантовской позиции, согласно которой пространство создается собственными силами разума. И в то же время он нигде не отрицает, что пространство - это специфическая привязанность сознания, отличная от времени!

Подобная непоследовательность достойна сожаления. Дело в том, что все эти авторы, по сути, являются "психическими стимуляторами", или кантистами. Пространство, о котором они говорят, - это сверхчувственный психический продукт. Эта позиция представляется мне совершенно мифологической. Но давайте посмотрим, как ее придерживаются те, кто более определенно знает, что они имеют в виду. Шопенгауэр выражает кантовскую точку зрения энергичнее и яснее, чем кто-либо другой. Он говорит:

"Человек должен быть оставлен всеми богами, чтобы мечтать о том, что мир, который мы видим вне нас, заполняет пространство в трех измерениях, движется по неумолимому потоку времени, управляемый на каждом шагу неизменным законом Причины, - но во всем этом лишь следуя правилам, которые мы можем предписать ему, опередив весь опыт, - мечтать, говорю я, чтобы такой мир стоял вне нас, вполне объективно реальный, без всякого нашего соучастия, а затем последующим *актом*, через посредство одних лишь ощущений, чтобы он вошел в нашу голову и воссоздал дубликат самого себя, каким он был снаружи. Ибо что за нищенская вещь это простое ощущение! Даже в самых благородных органах чувств это не более чем локальное и специфическое ощущение, подверженное в пределах своего вида нескольким вариациям, но всегда строго субъективное и не содержащее в себе ничего объективного, ничего похожего на восприятие. Ведь ощущение любого рода есть и остается процессом в самом организме. Как таковое, оно ограничено территорией внутри кожи и, соответственно, никогда не может *само по себе* содержать ничего, что лежит вне кожи или вне нас самих..... Только когда Понимание... пробуждается к деятельности и приводит в действие свою

единственную и неповторимую форму, закон *Причинности*, только тогда происходит могучая трансформация, которая делает из субъективного ощущения объективную интуицию. Понимание, а именно, постигает с помощью своей врожденной, *априорной*, доэкспериментальной формы данное ощущение тела как *следствие*, которое как таковое должно обязательно иметь *причину*. В то же время Понимание призывает на помощь форму внешнего ощущения, которая аналогичным образом уже заранее сформирована в интеллекте (или мозге) и которая является Космосом, чтобы обнаружить эту причину вне организма..... В этом процессе Понимание, как я вскоре покажу, принимает к сведению самые мельчайшие особенности данного ощущения, чтобы сконструировать во внешнем пространстве причину, которая полностью их объяснит. Эта операция понимания, однако, не та, которая происходит дискурсивно, рефлексивно, *in abstracto*, посредством слов и понятий; она интуитивна и непосредственна..... Таким образом, Понимание должно сначала создать объективный мир; последний, уже заверченный *in se*, никогда не может просто проникать в нашу голову через органы чувств и органические отверстия. Ведь органы чувств дают нам лишь сырой материал, который должен быть сначала переработан в объективную концепцию упорядоченной физической мир-системы с помощью вышеупомянутых простых форм Пространства, Времени и Причинности..... Позвольте мне показать огромную пропасть между ощущением и восприятием, показав, насколько сырым является материал, из которого воспитывается справедливая структура. Только два чувства служат объективному восприятию: осязание и зрение. Только они предоставляют данные, на основе которых Разум, посредством указанного процесса, возводит объективный мир..... Сами по себе эти данные еще не являются восприятием; это работа Понимания. Если я прижимаю руку к столу, то получаемое ощущение не имеет аналогии с представлением о прочном сцеплении частей этой массы: только когда мое понимание переходит от ощущения к его причине, оно создает для себя тело, обладающее свойствами твердости, непроницаемости и твердости. Когда в темноте я кладу руку на поверхность или хватаю шар диаметром в три дюйма, в обоих случаях впечатления получают одни и те же части руки: но из разного сокращения руки в этих двух случаях мое Понимание создает форму тела, прикосновение к которому вызвало ощущение, и подтверждает свою конструкцию, заставляя меня двигать рукой по телу. Если человек, родившийся слепым, берет в руки кубическое тело, ощущения его руки совершенно одинаковы со всех сторон и во всех направлениях, - только углы давят на меньшую часть кожи. В этих ощущениях, как таковых, нет ничего аналогичного кубу. Но из ощущаемого сопротивления его понимание немедленно и интуитивно выводит причину, которая теперь предстает как твердое тело; и из движений исследования, которые совершают руки, в то время как ощущения рук остаются неизменными, он конструирует в пространстве, известном ему *априори*, кубическую форму тела. Если бы он не принес с собой готовую идею причины и пространства с их законами, то из этих последовательных ощущений в его руках никогда не возникло бы изображение куба. Если мы пропустим нитку через нашу сомкнутую руку, мы сразу же представим себе в качестве причины трения и его продолжительности при таком положении руки длинное цилиндрическое тело, движущееся равномерно в одном направлении. Но из чистого ощущения в руке никогда не могла бы возникнуть идея движения, то есть изменения положения в пространстве посредством времени: такое содержание никогда не может лежать в ощущении, не может из него вытекать. Наш интеллект, предшествующий всякому опыту, должен нести в себе интуицию

пространства и времени, а вместе с этим и возможность движения, и не менее того - идею причинности, чтобы перейти от эмпирически данного ощущения к его причине и сконструировать последнюю как движущееся тело обозначенной формы. Ведь как велика пропасть между простым ощущением в руке и идеями причинности, материальности, движения через пространство, происходящего во времени! Ощущение в руке, даже при различных контактах и положениях, есть нечто слишком однородное и бедное по содержанию, чтобы из *него* можно было построить идею Пространства с его тремя измерениями, действия тел друг на друга, свойств протяженности, непроницаемости, связности, формы, твердости, мягкости, покоя и движения - словом, основы объективного мира. Это возможно только благодаря тому, что пространство, время и причинность... предварительно сформированы в самом интеллекте... Отсюда следует, что восприятие внешнего мира - это, по сути, интеллектуальный процесс, работа понимания, *для которого ощущения служат лишь поводом* и данными для интерпретации в каждом конкретном случае".[264]

Я называю эту точку зрения мифологической, потому что в моем сознании нет такого кантовского машинного цеха, и я не чувствую никакого желания принижать силы бедных ощущений таким безжалостным образом. У меня нет интроспективного опыта ментального производства или создания пространства. Мои пространственные интуиции происходят не в два раза, а в один. Нет ни одного мгновения пассивного нерасширенного ощущения, сменяющегося другим активным обширным восприятием, но форма, которую я вижу, ощущается так же мгновенно, как и цвет, который ее заполняет. Кто может отрицать, что в дело вступают высшие части разума? Они складывают и вычитают, сравнивают и измеряют, воспроизводят и абстрагируют. Они вплетают в пространственные ощущения интеллектуальные отношения; но *эти* отношения такие же, когда они возникают между элементами космической системы, как и когда они возникают между любыми другими элементами, из которых состоит мир.

Суть кантовского утверждения состоит в том, что существуют не *пространства*, а *Пространство* - одна бесконечная непрерывная *Единица*, и что наше знание об *этом* не может быть фрагментарным чувственным делом, производимым путем суммирования и абстрагирования. На что следует очевидный ответ: если какая-либо известная вещь и несет на своей лицевой стороне *видимость* фрагментарного построения и абстракции, так это именно это понятие бесконечного унитарного пространства мира. Это *понятие*, если оно вообще существует; и никакой интуиции. Большинство из нас воспринимает его в самом скудном символическом сокращении: а если мы все же пытаемся сделать его более адекватным, то просто добавляем один образ разумного расширения к другому, пока не устанем. Большинство из нас вынуждено оборачиваться и отказываться от мыслей о пространстве перед нами, когда мы думаем о том, что находится позади. А пространство, представляемое как близкое, кажется нам более делимым, чем то, о котором мы думаем как о лежащем далеко.

Другие выдающиеся немецкие авторы, пишущие о пространстве, также являются "психическими стимуляторами". Герbart, чье влияние было самым широким, говорит, что "покоящийся глаз не видит пространства"[265] и приписывает визуальное расширение влиянию движений, сочетающихся с непространственными ощущениями сетчатки таким образом, что образуются градиентные серии последних. Данное ощущение из такой серии воспроизводит идею своих помощников в обычном порядке, и его идея аналогично

воспроизводится любым из них с обратным порядком. Из слияния этих двух контрастных репродукций возникает форма пространства[266] - Небеса знают как.

Очевидное возражение состоит в том, что просто последовательный порядок - это *род*, а космический порядок - очень своеобразный вид этого *рода*; и что, если термины обратимых рядов стали в силу этого факта сосуществующими терминами в пространстве, музыкальная шкала, степени тепла и холода и все другие идеально градуированные ряды должны предстать перед нами в виде протяженных телесных агрегатов, чего они, как известно, не делают, хотя мы, конечно, можем *символизировать* их порядок пространственной схемой. Гербартианец В. Фолькман фон Фолькмар берет быка за рога и утверждает, что музыкальная шкала пространственно протяженна, хотя и признает, что ее пространство не принадлежит реальному миру.[267] Я не знаю другого столь смелого гербартианца.

Лотце мы обязаны широко используемым термином "локальный знак". Он настаивал на том, что пространство не может непосредственно проникать в сознание извне, а должно быть *реконструировано* душой; и он, кажется, считал, что первые реконструкции души должны быть сверхчувственными. Но почему ощущения сами по себе не могут быть *первоначальными* пространственными реконструктивными актами души, Лотце не объясняет.

Вундт всю свою жизнь посвятил разработке теории пространства, самое точное и окончательное выражение которой можно найти в его "Логике" (ii. 457-60). Он заявляет:

"В глазу восприятие пространства имеет некоторые постоянные особенности, которые доказывают, что ни одно оптическое ощущение само по себе не обладает обширной формой, но что повсюду в нашем восприятии пространства сочетаются разнородные чувства. Если мы просто предположим, что световые ощущения *сами по себе* являются экстенсивными, то наше предположение будет разрушено тем влиянием движения в зрении, которое так четко прослеживается во многих обычных ошибках в измерении поля зрения. Если же мы предположим, что только движения и их ощущения обладают экстенсивным качеством, мы выдвинем необоснованную гипотезу, ибо явления заставляют нас, правда, признать влияние движения, но не дают нам права называть ретинальные ощущения безразличными, поскольку без ретинальных ощущений не бывает зрительных представлений. Если же мы хотим строго выразить данные факты, то мы можем приписать пространственную конституцию только *комбинации* ощущений сетчатки с ощущениями движения".

Таким образом, Вундт, разделяя теории на "нативистские" и "генетические", называет свою собственную теорию генетической. Чтобы отличить ее от других теорий того же класса, он называет ее "теорией сложных локальных знаков".

"Она предполагает две системы локальных знаков, отношения между которыми - на примере глаза - мы можем представить как ... измерение многообразной системы локальных знаков сетчатки простой системой локальных знаков движений. По своей психологической природе это процесс ассоциативного синтеза: он состоит в слиянии обеих групп ощущений в продукт, элементарные компоненты которого уже не делимы

друг от друга в идее. Полностью растворяясь в продукте, который они создают, они становятся сознательно неразличимыми, и разум воспринимает только их результат, интуицию пространства. Таким образом, возникает определенная аналогия между этим психическим синтезом и тем химическим синтезом, который из простых тел порождает соединение, представляющееся нашему непосредственному восприятию как однородное целое с новыми свойствами".

Пусть ни один скромный читатель не думает, что если это звучит для него непонятно, то это потому, что он не знает всего контекста; и что если такой мудрый профессор, как Вундт, может так бегло и убедительно говорить о "комбинации" и "психическом синтезе", то это должно быть потому, что эти слова несут гораздо большую полноту позитивного смысла для ученого, чем для неученого ума. На самом деле все обстоит как раз наоборот; *все* достоинства фразы заключены в ее простом звучании и оболочке. Учеба лишь усиливает ощущение ее внутренней невразумительности. Теория Вундта - это самая хлипкая вещь в мире. Она начинается с неверного предположения, а затем исправляет его ничего не значащей фразой. Ощущения сетчатки глаза пространственны; если бы это было не так, никакой "синтез" с такими же беспространственными моторными ощущениями не смог бы разумно сделать их таковыми. Короче говоря, теория Вундта - это всего лишь признание своего бессилия и обращение к непостижимым силам души.^[268] Он признает, что мы не можем проанализировать конституцию или указать генезис пространственного качества в сознании. Но в то же время оно утверждает, что его *предшественниками* являются психические, а не мозговые факты. Называя рассматриваемое качество *сенсационным*, наш собственный отчет в равной степени отказывается от способности его анализировать, но говорит, что его предшественники были церебральными, а не психическими - другими словами, что оно было *первой* психической вещью. Это всего лишь вопрос вероятного факта, который читатель может решить сам.

А что теперь сказать о Гельмгольце? Могу ли я найти недостатки в книге, которая в целом представляется мне одним из четырех или пяти величайших памятников человеческого гения в научной сфере? Если истина побуждает, я должен попытаться и пойти на риск. Мне кажется, что гений Гельмгольца движется наиболее уверенно, когда он держится ближе к конкретным фактам. Во всяком случае, он менее всего проявляется в чисто умозрительных пассажах, которые в "Оптике", несмотря на многие красоты, кажутся мне в корне неустойчивыми и неясными. Эмпирическая точка зрения, которую отстаивает Гельмгольц, заключается в том, что воспринимаемые нами пространственные детерминации в каждом случае являются продуктом процесса бессознательного умозаключения.^[269] Этот вывод похож на вывод индукции или аналогии.^[270] Мы всегда видим перед собой ту форму, которая *привычно* вызвала бы у нас то ощущение, которое мы сейчас испытываем.^[271] Но это ощущение никогда не может быть внутренне пространственным, иначе его внутренняя пространственная детерминация никогда не была бы преодолена, как это часто бывает, "иллюзорной" пространственной детерминацией, которую оно так часто предполагает.^[272] Поскольку иллюзорное определение может быть прослежено до внушения Опыта, "реальное" определение также должно быть таким внушением: таким образом, *все* пространственные интуиции обусловлены исключительно Опытом.^[273] Единственная психическая активность, необходимая для этого, - ассоциация идей.^[274]

Но как, спрашивается, ассоциация может породить пространственное качество, которого нет в ассоциируемых вещах? Как мы можем путем индукции или аналогии вывести то, что нам еще не известно в общих чертах? Могут ли "предложения опыта" воспроизводить элементы, которые

первоначально не содержал ни один конкретный опыт? Именно по этому пункту следует судить об "эмпирической" теории Гельмгольца как о *теории*. Ни одна теория не достойна своего названия, если она оставляет такой пункт неясным.

Что ж, Гельмгольц так и поступает. В какой-то момент он, кажется, отступает к непостижимым силам души и причисляет себя к "психическим стимуляторам". Он говорит о Канте как о человеке, сделавшем существенный шаг в этом вопросе, отличив содержание опыта от той формы - пространства, хода - которую придают ему особые способности разума.^[275] Но в другом месте, опять же^[276], говоря о сенсуалистических теориях, которые связывали бы пространственно детерминированные ощущения *непосредственно* с определенными нейронными событиями, он говорит, что лучше предполагать только такие простые психические действия, которые, как мы *знаем*, существуют, и приводит ассоциацию идей в качестве примера того, что он имеет в виду. Позже,^[277] он подкрепляет это замечание признанием, что не понимает, как какой-либо нейронный процесс *может* породить без предшествующего опыта готовое (*фертильное*) восприятие пространства. И, наконец, в одном знаменательном предложении он говорит об ощущениях *осязания*, как будто они могут быть исходным материалом наших пространственных представлений, которые, таким образом, с оптической точки зрения "могут быть приняты как данность".^[278]

Конечно, человек-глаз имеет право в случае необходимости прибегнуть к помощи человека-кожи. Но не означает ли это, что он всего лишь человек-глаз, а не полноценный психолог? Иными словами, "Оптику" Гельмгольца и исповедуемую в ней "эмпирическую теорию" не следует понимать как попытку ответить на *общий* вопрос о том, как пространство-сознание входит в разум. Они просто отрицают, что оно входит вместе с первыми оптическими ощущениями.^[279] Мы сами упорно утверждаем, что оно входит именно *тогда*; но не больше, чем Гельмгольц, мы претендуем на то, чтобы показать, *почему*. Тот, кто называет вещь первым ощущением, признает, что у него нет теории его производства. Гельмгольц, не имея внятной теории, заставляет мир думать, что она у него есть. Он прекрасно прослеживает огромную роль, которую играют репродуктивные процессы в нашем видении пространства, и ни разу - за исключением одного жалкого предложения о прикосновении - не говорит нам, что именно они воспроизводят. Он ограничивается отрицанием того, что они воспроизводят оригиналы визуального типа. И так сложен этот предмет, и так магически действуют на научно-популярное ухо броские слова, что, скорее всего, если бы он написал "физиологический" вместо "нативистский" и "спиритуалистический" вместо "эмпирический" (синонимы которых предлагает Херинг), многие из его нынешних последователей эмпирической эволюции не нашли бы в его учении ничего достойного похвалы. Но поскольку он писал иначе, они "ура" в его честь как своего рода второго Локка, наносящего очередной смертельный удар по старому жупелу "врожденных идей". Его "нативистского" противника Геринга они, вероятно, представляют себе - Боже, сохрани марку! - как схоласта в современном обличье.

После Вундта и Гельмгольца самым значительным антисенсуалистическим философом пространства в Германии является профессор Липпс, чья дедукция пространства из порядка непространственных различий, непрерывных, но отдельных, представляет собой замечательный образец тонкости и логики. И все же он вынужден признать, что непрерывные различия образуют в первом случае лишь логический ряд, который не *обязательно должен* быть пространственным, и что там, где он появляется, это должно считаться "фактом", обусловленным просто "природой души".^[280]

Липпс и почти все теоретики-антисенсуалисты, за исключением Гельмгольца, кажется, виновны в той путанице, которую мистер Шэдворт Ходжсон сделал так много, чтобы убрать, а именно, в смешении анализа идеи со средствами ее производства. Липпс, например, обнаруживает, что любое пространство, о котором мы думаем, может быть разбито на позиции, и приходит к выводу, что каким-то неопределенным образом несколько позиций должны были существовать в мысли до того, как совокупное пространство могло появиться в восприятии. Точно так же мистер Спенсер, определяя протяженность как "совокупность отношений сосуществующих позиций", говорит, что "каждое познание величины есть познание отношений позиций"[281], и "никакое представление о протяженности не может возникнуть при одновременном возбуждении" многих нервов, "если нет знания их относительных позиций".[282] Точно так же профессор Бейн настаивает на том, что само *значение* пространства - это пространство для движения,[283] и что поэтому расстояние и величина не *могут* быть изначальными атрибутами чувствительности глаза. Точно так же, поскольку движение поддается анализу на позиции, занимаемые движителем в последовательные моменты, философы (например, Шопенгауэр, цитированный выше) неоднократно отрицали возможность его непосредственного ощущения. Мы, однако, видели, что это самое непосредственное из всех пространственных ощущений. Поскольку оно может возникать только в определенном направлении, невозможность его восприятия без восприятия его направления была предписана - предписание, которое опровергается простейшим экспериментом.[284] Это случай того, что я назвал "заблуждением психолога": простое знакомство с пространством рассматривается как равнозначное любому виду знания о нем, условия последнего требуются от первого состояния ума, и на помощь приходят всевозможные мифологические процессы.[285] С таким же успехом можно сказать, что поскольку мир состоит из всех своих частей, то мы можем постичь его, лишь бессознательно суммировав их в своей голове. Это старая идея о том, что наше фактическое знание выводится из предсуществующей потенции, идея, которая, какой бы ценностью она ни обладала в метафизике, не приносит никакой пользы в психологии.

Мое собственное сенсуалистическое изложение получило наибольшую помощь и утешение от трудов Геринга, А. В. Фолькмана, Штумпфа, Ле Конта и Шена. Все эти авторы дают широкий простор тому Опыту, который гений Беркли считал фактором, присутствующим во всех наших зрительных актах. Но они дают Опыту некоторую зернистость, которую забывает сделать *столь далекая* от него "эмпирическая" школа. Штумпф кажется мне самым философским и глубоким из всех этих авторов; и я многим ему обязан. Несомненно, я был бы почти так же обязан мистеру Джеймсу Уорду, если бы его статья о психологии в Encyclopædia Britannica появилась до того, как я записал свои собственные мысли. Литература по этому вопросу на всех языках очень объемна. Я довольствуюсь ссылкой на библиографию в работах Гельмгольца и Обера по физиологической оптике для визуальной части предмета, и называю в примечании лучшие работы на английском языке, которые рассматривают предмет в *общем виде*. [286]

[140] Перепечатано, со значительными изменениями, из "Mind" за 1887 год.

[141] Профессор Джастроу обнаружил, что мы неизменно склонны *недооценивать* объем кожи, который может быть стимулирован контактом с объектом, когда мы выражаем его в терминах визуального пространства; то есть, когда нас просят отметить на бумаге объем пораженной кожи, мы всегда рисуем его слишком маленьким. Это говорит о том, что глаз получает столько же ощущений пространства от меньшей линии, сколько кожа - от большей. Ср. Jastrow: Mind, xi. 546-7; American Journal of Psychology, iii. 53.

[142] Среди звуков серьезные кажутся наиболее обширными. Штумпф называет три причины этого: 1) связь с более серьезными причинами; 2) более широкая реверберация руки и тела при исполнении могильных нот; 3) слышимость на большем расстоянии. Он считает, что эти три причины не позволяют нам предположить имманентную экстенсивность в ощущении звука как такового. См. его замечания в *Tonpsychologie*, i. 207-211.

[143] *Encyclopædia Britannica*, 9th Edition, статья Psychology, pp. 46, 58.

[144] *Philosophical Transactions* (1841).

[145] *Hermann's Handb. d. Physiol.*, Bd. iii. 1, §. 575.

[146] *Loc. cit.* §. 572.

[147] *Elemente der Psychophysik*, ii. 475-6.

[148] См. "Учебник физиологии" Фостера, кн. III. с. vi. § 2.

[149] Фехнер, который не знал о недавно открытой функции полукружных каналов, дает другое объяснение органической основы этих чувств. Вероятно, они в высшей степени составные. У меня значительную роль в них играют фактические движения глаз, хотя я почти не осознаю особых ощущений в коже головы, которые Фехнер описывает следующим образом: "Ощущение напряженного внимания в различных органах чувств, по-видимому, является только мышечным, возникающим при использовании этих различных органов путем приведения в движение, посредством своего рода рефлекторного действия, набора мышц, которые им принадлежат. Тогда можно спросить, с каким именно мышечным сокращением связано ощущение напряженного внимания при попытке что-то вспомнить? На этот вопрос мое собственное чувство дает мне решительный ответ; оно приходит ко мне отчетливо, не как ощущение напряжения во внутренней части головы, а как ощущение напряжения и сжатия в скальпе, с давлением снаружи внутрь всего черепа, несомненно, вызванным сокращением мышц скальпа. Это очень хорошо согласуется с выражениями: *sich den Kopf zerbrechen*, *den Kopf zusammennehmen*. Во время прежней болезни, когда я не мог вынести ни малейшего усилия после непрерывного размышления и не имел никаких теоретических предубеждений по этому вопросу, мышцы головы, особенно затылка, принимали довольно болезненную степень чувствительности всякий раз, когда я пытался думать". (*Elem. der Psychophysik*, ii, 490-91.)

[150] То, что рассматриваемое ощущение относится к тактильной, а не акустической чувствительности, доказывает тот факт, что друг писателя, оба уха которого вполне нормальны, но одно из них почти полностью глухое, ощущает присутствие и удаление предметов как одним ухом, так и другим.

[151] Кажется, что кожа здесь подчиняется другому закону, нежели глаз. Если на сетчатке возбудить сначала ряд точек, а затем две крайние точки, а промежуток между ними оставить невозбужденным, то во втором случае этот промежуток будет казаться значительно меньше, чем в первом. В коже невозбужденный интервал кажется больше. Читатель может легко убедиться в этом, взяв визитную карточку, обрезав один ее край в виде зубца, а с противоположного края вырезав все углы, кроме двух, и сравнив ощущения, вызываемые этими двумя краями при прикосновении к коже.

[152] *Classen, Physiologie des Gesichtssinnes*, p. 114; см. также A. Riehl, *Der Philosophische Criticismus*, ii. p. 149.

[153] Здесь стоит обратить внимание на тот факт, что, хотя анатомическое состояние ощущения *напоминает* само ощущение, это сходство не может быть воспринято нашим пониманием как объяснение *того, почему* ощущение должно быть именно таким, какое оно есть. Мы слышим, как материалисты и спиритуалисты неустанно повторяют, что мы не видим никакой возможной внутренней причины, почему определенный мозговой процесс должен вызывать чувство красноты, а другой - чувство гнева: один процесс не более красный, чем другой - сердитый, и соединение процесса и чувства, насколько позволяет наше понимание, является чистым и простым сопоставлением. Но в случае с *пространственным* ощущением, когда участок сетчатки, вызывающий в сознании треугольник, сам является треугольником и т. д., на первый взгляд кажется, что ощущение может быть прямым познанием своего собственного нейронного состояния. Однако если бы это было так, то наше ощущение было бы скорее *множественным*, чем непрерывным; ведь условием является *количество* оптических нервных окончаний, и даже оно является лишь отдаленным, а не непосредственным условием. Непосредственным условием ощущения является не процесс в сетчатке, а процесс в мозге; а процесс в мозге, насколько нам известно, может быть столь же непохожим на треугольник, - более того, возможно, так оно и есть, - как непохожим на красноту или ярость. Это просто *совпадение*, что в случае с космосом одно из органических условий, а именно треугольник, отпечатавшийся на коже или сетчатке глаза, должен привести к представлению в сознании наблюдаемого субъекта, аналогичному тому, которое он вызывает у психологического наблюдателя. Ни в одном другом случае такого совпадения не наблюдается. Даже если признать, что мы познаем треугольники в пространстве благодаря непосредственному познанию треугольной формы нашей возбужденной группы нервных кончиков, дело вряд ли станет более прозрачным, поскольку все равно останется загадкой, почему мы гораздо лучше познаем треугольники на кончиках пальцев, чем на нервных кончиках спины, на глазу, чем на ухе, и на любой из этих частей, чем в мозгу? Тос Браун совершенно справедливо отвергает идею объяснения формы воспринимаемого пространства формой "затронутого нервного расширения". "Если бы только это было необходимо, у нас были бы квадратные дюймы и полдюймы, а также различные другие формы, прямолинейные и криволинейные, аромата и звука". (Лекции, XXII.)

[154] Музыкальные тоны, например, имеют порядок качества, не зависящий ни от их пространственного, ни от временного порядка. Музыка возникает из-за того, что временной порядок нот нарушает их качественный порядок. Вообще, если *a b c d e f g h i j k* и т. д. обозначают расположение чувств в порядке их качества, то они могут принять *любой* пространственный или временной порядок, как *d e f a h g* и т. д., и все равно порядок качества останется фиксированным и неизменным.

[155] Можно сказать, что вся наука геометрия обязана своим существованием непомерному интересу, который человеческий разум проявляет к *линиям*. Мы разрезаем пространство во всех направлениях, чтобы изготовить их.

[156] Кант, как мне кажется, был первым, кто обратил внимание на этот последний порядок фактов. Указав, что два противоположных сферических треугольника, две перчатки из пары, две спирали, закрученные в противоположных направлениях, имеют одинаковые внутренние определения, то есть их части определены по отношению *друг к другу* одним и тем же законом, и поэтому должны *мыслиться* как идентичные, Он показал, что невозможность их взаимного наложения обязывает нас приписать каждой фигуре симметричной пары свое собственное отличие, которое может состоять только во *внешнем* определении или отношении ее частей уже не друг к другу, а ко всему объективно выходящему пространству с его абсолютно заданными точками компаса. Это *немыслимое* различие воспринимается только "через отношение к правому и левому, которое является вопросом непосредственной интуиции". В этих последних словах

(*welches unmittelbar auf Anschauung geht-Prolegomena*, § 12) Кант выражает все то, что мы имели в виду, говоря об *ощущениях* вверх и вниз, справа и слева. Однако он ошибается, ссылаясь на связь с внешним тотальным пространством как на существенное условие существования этих контрастов в фигурах. Отношения к собственному телу достаточно.

[157] В глазах многих покажется странным называть отношение просто линией, а линию - просто ощущением. Мы можем легко узнать многое о любом отношении, скажем, между двумя точками: мы можем разделить линию, соединяющую их, и выделить ее, и классифицировать, и выяснить ее отношения, рисуя или изображая новые линии, и так далее. Но вся эта дальнейшая деятельность не имеет ничего общего с нашим *знакомством* с самим отношением, в его первом намерении. Познанное таким образом, отношение *есть* линия и ничего более. Действительно, было бы справедливо назвать ее чем-то меньшим; и на самом деле легко понять, как большинство из нас приходит к ощущению, что линия - это гораздо более грубая вещь, чем отношение. Линия широкая или узкая, синяя или красная, сделанная то тем, то другим объектом попеременно в ходе нашего опыта; она, следовательно, не зависит ни от одной из этих случайностей; и поэтому, не рассматривая ее как одно из *таких* ощущаемых качеств, мы можем в конце концов думать о ней как о чем-то, что не может быть определено иначе, как отрицание всех ощущаемых качеств, и что должно быть введено в ощущения таинственным актом "относящей мысли".

Другая причина, по которой мы чувствуем, что пространственное отношение должно быть чем-то иным, чем простое ощущение линии или угла, заключается в том, что между двумя позициями мы потенциально можем провести любое количество линий и углов или найти, в соответствии с нашими целями, бесконечно много отношений. Чувство этой неопределенной потенциальности прилипает к нашим словам, когда мы говорим в общем виде об "отношениях места", и вводит нас в заблуждение, заставляя предположить, что ни одно из них не может быть исчерпывающе приравнено к одному углу или одной линии.

[158] Это часто происходит, когда теплые и холодные точки, круглые и заостренные, прикладываются к коже в пределах одного "Empfindungskreis".

[159] Vierordt, Grundriss der Physiologie, 5te Auflage (1877), pp. 326, 436.

[160] Vorlesungen üb. Menschen- u. Thierseele (Leipzig, 1863), i. 214. См. также "Физиологическую психологию" Лэдда, с. 396-8, и сравните рассказ Г. Стэнли Холла (Mind, x. 571) об ощущениях, возникающих при легком движении тупым острием по коже. Точки режущей боли, дрожания, волнения, кружения, щекотания, царапания и ускорения чередовались друг с другом по всей поверхности.

[161] Об анатомических и физиологических предпосылках этих фактов мы пока знаем очень мало, и это малое не нужно здесь обсуждать. В случае с сетчаткой были выдвинуты две основные гипотезы. Вундт (Menschen- u. Thierseele, i. 214) обратил внимание на изменения цветовосприимчивости сетчатки по мере того, как изображение цветного объекта переходит от фовеа к периферии. Цвет изменяется и становится темнее, причем в одних направлениях изменения происходят быстрее, чем в других. Однако это изменение в целом является таким, что *как таковое* мы полностью не осознаем. Мы видим небо ярко-синим по всему периметру, а изменения ощущения синего цвета интерпретируются нами не как различия в объективном цвете, а как различия в его локальности". Лотце (Medizinische Psychologie, 333, 355), с другой стороны, указал на особую тенденцию, которую имеет каждая конкретная точка сетчатки, чтобы вызвать то движение глазного яблока, которое перенесет изображение возбуждающего объекта из данной точки в *фовеа*. С каждой отдельной тенденцией к движению (как и с каждым фактическим движением) мы можем предположить, что к ней присоединяется своеобразная модификация чувствительности. Эта модификация будет составлять своеобразное локальное окрашивание

изображения каждой точкой. См. также Sully's Psychology, pp. 118-121. Профессор Б. Эрдман совсем недавно (Vierteljahrsschrift f. wiss. Phil., x. 324-9) опроверг существование всех доказательств таких имманентных *квалиа* ощущений, характеризующих каждую локальность. Как ни остры его замечания, они не убеждают меня. На коже *квалиа* очевидны, должен сказать я. Там, где, как на сетчатке, они менее выражены (Крис и Ауэрбах), это вполне может быть простой трудностью различения, еще не доведенной до анализа".

[162] 1852, p. 331.

[163] Может быть, локализация внутричерепной боли сама по себе обусловлена такой ассоциацией локальных признаков друг с другом, а не их качественным сходством в соседних частях (*supra*, p. 19); хотя можно предположить, что сама ассоциация и сходство должны иметь здесь одну и ту же нейронную основу. Если мы предположим, что сенсорные нервы из тех частей тела, которые находятся под каким-либо участком кожи, заканчиваются в том же сенсорном мозговом тракте, что и нервы из самой кожи, и если возбуждение одного волокна имеет тенденцию распространяться по всему этому тракту, то ощущения всех волокон, идущих к этому тракту, предположительно будут иметь сходное внутреннее качество и в то же время иметь тенденцию возбуждать друг друга. Поскольку один и тот же нервный ствол в большинстве случаев снабжает кожу и находящиеся под ней части тела, анатомическая гипотеза не представляет собой ничего невероятного.

[164] Если, конечно, в данный момент не происходит спонтанного покалывания в ступне или чего-то подобного. Вся поверхность тела всегда находится в состоянии полусознательного раздражения, которое нуждается только в акценте внимания или в каком-то случайном внутреннем раздражении, чтобы стать сильным в любой точке.

[165] Правда, внутренняя сторона предплечья, хотя ее дискриминационная чувствительность часто меньше, чем у внешней стороны, обычно очень ярко проявляется в сознании при прикосновении к ней. *Эстетическая* чувствительность к прикосновениям гораздо тоньше. Нам приятнее поглаживать ее от разгибательной к сгибательной поверхности по локтевой стороне, чем в обратном направлении. Пронационные движения приводят к контактам в этом порядке и часто используются, когда тыльная сторона предплечья ощущает прикосновение какого-либо предмета.

[166] На эти факты впервые обратил внимание Вундт: см. его Beiträge, p. 140, 202. См. также Lamansky, Pflüger's Archiv, xi. 418.

[167] До сих пор все было просто, но наш курс становится настолько извилистым, когда мы спускаемся к мельчайшим деталям, что я буду рассматривать более точное определение местоположения в длинном примечании. Когда *P* напоминает идеальную линию, ведущую к фовеа, эта линия ощущается целиком, но смутно; в то время как *P*, которую мы предполагали как одиночную звезду реального света, сильно от нее отличается. Основание для различия между *P* и идеальной линией, которую она завершает, очевидно - *P* яркая, а линия тусклая; но почему *P* должна занимать именно такое положение, как в конце линии, а не где-нибудь еще, например, в ее середине? Это кажется чем-то совсем не очевидным.

Чтобы прояснить наши мысли по поводу этой последней загадки, давайте рассмотрим случай реальной линии света, ни одна из частей которой не является идеальной. Ощущение линии возникает, как мы знаем, при совместном возбуждении множества точек сетчатки, каждая из которых при отдельном возбуждении вызывала бы одно из ощущений, называемых местными знаками. Каждый из этих признаков - это ощущение небольшого пространства. При их одновременном возбуждении мы вполне можем предположить, что возникнет ощущение

большого пространства. Но почему необходимо, чтобы в этом большом пространстве знак *a* всегда появлялся на одном конце линии, *z* - на другом, а *m* - посередине? Ведь хотя линия и представляет собой единую полосу света, несколько ее составных точек все же могут вырваться из нее и стать живыми, каждая сама по себе, под избирательным взглядом внимания.

Некритичный читатель, бросив первый небрежный взгляд на предмет, скажет, что в этом нет никакой тайны и что "конечно же" локальные знаки должны появляться рядом друг с другом, каждый на своем месте, - другого пути нет. Но более философски настроенный студент, чье дело - обнаруживать трудности в той же мере, что и избавляться от них, подумает, что можно представить себе, что частичные факторы могут слиться в более крупное пространство и при этом не располагаться в нем так же, как голос *располагается* в хоре. Он задастся вопросом, как после объединения в линию точки *могут* снова стать живыми по отдельности: отдельные дуновения "сирены" больше не поражают слух после того, как они слились в определенную тональность звука. Он вспомнит, что, когда после рассматривания предметов одним закрытым глазом мы удваиваем, открывая другой глаз, количество затронутых точек сетчатки, новые ретинальные ощущения, как правило, не появляются *рядом со* старыми и не дополняют их, а лишь заставляют старые казаться больше и ближе. Почему же поражение новых точек на той же сетчатке должно приводить к столь разным результатам? На самом деле, он не увидит никакой логической связи между (1) первоначальными отдельными локальными признаками, (2) линией как единицей, (3) линией с различаемыми на ней точками и (4) различными нервными процессами, которые обеспечивают все эти различные вещи. Он заподозрит, что наш локальный знак - очень скользкое и двусмысленное существо. Не занимая поначалу никакой позиции, он не успевает появиться среди группы товарищей, как обнаруживает, что сохраняет строжайшее собственное положение и назначает место каждому из своих соратников. Как такое возможно? Должны ли мы принять то, что некоторое время назад отвергали как абсурд, и признать, что каждая точка имеет *свое* место? Или же мы должны заподозрить, что вся наша конструкция была ошибочной и что мы пытались создать из ассоциации качества, которых в ней никогда не было?

Несомненно, здесь есть реальная трудность; и самый короткий способ справиться с ней - признать ее неразрешимой и окончательной. Даже если положение не является неотъемлемой характеристикой ни одного из тех ощущений, которые мы назвали локальными знаками, мы все равно должны признать, что в каждом из них *есть что-то*, что означает потенциальность положения и является *основанием*, почему локальный знак, когда он вообще помещается, помещается *здесь*, а не *там*. Если это "что-то" интерпретировать как физиологическое нечто, как простой нервный процесс, то легко сказать в пустую, что когда он возбуждается один, то "конечным фактом" (1) является появление непозиционного пятна; что когда он возбуждается вместе с другими подобными процессами, но *без* процесса дискриминационного внимания, то другим "конечным фактом" (2) является появление единой линии; и что последний "окончательный факт" (3) состоит в том, что, когда нервный процесс возбуждается *в сочетании с* другим процессом, который обеспечивает чувство внимания, результатом будет линия с локальным знаком внутри нее, определенным для конкретного места. Таким образом, мы должны избежать ответственности за объяснение, опираясь на вечную непостижимость психо-нейронной связи. В тот момент, когда мы называем основание локализации физиологическим, нам достаточно указать на *то, как* в тех случаях, когда локализация происходит, физиологический процесс *отличается* от тех, когда она не происходит, чтобы сделать все, что мы можем сделать в этом вопросе. Это была бы безупречная логика, и с ней мы могли бы оставить этот вопрос, удовлетворившись тем, что в нем нет самопротиворечия, а есть только универсальная психологическая загадка, как возникает новый режим сознания всякий раз, когда возникает принципиально новый режим нервного действия.

Но, как бы ни была логически безупречна такая тактика с нашей стороны, давайте посмотрим, не можем ли мы продвинуть нашу теоретическую проницательность немного дальше. Мне кажется, что можем. Мы не можем, правда, объяснить, почему линия, которую мы ощущаем при пробуждении процесса (2), должна иметь свою особую форму; не можем мы объяснить и суть процесса дискриминационного внимания. Но мы видим, почему, если признать грубые факты, что линия может иметь одну из своих частей, выделенную вниманием, и что эта часть может появиться по отношению к другим частям вообще, отношение должно быть *в самой линии*, - поскольку линия и части - единственные вещи, которые должны быть в сознании. И, кроме того, мы можем предложить причину, по которой части, появляющиеся таким образом по отношению друг к другу в линии, должны попадать в неизменный порядок, и каждая в этом порядке сохранять свое характерное место.

Если множество таких локальных знаков обладает каким-либо качеством, которое равномерно возрастает по мере перехода от одного к другому, мы можем расположить их в идеальном последовательном порядке, в котором любой локальный знак должен лежать ниже тех, у которых больше, и выше тех, у которых меньше, рассматриваемого качества. Он должен делить ряд на две части, если только в нем нет максимума или минимума качества, когда он либо начинается, либо заканчивается.

Такой идеальный ряд локальных признаков в сознании, однако, еще не идентичен ощущению линии в пространстве. Прикоснитесь *последовательно* к дюжине точек на коже, и, казалось бы, нет никаких причин, по которым должно возникнуть представление об определенной линии, даже если мы будем четко осознавать градацию качества прикосновений. Мы, конечно, можем символически выстроить их в линию в нашей мысли, но мы всегда можем отличить символически мыслимую линию от непосредственно ощущаемой.

Но обратите внимание на особенность нервных процессов всех этих локальных признаков: хотя они могут не давать линии при последовательном возбуждении, при *совместном* возбуждении они дают реальное ощущение линии в пространстве. Совокупность их - это нервный процесс этой линии; совокупность их ощущений - это ощущение этой линии; и если мы начнем выделять из линии отдельные точки и отмечать их по рангу, то невозможно понять, как этот ранг может *появиться* иначе, как в виде фактической фиксированной пространственной позиции, ощущаемой как часть общей линии. Сама шкала предстает как линия, ранг в ней должен выглядеть как определенная часть линии. Если бы семь нот октавы, когда они звучат вместе, представлялись слуховому восприятию как протянувшаяся *линия* звука - чего, надо сказать, не происходит, - то ни одна нота не могла бы быть различима без локализации, в соответствии с ее тоном, *в линии*, либо как одна из ее крайних точек, либо как некоторая часть между ними.

Но не только градация их качества выстраивает локально-знаковые ощущения в шкалу. Наши *движения* также упорядочивают их во временной шкале. Всякий раз, когда стимул проходит от точки *a* на коже или сетчатке до точки *f*, он пробуждает локально-знаковые ощущения в совершенно определенном временном порядке *abcdef*. Он не может возбудить *f*, пока последовательно не будут возбуждены *cde*. Чувству *c* иногда предшествует *ab*, иногда следует *ba*, в соответствии с направлением движения; в результате всего этого мы никогда не чувствуем ни *a*, ни *c*, ни *f* без того, чтобы к ним не присоединялись слабые отголоски различных временных порядков перехода, в которых, согласно прошлому опыту, они были вызваны. К локальному знаку *a* прилипает оттенок или тон, полутень или бахрома перехода *bcd*. К *f*, к *c* примыкают совсем другие тона. Стоит только признать принцип, что ощущение может быть окрашено репродуктивным сознанием привычного перехода, даже когда этот переход не осуществляется, и кажется совершенно естественным признать, что, если переход привычно осуществляется в порядке *abcdef* и если *a*, *c* и *f* вообще ощущаются отдельно, *a* будет ощущаться с существенным

упреждением, *f* - с существенным запозданием, а *c* - в промежутке. Таким образом, те психологи, которые при объяснении восприятия пространства мало руководствуются местными признаками и много - движением, получили бы совершенно определенный временной порядок, обусловленный движением, с помощью которого можно объяснить определенный порядок положений, возникающий при одновременном возбуждении чувствительных точек. Однако без предварительного признания "окончательного факта", что это коллективное возбуждение должно ощущаться как *линия* и ничто другое, никогда нельзя объяснить, почему новый порядок должен быть порядком *позиций*, а не просто идеальным порядковым номером. В дальнейшем у нас будет сколько угодно возможностей наблюдать, насколько полно участвует движение во всех наших пространственных измерениях. Независимо от того, равномерно ли градуированы локальные знаки по своим качествам или нет, ощущения перехода должны быть отнесены к числу *veræ causæ* в локализации. Но в градации локальных признаков вряд ли стоит сомневаться; поэтому мы можем считать, что действительно обладаем двумя наборами причин для локализации любой точки, которую мы можем случайно выделить из середины любой линии или любого большого пространства.

[168] М. Бине (Revue Philosophique, Sept. 1880, стр. 291) говорит, что мы судим о локальных различиях, как только их ощущения различаются настолько, что мы можем различить их как качественно различные при последовательном возбуждении. Это не совсем верно. Кожные ощущения, достаточно разные, чтобы их можно было различить при *последовательном* возбуждении, все же могут локально сливаться, если возбудить оба сразу.

[169] Можно, однако, сказать, что даже на языке горькие вкусы определяются по заднему, а кислотные - по переднему краю органа. Специи также влияют на его боковые и передние стороны, а вкус, подобный вкусу квасцов, локализуется, благодаря своему кровоостанавливающему действию на часть слизистой оболочки, которой он непосредственно касается, более резко, чем, например, жареная свинина, которая стимулирует все части одинаково. Поэтому свинина имеет более выраженный вкус, чем квасцы или перец. В носу некоторые запахи, среди которых можно выделить уксус, кажутся менее пространственными, чем тяжелые, удушливые запахи, такие как мускус. Причина этого, по-видимому, в том, что первые подавляют вдохновение своей резкостью, в то время как вторые втягиваются в легкие и, таким образом, возбуждают объективно большую поверхность. Приписывание высоты и глубины определенным нотам объясняется, по-видимому, не локализацией звуков, а тем, что ощущение вибрации в груди и напряжения в пищеводе сопровождается пением басовых нот, в то время как при пении высоких нот слизистая оболочка нёба натягивается мышцами, которые двигают гортань, и вызывает ощущение в крыше рта.

Единственное реальное возражение против закона частичной стимуляции, изложенного в тексте, - это возражение, которое можно привести на примере органа слуха; ведь, согласно современным теориям, улитка может иметь отдельные нервные окончания, возбуждаемые исключительно звуками разной высоты, и все же звуки, кажется, заполняют общее пространство, а не обязательно располагаются рядом друг с другом. В большинстве случаев высокая нота ощущается как тонкая, более яркая полоска на темном фоне. В статье "Пространство", опубликованной в "Журнале спекулятивной философии" за январь 1879 года, я рискнул предположить, что, возможно, окончания слухового нерва "возбуждаются сразу всеми звуками любой высоты, как вся сетчатка глаза возбуждается каждой светящейся точкой, если бы не было диоптрического аппарата". И я добавил: "Несмотря на блестящие предположения последних нескольких лет, которые связывают различные акустические конечные органы с различными скоростями воздушных волн, мы все еще находимся в большом неведении относительно этого вопроса; и я, со своей стороны, гораздо увереннее отверг бы теорию слуха, которая нарушает принципы, выдвинутые в этой статье, чем

отказался бы от этих принципов ради любой гипотезы, опубликованной до сих пор относительно кортиева органа или базилярной мембраны". Теория слуха профессора Резерфорда, выдвинутая на заседании Британской ассоциации в 1886 году, уже представляет собой альтернативный взгляд, согласно которому слух не является исключением из теории пространства, которую я защищаю, и которая, независимо от того, суждено ли ей быть доказанной, должна, во всяком случае, заставить нас почувствовать, что гельмгольцевская теория, вероятно, не является последним словом в физиологии слуха. Степано, ff. (Hermann und Schwalbe's Jahresbericht, xv. 404, литература 1886 г.) сообщает о случае, когда была потеряна более чем верхняя половина одной улитки без какой-либо глухоты к глубоким нотам на этой стороне, как того требует теория Гельмгольца.

[170] Donaldson, in Mind, x. 399, 577; Goldscheider, in Archiv f. (Anat. u.) Physiologie; Blix, in Zeitschrift für Biologie. Хорошее резюме можно найти в книге Ladd's Physiol. Psychology, part ii. chap. iv. §§ 21-23.

[171] Я проверил на девяти или десяти людях, проводя многочисленные наблюдения над каждым, какая разница в различении двух точек, если они одинаковы или непохожи. В качестве точек были выбраны (1) две большие игольные головки, (2) две винтовые головки и (3) игольная и винтовая головки. Расстояние между головками винтов измерялось от их центров. Я обнаружил, что когда точки давали различные ощущения (как в примере 3), это облегчало различение, но гораздо менее сильно, чем я ожидал. Разница, в самом деле, часто не ощущалась при двадцатикратном увеличении. Однако, когда одна из точек была наделена вращательным движением, а другая оставалась неподвижной, удвоение точек становилось гораздо более очевидным, чем раньше. Для наблюдения я взял обычную пару компасов, у которых одно острие было тупым, а подвижная ножка заменена металлическим стержнем, который в любой момент можно было заставить вращаться *на месте* с помощью стоматологической бормашины, к которой он был прикреплен. Затем точки компаса прикладывались к коже на таком расстоянии друг от друга, чтобы ощущаться как один оттиск. Внезапное вращение сверлильного аппарата почти всегда заставляло их восприниматься как два.

[172] Это лишь еще один пример того, что я называю "заблуждением психолога" - думать, что изучаемый им разум обязательно должен осознавать объект так, как осознает его сам психолог.

[173] Sitzb. der. k. Akad. Wien, Bd. lxxii., Abth. 8 (1875).

[174] Zeitschrift für Biologie, xii. 226 (1876).

[175] Vierteljahrsch. für wiss. Philos., ii. 377.

[176] Экспер пытается показать, что строение фасеточного глаза членистоногих приспособлено почти исключительно для восприятия движений.

[177] Шнайдер пытается объяснить, почему сенсорная поверхность так сильно возбуждается, когда ее отпечаток движется. Уже давно было замечено, насколько острее различаются последовательные, а не одновременные различия. Но в случае движущегося отпечатка, скажем, на сетчатке, мы имеем совокупность обоих видов различий, что, естественно, должно приводить к наиболее совершенной дискриминации из всех.



Рис. 53.

На рисунке слева пусть темное пятно В движется, например, справа налево. Вначале наблюдается одновременный контраст черного и белого в В и А. Когда движение происходит так, что получается правая фигура, тот же контраст остается, черное и белое поменялись местами. Но в дополнение к этому возникает двойной последовательный контраст: первый - в А, который мгновение назад был белым, а теперь стал черным; и второй - в В, который мгновение назад был черным, а теперь стал белым. Если мы сделаем каждое отдельное ощущение контраста = 1 (предположение, слишком благоприятное для состояния покоя), то сумма контрастов в случае движения будет равна 3, против 1 в состоянии покоя. То есть, наше внимание будет с утроенной силой привлечено к различию цвета, если цвет начнет двигаться. - (Ср. также Fleischl, Physiologische Optische Notizen, 2te Mittheilung, Wiener Sitzungsberichte, 1882.)

[178] Браун, Бэйн, Дж. С. Милль, а также в измененном виде Вундт, Гельмгольц, Сьюлли и др.

[179] М. Ш. Дюнан в своем убедительном эссе "Пространство видимое и пространство тактильное" в "Философском ревю" за 1888 год пытается доказать, что поверхности сами по себе не дают восприятия протяженности, приводя в пример то, как слепые работают, чтобы получить представление о форме объекта. Если бы поверхности были воспринимающим органом, говорит он, "и зрячие, и слепые должны были бы получить точное представление о размере (и форме) предмета, просто положив на него руку (при условии, конечно, что он меньше руки), и это благодаря непосредственному восприятию количества осязаемой поверхности, не прибегая к мышечному чувству..... Но дело в том, что слепой от рождения человек никогда не приступает к измерению объективных поверхностей таким способом. Единственное средство, которым он располагает для определения размеров тела, - это проведение пальцем по линиям, которыми оно ограничено. Например, если дать в руки слепому книгу, размеры которой ему неизвестны, он начнет с того, что прижмет ее к груди, чтобы держать горизонтально; затем, сведя две руки вместе на середине края, противоположного тому, который прижат к телу, он будет разводить их, пока они не достигнут концов данного края; и тогда, и только тогда, он сможет сказать, какова длина предмета" (vol. xxv. p. 148). Я думаю, что каждый, кто попытается оценить размер и форму предмета, просто "положив на него руку", обнаружит, что большое препятствие заключается в том, что он *чувствует контуры* так несовершенно. Однако в тот момент, когда руки двигаются, контуры ощущаются резко и отчетливо. Любое восприятие формы и размера - это восприятие контуров, и прежде всего они должны быть *четкими*. Движение делает это; и импульс к движению наших органов восприятия в первую очередь связан с жаждой, которую мы испытываем, чтобы наши поверхностные ощущения стали острыми. Когда дело доходит до наименования и измерения объектов в терминах какого-то общего стандарта, мы увидим, как движения также помогают; но в этом случае они помогают не больше, чем в других, потому что качество расширения само по себе вносится "мышечным чувством".

[180] Фехнер описывает (Psychophysik, i. 132) "метод эквивалентов" для измерения чувствительности кожи. Используются два компаса, один на части А, другой на части В

поверхности. Точки на В должны быть отрегулированы таким образом, чтобы расстояние между ними было равно расстоянию между точками на А. При неизменном месте А вторая пара точек должна сильно меняться при каждом изменении места В, хотя при одинаковых А и В отношение двух компасов удивительно постоянно и остается неизменным в течение нескольких месяцев, при условии, что в каждый день проводится лишь несколько экспериментов. Если же заниматься ежедневно, то их разница становится меньше, в соответствии с законом, приведенным в тексте.

[181] Профессор Джастроу приводит в качестве результата своих экспериментов такой общий вывод (Am. Journal of Psychology, iii. 53): "Пространственные восприятия различных органов чувств сами по себе несопоставимы, и любую гармонию между ними мы вправе рассматривать как результат опыта. Пространственные представления человека, лишенного чувства зрения и ограниченного использованием других пространственных чувств, действительно должны отличаться от наших собственных". Но он продолжает: "Существование поразительных расхождений между нашими зрительными и другими пространственными представлениями, не смущающих нас и, более того, обычно не замечаемых, можно объяснить только тенденцией интерпретировать все измерения *в их зрительные эквиваленты*". Но этот автор не приводит никаких причин говорить "визуальный", а не "тактильный"; и я должен продолжать думать, что вероятность указывает в другую сторону, пока речь идет о том, что мы называем реальными величинами.

[182] Ср. Липпс о "сложности", Grundtatsachen, etc., p. 579.

[183] Чревовещание демонстрирует это очень красиво. Чревовещатель говорит, не шевеля губами, и в то же время обращает наше внимание на куклу, коробку или какой-нибудь другой предмет. Мы сразу же находим голос внутри этого предмета. На сцене актеру, не знающему музыки, иногда приходится петь, играть на гитаре или скрипке. Он выполняет все *движения* на наших глазах, в то время как в оркестре или в другом месте исполняется музыка. Но поскольку, слушая, мы видим актера, почти невозможно не *услышать* музыку, как будто доносящуюся оттуда, где он сидит или стоит.

[184] Ср. Shand, in Mind, xiii. 340.

[185] См., например, "Чувства и интеллект" Бейна, с. 366-7, 371.

[186] Когда, например, младенец смотрит на свою собственную движущуюся руку, он видит один объект в то же время, когда ощущает другой. Оба объекта привлекают его внимание, и он определяет их местонахождение вместе. Но размер ощущаемого объекта является более постоянным, так же как и ощущаемый объект в целом является более интересным и важным объектом; поэтому ретинальные ощущения рассматриваются как его знаки и имеют свои "реальные пространственные значения", интерпретируемые в осязаемых терминах.

[187] Несогласованность различных изначальных пространств ощущений *между собой* часто становится предлогом для отрицания пространственного качества примитивных телесных ощущений вообще. Нет ничего более распространенного, чем услышать, что: "У младенцев изначальное нет пространственного восприятия; ведь когда у ребенка болит палец на ноге, он не помещает боль в палец. Он не совершает никаких определенных защитных движений, и его можно вакцинировать, не держа на руках". Факты достаточно правдивы, но интерпретация неверна. На самом деле происходит то, что *ребенок не придает значения боли в пальце ноги*, потому что он еще ничего не знает о своем пальце. Он не рассматривал его как визуальный объект, не обрабатывал пальцами, и его нормальные органические ощущения или контакты еще не стали достаточно интересными, чтобы их можно было отличить от всего массива ощущений стопы или даже ноги, к которой он принадлежит. Короче говоря, палец не является ни членом

оптического пространства младенца, ни членом пространства его движений руками, ни независимым членом пространства его ног и ступней. У него фактически нет никакого психического существования, кроме как в виде этого маленького пространства боли. Что же удивляться, если боль кажется маленьким пространством-миром сама по себе? Но позвольте боли однажды связать себя с этими другими пространствами-мирами, и ее пространство станет частью их пространства. Пусть ребенок почувствует, как медсестра гладит конечность и пробуждает боль каждый раз, когда ее палец проходит к пальцу; пусть он смотрит и видит ее палец на пальце каждый раз, когда боль поднимается; пусть он сам обрабатывает ногу и получает боль каждый раз, когда палец попадает в его пальцы или рот; пусть движение ноги усиливает боль, - и все изменится. Пространство боли отождествляется с той частью каждого из других пространств, которая ощущается при ее пробуждении; и благодаря отождествлению с *ней* эти части отождествляются друг с другом и становятся систематически связанными как члены большего обширного целого.

[188] 'Pourquoi les Sensations visuelles sont elles étendues?' in Revue Philosophique, iv. 167.- Пока исправляются гранки этой главы, я получаю третий "Heft" из "Beiträge zur Experimentellen Psychologie" Мюнстерберга, в котором этот энергичный молодой психолог подтверждает (если я понимаю его после столь поспешного взгляда) более радикально, чем когда-либо, доктрину, что собственно мышечные ощущения являются нашим единственным средством измерения протяженности. Не имея возможности возобновить дискуссию здесь, я считаю своим долгом обратить внимание читателя на работу герра М.

[189] Даже если фигура будет нарисована на доске, а не в воздухе, вариации контакта на поверхности пальца будут гораздо проще, чем особенности самой прорисованной фигуры.

[190] См. например, Duchenne, Electrification localisée, pp. 727, 770, Leyden; Virchow's Archiv, Bd. xlvii. (1869).

[191] E.g., Eulenburg, Lehrb. d. Nervenkrankheiten (Berlin), 1878, i. 3.

[192] 'Ueber den Kraftsinn', Virchow's Archiv, Bd. lxxvii. 134.

[193] Archiv f. (Anat. u) Physiologie (1889), pp. 369, 540.

[194] Направление в его "первом намерении", конечно; направление, с которым мы пока только *знакомимся* и о котором мы ничего не знаем, кроме, возможно, его отличия от другого направления, пережитого минуту назад таким же образом!

[195] Я почти ничего не сказал об ассоциациях с визуальным пространством в предыдущем рассказе, потому что хотел представить процесс, который слепой и зрячий человек могли бы разделить в равной степени. Следует заметить, что пространство, представляемое воображению при движении сустава и проецируемое на расстояние кончика пальца, не представляется как какой-либо *конкретный* участок кожи. То, что представляет себе зрячий человек, - это видимый путь; то, что представляет себе слепой, - это скорее общий образ, абстракция из множества кожных пространств, локальные признаки которых нейтрализовали друг друга и не оставили ничего, кроме общей обширности. Далее мы увидим, что это общее абстрагирование пространства-магнита от различных локальных особенностей ощущений, которые сопровождали его, когда оно впервые ощущалось, происходит в значительных масштабах в приобретенных восприятиях как слепых, так и зрячих людей.

[196] Идеальное расширение системы ощущений с помощью разума не является чем-то исключительным. Зрение полно таких случаев; и в ручном искусстве, когда рабочий получает инструмент больше того, к которому он привык, и должен внезапно приспособить все свои

движения к его масштабу, или когда он должен выполнить знакомый набор движений в неестественном положении тела; Когда пианист встречает инструмент с необычно широкими или узкими клавишами; когда человек должен изменить размер своего почерка - мы видим, как быстро ум умножает раз и навсегда весь ряд своих операций на постоянный коэффициент, и ему не нужно беспокоиться о дальнейшей подгонке деталей.

[197] Pflüger's Archiv, xlv. 65.

[198] Untersuchungen im Gebiete der Optik, Leipzig (1863), p. 188.

[199] Проблемы жизни и разума, prob. vi. chap. iv. § 45.

[200] Volkmann, *op. cit.* p. 189. Сравните также то, что Геринг говорит о неспособности в его собственном случае заставить послеобразы казаться движущимися, когда он закатывает свои закрытые глаза в глазницы; и о незначительности его чувства сближения для ощущения расстояния (Beiträge zur Physiologie, 1881-2, pp. 31, 141). Гельмгольц также отводит мышцам конвергенции очень слабую долю в производстве нашего чувства третьего измерения (Physiologische Optik, 649-59).

[201] Сравните Lipps, Psychologische Studien (1885), p. 18, и другие аргументы, приведенные на стр. 12-27. Наиболее правдоподобные причины для признания сокращений мышц глазного яблока в качестве первоначального вклада в восприятие протяженности - те, которые приводит Вундт (Wundt, Physiologische Psychologie, ii. 96-100). Они вытекают из некоторых постоянных ошибок в нашей оценке линий и углов; которые, однако, допускают различные интерпретации (см. некоторые из них далее).- Как раз в то время, когда мой MS. отправляется в типографию, в мои руки попадает Beiträge zur experimentellen Psychologie герра Мюнстерберга, Heft 2, с записанными в нем экспериментами по измерению пространства, которые, по мнению автора, доказывают, что ощущение мышечного напряжения является основным фактором в нашем видении протяженности. Поскольку Мюнстерберг в течение полутора лет работал по три часа в день, сравнивая длину линий, которые он видел глазами в разных положениях, и поскольку он тщательно усреднил и "процентировал" 20 000 наблюдений, к его выводам следует прислушаться с большим уважением. Вкратце он сводится к тому, что "наши суждения о размере зависят от сравнения интенсивности ощущений движения, возникающих в мышцах глазного яблока при взгляде на расстояние и сливающихся с ощущениями света" (с. 142). Факты, на которых основан вывод, - это определенные постоянные ошибки, которые Мюнстерберг обнаружил в зависимости от того, находился ли стандартный или заданный интервал справа или слева от интервала, который обозначить как равный ему, был ли он выше или ниже его, или находился в каком-то более сложном соотношении. Он признает, что не может объяснить все ошибки в деталях, и что мы "стоим перед результатами, которые кажутся удивительными и не поддающимися разгадке, потому что мы не можем проанализировать элементы, которые входят в комплекс ощущений, которые мы получаем". Но он не сомневается в том, что "движения глаз и ощущение их положения при фиксации оказывают такое решающее влияние на нашу оценку видимого пространства, что ошибки не могут быть объяснены ничем иным, как ощущениями движения и их воспроизведением в памяти" (с. 166, 167). Самонадеянно сомневаться в мнении человека, не имея его опыта; и все же есть ряд моментов, которые заставляют меня приостановить суждение в отношении *сентенции* герра М. Например, он обнаружил постоянную тенденцию недооценивать интервалы, лежащие справа, и переоценивать интервалы, лежащие слева. Он гениально объясняет это привычкой *читать*, которая приучает нас легко перемещать глаза по прямым линиям слева направо, в то время как при взгляде справа налево мы перемещаем их по кривым линиям через всю страницу. Поскольку мы *измеряем интервалы как прямые линии*, нам требуется больше мышечных усилий для измерения справа налево, чем в другую сторону, и

интервал, лежащий слева, кажется нам, следовательно, длиннее, чем он есть на самом деле. Я читаю уже больше лет, чем герр Мюнстерберг; и все же у меня есть ярко выраженная ошибка в другую сторону. Именно интервал, направленный вправо, кажется мне длиннее, чем он есть на самом деле. Кроме того, герр М. носит вогнутые очки и смотрит в них с *неподвижной головой*. Не может ли быть так, что некоторые ошибки были вызваны искажением изображения на сетчатке, поскольку глаз смотрел уже не через центр, а через край стекла? Короче говоря, при всех предположениях, которые мы видели против того, чтобы мышечное сокращение определенно ощущалось как длина, я думаю, что могут существовать объяснения результатов герра М., которые ускользнули даже от его проницательности; и я призываю отложить суждение до тех пор, пока они не будут подтверждены другими наблюдателями. Я и сам не сомневаюсь, что наше ощущение увиденного может быть *изменено* сопутствующими мышечными ощущениями. В главе XVII (стр. 28-30) мы видели множество примеров подобных изменений, вмешательства в сенсорный эффект одного нервного процесса или его перевознесения другим. Я не понимаю, почему токи от мышц или век, поступающие одновременно с впечатлением от сетчатки, не могут заставить последнюю казаться больше, точно так же, как большая *интенсивность* стимуляции сетчатки заставляет ее казаться больше; или как большая площадь возбужденной поверхности заставляет цвет поверхности казаться сильнее, или, если это поверхность кожи, заставляет ее тепло казаться больше; или как холодность доллара на лбу (в старых экспериментах Вебера) заставляла доллар казаться тяжелее. Но это *физиологический* способ; и в конечном счете размер, который приобретает изображение на сетчатке глаза. Если я понимаю смысл Мюнстерберга, то он совершенно иной: величина принадлежит мышечным ощущениям как таковым и лишь *ассоциируется* с ощущениями сетчатки. Именно это я и отрицаю.

[202] Archiv f. (Anat. u.) Physiol. (1889), p. 543.

[203] *Ibid.* p. 496.

[204] *Ibid.* p. 497. Гольдшейдер считает, что наши мышцы не дают нам даже ощущения *сопротивления*, которое также обусловлено суставными поверхностями; в то время как *вес* обусловлен сухожилиями. *Ibid.* p. 541.

[205] "В то время как воспоминания, которые мы, видящие, сохраняем о человеке, сосредоточены вокруг определенной внешней формы, состоящей из его облика, роста, походки, у слепых все эти воспоминания относятся к чему-то совершенно иному, а именно к *звуку его голоса*". (Dunan, Rev. Phil., xxv. 357.)

[206] Vol. xxv. pp. 357-8.

[207] P. 135.

[208] Essay conc. Hum. Und., bk. ii. chap. ix. § 8.

[209] Philosophical Transactions, 1841. В книге Т. К. Эббота "Зрение и осязание" есть хорошее обсуждение этих случаев. Очевидно, что положительные случаи имеют большее значение, чем отрицательные. Недоумевающий крестьянин Ноэ М., случай которого описан доктором Дюфуром из Лозанны (Guerison d'un Aveugle né; 1876), много рассказывал о нем ММ. Навиль и Дюнан; но, как мне кажется, он лишь показывает, как мало *некоторые* люди могут справиться с новым опытом, в котором другие быстро чувствуют себя как дома. Этот человек даже не мог определить, двигался ли один из его первых объектов зрения или стоял на месте (стр. 9).

[210] Какой физиологический процесс может быть связан с этим повышенным ощущением глубины, выяснить трудно. По-видимому, он не имеет ничего общего с частями сетчатки, на которые воздействует, поскольку простая инверсия изображения (с помощью зеркал,

отражающих призм и т. д.), без инверсии головы, не приводит к этому; ничего общего с симпатическим осевым вращением глаз, которое могло бы усилить перспективу за счет преувеличенного несоответствия двух изображений на сетчатке (см. J. J. Müller, "Raddrehung u. Tiefendimension", Leipzig Acad. Berichte, 1875, стр. 124), так как у одноглазых людей это проявляется так же сильно, как и у людей с двумя глазами. Я не могу найти, чтобы это было связано с каким-либо изменением зрачка или с каким-либо определенным напряжением мышц глаза, сочувствующих мышцам тела. Преувеличение расстояния еще больше, когда мы запрокидываем голову назад и сокращаем верхнюю прямую мышцу, чтобы получить представление, чем когда мы наклоняемся вперед и сокращаем нижнюю прямую мышцу. Слабые призматические очки не дают такого эффекта, заставляя глаза немного расходиться. Для меня и для всех, кого я просил повторить это наблюдение, результат настолько заметен, что я не понимаю, как такой наблюдатель, как Гельмгольц, который тщательно исследовал зрение с перевернутой головой, мог упустить его из виду. (См. его Phys. Optik, pp. 488, 723, 728, 772.) Я не могу не думать, что тот, кто сможет объяснить преувеличение ощущения глубины в этом случае, в то же время прольет свет на его нормальную конституцию.

[211] "В журнале "Froriep's Notizen" (1838, июль), № 133, можно найти подробный рассказ с фотографией об эстонской девочке Еве Лаук, которой тогда было четырнадцать лет и которая родилась без рук и ног, который заканчивается следующими словами: "По словам матери, ее интеллект развивался так же быстро, как у ее брата и сестры; в частности, она так же быстро пришла к правильному суждению о размере и расстоянии видимых объектов, хотя, конечно, она не пользовалась руками." (Schopenhauer, Welt als Wille, ii. 44.)

[212] Physiol. Optik, p. 438. Оговорка Гельмгольца о "качествах" непоследовательна. Наши суждения о свете и цвете варьируются так же сильно, как наши суждения о размере, форме и месте, и по справедливости должны называться интеллектуальными продуктами, а не ощущениями. В других местах он действительно рассматривает цвет как интеллектуальный продукт.

[213] Сейчас нет необходимости рассматривать взгляды Гельмгольца на природу интеллектуального процесса создания пространства. Он колеблется - позже мы увидим, как.

[214] *Op. cit.* p. 214.

[215] Прежде чем приступить к этой новой теме, хорошо бы раз и навсегда отложить проблему физиологического процесса, лежащего в основе ощущения расстояния. Поскольку оно есть у одноглазых людей и уступает двуглазым только в измерении его градаций, оно не может быть связано исключительно с двойными и разрозненными изображениями, возникающими в результате бинокулярного параллакса. Поскольку люди с закрытыми глазами, глядя на послеобразы, обычно не видят, как они приближаются или удаляются при различной конвергенции, оно не может быть просто обусловлено ощущением конвергенции. По той же причине оно будет выглядеть неидентичным с ощущением аккомодации. Различия в кажущемся параллактическом движении между дальними и ближними объектами при движении головы не могут составлять ощущение расстояния, поскольку такие различия могут быть легко воспроизведены экспериментально (в движении видимых пятен на фоне), не вызывая никакой иллюзии перспективы. Наконец, очевидно, что видимая блеклость, тусклость и малость *сами по себе* не являются ощущением видимого расстояния, как бы сильно в случае хорошо известных объектов они *ни* служили признаками, указывающими на это.

Однако, если полю зрения в данный момент придается некое максимальное значение расстояния, каким бы оно ни было, ощущения, сопровождающие только что перечисленные процессы, становятся *локальными признаками* градации расстояний в пределах этой максимальной

глубины. Они помогают нам подразделять и измерять ее. Сама же она ощущается как единица, общая дистанция-величина, определяющая необъятность всего поля зрения, которое, соответственно, предстает как бездна определенного объема. И по-прежнему остается открытым вопрос, какой нейронный процесс лежит в основе ощущения этого расстояния-величины?

Геринг, пытавшийся объяснить градации внутри него взаимодействием определенных нативных значений расстояний, принадлежащих каждой точке двух сетчаток, похоже, готов признать, что *абсолютный* масштаб пространства-объема, в пределах которого появляются нативные фиксированные относительные расстояния, *не* фиксирован, а определяется каждый раз "опытом в самом широком смысле этого слова" (*Beiträge*, p. 344). То, что он называет *Kernpunkt* этого пространства-объема, - это точка, которую мы в данный момент фиксируем. Абсолютный масштаб всего объема зависит от абсолютного расстояния, на котором, по его мнению, находится этот *Kernpunkt* от лица смотрящего. "При изменении локализации *Kernpunkt* *внутренние* отношения видимого пространства ничуть не изменяются; это пространство в своей совокупности как неподвижная единица, так сказать, смещается по отношению к "я" смотрящего" (с. 345). Но что представляет собой локализация самого *Kernpunkt* в любой момент времени, кроме "опыта", то есть высших мозговых и интеллектуальных процессов, включающих память, Геринг не стремится определить.

Штумпф, другой писатель-сенсуалист, лучше других осознавший трудности проблемы, считает, что примитивное ощущение расстояния должно иметь непосредственный физический предшественник, либо в виде "органического изменения, сопровождающего процесс аккомодации, либо непосредственно в виде специфической энергии зрительного нерва". Однако, в отличие от Геринга, он считает, что примитивно, немедленно и физиологически дано *именно абсолютное* расстояние до фиксируемой точки, а не относительные расстояния до других предметов, находящихся рядом с этой точкой. Они, по его мнению, изначально воспринимаются в той плоскости, которую в широком смысле можно назвать одной с ней. Является ли расстояние в этой плоскости, рассматриваемое как феномен нашей примитивной чувствительности, неизменной величиной или подвержено колебаниям, он, если я правильно его понимаю, не берется решать догматически, но склоняется к первому мнению. Для него, как и для Геринга, высшие мозговые процессы ассоциации под названием "опыт" являются авторами половины восприятий расстояния, которые мы можем иметь в любой момент времени.

Теории Херинга и Штумпфа изложены для английского читателя г-ном Салли (в "Mind", iii. pp. 172-6). Мистер Эббот в своей книге "Зрение и осязание" (стр. 96-8) дает теорию, которая для меня настолько неясна, что я лишь отсылаю читателя к ее месту, добавляя, что она, по-видимому, делает расстояние фиксированной функцией сетчаточного ощущения, изменяемой фокальной настройкой. Кроме этих трех авторов, я не знаю ни одного, за исключением Панума, кто попытался бы определить расстояние как в какой-либо степени непосредственное ощущение. И у них доля непосредственных ощущений сводится к очень малой пропорциональной части в наших завершенных суждениях о расстоянии.

Профессор Липпс в своих необычайно острых "Psychologische Studien" (p. 69 и далее) утверждает, как до него утверждал Феррье в своем обзоре Беркли (*Philosophical Remains*, ii. 330 и далее), что *логически невозможно* воспринимать расстояние чего-либо от глаза посредством зрения; ведь *видимое* расстояние может быть только между *видимыми* терминами, а один из терминов в случае расстояния от глаза - это сам глаз, который не виден. Аналогично и с расстоянием между двумя точками, находящимися друг за другом: ближняя *точка скрывает* дальнюю, между ними не видно пространства. Чтобы пространство между двумя объектами *было видимым*, они должны находиться *рядом друг с другом*, тогда данное пространство будет *видимым*. Ни при каких других условиях его видимость невозможна. Отсюда следует вывод, что вещи можно правильно видеть

только в том пространстве, которое Липпс называет поверхностью, и что наше знание о третьем измерении должно быть концептуальным, а не сенсационным или визуально-интуитивным.

Но никакие аргументы в мире не могут доказать, что ощущение, которое реально существует, невозможно. Ощущение глубины или расстояния, дальности или удаленности действительно существует как факт нашего зрительного восприятия. Все, что доказывают рассуждения профессора Липпса относительно него, - это то, что оно не линейно по своему характеру, или в своей непосредственности полностью однородно и консубстанциально с ощущением буквального расстояния между двумя видимыми точками; короче говоря, что существует *два* вида оптических ощущений, каждый из которых необъяснимо обусловлен особым нейронным процессом. Нейронный процесс легко обнаружить, если речь идет о боковом расширении или распространенности, - это количество нервных окончаний сетчатки, на которые воздействует свет; в случае протензии или просто дальнозоркости все гораздо сложнее, и, как мы уже пришли к выводу, его еще предстоит искать. Эти два ощущаемых качества объединяются в примитивной зрительной величине. Измерение их различных величин друг относительно друга подчиняется общим законам всех подобных измерений. Мы обнаруживаем их эквивалентность с помощью предметов, применяем одни и те же единицы к обоим и переводим их друг в друга так привычно, что в конце концов они начинают казаться нам даже совершенно одинаковыми по виду. Этой окончательной видимости однородности, возможно, способствует тот факт, что при бинокулярном зрении две точки, расположенные на продолжении оптической оси *одного* из глаз, так что ближняя из них скрывает дальнюю, воспринимаются *другим* глазом латерально друг от друга. Фактически каждый глаз имеет искаженное боковое представление о линии зрения другого. В "Лондон Таймс" за 8 февраля 1884 года опубликовано интересное письмо Дж. Д. Дугала, который пытается объяснить этой причиной, почему стрельба из винтовки с двух глаз имеет такие преимущества перед стрельбой с закрытым глазом.

[216] Так, пара очков, расположенных на расстоянии дюйма или около того от глаз, кажется одним большим средним стеклом. Способность видеть стереоскопические слайды в одиночку, без прибора, очень полезна для изучающего физиологическую оптику, и люди с сильными глазами могут легко ею овладеть. Единственная трудность заключается в том, чтобы отделить степень аккомодации от степени конвергенции, которой она обычно сопровождается. Если правое изображение фокусируется правым глазом, а левое - левым, то оптические оси должны быть либо параллельны, либо сходиться в воображаемой точке, находящейся на некотором расстоянии за плоскостью изображений, в зависимости от размера и расстояния между ними. Аккомодация, однако, должна быть сделана для самой плоскости изображений, а ближняя аккомодация с дальней конвергенцией - это то, что обычное использование наших глаз никогда не научит нас делать.

[217] Эти два наблюдения доказывают закон одинакового направления только для объектов, которые возбуждают фовеа или лежат на линии прямого взгляда. Наблюдатели, владеющие непрямым зрением, могут, однако, более или менее легко проверить закон для удаленных точек сетчатки.

[218] Этот очерк, опубликованный в "Философских трудах", содержит зародыш почти всех методов, применяемых с тех пор для изучения оптического восприятия. Жаль, что Англия, так блестяще начавшая современную эпоху этих исследований, так быстро ушла из поля зрения. Почти весь последующий прогресс был достигнут в Германии, Голландии и, *спустя долгое время*, в Америке.

[219] Здесь не место описывать эту полемику, но несколько библиографических ссылок могут оказаться неуместными. Сам эксперимент Уитстоуна приведен в разделе 12 его мемуаров. В

пользу его интерпретации см. Helmholtz, Phys. Opt., pp. 737-9; Wundt, Physiol. Psychol., 2te Aufl. p. 144; Nagel, Sehen mit zwei Augen, pp. 78-82. Против Уитстоуна см. Volkmann, Arch. f. Ophth., v. 2-74, и Untersuchungen, p. 266; Hering, Beiträge zur Physiologie, 29-45, также в Hermann's Hdbch. d. Physiol., Bd. iii. 1 Th. p. 435; Aubert, Physiologie d. Netzhaut, p. 322; Schön, Archiv f. Ophthal., xxiv. 1. pp. 56-65; и Donders, ibid. xiii. 1. p. 15 и прим.

[220] Когда мы видим палец все время, мы обычно помещаем его на линию, соединяющую объект и левый глаз, если это левый палец, и соединяющую объект и правый глаз, если это правый палец. Микроскописты, меткие стрелки или люди, у которых один из глаз гораздо лучше другого, почти всегда ориентируются на один глаз, что видно по положению тени на их лице, когда они указывают на пламя свечи.

[221] Профессор Жозеф Ле Конте, который твердо верит в теорию тождества, воплотил ее в паре законов соотношения между положениями, видимыми одним и двумя глазами, вблизи и вдали, с одной стороны, и конвергенциями и отпечатками сетчатки, с другой, которые, хотя и сложны, кажутся мне лучшей описательной формулировкой нормальных фактов зрения. Его изложение легко доступно читателю в томе "Зрение" в Международной научной серии, кн. 2, с. 8, поэтому я не буду больше говорить о нем, за исключением того, что оно не решает ни одной из трудностей, которые мы отмечаем в теории тождества, ни объясняет другие колебания восприятия, о которых мы будем говорить дальше.

[222] Естественно, что меньший объект на меньшем расстоянии должен покрывать своим изображением постоянную площадь сетчатки.

[223] Archiv f. Ophthal., Bd. xvii. Abth. 2, pp. 44-6 (1871).

[224] A. W. Volkmann, Untersuchungen, p. 253.

[225] Philosophical Transactions, 1852, p. 4.

[226] Physiol. Optik, 649-664. Позже этот автор стал оценивать конвергенцию более высоко. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. (1878), p. 322.

[227] Anomalies of Accommodation and Refraction (New Sydenham Soc. Transl., London, 1864), p. 155.

[228] Эти странные противоречия Оберт назвал "вторичными" обманами суждений. См. Grundzüge d. Physiologischen Optik (Leipzig, 1876), pp. 601, 615, 627. Один из лучших примеров - маленький размер Луны, впервые увиденной в телескоп. Она больше и ярче, поэтому мы видим ее детали более отчетливо и судим о ее приближении. Но поскольку мы видим ее так близко, нам кажется, что она должна была стать меньше. Ср. Шарпантье в Jahresbericht, x. 430.

[229] Revue Philosophique, iii. 9, p. 220.

[230] См. главу XXIV.

[231] Единственное исключение, по-видимому, составляют случаи, когда мы явно хотим абстрагироваться от частных и судить об общем "эффекте". Посмотрите на дам, примеряющих новые платья с наклоненной головой и косым взглядом; или на художников, которые в таком же положении оценивают "ценности" своих картин.

[232] Важность суперпозиции будет показана позже.

[233] Physiol. Optik, p. 817.

[234] Боудич и Холл, в журнале "Физиология", том iii. стр. 299. Гельмгольц пытается объяснить это явление бессознательными вращениями глазного яблока. Но движения глазного яблока могут объяснить только такие проявления движений, которые одинаковы по всему полю. На оконной доске одна часть поля кажется движущейся одним образом, другая - другим. То же самое происходит, когда мы поворачиваемся от спирали, чтобы посмотреть на стену: только *центр* поля раздувается или сжимается, а края делают обратное или остаются в покое. Мах и Дворак прекрасно доказали невозможность вращений глаз в этом случае (Sitzungsber. d. Wiener Akad., Bd. lxi.). См. также статью Боудича и Холла, как указано выше, р. 300.

[235] Bulletins de l'Acad. de Belgique, xxi. 2; Revue Philosophique, vi. pp. 223-5; Physiologische Psychologie, 2te Aufl. p. 103. Сравните взгляды Мюнстерберга, Beiträge, Heft 2, p. 174.

[236] Physiol. Optik, pp. 562-71.

[237] Физиол. Psych., pp. 107-8.

[238] Grundtatsachen des Seelenlebens, pp. 526-30.

[239] Ср. *выше*, т. I. с. 515 и далее.

[240] См. Archiv f. Ophthalm., v. 2, 1 (1859), где приведено множество других примеров.

[241] Untersuchungen, p. 250; см. также p. 242.

[242] Я опускаю некоторые трудности, связанные с двойными изображениями, выведенные из восприятия нескольких косоглазых (например, Schweigger, Klin. Untersuch über das Schielen, Berlin, 1881; Javal, Annales d'Oculistique, lxxxv. p. 217), потому что эти факты в лучшем случае исключительны и очень трудны для интерпретации. В пользу сенсуалистического или нативистского взгляда на один из таких случаев см. важную статью фон Криса (Von Kries), Archiv f. Ophthalm., xxiv. 4, p. 117.

[243] Physiologische Untersuchungen im Gebiete der Optik, v.

[244] Ср. E. Mach, Beiträge zur Analyse der Empfindungen, p. 87.

[245] Ср. В. Эррег, Revue Philos., xx. 488.

[246] Лёб (Pflüger's Archiv, xl. 274) доказал, что мышечные изменения адаптации глаза к ближнему и дальнему расстоянию определяют форму рельефа.

[247] Самый сильный пассаж в аргументации Гельмгольца против ощущений пространства относится к этим колебаниям видимого рельефа: "Разве нельзя сделать вывод, что если ощущения рельефа вообще существуют, то они должны быть настолько слабыми и неясными, чтобы не иметь никакого влияния по сравнению с прошлым опытом? Разве мы не должны поверить, что восприятие третьего измерения могло возникнуть *и без них*, поскольку теперь мы видим, что оно происходит как *против* них, так и *с ними*?" (Physiol. Optik, p. 817.)

[248] Ср. E. Mach, Beiträge, etc., p. 90, и предыдущую главу настоящей работы, [p. 86](#) и далее.

[249] Должен сказать, что я, кажется, всегда могу видеть прямоугольник креста по своему желанию. Но это, по-видимому, происходит от несовершенного поглощения прямоугольного послеобраза наклонной плоскостью, на которую смотрят глаза. У меня крест отделяется от нее и выглядит квадратным. Иллюзия лучше получается с кругом, чье послеобраза становятся различными способами эллиптическими при проецировании на различные поверхности комнаты, и затем их нелегко заставить снова выглядеть круглыми.

[250] В главе XVIII, с. 74, я привел причину, по которой воображение не *должно* быть таким же ярким, как ощущения. Следует иметь в виду, что эта причина не применима к этим дополнительным воображениям реальной формы вещей, находящихся перед нашими глазами.

[251] Hermann's Handb. der Physiologie, iii. 1. p. 565-71.

[252] Bulletin de l'Académie de Belgique, 2me Série, xix. 2.

[253] Вундт пытается объяснить все эти иллюзии относительно более сильным "чувством иннервации", необходимым для перемещения глазных яблок вверх, - в доказательство этого приводится тщательное изучение соответствующих мышц, - и, следовательно, большей оценкой пройденного расстояния. Достаточно заметить, однако, вместе с Липпсом, что если бы иннервация была полной, то колонна букв S, поставленная друг на друга, выглядела бы больше, чем та, что находится под ней, а флюгер на шпилье - гигантским, но ни того, ни другого не происходит. Только половинки *одного и того же объекта* выглядят разными по размеру, потому что обычная поправка на ракурс касается только отношений частей особых *вещей*, разложенных перед нами. Ср. Вундт, Физиол. Psych., 2te Aufl. ii. 96-8; Th. Lipps, Grundtatsachen, etc., p. 535.

[254] Геринг частично разрешает таким образом загадку рис. 60, 61 и 67. Несомненно, это объяснение частично применимо, но странное прекращение иллюзии при фиксации взгляда не может быть объяснено таким образом.

[255] Гельмгольц пытался (Physiol. Optik, p. 715) объяснить расхождение кажущихся вертикальных меридианов двух сетчаток тем, как одинаковая линия, проведенная на земле в срединной плоскости, отбрасывает свои изображения на два глаза соответственно. Этот вопрос слишком техничен, чтобы описывать его здесь; неискушенного читателя можно отослать к книге Ж. Ле Конте "Зрение" в журнале "Internat. Scient. Series, p. 198 ff. Но для пользы тех, кому *verbum sat*, я не могу не сказать, что, как мне кажется, *точность* соотношения двух меридианов - расходящихся или нет, поскольку их расхождение различно у разных людей и часто у одного человека в разное время - исключает возможность того, что оно обусловлено простым привычным отпадением изображения одной объективной линии на обоих глазах. Ле Конт, например, измеряет их положение до шестых долей градуса, другие - до десятых. Это указывает на органическую идентичность ощущений двух сетчаток, с которой опыт срединных перспективных горизонталей может быть примерно согласен, но вряд ли мог породить. Вундт объясняет это расхождение, как обычно, "*иннервацией*" (указ. соч., ii. 99 и далее).

[256] Physiol. Optik, p. 547.

[257] "Мы можем с помощью короткой линейки нарисовать на плоской поверхности линию любой длины, сначала проведя ее настолько, насколько позволяет линейка, а затем несколько сдвинув линейку вдоль нарисованной линии и снова проведя ее, и т. д. Если линейка абсолютно прямая, мы получим таким образом прямую линию. Если же она несколько изогнута, мы получим окружность. Теперь вместо скользящей линейки мы используем в поле зрения центральную точку наиболее отчетливого зрения, на которую накладывается линейное ощущение зрения, которое временами может усиливаться, пока не превратится в послеобразы. При взгляде мы следуем направлению этой линии, при этом мы скользим по ней и получаем увеличение ее длины. На плоской поверхности мы можем проводить эту процедуру по любой прямой или изогнутой линейке, но в поле зрения для каждого направления и движения глаза существует только один вид линии, по которой мы можем постоянно скользить в ее собственном направлении". Это то,

что Гельмгольц называет "кругами направления" зрительного поля - линии, которые он изучал со свойственной ему тщательностью. Ср. *Physiol. Optik*, p. 548 ff.

[258] Ср. Геринг в *Hermann's Handb. der Physiol.*, iii. 1, pp. 558-4.

[259] Это сжатие и расширение абсолютной пространственной величины общего оптического ощущения остается для меня самой неясной частью всего предмета. Это настоящее оптическое ощущение, интроспективно кажущееся не имеющим ничего общего с локомоторными или другими внушениями. Легко сказать, что "интеллект производит его", но что это значит? Тот, кто прольет свет на этот вопрос, возможно, прояснит и другие трудности.

[260] Экспертиза Гамильтона, 3-е изд. стр. 283.

[261] Чувства и интеллект, 3-е изд. с. 183.

[262] *Examination of Hamilton*, 3d ed. p. 283.

[263] *Senses and Intellect*, p. 372.

[264] *Vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde*, pp. 52-7.

[265] *Psychol. als Wissenschaft*, § 111.

[266] *Psychol. als Wissenschaft*, § 113.

[267] *Lehrbuch d. Psychol.*, 2te Auflage, Bd. ii. p. 66. Пятая глава Фолькмана содержит действительно ценную подборку исторических заметок, касающихся теорий восприятия пространства.

[268] Зачем говорить о "генетических теориях", когда мы можем на следующем дыхании написать, как это делает Вундт: "Если мы должны рассматривать интуицию пространства как продукт, который просто возникает из условий нашей умственной и физической организации, ничто не должно мешать нам обозначить ее как одну из *априорных* функций, которыми наделено сознание". (*Logik*, ii. 460.)

[269] P. 430.

[270] Pp. 430, 449.

[271] P. 428.

[272] P. 442.

[273] Pp. 442, 818.

[274] P. 798. Ср. также Научно-популярные лекции, с. 301-3.

[275] P. 456; см. также 428, 441.

[276] P. 797.

[277] P. 812.

[278] Внизу страницы 797.

[279] На самом деле, если воспользоваться примером профессора Г. Э. Мюллера (*Theorie der sinnl. Aufmerksamkeit*, p. 38), различные органы чувств имеют в гельмгольцевской философии восприятия такое же отношение к воспринимаемому с их помощью "объекту", какое группа веселых пьяниц имеет к счету хозяина дома, когда ни у кого нет денег, но каждый надеется, что кто-то из остальных заплатит.

[280] *Grundtatsachen des Seelenlebens* (1883), pp. 480, 591-2. *Psychologische Studien* (1885), p. 14.

[281] *Psychology*, ii. p. 174.

[282] *Ibid.* p. 168.

[283] *Senses and Intellect*, 3d ed. pp. 366-75.

[284] Cp. Hall and Donaldson in *Mind*, x. 559.

[285] В качестве других примеров путаницы можно привести г-на Салли: "*Ошибочное предположение*, что может существовать идея расстояния вообще, помимо конкретных расстояний" (*Mind*, iii. p. 177); и Вундт: "Неопределенная локализация, которая ждет, пока опыт даст ей ссылку на реальное пространство, находится в противоречии с самой идеей локализации, которая означает ссылку на определенную точку пространства" (*Physiol. Psych.*, 1te Aufl. p. 480).

[286] Г. Беркли: *Essay towards a new Theory of Vision*; Samuel Bailey: *A Review of Berkeley's Theory of Vision* (1842); J. S. Mill's *Review of Bailey*, in his *Dissertations and Disquisitions*, vol. ii; Jas. Ferrier: Рецензия на Бейли в "*Философских остатках*", т. ii; A. Bain: *Senses and Intellect*, "Intellect", chap. i; H. Spencer: *Principles of Psychology*, pt. vi. chaps. xiv, xvi; J. S. Mill: *Examination of Hamilton*, chap. xiii (лучшее изложение позиции так называемых английских эмпириков); T. K. Abbott: *Sight and Touch*, 1861 (первая английская книга, в которой подробно рассматриваются *факты*; мистер Эббот считает, что ощущения сетчатки первоначально относятся к пространству в трех измерениях); A. C. Fraser: Рецензия на Эббота в "*North British Review*" за август 1864 г.; другая рецензия в "*Macmillan's Magazine*", август 1866 г.; J. Sully: *Outlines of Psychology*, chap. vi; J. Ward: *Encyclop. Britannica*, 9th Ed., article 'Psychology,' pp. 53-5; J. E. Walter: *The Perception of Space and Matter* (1879)- Я могу также сослаться на дискуссию между профессором Г. Грумом Робертсоном, мистером Дж. Уордом и настоящим автором в *Mind*, vol. xiii.- Настоящая глава представляет собой лишь подробное изложение статьи под названием "*The Spatial Quale*", которая появилась в *Journal of Speculative Philosophy* за январь 1879 года (xiii. 64).

ГЛАВА XXI.[287]

ВОСПРИЯТИЕ РЕАЛЬНОСТИ.

ВЕРА.

Каждый знает разницу между воображением вещи и верой в ее существование, между предположением и согласием с ее истинностью. В случае согласия или веры объект не только воспринимается разумом, но и считается имеющим реальность. Таким образом, вера - это ментальное состояние или функция познания реальности. В дальнейшем слово "вера"

будет означать любую степень уверенности, включая наивысшую возможную уверенность и убежденность.

Как известно, существует два способа изучения каждого психического состояния. Первый - путь анализа: В чем оно состоит? Какова его внутренняя природа? Из чего состоит разум? Во-вторых, путь истории: Каковы условия его производства и его связь с другими фактами?

На первом пути мы не можем зайти очень далеко. *По своей внутренней природе вера, или ощущение реальности, - это своего рода чувство, более близкое к эмоциям, чем к чему-либо другому.* Мистер Бейджхот четко называет его "эмоцией" убежденности. Я только что говорил о нем как о согласии. Оно больше всего похоже на то, что в психологии воления мы знаем как согласие. Все признают, что согласие - это проявление нашей активной природы. Оно естественно описывается такими терминами, как "готовность" или "поворот нашей склонности". Что характеризует и согласие, и веру, так это прекращение теоретического возбуждения благодаря появлению идеи, которая внутренне устойчива и прочно заполняет разум, исключая противоречивые идеи. Когда это происходит, то, как правило, следуют двигательные эффекты. Поэтому состояния согласия и веры, характеризующиеся покоем с чисто интеллектуальной стороны, тесно связаны с последующей практической деятельностью. Эта внутренняя стабильность содержания сознания столь же характерна для неверия, как и для веры. Но мы увидим, что мы никогда не верим ни во что, кроме как в то, что мы верим во что-то другое, что противоречит первому.^[288] Таким образом, неверие является случайным осложнением веры и не нуждается в самостоятельном рассмотрении.

Истинными противоположностями веры, с психологической точки зрения, являются сомнение и сомнение, а не неверие. В обоих этих состояниях содержание нашего разума находится в беспорядке, а эмоции, возникающие при этом, подобно эмоциям веры, совершенно отчетливы, но совершенно не поддаются словесному описанию. Оба вида эмоций могут быть патологически преувеличены. Одна из прелестей пьянства, несомненно, заключается в углублении чувства реальности и истины, которое в нем обретается. В каком бы свете ни представляли перед нами вещи, они кажутся нам более совершенно такими, какие они есть, более "совершенно абсолютными", чем в трезвом состоянии. В опьянении закисью азота это доходит до совершенно непередаваемой крайности, когда сама душа человека потеет от убежденности, а он все это время не может сказать, в чем он вообще убежден.^[289] Патологическое состояние, противоположное этой основательности и углубленности, было названо манией сомнения (немцы называют ее *GrüBELsucht*). Иногда она встречается в виде субстанционального аффекта, пароксизмального или хронического, и заключается в неспособности успокоиться на какой-либо концепции и потребности в ее подтверждении и объяснении. Почему я стою здесь, где стою?" "Почему стакан - это стакан, а стул - это стул?" "Как получилось, что люди имеют только тот размер, который они имеют? Почему они не такие большие, как дома?" и т. д. и т. п.^[290] Существует, правда, еще одно патологическое состояние, которое так же далеко от сомнений, как и от веры, и которое некоторые, возможно, предпочитают считать противоположностью последнего состояния ума. Я имею в виду ощущение, что все вокруг пустое, нереальное, мертвое. Об этом состоянии я еще расскажу на одной из следующих страниц. Здесь же я хочу обратить внимание на то, что вера и неверие - это всего лишь два аспекта одного психического состояния.

Джон Милль, рассматривая различные мнения о вере, приходит к выводу, что не может быть дано никакого отчета о ней:

"Какая, - говорит он, - разница *для нашего ума* между представлением о реальности и воображаемой картиной? Признаюсь, я не могу отделаться от мнения, что это различие является конечным и изначальным. Утверждать это не сложнее, чем считать различие между ощущением и идеей изначальным. Это кажется почти другим аспектом одного и того же различия..... Поэтому я не могу не думать, что в воспоминании о реальном факте, в отличие от воспоминания о мысли, есть элемент, который не состоит... в различии между простыми идеями, которые присутствуют в сознании в этих двух случаях. Этот элемент, как бы мы его ни определяли, составляет веру и является различием между памятью и воображением. С какой бы стороны мы ни подошли, это различие, кажется, закрывает нам путь. Когда мы приходим к нему, мы, кажется, достигаем, так сказать, центрального пункта нашей интеллектуальной природы, который предполагается и на который опирается в каждой нашей попытке объяснить более сложные явления нашего психического бытия".[291]

Если слова Милля отнести к простому субъективному анализу веры - к вопросу "Что мы чувствуем, когда это есть?", - то в целом они должны быть признаны верными. Вера, чувство реальности, ощущается как таковое - это почти все, что мы можем сказать.

Профессор Brentano в замечательной главе своей "*Психологии*" выражает это, говоря, что представление и вера (которую он называет *суждением*) - это два разных фундаментальных психических феномена. То, что я сам назвал (т. I, с. 275) "объектом" мысли, может быть сравнительно простым, например "Ха! Какая боль" или "Это - громы"; или же оно может быть сложным, например "Колумб открыл Америку в 1492 году" или "Существует-все-мудрый-создатель-мира". Однако в любом случае мысль об объекте может существовать как нечто совершенно отличное от веры в его реальность. Вера, как говорит Brentano, предполагает саму мысль:

"Каждый объект приходит в сознание двояким образом, как просто мысль о нем [*vorgestellt*] и как признание [*anerkannt*] или отрицание. Это отношение аналогично тому, которое, по мнению большинства философов (не только Канта, но и Аристотеля), существует между простой мыслью и желанием. Ничто никогда не желается без того, чтобы о нем не думали; но желание, тем не менее, является второй совершенно новой и своеобразной формой отношения к объекту, вторым совершенно новым способом его получения в сознании. Ни о чем нельзя судить [т. е. верить или не верить], о чем бы не думали. Но мы должны настаивать на том, что, как только объект мысли становится объектом соглашающегося или отвергающего суждения, наше сознание вступает в совершенно новое отношение к нему. Тогда он дважды присутствует в сознании - как мыслимый и как принимаемый за действительный или отрицаемый; точно так же, когда к нему пробуждается желание, он одновременно мыслится и одновременно желается." (Р. 266.)

Обычная доктрина "суждения" заключается в том, что оно состоит в соединении "идей" с помощью "копулы" в "предложение", которое может быть разного рода, как утвердительное, отрицательное, гипотетическое и т. д. Но кто не видит, что в неверном, сомнительном, вопросительном или условном предложении идеи сочетаются таким же одинаковым образом, как и в предложении, в которое твердо верят? *Способ, которым объединяются*

идеи, является частью внутренней конституции объекта или содержания мысли. Этот объект иногда является артикулированным целым с отношениями между его частями, среди которых отношения предиката к субъекту могут быть одним из них. Но когда мы получили наш объект с его внутренней конституцией, определенный таким образом в пропозиции, тогда возникает вопрос относительно объекта в целом: "Является ли он реальным объектом? Является ли эта пропозиция истинной пропозицией или нет? И в ответе "да" на *этот* вопрос кроется тот новый психический акт, который Brentano называет "суждением", но который я предпочитаю называть "верой".

Итак, в каждой пропозиции, в той мере, в какой ей верят, подвергают сомнению или не верят, следует различать четыре элемента: субъект, предикат и их отношение (какого бы рода оно ни было) - они образуют *объект* веры и, наконец, психическое отношение, в котором наш разум стоит к пропозиции в целом, - это и есть сама вера.[292]

Признав, таким образом, что это отношение есть состояние сознания *sui generis*, о котором больше ничего нельзя сказать в плане внутреннего анализа, перейдем ко второму способу изучения предмета веры: *При каких обстоятельствах мы считаем вещи реальными?* Вскоре мы увидим, как много вопросов это дает нам для обсуждения.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОРЯДКИ РЕАЛЬНОСТИ.

Предположим, что новорожденный разум совершенно пуст и ждет, когда начнется опыт. Предположим, что он начинается в виде зрительного впечатления (слабого или яркого - это несущественно) от зажженной свечи на темном фоне, и ничего больше, так что пока этот образ длится, он составляет всю вселенную, известную данному уму. Предположим, кроме того (для упрощения гипотезы), что свеча только воображаемая и что никакой ее "оригинал" не распознается нами, психологами, снаружи. Будут ли верить в эту галлюцинаторную свечу, будет ли она иметь реальное существование для разума?

Какой смысл (для этого разума) имело бы подозрение, что свеча не настоящая? Что означало бы сомнение или неверие в нее? Когда *мы*, внимательные психологи, говорим, что свеча нереальна, мы имеем в виду нечто вполне определенное, а именно, что существует известный *нам* мир, который реален, и к которому, по нашему мнению, свеча не принадлежит; она принадлежит исключительно этому индивидуальному разуму, не имеет *статуса* нигде больше и т. д. Она, конечно, существует, поскольку составляет содержание галлюцинации этого ума; но сама галлюцинация, хотя и является несомненно неким существующим фактом, не имеет никакого знания о *других* фактах; и поскольку эти *другие* факты являются для нас реальностью *par excellence* и единственными вещами, в которые мы верим, свеча просто находится за пределами нашей реальности и веры вообще.

По гипотезе, однако, *разум, который видит свечу*, не может рассуждать о ней подобным образом, поскольку о других фактах, действительных или возможных, он не имеет ни малейшего представления. Эта свеча - его все, его абсолют. Все его внимание поглощено ею. Она *есть*, она *есть*, она *есть*; нет никакой другой возможной свечи или качества этой свечи, никакого другого возможного места или возможного объекта в этом месте, никакой альтернативы, короче говоря, даже мыслимой; так как же разум может не верить, что свеча реальна? Предположение о том, что он может этого не делать, в предполагаемых условиях является невразумительным.[293]

Именно об этом давно заявил Спиноза:

"Представим себе мальчика, - сказал он, - воображающего себе лошадь и не обращающего внимания ни на что другое. Поскольку это воображение подразумевает существование лошади, *а у мальчика нет восприятия, которое отменяло бы ее существование*, он обязательно созерцает лошадь как присутствующую и не может сомневаться в ее существовании, как бы мало он в этом ни был уверен. Я отрицаю, что человек в той мере, в какой он воображает [*percipit*], ничего не утверждает. Ибо что значит представить себе крылатую лошадь, как не утверждение, что у лошади [именно у этой лошади] есть крылья? Ведь если бы перед умом не было ничего, кроме крылатой лошади, он созерцал бы ее как существующую, не имел бы ни причин сомневаться в ее существовании, ни сил не соглашаться с ее существованием, если бы воображение крылатой лошади не было соединено с идеей, *противоречащей ее существованию*". (Этика, ii. 49, Scholium).

Ощущение нереальности того, о чем мы думаем, может возникнуть только тогда, когда этой вещи противоречит какая-то другая вещь, о которой мы думаем. *Любой объект, который остается непротиворечивым, ipso facto полагается и позиционируется как абсолютная реальность.*

Как же получается, что одна вещь, о которой мы думаем, может быть опровергнута другой? Никак, если только не начать ссору с того, что сказать что-то недопустимое о другом. Возьмите ум со свечой или мальчика с лошадью. Если кто-то из них скажет: "Эта свеча или эта лошадь, даже когда я ее не вижу, существует во *внешнем мире*", он вводит во "внешний мир" объект, который может быть несовместим со всем, что он знает об этом мире в остальном. Если это так, то он должен выбрать, чего ему придерживаться: нынешних представлений или другого знания о мире. Если он придерживается другого знания, то нынешние представления противоречат ему, *насколько они связаны с этим миром*. Свеча и лошадь, чем бы они ни были, не существуют во внешнем пространстве. Они, конечно, существуют; они - ментальные объекты; ментальные объекты имеют существование как ментальные объекты. Но они находятся в своих собственных пространствах, пространствах, в которых они появляются по отдельности, и ни одно из этих пространств не является пространством, в котором существуют реалии, называемые "внешним миром".

Возьмем, к примеру, лошадь с крыльями. Если мне просто снится лошадь с крыльями, то моя лошадь ничему больше не мешает и ей не нужно противоречить. И лошадь, и ее крылья, и место, где она находится, - все одинаково реально. Эта лошадь существует не иначе как крылатая и, более того, действительно существует, ибо место существует не иначе как место этой лошади и пока не имеет никакой связи с другими местами мира. Но если с помощью этой лошади я проникну в *мир, известный иным образом*, и скажу, например, "Это моя старая кобыла Мэгги, у которой выросла пара крыльев, и она стоит в своем стойле", то все дело изменится; ведь теперь лошадь и место отождествляются с лошадью и местом, известными иным образом, а *то, что* известно о последних объектах, несовместимо с тем, что воспринимается в отношении первых. 'Мэгги в своем стойле с крыльями! Никогда! Крылья нереальны, значит, видение. Мне приснилась лошадь о Мэгги в ее стойле.

Читатель узнает в этих двух случаях два вида суждений, называемых в учебниках логики соответственно экзистенциальными и атрибутивными. Свеча существует как внешняя реальность" - это экзистенциальное суждение, "У моей Мэгги есть пара крыльев" - атрибутивное суждение;^[294] и из сказанного следует, что *все предложения, будь то атрибутивные или экзистенциальные, верятся самим фактом своего возникновения, если они не противоречат другим предложениям, в которые верят в то же самое время, утверждая, что их термины совпадают с терминами этих других предложений*. Свеча во

сне имеет существование, это верно; но не то же самое существование (существование для себя, а именно, или *extra mentem meam*), которое имеют свечи бодрствующего восприятия. Лошадь во сне имеет крылья; но тогда ни лошадь, ни крылья не совпадают ни с лошадьми, ни с крыльями, известными памяти. То, что мы можем в любой момент думать о той же самой вещи, о которой мы думали в любой предыдущий момент, является высшим законом нашей интеллектуальной конституции. Но когда мы теперь думаем о ней несовместимо с другими нашими способами мышления, то мы должны выбрать, какого способа придерживаться, ибо мы не можем продолжать думать двумя противоречивыми способами одновременно. *Все различие реального и нереального, вся психология веры, неверия и сомнения, таким образом, основывается на двух психических фактах: во-первых, мы можем по-разному думать об одном и том же; во-вторых, когда мы это сделали, мы можем выбрать, какого способа мышления придерживаться, а каким пренебречь.*

Предметы, которых придерживаются, становятся реальными предметами, атрибуты - реальными атрибутами, существование - реальным существованием; в то время как предметы, которыми пренебрегают, становятся воображаемыми предметами, атрибуты - ошибочными атрибутами, а существование - существованием в ничейной земле, в лимбе, "где обитают безногие фантазии". Реальные вещи, по терминологии М. Тейна, являются *редукциями* вещей, признанных нереальными.

МНОЖЕСТВО МИРОВ.

Привычно и практически мы вообще не *считаем* эти пренебрегаемые вещи существующими. Для них *Vae victis* - закон популярной философии; они даже не рассматриваются как видимость; к ним относятся так, как если бы они были простым мусором, эквивалентным ничему вообще. Для подлинно философского ума, однако, они все еще имеют существование, хотя и не такое же, как реальные вещи. *Как объекты фантазии, как ошибки, как обитатели страны грез и т. д.,* они являются в своем роде такими же неоспоримыми частями жизни, такими же неоспоримыми чертами Вселенной, как и реальность. Таким образом, весь мир, о котором философам приходится заботиться, состоит из реальности *плюс* фантазии и иллюзии.

Две субвселенные, по крайней мере, связанные отношениями, которые пытается установить философия! На самом деле субвселенных, о которых мы ведем учет, больше, чем две: одни из нас - в этой, другие - в той. Ведь существуют различные категории как иллюзии, так и реальности, и наряду с миром абсолютной ошибки (т. е. ошибки, свойственной отдельным индивидам), но все же в пределах мира абсолютной реальности (т. е. реальности, в которую верит законченный философ), существует мир коллективной ошибки, существуют миры абстрактной реальности, относительной или практической реальности, идеальных отношений, а также мир сверхъестественного. Народный ум представляет себе все эти подмиры более или менее разобщенно; и, имея дело с одним из них, на время забывает о его отношениях с остальными. Полноценный философ - это тот, кто стремится не только назначить каждому объекту своей мысли его правильное место в том или ином подмире, но и определить отношение каждого подмира к остальным в общем мире, который *есть*.

Наиболее важными субвселенными, которые обычно отличают друг от друга и которые признаются большинством из нас как существующие, каждая со своим особым и отдельным стилем существования, являются следующие:

(1) Мир чувств, или физических "вещей", как мы их инстинктивно воспринимаем, с такими качествами, как тепло, цвет и звук, и такими "силами", как жизнь, химическое сродство, гравитация, электричество, существующими как таковые внутри или на поверхности вещей.

(2) Мир науки, или физических вещей, как их представляют себе ученые, с исключенными вторичными качествами и "силами" (в популярном смысле), и ничем реальным, кроме твердых тел и жидкостей и их "законов" (т.е. обычаев) движения. [295]

(3) Мир идеальных отношений, или абстрактных истин, в которые верят все, и которые выражаются в логических, математических, метафизических, этических или эстетских предложениях.

(4) Мир "идолов племени", иллюзий или предрассудков, общих для расы. Все образованные люди признают, что они образуют одну субвселенную. К этому миру относится, например, движение неба вокруг земли. Это движение не является признанным элементом ни одного из других миров; но как "идол племени" оно действительно существует. Для некоторых философов "материя" существует только как идол племени. Для науки "вторичные качества" материи - это всего лишь "идолы племени".

(5) Различные сверхъестественные миры, христианские рай и ад, мир индуистской мифологии, мир "*visa et audita*" Сведенборга и т. д. Каждый из них представляет собой последовательную систему с определенными отношениями между своими частями. Трезубец Нептуна, например, не имеет никакого статуса реальности в христианском раю; но в пределах классического Олимпа с ним связаны определенные вещи, независимо от того, верим ли мы в реальность классической мифологии в целом или нет. К этим мирам веры можно причислить различные миры преднамеренной басни - мир "*Илиады*", мир короля Лира, мир "*Пиквикских бумажек*" и т. д. [296]

(6) Различные миры индивидуальных мнений, столь же многочисленные, как и люди.

(7) Миры чистого безумия и капризов, также бесконечно многочисленные.

Каждый объект, о котором мы думаем, в конце концов оказывается отнесенным к тому или иному миру из этого или подобного списка. Он оседает в нашем сознании как объект здравого смысла, научный объект, абстрактный объект, мифологический объект, объект чьей-то ошибочной концепции или объект сумасшедшего; и он достигает этого состояния иногда сразу, но часто только после того, как его суеют и разбрасывают среди других объектов, пока он не найдет те, которые будут терпеть его присутствие и стоять с ним в отношениях, которым ничто не противоречит. Молекулы и эфирные волны научного мира, например, просто вышвыривают тепло и цвет объекта, отказываясь иметь с ним какие-либо отношения. Но мир "идолов племени" готов их принять. Точно так же мир классического мифа принимает крылатого коня; мир индивидуальных галлюцинаций - видение свечи; мир абстрактной истины - утверждение, что справедливость царственна, хотя ни один реальный король не может быть справедливым. Сами же различные миры, однако, представляются (как уже говорилось выше) уму большинства людей не в очень определенном отношении друг к другу, и наше внимание, когда оно обращается к одному из них, склонно на время исключить из рассмотрения другие. Предложения, касающиеся различных миров, делаются с "разных точек зрения"; и в этом более или менее хаотичном состоянии сознание большинства мыслителей пребывает до конца. Каждый мир, пока на него обращают внимание, реален по-своему; только реальность исчезает вместе с вниманием.

МИР "ПРАКТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ".

У каждого мыслителя, однако, есть доминирующие привычки внимания; и они *практически выбирают из различных миров какой-то один, который становится для него миром конечных реальностей*. К объектам этого мира он не апеллирует. Все, что позитивно противоречит им, должно попасть в другой мир или умереть. Лошадь, например, может иметь крылья сколько угодно, лишь бы она не претендовала на роль *лошади* реального мира - та абсолютно бескрыла. Для большинства людей, как мы сейчас увидим, "вещи чувств" занимают эту прерогативную позицию и являются ядром абсолютно реального мира. Другие вещи, конечно, могут быть реальными для этого человека или для того - вещи науки, абстрактные моральные отношения, вещи христианского богословия или что-либо еще. Но даже для особого человека эти вещи обычно реальны в меньшей степени, чем вещи чувственные. К ним относятся менее серьезно; и самое большее, что можно сказать о вере в них, - это то, что она так же сильна, как и "вера в собственные чувства".[297]

Во всем этом проявляется вечная пристрастность нашей природы, наша неизбывная склонность к выбору. Ведь в строгом и предельном смысле слова существование, все, о чем можно помыслить, существует как *некий* объект, будь то мифический объект, объект отдельного мыслителя или объект в космосе и для интеллекта в целом. Ошибки, вымыслы, племенные верования - все это части огромной Вселенной, которую создал Бог, и Он, должно быть, хотел, чтобы все эти вещи были в ней, каждая на своем месте. Но для нас, конечных созданий, "слишком любопытно рассматривать так". Самого факта появления объекта недостаточно для того, чтобы считать его реальностью. Это может быть метафизической реальностью, реальностью для Бога; но нам нужна практическая реальность, реальность для нас самих; а чтобы иметь ее, объект должен не только появиться, но и показаться *интересным* и *важным*. К мирам, объекты которых не являются ни интересными, ни важными, мы относимся просто отрицательно, мы клеймим их как *нереальные*.

Таким образом, в *относительном смысле*, в смысле, в котором мы противопоставляем реальность простой *нереальности* и в котором говорят, что одна вещь обладает *большей* реальностью, чем другая, и в которую больше верят, *реальность означает просто отношение к нашей эмоциональной и активной жизни*. Это единственный смысл, который это слово имеет в устах практичных людей. *В этом смысле все, что возбуждает и стимулирует наш интерес, реально*; всякий раз, когда объект настолько привлекает нас, что мы обращаемся к нему, принимаем его, заполняем им свой разум или практически учитываем его, он реален для нас, и мы верим ему. Если же, напротив, мы игнорируем ее, не рассматриваем ее или не действуем в соответствии с ней, презираем ее, отвергаем ее, забываем ее, то она для нас нереальна и мы не верим ей. По сути, Юм был прав, когда говорил, что вера во что-либо - это просто живое и активное представление о нем:

"Итак, я утверждаю, что вера есть не что иное, как более яркое, живое, убедительное, твердое и устойчивое представление о предмете, чем то, которое способно создать одно лишь воображение. Она заключается не в особой природе или порядке идей, а в *способе* их представления и в их *ощущении* разумом. Я признаю, что невозможно в полной мере объяснить это чувство или способ зачатия..... Его истинным и правильным именем... является *вера* - термин, который все достаточно хорошо понимают в обычной жизни. И в философии мы не можем пойти дальше, чем утверждать, что вера - это нечто ощущаемое разумом, что отличает идею суждения от вымыслов воображения.[298] Она придает им больший вес и влияние; заставляет их казаться более важными; укрепляет их в сознании;

дает им превосходное влияние на страсти и делает их руководящим принципом наших действий".[299]

Или, как выражается профессор Бейн: "По своей сути вера - это фаза нашей активной природы, иначе называемой волей".[300]

Итак, объект веры, реальность или реальное существование, - это нечто совершенно отличное от всех других предикатов, которыми может обладать субъект. Это интеллектуально или чувственно воспринимаемые свойства. Когда мы добавляем любой из них к предмету, мы увеличиваем внутреннее содержание последнего, мы обогащаем его картину в нашем сознании. Но добавление реальности не обогащает картину никаким таким внутренним образом; оно оставляет ее внутренне такой, какой она есть, и только фиксирует ее и запечатлевает в нас.

"Реальное, - как говорит Кант, - содержит не больше, чем возможное. Сто реальных долларов не содержат ни на пенни больше, чем сто возможных долларов..... Какими бы предикатами и в каком бы количестве я ни мыслил вещь, к ней ничего не прибавится, если я добавлю, что вещь существует..... Что бы, следовательно, ни содержало наше понятие объекта, мы всегда должны выйти за его пределы, чтобы приписать ему существование".[301]

Выход за его пределы - это установление либо непосредственных практических отношений между ним и нами, либо отношений между ним и другими объектами, с которыми мы имеем непосредственные практические отношения. Отношения такого рода, которые еще не трансцендированы и не вытеснены другими, являются *ipso facto* реальными отношениями и наделяют реальностью их объективный термин. *Таким образом, fons et origo всей реальности, будь то с абсолютной или практической точки зрения, субъективной, - это мы сами.* Как голые логические мыслители, без эмоциональной реакции, мы наделяем реальностью любые объекты, о которых думаем, ибо они действительно явления, или объекты нашей мимолетной мысли, если не более того. Но, *как мыслители с эмоциональной реакцией, мы придаем, как нам кажется, еще более высокую степень реальности тем вещам, которые мы выбираем, подчеркиваем и к которым обращаемся с волей.* Это наши живые реальности; и не только они, но и все остальные вещи, которые тесно связаны с ними. Реальность, начинаясь с нашего "Я", таким образом, проливается от точки к точке - сначала на все объекты, которые сразу же заинтересовали наше "Я", а затем на объекты, наиболее тесно связанные с этими. Она терпит неудачу только тогда, когда теряется связующая нить. Целая система может быть реальной, если она подвешена к нашему Эго только одним *жалящим* термином. Но в то, что противоречит любому такому жалящему термину, даже если это сам другой жалящий термин, либо не верят, либо верят только после разрешения спора.

Таким образом, мы приходим к важному выводу, что *наша собственная реальность, то ощущение собственной жизни, которым мы обладаем в каждый момент, является конечной из конечных точек для нашей веры.* "Я уверен, что я существую!" - вот наше наивысшее основание для существования всех других вещей. Как Декарт сделал неоспоримую реальность *когито* залогом реальности всего, что с *ним* связано, так и мы все, ощущая свою собственную настоящую реальность с абсолютно принудительной силой,

приписываем равную степень реальности, во-первых, тем вещам, за которые мы держимся с чувством личной необходимости, и, во-вторых, всем более далеким вещам, непрерывно связанным с ними. "Mein Jetzt und Hier", - как говорит профессор Липпс, - "ist der letzte Angelpunkt für alle Wirklichkeit, also alle Erkenntniss".

Мир живых реальностей в противоположность нереальности, таким образом, закрепляется в Эго, рассматриваемом как активное и эмоциональное понятие.^[302] Это крючок, с которого свисает все остальное, абсолютная опора. И как на раскрашенный крюк, как говорят, можно повесить только раскрашенную цепь, так и наоборот, на настоящий крюк можно повесить только настоящую цепь. *Все, что имеет тесную и постоянную связь с моей жизнью, - это вещи, в реальности которых я не могу сомневаться.* Все, с чем не удастся установить эту связь, - это вещи, которые практически ничем не лучше для меня, чем если бы их вообще не существовало.

В некоторых формах меланхолического извращения чувствительности и реактивных способностей ничто не трогает нас до глубины души, не пробуждает естественных чувств. Следствием этого является жалоба, которую так часто можно услышать от больных меланхолией, что они ни во что не верят, как раньше, и что всякое чувство реальности исчезло из жизни. Они покрыты индийской резиной; ничто не проникает в них до глубины души и не влечет за собой кровь. По словам Гризингера, "я вижу, я слышу!" - говорят такие пациенты, - "но предметы не доходят до меня, как будто между мной и внешним миром стоит стена!"

"У таких пациентов часто наблюдается изменение кожной чувствительности, в результате чего предметы кажутся нечеткими, а иногда грубыми и шершавыми. Но даже если бы это изменение присутствовало всегда, оно не могло бы полностью объяснить психический феномен... который напоминает нам скорее об изменении наших психических отношений к внешнему миру, к которому может привести, с одной стороны, прогрессирующий возраст, а с другой - эмоции и страсти. В детстве мы чувствуем себя ближе к миру чувственных явлений, мы живем непосредственно с ними и в них; тесная жизненная связь связывает нас с ними. Но по мере созревания рефлексии эта связь ослабевает, теплота нашего интереса остывает, вещи выглядят для нас иначе, и мы ведем себя во внешнем мире как иностранцы, хотя знаем его гораздо лучше. Радость и бурные эмоции в целом снова приближают его к нам. Все производит более живое впечатление, и благодаря быстрому возвращению этой теплой восприимчивости к впечатлениям радость заставляет нас снова почувствовать себя молодыми. При депрессивных эмоциях все происходит наоборот. Внешние вещи, живые или неорганические, внезапно становятся холодными и чужими для нас, и даже любимые объекты интереса чувствуют себя так, как будто они нам больше не принадлежат. В этих обстоятельствах, не получая больше ни от чего живого впечатления, мы перестаем обращаться к внешним вещам, и на нас нарастает чувство внутреннего одиночества..... Там, где нет сильного интеллекта, способного контролировать это *безразличное* состояние, эту психическую холодность и отсутствие интереса, результатом этих состояний, в которых все кажется таким холодным и пустым, сердце иссушенным, мир мертвым и пустым, часто является самоубийство или более глубокие формы безумия."^[303]

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОЩУЩЕНИЙ.

Но теперь мы сталкиваемся с вопросами детализации. В чем состоит это возбуждение, эта волнующая сила, этот интерес, которым обладают некоторые предметы? Каковы те "интимные отношения" с нашей жизнью, которые придают ей реальность? Какие вещи находятся в этих отношениях непосредственно, а какие настолько тесно связаны с первыми, что (выражаясь языком Юма) мы "переносим свое расположение" и на них?

Простым и прямым способом на эти вопросы вообще невозможно ответить. Вся история человеческой мысли - это лишь незаконченная попытка ответить на них. Ведь что только не пытались выяснить люди, с тех пор как они стали людьми, но только не это: "Где лежат наши истинные интересы, какие отношения мы назовем интимными и настоящими, какие вещи мы назовем живыми реалиями, а какие нет?". Несколько психологических моментов, однако, можно прояснить.

Любое отношение к нашему сознанию, при отсутствии более сильного отношения, достаточно, чтобы сделать объект реальным. Для этого достаточно самого простого обращения к нашему вниманию. Вернитесь к началу главы и возьмите свечу, входящую в пустой разум. Разум ждал какого-то объекта, который мог бы стать источником. Пружина срабатывает, и в свечу верят. Но когда свеча появляется одновременно с другими объектами, она должна пройти через их соперничество, и тогда встает вопрос, кто из различных кандидатов на внимание должен заставить поверить. Как правило, мы верим настолько, насколько можем. Мы бы поверили всему, если бы только могли. Когда объекты представляются нам совершенно бессистемно, они мало противоречат друг другу, и количество их, в которые мы можем поверить таким хаотичным образом, безгранично. Разум первобытного дикаря - это джунгли, в которых галлюцинации, сны, суеверия, представления и разумные объекты процветают рядом друг с другом, не регулируемые ничем, кроме как поворотом внимания то в ту, то в другую сторону. Детский разум устроен точно так же. Только когда объекты становятся постоянными, а их отношения фиксированными, ощущаются несоответствия и противоречия, которые должны быть разрешены каким-то стабильным способом. Как правило, успех, с которым противоречивый объект сохраняется в нашей вере, пропорционален нескольким качествам, которыми он должен обладать. Из них большинство людей на первое место поставит то, что характеризует объекты ощущений, - это...

- (1) Принудительность к вниманию, или просто сила владеть сознанием: затем следуют
- (2) Живость, или ощутимая острота, особенно в плане возбуждения удовольствия или боли;
- (3) Стимулирующее воздействие на волю, т.е. способность вызывать активные импульсы, чем более инстинктивные, тем лучше;
- (4) Эмоциональный интерес, как объект любви, страха, восхищения, желания и т. д.;
- (5) Соответствие определенным излюбленным формам созерцания - единство, простота, постоянство и т. п.;
- (6) Независимость от других причин и собственная каузальная значимость.

Эти символы сталкиваются друг с другом. Принудительность является результатом живости или эмоционального интереса. То, что живо и интересно, стимулирует волю *eo ipso*; согласованность касается как активных импульсов, так и созерцательных форм; каузальная независимость и важность соответствуют определенному созерцательному требованию и т.

д. Поэтому я откажусь от всякой попытки формального изложения и просто перейду к замечаниям в наиболее удобном порядке изложения.

В целом ощущения более живые и считаются более реальными, чем представления; вещи, встречающиеся каждый час, более реальны, чем вещи, увиденные однажды; атрибуты, воспринимаемые в бодрствующем состоянии, более реальны, чем атрибуты, воспринимаемые во сне. Но из-за *разнообразных отношений, в которые вступают различные объекты друг с другом*, простое правило, согласно которому живое и постоянное является реальным, достаточно часто оказывается завуалированным. Задуманная вещь может считаться более реальной, чем определенная ощущаемая вещь, если она только тесно связана с другими ощущаемыми вещами, более яркими, постоянными или интересными, чем первая. Задуманные молекулярные колебания, например, физик считает более реальными, чем ощущаемое тепло, поскольку они так тесно связаны со всеми другими фактами движения в мире, которые он специально изучает. Точно так же редкая вещь может считаться более реальной, чем постоянная, если она более тесно связана с другими постоянными вещами. Все случайные важнейшие наблюдения в науке являются тому примером. Редкое переживание также может быть признано более реальным, чем постоянное, если оно более интересно и захватывающе. Таков вид Сатурна в телескоп; таковы случайные прозрения и озарения, которые нарушают привычный ход наших мыслей.

Но ни одна плавающая концепция, ни одна оторванная от реальности редкость никогда не вытеснит из нашей веры ни яркие вещи, ни постоянные. Концепция, чтобы возобладать, должна *завершиться* в мире упорядоченного чувственного опыта. Редкое явление, чтобы вытеснить часто встречающиеся, должно находиться в одном ряду с другими, еще более частыми. История науки усеяна обломками и руинами теорий - сущностей и принципов, жидкостей и сил, за которые мы когда-то горячо цеплялись, но оказалось, что они не вяжутся ни с какими фактами. И исключительные явления напрасно добиваются нашей веры до тех пор, пока нам не представится случай представить их в виде видов, уже признанных существующими. То, что наука подразумевает под "верификацией", не более чем то, что не следует верить ни в один объект концепции, который рано или поздно не будет иметь какого-то постоянного и яркого объекта ощущений в качестве своего *срока*. Сравните с тем, что было сказано на [страницах 3-7](#) выше.

Чувственные объекты, таким образом, являются либо нашей реальностью, либо проверкой нашей реальности. Придуманные объекты должны демонстрировать ощутимые эффекты, иначе в них можно не верить. А следствия, даже если они сводятся к относительной нереальности, когда становятся видны их причины (как тепло, которое молекулярные колебания делают нереальным), все же являются тем, на чем покоится наше знание о причинах. Странная взаимная зависимость, в которой видимость нуждается в реальности, чтобы существовать, а реальность нуждается в видимости, чтобы быть известной!

Чувственная живость или резкость является жизненно важным фактором реальности, когда начинается конфликт между объектами и их соединение в сознании. Ни один объект, не обладающий этой яркостью сам по себе и не способный позаимствовать ее у чего-либо другого, не имеет шансов вырваться вперед в борьбе с яркими соперниками или вызвать в нас ту реакцию, в которой заключается вера. На ярких объектах мы, как говорится, верим во все остальное; и вера инстинктивно возвращается даже к тем из них, от которых ее увела рефлексия. Свидетельство тому - упорство, с которым популярный мир цветов, звуков и

запахов противостоит миру молекул и вибраций. Пусть физик только кивнет, как Гомер, и мир чувств снова станет для него абсолютной реальностью. [304]

То, что вещи, изначально лишённые этой стимулирующей силы, могут, ассоциируясь с другими вещами, обладающими ею, заставить нас поверить в нее, как если бы они сами обладали ею, - замечательный психологический факт, который со времен Юма невозможно не заметить.

"Яркость первого представления, - пишет он, - распространяется по связям и передается, как по многим трубам или каналам, каждой идее, которая хоть как-то связана с первичной". Суеверные люди любят мощи святых и святых людей по той же причине, по которой они ищут типы и изображения, чтобы оживить свою преданность и дать им более близкое и сильное представление об этих образцовых жизнях..... Очевидно, что одна из лучших реликвий, которую может приобрести верующий, - это работа рук святого, и если его одежду и мебель можно рассматривать в этом свете, то только потому, что они когда-то были в его распоряжении, были подвижны и затронуты им; в этом отношении они... связаны с ним более коротким путем, чем любой из тех, из которых мы узнаем о реальности его существования. Этот феномен ясно доказывает, что настоящее впечатление, связанное с причинно-следственной связью, может оживить любую идею и, следовательно, вызвать веру или согласие, в соответствии с предшествующим определением..... Магометане и христиане отмечают, что паломники, видевшие Мекку или Святую Землю, впоследствии оказываются более верными и ревностными верующими, чем те, кто не имел такой возможности. Человек, в памяти которого живо предстают Красное море и пустыня, Иерусалим и Галилея, никогда не усомнится в чудесных событиях, о которых рассказывают Моисей или евангелисты. Живое представление об этих местах легко переходит в факты, которые, как предполагается, были связаны с ними по смежности, и усиливает веру, увеличивая живость представления. Воспоминание о тех полях и реках оказывает такое же влияние, как новый аргумент..... Обряды католической религии можно рассматривать как примеры той же природы. Приверженцы этого странного суеверия обычно оправдывают мумию, которой их попрекают, тем, что они чувствуют благотворное влияние внешних движений, поз и действий, оживляющих их преданность и усиливающих их пыл, который в противном случае угас бы, если бы был направлен исключительно на далекие и нематериальные объекты. Мы затеваем объекты нашей веры, говорят они, в чувственных типах и образах, и делаем их более реальными для нас непосредственным присутствием этих типов, чем это возможно для нас только при интеллектуальном взгляде и созерцании". [305]

Случаи Юма довольно тривиальны, а вещи, в которые нас заставляют верить связанные с ними чувственные объекты, он считает нереальными. Но тем более очевиден факт их психологического влияния. Кто не "осознает" в большей степени факт существования умершего или далекого друга в тот момент, когда находят его портрет, письмо, одежду или другое материальное напоминание о нем? Тогда все представление о нем становится острым, говорит с нами и потрясает нас так, как в другое время. В детском сознании фантазии и реальность живут бок о бок. Но какими бы живыми ни были их фантазии, они все равно получают помощь от ассоциации с реальностью. Воображающий ребенок отождествляет свою *драматическую персону* с какой-нибудь куклой или другим материальным объектом, и это, очевидно, укрепляет веру, как бы мало он ни походил на то, за что себя выдавал. Вещь, не слишком интересная по своим реальным качествам, обычно

оказывает здесь наилучшую услугу. Самой полезной куклой, которую я когда-либо видел, был большой огурец в руках маленькой девочки из Амазонии - индианки ; она ухаживала за ним, мыла его, укачивала, чтобы он спал в гамаке, и разговаривала с ним целыми днями - не было в жизни такой роли, которую не играл бы огурец". Мистер Тайлор говорит:

"Воображающий ребенок заставит собаку выполнять обязанности лошади, солдата - пастуха, пока, наконец, объективное сходство почти не исчезнет, и можно будет таскать за собой кусок дерева, напоминающий корабль на море или карету на дороге. Здесь сходство деревяшки с кораблем или каретой очень незначительно; но это предмет, его можно передвигать... и он явно помогает ребенку в организации и развитии его представлений..... Насколько полезно... можно убедиться, убрав ее и оставив ребенку не с чем играть..... В более зрелом возрасте и среди высокообразованных людей умственный процесс, который происходит в детской игре с деревянными солдатиками и лошадками, хотя он никогда не исчезает, нужно искать в более сложных явлениях. Возможно, ничто в последующей жизни так не напоминает воздействие куклы на ребенка, как влияние иллюстраций к сказке на взрослого читателя. Здесь объективное сходство весьма неопределенно... но какую реальность придает сцене хорошая картина..... Однажды на Земле Ван Димена мистер Бэкхаус заметил женщину, которая раскладывала несколько плоских, овальных камней шириной около двух дюймов, обозначенных в разных направлениях черными и красными линиями. Как он узнал, они символизировали отсутствующих друзей, а один, больший, чем остальные, обозначал толстую туземку с острова Флиндер, известную под именем Мать Браун. Подобные обычаи встречаются среди гораздо более высоких рас, чем злополучные тасманийцы. Среди некоторых североамериканских племен мать, потерявшая ребенка, хранит память о нем, наполняя его колыбель черными перьями и пером и нося ее с собой в течение года или более. Когда она останавливается где-нибудь, она ставит колыбель и разговаривает с ней, пока занимается своими делами, точно так же, как она делала бы, если бы мертвое тело было еще живым внутри нее. Здесь мы имеем изображение; но в Африке мы находим грубую куклу, изображающую ребенка, которая хранится в качестве мемориала..... Бастиан видел, как индейские женщины в Перу, потерявшие младенца, носили на спине деревянную куклу, изображающую его".[306]

Для многих из нас фотографии потерянных людей кажутся фетишем. Они, правда, похожи; но о том, что материальность напоминания почти так же важна, как и его сходство, свидетельствует популярность сто лет назад черных тафтяных "силуэтов", которые до сих пор можно найти среди семейных реликвий, и об одном из которых Фихте мог написать своей невесте: *"Die Farbe fehlt, das Auge fehlt, es fehlt der himmlische Ausdruck deiner lieblichen Züge"* - и все равно продолжать поклоняться ему. В столь упорно исповедуемом многими мнении, что язык необходим для мысли, есть, по-видимому, и та доля истины, что все наши внутренние образы неизбежно стремятся прикрепиться к чему-то осязаемому, чтобы обрести телесность и жизнь. Для этого служат слова, жесты, камни, соломинки, меловые знаки, все, что угодно. Как только что-то из этого становится заменой идеи, последняя кажется более реальной. Некоторые люди, к числу которых относится и настоящий писатель, не могут читать лекции без доски: абстрактные понятия должны символизироваться буквами, квадратами или кругами, а отношения между ними - линиями. Вся эта символика, лингвистическая, графическая и драматическая, имеет и другое применение, поскольку сокращает мысли и закрепляет термины. Но одно из его назначений, несомненно, состоит в том, чтобы пробудить реакцию верующих и придать идеям более живую реальность. Как,

когда нам рассказывают историю и показывают тот самый нож, которым было совершено убийство, то самое кольцо, чей тайник раскрыл ясновидящий, все это переходит из страны сказок в землю-матушку, так и здесь мы верим тем больше, если только видим, что "кирпичи живы, чтобы рассказать сказку".

Вот вам и прерогатива ощущений в отношении нашей веры. Но среди самих ощущений не все считаются одинаково реальными. Из общей массы выбираются более важные с практической точки зрения, более постоянные и более понятные с эстетической точки зрения, чтобы в них верили больше всего; остальные низводятся до положения лишь признаков и предположений о них. Об этом уже говорилось в предыдущих главах.^[307] Реальный цвет вещи - это то единственное цветоощущение, которое она дает нам, когда наиболее благоприятно освещена для зрения. Так же и с реальным размером, реальной формой и т. д. - это всего лишь оптические ощущения, выбранные из тысяч других, потому что они обладают эстетическими характеристиками, которые привлекают наше внимание или восхищают нас. Но я не буду повторять то, что уже написал по этому поводу, а перейду к рассмотрению тактильных и мышечных ощущений, как "первичных качеств", более реальных, чем те "вторичные" качества, которые выявляет глаз, ухо и нос. Почему же мы так резко выделяем *осязаемое* как реальное? Наши мотивы искать далеко не надо. Осязаемые качества наименее изменчивы. Когда мы их получаем, они остаются неизменными. Другие качества сильно колеблются при изменении нашего относительного положения по отношению к объекту. Затем, что еще более важно, тактильные свойства наиболее тесно связаны с нашим счастьем или горем. Кинжал ранит нас только при соприкосновении с кожей, яд - только когда мы берем его в рот, а использовать предмет в своих интересах мы можем только тогда, когда он находится под нашим мускульным контролем. Таким образом, именно осязаемые вещи волнуют нас больше всего, а другие органы чувств, насколько это возможно с их практической точки зрения, лишь предупреждают нас о том, каких осязаемых вещей следует ожидать. Они являются лишь органами предвосхищающего осязания, как с совершенной ясностью объяснил Беркли.^[308]

Среди всех ощущений *наиболее* убедительными являются те, которые вызывают удовольствие или боль. Локк прямо указывает на то, что качество, *доставляющее удовольствие или боль*, является высшим критерием реальности чего-либо для человека. Обсуждая (с предполагаемым берклианцем до Беркли) идею о том, что все наши восприятия могут быть лишь сном, он заявляет:

"Он может мечтать о том, чтобы я дал ему такой ответ... что, как я полагаю, он допустит весьма очевидную разницу между мечтой оказаться в огне и тем, чтобы оказаться в нем на самом деле. Но если он все же решится показаться настолько скептиком, чтобы утверждать, что то, что я называю реальным пребыванием в огне, есть не что иное, как сон, и что мы не можем таким образом определенно знать, что такая вещь, как огонь, действительно существует без нас, я отвечу, что мы, безусловно, обнаруживаем, что удовольствие или боль [или эмоции любого рода] следуют за применением к нам определенных объектов, существование которых мы воспринимаем или мечтаем, что воспринимаем нашими чувствами, *это, безусловно, так же велико, как наше счастье или несчастье*, вне которого у нас нет заботы знать или быть."^[309]

ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИЙ И АКТИВНОГО ИМПУЛЬСА НА ВЕРУ.

Свойство вызывать эмоции, потрясать, трогать нас или побуждать к действию имеет такое же отношение к нашей вере в реальность объекта, как и свойство доставлять удовольствие или боль. В [главе XXIV](#) я попытаюсь показать, что наши эмоции, вероятно, обязаны своим резким качеством телесным ощущениям, которые они вызывают. Таким образом, наша склонность верить в эмоционально возбуждающие объекты (объекты страха, желания и т. д.) объясняется без обращения к какому-либо принципиально новому принципу выбора. Говоря в общем, чем больше задуманный объект *возбуждает* нас, тем больше реальности он имеет. Один и тот же объект в разное время возбуждает нас по-разному. Моральные и религиозные истины в одних случаях доходят до нас гораздо быстрее, чем в других. Как говорит Эмерсон, "между одним и другим часом жизни есть разница в их силе и последующем воздействии". Наша вера приходит в мгновения... но в этих кратких мгновениях есть глубина, которая заставляет нас приписывать им больше реальности, чем всем остальным переживаниям". Глубина" - это, несомненно, понимание более широких систем единых отношений, но гораздо чаще это эмоциональное возбуждение. Так, если перейти к более банальным примерам, то человек, не верящий в призраков при дневном свете, временно поверит в них, когда в полночь, оставшись один, почувствует, как его кровь сворачивается от таинственного звука или видения, сердце колотится, а ноги побуждают к бегству. Мысль о том, что мы можем упасть, когда идем по бордюрному камню, не вызывает никаких эмоций страха; поэтому с ней не связано ощущение реальности, и мы уверены, что не упадем. Однако на краю пропасти тошнотворное чувство, которое вызывает мысль о возможном падении, заставляет нас поверить в неизбежную реальность последнего и совершенно лишает нас возможности продолжать путь.

Самое большое доказательство того, что человек - *sui compos*, - это его способность приостановить веру в присутствии эмоционально захватывающей идеи. Наделение этой способностью - высший результат образования. В необученных умах такой способности нет. Любая волнующая мысль в естественном человеке вызывает доверие. Задумать со страстью - значит утверждать. Как говорит Бейджхот:

"Халиф Омар сжег Александрийскую библиотеку, сказав: "Все книги, содержащие то, чего нет в Коране, опасны. Все книги, содержащие то, что в нем есть, бесполезны! Наверное, никто и никогда не верил ни во что сильнее, чем в это Омар. Однако невозможно представить себе, чтобы она предшествовала аргументации. Его вера в Магомета, в Коран и в достаточность Корана, вероятно, пришла к нему в спонтанном порыве эмоций; возможно, тут и там проскакивали небольшие остатки аргументов, но они не оправдывали силу эмоций, тем более не создавали их, и вряд ли даже оправдывали их..... Вероятно, при тщательном изучении этого вопроса убежденность окажется одной из самых сильных человеческих эмоций, наиболее тесно связанной с телесным состоянием... сопровождаемой или предшествуемой ощущением, которое Скотт заставляет своего провидца описать как прелюдию к пророчеству:

"Наконец пришел роковой ответ,
В символах живого пламени.
Не произнесенный словами, не пылающий в свитке,
но начертанный и запечатленный на моей душе".

Горячая вспышка словно обжигает мозг. Люди в таком напряженном состоянии духа изменили всю историю, изменили к лучшему или худшему вероучение мириадом людей, опустошили или искупили провинции или века. Эта интенсивность также не является признаком истины, поскольку она как раз наиболее сильна в тех вопросах, в которых люди больше всего отличаются друг от друга. Джон Нокс чувствовал это в своем антикатолицизме; Игнатий Лойола - в своем антипротестантизме; и оба, я полагаю, чувствовали это настолько, насколько это вообще возможно".[310]

Причиной веры, несомненно, является телесное волнение, которое вызывает возбуждающая идея. Ничто из того, что я могу почувствовать, не может быть ложным". Все наши религиозные и сверхъестественные убеждения такого рода. Самый надежный залог бессмертия - это тоска наших недр по нашим близким; Бога - по тому тонущему чувству, которое дает нам представление о том, что нет такого Провидения или помощи. То же самое касается наших политических или финансовых надежд и страхов, вещей и людей, которых мы боимся и желаем. "У бакалейщика есть полное вероучение относительно внешней политики, у молодой леди - полная теория таинств, в отношении которых ни у того, ни у другого нет никаких сомнений. Девушка в сельском пасторате будет уверена, что Париж никогда не будет взят, или что Бисмарк - негодяй" - все это потому, что они либо задумывали эти вещи в какой-то момент со страстью, либо связывали их с другими вещами, которые они задумывали со страстью.

М. Ренувье называет эту веру в вещь не иначе как по той причине, что мы представляем ее себе со страстью, именем *психического головокружения*. [311] Другие предметы шепчут нам о сомнении или неверии; но предмет страсти делает нас глухими ко всему, кроме самого себя, и мы утверждаем его безоговорочно. Такими объектами являются галлюцинации безумия, от которых безумный человек в отдельные моменты может устоять, но которые снова возвращаются, чтобы сбить его с ног. Таковы откровения мистицизма. Таковы, в частности, внезапные убеждения, которые оживляют толпы людей, когда те впадают в неистовый порыв к действию. Каким бы ни было действие - побивание камнями пророка, приветствие завоевателя, сожжение ведьмы, травля еретика или иудея, зарождение утраченной надежды или бегство от врага - тот факт, что вера в определенный объект *вызовет взрыв этого действия*, является достаточной причиной для того, чтобы эта вера возникла. Двигательный импульс неудержимо влечет ее за собой.

Вся история колдовства и ранней медицины - это комментарий к тому, как легко поверить во все, что может быть задумано, в тот момент, когда это убеждение совпадает с эмоциональным настроением. Причина болезни? Когда дикарь спрашивает о причине чего-либо, он имеет в виду исключительно вопрос "Что виновато?". Теоретическое любопытство исходит из требований практической жизни. Пусть кто-нибудь обвинит некроманта, укажет на наложенный амулет или заклинание, и больше никаких "доказательств" не потребуется. Какие доказательства требуются, кроме этого интимного чувства ответственности виновника, на которое отвечают сами наши внутренности и конечности?[312]

Человеческое легкоеверие в отношении терапии имеет схожие психологические корни. Если и есть что-то невыносимое (особенно для женского сердца), так это ничего не делать, когда любимый человек болен или испытывает боль. Делать что-либо - это облегчение. Соответственно, какое бы средство ни было предложено, это искра на горючей почве. Разум по этой подсказке начинает действовать, посылает за этим средством и по крайней мере на

день считает, что опасность миновала. Таким образом, вина, страх и надежда - это великие страсти, вызывающие веру, и они охватывают будущее, настоящее и прошлое.

Эти замечания иллюстрируют предыдущие главы списка на [странице 292](#). Какие бы представленные объекты ни вызывали у нас ощущения, особенно интересные, или возбуждали наши двигательные импульсы, или вызывали нашу ненависть, желание или страх, они достаточно реальны для нас. Наши требования в отношении реальности заканчиваются нашими собственными действиями и эмоциями, нашими собственными удовольствиями и болью. Это конечные точки опоры, от которых, как мы уже заметили, зависит вся цепочка наших убеждений, объект к объекту, как пчелы, роясь, висят друг на друге, пока, *de proche en proche*, не будет достигнута и удержана опорная ветвь, Я.

[ВЕРА В ОБЪЕКТЫ ТЕОРИИ.](#)

Теперь просто придуманные или воображаемые объекты, которые наш ум представляет как прикрепленные к ощущениям (вызывающие их и т. д.), заполняющие промежутки между ними и сплетающие их прерывистый хаос в порядок, бесчисленны. Целые их системы противоречат другим системам, и наш выбор того, какая система должна нести нашу веру, регулируется принципами, которые достаточно просты, каким бы тонким и сложным ни было их применение к деталям. *Задуманная система, чтобы считаться истинной, должна, по крайней мере, включать в себя реальность чувственных объектов, объясняя их как воздействие на нас, если не более того. Система, которая включает в себя наибольшее их количество и определенно объясняет или претендует на объяснение большинства из них, будет, ceteris paribus, преобладать.* Нет нужды говорить о том, как далеко еще человечество от того, чтобы выработать такую систему. Но различные материализмы, идеализмы и гилозоизмы показывают, с каким усердием делаются эти попытки. Можно представить себе, что несколько конкурирующих теорий должны с равным успехом включить в свою схему реальный порядок наших ощущений, подобно тому как однофлюидная и двухфлюидная теории электричества одинаково хорошо сформулировали все общие электрические явления. Наука полна таких альтернатив. Какой же теории следует верить? *В ту теорию поверят больше всего, которая не только предлагает нам объекты, способные удовлетворительно объяснить наш чувственный опыт, но и предлагает те, которые наиболее интересны, те, которые наиболее настоятельно взывают к нашим эстетическим, эмоциональным и активным потребностям.* Так что здесь, в высшей интеллектуальной жизни, происходит тот же отбор среди общих понятий, что и среди самих ощущений. Сначала несколько слов об их отношении к нашим эмоциональным и активным потребностям - и здесь я не могу сделать ничего лучшего, чем процитировать статью, опубликованную несколько лет назад:[\[313\]](#)

"Философия может быть безупречной в других отношениях, но любой из двух недостатков будет фатальным для ее всеобщего признания. Во-первых, ее конечный принцип не должен быть таким, который по существу сбивает с толку и разочаровывает наши самые дорогие желания и самые заветные силы. Пессимистический принцип, подобный неизлечимо порочной воле-субстанции Шопенгауэра или злобному шалопаю Гартмана, Бессознательному, будет вечно вызывать эссе в других философиях. Несовместимость будущего с их желаниями и активными тенденциями, по сути, является для большинства людей источником более постоянной тревоги, чем сама неопределенность. Свидетельство тому - попытки преодолеть "проблему зла", "тайну боли". Проблемы "добра" не существует.

"Но второй и худший недостаток философии, чем тот, что она противоречит нашим активным склонностям, заключается в том, что она не дает им никакого объекта для давления. Философия, чей принцип настолько несоизмерим с нашими самыми сокровенными силами, что лишает их всякой значимости в универсальных делах, уничтожает их мотивы одним ударом, будет даже более непопулярной, чем пессимизм. Лучше встретиться с врагом, чем с вечной Пустотой! Вот почему материализм всегда не будет принят всеми, как бы хорошо он ни сплавлял вещи в атомистическое единство, как бы ясно ни пророчествовал о будущей вечности. Ведь материализм отрицает реальность объектов почти всех импульсов, которыми мы больше всего дорожим. Подлинный *смысл* импульсов, утверждает он, заключается в чем-то, что не имеет для нас никакого эмоционального интереса. Но то, что называется экстрадией, столь же характерно для наших эмоций, как и для нашего чувства. Оба они указывают на объект как на причину данного чувства. Какую объективную ссылку несет в себе страх! И восторженный, и тоскливый человек не просто осознают свои субъективные состояния; если бы это было так, сила их чувств испарилась бы. Оба верят, что существует внешняя причина, *по которой* они должны чувствовать себя так, как они чувствуют: либо "Это прекрасный мир! Как хороша жизнь!", либо "Какое отвратительное утомительное существование!". Любая философия, которая уничтожает обоснованность референции, объясняя ее объекты или переводя их в термины, не имеющие эмоциональной значимости, оставляет разум без забот и действий. Это состояние противоположно состоянию кошмара, но при остром осознании оно порождает родственный ужас. В кошмаре у нас есть мотивы действовать, но нет сил; здесь у нас есть силы, но нет мотивов. Безымянный *Unheimlichkeit* охватывает нас при мысли о том, что в наших конечных целях, в объектах любви и стремлений, которые являются нашей глубочайшей энергией, нет ничего вечного. Чудовищно однобокое уравнение Вселенной и ее познавателя, которое мы постулируем в качестве идеала познания, прекрасно параллелится с не менее однобоким уравнением Вселенной и *исполнителя*. Мы требуем от него *характера*, которому должны соответствовать наши эмоции и активные склонности. Как бы ни были мы малы, как бы ни была ничтожна та точка, через которую Космос воздействует на каждого из нас, каждый хочет чувствовать, что его реакция в этой точке согласуется с требованиями огромного целого, что он, так сказать, уравнивает последнее и способен сделать то, чего оно от него ожидает. Но поскольку его способность "делать" лежит полностью в русле его природных склонностей; поскольку он наслаждается реакцией на такие эмоции, как стойкость, надежда, восторг, восхищение, искренность и т. п.; и поскольку он очень неохотно реагирует на страх, отвращение, отчаяние или сомнение, - философия, которая должна узаконить только эмоции последнего рода, непременно оставит разум жертвой недовольства и тяги.

"Слишком мало признается, насколько полно интеллект строится из практических интересов. Теория эволюции начинает оказывать очень хорошую услугу, сводя весь менталитет к типу рефлекторного действия. Познание, с этой точки зрения, - лишь мимолетный момент, срез в определенной точке того, что в своей совокупности представляет собой двигательный феномен. В низших формах жизни никто не станет притворяться, что познание - это нечто большее, чем руководство к соответствующему действию. Зародышевый вопрос, касающийся вещей, которые впервые предстают перед сознанием, - это не теоретическое "Что это?", а практическое "Кто туда идет?" или, как восхитительно выразился Хорвич, "Что делать?" - "*Was fang' ich an?*". Во всех наших дискуссиях об интеллекте низших

животных единственным критерием, который мы используем, является их *действия* как будто с какой-то целью. Познание, короче говоря, неполно, пока оно не воплощено в действии. И хотя верно, что более позднее умственное развитие, достигающее своего максимума благодаря гипертрофированному мозгу человека, рождает огромное количество теоретической деятельности сверх той, что непосредственно служит практике, все же более раннее требование лишь откладывается, а не стирается, и активная природа отстаивает свои права до конца.

"Если в этой точке зрения есть хоть какая-то истина, то из нее следует, что как бы смутно философ ни определял конечную универсальную данность, нельзя сказать, что он оставляет ее неизвестной для нас до тех пор, пока он хоть в малейшей степени претендует на то, что наше эмоциональное или активное отношение к ней должно быть одного рода, а не другого. Тот, кто говорит: "Жизнь реальна, жизнь серьезна", сколько бы он ни говорил о фундаментальной таинственности вещей, дает этой таинственности четкое определение, приписывая ей право требовать от нас особого настроения, называемого серьезностью, что означает готовность жить с энергией, хотя энергия приносит боль. То же самое можно сказать и о том, кто говорит, что все суэта. Каким бы неопределенным ни был предикат "тщеславие" *сам по себе*, это достаточно очевидное нечто, позволяющее анестезии, простому бегству от страданий, быть нашим правилом жизни. Нет более смехотворного несоответствия, чем если бы агностики на одном дыхании провозглашали, что субстанция вещей непознаваема, а на другом - что мысль о ней должна внушать нам восхищение ее славой, благоговение и готовность внести свой посильный вклад в то направление, в котором, как кажется, дрейфуют ее проявления. Непознаваемое может быть непостижимым, но если оно предъявляет столь явные требования к нашей деятельности, мы, конечно, не остаемся в неведении относительно его сущностных качеств.

"Если мы окинем взглядом историю и спросим, что общего между всеми великими периодами возрождения, расширения человеческого разума, мы найдем, я думаю, только одно: каждый из них говорил человеку: "Внутренняя природа реальности благоприятна *для сил*, которыми ты обладаешь". В чем же заключалось освобождающее послание первобытного христианства, как не в том, что Бог признает те слабые и нежные порывы, которые язычество так грубо игнорировало? Возьмем покаяние: человек, который ничего не может сделать правильно, может хотя бы раскаяться в своих неудачах. Но для язычества эта способность к покаянию была чистым излишеством, опоздавшим на ярмарку бродягой. Христианство взяло ее и сделало единственной силой в нас, которая взывает прямо к сердцу Бога. И после того как ночь Средневековья так долго клеймила позором даже великодушные порывы плоти и определяла Реальность так, что с ней могли общаться только рабские натуры, в чем же заключался *Sursum corda!* Ренессанса, как не в провозглашении того, что архетип истины в вещах претендует на самую широкую активность всего нашего эстетического существа? Чем была миссия Лютера и Уэсли, как не обращением к силам, которые даже самые ничтожные люди могли нести с собой, к вере и самоотречению, но которые были личными, не требующими священнического посредничества, и которые приводили их обладателя лицом к лицу с Богом? Что вызвало дикое влияние Руссо, кроме его уверенности в том, что природа человека находится в гармонии с природой вещей, если только парализующие пороки обычаев останутся между ними? Как Кант и Фихте, Гете и Шиллер вселяли в свое время бодрость, кроме как говоря:

"Используйте все свои силы; это единственное послушание, которого требует

Вселенная"? А Карлайл с его евангелием труда, фактов, правды - чем он может нас вдохновить, кроме слов о том, что Вселенная не возлагает на нас никаких задач, кроме тех, которые могут выполнить самые скромные люди? Кредо Эмерсона о том, что все, что когда-либо было или будет, находится здесь, в обволакивающем "Сейчас"; что человеку остается только подчиниться самому себе - "Тот, кто успокоится в том, что он *есть*, станет частью Судьбы", - есть не что иное, как изгнание всякого скептицизма в отношении уместности своих природных способностей.

"Одним словом, "Сын Человеческий, *встань на ноги твои*, и Я буду говорить с тобою!" - вот единственное откровение истины, к которому ученику помогли прийти решающие эпохи. Но этого было достаточно, чтобы удовлетворить большую часть его рациональных потребностей. *Сама по себе и per se* универсальная сущность едва ли была более определена какой-либо из этих формул, чем агностик x; но одной лишь уверенности в том, что мои способности, каковы бы они ни были, не имеют для нее значения, а уместны, что она говорит с ними и каким-то образом узнает их ответ, что я могу быть равным ей, если захочу, а не безногим вайфом, достаточно, чтобы сделать ее рациональной для моего чувства в том смысле, который указан выше. Нет ничего более абсурдного, чем надеяться на окончательный триумф любой философии, которая отказывается узаконить, причем узаконить самым решительным образом, более сильные из наших эмоциональных и практических тенденций. Фатализм, чьим решающим словом во всех кризисах поведения является "Все стремления тщетны", никогда не будет господствовать, ибо импульс к стремлению жить неистребим в расе. Моральные убеждения, обращенные к этому импульсу, будут иметь широкий успех, несмотря на непоследовательность, расплывчатость и теневую определенность ожиданий. Человек нуждается в правиле для своей воли и изобретет его, если оно ему не будет дано".

После эмоциональных и активных потребностей следуют интеллектуальные и эстетические. Два великих эстетических принципа, богатство и простота, доминируют в нашей интеллектуальной и чувственной жизни. И, *ceteris paribus*, ни одна система, которая не должна быть богатой, простой и гармоничной, не имела бы шансов быть выбранной для веры, если бы богатые, простые и гармоничные системы также существовали. В последние мы должны безоговорочно вселиться, с тем благожелательным отношением воли, в котором состоит вера. Приведем цитату из одной замечательной книги:

"Этот закон, согласно которому наше сознание постоянно стремится к минимуму сложности и максимуму определенности, имеет огромное значение для всех наших знаний..... Таким образом, наша собственная активность внимания определяет, что мы должны знать и во что должны верить. Если вещи имеют более чем определенную сложность, то наши ограниченные способности внимания не только не позволяют нам разгадать эту сложность, но мы будем сильно желать верить в то, что вещи намного проще, чем они есть. Ведь наши мысли о них будут иметь постоянную тенденцию становиться как можно более простыми и определенными. Поместите человека в совершенный хаос явлений - звуков, зрелищ, ощущений - и если он продолжит существовать и вообще будет разумным, его внимание, несомненно, вскоре найдет для него что-то вроде ритмической закономерности, которую он вменит окружающим его вещам, чтобы представить, что он открыл какие-то законы последовательности в этом безумном новом мире. И таким образом, в каждом случае, когда мы воображаем, что уверены в простом законе

природы, мы должны помнить, что большая часть воображаемой простоты может быть обусловлена в данном случае не природой, а неискоренимым предубеждением нашего собственного разума в пользу регулярности и простоты. Все наши мысли в значительной степени определяются этим законом наименьших усилий, примером которого может служить наша активность внимания..... Целью всего процесса, по-видимому, является достижение как можно более полной и единой концепции реальности, концепции, в которой наибольшая полнота данных сочетается с наибольшей простотой представлений. Усилия сознания, по-видимому, направлены на то, чтобы соединить наибольшее богатство содержания с наибольшей определенностью организации".[314]

Богатство достигается включением в схему всех фактов смысла; простота - выведением их из минимально возможного числа постоянных и независимых изначальных сущностей; определенная организация - уподоблением этих последних идеальным объектам, между которыми возникают отношения внутренне рационального рода. О том, что представляют собой эти идеальные объекты и рациональные отношения, мы расскажем в отдельной главе.[315] Пока же было сказано достаточно, чтобы оправдать утверждение, сделанное выше, что нельзя дать общий ответ на вопрос, какие объекты человечество выберет в качестве своих реальностей. Борьба еще продолжается. Наши умы еще хаотичны, и в лучшем случае мы делаем смесь и компромисс, уступая притязаниям того или иного интереса и следуя поочередно то одному, то другому принципу. Неоспоримо верно, что материалистические, или так называемые "научные", концепции мироздания до сих пор удовлетворяли чисто интеллектуальные интересы больше, чем сентиментальные. Но, с другой стороны, как уже отмечалось, они оставляют холодными эмоциональные и активные интересы. *Идеальным объектом веры был бы Бог или "Душа мира", представленный одновременно оптимистично и моралистично (если такое сочетание возможно), и при этом так определенно задуманный, чтобы показать нам, почему наш феноменальный опыт должен быть послан нам Им именно в том виде, в каком он приходит.* Таким образом, вся наука и вся история будут объяснены самым глубоким и простым образом. Сама комната, в которой я сижу, ее ощутимые стены и пол, ощущение воздуха и огня внутри нее, а также "научные" концепции, которые мне предлагают выстроить относительно способа существования всех этих явлений, когда я повернут спиной, - все это было бы подтверждено, а не де-реализовано, конечным принципом моей веры. Мир-душа посылает мне именно эти явления, чтобы я мог отреагировать на них; и среди этих реакций есть интеллектуальная, заключающаяся в формировании этих концепций. То, что находится за пределами грубых переживаний, - это не *альтернатива* им, а нечто, что *означает* их для меня здесь и сейчас. Можно с уверенностью сказать, что, если когда-нибудь такая система будет удовлетворительно обоснована, человечество отбросит все остальные системы и будет цепляться только за эту, как за реальную. А пока другие системы сосуществуют с попытками создания этой одной, и, будучи в равной степени фрагментарными, каждая имеет свою аудиторию и свой день.

Теперь я, полагаю, в достаточной мере показал, каковы психологические источники чувства реальности. В нашей природе заложены определенные постулаты; и все, что удовлетворяет этим постулатам, воспринимается как реальное.[316] Поэтому я мог бы закончить главу на этом, если бы не несколько дополнительных слов, которые представят истину в еще более ясном свете.

СОМНЕНИЕ.

Вряд ли найдется обычный человек, который (если его спросить) не скажет, что вещи приходят к нам в первую очередь *как идеи*; и что если мы принимаем их за реальность, то только потому, что *добавляем к ним нечто*, а именно предикат "*реального существования вне нашей мысли*". Это представление о том, что для того, чтобы мы могли познать что-либо реальное посредством его содержания, необходима более высокая способность, чем просто *наличие* сознательного содержания, пронизывало психологию с древнейших времен и является традицией схоластики, кантизма и здравого смысла. Как ощущения должны возникать как внутренние аффекты, а затем "выдаваться"; как объекты памяти должны сначала появляться как нереальные в настоящем, а затем "проецироваться" назад как прошлые реальности; так и представления должны быть *entia rationis*, пока высший факультет не использует их как окна, чтобы заглянуть за пределы эго, в реальный *экстраментальный* мир; - так гласит ортодоксальная и популярная точка зрения.

И нет никаких сомнений в том, что это верное объяснение того, как многие из наших последующих убеждений приходят к нам. Логическое различие между голой мыслью об объекте и верой в его реальность часто является также и хронологическим различием. Наличие и признание идеи не всегда совпадают; ведь часто мы сначала предполагаем, а потом верим; сначала играем с понятием, строим гипотезу, а потом утверждаем существование объекта мысли. И мы вполне осознаем последовательность этих двух ментальных актов. Но эти случаи не являются *примитивными*. Они происходят только в умах, давно приученных к сомнениям противоречиями опыта. *Примитивный импульс состоит в том, чтобы немедленно утверждать реальность всего, что нам представляется.* [317] Однако когда мы сомневаемся, в чем состоит последующее разрешение сомнения? Либо в чисто словесном представлении, в присоединении прилагательных "реальный" или "внешне существующий" (как предикатов) к первоначально задуманной вещи (как субъекту); либо в восприятии в данном случае *того, для чего эти прилагательные*, абстрагированные от других подобных конкретных случаев, *служат*. Но что обозначают эти прилагательные, мы теперь хорошо знаем. Они обозначают определенные отношения (непосредственные или через посредников) к нам самим. Какие бы конкретные объекты до сих пор ни находились в этих отношениях, они были для нас "реальными", "внешне существующими". Поэтому, когда мы теперь абстрактно признаем вещь "реальной" (не проходя, возможно, через какое-либо определенное восприятие ее отношений), мы как бы говорим: "Она принадлежит к тому же миру, что и эти другие объекты". Естественно, у нас ежечасно есть возможности для такого обобщенного процесса убеждения. Все отдаленные объекты в пространстве или времени воспринимаются подобным образом. Когда я верю, что, например, какой-то доисторический дикарь расколол этот камень, реальность дикаря и его действий не вызывает у меня никаких прямых чувств, эмоций или воли. Под верой в это я понимаю лишь смутное ощущение *непрерывности* между давно умершим дикарем и его действиями и нынешним миром, частью которого является этот камень. Это в высшей степени случай для применения нашей доктрины о "границе" (см. т. I. с. 258). Когда я представляю себе дикаря с одной гранью отношений, я верю в него; когда я представляю его без этой грани или с другой (как, например, если бы я отнес его к "научным капризам" в целом), я не верю в него. Само слово "реальный", короче говоря, является границей.

ОТНОШЕНИЯ ВЕРЫ И ВОЛИ.

В главе XXV мы увидим, что воля - это не что иное, как способ внимания к определенным объектам или согласие на их стабильное присутствие перед разумом. Объекты в случае воли - это те, существование которых зависит от нашей мысли, например, движения нашего собственного тела или факты, которые такие движения, осуществленные в будущем, могут сделать реальными. Объекты веры, напротив, - это те, которые не меняются в зависимости от того, что мы думаем о них. Я хочу встать завтра рано утром; я верю, что вчера я встал поздно; я хочу, чтобы мой иностранный книготорговец в Бостоне достал мне немецкую книгу, и пишу ему об этом. Я верю, что он заставит меня заплатить за нее три доллара, когда она придет, и т. д. Теперь важно заметить, что это различие между объектами воли и веры совершенно несущественно, что касается отношения разума к ним. Все, что делает разум, в обоих случаях одинаково; он смотрит на объект и соглашается с его существованием, поддерживает его, говорит: "Это будет моей реальностью". Он обращается к нему, короче говоря, заинтересованным активным эмоциональным способом. Остальное делает природа, которая в одних случаях *делает* реальными объекты, о которых мы думаем таким образом, а в других - нет. Природа не может изменить прошлое в соответствии с нашими представлениями. Она не может изменить звезды или ветры; *но* она изменяет наши тела в соответствии с нашим мышлением и с их помощью изменяет многое другое; так вырастает великое практическое различие между объектами, которые мы можем желать или не желать, и объектами, в которые мы можем просто верить или не верить, и, конечно, это одно из самых важных различий в мире. Его корни, однако, лежат не в психологии, а в физиологии, как будет ясно из главы о воле. *Воля и вера, короче говоря, означающие определенное отношение между объектами и Я, - это два названия для одного и того же психологического феномена.* Все вопросы, возникающие в отношении одного, являются вопросами, возникающими в отношении другого. Причины и условия особого отношения должны быть одинаковыми в обоих случаях. Вопрос о свободе воли возникает в отношении веры. Если наша воля неопределенна, то и наши убеждения должны быть неопределенными и т. д. Первым актом свободной воли, короче говоря, естественно было бы поверить в свободу воли и т. д. В главе XXVI я еще раз упомяну об этом.

Практическое замечание может завершить эту главу. Если вера состоит в эмоциональной реакции всего человека на объект, то как мы можем верить по своему желанию? Мы не можем контролировать свои эмоции. Правда, человек не может поверить по собственному желанию резко. Природа иногда, и даже очень редко, производит для нас мгновенное обращение. Она внезапно ставит нас в активную связь с объектами, к которым до этого оставалась холодна. "Я впервые понял, - говорим мы, - что это значит!" Такое часто случается с моральными предложениями. Мы часто слышали их, но теперь они врываются в нашу жизнь, они движут нами, мы чувствуем их живую силу. Такие мгновенные убеждения действительно не могут быть достигнуты волей. Но *постепенно* наша воля может привести нас к тем же результатам с помощью очень простого метода: *нам нужно только хладнокровно действовать так, как если бы вещь, о которой идет речь, была реальной, и продолжать действовать так, как если бы она была реальной, и это непременно закончится тем, что она настолько прочно войдет в нашу жизнь, что станет реальностью.* Оно настолько скрепится с привычками и эмоциями, что наши интересы в нем станут теми, которые характеризуют веру. Те, для кого "Бог" и "Долг" сейчас всего лишь имена, могут сделать их гораздо больше, если каждый день будут приносить им небольшую

жертву. Но все это так хорошо известно в области нравственного и религиозного воспитания, что мне нет нужды говорить об этом больше.[318]

[287] Перепечатано с дополнениями из "Mind" за июль 1889 года.

[288] Сравните этот психологический факт с соответствующей логической истиной, что всякое отрицание основывается на скрытом утверждении чего-то иного, чем то, что отрицается. (См. Bradley's Principles of Logic, bk. i. ch. 3.)

[289] См. весьма примечательную небольшую работу "Анестетическое откровение и суть философии" Бенджа. Р. Blood (Amsterdam, N. Y., 1874). Сравните также "Разум", vii. 206.

[290] "У того, чей разум здоров, мысли приходят и уходят незаметно; у меня же их приходится встречать, обдумывать особым образом, а затем избавляться от них как от законченных, и это часто тогда, когда я совершенно измотан и хотел бы покоя; но призыв настоятелен". Это препятствует всем естественным действиям. Если бы мне сказали, что лестница горит и у меня есть всего минута, чтобы спастись, и я подумал: "А не послали ли они за пожарными машинами? Вероятно ли, что человек, у которого есть ключ, находится под рукой? Осторожный ли это человек? Не висит ли ключ на колышке? Правильно ли я рассуждаю? Возможно, они не запирают депо" - моя нога поднимется, чтобы спуститься вниз; я должен буду с волнением осознать, что теряю свой шанс; но я не смогу двигаться, пока все эти нелепости не будут обдуманы и решены. В самые критические моменты моей жизни, когда я должен был быть настолько *поглощен, что не оставалось места ни для каких второстепенных мыслей*, меня угнетала невозможность успокоиться. И в самых обычных обстоятельствах все происходит точно так же. Вот, например, на днях утром я отправился на прогулку. День был пронзительно холодный, но я не мог идти иначе, как рывками. Однажды меня задержали, и мои ноги оказались в грязной луже. Я поднял одну ногу, чтобы идти, зная, что нехорошо стоять в воде, но там я быстро оказался, причиной задержания было обсуждение с самим собой причин, по которым я не должен стоять в этой луже." (T. S. Clouston, Clinical Lectures on Mental Diseases, 1883, p. 43. См. также Berger, in Archiv f. Psychiatrie, vi. 217.)

[291] Примечание к Jas. Mill's Analysis, i. 412-428.

[292] Прекрасное изложение истории мнений по этому вопросу см. у А. Марти, в Vierteljahrsch. f. wiss. Phil., viii. 181 ff. (1884).

[293] В конце [главы XIX](#) мы видели, что образ свечи, овладевший сознанием таким образом, вероятно, приобрел бы сенсационную яркость. Но эта физиологическая случайность логически несущественна для приведенного в тексте аргумента, который должен быть применим как к самому тусклому виду мысленного образа, так и к самому яркому ощущению.

[294] Как в экзистенциальных, так и в атрибутивных суждениях представлен синтез. Слог *ex* в слове Existence, *da* в слове Dasein выражают его. 'Свеча существует' эквивалентно 'Свеча находится *вон там*'. А "там" означает реальное пространство, пространство, связанное с другими реальными пространствами. Это предложение равносильно тому, чтобы сказать: "Свеча находится в том же пространстве, что и другие реальности". Она утверждает о свече очень конкретный предикат - а именно, это отношение к другим конкретным конкретным вещам. Их реальное существование, как мы увидим позже, разрешается в их особом отношении к *нам самим*. Существование, таким образом, не есть субстанциальное качество, когда мы предсказываем его какому-либо объекту; оно есть отношение, в конечном счете

завершающееся в нас самих, и в момент завершения оно становится *практическим* отношением. Но об этом позже. Сейчас я хочу лишь указать на поверхностный характер различия между экзистенциальной и атрибутивной пропозицией.

[295] Я определяю здесь научную вселенную в радикально механическом смысле. Практически, она чаще всего мыслится беспорядочно и больше напоминает популярный физический мир.

[296] Таким образом, мы можем сказать, например, что Айвенго *на самом деле* не женился на Ребекке, *как это ошибочно* делает Теккерей. Настоящий мир Айвенго - это тот, который написал для нас Скотт. *В этом мире* Айвенго не женится на Ребекке. Объекты этого мира связаны между собой совершенно определенными отношениями, которые можно утверждать или отрицать. Погружаясь в роман, мы отворачиваемся от всех других миров, и на время мир Айвенго остается нашей абсолютной реальностью. Однако когда мы пробуждаемся от чар, то обнаруживаем еще более реальный мир, который сводит Айвенго и все, что с ним связано, к активному статусу и относит их к одной из субвселенных, сгруппированных под № 5.

[297] Мир сновидений - это наш реальный мир, пока мы спим, потому что в это время наше внимание отвлекается от чувственного мира. И наоборот, когда мы просыпаемся, внимание обычно уходит из мира снов, и он становится нереальным. Но если сон преследует нас и заставляет обратить на себя внимание в течение дня, он вполне может остаться в нашем сознании как некая субвселенная наряду с миром бодрствования. Большинство людей, вероятно, видели сны, которые трудно представить себе не как проблески реально существующей области бытия, возможно, уголка "духовного мира". Соответственно, во все века сны считались откровениями и играли большую роль в создании мифологий и тем для веры. Большая вселенная", которая помогает нам верить как в сон, так и в реальность бодрствования, являющуюся его непосредственной редукцией, - это *полная* вселенная, природа *плюс* сверхъестественное. Сновидение соответствует действительности, а именно, в одной половине этой вселенной; восприятие в бодрствовании - в другой. Даже сегодня сны-объекты фигурируют среди реальностей, в которые некоторые "психические исследователи" пытаются пробудить нашу веру. Все наши теории, не только теории о сверхъестественном, но и философские и научные теории, подобны нашим снам, вызывая в разных умах столь разную степень веры.

[298] Отличает реальность от нереальности, существенное от ничтожного и пренебрежительного.

[299] Исследование о человеке. Understanding, sec. v. pt. 2 (в моей цитате немного изменено).

[300] Примечание к Jas. Mill's Analysis, i. 394.

[301] Critique of Pure Reason, trans. Müller, ii. 515-17. Хьюм также отмечает: "Когда после простого представления о чем-либо мы хотим представить это как существующее, мы в действительности не делаем никаких добавлений или изменений к нашей первой идее. Так, когда мы утверждаем, что Бог существует, мы просто формируем идею такого существа, каким он нам представляется; ни существование, которое мы ему приписываем, не является задуманной идеей, которую мы присоединяем к другим его качествам и можем снова отделить и отличить от них..... Вера в существование не присоединяет никакой новой идеи к тем, которые составляют представления об объекте. Когда я думаю о Боге, когда я думаю о Нем как о существующем и когда я верю, что Он существует, мое представление о Нем не увеличивается и не уменьшается. Но поскольку между простым представлением о

существовании объекта и верой в него, несомненно, существует большая разница, и поскольку эта разница не зависит от фактов или состава идеи, которую мы представляем, из этого следует, что она должна заключаться в способе, которым мы ее представляем". ("Трактат о человеческой природе", т. iii. с. 7).

[302] Я использую здесь понятие "Я", как его использует здравый смысл. Ничто не предрешает результатов (или отсутствия результатов) последующих попыток анализа этого понятия.

[303] Griesinger, Mental Diseases, §§ 50, 98. Неологизм, который мы так часто слышим, что переживание "дает нам *осознание* истинности" того или иного предложения, иллюстрирует зависимость чувства реальности от *возбуждения*. Только то, что нас будоражит, можно "осознать".

[304] То, как ощущения противопоставляются систематизированным представлениям, и что одно или другое преобладает в зависимости от того, чувствуем ли мы сами ощущения или просто знаем о них, интересно иллюстрируется в настоящее время состоянием общественного мнения о "спиритических" явлениях. Существует множество рассказов о бесконтактном движении предметов мебели и других материальных объектов в присутствии некоторых привилегированных лиц, называемых медиумами. Такое движение нарушает нашу память и всю систему общепринятой физической "науки". Поэтому те, кто не видел этого, либо сразу же клеймят рассказы как ложь, либо называют явления "иллюзиями" чувств, порожденными обманом или галлюцинациями. Но тот, кто действительно видел такое явление, причем в условиях, которые кажутся ему достаточно "проверочными", будет придерживаться своего разумного опыта сквозь толщу и пучину, даже если вся ткань "науки" будет разорвана на две части. Этот человек был бы действительно слабовольным существом, если бы позволил каким-то мушиным обобщениям о "способностях органов чувств быть обманутыми" заставить его отказаться от приверженности тому, что для него является неоспоримым опытом зрения. Конечно, человек может ошибаться в этом упрямстве в каждом конкретном случае. Но дух, одушевляющий его, - это то, на чем в конечном счете покоится сама жизнь и здоровье науки".

[305] Трактат о человеческой природе, т. i. п. iii. с. 7.

[306] Early Hist. of Mankind, p. 108.

[307] См. т. I. с. 285-6; т. II. с. 237 и далее.

[308] См. Теория зрения, § 59.

[309] Essay, bk. iv. chap. 2, § 14. В другом месте: "Тот, кто увидит горящую свечу и испытает силу ее пламени, засунув в нее палец, вряд ли усомнится в том, что это нечто, существующее без него, которое причиняет ему вред и доставляет ему сильную боль..... А если наш сновидец захочет проверить, не является ли раскаленный жар стеклянной печи лишь блуждающим воображением в фантазии дремлющего человека, засунув в нее руку, он, возможно, пробудится в уверенности, большей, чем он мог бы пожелать, что это нечто большее, чем просто воображение. Таким образом, доказательство настолько велико, насколько мы можем пожелать, будучи для нас столь же определенным, как удовольствие или боль, то есть счастье или несчастье; за пределами которого мы не имеем никакого беспокойства ни о знании, ни о бытии. Такой уверенности в существовании вещей без нас достаточно, чтобы направлять нас в достижении блага и избегании зла, которое от них

исходит, что является важной заботой, которую мы имеем, будучи ознакомленными с ними" (*Ibid.* bk. iv. chap. 11, § 8).

[310] W. Bagehot, "The Emotion of Conviction", *Literary Studies*, i. 412-17.

[311] *Psychologie Rationnelle*, ch. 12.

[312] Два примера из тысячи:

Reid, *Inquiry*, ch. ii. § 9: "Помню, много лет назад в нашу страну привезли белого быка, такого огромного размера, что люди приходили за много миль, чтобы посмотреть на него. Через несколько месяцев после этого произошел необычный смертельный случай среди женщин при родах. Два таких необычных события, последовавшие одно за другим, вызвали подозрение в их связи, и привело к распространенному среди деревенских жителей мнению, что белый бык был причиной этого смертельного случая".

H. M. Stanley, *Through the Dark Continent*, ii. 388: "На третий день нашего пребывания в Мове, чувствуя себя вполне комфортно среди людей, благодаря их дружелюбию, я начал записывать в свой блокнот термины для статей, чтобы пополнить свой и без того богатый словарный запас туземных слов. Прошло всего несколько минут, как я заметил странный переполох среди людей, которые стекались вокруг меня, и вскоре они разбежались. Через некоторое время мы услышали громкие и пронзительные военные крики, разносившиеся над столовой землей. Через два часа после этого мы увидели длинную вереницу воинов, спускавшихся со столовой земли и продвигавшихся к нашему лагерю. Возможно, их было от пяти до шести сотен. С другой стороны, мы не сделали почти никаких приготовлений, кроме тех, которые могли бы оправдать наш ответ в случае фактического начала военных действий. Но у меня появилось среди них много надежных друзей, и я твердо верил, что смогу предотвратить открытый разрыв. Когда они собрались примерно в ста ярдах перед нашим лагерем, мы с Сафени подошли к ним и сели на полпути. К нам подошло несколько полудюжин людей из племени мова, и шаури начал.

"В чем дело, друзья мои? спросил я. Почему вы пришли с оружием в руках, в таком количестве, как будто собираетесь сражаться? Сражаться? Сражаться с нами, твоими друзьями! Это большая ошибка, несомненно".

"Мундел, - ответил один из них, - ... "Наши люди видели, как ты вчера делал пометки на какой-то тара-тара [бумаге]. Это очень плохо. Наша страна опустеет, наши козы умрут, наши бананы сгниют, а наши женщины высохнут. Что мы вам сделали такого, что вы хотите нас убить? Мы продавали вам еду и каждый день приносили вам вино. Вашим людям позволено бродить, где им вздумается, без всяких проблем. Почему Мундель так злобен? Мы собрались, чтобы сразиться с вами, если вы не сожжете эту тара-тару у нас на глазах. Если ты сожжешь ее, мы уйдем и будем твоими друзьями, как и прежде".

"Я велел им отдыхать там и оставил Сафени в их руках как залог того, что я вернусь. Моя палатка находилась не далее чем в пятидесяти ярдах от этого места, но пока я шел к ней, мой мозг был занят придумыванием плана, как противостоять этому суеверному безумию. В моей записной книжке было огромное количество ценных записей..... Я не мог принести ее в жертву детскому капризу дикарей. Разбирая свой ящик с книгами, я наткнулся на томик Шекспира [издание Чандоса], сильно потрепанный и хорошо пролистанный, который был такого же размера, как и моя полевая книга; обложка тоже была похожа, и ее можно было бы принять за полевую книгу, если бы никто не запомнил ее внешний вид слишком хорошо. Я поднес ее к ним. Это та тара-тара, друзья, которую вы хотите сжечь?"

"Да, да, это она".

Что ж, возьмите ее и сожгите, или оставьте себе".

"М-м-м. Нет, нет, нет. Мы не будем его трогать. Это фетиш. Вы должны его сжечь".

"! Что ж, пусть будет так. Я сделаю все, чтобы угодить моим добрым друзьям из Мовы".

"Мы подошли к ближайшему костру. Я с сожалением попрощался с моим любезным спутником, который в течение многих томительных ночных часов помогал мне успокоиться, когда я был подавлен почти непереносимым горем, а затем серьезно предал невинного Шекспира огню, с церемонной осторожностью насыпав на него хворост.

"А-а-а, - вздохнули бедные заблуждающиеся туземцы с облегчением. "Теперь нет никаких проблем"... И тут среди них раздалось нечто, приближающееся к ликованию, чем и закончился эпизод сожжения Шекспира".

[313] 'Rationality, Activity, and Faith' (Princeton Review, July 1882, pp. 64-9).

[314] Дж. Ройс, Религиозный аспект философии (Бостон, 1885). стр. 317-57.

[315] Глава XXVII.

[316] Профессор Ройс хорошо выразил эту мысль, рассуждая об идеализме и реальности "внешнего" мира. "Если бы можно было написать историю популярных спекуляций на эти темы, то сколько трусости и уверток можно было бы обнаружить в поведении естественного ума перед вопросом: "Откуда вы знаете о внешней реальности? Вместо того, чтобы просто и ясно ответить: "Я подразумеваю под внешним миром в первую очередь то, что я принимаю или требую, что я позиционирую, постулирую, активно конструирую на основе чувственных данных", естественный человек дает нам всевозможные туманные компромиссные ответы..... Где же конец этим бесконечным поворотам и извращениям?... Ко всем этим мелким мотивам обращаются, а один конечный мотив игнорируется. Конечный мотив для человека повседневной жизни - это *желание иметь внешний мир*. Что бы ни содержало сознание, разум будет упорно спонтанно добавлять мысль: "Но *должно же быть* что-то за пределами этого"... Популярная уверенность в существовании внешнего мира - это *твердая решимость создать его, сейчас и впредь*". (Религиозный аспект философии, с. 304 - курсив мой.) Эта примесь воли проявляется наиболее вопиющим образом в том, что, хотя внешняя материя подвергается сомнению достаточно часто, разум, внешний по отношению к нашему собственному, никогда не подвергается сомнению. Мы слишком нуждаемся в них, мы слишком социальны по своей сути, чтобы обойтись без них. Подобия материи может быть достаточно, чтобы реагировать на нее, но не подобия общающихся душ. Психический солипсизм - это слишком отвратительная насмешка над нашими потребностями, и, насколько мне известно, он никогда всерьез не рассматривался". Главы ix и x работы профессора Ройса в целом являются самым ясным изложением психологии веры, с которым я знаком.

[317] "Главным фактом в вере, согласно моему взгляду на нее, является наша примитивная доверчивость. Мы начинаем с того, что верим всему; все, что есть, - правда. Животное, родившееся утром летнего дня, исходит из факта дневного света; оно предполагает вечность этого факта. Все, что оно намерено сделать, оно делает без колебаний. Если утром оно начало круг операций, продолжающихся часами, при полном преимуществе дневного света,

оно без колебаний начнет тот же круг вечером. Его душевное состояние - это практически беспредельная уверенность, но пока он не понимает, что значит уверенность.

"Первозданная уверенность вскоре наталкивается на проверки; неприятный опыт приводит к новому пониманию. Быть сорванным и противостоять - одна из самых ранних и частых наших болей. Это развивает чувство различия между свободными и препятствующими импульсами; бессознательность открытого пути сменяется сознанием; теперь мы, как правильно говорят, верим в то, что никогда не было опровергнуто, так же как и не верим в то, что было опровергнуто. Мы верим, что после рассвета дня перед нами продолжается свет; мы не верим, что этот свет будет продолжаться вечно.

"Таким образом, жизненно важное обстоятельство в вере - никогда не быть опровергнутым, никогда не терять *авторитета*. Количество повторений мало что значит в этом процессе: мы в такой же степени убеждены после десяти, как и после пятидесяти; мы более убеждены десятью непоколебимыми, чем пятьюдесятью "за" и одним "против" (Bain: The Emotions and the Will, pp. 511, 512.)

[318] *Литература*. Д. Юм: Трактат о человеческой природе, часть iii. §§ vii-x. А. Бэйн: Эмоции и воля, глава о вере (также стр. 20 и далее). Дж. Салли: Сенсация и интуиция, эссе iv. Дж. Милль: Анализ человеческого разума, глава xi. Ш. Ренувье: "Рациональная психология", т. ii. ч. ii. и "Исследование системной классификации философских доктрин", ч. vi. Дж. Х. Ньюмен: The Grammar of Assent. Дж. Венн: Некоторые характеристики веры. В. Брошар: De l'Erreur, part ii. chap. vi, ix; и Revue Philosophique, xxviii. 1. Э. Рабье: Психология, глава xxi. Приложение. Ollé Laprun: La Certitude Morale (1881). G. F. Stout: On Genesis of Cognition of Physical Reality, in 'Mind,' Jan. 1890. J. Pikler: The Psychology of the Belief in Objective Existence (London, 1890). - Милл говорит, что мы верим настоящим ощущениям; и делает нашу веру во все остальные вещи вопросом *ассоциации* с ними. Пока все хорошо; но поскольку он не упоминает об эмоциональной или волевой реакции, Бэйн справедливо обвиняет его в том, что он рассматривает веру как чисто интеллектуальное состояние. Для Бэйна вера - это скорее инцидент нашей активной жизни. Когда вещь такова, что заставляет нас *действовать* в соответствии с ней, тогда мы верим в нее, утверждает Бэйн. "Но как быть с прошлыми или отдаленными вещами, на которые наша реакция невозможна? А как быть с верой в вещи, которые *проверяют* действие?" - говорит Салли; он считает, что мы верим в вещь только тогда, когда "представление о ней имеет врожденную тенденцию приближаться по характеру и интенсивности к ощущению". Очевидно, что каждый из этих авторов подчеркивает истинную сторону вопроса. Мой собственный рассказ стремится быть более полным: ощущение, ассоциация и активная реакция - все это признается. Самая емкая формула, возможно, заключается в том, что *наше убеждение и внимание* - это один и тот же факт. На данный момент то, на что мы обращаем внимание, - это реальность; внимание - это двигательная реакция; мы так устроены, что ощущения вытесняют внимание из нас. О вере и поведении см. статью Лесли Стивена, Fortnightly Review, июль 1888 г.

Недавно мое внимание привлекли несколько фактов, к которым я не знаю, как относиться, поэтому скажу о них пару слов в этой сноске. Я имею в виду тип переживания, который часто встречается среди ответов "да" в "Переписи галлюцинаций" и который обычно описывается теми, кто сообщает о нем, как "впечатление присутствия" кого-то рядом с ними, хотя никаких ощущений ни зрения, ни слуха, ни осязания при этом не возникает. Судя по тому, как об этом опыте рассказывают те, кто его испытал, это чрезвычайно определенное и позитивное состояние ума, соединенное с верой в реальность своего объекта, столь же сильной, как и любое прямое ощущение. И все же *никакие* ощущения, похоже, с ним не связаны. Иногда человек, чья близость впечатляет таким образом, является известной личностью, умершей

или живой, иногда - неизвестной. Его поза и положение часто очень точно передаются, и так же иногда (хотя и не на слух) передаются слова, которые он хочет сказать.

Это явление, по-видимому, связано с тем, что чистое *представление* становится насыщенным той жгучей настоятельностью, которую обычно приносят только ощущения. Но я пока не могу убедить себя в том, что эта срочность заключается в сопутствующих эмоциональных и моторных импульсах. Впечатление" может прийти совершенно внезапно и быстро исчезнуть; оно может не нести в себе никаких эмоциональных предложений и не вызывать никаких двигательных последствий, кроме тех, что связаны с вниманием к нему. В целом, вопрос несколько парадоксален, и до получения более точных данных нельзя делать никаких выводов.

Возможно, самым любопытным случаем такого рода, который я получил, является следующий. Объект наблюдения, мистер П., - исключительно умный свидетель, хотя слова повествования принадлежат его жене.

"Мистер П. всю свою жизнь периодически подвергался довольно необычным галлюцинациям или впечатлениям различного рода. Если бы я верил в существование латентных или эмбриональных способностей, помимо пяти органов чувств, я бы объяснил их на этом основании. Будучи абсолютно слепым, его другие восприятия ненормально остры и развиты, и, учитывая существование рудиментарного шестого чувства, вполне естественно, что оно также должно быть более острым у него, чем у других. Одним из самых интересных его опытов в этой области было частое появление трупа несколько лет назад, что, возможно, заслуживает внимания вашего Комитета по этому вопросу. В то время у мистера П. была музыкальная комната в Бостоне на Бикон-стрит, где он имел обыкновение заниматься серьезной и продолжительной практикой без особых перерывов. И вот, в один из сезонов, когда он в разгар работы почувствовал внезапный холодный поток воздуха на лице и колющее ощущение у корней волос, он повернулся от фортепиано, и фигура, которую он знал как мертвую, скользнула под щель двери извне, сплющилась, чтобы протиснуться, и снова округлилась до человеческой формы. Это был мужчина средних лет, который на руках и коленях, но с запрокинутой назад головой пробирался по ковру до дивана, на котором и растянулся. Оно оставалось несколько мгновений, но исчезало, если мистер П. говорил или делал решительное движение. Самым необычным моментом в этом явлении было его частое повторение. Он мог ожидать его в любой день между двумя и четырьмя часами, и оно всегда сопровождалось одной и той же внезапной холодной дрожью, и это была неизменно одна и та же фигура, которая совершала одни и те же движения. Впоследствии он отнес все это на счет крепкого чая. Он имел привычку пить за обедом холодный чай, который всегда стимулирует его, и, отказавшись от этой практики, он больше никогда не видел ни этого, ни других явлений. Однако, даже если допустить, что это событие было галлюцинацией нервов, сначала утомленных переутомлением, а затем возбужденных этим стимулятором, есть один момент, который остается совершенно необъяснимым и очень интересным для меня. Мистер П. ничего не помнит о зрении и не представляет его себе. Для него невозможно сформировать какое-либо представление о том, что мы подразумеваем под светом или цветом, следовательно, он не воспринимает ни одного объекта, который не достигает его слуха или осязания, хотя они настолько остры, что иногда производят противоположное впечатление на других людей. Когда он осознает присутствие человека или предмета с помощью средств, которые кажутся загадочными для посторонних, он всегда может естественно и обоснованно отследить это по легкому эху, воспринимаемому только его острыми ушами, или по разнице атмосферного давления, воспринимаемой только его острыми нервами осязания; но в случае с описанным явлением, единственный раз в его

опыте, он осознавал присутствие, размер и внешний вид, не использования ни одного из этих средств. Фигура не издавала ни малейшего звука и не приближалась к нему на расстояние нескольких футов, однако он знал, что это был человек, что он двигался и в каком направлении, даже что он носил бороду, которая, как и густые вьющиеся волосы, была частично седой; кроме того, он был одет в костюм, известный как "перец с солью". Все эти моменты были совершенно отчетливыми и неизменными каждый раз. Если его спросить, как он их воспринял, он ответит, что не может сказать, он просто знал это, причем так сильно и так отчетливо, что невозможно было поколебать его мнение относительно точных деталей внешности этого человека. Похоже, что в этом обмане чувств он действительно *видел*, как никогда не видел в реальном опыте жизни, за исключением первых двух лет детства".

При перекрестном допросе мистера П. я не смог понять, что здесь имело место что-то похожее на зрительное воображение, хотя он был совершенно не в состоянии описать, в каких именно терминах происходило ложное восприятие. Казалось, что это было больше похоже на интенсивное определенное *представление*, чем на что-либо другое, представление, к которому прилагалось чувство *настоящей реальности*, но не в такой форме, чтобы легко подпасть под те категории, которые были указаны в моем тексте.

ГЛАВА XXII.[319]

РАЗУМ.

Мы говорим о том, что человек - разумное животное, а традиционная интеллектуалистическая философия всегда уделяла большое внимание тому, чтобы рассматривать животных как полностью иррациональные существа. Тем не менее, далеко не всегда легко решить, что именно подразумевается под разумом, и чем особый мыслительный процесс, называемый рассуждением, отличается от других мыслительных последовательностей, которые могут привести к аналогичным результатам.

Большая часть нашего мышления состоит из цепочек образов, возникающих один за другим, из своего рода спонтанного умиления, на которое, как кажется, способны высшие животные. Тем не менее, такое мышление приводит к рациональным выводам, как практическим, так и теоретическим. Связи между терминами - это либо "смежность", либо "сходство", и при смешении обоих этих понятий мы вряд ли можем быть очень последовательными. Как правило, в такого рода безответственном мышлении термины, которые приходится соединять вместе, являются эмпирическими конкретиками, а не абстракциями. Закат может вызвать в памяти палубу судна, с которой я видел его прошлым летом, спутников моего путешествия, мое прибытие в порт и т. д.; или же он может заставить меня вспомнить о солнечных мифах, о погребальных кострах Геракла и Гектора, о Гомере и о том, умел ли он писать, о греческом алфавите и т. д. Если преобладают привычные сходства, мы имеем прозаический ум; если редкие сходства, или подобию, имеют свободную игру, мы называем человека причудливым, поэтичным или остроумным. Но мысль, как правило, относится к предметам, взятым во всей их полноте. Подумав об одном, мы потом обнаруживаем, что думаем о другом, к которому нас подвели, едва мы поняли, как. Если в процессии появляется абстрактное качество, оно на мгновение привлекает наше внимание и перетекает в нечто другое; и никогда не бывает очень абстрактным. Так, размышляя о солнечных мифах, мы можем испытывать отблеск восхищения изяществом первобытного человеческого разума или момент отвращения к узости современных интерпретаторов. Но в

основном мы думаем не столько о качествах, сколько о целых вещах, реальных или возможных, именно в том виде, в каком мы их переживаем.

В итоге мы вспоминаем о каком-то практическом долге: пишем письмо другу за границу или берем в руки лексикон и изучаем урок греческого. Наша мысль рациональна и приводит к рациональному действию, но вряд ли ее можно назвать рассуждением в строгом смысле этого слова.

Есть и другие, более короткие полеты мысли, одиночные соединения терминов, которые предполагают друг друга по ассоциации, которые больше приближаются к тому, что обычно классифицируется как собственно рассуждения. Это те случаи, когда настоящий знак указывает на невидимую, далекую или будущую реальность. Если знак и то, на что он намекает, являются одновременно конкретными объектами, которые были соединены вместе в предыдущих случаях, то умозаключение является общим как для животных, так и для людей, будучи на самом деле ничем иным, как ассоциацией по смежности. А и Б, звонок к ужину и ужин, были пережиты в непосредственной последовательности. Следовательно, не раньше, чем А попадает в поле зрения, Б предвидится, и принимаются меры, чтобы его встретить. Все воспитание наших домашних зверей, вся хитрость, привнесенная возрастом и опытом в диких животных, и большая часть нашего человеческого знания состоит в способности делать массу умозаключений этого простейшего рода. Наши "восприятия", или распознавания того, какие объекты находятся перед нами, - это умозаключения такого рода. Мы ощущаем цветное пятно и говорим "далекий дом", до нас доносится запах, и мы говорим "скунс", слышится слабый звук, и мы называем его "железнодорожный поезд". Примеры излишни; ведь такие умозаключения из непредставленных ощущений составляют основу и ткань нашей воспринимающей жизни, и в нашей [главе XIX](#) их было много, иллюзорных или правдивых. Их называют *бессознательными умозаключениями*. Конечно, обычно мы не осознаем, что вообще делаем умозаключения. Знак и означаемое сливаются в то, что кажется нам объектом одного импульса мысли. *Непосредственные умозаключения* были бы хорошим названием для этих простых актов рассуждения, требующих всего двух терминов,[\[320\]](#) если бы не то, что формальная логика уже присвоила это выражение для более технического использования.

'RECEPTS'.

В этих первых и простейших умозаключениях вывод может настолько непрерывно следовать за "знаком", что последний не выделяется и не рассматривается разумом как отдельный объект. Даже сейчас мы редко можем определить оптические знаки, которые приводят нас к заключению о форме и расстоянии объектов, которые мы так безошибочно воспринимаем с их помощью. Да и сами объекты, когда их угадывают, являются *общими*. Собака, идущая по запаху, думает об олене в целом или о другой собаке в целом, а не о конкретном олене или собаке. Этим самым примитивным абстрактным объектам доктор Г. Дж. Романес дает название *рецептов* или *родовых* идей, чтобы отличить их от понятий и общих идей, называемых так.[\[321\]](#) Они не анализируются и не определяются, а только воображаются.

"Требуется лишь небольшой анализ наших обычных умственных процессов, чтобы доказать, что все наши простые идеи - это групповые упорядочения, сформированные спонтанно или без какого-либо намеренного процесса сравнения, отсеивания и комбинирования, который требуется в высших отделах идеологической деятельности. Сравнение, просеивание и комбинирование здесь осуществляется, как бы, за сознательного агента, а не им *самим*. Рецепты получены; только концепции должны быть восприняты..... Если я перехожу улицу и слышу

позади себя внезапный крик, мне не нужно ждать, чтобы сказать себе, что, вероятно, меня вот-вот собьет машина: крик такого рода и при таких обстоятельствах настолько тесно связан в моем сознании с его целью, что идея, которую он вызывает, не должна подниматься выше уровня рецепции; и адаптивные движения с моей стороны, которые эта идея немедленно побуждает, выполняются без всякого разумного размышления. Но, с другой стороны, это не рефлекторные и не инстинктивные действия; это то, что можно назвать рецептивными действиями, или действиями, зависящими от рецептов".[322]

"Как далеко может простираться этот вид безымянного или неконцептуального мышления?" спрашивает доктор Романес; и отвечает на этот вопрос множеством примеров, взятых из жизни животных, за которыми я должен обратиться к его книге. Однако один или два из них я процитирую:

"Узо пишет, что, пересекая широкую и засушливую равнину в Техасе, две его собаки сильно страдали от жажды, и от тридцати до сорока раз они бросались в лощины в поисках воды. Эти впадины не были долинами, в них не было ни деревьев, ни какой-либо другой растительности; а поскольку они были абсолютно сухими, то не могло быть и запаха влажной земли. Собаки вели себя так, словно знали, что углубление в земле дает им наилучший шанс найти воду, и Гузо часто наблюдал такое же поведение у других животных.....

"Мистер Дарвин пишет: "Когда я говорю своему терьеру нетерпеливым голосом (а я делал это много раз): "Привет! Привет! Где это?", она сразу же воспринимает это как знак, что нужно на что-то охотиться, и обычно сначала быстро осматривает все вокруг, а затем бросается в ближайшие заросли, чтобы разведать, нет ли там дичи, но, не найдя ничего, заглядывает на соседнее дерево в поисках белки". Разве эти действия не показывают, что у нее в голове была общая идея, или концепция, что какое-то животное должно быть обнаружено и на него нужно охотиться?"[323]

Безусловно, свидетельствуют. Но речь идет об идее объекта, о котором больше ничего не может быть внятно известно. Мысль о нем побуждает к деятельности, но не приводит к теоретическим последствиям. Аналогично и в следующем примере:

"Водоплавающие птицы при посадке на сушу или даже на лед используют несколько иной способ, чем при посадке на воду; а те виды, которые ныряют с высоты (например, крачки и ганнеты), никогда не делают этого на суше или на льду. Эти факты доказывают, что у животных есть один прием, соответствующий твердой поверхности, и другой, соответствующий жидкости. Точно так же человек не будет нырять с высоты на твердую землю или на лед, не будет прыгать в воду так же, как на сушу. Другими словами, как и у водоплавающей птицы, у него есть два разных рецептора, один из которых отвечает твердой земле, а другой - не сопротивляющейся жидкости. Но в отличие от водоплавающей птицы он способен дать каждому из этих рецептов имя и тем самым поднять их оба до уровня понятий. Для практических целей локомоции, конечно, несущественно, поднимает ли он таким образом свои рецепторы до уровня понятий; но... для многих других целей очень важно, чтобы он был способен это сделать".[324]

В РАССУЖДЕНИЯХ МЫ ВЫДЕЛЯЕМ СУЩЕСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА.

Главная из этих целей - *предикация*, теоретическая функция, которая, хотя и ведет в конечном счете к какому-то действию, все же чаще всего подавляет непосредственную

моторную реакцию, к которой приводят простые умозаключения, о которых мы говорили. В рассуждениях А может предполагать В; но В, вместо того чтобы быть идеей, которой мы просто *подчиняемся*, является идеей, которая предполагает отчетливую дополнительную идею С. А там, где речь идет о так называемом рассуждении, в отличие от простого размышления или "ассоциативной" последовательности, идеи находятся в определенных внутренних отношениях друг с другом, которые мы должны рассмотреть с некоторой тщательностью.

Результат, к которому приводит истинный акт рассуждения, как правило, является предметом добровольного *поиска*, например, средство для достижения предполагаемой цели, основание для наблюдаемого эффекта или следствие предполагаемой причины. Все эти результаты могут мыслиться как конкретные вещи, но они *не предполагаются сразу же другими конкретными вещами*, как в поездах простого ассоциативного мышления. Они связаны с предшествующими им конкретными вещами промежуточными ступенями, и эти ступени образованы *общими символами*, артикулированными и четко проанализированными. Вещь, выводимая путем рассуждения, не обязательно должна быть привычным ассоциатом той данности, из которой мы ее выводим, и не обязательно должна быть похожа на нее. Это может быть вещь, совершенно неизвестная нашему предыдущему опыту, нечто такое, чего никогда не могла вызвать простая ассоциация конкретных элементов. В сущности, огромное различие между тем простым видом рационального мышления, которое состоит в том, что конкретные объекты прошлого опыта просто подсказывают друг другу, и рассуждением, которое так называется, заключается в том, что то время как эмпирическое мышление является только репродуктивным, рассуждение - продуктивным. Эмпирический мыслитель, или мыслитель "по правилам", не может ничего вывести из данных, с поведением и ассоциациями которых в конкретном мире он незнаком. Но поставьте мыслителя среди множества конкретных объектов, которых он раньше не видел и о которых не слышал, и через некоторое время, если он хороший мыслитель, он сделает из них такие выводы, которые вполне искупят его невежество. Рассуждение помогает нам выходить из беспрецедентных ситуаций - ситуаций, для которых вся наша общая ассоциативная мудрость, все "образование", которое мы разделяем со зверями, оставляет нас без ресурсов.

Давайте сделаем эту способность иметь дело с новыми данными техническим отличием рассуждения. Это в достаточной степени выделит его из обычного ассоциативного мышления и сразу же позволит нам сказать, в чем его особенность.

Оно содержит анализ и абстракцию. В то время как эмпирический мыслитель смотрит на факт целиком и остается беспомощным, или "застревает", если он не предполагает сопутствующего или аналогичного, рассудок разбивает его на части и замечает какой-то один из его отдельных атрибутов. Этот атрибут он принимает за существенную часть всего факта, находящегося перед ним. Этот атрибут обладает свойствами или последствиями, о которых до этого момента не было известно, но которые теперь, когда замечено, что он содержит этот атрибут, он должен иметь.

Назовем факт или конкретную данность S;
существенный атрибут M;
свойство атрибута P.

Тогда обоснованный вывод Р из S не может быть сделан без посредничества М. Таким образом, "сущность" М является тем третьим или средним термином в рассуждении, который мгновение назад был назван существенным. *Вместо исходного конкретного S рассуждающий подставляет его абстрактное свойство, М.* То, что истинно для М, то, что связано с М, затем истинно для S, то, что связано с S. Поскольку М является надлежащим образом одной из частей целого S, *рассуждение можно определить как замену частей и их следствий или последствий целым.* И искусство рассуждающего будет состоять из двух этапов:

Во-первых, *проницательность*,^[325] или способность обнаружить, какая часть, М, заключена в целом S, которое находится перед ним;

Во-вторых, *обучение*, или способность быстро вспомнить последствия, сопутствующие или вытекающие из М.^[326]

Если мы посмотрим на обычный силлогизм -

М есть Р;

S есть М;

Поэтому S есть Р

мы увидим, что вторая или второстепенная посылка, "субсумма", как ее иногда называют, требует проницательности, а первая или главная - плодovitости, или полноты познания. Как правило, обучение более склонно к готовности, чем смекалка, способность улавливать новые аспекты в конкретных вещах встречается реже, чем способность заучивать старые правила; так что в большинстве реальных случаев рассуждений второстепенная посылка, или способ представления предмета, является тем, что делает новый шаг в мысли. Это, конечно, не всегда так; ведь тот факт, что М несет в себе Р, тоже может быть неизвестным и впервые сформулированным.

Восприятие того, что S есть М, - это *способ представления S*. Утверждение, что М есть Р, - это *абстрактная или общая пропозиция*. Необходимо сказать несколько слов о том и другом.

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД СПОСОБОМ ВОСПРИЯТИЯ.

Когда мы представляем себе S только как М (например, вермишель только как соединение ртути), мы пренебрегаем всеми другими атрибутами, которые она может иметь, и обращаем внимание исключительно на этот один. Мы искажаем полноту реальности S. Любая реальность имеет бесконечное множество аспектов или свойств. Даже такой простой факт, как линия, которую вы проводите в воздухе, может быть рассмотрен с точки зрения ее формы, длины, направления и местоположения. Когда мы доходим до более сложных фактов, количество способов, которыми мы можем их рассматривать, буквально бесконечно. Вермилион - это не только соединение ртути, он ярко-красный, тяжелый и дорогой, его привозят из Китая, и так далее, *до бесконечности*. Все предметы - это родники свойств, которые лишь мало-помалу раскрываются в наших знаниях, и верно говорят, что досконально знать одну вещь - значит знать всю вселенную. Опосредованно или непосредственно, эта вещь связана со всем остальным; и чтобы знать все о ней, необходимо

знать все ее отношения. Но каждое отношение образует один из ее атрибутов, один угол, под которым кто-то может ее представить, и, представляя ее себе, может игнорировать все остальное. Человек - это такой сложный факт. Но из всей этой сложности все, что армейский комиссар выделяет как важное для своих целей, - это его свойство съедать столько-то фунтов в день; генерал, маршировать столько-то миль; изготовитель стульев - иметь такую-то форму; оратор - отвечать на такие-то и такие-то чувства; театральный менеджер - быть готовым заплатить такую-то цену, и не больше, за вечернее развлечение. Каждый из этих людей выделяет ту сторону всего человека, которая имеет отношение к его проблемам, и только после того, как эта сторона будет четко и отдельно представлена, можно будет сделать правильные практические выводы *для этого человека*; а когда они будут сделаны, другие атрибуты человека можно будет игнорировать.

Все способы представления конкретного факта, если они вообще являются истинными способами, одинаково истинны. *Не существует свойства, абсолютно необходимого для какой-либо одной вещи.* Одно и то же свойство, которое в одном случае выступает в качестве сущности вещи, в другом становится совершенно несущественным. Сейчас, когда я пишу, мне необходимо представлять себе бумагу как поверхность для надписей. Если бы я не смог этого сделать, мне пришлось бы прекратить работу. Но если бы я захотел разжечь костер, а других материалов не было бы под рукой, я бы представлял себе бумагу как горючий материал; и тогда мне не нужно было бы думать о других ее предназначениях. Она действительно является *всем тем, чем* является: горючим материалом, поверхностью для письма, тонкой штукой, углеводородной штукой, штукой в восемь дюймов в одну сторону и в десять в другую, штукой всего лишь на один фурлонг восточнее определенного камня на поле моего соседа, американской штукой и т. д., и т. п., и т. д. *до бесконечности.* К какому бы из этих аспектов его бытия я ни относил его временно, это делает меня несправедливым по отношению к другим аспектам. Но поскольку я всегда причисляю его к тому или иному аспекту, я всегда несправедлив, всегда частичен, всегда эксклюзивен. Моим оправданием является необходимость - необходимость, которую накладывает на меня моя конечная и практическая природа. Я думаю в первую и последнюю очередь и всегда для того, чтобы делать, а делать я могу только одно дело за раз. Можно предположить, что Бог, который, как предполагается, движется по всей вселенной, может также, без ущерба для своей деятельности, видеть все ее части сразу и без акцента. Но если бы наше человеческое внимание так рассеивалось, мы бы просто пусто смотрели на вещи в целом и лишались бы возможности совершить какой-либо конкретный поступок. Мистер Уорнер в своем рассказе об Адирондаке застрелил медведя, целясь не в глаз или сердце, а "в целом". Но мы не можем целиться "в целом" во вселенную; а если мы это сделаем, то упустим свою возможность. Наш охват узок, и мы должны атаковать вещи по частям, игнорируя сплошную полноту, в которой существуют элементы Природы, и нанизывая их один за другим последовательным образом, чтобы удовлетворить наши маленькие интересы, которые меняются от часа к часу. При этом пристрастность одного момента частично компенсируется другой пристрастностью следующего. Сейчас, когда я пишу эти слова, акцентирование и отбор кажутся мне сущностью человеческого разума. В других главах другие качества казались и будут казаться более важными составляющими психологии.

Люди настолько пристрастны, что для здравого смысла и схоластики (которая является лишь здравым смыслом, выращенным в артикулированной форме) представление о том, что нет ни одного качества, действительно, абсолютно и исключительно важного для чего-либо, почти немислимо. "Сущность вещи делает ее *тем, что* она есть. Без исключительной сущности она не была бы ничем особенным, была бы совершенно безымянной, мы не могли бы сказать, что она такая-то, а не такая-то. Например, зачем говорить о том, что бумага

горюча, прямоугольна и т. п., если известно, что это всего лишь случайности, а то, чем она на самом деле является и для чего была создана, - это просто *бумага* и ничего больше?" Читатель наверняка сделает какой-нибудь подобный комментарий. Но сам он просто настаивает на том аспекте вещи, который соответствует его собственной мелкой цели - *назвать вещь*; или же на том аспекте, который соответствует цели производителя - *произвести товар, на который есть вульгарный спрос*. Между тем реальность переполняет эти цели из каждой поры. Наше обычное назначение, наше самое распространенное название для нее и свойства, которые предполагает это название, в действительности не имеют ничего сакраментального. Они характеризуют *нас* больше, чем саму вещь. Но мы настолько увязли в своих предрассудках, настолько окаменели интеллектуально, что нашим самым вульгарным названиям с их предложениями мы приписываем вечную и исключительную ценность. Вещь должна быть, в сущности, тем, что обозначается самым вульгарным именем; то, что обозначается менее обычными именами, может быть только в "случайном" и относительно нереальном смысле".[327]

Локк разрушил это заблуждение. Но никто из его преемников, насколько мне известно, радикально от него не избавился и не увидел, что *единственное значение сущности - телеологическое, а классификация и концепция - чисто телеологическое оружие разума*. Сущность вещи - это то одно из ее свойств, которое настолько *важно для моих интересов*, что в сравнении с ним я могу пренебречь остальными. Среди других вещей, обладающих этим важным свойством, я классифицирую ее, по этому свойству я называю ее, как вещь, наделенную этим свойством, я представляю ее себе; и пока я так классифицирую, называю и представляю ее, все остальные истины о ней становятся для меня ничтожными.[328] Свойства, которые важны, меняются от человека к человеку и от часа к часу.[329] Отсюда различные названия и представления об одной и той же вещи. Но многие предметы повседневного пользования - бумага, чернила, масло, лошадиная машина - обладают свойствами такой постоянной непоколебимой важности и имеют такие стереотипные названия, что мы в конце концов верим, что представлять их себе таким образом - значит представлять их себе единственно верным способом. Эти способы представления не более истинны, чем любые другие; это лишь более важные способы, более часто используемые способы.[330]

Вот и все, что подразумевается, когда рассуждающий представляет себе факт S как случай, сущностью которого является M. Одно слово о том, что связано с тем, что M имеет свойства, последствия или следствия, и мы снова можем вернуться к изучению процесса рассуждения.

ЧТО ОТНОСИТСЯ К ОБЩИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ.

M не является конкретным или "самодостаточным", как сказал бы мистер Клей. Это абстрактный символ, который может существовать, встраиваясь в другие символы, во многих конкретиках. Будь то характер поверхности для письма, американского или китайского производства, восьми дюймов в квадрате или нахождения в определенной части пространства, это всегда верно для него. Теперь мы можем представить себе, что это мир, в котором все такие общие признаки независимы друг от друга, так что если какой-либо из них обнаруживается в предмете S, мы никогда не можем быть уверены, что рядом с ним окажутся другие. В одном случае это может быть P с M, в другом - Q и так далее. В таком мире не было бы ни *общих* последовательностей или сосуществований, ни универсальных законов.

Каждая группа была бы *sui generis*; на основе опыта прошлого нельзя было бы предсказать будущее, а рассуждения, как мы увидим в дальнейшем, были бы невозможны.

Но мир, в котором мы живем, не из таких. Хотя многие общие характеристики кажутся безразличными друг к другу, остается ряд таких, которые влияют на постоянные привычки взаимного сочетания или отталкивания. Они влекут или подразумевают друг друга. Один из них является для нас знаком того, что другой будет найден. Они, так сказать, охотятся парами; и такая пропозиция, как то, что М есть Р, или включает Р, или предшествует Р, или сопровождает Р, если она окажется истинной в одном случае, может с большой вероятностью оказаться истинной в каждом другом случае, который мы встретим. Это, по сути, мир, в котором действуют общие законы, в котором истинны универсальные предложения и в котором, следовательно, возможны рассуждения. К счастью для нас: поскольку мы не можем обращаться с вещами как с целыми, а только представляя их через некий общий характер, который мы пока называем их сущностью, было бы очень жаль, если бы дело на этом закончилось, и если бы общий характер, однажды выбранный и оказавшийся в нашем распоряжении, не помог нам продвинуться дальше. В [главе XXVIII](#) нам снова придется рассмотреть эту гармонию между нашей рассудочной способностью и миром, в который брошен ее жребий.[\[331\]](#)

Вернемся теперь к нашему символическому представлению процесса рассуждения:

М есть Р

S - М

S есть Р

М - это сущность конкретного факта, явления или реальности S. Но М в этом нашем мире неизбежно сопряжено с Р; так что Р - это следующее, что мы можем ожидать найти сопряженным с фактом S. Мы можем заключить или вывести Р через посредничество М, которое наша проницательность начала с того, что распознала, когда S предстало перед ней, как сущность дела.

Заметим, что если Р имеет для нас какую-то ценность или важность, то М был очень хорошим персонажем для нашей проницательности, чтобы наброситься на него и абстрагировать. Если же, напротив, Р не имеет никакого значения, то какой-то другой символ, отличный от М, был бы для нас лучшей сущностью, чтобы представить себе S. Психологически, как правило, Р с самого начала омрачает процесс. Мы *ищем* Р или что-то похожее на Р. Но голая тотальность S не поддается нашему взгляду; и в поисках какой-то точки в S, за которую можно ухватиться и которая приведет нас к Р, мы, если мы проницательны, натываемся на М, потому что М оказывается как раз тем персонажем, который связан с Р. Если бы мы хотели Q вместо Р, а N было бы свойством S, связанным с Q, мы должны были бы игнорировать М, заметить N и представить S исключительно как разновидность N.

Рассуждения всегда преследуют субъективный интерес, чтобы прийти к какому-то определенному выводу или удовлетворить какое-то особое любопытство. Оно не только разбивает данные, поставленные перед ним, и представляет их абстрактно; оно должно представлять их также *правильно*; а правильно представлять их означает представлять их в том конкретном абстрактном характере, который ведет к тому виду заключения, в достижении которого временно заинтересован рассуждающий.[\[332\]](#)

На *результаты* рассуждений можно наткнуться случайно. Стереоскоп действительно был результатом рассуждений; однако можно представить, что человек, играющий с картинками и зеркалами, мог случайно на него наткнуться. Известно, что кошки открывают двери, дергая защелки и т. д. Но ни одна кошка, если защелка вышла из строя, не сможет открыть дверь снова, если только в результате случайных шатаний она не научится ассоциировать какое-то новое общее движение с общим явлением закрытой двери. Разумный человек, однако, откроет дверь, предварительно проанализировав препятствие. Он выяснит, какая именно деталь двери не работает. Например, рычаг недостаточно поднимает защелку из паза - в случае недостаточного подъема - поднимите дверь на петлях! Или дверь заедает сверху из-за трения о перемычку - надавите на нее всем телом! Теперь очевидно, что ребенок или идиот может и без этих рассуждений выучить *правило* открывания данной конкретной двери. Я помню часы, которые, как обнаружила служанка, не могли идти, если их не поддерживать, чтобы они слегка наклонялись вперед. На этот способ она наткнулась после долгих недель поисков. Причиной остановки было трение маятника о заднюю стенку корпуса часов - причина, которую образованный человек выяснил бы за пять минут. У меня есть ученическая лампа, пламя которой неприятно вибрирует, если не поднять воротник, в котором находится дымоход, примерно на шестнадцать дюймов. Я узнал это средство после долгих мучений, случайно, и теперь всегда держу воротник поднятым с помощью небольшого клина. Но моя процедура - это просто объединение двух совокупностей, большого объекта и средства. Тот, кто разбирается в пневматике, мог бы назвать *причину* болезни, а из нее сразу же сделать вывод о средстве. Путем многочисленных измерений треугольников можно обнаружить, что их площадь всегда равна высоте, умноженной на половину основания, и сформулировать эмпирический закон на этот счет. Но разумный человек избавляет себя от всех этих хлопот, видя, что суть треугольника (*pro hac vice*) в том, чтобы быть половиной параллелограмма, площадь которого равна высоте в полном основании. Чтобы увидеть это, он должен изобрести дополнительные линии; и геометр часто должен рисовать их, чтобы получить существенное свойство, которое он может потребовать в фигуре. Суть заключается в некотором *отношении фигуры к новым линиям*, которое совсем не очевидно до тех пор, пока они не будут проведены. Ловкость геометра заключается в изобретении новых линий.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В РАССУЖДЕНИЯХ ЕСТЬ ДВА ВАЖНЫХ МОМЕНТА:

Во-первых, извлеченный символ принимается как эквивалент всей исходной информации, из которой он взят; и,

Во-вторых, извлеченный таким образом символ предполагает определенное следствие более явно, чем оно предполагалось всей исходной информацией. Возьмите их снова, последовательно.

1. Предположим, я говорю, когда мне предлагают кусок ткани: "Я не буду его покупать; он выглядит так, как будто выцветет", имея в виду лишь то, что что-то в нем наводит меня на мысль о выцветании, - мое суждение, хотя, возможно, и правильное, не обосновано, а чисто эмпирическое; но если я могу сказать, что в цвет входит определенный краситель, который, как я знаю, химически неустойчив, и что *поэтому* цвет выцветет, мое суждение обосновано. Представление о красителе, который является одной из частей ткани, является связующим звеном между последней и представлением о выцветании. Так и необразованный человек, исходя из прошлого опыта, ожидает увидеть, что кусок льда растает, если его положить рядом с огнем, а кончик его пальца будет выглядеть грубым, если он посмотрит на него через

выпуклое стекло. Ни в одном из этих случаев результат нельзя было предвидеть без полного предварительного знакомства со всем явлением. Это не результат рассуждений.

Но человек, который должен представлять себе тепло как способ движения, а сжижение как тождественное усиленному движению молекул; который должен знать, что изогнутые поверхности особым образом изгибают световые лучи и что видимый размер чего-либо связан с величиной "изгиба" его световых лучей, когда они попадают в глаз, - такой человек сделает правильные выводы для всех этих объектов, даже если он никогда в своей жизни не имел никакого конкретного опыта в отношении них; И он сделал бы это потому, что идеи, которыми, как мы предполагали выше, он обладает, будут посредниками в его сознании между явлениями, с которых он начинает, и выводами, к которым он приходит. Но все эти идеи или основания для его выводов - лишь отрывочные фрагменты или обстоятельства, выделенные из массы признаков, составляющих все явления. Движения, образующие тепло, изгиб световых волн - это, правда, слишком сложные ингредиенты; скрытый маятник, о котором я говорил выше, - менее сложный; а прилипание двери к порогу в предыдущем примере вряд ли можно назвать таковым вообще. Но все они сходятся в том, что *имеют более очевидную связь с выводом, чем непосредственные данные в их полной совокупности.*

Трудность в каждом случае заключается в том, чтобы извлечь из непосредственных данных тот конкретный ингредиент, который будет иметь это самое очевидное отношение к выводу. У каждого явления или так называемого "факта", как мы видели, есть бесконечное множество аспектов или свойств, среди которых глупец или человек, не обладающий достаточной проницательностью, неизбежно заблудится. Но сейчас это не имеет значения. Главное, что мы увидели, что каждый возможный случай рассуждения предполагает выделение какого-то частичного аспекта явлений, о которых думают, и что в то время как эмпирическое мышление просто связывает явления во всей их полноте, рассудочное мышление объединяет их в пары путем сознательного использования этого выделения.

2. И, теперь, чтобы доказать второй пункт: Почему связи, последствия и следствия отрывков более очевидны и очевидны, чем связи целых явлений? По двум причинам.

Во-первых, извлеченные символы более общие, чем конкретные, и связи, которые они могут иметь, поэтому более знакомы нам, чаще встречаются в нашем опыте. Представьте себе тепло как движение, и все, что верно в отношении движения, будет верно и в отношении тепла; но на каждое тепло мы имеем сотню опытов с движением. Считайте, что лучи, проходящие через эту линзу, изгибаются к перпендикуляру, и вы замените сравнительно незнакомую линзу очень знакомым понятием конкретного изменения направления линии, примеры которого каждый день приносит нам бесчисленное множество.

Другая причина, по которой отношения выделенных символов столь очевидны, заключается в том, что их свойства столь *малочисленны* по сравнению со свойствами целого, из которого мы их вывели. В каждом конкретном целом символы и их последствия так неисчерпаемо многочисленны, что мы можем заблудиться среди них, прежде чем заметим конкретное следствие, которое нам следует вывести. Но если нам посчастливилось выделить нужный символ, мы как бы одним взглядом охватываем все его возможные последствия. Так, характер скрежета по порогу имеет очень мало предложений, среди которых выделяется предположение, что скрежет прекратится, если мы поднимем дверь; в то время как вся огнеупорная дверь вызывает в сознании огромное количество представлений.

Возьмем другой пример. Я сижу в железнодорожном вагоне, ожидая отправления поезда. Сейчас зима, и печь наполняет вагон едким дымом. Входит тормоз, и мой сосед просит его "прекратить дымить печкой". Тот отвечает, что она совсем перестанет дымить, как только вагон начнет двигаться. "Почему так?" - спрашивает пассажир. "Она *всегда* дымит", - отвечает тормоз. Из этого "всегда" следует, что связь между движением автомобиля и прекращением курения была чисто эмпирической в сознании тормозного работника, выработанной привычкой. Но, если бы пассажир был хорошо соображающим, он, не имея опыта в том, что всегда делала эта печь, мог бы предугадать ответ тормозного и избавить себя от вопроса. Если бы он выделил из всех многочисленных моментов, связанных с тем, что печь не дымит, один особый момент - дым, свободно выходящий из устья печной трубы, то, вероятно, в силу немногих ассоциаций, связанных с этой идеей, ему сразу же вспомнился бы закон, согласно которому жидкость быстрее выходит из устья трубы, если в это же время по этому устью течет другая жидкость; и тогда ему сразу же пришла бы в голову мысль о быстрой тяге воздуха через устье печной трубы, которая является одним из моментов, связанных с движением вагона.

Таким образом, пара извлеченных символов с парой их немногих и очевидных связей образовали бы в сознании пассажира аргументированную связь между явлениями, остановкой дыма и движением вагона, которые в сознании тормозного работника были связаны только как единое целое. Такие примеры могут показаться тривиальными, но в них заключена суть самого утонченного и трансцендентального теоретизирования. Причина, по которой физика становится тем более дедуктивной, чем больше предполагаемых ею фундаментальных свойств математического характера, таких как молекулярная масса или длина волны, заключается в том, что непосредственных следствий из этих понятий так мало, что мы можем рассмотреть их все сразу и быстро выбрать те, которые нас волнуют.

Проницательность, или восприятие сущности.

Чтобы рассуждать, мы должны уметь извлекать символы - не *любые* символы, а те, которые подходят для нашего вывода. Если мы извлекаем не те символы, то это не приведет к такому выводу. Вот здесь-то и кроется трудность: *Как извлекаются символы, и почему во многих случаях требуется приход гения, прежде чем появится подходящий символ?* Почему любой человек не может рассуждать так же хорошо, как и любой другой? Почему нужен Ньютон, чтобы заметить закон площадей, Дарвин, чтобы заметить выживание сильнейших? Чтобы ответить на эти вопросы, мы должны начать новое исследование и посмотреть, как естественным образом растет наше понимание фактов.

Поначалу все наши знания расплывчаты. Когда мы говорим, что вещь расплывчата, мы имеем в виду, что она не имеет ни подразделений *ab intra*, ни точных ограничений *ab extra*; но все же к ней могут быть применимы все формы мышления. Она может обладать единством, реальностью, внешностью, протяженностью и чем угодно - одним словом, но только как целое.^[333] Таким же смутным образом, вероятно, представляется комната младенцу, который впервые начинает осознавать ее как нечто иное, чем его движущаяся нянька. В его сознании она не имеет никаких подразделений, разве что, возможно, окно способно привлечь его отдельное внимание. Таким же смутным образом, конечно, представляется взрослому человеку каждый совершенно новый опыт. Библиотека, музей, машинный цех - все это для неподготовленного человека лишь путаница, но машинист, антиквар и книжный червь, возможно, вообще не замечают целого, так охотно они набрасываются на детали. Знакомство воспитало в них дискриминацию. Для ботаника и анатома не существует таких расплывчатых понятий, как "трава", "плесень" и "мясо". Они слишком много знают о травах, плесени и мышцах. Один человек сказал Чарльзу Кингсли,

который показывал ему расчленение гусеницы с ее изысканными внутренностями: "А я-то думал, что это всего лишь кожа и каша!" Непрофессионал, присутствующий при кораблекрушении, сражении или пожаре, беспомощен. Дискриминация настолько слабо пробудилась в нем благодаря опыту, что его сознание не оставляет ни одного акцентированного и выделяющегося пункта сложной ситуации, на который он мог бы ориентироваться. Но моряк, пожарный и генерал прямо знают, за каким углом следует взяться за дело. Они "видят ситуацию", то есть анализируют ее с первого взгляда. Она полна деликатно различающихся ингредиентов, которые их образование постепенно доводит до их сознания, но о которых новичок не имеет четкого представления.

Как возникает эта способность к анализу, мы видели в главах "Дискриминация" и "Внимание". Разумеется, мы разъединяем элементы первоначально неясных совокупностей, обращая на них внимание или замечая их попеременно. Но что определяет, на какой элемент мы обратим внимание в первую очередь? Есть два непосредственных и очевидных ответа: во-первых, наши практические или инстинктивные интересы; во-вторых, наши эстетские интересы. Собака выделяет из любой ситуации запахи, а лошадь - звуки, потому что они могут раскрыть факты, имеющие практическое значение, и инстинктивно возбуждают эти несколько существ. Младенец обращает внимание на пламя свечи или окно и не замечает остальной комнаты, потому что эти предметы доставляют ему яркое удовольствие. Так, деревенский мальчик выделяет ежевику, каштан и зимовник из смутной массы других кустарников и деревьев ради их практического применения, а дикарь восхищается бусами, кусочками зазеркалья, принесенными исследовательским судном, и не обращает внимания на особенности самого судна, которое слишком выходит за пределы его сферы. Эти эстетские и практические интересы, таким образом, являются самыми весомыми факторами, заставляющими выделять те или иные ингредиенты на общем фоне. На чем они делают акцент, мы замечаем; но что они представляют собой сами по себе, мы сказать не можем. Здесь мы должны довольствоваться тем, что просто признаем их в качестве несводимых конечных факторов, определяющих путь развития нашего знания.

Так, существо, у которого мало инстинктивных импульсов или интересов, практических или эстетических, будет диссоциировать мало символов, и в лучшем случае будет иметь ограниченные способности к рассуждению; в то время как существо, чьи интересы очень разнообразны, будет рассуждать гораздо лучше. Человек, благодаря своему огромному разнообразию инстинктов, практических желаний и эстетических чувств, в которые вносит свой вклад каждое чувство, только благодаря им одним будет уверен в том, что разобщит гораздо больше символов, чем любое другое животное; и, соответственно, мы видим, что самые низкие дикари рассуждают несравненно лучше, чем самые высокие животные. Различные интересы ведут также к диверсификации опыта, накопление которого становится условием для действия того *закона диссоциации по различным сопутствующим признакам*, о котором я говорил в одной из предыдущих глав (см. т. I. с. 506).

Помощь, оказываемая ассоциацией по сходству.

Вероятно также, что *превосходная ассоциация* человека по сходству имеет много общего с теми различиями в характере, на которых основаны его высшие полеты рассудка. Поскольку это очень важный вопрос и поскольку о нем почти ничего не было сказано в главе "Дискриминация", мне следует немного остановиться на нем здесь.

Что делает читатель, когда хочет увидеть, в чем именно заключается сходство или различие двух объектов? Он как можно быстрее переносит свое внимание с одного на другой, назад и вперед. Быстрая перемена в сознании как бы встряхивает точки различия или согласия,

которые могли бы дремать вечно незамеченными, если бы осознание сравниваемых объектов происходило в очень отдаленные периоды времени. Что делает ученый, который ищет причину или закон, заложенный в каком-либо явлении? Он намеренно накапливает все примеры, которые может найти, имеющие хоть какую-то аналогию с этим явлением; и, одновременно заполняя ими все свое сознание, ему часто удается выделить из этой коллекции ту особенность, которую он не смог сформулировать в одном-единственном; даже если этот один предшествовал в его прежнем опыте всем тем, с которыми он теперь сразу же сталкивается. Эти примеры показывают, что сам по себе общий факт, что он встречался в каком-то опыте с различными сопутствующими факторами, не является достаточным основанием для того, чтобы персонаж был отмежеван сейчас. Нам нужно нечто большее; нам нужно, чтобы меняющиеся сопутствующие факторы во всем их многообразии были *сразу же* приведены в сознание. Только тогда данный характер освободится от своей связи с каждым из них и станет самостоятельным. Это сразу же поймут те, кто читал "Логику" Милля, как основание для утилитарности его знаменитых "четырёх методов экспериментального исследования" - методов согласия, различия, остатков и сопутствующих вариаций. Каждый из них дает список аналогичных примеров, из середины которых искомый характер может вырваться и поразить разум.

Теперь очевидно, что любой ум, в котором высоко развита ассоциация по сходству, - это ум, который будет спонтанно формировать списки подобных примеров. Возьмем настоящее дело А, в котором есть персонаж *m*. Поначалу разум может вообще не заметить этот символ *m*. Но если А вызовет С, D, E и F - явления, которые похожи на А по наличию *m*, но которые, возможно, месяцами не входили в опыт животного, которое сейчас испытывает А, - то, очевидно, такая ассоциация выполняет ту роль, которую играет сознательно быстрое сравнение читателя, о котором говорилось выше, и систематическое рассмотрение подобных случаев научным исследователем, и может привести к абстрактному замечанию *m*. Конечно, это очевидно; и нам не остается ничего другого, как утверждать, что, после нескольких самых сильных практических и эстетических интересов, нашей главной помощью в замечении тех особых характеристик явлений, которые, будучи однажды одержаны и названы, используются как причины, названия классов, сущности или средние термины, *является эта ассоциация по сходству*. Без нее, действительно, невозможна целенаправленная работа научного человека: он никогда не смог бы собрать аналогичные примеры. Но в высокоодаренных умах она действует сама по себе, без всякого обдумывания, спонтанно собирая аналогичные примеры, объединяя в одно мгновение то, что в природе разделено всей широтой пространства и времени, и позволяя воспринимать идентичные точки посреди различных обстоятельств, чего ум, управляемый исключительно законом смежности, никогда не смог бы достичь.

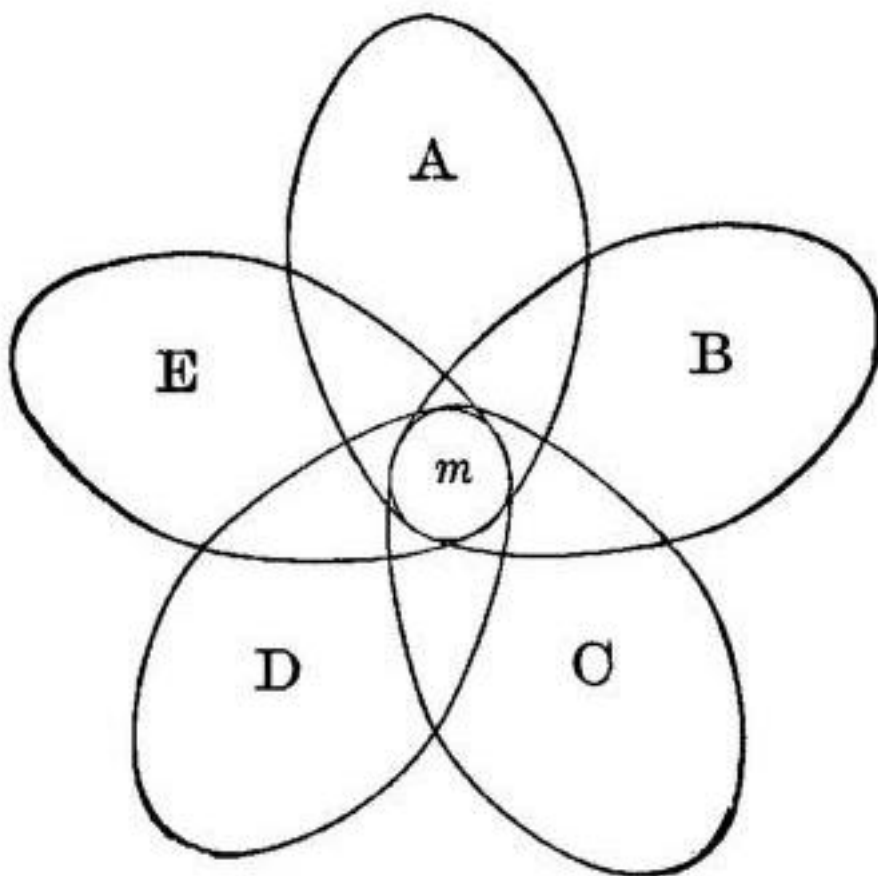


Рис. 80.

Рисунок 80 показывает это. Если m , в данном представлении А, вызывает В, С, D и Е, которые схожи с А в обладании им, и вызывает их в быстрой последовательности, то m , будучи связанным почти одновременно с такими меняющимися сопутствующими элементами, "выкатится" и привлечет наше отдельное внимание.

Если читателю многое ясно, он готов признать, что ум, в котором преобладает такой способ ассоциации, будет, благодаря лучшей возможности вычленять символы, наиболее склонен к разумному мышлению; с другой стороны, ум, в котором мы не обнаруживаем разумного мышления, вероятно, будет тем, в котором почти полностью господствует ассоциация по смежности.

Гении, по общему мнению, отличаются от обычных людей необычным развитием ассоциации по сходству. Один из лучших штрихов работы профессора Бейна - демонстрация этой истины.^[334] Она применима к гениям как в области рассуждений, так и в других областях. И как гений относится к вульгарному человеку, так и вульгарный человеческий разум относится к интеллекту скотины. Вероятно, по сравнению с людьми, животные не обращают внимания на абстрактные символы и не вызывают ассоциаций по сходству. Их мысли, вероятно, переходят от одного конкретного объекта к его привычному конкретному преемнику гораздо более равномерно, чем у нас. Другими словами, их ассоциации идей происходят почти исключительно по смежности. Это еще больше прояснит наше понимание процесса рассуждения, если мы посвятим несколько страниц

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ КОНТРАСТУ МЕЖДУ ЖИВОТНЫМ И ЧЕЛОВЕКОМ.

Сначала я попытаюсь показать на примере лучших историй, которые я могу найти о проницательности животных, что умственный процесс, как правило, может быть полностью объяснен простыми смежными ассоциациями, основанными на опыте. Мистер Дарвин в своем "Происхождении человека" приводит в пример арктических собак, описанных доктором Хейсом, которые разбегаются, когда волокут сани, как только лед начинает трещать. Некоторые могут назвать это упражнением разума. Проверяется, будут ли самые умные эскимосские собаки, которые когда-либо жили, вести себя так, когда впервые окажутся вместе на льду? Группа людей из тропиков могла бы сделать это с легкостью. Признав, что треск - это признак разрыва, и сразу же уловив частичный характер того, что точка разрыва - это точка наибольшего напряжения, и что масса веса в данной точке концентрирует там напряжение, индус мог бы быстро сделать вывод, что рассеивание остановит треск, и, крикнув своим товарищам, чтобы они разошлись, спасет группу от погружения. Но в случае с собакой нам нужно только предположить, что они уже не раз сталкивались с мокрыми шкурами после треска, что они часто замечали, как треск начинается, когда они сбиваются вместе, и как он прекращается, когда они разбегаются. Естественно, поэтому, что звук реинтегрирует все эти прежние переживания, включая переживание разбегания, которое они немедленно возобновят. Это был бы случай немедленного внушения или той "логики рецептов", как называет ее мистер Романс, о которой мы говорили выше на [с. 327](#).

Один друг писателя привел в качестве доказательства почти человеческого интеллекта своей собаки тот факт, что однажды он взял ее с собой в лодку на берегу, но обнаружил, что лодка полна грязи и воды. Он вспомнил, что губка лежит в доме, на расстоянии трети мили; но, не желая возвращаться назад, он стал жёсткими вытирать лодку и прочее, говоря своему терьеру: "Губка, губка, иди принеси губку". Но он не надеялся на результат, поскольку собака никогда не получала ни малейшей дрессировки с лодкой или губкой. Тем не менее он рысью помчался к дому и, к огромному удивлению и восхищению хозяина, принес губку в пасти. Как ни смело это было сделано, для этого не требовалось ничего, кроме обычного смежного объединения мыслей. Терьер был исключительным лишь в миниатюрности своей спонтанной наблюдательности. Большинство терьеров не проявили бы никакого интереса к операции по очистке лодки и не заметили бы, для чего нужна губка. Этот терьер, вычленив эти детали из грубой массы своего лодочного опыта достаточно отчетливо, чтобы о них вспомнить, действительно опередил своих сверстников на линии, ведущей к человеческому разуму. Но его поступок еще не был актом собственно рассуждения. Его можно было бы справедливо назвать таковым, если бы, не найдя в доме губки, он принес вместо нее ковш или швабру. Такая замена показала бы, что в очень разных по внешнему виду предметах он смог различить идентичный частичный признак способности набирать воду и подумал: "Для данной цели они идентичны". Этого, чего не сделала собака, не смог бы не сделать любой человек, кроме самого глупого.

Если читатель возьмет на себя труд проанализировать лучшие из известных ему историй о собаках и слонах, он обнаружит, что в большинстве случаев этого простого сопоставления одного целого с другим вполне достаточно для объяснения явлений. Иногда, правда, приходится предполагать признание какого-то свойства или характера как такового, но тогда это всегда характер, который, возможно, выделили особые практические интересы животного. Собака, заметив, что шляпа хозяина висит на колышке, может сделать вывод, что он никуда не выходил. Умные собаки по тону голоса хозяина определяют, сердится он или нет. Собака поймет, случайно или намеренно вы ее пнули, и поведет себя соответствующим

образом. Характер, угадываемый собакой, конкретное психическое состояние в вас, как бы оно ни было представлено в его сознании - вероятно, в виде "рецепта" (с. 327) или набора практических тенденций, а не определенной концепции или идеи, - все равно является частичным характером, извлеченным из всей совокупности вашего феноменального бытия, и служит причиной того, что он крадется, прячется или играет с вами. Кроме того, собаки, похоже, чувствуют ценность личной собственности своего хозяина или, по крайней мере, проявляют особый *интерес* к предметам, которыми пользуется хозяин. Собака, оставшаяся с пальто хозяина, будет его защищать, хотя ее никогда этому не учили. Я знаю собаку, которую приучили плавать за палками в воде, но которая всегда отказывалась нырять за камнями. Тем не менее, когда корзина с рыбой, которую его никогда не учили нести, а просто знали, что она принадлежит хозяину, упала, он тут же нырнул за ней и поднял ее. Таким образом, собаки различают, во всяком случае, настолько, чтобы быть способными действовать, этот частичный характер *ценности*, который скрывается в некоторых вещах.[335] Рассказывают истории о том, как собаки носили кондитерам медяки, чтобы получить булочки, и говорят, что определенная собака, если ей дать два медяка, никогда не уйдет без двух булочек. Возможно, это просто смежная ассоциация, но не *исключено*, что животное заметило характер двойственности и идентифицировало его как один и тот же в монете и в булочке. Если так, то это максимум собачьего абстрактного мышления. Другая история, рассказанная писателю, такова: собаку отправили на лесоповал за клином, с которым она была знакома. Через полчаса, когда собака не вернулась, ее стали искать и обнаружили, что она кусает и дергает за рукоятку топора, который был глубоко вбит в пень. Клин найти не удалось. Рассказчик этой истории решил, что собака должна была ясно осознавать общий характер подачи на раскол, который был присущ обоим инструментам, и, исходя из их идентичности в этом отношении, сделать вывод об их идентичности для нужных целей.

Нельзя отрицать, что такое толкование возможно, но оно, как мне кажется, далеко выходит за пределы обычной собачьей абстракции. Собственность, о которой идет речь, не представляла для собаки непосредственного личного интереса, как, например, принадлежность хозяину в случае с пальто или корзиной. Если бы собака в истории с губкой вернулась в лодку с ковшом, это было бы не более примечательно. Поэтому представляется более вероятным, что собака этого дровосека также привыкла носить топор, а теперь, возбужденная тщетной охотой за клином, в некотором замешательстве разрядила свои силы на прежний инструмент - подобно тому, как человек в азарте тушения пожара может подхватить сито, чтобы носить в нем воду.[336]

Таким образом, характеры, выделяемые животными, очень немногочисленны и всегда связаны с их непосредственными интересами или эмоциями. То разъединение по различным сопутствующим признакам, которое у человека в значительной степени основано на ассоциации по сходству, в сознании животных, похоже, вообще не происходит. Одна общая мысль подсказывает им другую общую мысль, и они считают, что действуют правильно, сами не зная почему. Великий, фундаментальный дефект их разума, похоже, заключается в неспособности их групп идей разрываться в непривычных местах. Они поработаны рутиной, сухим мышлением; и если бы самый прозаичный из людей мог перенестись в ум своей собаки, он был бы потрясен полным отсутствием фантазии, которая там царит.[337] Мысли будут вызывать не аналогии, а лишь их привычных преемников. Закат навеивает мысли не о смерти героев, а о времени ужина. Вот почему человек - единственное метафизическое животное. Задаваться вопросом, почему вселенная должна быть такой,

какая она есть, предполагает представление о том, что она может быть другой, а грубое животное, которое никогда не сводит реальное к текучести, разрывая его буквальные последовательности в своем воображении, никогда не сможет сформировать такое представление. Он принимает мир просто как данность и никогда не удивляется ему.

Профессор Штрюмпель приводит историю с собакой, которая, вероятно, является разновидностью многих других. Прodelанный подвиг выглядит как абстрактное рассуждение, но знакомство со всеми обстоятельствами показывает, что это был случайный трюк, выученный по привычке. История такова:

"У меня две собаки - маленькая, длинноногая домашняя и довольно крупная сторожевая. Сразу за домом находится сад, в который можно попасть через низкую решетчатую калитку, закрытую на задвижку со стороны двора. Эта задвижка открывается, если ее поднять. Кроме того, со стороны сада ворота закреплены веревкой, прибитой к столбу ворот. Здесь, при желании, можно наблюдать следующее зрелище. Если маленькую собаку закрывали в саду и она хотела выйти, она становилась перед воротами и лаяла. Тотчас же большая собака во дворе спешила к нему и поднимала носом засов, а маленькая собака со стороны сада подпрыгивала и, поймав зубами веревку, перекусывала ее; после этого большая собака просовывала свое рыло между воротами и столбом, толкала ворота, и маленькая собака проскальзывала внутрь. Разумеется, разум здесь преобладает. Однако, несмотря на это, и хотя собаки сами, без помощи человека, пришли к решению вопроса о воротах, я могу отметить, что все действия были собраны воедино из случайных впечатлений, которым собаки следовали, можно сказать, бессознательно. Пока большая собака была маленькой, ей, как и маленькой, разрешалось выходить в сад, и поэтому ворота обычно не защелкивались, а просто закрывались. Теперь, если он видел, что кто-то входит, он следовал за ним, просовывая морду между воротами и столбом и таким образом толкая ворота. Когда он подрос, я запретил ему заходить в дом, а ворота оставил запертыми. Но он, естественно, все еще пытался следовать за мной, когда кто-нибудь входил, и по старинке пытался открыть их, что ему больше не удавалось. И вот случилось так, что однажды, делая эту попытку, он поднял нос выше, чем обычно, и задел засов снизу так, что тот сорвался с крючка, и ворота не закрылись. С тех пор он делал такое же движение головой, когда пытался открыть их, и, конечно, с тем же результатом. Теперь он знал, как открыть ворота, если они заперты.

"Маленькая собака была учителем большой во многих вещах, особенно в преследовании кошек и ловле мышей и кротов; поэтому, когда маленькая слышала нетерпеливый лай, другая всегда спешила к ней. Если лай доносился из сада, он открывал калитку, чтобы попасть внутрь. Но тем временем маленькая собачка, которая стремилась выбраться наружу, как только открывалась калитка, проскальзывала между ног большого, и создавалось впечатление, что он пришел с намерением выпустить его. А то, что это была лишь видимость, явствовало из того, что, когда маленькому псу не удалось сразу выбраться наружу, большой вбежал и стал рыскать по саду, явно показывая, что он ожидал что-то там найти. Чтобы предотвратить такое открытие ворот, я прикрепил со стороны сада веревку, которая, будучи туго натянутой, крепко прижимала ворота к столбу, так что если дворовая собака поднимала засов и отпускала его, то он всякий раз падал обратно на крючок. И так продолжалось довольно долго, пока однажды не случилось так, что, возвращаясь с прогулки, на которой меня сопровождала маленькая собачка, я пересек сад, и, проходя через калитку, пес остался позади и отказался идти на мой

свисток. Поскольку начинался дождь, а я знал, как он не любит мокнуть, я закрыл калитку, чтобы наказать его таким образом. Но едва я приготовил дом, как он оказался перед воротами, жалобно скуля и плача, потому что дождь шел все быстрее и быстрее. Большой пес, для которого дождь был совершенно безразличен, мгновенно оказался рядом и изо всех сил пытался открыть ворота, но, естественно, безуспешно. Почти в отчаянии маленький пес укусил ворота и одновременно взвился в воздух, пытаясь перепрыгнуть через них, но случайно зацепил зубами веревку; она порвалась, и ворота распахнулись. Теперь он знал секрет и впредь перекусывал веревку всякий раз, когда хотел выйти, так что мне приходилось ее менять.

"Что большой пес, поднимая засов, нисколько не *знал*, что засов закрывает ворота, что поднятие его открывает их, а просто повторял автоматический удар рылом, который однажды привел к таким счастливым последствиям, явствует из следующего: ворота, ведущие в сарай, прикреплены точно таким же засовом, как и на садовых воротах, только расположенным немного выше, но все же легко достигаемым для собаки. Сюда же время от времени запирают маленького пса, и когда он лает, большой делает все возможное, чтобы открыть калитку, но ему никогда не приходило в голову отодвинуть засов вверх. Животное не умеет делать выводы, то есть не умеет думать".[338]

Другие классические *отличия* человека, помимо того, что он является единственным мыслящим животным, также являются следствием его непревзойденных способностей к подобным ассоциациям. Например, его называли "смеющимся животным". Но юмор часто определялся как признание идентичности в различных вещах. Когда человек в "Кориолане" говорит об этом герое, что "в нем не больше милосердия, чем молока в самце тигра", и изобретение этой фразы, и ее удовольствие слушателя зависят от особой недоуменной способности связывать идеи по сходству.

Человека снова называют "говорящим животным"; и язык, несомненно, является главным отличием человека от животного. Но можно легко показать, как это различие просто вытекает из тех, на которые мы уже указывали, - легкого разделения представления на составляющие и ассоциации по сходству.

Язык - это система *знаков*, отличных от обозначаемых вещей, но способных их обозначать.

Несомненно, у животных есть целый ряд таких знаков. Когда собака визжит перед дверью, а хозяин, поняв ее желание, открывает ее, то после определенного количества повторений собака может хладнокровно повторить визг, который сначала был произвольным междометием, выражающим сильную эмоцию. Ту же собаку можно научить "выпрашивать" еду, и впоследствии она будет делать это сознательно, когда проголодается. Собака также учится понимать знаки людей, и слово "крыса", произнесенное терьером, наводит на волнующие мысли об охоте на крыс. Если бы у собаки был разнообразный импульс к вокальному произнесению, который есть у других животных, она, вероятно, повторяла бы слово "крыса" всякий раз, когда ей спонтанно приходит в голову мысль об охоте на крыс, - несомненно, у нее это слуховой образ, так же как попугай спонтанно называет различные слова из своего репертуара, а выучив кличку одной собаки, произносит ее при виде другой собаки. В каждом из этих отдельных случаев конкретный знак *может* быть осознанно замечен животным, в отличие от конкретного обозначаемого предмета, и, таким образом, в той мере, в какой это возможно, будет истинным проявлением языка. Но когда мы переходим к человеку, то обнаруживаем огромную разницу. *У него есть сознательное намерение*

применять знак ко всему. Лингвистический импульс у него обобщен и систематизирован. Для вещей, которые до сих пор не замечались или не ощущались, он желает получить знак еще до того, как он у него появится. Даже если собака должна обладать "воплем" для этой вещи, "мольбой" для той, и слуховым образом "крыса" для третьей вещи, дело с ней на этом не останавливается. Если его интересует четвертая вещь, для которой еще не выучен ни один знак, он спокойно остается без нее и не идет дальше. Но человек постулирует ее, ее отсутствие раздражает его, и он заканчивает тем, что изобретает ее. Эта общая цель составляет, как я понимаю, особенность человеческой речи и объясняет ее колоссальное развитие.

Как же возникает общая цель? Она возникает, как только рождается представление о *знаке как таковом*, вне связи с каким-либо конкретным значением; а это представление рождается путем отрыва от выдающихся частей ряда конкретных случаев означивания. Крик", "мольба", "крыса" различаются по своим импортам и природе. Они сходятся лишь в той мере, в какой у них одинаковое назначение - *быть знаками*, обозначать нечто более важное, чем они сами. Собака, которую это сходство могло бы поразить, поняла бы знак *как таковой* и, возможно, стала бы после этого создателем знаков, или оратором в человеческом смысле. Но как сходство может поразить его? Не без сопоставления сходств (в силу закона, который мы установили (т. I. с. 506), что для выделения опыта он должен повторяться с различными сопутствующими элементами) - не раньше, чем "крик" собаки в момент его появления *напомнит* ему о "просьбе", благодаря тонкой связи их сходного использования - не раньше, чем эта мысль промелькнет в его голове: "А что, крик и мольба, несмотря на всю их непохожесть, все же похожи: это действия, знаки, которые ведут к важным благам. Другие блага, *любые* блага, могут быть получены с помощью других знаков!" Это размышление сделано, пропасть пройдена. Животные, вероятно, никогда не пройдут ее, потому что узы сходства недостаточно тонки. Каждый знак утопает в *своем* значении и никогда не пробуждает другие знаки и другие значения в сопоставлении. Идея крысиной охоты слишком интересна сама по себе, чтобы ее можно было прервать чем-то столь несвязанным с ней, как идея "попрошайничества" или "крика, открывающего дверь", а они, в свою очередь, не пробуждают идею крысиной охоты.

У человеческого ребенка, однако, эти разрывы смежных ассоциаций происходят очень скоро; далекие случаи использования знаков возникают, когда мы делаем знак сейчас; и вскоре появляется язык. В каждом случае ребенок делает это открытие сам. Никто не может помочь ему, кроме как предоставив условия. Но как бы он ни был устроен, условия рано или поздно выльются в результат. [339]

Чрезвычайно интересный рассказ доктора Хоу об обучении его различных слепоглухонемых прекрасно иллюстрирует этот момент. Он начал учить Лору Бриджман, наклеивая рельефные буквы на различные знакомые предметы. Ребенок был научен по простому принципу выбирать определенное количество предметов, когда его заставляли ощупывать буквы. Но это был всего лишь набор отдельных знаков, из массы которых детский ум еще не извлек общую цель *обозначения*. Доктор Хоу сравнивает свою ситуацию в этот момент с тем, как если бы он опустил на дно глубокого моря линь, в котором лежала душа Лоры, и ждал, пока она спонтанно ухватится за него и поднимется на свет. Этот момент наступил, "сопровождаемый лучезарной вспышкой интеллекта и сиянием радости"; казалось, она

внезапно осознала общую цель, заложенную в различных деталях всех этих знаков, и с этого момента ее образование пошло с необычайной быстротой.

Еще одна из великих способностей, в которой человек, как говорят, принципиально отличается от животных, - это самосознание или рефлексивное знание себя как мыслителя. Но эта способность также вытекает из нашего критерия, поскольку (не вдаваясь в подробности) можно сказать, что животное никогда не размышляет о себе как о мыслителе, потому что в полном конкретном акте мышления оно никогда четко не разделяло элементы мыслимого предмета и операции, с помощью которой он его мыслит. Они всегда остаются слитыми, конгломерированными - точно так же, как междометие, вокальный знак животного почти неизменно сливается в его сознании с обозначаемой вещью и не имеет самостоятельного внимания.[\[340\]](#)

Так вот, диссоциация этих двух элементов, вероятно, происходит сначала в сознании ребенка по случаю какой-нибудь ошибки или ложного ожидания, которые заставляют его испытать шок от разницы между просто воображением вещи и ее получением. Мысль, пережитая однажды с сопутствующей реальностью, а затем без нее или с противоположными сопутствующими факторами, напоминает ребенку о других случаях, когда происходило то же самое провоцирующее явление. Таким образом, общий компонент ошибки может быть отделен и замечен *как таковой*, и от представления о своей ошибке или неправильной мысли к представлению о своей мысли в целом перейти легко. Грубый человек, несомненно, имеет в своей жизни множество примеров ошибок и разочарований, но подобное потрясение у него, скорее всего, всегда поглощается случайностями реального случая. Разочарование в ожиданиях может породить сомнение в том, что собака сможет получить эту вещь, когда будет ожидать ее в следующий раз. Но это разочарование, это сомнение, пока они присутствуют в сознании, *не* вызовут других случаев, в которых материальные детали были другими, но эта особенность возможной ошибки была той же самой. Таким образом, животное не сможет отделить общее понятие ошибки *как таковой*, и, следовательно, никогда не достигнет концепции Мысли как таковой.

Таким образом, мы можем считать доказанным, что *самое элементарное различие между человеческим разумом и разумом животных заключается в неспособности животного связывать идеи по сходству: символы*, абстрагирование которых зависит от такого рода ассоциаций, всегда должны оставаться у животного утопленными, заваленными в общем явлении, которое они помогают составлять, и никогда не используются для рассуждений. Если какой-либо признак выделяется отдельно, то это всегда какое-нибудь очевидное чувственное качество, например звук или запах, который инстинктивно возбуждает животное и лежит в русле его склонностей; или это какой-нибудь очевидный признак, который опыт привычно соединил со следствием, как, например, для собаки вид надетой шляпы хозяина и выход хозяина из дома.

РАЗЛИЧНЫЕ ПОРЯДКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ГЕНИЯ.

Но, поскольку природа никогда не делает скачков, очевидно, что мы должны найти низших людей, занимающих в этом отношении промежуточное положение между животными и высшими людьми. И так оно и есть. Помимо аналогий, которые подсказывает их собственный разум, разрывая буквальную последовательность их опыта, существует целый мир аналогий, которые они могут оценить, когда их передают им старшие, но которые они никогда не смогли бы вывести самостоятельно. Это ответ на вопрос, почему Дарвина и

Ньютона так долго ждали. Вспышка сходства между яблоком и луной, между соперничеством за пищу в природе и соперничеством за выбор человека была слишком необычной, чтобы прийти в голову кому-то, кроме исключительных умов. *Гениальность*, как уже было сказано, *тождественна обладанию подобной ассоциацией в крайней степени*. Профессор Бейн говорит: "Это я считаю главным фактом гениальности. Я считаю совершенно невозможным дать какое-либо объяснение интеллектуальной оригинальности, кроме предположения о необычной энергии в этом вопросе". И в искусстве, и в литературе, и в практических делах, и в науке ассоциация по сходству является главным условием успеха.

Но как, согласно нашей точке зрения, в рассудочном мышлении есть две стадии: одна, где сходство просто вызывает однотипные мысли, и другая, более далекая, где *замечается* связь тождества между однотипными мыслями; так и *умы гениев можно разделить на два основных типа: те, кто замечает связь, и те, кто просто подчиняется ей*. Первые - это абстрактные рассуждатели, как их правильно называть, люди науки, философы - аналитики, одним словом; вторые - поэты, критики, художники, одним словом, люди интуиции. Они правильно судят, классифицируют случаи, характеризуют их самыми яркими аналогическими эпитетами, но дальше этого не идут. На первый взгляд может показаться, что аналитический ум представляет собой просто более высокую интеллектуальную стадию, а интуитивный ум - задержанную стадию интеллектуального развития; но разница не так проста. Профессор Бейн говорил, что продвижение человека к научной стадии (стадии замечания и абстрагирования связей сходства) часто может быть связано с *отсутствием* определенных эмоциональных ощущений. Чувство цвета, по его словам, может не меньше оттолкнуть человека от науки, чем от живописи. Интерес к деталям отдельных форм должен быть скудным, чтобы позволить сконцентрировать силы интеллекта на том, что является общим для многих форм.^[341] Другими словами, если предположить, что ум плодovit на аналогии, но в то же время живо интересуется особенностями каждого предложенного образа, он будет гораздо менее склонен выделять конкретный характер, вызывающий аналогию, чем тот, чьи интересы менее живы. Поэтому определенное богатство эстетской природы может легко удержать человека на интуитивной стадии. Примером тому служат все поэты. Возьмем Гомера:

"Улисс тоже оглядел дом, чтобы посмотреть, не остался ли кто в живых и не прячется ли, пытаюсь спастись от мрачной смерти. Он нашел их всех павшими в крови и грязи, и в таком количестве, как рыба, которую рыбаки на низком берегу, из пенящегося моря, тащат своими сетями. Все они, больные для океанской воды, разбросаны по пескам, а палящее солнце отнимает у них жизнь. Так и лежат женихи друг на друге". Или еще:

"А когда мейонская или карийская женщина окрашивает слоновую кость пурпуром, чтобы она служила нащечником для лошадей, и ее хранят в палате, и многие всадники молятся, чтобы она снесла ее; но она хранится как сокровище для царя, как ловушка для его коня и слава для водителя - так и твои крепкие бедра, Менелай, и ноги и прекрасные лодыжки были запятнаны кровью".^[342]

Человека, в котором все случайности аналогии всплывают так ярко, как в этом случае, можно извинить за то, что он не обращает внимания на основание аналогии. Но он не должен считаться в этом отношении интеллектуально ниже человека более сухого, у которого основание не так часто затмевается общим великолепием. Едва ли можно найти оба вида

интеллекта, великолепный и аналитический, в сочетании друг с другом. Платон среди философов и М. Тэн, который не может процитировать детскую поговорку, не описав "*напевный, восторженный, радостный голос*", которым она была произнесена, - лишь исключения, чья странность подтверждает правило.

Один часто цитируемый писатель сказал, что Шекспир обладал большей *интеллектуальной силой*, чем кто-либо другой из когда-либо живших. Если под этим он подразумевал способность переходить от заданных предпосылок к правильным или созвучным выводам, то это, несомненно, так. Резкие переходы в шекспировской мысли поражают читателя своей неожиданностью не меньше, чем восхищают своей правильностью. Почему, например, смерть Отелло так будоражит кровь зрителя и оставляет у него чувство примирения? Сам Шекспир, скорее всего, не смог бы сказать, почему; ведь его изобретение, хотя и рациональное, не было рაციональным. Когда занавес опускался над восстановленным в правах Отелло, речь о турке с тюрбаном вдруг просто мелькнула перед ним как правильное завершение всего, что было до этого. Сухой критик, который придет после, сможет, однако, указать на тонкие узы идентичности, которые вели перо Шекспира от этой речи до смерти мавра. Отелло утопает в бесчестии, срываясь с высоты своего роста в начале пьесы. Что может лучше спасти его, наконец, от этого позора, чем заставить его на мгновение отождествить себя в памяти с прежним Отелло лучших времен, а затем свершить правосудие над его нынешним отреченным телом, как в свое время он поражал всех врагов государства? Но Шекспир, чей разум предлагал эти средства, вероятно, не смог бы сказать, почему они так эффективны.

Но хотя это так, и хотя было бы абсурдно в абсолютном смысле говорить, что данный аналитический ум превосходит любой интуитивный, тем не менее не менее верно, что первый *представляет* собой более высокую стадию. Люди, взятые исторически, рассуждают по аналогии задолго до того, как они научились рассуждать с помощью абстрактных символов. Ассоциация по сходству и истинное рассуждение могут иметь одинаковые результаты. Если философ хочет доказать вам, почему вы должны сделать определенную вещь, он может сделать это, используя исключительно абстрактные соображения; дикарь докажет то же самое, напомнив вам о похожем случае, в котором вы, как известно, поступаете так, как он предлагает, и это без возможности указать, в чем именно эти случаи похожи. Во всей примитивной литературе, во всех дикарских ораторских искусствах мы видим, что убеждение ведется исключительно с помощью притч и симиляров, и путешественники в дикарских странах охотно перенимают этот туземный обычай. Возьмем, к примеру, спор доктора Ливингстона с негритянским фокусником. Миссионер пытался отучить дикаря от его фетишистских способов вызывать дождь. "Вы видите, - сказал он, - что после всех ваших операций иногда идет дождь, а иногда нет, точно так же, как если бы вы вообще ничего не делали". "Но, - ответил колдун, - то же самое происходит и с вами, врачами; вы даете свои лекарства, и иногда пациент выздоравливает, а иногда умирает, как и тогда, когда вы вообще ничего не делаете". На это благочестивый миссионер ответил: "Врач исполняет свой долг, после чего Бог совершает исцеление, если Ему это угодно". "Что ж, - ответил дикарь, - так и со мной. Я делаю то, что необходимо для получения дождя, после чего Бог посылает его или не посылает по Своему желанию".[343]

Именно на этом этапе господствует пословичная философия. "Пустой мешок не может стоять прямо" - вот причина, по которой человек с долгами может потерять свою честность; а "птица в руке стоит двух в кустах" - подкрепляет призывы к благоразумию. Или мы отвечаем на вопрос: "Почему снег белый?", говорим: "По той же причине, по которой белыми бывают мыльные растворы или взбитые яйца" - иными словами, вместо того чтобы назвать *причину*

факта, мы приводим другой *пример* того же факта. Это предложение аналогичного примера вместо причины часто критикуется как одна из форм логической испорченности людей. Но очевидно, что это не извращение мышления, а лишь его неполнота. Приведение параллельных примеров - это необходимый первый шаг к абстрагированию причины, заложенной во всех них.

Как и в случае с причинами, так и в случае со словами. Первые слова, вероятно, всегда являются названиями целых вещей и целых действий, обширных связных групп. О новом опыте первобытного человека он может говорить только в терминах старого опыта, получившего названия. Он напоминает ему некоторые из них, но те *моменты*, в которых он с ними согласен, не названы и не разобщены. Чистое сходство должно сработать, прежде чем возникнет абстракция, основанная на нем. Поэтому первые прилагательные, вероятно, будут полными существительными, воплощающими яркий характер. Первобытный человек скажет: не "хлеб твердый", а "хлеб каменный"; не "лицо круглое", а "лицо лунное"; не "плод сладкий", а "плод сахарный тростник". Первые слова, таким образом, не являются ни конкретными, ни общими, а расплывчато-конкретными; точно так же мы говорим об "овальном" лице, "бархатной" коже или "железной" воле, не имея в виду никаких других признаков прилагательного-существительного, кроме тех, в которых оно *действительно* похоже на существительное, для обозначения которого оно используется. Через некоторое время некоторые из этих прилагательных-существительных начинают обозначать только то конкретное качество, ради которого они чаще всего используются; *вся вещь, которую* они первоначально обозначали, получает другое название, и они становятся настоящими абстрактными и общими терминами. Овал, например, у нас обозначает *только* форму. Первые абстрактные качества, образованные таким образом, - это, несомненно, качества одного и того же чувства, обнаруживаемые в различных объектах - например, большой, сладкий; затем аналогии между различными чувствами, например, "острый" вкус, "высокий" звук и т. д.; затем аналогии двигательных комбинаций, или форм отношений, таких как простые, запутанные, сложные, взаимные, относительные, спонтанные и т. д. Крайняя степень тонкости аналогии достигается в таких случаях, как, например, когда мы говорим, что произведения английских искусствоведов напоминают нам тесную комнату, в которой горит пастила, или что ум некоторых французов похож на старый сыр рокфор. Здесь языку совершенно не удастся затронуть основу сходства.

В огромных областях нашего мышления мы все еще находимся в диком состоянии. Сходство действует в нас, но абстрагирование не произошло. Мы знаем, на что похож данный случай, мы знаем, что он нам напоминает, у нас есть интуиция, как правильно поступить, если речь идет о практическом деле. Но аналитическая мысль не дала никаких следов, и мы не можем оправдаться перед другими. В этических, психологических и эстетических вопросах четкое обоснование своих суждений признается всеми как признак редкой гениальности. Беспомощность необразованных людей в объяснении своих симпатий и антипатий зачастую просто смехотворна. Спросите первую ирландскую девушку, почему эта страна нравится ей больше или хуже, чем ее родная, и посмотрите, как много она сможет вам рассказать. Но если вы спросите своего самого образованного друга, почему он предпочитает Тициана Полю Веронезе, вы вряд ли получите больше ответа; и вы, вероятно, не получите абсолютно никакого, если спросите, почему Бетховен напоминает ему Микель Анджело, или как получилось, что обнаженная фигура с излишне гибкими суставами последнего может так наводить на мысль о моральном трагизме жизни. Его мысль подчиняется некой *связи*, но не может ее назвать. Так и с суждениями *экспертов*, которые, даже будучи немотивированными, столь ценны. Насыщенный опытом работы с определенным классом материалов, эксперт интуитивно чувствует, вероятен или нет недавно сообщенный факт,

бесполезна или наоборот, бесполезна предложенная гипотеза. Он инстинктивно знает, что в новом случае именно это, а не то, будет перспективным направлением действий. Хорошо известная история о том, как старый судья советует новому никогда не обосновывать свои решения: "Решения, вероятно, будут правильными, причины же наверняка окажутся неверными", иллюстрирует это. Врач чувствует, что пациент обречен, стоматолог предчувствует, что зуб сломается, хотя ни тот, ни другой не могут сформулировать причину своих предчувствий. Причина заложена, но еще не обнажена, во всех бесчисленных предыдущих случаях, смутно напоминающих данный, и все они приводят к одному и тому же выводу, к которому адепт приходит, сам не зная как и почему.

Остается сделать физиологический вывод. Если принципы, изложенные в главе XIV, верны, то из этого следует, что огромное мозговое различие между привычным и обдуманым мышлением должно заключаться в следующем: что в первом случае целая система клеток, вибрирующих в любой момент, разряжается в своей совокупности в другую целую систему, и что порядок разрядов имеет тенденцию быть постоянным во времени; в то время как во втором случае часть предыдущей системы все еще продолжает вибрировать в середине последующей системы, и порядок - какая это будет часть, и что будет ее сопутствующим элементом в последующей системе - имеет мало тенденции к фиксированности во времени. Этот физический отбор, так сказать, одной части, которая будет постоянно вибрировать, в то время как другие будут подниматься и опускаться, мы обнаружили в рассматриваемой главе, как основу подобной ассоциации. (См. особенно том I. с. 578-81.) По-видимому, это лишь малая степень той еще более настоятельной и настойчивой локализованной вибрации, которая, как мы можем легче всего предположить, лежит в основе психического факта интереса, внимания или диссоциации. В терминах мозгового процесса, таким образом, все эти психические факты сводятся к одной особенности: неопределенности связи между различными трактами и тенденции действия фокусироваться, так сказать, в небольших локализациях, которые бесконечно меняются в разное время, и от которых иррадиация может исходить бесчисленными переменчивыми путями. (Сравните рис. 80, с. 347.) Выяснить или (что более соответствует нынешней стадии развития нервной физиологии) предположить, от какого химического или молекулярно-механического факта может зависеть это неустойчивое равновесие человеческого мозга, должно стать следующей задачей физиолога, размышляющего о переходе от животного к человеку. О какой бы физической особенности ни шла речь, именно она является причиной того, что человек, чей мозг обладает ею, рассуждает так много, в то время как его лошадь, чей мозг ее лишен, рассуждает так мало. Мы можем лишь завещать эту проблему более умелым рукам, чем наши собственные.

Но, между тем, такой способ изложения вопроса позволяет сделать еще несколько выводов. Первый из них краток. Если *фокализация* мозговой активности является основополагающим фактом разумного мышления, то понятно, почему интенсивный интерес или концентрированная страсть заставляют нас думать гораздо более искренне и глубоко. Устойчивая *фокализация* движения в определенных трактах - это церебральный факт, соответствующий устойчивому доминированию в сознании важной черты предмета. Когда мы не "фокусируемся", мы рассеяны; но когда мы полны энтузиазма, мы никогда не отклоняемся от цели. Не возникает никаких, кроме конгруэнтных и уместных образов. Когда нас охватывает негодование или моральный энтузиазм, как язвительны наши размышления, как сокрушительны наши слова! Вся сеть мелких угрызений и побочных соображений, которые в обычные спокойные времена окружали вопрос, как паутина, сдерживая нашу

мысль, как Гулливера пригвоздили к земле бесчисленные лилипутские нити, разрушается одним ударом, и тема встает, обнажая свои основные и жизненно важные линии.

Последний пункт относится к теории, согласно которой то, что было приобретенной привычкой у предка, может стать врожденной тенденцией у потомства. На этом принципе возведена столь обширная надстройка, что скудость эмпирических доказательств этой теории стала предметом сожаления для ее приверженцев и триумфа для ее противников. В [главе XXVIII](#) мы увидим то, что можно назвать нищенским набором доказательств. В человеческой расе, где наши возможности для наблюдения наиболее полны, мы, кажется, не имеем никаких доказательств, которые могли бы поддержать гипотезу, если только это не закон, что городские дети более склонны к близорукости, чем деревенские. В умственном мире мы, конечно, не замечаем, что дети великих путешественников получают уроки географии с необычайной легкостью, или что ребенок, чьи предки говорили по-немецки на протяжении тридцати поколений, будет, в связи с этим, менее легко учиться итальянскому языку у своей итальянской кормилицы. Но если соображения, к которым мы пришли, верны, они прекрасно объясняют, почему этот закон *не может* быть подтвержден в человеческой расе и почему, следовательно, в поисках доказательств по этому вопросу мы должны ограничиться исключительно низшими животными. У них фиксированная привычка является существенным и характерным законом нервного действия. Мозг развивается в точном соответствии с теми способами, в которых он был задействован, и в наследовании этих способов, называемых в то время инстинктами, нет ничего удивительного. Но в человеке отрицание всех фиксированных режимов является существенной характеристикой. Он обязан всем своим превосходством рассудка, всем своим человеческим качеством интеллекта, можно сказать, той легкостью, с которой данный способ мышления в нем может внезапно распасться на элементы, которые заново соединяются. Только благодаря тому, что он не унаследовал никаких устоявшихся инстинктивных тенденций, он способен разрешить каждый новый случай путем нового открытия разумом новых принципов. Он является, *par excellence*, *обучаемым* животным. Если бы закон о том, что привычки передаются по наследству, был найден в нем в качестве примера, он, таким образом, не соответствовал бы своим человеческим совершенствам; и, когда мы исследуем человеческие расы, мы действительно обнаруживаем, что те, которые наиболее инстинктивны в начале, являются теми, которые, в целом, наименее образованны в конце. Необученный итальянец в значительной степени является человеком мира; у него есть инстинктивное восприятие, склонность к поведению, реакция, одним словом, на окружающую среду, чего полностью лишен необученный немец. Если его не обучать, он будет склонен к безнравственному поведению; но, с другой стороны, отсутствие в его мозгу определенных врожденных склонностей позволяет ему путем развития чисто рассудочного мышления с помощью образования продвигаться в сложные области сознания, к которым итальянец, вероятно, никогда не сможет приблизиться.

Мы наблюдаем идентичную разницу между мужчинами в целом и женщинами в целом. Молодая женщина двадцати лет реагирует с интуитивной быстротой и безопасностью на все обычные обстоятельства, в которые она может быть поставлена. [\[344\]](#) Ее симпатии и антипатии сформированы; ее мнения, в значительной степени, те же, что и на протяжении всей жизни. Ее характер, по сути, завершен в своих основных чертах. Насколько уступает ей во всех этих отношениях двадцатилетний юноша! Его характер все еще студенистый, он не знает, какую форму ему принять, "примеряет" ее на себя во всех направлениях. Чувствуя свою силу, но не зная, как ее выразить, он, по сравнению со своей сестрой, - существо без

определенных очертаний. Но именно отсутствие в его мозгу тенденции к определенному режиму и является тем условием, которое гарантирует, что в конечном итоге он станет намного эффективнее женского. Именно отсутствие заранее заданных направлений мысли является той почвой, на которой вырастают общие принципы и главы классификации; и мужской мозг имеет дело с новой и сложной материей опосредованно, с их помощью, с чем женский метод прямой интуиции, восхитительно и быстро работающий в своих пределах, может тщетно надеяться справиться.

Оглядываясь назад на тему рассуждений, мы чувствуем, как тесно они связаны с концепцией; и мы как никогда осознаем глубокий охват того принципа отбора, на котором так много внимания было уделено в конце главы IX. Как искусство чтения (после определенного этапа обучения) - это искусство пропускать, так и искусство быть мудрым - это искусство знать, что упускать из виду. Первый эффект, который оказывает на ум культивирование, заключается в том, что процессы, которые раньше были многочисленными, становятся выполняться одним действием. Лазарус назвал это прогрессирующей "конденсацией" мысли. Но в психологическом смысле это не столько сгущение, сколько потеря, подлинное выпадение и выбрасывание за борт сознательного содержания. Ступени действительно исчезают из поля зрения. Продвинутый мыслитель видит связи своих тем в такой массе и так мгновенно, что, когда он приходит объяснять их более молодым умам, часто трудно сказать, кто оказывается в большем недоумении - он или ученик. В каждом университете есть восхитительные исследователи, которые, как известно, являются плохими лекторами. Причина в том, что они никогда не видят предмет спонтанно, в той форме, в которой он должен быть предложен студенту для его медленного восприятия. Они ищут ссылки, но ссылки не приходят. Боудич, переводивший и аннотировавший "Механику Селеста" Лапласа, говорит, что всякий раз, когда его автор предварял предложение словами "это очевидно", он знал, что впереди его ждут долгие часы напряженной учебы.

Когда собираются вместе два ума высокого уровня, интересующиеся родственными темами, их беседа отличается, прежде всего, краткостью ссылок и быстротой переходов. Не успеет один из них закончить половину предложения, как другой уже понимает его смысл и отвечает. Такая гениальная игра с такими массивными материалами, такая легкая вспышка света над далекими перспективами, такое небрежное безразличие к пыли и аппарату, которые обычно окружают предмет и, кажется, относятся к его сути, делают эти беседы настоящими пирами богов для слушателя, который достаточно образован, чтобы следить за ними. Его умственные легкие дышат глубже, в атмосфере более широкой и обширной, чем обычно. С другой стороны, чрезмерная ясность и немногословность обычного человека столь же замечательны, сколь и утомительны для человека гениального. Но нам не нужно заходить так далеко, как это делают гении. Подойдет обычное общение в обществе. Там очарование беседы прямо пропорционально возможности сокращать и умолчать и обратно пропорционально необходимости прямого высказывания. Со старыми друзьями одно слово означает целую историю или набор мнений. С новичками все должно быть подробно описано. У некоторых людей настоящая мания к полноте, они должны выразить каждый шаг. Они - самые невыносимые собеседники, и хотя их умственная энергия может быть в своем роде велика, они всегда производят впечатление слабых и второсортных. Короче говоря, суть плебейства, того, что отделяет вульгарность от аристократизма, - это, пожалуй, не столько недостаток, сколько излишество, постоянная потребность оживляться по вопросам, которые для аристократического темперамента не существуют. Игнорировать, презирать,

рассматривать, не замечать - вот суть "джентльмена". Зачастую это очень провокационно, ведь то, что игнорируется, может иметь глубочайшие моральные последствия. Но в самом разгаре нашего негодования на джентльмена у нас есть сознание того, что его нелепая инертность и отрицательность в реальной ситуации так или иначе *связаны* с его общим превосходством над нами. Дело не только в том, что джентльмен игнорирует соображения, касающиеся поведения, подлые подозрения, страхи, расчеты и т. д., которые вульгарный человек обречен иметь; дело в том, что он молчит там, где вульгарный человек говорит; что он не приводит ничего, кроме результатов, там, где вульгарный человек изобилует причинами; что он не объясняет и не извиняется; что он использует одно предложение вместо двадцати; и, одним словом, в нем есть, так сказать, *промежуточное* мышление, которое совершенно невозможно заставить его выполнять, но которое является почти всем, что вообще выполняет вульгарный ум. Все это подавление второстепенного оставляет *свободное* поле для высших полетов, если они решат прийти. Но даже если бы они так и не пришли, все равно мысли, которые в них были, проявляли бы аристократический тип и носили воспитанную форму. Так велико наше чувство гармонии и легкости при переходе из общества обывателей в общество аристократического темперамента, что мы почти соблазняемся считать самые ложные взгляды и вкусы, которых придерживается человек из мира, более истинными, чем самые истинные, которых придерживается простой человек. В последнем случае лучшие идеи захлебываются, мешают и загрязняются избыточностью их ничтожных соратников. В первом случае присутствуют, по крайней мере, негативные условия - атмосфера и свобода взглядов.

Может показаться, что я отклонился от психологического анализа в сторону эстетской критики. Но принцип отбора настолько важен, что никакие иллюстрации не покажутся излишними, чтобы показать, насколько велика сфера его применения. Итог того, что я говорю, сводится к тому, что отбор подразумевает как отказ, так и выбор; и что функция игнорирования, *невнимания*, является таким же жизненно важным фактором умственного прогресса, как и функция самого внимания.

[319] Содержание этой главы и многие страницы текста первоначально были опубликованы в статье "Звериный и человеческий интеллект" в журнале "Journal of Speculative Philosophy" за июль 1878 года (vol. xii. p. 236).

[320] Я не вижу необходимости предполагать более двух терминов в такого рода рассуждениях: во-первых, знак, а во-вторых, то, что из него выводится. И то, и другое может быть сложным, но по сути это просто А, вызывающее Б, и никакого среднего термина здесь нет. М. Бине в своей умнейшей книге "Психология рассуждения" утверждает, что существует три термина. По его мнению, настоящее ощущение или знак должны сначала вызвать из прошлого образ, который напоминает его и сливается с ним, а предполагаемые или подразумеваемые вещи всегда являются сопряженными ассоциациями этого промежуточного образа, а не непосредственного ощущения. Читатель [главы XIX](#) поймет, почему я не верю в "образ", о котором идет речь, как в отдельный психический факт.

[321] Mental Evolution in Man (1889), главы iii и iv. См. особенно с. 68-80 и далее 353, 396.

[322] *Loc. cit.* p. 50.

[323] P. 52.

[324] *Loc. cit.* p. 74.

[325] J. Locke, *Essay conc. Hum. Understanding*, bk. iv. chap. ii. § 3.

[326] Быть проницательным - значит быть хорошим наблюдателем. У Дж. С. Милля есть отрывок, который настолько соответствует духу текста, что я не могу удержаться, чтобы не процитировать его. "Наблюдатель - это не тот, кто просто видит вещь, находящуюся перед его глазами, а тот, кто видит, из каких частей состоит эта вещь. Делать это хорошо - редкий талант. Один человек, по невнимательности или по недосмотру, упускает из виду половину того, что видит; другой записывает гораздо больше, чем видит, смешивая это с тем, что он воображает, или с тем, что он предполагает; третий отмечает *вид* всех обстоятельств, но, будучи неумелым в оценке их степени, оставляет количество каждого смутным и неопределенным; другой видит целое, но так неловко делит его на части, бросая в одну массу вещи, которые необходимо разделить, и отделяя другие, которые удобнее было бы рассматривать как единое целое, что результат получается примерно такой же, иногда даже хуже, чем если бы вообще не было предпринято никакого анализа. Можно было бы указать, какие качества ума и способы умственной культуры подходят человеку для того, чтобы быть хорошим наблюдателем: это, однако, вопрос не логики, а теории образования, в самом широком смысле этого слова. Не существует искусства наблюдения. Могут существовать правила наблюдения. Но они, как и правила изобретения, являются инструкциями по подготовке собственного ума; по приведению его в состояние, в котором он будет наиболее приспособлен к наблюдению или наиболее склонен к изобретению. Поэтому они, по сути, являются правилами самообразования, что отличается от Логики. Они учат не тому, как сделать вещь, а тому, как сделать себя способным сделать ее. Это искусство укрепления конечностей, а не искусство их использования. Степень и краткость наблюдений, которые могут потребоваться, и степень разложения, до которой необходимо довести умственный анализ, зависят от конкретной цели. Установить состояние всей Вселенной в любой конкретный момент невозможно, но и бесполезно. Проводя химические опыты, мы не считаем нужным отмечать положение планет; потому что опыт показывает, и достаточно самого поверхностного опыта, что в таких случаях это обстоятельство не имеет существенного значения для результата: и, соответственно, в те века, когда человек верил в оккультное влияние небесных тел, было бы нефилософским опускать выяснение точного состояния этих тел в момент эксперимента". (Логика, т. iii. гл. vii. § 1. Ср. также т. iv. гл. ii.)

[327] Читатели, воспитанные на "Популярной науке", могут подумать, что молекулярная структура вещей - это их настоящая сущность в абсолютном смысле, и что вода - это H-O-H более глубоко и истинно, чем растворитель сахара или утолитель жажды. Ничуть! Это все вещи с равной реальностью, и единственная причина, по которой *для химика* это в первую очередь H-O-H, и только во вторую очередь другие вещи, заключается в том, что *для его целей дедукции и всеобъемлющего определения*, H-O-H аспект этого является более полезным, чтобы иметь в виду.

[328] "Мы обнаруживаем, что неопровержимо принимаем как данность, что каждый вид [вещей] обладает некоторым характером, который отличает его от других классов..... Что лежит в основе этого постулата? На чем основано это предположение, что должно существовать определение, которого мы никогда не видели и которое, возможно, никто не видел в удовлетворительной форме?... Я отвечаю, что наше убеждение в необходимости существования характерных признаков, с помощью которых вещи могут быть определены словами, основано на предположении о *необходимой возможности рассуждения*". (W. Whewell: *Hist. of Scientific Ideas*, bk. viii. chap. i, § 9).

[329] Я могу процитировать отрывок из статьи под названием "Чувство рациональности", опубликованной в томе iv "Mind", 1879: "Что такое *концепция*? Это *телеологический инструмент*. Это частичный аспект вещи, который *для нашей цели* мы рассматриваем как ее существенный аспект, как представителя всей вещи. По сравнению с этим аспектом все остальные свойства и качества, которыми может обладать вещь, являются несущественными случайностями, которые мы можем без всякой вины игнорировать. Но сущность, основание концепции, меняется в зависимости от того, какую цель мы преследуем. Такое вещество, как нефть, имеет столько же различных сущностей, сколько применений для разных людей. Один человек представляет его себе как горючее, другой - как смазочное средство, третий - как пищу; химик думает о нем как об углеводороде; мебельщик - как о средстве для окрашивания древесины; спекулянт - как о товаре, рыночная цена которого сегодня такая, а завтра - такая. Мыловар, физик, чистильщик одежды по отдельности приписывают ему другие сущности в соответствии со своими потребностями. Доктрина Уэбервега о том, что существенное качество вещи - это качество наибольшей *ценности*, строго верна; но Уэбервег не замечает, что эта ценность всецело связана с временными интересами создателя. И даже когда его интерес четко определен в его собственном сознании, различение качества в объекте, который имеет самую тесную связь с ним, - это вещь, которой не могут научить никакие правила. Единственный *априорный* совет, который можно дать человеку, вступающему в жизнь с определенной целью, - это несколько бесплодный совет: Убедитесь, что в обстоятельствах, которые вам встречаются, вы выбираете те, *которые подходят для* вашей цели. Выбрать правильные - вот мера человека. "Миллионы, - говорит Гартман, - плятятся на явление, прежде чем *гениальный Колф* набрасывается на концепцию". Гений - это просто тот, для кого, когда он открывает глаза на мир, "правильные" персонажи занимают видное место. Глупец - это тот, кто, преследуя те же цели, что и гений, неизменно запутывает свое внимание в случайностях".

[330] Только если одна из наших целей сама по себе истиннее другой, одна из наших концепций может стать более истинной концепцией. Однако, чтобы быть более истинной целью, наша цель должна в большей степени соответствовать некоему абсолютному стандарту цели в вещах, которому должны соответствовать наши цели. Это показывает, что вся доктрина о существенных признаках тесно связана с телеологическим взглядом на мир. Материализм становится самопротиворечивым, когда он отрицает телеологию и в то же время называет атомы и т. д. *существенными* фактами. Мир содержит как сознание, так и атомы, и одно должно быть записано как столь же существенное, как и другое, в отсутствие какой-либо заявленной цели относительно них со стороны творца или в отсутствие какого-либо творца. Что касается нас самих, то атомы больше ценны для целей дедукции, а сознание - для целей вдохновения. Мы можем справедливо написать Вселенную в любом случае, таким образом: Атомы, производящие сознание; или Сознание, производимое атомами. Атомы сами по себе или сознание сами по себе - это совершенно одинаковые искажения истины. Если, не веря в Бога, я продолжаю говорить о том, чем "по сути является" мир, я имею такое же право определить его как место, где у меня чешется нос, или как место, где на определенном углу я могу купить устриц за двадцать центов, как и назвать его развивающейся туманностью, дифференцирующей и интегрирующей себя. Трудно сказать, какая из трех абстракций является более гнилой или жалкой заменой конкретной полноты мира. Представление о нем только как о "Божьем деле" было бы таким же искажением, если бы мы не говорили, что это за Бог и что это за дело. Единственная реальная истина о мире, помимо конкретных целей, - это *полная* истина.

[331] Сравните Лотце, Метафизика, §§ 58, 67, для некоторых поучительных замечаний о том, как конституция мира может отличаться от того, чем он является на самом деле. Сравните также главу XXVIII.

[332] Иногда, надо признать, цель мыслителя не дотягивает до рассуждения, и единственным выводом, к которому он стремится, является простое название данности. "Что это такое?" - вот наш первый вопрос по отношению к любой неизвестной вещи. И та легкость, с которой утоляется наше любопытство, как только мы получаем хоть какое-то имя, которым можно назвать объект, достаточно смешна. Приведу цитату из неопубликованного эссе моего бывшего студента, мистера Р. У. Блэка: "Самая простая цель, которой может служить предикат вещи, - это удовлетворение самого желания единства, простого желания, чтобы вещь была такой же, как и *что-то* другое. Почему, когда на днях я принял портрет Шекспира за портрет Хоторна, не был ли я, исходя из психологических принципов, так же прав, как если бы правильно назвал его? У этих двух картин была общая сущность, лысый лоб, усы, струящиеся волосы. Просто потому, что единственная цель, которой можно было бы послужить, назвав его Хоторном, - это мое желание, чтобы он был таким. Ни к какой другой цели такая классификация не привела бы. И каждое единство, каждая идентичность, каждая классификация справедливо называются причудливыми, если они не служат какой-то другой цели, кроме простого удовлетворения, эмоций или вдохновения, вызванных мгновенной верой в них".

[333] См. выше, с. 8.

[334] См. его "Исследование характера", гл. xv; также "Чувства и интеллект", "Интеллект", гл. ii, вторая половина.

[335] Сомнительно, чтобы собака имела представление о том, что вы злитесь или что ваша собственность ценна в такой же абстрактной форме, как *мы* имеем эти представления. Поведение скорее всего является импульсивным результатом сговора внешних стимулов; зверь *чувствует*, что поступает именно так, когда эти стимулы присутствуют, хотя и не осознает никаких определенных причин для этого. Здесь полезно различать понятия "рецепция" и "концепция". Некоторые породы собак, например колли, инстинктивно защищают собственность своего хозяина. Этот случай похож на тот, когда собака лает на людей после наступления темноты, на которых она не стала бы лаять при дневном свете. Мне приходилось слышать, как это приводилось в качестве доказательства разумности собаки. Как показано в главе III, это всего лишь импульсивный результат суммирования стимулов, не имеющий никакого отношения к рассудку.

На определенных стадиях гипнотического транса субъект, кажется, впадает в неаналитическое состояние. Если показать испытуемому лист линованной бумаги или бумаги с напечатанным на ней тонким монотонным орнаментом, на мгновение указать на одну из линеек или элементов узора и тут же убрать бумагу, он почти всегда, когда через короткий промежуток времени бумага снова будет ему представлена, безошибочно выберет указанную линию или элемент. Оператору, тем временем, приходится либо постоянно следить за ней, либо следить за ее положением путем подсчета, чтобы не потерять ее. Точно так же мы можем запомнить дом друга на улице по одному лишь номеру, а не по его общему виду. Субъект транса в таких случаях как бы отдается общему виду. Он беспристрастно рассеивает свое внимание по листу. Место конкретной линии, которой он коснулся, является частью "общего эффекта", который он получает целиком, и который был бы искажен, если бы вместо него была затронута другая линия. Этот общий эффект теряется для обычного зрителя, который сосредоточен на концентрации, анализе и акцентировании. Что же

удивительного в том, что в этих экспериментальных условиях субъект, находящийся в трансе, превосходит его в повторном касании нужной линии? Если у испытуемого есть время на подсчет линий, он превзойдет транс-субъекта; но если времени на подсчет слишком мало, он добьется успеха, следуя транс-методу, воздерживаясь от анализа и ориентируясь на "общий вид" места линии на листе. Удивительно, как это удается, как только человек отказывается от привычного аналитического состояния ума.

Не слишком ли много, чтобы сказать, что в этом рассеивании внимания и подчинении "общему эффекту" мы имеем нечто похожее на возвращение в состояние ума грубиянов? Субъект, находящийся в трансе, никогда не приводит никаких других причин для своего оптического различения, кроме того, что "это выглядит так". Так и человек, идя по дороге, которую он когда-то прошел невнимательно, делает определенный поворот без всякой причины, кроме того, что *он чувствует*, что это должно быть правильно. Он руководствуется суммой впечатлений, ни одно из которых не выделяется среди остальных, ни одно не является существенным, ни одно не является *задуманным*, но все они вместе приводят его к выводу, к которому не ведет ничто, кроме *этой* суммы. Не объяснимы ли таким же образом некоторые из удивительных различий животных? Корова находит свои собственные подпорки в длинном хлеву, лошадь останавливается у дома, у которого она уже однажды останавливалась на однообразной улице, потому что никакие другие подпорки, никакие другие дома не дают беспристрастного ответа *на все* впечатления предыдущего опыта. Человек же, стремясь сделать какое-то одно впечатление характерным и существенным, мешает остальным. Так что, если забыть или изменить (для него) существенную черту, он будет слишком склонен к тому, чтобы совсем сбиться с пути, и тогда может показаться, что грубый человек или субъект транса превзошел его в проницательности.

Уже цитировавшееся различие между "рецептивным" и "концептуальным" мышлением доктора Романса (опубликованное после написания основной части моего текста и примечания) хорошо отражает ту разницу, на которую я пытаюсь указать. Доказательства того, что животные рецептивным способом познают ментальные состояния других животных и людей, см. также в его "Ментальной эволюции человека", с. 197 и далее.

[336] Этот вопрос о путанице важен и интересен. Поскольку путаница - это принятие неправильной части явления за целое, в то время как рассуждение, согласно нашему определению, основано на замене правильной части целым, можно сказать, что путаница и рассуждение - это в целом один и тот же процесс. Я считаю, что так оно и есть, и что единственное различие между путаником и гением - это разница между извлечением неправильных и правильных символов. Другими словами, тупоголовый человек - это гений, испорченный в процессе создания. Я думаю, будет признано, что все *чрезвычайно* тупоголовые люди обладают темпераментом гения. Они постоянно отрываются от привычных констелляций. Обычный ассоциатор по родству слишком тесно связан с рутиной, чтобы стать тупоголовым.

[337] Лошадь - дремучее и тупое животное, если не считать смежных ассоциаций. Мы считаем его умным, отчасти потому, что он выглядит таким красивым, отчасти потому, что у него такая замечательная способность к связным ассоциациям и его можно так быстро превратить в массу привычек. Если бы в нем было хоть что-то от разума, он был бы не таким верным рабом, как сейчас.

[338] Th. Schumann: Journal Daheim, No. 19, 1878. Цитируется по Strümpell: Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere (Leipzig, 1878), p. 39. Кошки печально известны тем, с каким мастерством они открывают засовы, замки и т. д. Их подвиги обычно

приписывают способности к рассуждению. Но д-р Романс хорошо замечает (Mental Evolution, etc., p. 351, note), что мы должны сначала убедиться, что эти действия не вызваны простой ассоциацией. Кошка постоянно играет с предметами своими лапами; случайно найденный трюк может быть сохранен. Романс отмечает тот факт, что животные, наиболее искусные в этом деле, не обязательно должны быть самыми умными в целом, но те, которые имеют лучшие телесные члены для обращения с вещами: лапы кошки, губы лошади, хобот слона, рога коровы. Обезьяна обладает и телесным, и интеллектуальным превосходством. И мои осуждающие замечания по поводу рассуждений животных в тексте относятся в гораздо меньшей степени к четвероногим, чем к четвероногим. - О возможных заблуждениях в интерпретации разума животных сравните С. L. Morgan in Mind, xi. 174 (1886).

[339] Есть еще два условия возникновения языка у человека, помимо ассоциации по сходству, которые помогают его действию или, скорее, прокладывают ему путь. Это, во-первых, большая природная смелость и, во-вторых, большая подражательность человека. Первая производит первоначальный рефлекторный междометийный знак; вторая (как хорошо показал Блик) закрепляет его, накладывает на него печать и в итоге умножает число детерминированных специфических знаков, которые являются необходимым предварительным условием для общей сознательной цели создания знаков, что я назвал характерным человеческим элементом в языке. Способ, которым имитативность закрепляет значение знаков, таков: Когда первобытный человек испытывает определенную эмоцию, он произносит свое естественное междометие; или когда (чтобы не предполагать, что рефлекторные звуки чрезвычайно детерминированы природой) группа таких людей испытывает общую эмоцию, и один из них берет на себя инициативу в крике, остальные кричат, как он, из сочувствия или подражания. Теперь пусть один из группы услышит, как другой, находящийся в присутствии опыта, произносит крик; он, даже не имея опыта, повторит крик из чистого подражания. Но, повторяя знак, он будет напоминать ему о своем собственном прежнем опыте. Таким образом, сначала он имеет знак с эмоцией; затем - без нее; затем - снова с ней. Он "диссоциирован сменой сопутствующих факторов"; он ощущает его как отдельную сущность и в то же время как имеющий связь с эмоцией. Сразу же становится возможным намеренно соединить его с эмоцией в тех случаях, когда последняя либо не вызвала бы междометий, либо вызвала бы не тот же самый крик. Одним словом, его ментальная процедура имеет тенденцию *фиксировать* этот крик на *этой* эмоции; и , когда это происходит, во многих случаях ему предоставляется запас знаков, таких как вопль, мольба, крыса собаки, каждый из которых предполагает определенный образ. На этом запасе, таким образом, сходство работает вышеописанным образом.

[340] См. статью "Эволюция самосознания" в "Философских дискуссиях" Чонси Райта (Нью-Йорк: Henry Holt & Co., 1877). Доктор Романс в книге, из которой я уже цитировал, стремится показать, что "сознание истины как истины" и намеренное намерение предикации (которые являются характеристиками высшего человеческого разума) предполагают сознание идей как таковых, как вещей, отличных от их объектов; и что это сознание зависит от того, что мы сделали знаки для них с помощью языка. Мой текст, как мне кажется, включает факты д-ра Романса и формулирует их в более элементарной, на мой взгляд, форме, хотя читатель, желающий лучше понять суть дела, должен также обратиться к его ясному и терпеливому изложению.

[341] Исследование характера, стр. 317.

[342] Перевел мой коллега, профессор Г. Х. Палмер.

[343] Цитируется Ренувье, "Философская критика", 19 октября 1879 года.

[344] Социальные и бытовые обстоятельства, то есть не материальные. Восприятие социальных отношений кажется очень острым у людей, чье общение с материальным миром ограничивается знанием нескольких полезных предметов, в основном животных, растений и оружия. Дикари и хамы зачастую не менее тактичны и проницательны в общении, чем опытные дипломаты. В целом, вероятно, сознание того, как человек относится к другим людям, занимает все большую и большую часть сознания, чем ниже он опускается по шкале культуры. Женская интуиция, столь тонкая в сфере личных отношений, редко бывает первоклассной в области механики. Все мальчики учат себя, как идут часы, но лишь немногие девочки. Отсюда шутка доктора Уизли: "Женщина - это неразумное животное, которое раздувает огонь сверху".

ГЛАВА XXIII.

ПРОИЗВОДСТВО ДВИЖЕНИЯ.

Читатель не забыл в джунглях чисто внутренних процессов и продуктов, через которые он прошел в последних главах, что конечным результатом их всех должна быть та или иная форма телесной активности, обусловленная выходом центрального возбуждения через исходящие нервы. Весь нервный организм, как вы помните, с физиологической точки зрения является машиной для преобразования стимулов в реакции; а интеллектуальная часть нашей жизни связана лишь со средней или "центральной" частью операций этой машины. Теперь перейдем к рассмотрению конечных, или эмерджентных, операций, телесной деятельности и связанных с ней форм сознания.

Каждое впечатление, воздействующее на входящие нервы, производит некоторый разряд по исходящим нервам, независимо от того, осознаем мы это или нет. Используя огульные термины и игнорируя исключения, *можно сказать, что каждое возможное ощущение порождает движение, и это движение - движение всего организма, каждой его части.* То, что явно происходит, когда нас пугает взрыв или вспышка молнии, или когда нас щекочут, скрыто происходит с каждым ощущением, которое мы получаем. Единственная причина, по которой мы не чувствуем вздрагивания или щекотки в случае незначительных ощущений, заключается отчасти в их очень малом количестве, отчасти в нашей тупости. Профессор Бейн много лет назад назвал этот феномен общей разрядки законом диффузии и выразил его следующим образом: "В зависимости от того, какое впечатление сопровождается чувством, возбужденные токи распространяются по мозгу, приводя к общему возбуждению подвижных органов, а также воздействуя на внутренности".

В случаях, когда ощущения сильны, закон слишком хорошо известен, чтобы требовать доказательств. Как говорит профессор Бейн:

"Каждый из нас на собственном опыте знает, что внезапный взрыв чувств сопровождается движениями тела в целом и другими последствиями. Когда эмоций нет, мы спокойны; легкое чувство сопровождается легкими проявлениями; более интенсивный шок вызывает более интенсивную вспышку. Каждое удовольствие, каждая боль, каждый вид эмоций имеет определенную волну эффектов, о которых мы узнаем из наших наблюдений; и мы применяем это знание, чтобы понять чувства других людей по их внешним проявлениям..... Органы, на которые в первую очередь

воздействует рассеянная волна нервного влияния, - это подвижные члены, и из них, по преимуществу, черты лица (с ушами у животных), движения которых составляют *выражение* лица. Но влияние распространяется на все части двигательной системы, вольные и невольные; в то время как важный ряд эффектов производится на железы и внутренности - желудок, легкие, сердце, почки, кожу, вместе с половыми и молочными органами..... Это обстоятельство кажется универсальным, доказательство его не требует подробного цитирования примеров; на противников возлагается бремя приведения однозначных исключений из закона".[345]

Вероятно, не существует исключений в распространении каждого впечатления через *нервные центры*. Однако эффект волны, проходящей через центры, часто может быть направлен на вмешательство в процессы и уменьшение напряжения, уже существующего там; внешними последствиями такого торможения могут быть остановка разрядов из заторможенных областей и проверка телесной активности, уже находящейся в процессе возникновения. Когда это происходит, это, вероятно, похоже на осушение или засасывание одних каналов токами, текущими по другим. Когда при ходьбе мы внезапно замираем, потому что звук, вид, запах или мысль привлекают наше внимание, происходит нечто подобное. Но есть случаи остановки периферической активности, которые зависят не от центрального торможения, а от стимуляции центров, которые разряжают исходящие токи тормозного типа. Например, когда мы пугаемся, наше сердце на мгновение останавливается или замедляет свой ритм, а затем начинает биться с ускоренной скоростью. Эта кратковременная остановка вызвана исходящим током по пневмогастральному нерву. Этот нерв, когда его стимулируют, останавливает или замедляет сердцебиение, и этот особый эффект поражения не происходит, если нерв перерезать.

В целом, однако, стимулирующие эффекты чувственного впечатления преобладают над тормозящими, так что мы можем, как и в начале, сказать, что волна разряда вызывает активность во всех частях тела. Задача проследить все эффекты одного входящего ощущения еще не была решена физиологами. Однако в последние годы мы начали пополнять наши сведения; и хотя для получения полной информации я должен обратиться к специальным трактатам, здесь я могу кратко изложить ряд отдельных наблюдений, доказывающих истинность закона диффузии.

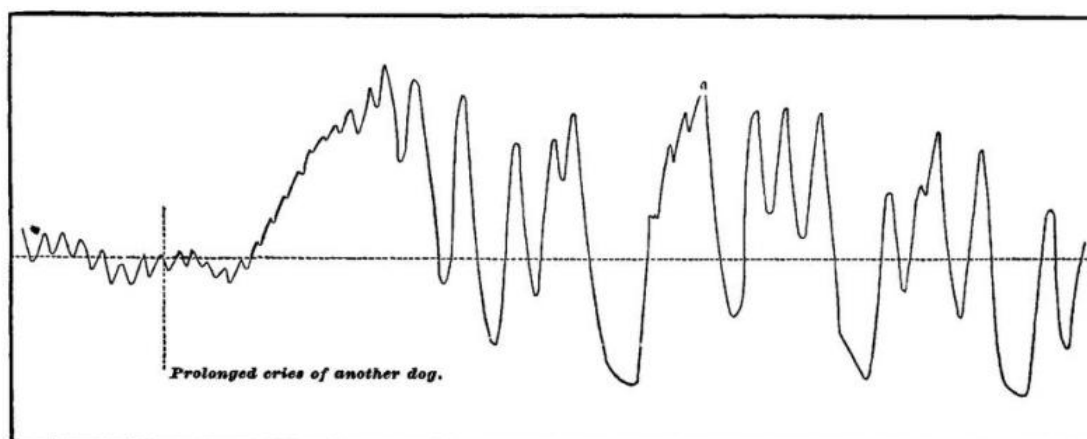


Рис. 81.

Сначала рассмотрим *воздействие на кровообращение*. Те, что воздействуют на сердце, мы только что рассмотрели. Халлер давно зафиксировал, что кровь из открытой вены вытекает быстрее при ударе барабана.[346] В главе III. (т. I. с. 98) мы узнали, как мгновенно, согласно Моссо, изменяется кровообращение в мозгу при изменении ощущений и хода мыслей.

Влияние объектов страха, стыда и гнева на кровоснабжение кожи, особенно кожи лица, слишком хорошо известно, чтобы об этом говорить. Ощущения высших органов чувств, по мнению Кути и Шарпантье, оказывают самое разнообразное влияние на частоту пульса и кровяное давление у собак. На рис. 81, пульсограмме этих авторов, показано бурное воздействие на сердце собаки, услышавшей крик другой собаки. При перерезании пневмогастральных нервов изменения кровяного давления сохранялись, что свидетельствует о том, что вазомоторный эффект является прямым и не зависит от работы сердца. Когда Моссо изобрел этот простой прибор, *плетизмограф*, для регистрации колебаний объема членов тела, то, по его словам, "в первых экспериментах, которые он провел в Италии, его больше всего поразило крайнее беспокойство кровеносных сосудов руки, которые при каждом малейшем движении, будь то во время бодрствования или сна, меняли свой объем удивительным образом".[347] На рис. 82 (из Féré)[348] показано, как пульс одного испытуемого изменялся под воздействием красного света, длившегося от момента, обозначенного *a*, до момента, обозначенного *b*.

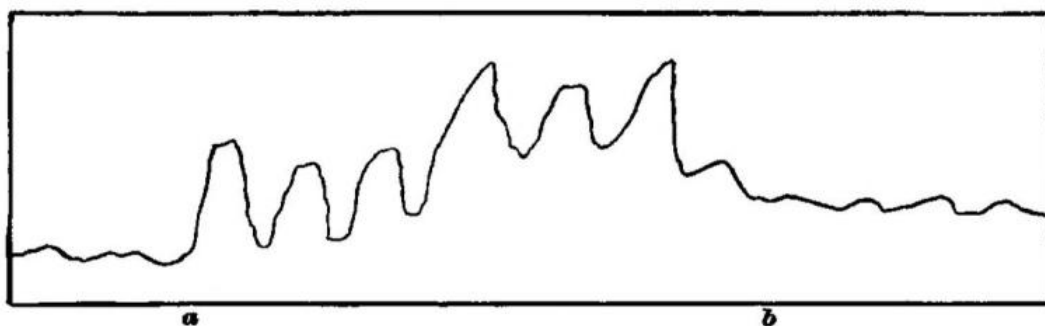


Рис. 82.

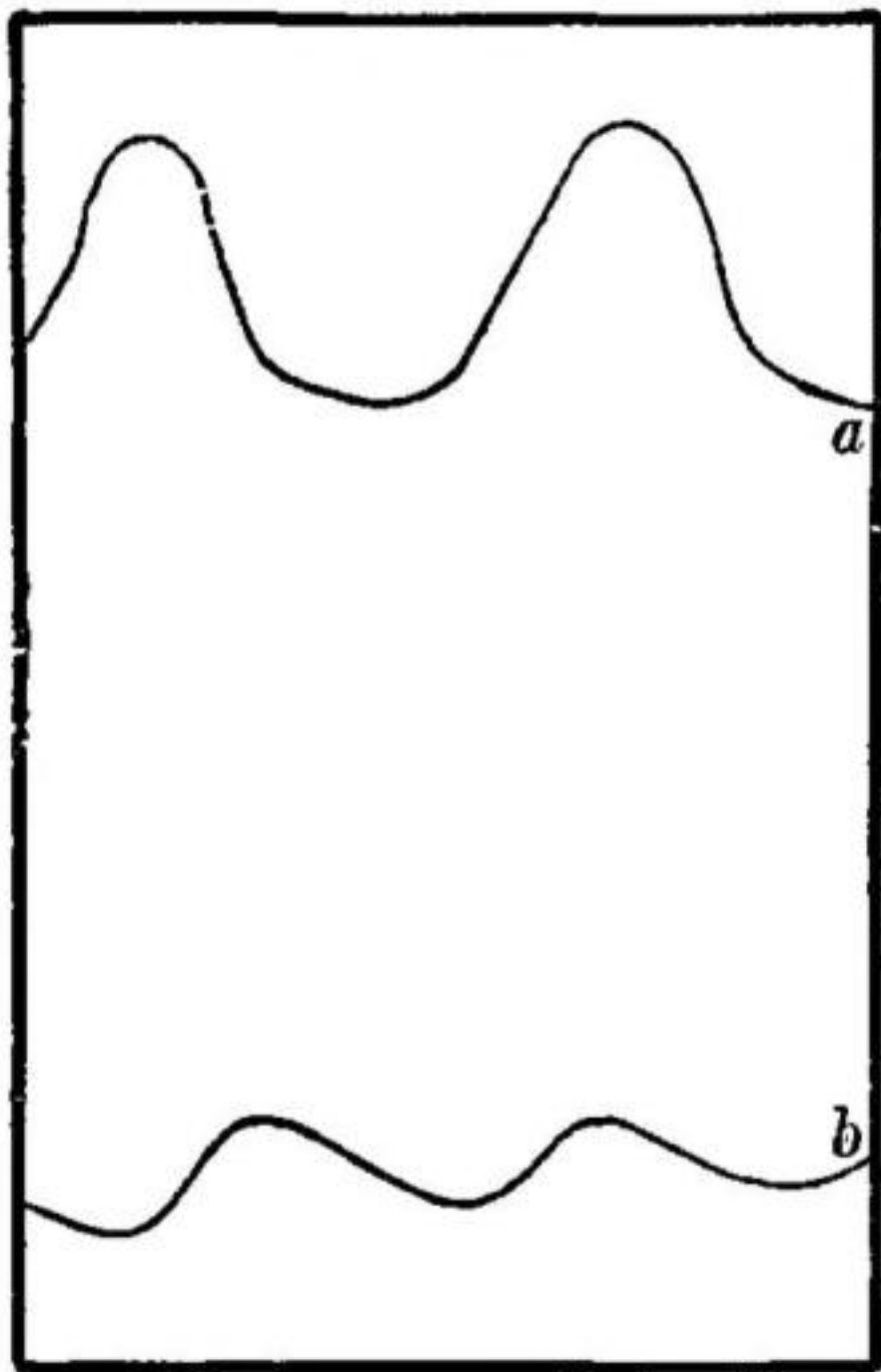


Рис. 83. Кривая дыхания В: а - с открытыми глазами; б - с закрытыми глазами.

Влияние на дыхание внезапных сенсорных стимулов также слишком хорошо известно, чтобы подробно комментировать его. Мы "задерживаем дыхание" при каждом внезапном звуке. Мы "задерживаем дыхание", когда наше внимание и ожидание сильно напряжены, и вздыхаем, когда напряжение ситуации ослабевает. Когда перед нами находится страшный объект, мы задышаемся и не можем глубоко вдохнуть; когда объект вызывает у нас гнев, то, напротив, акт истечения воздуха является трудным. Я прилагаю несколько рисунков из Фере, которые сами себя объясняют. Они показывают влияние света на дыхание двух его пациентов-истериков.[\[349\]](#)

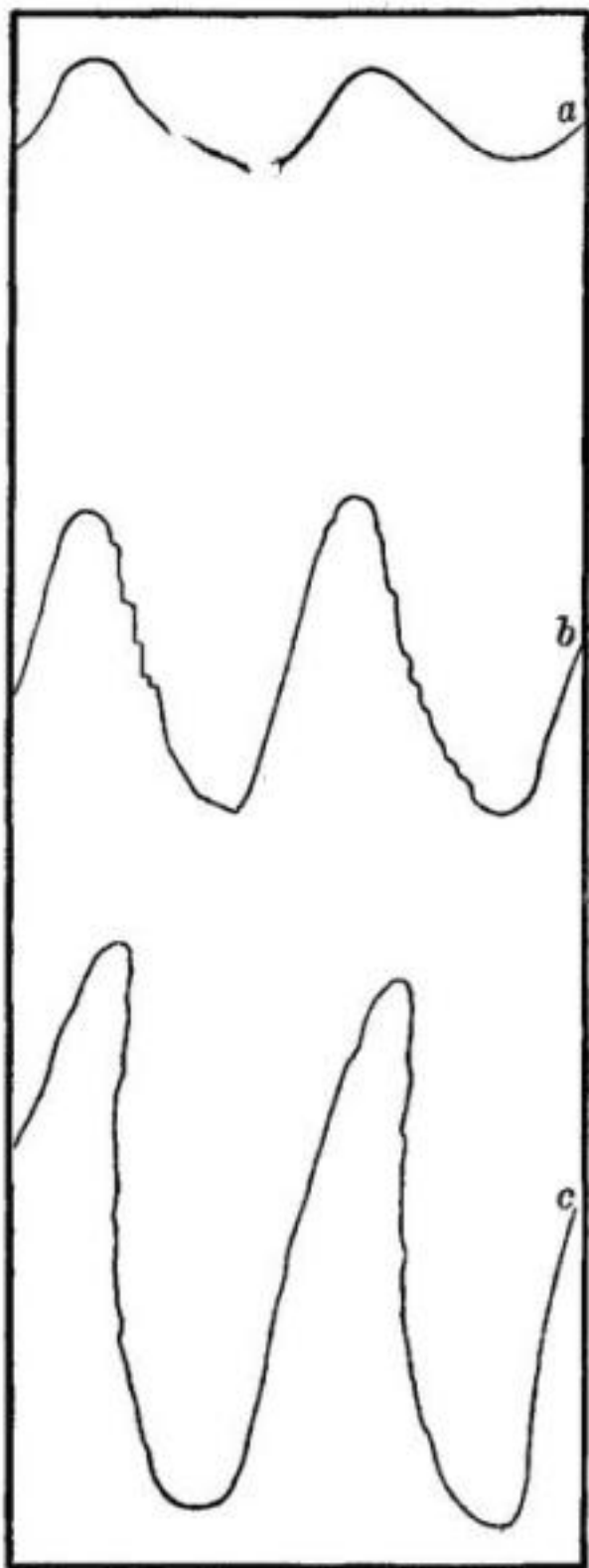


Рис. 84. Кривая дыхания L: *a* - при желтом свете; *b* - при зеленом; *c* - при красном. Красный свет оказывает наиболее сильное воздействие.

На потовых железах наблюдаются аналогичные последствия сенсорных стимулов. Тарчанофф, проверяя состояние потовых желез по способности кожи запускать гальванический ток через электроды, приложенные к ее поверхности, обнаружил, что "почти каждый вид нервной деятельности, от простейших ощущений и впечатлений до волевых движений и высших форм умственного напряжения, сопровождается повышенной

активностью в железах кожи".[350] Сандерс зафиксировал наблюдения *над зрачком*, которые показывают, что временное расширение глаза следует за каждым сенсорным стимулом, применяемым *во время сна*, даже если стимул недостаточно силен, чтобы разбудить субъекта. В момент пробуждения происходит расширение, даже если на глаз падает сильный свет.[351] Можно легко наблюдать, как зрачок у детей сильно расширяется под влиянием *страха*. Говорят, что он расширяется при боли и усталости, а сужается, наоборот, при ярости.

Что касается *влияния на брюшную полость*, то оно, несомненно, существует, но точных наблюдений было сделано очень мало.[352]

Мочевой пузырь, кишечник и матка реагируют на ощущения, даже безразличные. Моссо и Пелликани в своих плетизмографических исследованиях мочевого пузыря собак обнаружили, что всевозможные сенсорные стимулы вызывают рефлекторные сокращения этого органа, не зависящие от сокращений брюшной стенки. Они называют мочевой пузырь "таким же хорошим эстезиометром, как и радужная оболочка глаза" и ссылаются на нередкое рефлекторное воздействие психических стимулов на этот орган у женщин.[353] М. Фере зарегистрировал сокращения сфинктера *apі*, которые вызывают даже безразличные ощущения. У некоторых беременных женщин плод приходит в движение почти после каждого сенсорного возбуждения, получаемого матерью. Единственное естественное объяснение заключается в том, что в такие моменты он стимулируется рефлекторными сокращениями матки.[354] То, что железы подвержены влиянию эмоций, достаточно очевидно в случае слез горя, сухости во рту, влажной кожи или диареи от страха, нарушений желчеотделения, которые иногда следуют за гневом, и т. д. Хорошо известно, что при виде сочной пищи рот наполняется водой. Трудно проследить меньшие степени всех этих рефлекторных изменений, но вряд ли можно сомневаться в том, что они существуют в той или иной степени, даже там, где они перестают быть прослеживаемыми, и что все наши ощущения имеют некоторые висцеральные эффекты. Чихание, вызванное солнечным светом, шероховатость кожи (гусиная плоть), которую вызывают определенные поглаживания, прикосновения и звуки, музыкальные или немзыкальные, - это факты того же порядка, что и вздрагивание и вставание дыбом от страха, только в меньшей степени.

Воздействие на добровольные мышцы. Каждый сенсорный стимул не только посылает специальный разряд в определенные мышцы, зависящие от особой природы данного стимула - некоторые из этих специальных разрядов мы изучали в главе XI, другие мы рассмотрим в разделах "Инстинкт" и "Эмоция", - но и иннервирует мышцы в целом. М. Фере привел очень любопытные экспериментальные доказательства этого. Сила сокращения руки испытуемого измерялась с помощью саморегистрирующегося динамометра. Обычно максимальная сила, в простых экспериментальных условиях, остается неизменной изо дня в день. Но если одновременно с сокращением испытуемый получал сенсорное впечатление, то сокращение иногда ослабевало, но чаще усиливалось. Этот усиливающий эффект получил название *динамогении*. Динамогенное значение простых *музыкальных нот*, по-видимому, пропорционально их громкости и высоте. Если ноты складываются в печальные напряжения, мышечная сила уменьшается. Если же напряжения веселые, то она увеличивается. - Динамогенное значение *цветных огней* зависит от цвета. У испытуемого[355], чья нормальная сила выражалась цифрой 23, она стала 24, когда на глаза был брошен синий свет, 28 для зеленого, 30 для желтого, 35 для оранжевого и 42 для красного. Таким образом, красный цвет является самым возбуждающим. Среди *вкусов* наименьшее значение имеет сладкий, за ним следует соленый, затем горький и, наконец, кислый, хотя, как отмечает М. Фере, такой кислый, как уксусная кислота, возбуждает болевые

и обонятельные нервы, а также вкусовые. Стимулирующее действие табачного дыма, алкоголя, говяжьего экстракта (который непитателен) и т.д. и т.п. может быть частично обусловлено динамическим действием такого рода. Из *запахов* мускус, по-видимому, обладает особой динамической силой. Рис. 85 представляет собой копию одного из динамографических рисунков М. Фере, который объясняет сам себя. На меньшие сокращения происходят без стимула; более сильные - под воздействием красных лучей света.

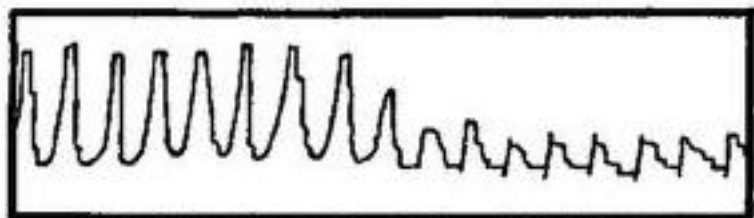


Рис. 85.

Все знакомы с *пателлярным рефлексом*, или рывком стопы вверх, который вызывается ловким постукиванием по сухожилию под коленной чашечкой, когда нога свисает над другим коленом. Доктора Вейр-Митчелл и Ломбард обнаружили, что, когда одновременно с постукиванием возникают другие ощущения, толчок усиливается.[\[356\]](#) Тепло, холод, укалывание, зуд или фарадическая стимуляция кожи, иногда сильные оптические впечатления, музыка - все это оказывает динамогенный эффект, который также возникает, когда одновременно с постукиванием в других частях тела возникают волевые движения.[\[357\]](#)

Эти "динамогенные" эффекты, при которых один стимул просто усиливает другой, уже находящийся в процессе, не следует путать с рефлекторными актами, как их еще называют, в которых новая деятельность возникает под действием стимула. Все инстинктивные действия и проявления эмоций - это рефлекторные акты. Но под теми из них, которые мы осознаем, постоянно происходят другие, меньшие по величине, которые, вероятно, у большинства людей можно назвать колебаниями мышечного *тонуса*, но которые у некоторых невротиков можно продемонстрировать глазами методами. М. Фере описывает некоторые из них в статье, на которую я уже ссылался.[\[358\]](#)

Оглядываясь на все эти факты, трудно сомневаться в истинности закона диффузии даже там, где проверка недоступна. *Процесс, возникающий в любом центре, отражается повсюду и тем или иным образом влияет на весь организм, делая его деятельность либо большей, либо меньшей.* Мы снова приходим к выраженному на предыдущей странице уподоблению нервно-центральной массы хорошему проводнику, заряженному электричеством, напряжение которого нельзя изменить нигде, не изменив его везде.

Герр Шнайдер попытался показать с помощью гениального и наводящего зоологического обзора[\[359\]](#), что все *особые* движения, которые совершают высокоразвитые животные, отличаются от двух изначально простых движений, сжатия и расширения, в которых участвует все тело простых организмов. Тенденция к сжатию является источником всех импульсов и реакций самозащиты, которые развились позднее, включая полет. Тенденция к

расширению, напротив, распадается на импульсы и инстинкты агрессивного типа, кормление, борьбу, половые акты и т. д. Статьи Шнайдера стоит прочитать хотя бы ради тщательных наблюдений за животными, которые они воплощают. Я привожу их здесь как своего рода эволюционную причину, чтобы добавить к механической *априорной* причине, почему *должна* существовать диффузионная волна, которая, как показали наши *апостериорные* случаи, существует.

Теперь я перейду к детальному изучению более важных классов движений, возникающих в результате cerebro-ментальных изменений. Они могут быть перечислены следующим образом

1) Инстинктивные или импульсивные движения;

2) Выражение эмоций; и

3) добровольные поступки;

и каждому из них будет посвящена отдельная глава.

[345] Эмоции и воля, с. 4, 5.

[346] Cp. Féré. Sensation et Mouvement (1887), p. 56.

[347] La Paura (1884), p. 117. Сравните Féré: Sensation et Mouvement, chap. xvii.

[348] Revue Philosophique, xxiv. 570.

[349] Revue Phil., xxiv. pp. 566-7.- Более подробную информацию об отношениях между мозгом и дыханием см. в очерке Данилевского в Biologisches Centralblatt, ii. 690.

[350] Цитируется по сообщению о докладе Тарчаноффа (в Pflüger's Archiv, xlv. 46) в American Journal of Psych., ii. 652.

[351] Archiv f. Psychiatrie, vii. 652; ix. 129.

[352] Sensation et Mouvement, 57-8.

[353] R. Accad. dei Lincei (1881-2). Я следую сообщению в "Jahresbericht" Хофмана Швальбе, x. ii. 93.

[354] Cp. Féré, Sensation et Mouvement, chap. xiv.

[355] Приведенные данные получены от истеричного субъекта, и различия превышают норму. М. Фере считает, что неустойчивая нервная система истерика ("эти гранулы психологии") проявляет закон в количественно преувеличенном масштабе, не изменяя качественных отношений. Эффекты немного напоминают влияние ощущений на минимальные ощущения другого порядка, обнаруженное Урбанщицем и описанное на [стр. 29](#) этого тома.

[356] Митчелл в (Филадельфия) Medical News (13 и 20 февраля 1886 г.); Ломбард в American Journal of Psychology (октябрь 1887 г.).

[357] Профессор Х. П. Боудич сделал интересное открытие: если подкрепляющее движение запаздывает на 0,4 секунды, подкрепление не происходит и трансформируется в положительное торможение толчка колена при замедлении от 0,4' до 1,7'. Коленный толчок вообще не изменяется при волевых движениях, сделанных позже, чем через 1,7' после касания связки надколенника (см. Boston Med. and Surg. Journ., May 31, 1888).

[358] Revue Phil., xxiv. 572 и далее.

[359] В Vierteljahrschrift für wiss. Philos., iii. 294.

ГЛАВА XXIV.[360]

ИНСТИНКТ.

Инстинкт обычно определяется как способность действовать таким образом, чтобы достигать определенных целей, без предвидения этих целей и без предварительного обучения их выполнению. То, что инстинкты, как они определяются, существуют в огромных масштабах в животном мире, не нуждается в доказательствах. Они являются функциональными коррелятами структуры. Наличие определенного органа сопровождается, можно сказать, почти всегда врожденной способностью к его использованию.

"Есть ли у птицы железа для выделения масла? Она инстинктивно знает, как выдавить масло из железы и нанести его на перо. Есть ли у гремучей змеи зубчатая и ядовитая железа? Он и без инструкций знает, как сделать так, чтобы и структура, и функция были наиболее эффективны против его врагов. А у шелкопряда есть функция выделения жидкого шелка? В нужное время она сматывает такой кокон, какого никогда не видела, как и тысячи других; и таким образом, без инструкций, шаблонов и опыта, создает для себя безопасное жилище на период трансформации. Есть ли у ястреба когти? Она инстинктивно знает, как эффективно использовать их против беспомощной добычи".[361]

Очень распространенный способ говорить об этих замечательно определенных тенденциях к действию - абстрактно называть цель, которой они служат, например самосохранение, защита, забота о яйцах и потомстве, и говорить, что у животного есть инстинктивный страх смерти или любовь к жизни, или что у нее есть инстинкт самосохранения, или инстинкт материнства и тому подобное. Но это представляет животное как подчиняющееся абстракциям, которые оно не могло сформулировать ни разу из миллиона случаев. Строго физиологический способ интерпретации фактов приводит к гораздо более четким результатам. *Все действия, которые мы называем инстинктивными, соответствуют общему рефлекторному типу;* они вызываются определенными сенсорными стимулами, находящимися в контакте с телом животного или на расстоянии в его окружении. Кошка бежит за мышью, бежит или показывает бой перед собакой, избегает падений со стен и деревьев, сторонится огня и воды и т. д., но не потому, что у нее есть какие-то представления о жизни или смерти, о себе или о сохранении. Он, вероятно, не достиг ни одного из этих понятий таким образом, чтобы определенно реагировать на него. Он действует в каждом случае отдельно и просто потому, что ничего не может с этим поделать; он так устроен, что когда в поле его зрения появляется бегущая мышь, он *должен* ее преследовать; когда появляется лающая и назойливая собака, он *должен* удалиться, если находится на расстоянии, и поцарапаться, если рядом; что он *должен* убрать ноги от воды и лицо от

пламени и т. д. Его нервная система в значительной степени представляет собой заранее организованный пучок таких реакций - они так же фатальны, как чихание, и так же точно соотносятся с их особыми возбудителями, как и с его собственными. Хотя натуралист может для удобства классифицировать эти реакции по общим признакам, он не должен забывать, что у животного они вызываются конкретным ощущением, восприятием или образом.

Поначалу эта точка зрения поражает нас огромным количеством специальных приспособлений, которыми, как предполагается, животные должны обладать в ожидании внешних вещей, среди которых им предстоит обитать. *Может ли* взаимная зависимость быть такой сложной и заходить так далеко? Неужели каждая вещь от рождения приспособлена к определенным другим вещам, причем исключительно к ним, как замки приспособлены к своим ключам? Несомненно, в это следует верить. Каждый уголок творения, вплоть до нашей кожи и внутренностей, имеет своих живых обитателей, с органами, подходящими для этого места, чтобы поглощать и переваривать пищу, которую оно хранит, и встречать опасности, которые оно таит; и тонкость адаптации, проявляющаяся в *строении*, не знает границ. Точно так же не знает границ тонкость адаптации в *поведении*, которую демонстрируют несколько обитателей.

Старые труды об инстинкте - неэффективная трата слов, потому что их авторы так и не пришли к этой определенной и простой точке зрения, а затушевывали все смутным удивлением по поводу ясновидящей и пророческой силы животных, превосходящей все, что есть в человеке, и благодеяния Бога, наделившего их таким даром. Но благодеяние Божье наделяет их, прежде всего, нервной системой; и, обратив наше внимание на , оно заставляет инстинкт сразу же показаться не более и не менее удивительным, чем все остальные факты жизни.

Каждый инстинкт - это импульс. Будем ли мы называть такие импульсы, как покраснение, чихание, кашель, улыбка, уклонение от ответа, или же соблюдение музыкального ритма, инстинктами или нет - это всего лишь вопрос терминологии. Процесс во всех случаях одинаков. Герр Г. Х. Шнайдер в своей восхитительно свежей и интересной работе *Der Thierische Wille* подразделяет импульсы (*Triebe*) на импульсы ощущений, импульсы восприятия и импульсы идей. Зажмуриться от холода - это импульс ощущения; повернуться и последовать за ним, если мы видим, что люди бегут в одну сторону, - это импульс восприятия; броситься в укрытие, если начинается ветер и дождь, - это импульс воображения. Одно сложное инстинктивное действие может включать в себя последовательное пробуждение импульсов всех трех классов. Так, голодный лев начинает *искать* добычу, пробуждая в себе воображение, соединенное с желанием; он начинает *преследовать* ее, когда на глаз, слух или ноздри ему приходит ощущение ее присутствия на определенном расстоянии; он *бросается* на нее, либо когда добыча настораживается и убегает, либо когда расстояние достаточно сокращается; он начинает *рвать* и *пожирать* ее, как только почувствует ее прикосновение своими когтями и клыками. Поиск, преследование, набрасывание и пожирание - это всего лишь различные виды мышечных сокращений, и ни один из них не вызывается стимулом, соответствующим другому.

Шнайдер говорит о хомяке, который хранит кукурузу в своей норе:

"Если мы проанализируем склонность к запасанию, то обнаружим, что она состоит из трех импульсов: Во-первых, импульс *подобрать* питательный объект, обусловленный восприятием; во-вторых, импульс *отнести его* в жилище, обусловленный представлением о нем; и, в-третьих, импульс *положить его* туда,

обусловленный представлением о месте. В природе хомяка заложено, что он никогда не должен видеть полный колос кукурузы, не испытывая желания сорвать его; в его природе заложено, что, как только его защечные мешки наполняются, он испытывает непреодолимое желание поспешить к дому; и, наконец, в его природе заложено, что вид кладовой должен пробуждать импульс к опорожнению щек" (с. 208).

У некоторых животных низшего порядка ощущение от выполнения одного импульсивного шага является настолько необходимой частью стимула для следующего, что животное не может вносить никаких изменений в порядок его выполнения.

Итак, почему же различные животные делают, как нам кажется, такие странные вещи в присутствии таких необычных стимулов? Почему, например, курица подвергает себя утомительной процедуре высиживания такого ужасно неинтересного набора предметов, как гнездо с яйцами, если она не имеет какого-то пророческого предчувствия результата? Единственный ответ - *ad hominem*. Мы можем интерпретировать инстинкты животных только на основании того, что знаем об инстинктах в нас самих. Почему люди всегда ложатся, когда могут, на мягкие кровати, а не на жесткий пол? Почему в холодный день они сидят у печки? Почему, находясь в комнате, они в девяносто девяти случаях из ста располагаются лицом к ее середине, а не к стене? Почему они предпочитают баранье седло и шампанское жесткой кобыле и воде из канавы? Почему дева интересует юношу настолько, что все, связанное с ней, кажется ему важнее и значительнее всего на свете? Ничего больше нельзя сказать, кроме того, что это человеческие пути, и что каждому существу *нравятся* свои пути, и оно принимает их как нечто само собой разумеющееся. Наука может прийти и рассмотреть эти пути, и обнаружить, что большинство них полезны. Но следуют им не ради их полезности, а потому, что в момент следования им мы чувствуем, что это единственно правильное и естественное решение. Ни один человек из миллиарда, принимая пищу, не думает о пользе. Он ест потому, что еда приятна на вкус и вызывает у него желание добавки. Если вы спросите его, *почему* он должен хотеть съесть больше того, что имеет такой вкус, то вместо того, чтобы почитать вас как философа, он, скорее всего, посмеется над вами как над дураком. Связь между вкусовыми ощущениями и действием, которое они пробуждают, для него абсолютна и *самодостаточна*, это "*априорный синтез*" самого совершенного рода, не нуждающийся ни в каких доказательствах, кроме своих собственных. Короче говоря, нужно быть тем, кого Беркли называет умом, развращенным обучением, чтобы довести процесс придания естественному странного вида до того, чтобы спрашивать о *причинах* любого инстинктивного человеческого действия. Только метафизику могут прийти в голову такие вопросы, как: Почему мы улыбаемся, когда нам приятно, а не хмуримся? Почему мы не можем разговаривать с толпой так же, как с одним другом? Почему та или иная девица так переворачивает наше сознание? Обычный человек может только сказать: "*Конечно*, мы улыбаемся, *конечно*, наше сердце бьется при виде толпы, *конечно*, мы любим эту деву, эту прекрасную душу, облаченную в эту совершенную форму, столь ощутимо и вопиюще созданную от вечности, чтобы быть любимой!"

И так же, вероятно, каждое животное относится к тем или иным действиям, которые оно склонно совершать в присутствии определенных объектов. Они тоже являются *априорными* синтезами. Для льва любимой является львица, для медведя - медведица. Для несушки, вероятно, покажется чудовищным, что на свете есть существо, для которого гнездо с яйцами не является совершенно очаровательным и драгоценным объектом, к которому она никогда не будет слишком пристально присматриваться.[\[362\]](#)

Таким образом, мы можем быть уверены, что, какими бы загадочными ни казались нам инстинкты некоторых животных, наши инстинкты покажутся им не менее загадочными. И мы можем сделать вывод, что для животного, которое ему подчиняется, каждый импульс и каждый шаг каждого инстинкта сияет своим собственным достаточным светом и кажется в данный момент единственно вечно правильным и нужным поступком. Он совершается исключительно ради самого себя. Какое сладострастное волнение не сотрясает муху, когда она наконец обнаруживает тот самый лист, или отброс, или кусочек навоза, который из всех на свете может побудить ее яйцеклад к разрядке? Разве выделение не кажется ей единственно правильным? И нужно ли ей заботиться или знать что-нибудь о будущей личинке и ее пище?

Поскольку *инстинкт откладывания яиц* - простой пример для рассмотрения, несколько цитат о нем из Шнайдера могут оказаться полезными:

"Явление, о котором так часто говорят, которое так разнообразно интерпретируют, которое так окружено мистификацией, что насекомое всегда должно откладывать яйца в месте, подходящем для питания своего потомства, не более чудесно, чем то, что каждое животное спаривается с партнером, способным дать потомство, или питается материалами, способными обеспечить ему пропитание..... Не только выбор места для кладки яиц, но и все различные действия по их откладыванию и защите обусловлены восприятием соответствующего объекта и отношением этого восприятия к различным стадиям материнского импульса. Когда жук-хоронщик видит труп, он не только побуждается подойти к нему и положить в него свои яйца, но и совершает движения, необходимые для его закапывания; точно так же, как птица, увидевшая свою наседку, побуждается ласкать ее, кружиться вокруг нее, танцевать перед ней или каким-либо другим способом ухаживать за ней; точно так же тигр, увидев антилопу, побуждается преследовать ее, набрасываться на нее и душить ее. Когда пчела-портниха вырезает кусочки розового листа, сгибает их, несет в гусеничную или мышиную нору на деревьях или в земле, снова закрывает швы другими кусочками и таким образом делает футляр в форме наперстка, когда она наполняет его медом и откладывает в него яйцо, Все эти разнообразные проявления ее воли можно объяснить, предположив, что в то время, когда в ней созревают яйца, появление подходящей гусеницы или мышинной норы и восприятие листьев розы настолько соотносятся в насекомом с несколькими импульсами, о которых идет речь, что представления следуют как само собой разумеющееся, когда эти восприятия имеют место....

"Восприятие пустого гнезда или одного яйца, по-видимому, находится у птиц в такой тесной связи с физиологическими функциями яйцекладки, что служит прямым стимулом для этих функций, в то время как восприятие достаточного количества яиц имеет прямо противоположный эффект. Хорошо известно, что куры и утки несут больше яиц, если мы постоянно их убираем, чем если оставляем в гнезде. Импульс сесть возникает, как правило, когда птица видит в своем гнезде определенное количество яиц. Если этого количества еще не видно, утки продолжают нестись, хотя, возможно, они снесли в два раза больше яиц, чем привыкли высидывать..... То, что сидение также не зависит от какой-либо идеи цели и является чистым восприятием-импульсом, очевидно, в частности, из того факта, что многие птицы, например, дикие утки, воруют яйца друг у друга..... Телесная предрасположенность к сидению, правда, является одним из условий [поскольку выводковые куры будут

сидеть там, где нет яиц], но восприятие яиц - это другое условие активности импульса насиживания. Склонность кукушки и птицы-коровки откладывать яйца в гнезда других видов также должна быть истолкована как чистое восприятие-импульс. У этих птиц нет телесной предрасположенности к высиживанию, и поэтому у них нет никакой связи между восприятием яйца и импульсом сесть на него. Яйца, однако, созревают в их яйцеводах, и организм стремится от них избавиться. А поскольку две названные птицы сбрасывают яйца не на землю, а в гнезда, которые являются единственными местами, где они могут сохранить вид, легко может показаться, что именно такое сохранение вида они и имели в виду, и что они действовали с полным сознанием этой цели. Но это не так..... Кукушка просто возбуждается от восприятия вполне определенных видов гнезд, которые уже содержат яйца, чтобы опустить в них свои собственные и выбросить другие, потому что это восприятие является прямым стимулом к этим действиям. Невозможно, чтобы она имела какое-либо представление о том, что другая птица может прийти и сесть на ее яйцо".[363]

ИНСТИНКТЫ НЕ ВСЕГДА СЛЕПЫ И НЕИЗМЕННЫ.

Помните, что пока ничего не сказано о происхождении инстинктов, а только о строении тех, которые существуют в полностью сформированном виде. Как обстоит дело с инстинктами человечества?

Нет ничего более распространенного, чем замечание, что человек отличается от низших существ почти полным отсутствием инстинктов и тем, что их работу в нем берет на себя "разум". Бесплодную дискуссию по этому поводу могли бы вести два теоретика, которые тщательно следили бы за тем, чтобы не определять свои термины. Разум" мог бы использоваться, как это часто делалось со времен Канта, не только как способность к "умозаключению", но и как название *тенденции подчиняться импульсам* определенного возвышенного рода, таким как долг или универсальные цели. И "инстинкт" мог бы иметь настолько широкое значение, что охватывал бы все импульсы, даже импульс к действию из представления об отдаленном факте, так же как и импульс к действию из настоящего ощущения. Если бы слово "инстинкт" использовалось в таком широком смысле, то, конечно, было бы невозможно ограничить его, как мы начали, действиями, совершаемыми без предвидения цели. Мы, конечно, должны избегать споров о словах, а факты в данном случае действительно достаточно очевидны. Человек обладает гораздо большим разнообразием *импульсов*, чем любое низшее животное; и любой из этих импульсов, взятый сам по себе, настолько "слеп", насколько может быть слеп самый низкий инстинкт; но, благодаря памяти человека, его способности к размышлению и умозаключению, они приходят каждый к тому, чтобы быть осознанными им, после того как он однажды поддался им и испытал их результаты, в связи с *предвидением* этих результатов. В этом случае можно сказать, что импульс действует, по крайней мере частично, ради его результатов. Очевидно, что *каждый инстинктивный акт у животного, обладающего памятью, должен перестать быть "слепым" после однократного повторения* и должен сопровождаться предвидением его "конца" в той мере, в какой этот конец может быть осознан животным. Насекомое, откладывающее яйца в месте, где оно никогда не увидит их вылупившимися, всегда делает это "вслепую"; но вряд ли можно предположить, что курица, уже высижившая выводок, будет сидеть в совершенной "слепоте" на своем втором гнезде. В каждом подобном случае должно возникать некое ожидание последствий; и это ожидание, в зависимости от того, желанно оно или неприятно, обязательно должно либо подкреплять, либо подавлять простой импульс. Мысль курицы о цыплятах, вероятно, побудит ее сесть; с другой стороны, воспоминание крысы о том, как она в прошлом спаслась из ловушки, нейтрализует ее порыв

взять приманку из всего, что напоминает ей об этой ловушке. Если мальчик видит толстую жабу-попрыгунью, у него, вероятно, непроизвольно возникает импульс (особенно в компании других мальчишек) разбить это существо камнем, и мы можем предположить, что он слепо подчинится этому импульсу. Но что-то в выражении сцепленных рук умирающей жабы говорит о подлости этого поступка или напоминает ему услышанные им высказывания о том, что страдания животных похожи на его собственные; так что, когда в следующий раз его искушает жаба, возникает мысль, которая, не подталкивая его снова к мучениям, побуждает к добрым действиям и даже может сделать его защитником жабы против менее рефлексивных мальчиков.

Таким образом, очевидно, что, *как бы хорошо животное ни было наделено инстинктами, его последующие действия будут значительно изменены, если инстинкты сочетаются с опытом*, если в дополнение к импульсам у него есть воспоминания, ассоциации, умозаключения и ожидания в сколько-нибудь значительных масштабах. Объект О, на который у него есть инстинктивный импульс отреагировать способом А, непосредственно спровоцирует его на эту реакцию. Но О тем временем стал для него *знаком* близости Р, на который он испытывает столь же сильный импульс отреагировать способом В, совершенно не похожим на А. Так что при встрече с О в его груди борются за господство непосредственный импульс А и отдаленный импульс В. Фатальность и единообразие, которые, как говорят, характерны для инстинктивных действий, будут проявляться так слабо, что может возникнуть искушение вообще отрицать наличие у него какого-либо инстинкта в отношении объекта О. Однако насколько ложным было бы такое суждение! Инстинкт в отношении О существует, только в результате усложнения ассоциативного аппарата он вступил в конфликт с другим инстинктом в отношении Р.

Здесь мы сразу же пожинаем хорошие плоды нашего простого физиологического представления о том, что такое инстинкт. Если это просто эксцито-моторный импульс, обусловленный существованием определенной "рефлекторной дуги" в нервных центрах существа, то, конечно, он должен следовать закону всех подобных рефлекторных дуг. Одна из обязанностей таких дуг заключается в том, что их активность "тормозится" другими процессами, происходящими в то же самое время. Нет разницы, организована ли дуга при рождении, созревает ли она спонтанно позже или является следствием приобретенной привычки, она должна рисковать вместе со всеми другими дугами и иногда преуспевать, а иногда терпеть неудачу, чтобы направить потоки через себя. Мистический взгляд на инстинкт делает его неизменным. Физиологический взгляд требует, чтобы он периодически проявлялся у любого животного, у которого количество отдельных инстинктов и возможность попадания одного и того же стимула в несколько из них велики. А такие нарушения - это то, что в изобилии демонстрируют инстинкты каждого высшего животного.[364]

Там, где разум достаточно возвышен, чтобы различать; там, где для разрядки рефлекторной дуги необходимо объединить несколько различных сенсорных элементов; там, где вместо того, чтобы мгновенно перейти к действию при первом грубом намеке на то, что *за* вещь здесь находится, агент ждет, чтобы увидеть, кто из его рода это и каковы *обстоятельства* его появления; там, где различные индивиды и различные обстоятельства могут побуждать его по-разному; там, где есть эти условия, мы имеем маскировку элементарной конституции инстинктивной жизни. Вся история наших взаимоотношений с низшими дикими животными - это история того, как мы воспользовались тем, что они обо всем судят по одному лишь ярлыку, чтобы заманить их в ловушку или убить. Природа оставила их в таком грубом виде и заставила *всегда* действовать так, как было бы правильнее всего. Червей, не прикрепленных

к крючкам, больше, чем насаженных на них; поэтому в целом, говорит природа своим рыбьим детям, клуйте на *каждого* червяка и рискуйте. Но по мере того как ее дети становятся все выше, а их жизни все ценнее, она снижает риск. Поскольку то, что кажется одним и тем же объектом, может быть то настоящей пищей, то приманкой; поскольку в стадных видах каждая особь может оказаться либо другом, либо соперником, в зависимости от обстоятельств, другой; поскольку любой совершенно неизвестный объект может быть чреват благом или горем, *природа внушает противоположные импульсы для действия на многие классы вещей*, и оставляет на усмотрение незначительные изменения в условиях конкретного случая, чтобы решить, какой импульс должен взять верх. Так, жадность и подозрительность, любопытство и робость, робость и желание, стыдливость и тщеславие, общительность и драчливость, кажется, так же быстро переходят друг в друга и остаются в таком же неустойчивом равновесии у высших птиц и млекопитающих, как и у человека. Все они - импульсы, врожденные, слепые поначалу и порождающие двигательные реакции строго определенного рода. *Каждый из них, таким образом, является инстинктом*, как обычно определяют инстинкты. *Но они противоречат друг другу* - "опыт" в каждой конкретной возможности применения обычно решает вопрос. Животное, которое их проявляет, теряет "инстинктивную" поведку и, кажется, ведет жизнь, полную колебаний и выбора, интеллектуальную жизнь; но не потому, что у него нет инстинктов, а скорее потому, что их так много, что они преграждают друг другу путь.

Таким образом, не заморачиваясь словами "инстинкт" и "разум", мы можем с уверенностью сказать, что какими бы неопределенными ни казались иногда реакции человека на окружающую среду по сравнению с реакциями низших существ, эта неопределенность, скорее всего, не связана с наличием у них каких-либо принципов действия, которых нет у него. *Напротив, человек обладает всеми импульсами, которые есть у них, и еще множеством других*. Другими словами, между инстинктом и разумом нет материального антагонизма. Разум, *как таковой*, не может подавить никаких импульсов; единственное, что может нейтрализовать импульс, - это импульс в другую сторону. Разум, однако, может сделать *умозаключение, которое возбудит воображение, чтобы запустить импульс* в другую сторону; и таким образом, хотя животное, наиболее богатое разумом, может быть также животным, наиболее богатым инстинктивными импульсами, оно никогда не будет казаться фатальным автоматом, которым было бы животное, обладающее *только* инстинктами.

Теперь давайте рассмотрим человеческие импульсы немного подробнее. Все, что мы выяснили до сих пор, - это то, что импульсы изначально инстинктивного характера могут существовать и при этом не выдавать себя автоматической фатальностью поведения. Но какие импульсы существуют в человеке? В свете сказанного очевидно, что существующий импульс не всегда может быть поверхностно очевиден, даже если его объект существует. И мы увидим, что некоторые импульсы могут быть замаскированы причинами, о которых мы еще не говорили.

ДВА ПРИНЦИПА НЕРАВНОМЕРНОСТИ ИНСТИНКТОВ.

Если бы мы разрабатывали абстрактную схему, то не было бы ничего проще, чем выяснить по действиям животного, сколькими инстинктами оно обладает. На каждый класс объектов, с которыми ему приходится иметь дело в жизни, он реагировал бы только одним способом; на каждый экземпляр класса он реагировал бы одинаково; и он реагировал бы неизменно в течение всей своей жизни. Среди его инстинктов не было бы пробелов; все они проявлялись

бы без извращений и маскировки. Но таких абстрактных животных не существует, и нигде инстинктивная жизнь не проявляется таким образом. Как мы видели, объекты одного и того же класса могут вызывать реакции противоположного рода в результате незначительных изменений обстоятельств, отдельных объектов или внутреннего состояния агента; но два других принципа, о которых мы еще не говорили, могут вступать в игру и давать настолько поразительные результаты, что такие выдающиеся наблюдатели, как господа Д. А. Сполдинг и Романс, без колебаний называют их "нарушениями психической конституции" и делают вывод, что инстинктивный механизм вышел из строя.

Эти принципы таковы

1. *Торможение инстинктов привычками; и*

2. *Преходящность инстинктов.*

Взятые в сочетании с двумя предыдущими принципами - что один и тот же объект может возбуждать неоднозначные импульсы или *вызывать* импульс, отличный от того, который он *возбуждает*, предлагая отдаленный объект, - они объясняют любое отклонение от единообразия поведения, не подразумевая никакого выхода из-под контроля элементарных импульсов, из которых это поведение вытекает.

1. Закон торможения инстинктов привычками заключается в следующем: *Когда объекты определенного класса вызывают у животного определенную реакцию, часто случается, что животное становится пристрастным к первому образцу этого класса, на который оно отреагировало, и в дальнейшем не реагирует ни на какие другие образцы.*

Выбор конкретной норы для жизни, конкретного товарища, конкретного места для кормления, конкретного рациона, конкретной вещи, короче говоря, из возможного множества - это очень распространенная тенденция среди животных, даже тех, кто находится на низшей ступени развития. Лимпет возвращается к одному и тому же месту в скале, а омар - к своему излюбленному уголку на морском дне. Кролик складывает свой помет в одном и том же углу, птица устраивает гнездо на одной и той же ветке. Но каждое из этих предпочтений несет в себе невосприимчивость к *другим* возможностям и случаям - невосприимчивость, которую можно описать только физиологически, как торможение новых импульсов привычкой к уже сформировавшимся старым. Обладание собственными домами и женами делает нас странно невосприимчивыми к очарованию чужих домов. Немногие из нас не склонны к авантюрам в вопросах еды; на самом деле большинство из нас считает, что есть что-то отвратительное в блюдах, к которым мы не привыкли. Незнакомые люди, как мы склонны думать, не могут быть достойны знакомства, особенно если они приезжают из далеких городов и т. д. Первоначальный импульс, благодаря которому мы обзавелись домами, женами, диетами и друзьями, кажется, исчерпывает себя в своих первых достижениях и не оставляет избытка энергии для реакции на новые случаи. Вот и получается, что, наблюдая это оцепенение, наблюдатель за человечеством может сказать, что никакой *инстинктивной* склонности к определенным объектам вообще не существовало. Она существовала, но существовала *рассеянно*, или как инстинкт в чистом виде, только до формирования привычки. Привычка, привитая к инстинктивной склонности, ограничивает диапазон самой склонности и не позволяет нам реагировать ни на что, кроме привычного объекта, хотя с таким же успехом можно было бы выбрать и другие объекты, если бы они были первыми.

Другой вид остановки инстинкта привычкой - когда один и тот же класс объектов пробуждает противоположные инстинктивные импульсы. В этом случае импульс, впервые возникший по отношению к данному представителю класса, способен удержать его от того, чтобы когда-либо пробудить в нас противоположный импульс. Фактически, весь класс может быть защищен этим отдельным экземпляром от применения к нему другого импульса. Животные, например, пробуждают в ребенке противоположные импульсы - страх и ласку. Но если ребенок при первых попытках погладить собаку огрызается или кусается, так что у него сильно пробуждается импульс страха, то может случиться так, что в течение многих лет ни одна собака не возбудит в нем импульса к ласкам. С другой стороны, самые большие природные враги, если их осторожно знакомить друг с другом в молодости и с самого начала направлять высшим авторитетом, превращаются в те "счастливые семьи" друзей, которые мы видим в наших зверинцах. Молодые животные сразу после рождения не имеют инстинкта страха, но демонстрируют свою зависимость, позволяя свободно обращаться с собой. Однако позже они становятся "дикими" и, если их предоставить самим себе, не позволят человеку приблизиться к ним. Фермеры, живущие в дикой местности Адирондак, рассказывают мне, что это очень серьезное дело, если корова забредает в лес и телится, и ее не могут найти в течение недели или более. К этому времени теленок становится таким же диким и почти таким же резвым, как олень, и его трудно поймать без применения насилия. Но телята редко проявляют особую дикость по отношению к людям, которые общались с ними в первые дни жизни, когда инстинкт привязанности стоит на первом месте, и не боятся чужаков, как это было бы, если бы они воспитывались в дикой природе.

Цыплята служат любопытной иллюстрацией того же закона. Замечательная статья мистера Сполдинга об инстинктах снабдит нас фактами. Эти маленькие существа проявляют противоположные инстинкты привязанности и страха, причем любой из них может быть вызван одним и тем же объектом - человеком. Если птенец рождается в отсутствие курицы, он

будет следовать за любым движущимся объектом". И, руководствуясь только зрением, они, кажется, не более склонны следовать за курицей, чем за уткой или человеком. Невнимательные зрители, видя, как цыплята в возрасте одного дня бегут за мной, - говорит мистер Сполдинг, - а более взрослые следуют за мной на протяжении многих миль и откликаются на мой свисток, думали, что я обладаю какой-то оккультной властью над этими существами, тогда как я просто позволил им следовать за мной с самого начала. Есть инстинкт следования, и слух, еще до опыта, прикрепляет их к нужному объекту".[365]

Но если человек впервые предстает перед нами, когда инстинкт *страха* очень силен, явления полностью меняются на противоположные. Мистер Сполдинг держал трех цыплят в капюшонах, пока им не исполнилось почти четыре дня, и так описывает их поведение:

"Каждый из них, когда его снимали с головы, вызывал у меня сильнейший ужас, бросаясь в противоположном направлении всякий раз, когда я пытался к нему приблизиться. Стол, на котором их развязывали, стоял перед окном, и каждый в свою очередь бился об окно, как дикая птица. Один из них нырнул за какие-то книги и, забившись в угол, долгое время оставался там. Мы можем гадать о значении этой странной и необычной дикости, но для моей цели достаточно самого факта. Что бы ни означало это заметное изменение в их психике - если бы они были раздеты в предыдущий день, то побежали бы ко мне, а не от меня, - оно не могло быть следствием опыта; оно должно было быть результатом изменений в их собственной организации".[366]

Их случай был в точности аналогичен случаю с адирондакскими телятами. Два противоположных инстинкта по отношению к одному и тому же объекту созревают последовательно. Если первый из них порождает привычку, то эта привычка будет препятствовать применению второго инстинкта к этому объекту. Все животные приручаются на самой ранней стадии своего младенчества. Сформированные тогда привычки ограничивают действие любых инстинктов дикости, которые могут развиваться позже.

Мистер Романс приводит несколько очень любопытных примеров того, как инстинктивные наклонности могут изменяться под влиянием привычек, к которым привели их первые "объекты". Эти случаи немного сложнее, чем те, что упомянуты в тексте, поскольку объект, на который реагируют, не только создает привычку, которая подавляет другие виды импульсов к нему (хотя такие другие виды могут быть естественными), но даже изменяет своим особым поведением конституцию импульса, который он пробуждает.

Два примера, о которых идет речь, относятся к курам, которые выводили выводки птенцов после того, как (в течение трех предыдущих лет) выводили утят. Они пытались уговорить или заставить своих новых отпрысков войти в воду и, казалось, были очень озадачены их нежеланием. Другая курица приняла выводок молодых хорьков, которые, потеряв мать, попали к ней. Все время, пока они оставались с ней, ей приходилось сидеть на гнезде, поскольку они не могли бродить, как птенцы. Она слушалась их хриплого рычания, как слушалась бы писка своих цыплят. Она вычесывала их шерсть своим клювом и "часто останавливалась и смотрела одним глазом на извивающегося птенца с пытливым взглядом, выражающим удивление". В другое время она взлетала с громким криком, несомненно, потому, что сироты ущипнули ее в поисках сосков. Наконец, курица Брахма выхаживала молодого павлина в течение огромного периода в *восемнадцать месяцев* и за все это время не снесла ни одного яйца. Ненормальная степень гордости, которую она проявила по отношению к своему замечательному цыпленку, описана доктором Романесом как смехотворная.[\[367\]](#)

2. Это приводит нас к *закону транзиторности*, который заключается в следующем: *Многие инстинкты созревают в определенном возрасте, а затем угасают*. Следствием этого закона является то, что если во время жизни инстинкта встречаются объекты, способные его пробудить, то формируется *привычка* действовать на них, которая остается и после исчезновения первоначального инстинкта; если же такие объекты не встречаются, то привычка не формируется, и позднее в жизни, когда животное встречает объекты, оно совершенно не реагирует на них, как в более раннюю эпоху оно бы инстинктивно поступило.

Несомненно, действие такого закона ограничено. Некоторые инстинкты гораздо менее преходящи, чем другие - те, что связаны с питанием и "самосохранением", вообще не могут быть преходящими, а некоторые, угасая на какое-то время, возобновляются с прежней силой, например инстинкты спаривания и воспитания потомства. Однако этот закон, хотя и не абсолютный, несомненно, очень широко распространен, и несколько примеров проиллюстрируют, что он означает.

У упомянутых выше цыплят и телят очевидно, что инстинкт следования и привязанности угасает через несколько дней, а на его место приходит инстинкт бегства, и поведение существа по отношению к человеку определяется формированием или несформированием определенной привычки в течение этих дней. О быстротечности инстинкта следования у

курицы свидетельствует и ее поведение по отношению к курице. Мистер Сполдинг держал некоторых цыплят взаперти, пока они не стали сравнительно взрослыми, и, говоря о них, он сказал:

Цыпленок, не слышавший зова матери до восьми-десяти дней, потом слышит его так, как будто не слышал". Я с сожалением обнаружил, что в этом вопросе мои записи не столь полны, как хотелось бы или как могло бы быть. Однако есть рассказ об одном цыпленке, которого не могли вернуть матери, когда ему было десять дней от роду. Курица следовала за ним и всячески пыталась его заманить, но он все равно постоянно покидал ее и бежал в дом или к любому человеку, которого видел. Он упорно продолжал это делать, хотя его десятки раз отбивали маленькой веткой и вообще жестоко с ним обращались. На ночь его также подкладывали под мать, но утром он снова покидал ее".

Инстинкт сосания созревает у всех млекопитающих с рождения и приводит к привычке брать грудь, которая у человеческого младенца может быть продлена ежедневными упражнениями намного дольше своего обычного срока в год или полтора года. Но сам инстинкт преходящ, в том смысле, что если по какой-то причине ребенка в первые дни жизни кормят с ложечки и не прикладывают к груди, то после этого заставить его сосать вообще может оказаться нелегким делом. Так же и с телятами. Если их мать умрет, или засохнет, или откажется сосать в течение дня или двух, так что их будут кормить с руки, становится трудно заставить их сосать вообще, когда появляется новая кормилица. Легкость, с которой сосущие существа отучаются от сосания, если просто отказаться от этой привычки и давать им пищу по-новому, показывает, что инстинкт, как таковой, должен быть полностью вымершим.

Безусловно, тот простой факт, что инстинкты преходящи и что действие более поздних инстинктов может быть изменено привычками, которые оставили после себя более ранние инстинкты, имеет гораздо более философское объяснение, чем представление об инстинктивной конституции, смутно "нарушенной" или "выведенной из строя".

Я наблюдал, как скотч-терьер, родившийся на полу конюшни в декабре и перенесенный через шесть недель в дом с ковровым покрытием, в возрасте менее четырех месяцев очень искусно притворялся, что закапывает вещи, такие как перчатки и т. д., с которыми он играл, пока не устал. Он царапал ковер передними лапами, ронял предмет изо рта на место, затем царапал все вокруг (и передними, и задними лапами, если я правильно помню), и наконец уходил и оставлял его лежать. Конечно, это было совершенно бесполезное действие. Я видел, как он проделывал его в этом возрасте раза четыре или пять, и больше никогда в жизни. Не было условий, чтобы закрепить привычку, которая должна сохраниться и после того, как угаснет побуждающий инстинкт. Но предположим, что вместо перчатки - мясо, вместо ковра - земля, вместо свежего ужина через несколько часов - голодные клыки, и легко понять, как у этой собаки могла выработаться привычка закапывать лишнюю пищу, которая могла бы сохраниться на всю жизнь. Кто может поклясться, что строго поучительная часть склонности к закапыванию пищи у диких *Canidae* не может быть такой же недолговечной, как у этого терьера?

Похожий пример приводит доктор Х. Д. Шмидт^[368] из Нового Орлеана:

"Я могу привести пример молодой белки, которую я приручил несколько лет назад, когда служил в армии и когда у меня было достаточно свободного времени и возможности изучать повадки животных. Осенью, перед наступлением зимы,

взрослые белки закапывают в землю столько орехов, сколько могут собрать по отдельности. Крепко зажав орех между зубами, они сначала процарапывают в земле ямку и, направив уши во все стороны, чтобы убедиться, что поблизости нет врага, вбивают орех в землю головой, с орехом между передними зубами, служащей кувалдой, а затем засыпают ямку лапами. Весь этот процесс происходит с большой скоростью и, как мне показалось, всегда одними и теми же движениями; на самом деле все делается настолько хорошо, что я так и не смог обнаружить следов захоронения. Что касается молодой белки, которая, конечно, никогда не присутствовала при закапывании ореха, то я заметил, что, съев несколько орехов гикори, чтобы утолить аппетит, она брала один из них между зубами, затем садилась прямо и прислушивалась во всех направлениях. Найдя, что все в порядке, он царапал гладкое одеяло, на котором я играл с ним, как будто хотел сделать отверстие, затем молотил орехом между зубами по одеялу и, наконец, совершал все движения, необходимые для того, чтобы заделать отверстие в *воздухе*; после этого он упрыгивал, оставляя орех, разумеется, непокрытым".

Этот анекдот, конечно, прекрасно иллюстрирует тесную связь инстинкта с рефлекторным действием - определенное восприятие вызывает определенные движения, и только. Доктор Шмидт пишет мне, что белка, о которой идет речь, вскоре исчезла из поля его зрения. Можно с уверенностью предположить, что если бы его долго держали в клетке, он бы вскоре забыл свои жестикюляции над орехами гикори.

Можно, правда, с уверенностью сказать, что если бы такую пленную белку выпустили на свободу, она никогда бы не приобрела этот особый инстинкт своего племени.[\[369\]](#)

Если оставить в стороне низших животных и обратиться к человеческим инстинктам, то мы увидим, что закон быстротечности подтверждается в широчайшем масштабе чередованием различных интересов и страстей по мере того, как продолжается жизнь человека. С ребенком жизнь - это игры, сказки и изучение внешних свойств "вещей"; с юношей - телесные упражнения более систематического характера, романы о реальном мире, общение и песни, дружба и любовь, природа, путешествия и приключения, наука и философия; с мужчиной - честолюбие и политика, приобретательство, ответственность перед другими и эгоистичный азарт борьбы за жизнь. Если мальчик растет один в возрасте игр и спорта и не учится ни играть в мяч, ни грести, ни ходить под парусом, ни ездить верхом, ни кататься на коньках, ни ловить рыбу, ни стрелять, вероятно, он будет малоподвижным до конца своих дней; и, хотя впоследствии ему будут предоставлены самые лучшие возможности для обучения этим вещам, сто к одному, что он пройдет мимо них и откажется от усилий сделать те необходимые первые шаги, перспектива которых в более раннем возрасте наполнила бы его восторгом. Сексуальная страсть угасает после длительного царствования; но хорошо известно, что ее особые проявления у конкретного человека почти полностью зависят от привычек, которые он может сформировать в ранний период своей активности. Подверженность дурным компаниям превращает его в рыхлую печень на все дни жизни; целомудрие, сохраненное вначале, делает то же самое легким впоследствии. Во всей педагогике главное - бить по железу, пока горячо, и улавливать волну интереса ученика к каждому последующему предмету до того, как наступит его спад, чтобы можно было получить знания и приобрести привычку к мастерству - одним словом, закрепить интерес, на котором впоследствии человек сможет плыть по течению. Наступает счастливый момент для закрепления навыков рисования, для того, чтобы сделать из мальчиков коллекционеров в естественной истории, а впоследствии - диссекторов и ботаников; затем для того, чтобы

посвятить их в гармонию механики и чуда физических и химических законов. Затем наступает черед интроспективной психологии, метафизических и религиозных тайн; и, наконец, драмы человеческих отношений и житейской мудрости в самом широком смысле этого слова. Каждый из нас вскоре достигает точки насыщения во всех этих вещах; импульс нашего чисто интеллектуального рвения иссякает, и, если только тема не связана с какой-то насущной личной потребностью, которая заставляет наш ум постоянно напрягаться по этому поводу, мы устанавливаем равновесие и живем на том, что узнали, когда наш интерес был свежим и инстинктивным, не пополняя запас. За пределами собственного бизнеса идеи, приобретенные мужчинами до двадцати пяти лет, практически единственные, которые они будут иметь в своей жизни. Они *не могут почерпнуть* ничего нового. Бескорыстное любопытство ушло в прошлое, ментальные канавки и каналы проложены, способность к усвоению исчезла. Если по воле случая мы все же узнаем что-то о какой-то совершенно новой теме, нас охватывает странное чувство неуверенности, и мы боимся высказать свое решительное мнение. Но с вещами, полученными в пластиковые дни инстинктивного любопытства, мы никогда не теряем полностью ощущение дома. Остается родство, чувство близкого знакомства, которое, даже когда мы знаем, что не успеваем за предметом, льстит нам ощущением власти над ним и заставляет чувствовать себя не совсем уж не в своей тарелке.

Какие бы отдельные исключения ни приводились, они относятся к тому типу, который "подтверждает правило".

Выявить момент инстинктивной готовности к предмету - вот первая обязанность каждого педагога. Что касается учеников, то, вероятно, студенты колледжа проявляли бы более серьезный нрав, если бы меньше верили в свои неограниченные будущие интеллектуальные возможности и осознавали, что какие бы физику, политэкономия и философию они ни осваивали сейчас, к лучшему или худшему, это физика, политэкономия и философия, которые должны будут служить им до конца.

Естественный вывод, который можно сделать из этой быстротечности инстинктов, состоит в том, что *большинство инстинктов внедряются для того, чтобы породить привычки, и что, когда эта цель достигнута, сами инстинкты как таковые не имеют смысла существования в психической экономике и, следовательно, исчезают*. То, что иногда инстинкт угасает раньше, чем обстоятельства позволяют сформировать привычку, или то, что, если привычка сформирована, другие факторы, кроме чистого инстинкта, изменяют ее ход, не должно нас удивлять. Жизнь полна несовершенных приспособлений к отдельным случаям, к тем механизмам, которые, если рассматривать вид в целом, являются вполне упорядоченными и регулярными. Нельзя ожидать, что инстинкт избежит этого общего риска.

ОСОБЫЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ИНСТИНКТЫ.

Теперь давайте проверим наши принципы, обратившись к человеческим инстинктам более подробно. На этих страницах мы не можем претендовать на то, чтобы быть подробными или исчерпывающими. Но мы можем сказать достаточно, чтобы представить все вышеизложенные общие положения в более выгодном свете. Но, во-первых, какие двигательные реакции на объекты мы будем считать инстинктами? Это, как уже говорилось выше, вопрос несколько произвольный. Некоторые действия, вызываемые в нас объектами, не идут дальше нашего собственного тела. Таково, например, возбуждение внимания при восприятии нового объекта, "выражение" лица или дыхательного аппарата при эмоциях, которые он может вызывать. Эти движения сливаются в обычные рефлекторные действия,

такие как смех при щекотке или гримаса при плохом вкусе. Другие действия влияют на внешний мир. Например, бегство от дикого зверя, подражание действиям товарища и т. д. В целом лучше быть католиком, поскольку очень трудно провести точную границу, и называть оба вида активности инстинктивными, насколько они могут быть *естественно* спровоцированы присутствием определенных видов внешнего факта.

Профессор Прейер в своей тщательной работе "Die Seele des Kindes" говорит, что "инстинктивные действия у человека немногочисленны, и, кроме тех, что связаны с сексуальной страстью, их трудно распознать после окончания ранней юности". И он добавляет, что "тем больше внимания мы должны уделять инстинктивным движениям новорожденных, грудных и маленьких детей". То, что инстинктивные действия должны легче всего *распознаваться* в детстве, было бы вполне естественным следствием наших принципов транзиторности и ограничительного влияния однажды приобретенных привычек; но мы увидим, насколько они далеки от того, чтобы быть "немногочисленными" у человека. Профессор Прейер делит движения младенцев на *импульсивные, рефлекторные* и инстинктивные. Под импульсивными движениями он понимает *беспорядочные* движения конечностей, тела и голоса без цели и до того, как пробуждается восприятие. Среди первых рефлекторных движений - плач при соприкосновении с воздухом, *чихание, сопение, храп, кашель, вздох, всхлипывание, рвотные позывы, рвота, икота, начало движения, движение конечностей при щекотке, прикосновении или дуновении на них* и т. д. и т. п.

О движениях, названных им инстинктивными у ребенка, профессор Прейер дает полный отчет. Герр Шнайдер делает то же самое; и поскольку их описания согласуются друг с другом и с тем, что говорят другие авторы о младенчестве, я буду основывать свое очень краткое изложение на них.

Сосание: почти идеальное при рождении; не сопровождается какой-либо врожденной тенденцией к *поиску* груди, это более позднее приобретение. Как мы уже видели, сосание - это преходящий инстинкт.

Кусание предмета, помещенного в рот, *жевание* и *скрежет зубов*; *лизание* сахара; характерные *grimасы* на горький и сладкий вкус; *выплевывание*.

Зажимание предмета, который касается пальцев рук или ног. Позже - попытки *схватиться* за предмет, видимый на расстоянии. *Указывая* на такие предметы, издает своеобразный *звук, выражающий желание*, который у моих собственных троих детей был первым проявлением речи, возникшим за много недель до появления других значимых звуков.

Поднесение ко рту предмета, когда его хватают. Этот инстинкт, направляемый и подавляемый чувством вкуса и сочетающийся с инстинктами кусания, жевания, сосания, выплевывания и т. д., а также с рефлекторным актом глотания, приводит индивида к набору привычек, которые составляют его *функцию алиментации* и которые могут постепенно изменяться или не изменяться в течение жизни.

Плач при телесном дискомфорте, голоде или боли, а также при одиночестве. *Улыбается*, когда на него обращают внимание, ласкают или улыбаются другие. Кажется весьма сомнительным, что маленькие дети испытывают инстинктивный страх перед страшным или хмурым лицом. Мне не удавалось заставить своих собственных детей в возрасте до года изменить выражение лица, когда я менял свое; в лучшем случае они проявляли внимание или любопытство. Прейер приводит в пример *выпячивание губ*, которое, по его словам,

может быть настолько большим, что напоминает таковое у шимпанзе, как инстинктивное выражение сосредоточенного внимания у человеческого младенца.

Поворот головы в сторону как жест отказа, жест, обычно сопровождающийся хмурым взглядом, отклонением тела назад и задержкой дыхания.

Держать голову прямо.

Сидя.

Стояние.

Локомоция. Первые движения детских конечностей более или менее симметричны. Позже малыш будет попеременно двигать ногами, если его подвесить в воздухе. Но пока импульс к ходьбе не пробудится в результате естественного созревания нервных центров, кажется, нет никакой разницы, как часто стопы ребенка могут соприкасаться с землей; ноги остаются хромыми и не отвечают на ощущение контакта в подошвах мышечными сокращениями, *давящими вниз*. Однако не успевает родиться импульс к стоянию, как ребенок напрягает ноги и давит вниз, как только почувствует пол. У некоторых младенцев это первая двигательная реакция. У других ей предшествует инстинкт *ползания*, который возникает, как я могу свидетельствовать, часто очень неожиданно. Еще вчера малыш вполне удовлетворенно сидел, куда бы его ни посадили, а сегодня его уже невозможно удержать в сидячем положении, настолько непреодолим импульс, возникающий при виде пола, - броситься вперед на руки. Обычно руки оказываются слишком слабыми, и амбициозный маленький экспериментатор падает на нос. Но его упорство бесстрашно, и через несколько дней он учится быстро передвигаться по комнате на четвероногих. Положение ног при "ползании" у разных детей сильно различается. Мой собственный ребенок, когда ползал, часто наблюдал, как он подбирал предметы с пола ртом - явление, которое, как заметил доктор О. У. Холмс, как и ранняя тенденция хватать пальцами ног, легко поддается интерпретации как воспоминание о привычках предков дочеловеческой эпохи.

Инстинкт ходьбы может пробудиться не менее внезапно, и все его обучение будет завершено в течение недели, за исключением, конечно, небольшой "шаткости" в походке.

Индивидуальные младенцы сильно отличаются друг от друга, но в целом можно с уверенностью сказать, что способ развития этих двигательных инстинктов не согласуется с мнением старой английской школы ассоцианизма о том, что они являются результатом воспитания индивида, обусловленным постепенной ассоциацией определенных восприятий с определенными бессистемными движениями и вытекающими из них удовольствиями.

Мистер Бейн попытался, [\[370\]](#) описывая поведение новорожденных ягнят, показать, что локомоция *осваивается* очень быстро. Но зафиксированные наблюдения доказывают, что эта способность почти совершенна с самого начала; и все другие, кто наблюдал за новорожденными телятами, ягнятами и свиньями, согласны с тем, что у этих животных способности стоять и ходить, а также интерпретировать топографическое значение достопримечательностей и звуков, почти полностью развиты при рождении. Часто у животных, которые, кажется, "учатся" ходить или летать, это подобие иллюзорно.

Проявляющаяся неловкость связана не с тем, что еще не накоплен "опыт", позволяющий ассоциировать удачные движения и исключить неудачные, а с тем, что животное начинает свои попытки до того, как координационные центры созрели для работы. Наблюдения мистера Сполдинга по этому поводу убедительны в отношении птиц.

"Птицы, - говорит он, - не *учатся* летать. Два года назад я посадил пять неоперившихся ласточек в маленькую коробку, не намного большую, чем гнездо, из которого они были взяты. Маленькая коробочка с проволочным фасадом была повешена на стену рядом с гнездом, и молодых ласточек родители кормили через проволоку. В таком заключении, где они не могли даже расправить крылья, их держали до тех пор, пока они полностью не оперились..... Когда заключенных выпустили на свободу, одного из них нашли мертвым..... Оставшимся четверем было позволено сбежать по одному. Двое из них заметно колебались и были неустойчивы в своем полете. Один из них, пролетев около девяноста ярдов, исчез среди деревьев". № 3 и № 4 "никогда ни на что не налетали, и в их избегании объектов не было заметной разницы между ними и старыми птицами". № 3 пронесся вокруг веллингтонии, а № 4 поднялся над живой изгородью, точно так же, как мы видим старых ласточек в любое время дня". Эти наблюдения я проверил этим летом. Из двух ласточек, которых я держал в такой же клетке, одна, будучи выпущена на свободу, пролетела ярд или два близко к земле, поднялась в направлении букового дерева, которое она грациозно обошла; ее видели в течение значительного времени, проносящейся вокруг буков и совершающей великолепные эволюции в воздухе высоко над ними. Другой, который, как было замечено, бил крыльями по воздуху сильнее обычного, вскоре скрылся из виду за несколькими деревьями. За синицами, томиатами и крапивниками я проводил аналогичные наблюдения и получал схожие результаты".[371]

В свете этого сообщения можно сделать предсказание относительно человеческого ребенка и сказать, что если не давать малышу вставать на ноги в течение двух или трех недель после того, как в нем проявился первый импульс к ходьбе, - для этого достаточно небольшого волдыря на каждой подошве, - то можно ожидать, что он будет ходить так же хорошо, благодаря простому созреванию нервных центров, как если бы обычный процесс "обучения" происходил в течение всего этого времени, отмеченного волдырем. Остается надеяться, что какой-нибудь ученый вдовец, оставшись в критический момент наедине со своим отпрыском, вскоре проверит это предположение на живом человеке. *Лазанье* по деревьям, заборам, мебели, перилам и т. д. - хорошо заметная инстинктивная склонность, которая созревает после четвертого года.

Вокализация. Она может быть как музыкальной, так и знаковой. Через несколько недель после рождения ребенок начинает выражать свое настроение, издавая гласные звуки, как во время вдоха, так и во время выдоха, и может лежать на спине, воркуя и гукая про себя почти целый час. Но это пение не имеет ничего общего с речью. Речь - *это* звук. В течение второго года постепенно приобретает определенное количество значимых звуков; но речь не возникает до тех пор, пока в нервной системе не созреет инстинкт *подражания звукам*, а у некоторых детей это созревание происходит довольно резко. Затем речь быстро растет в объеме и совершенствуется. Ребенок подражает каждому слову, которое он слышит, и повторяет его снова и снова с явным удовольствием от своей новой силы. В это время с ним совершенно невозможно разговаривать, так как его состояние - это "эхолалия": вместо того чтобы ответить на вопрос, он просто повторяет его. В результате, однако, его словарный запас очень быстро увеличивается, и постепенно, с помощью обучения свыше, юный болтун понимает, складывает слова, чтобы выразить свои желания и представления, и даже дает разумные ответы. Из бессловесного он превратился в говорящее животное. Интересным моментом в отношении этого инстинкта является часто очень внезапное рождение импульса к подражанию звукам. До момента его пробуждения ребенок может быть лишен его, как собака. Через четыре дня вся его энергия может быть направлена в это новое русло.

Привычки артикуляции, сформировавшиеся в пластичном детском возрасте, у большинства людей достаточны для того, чтобы препятствовать формированию новых, принципиально иных - свидетельство тому неизбежный "иностранный акцент", отличающий речь тех, кто изучает язык после ранней юности.

Подражание. Первые слова ребенка - это частично вокабулы его собственного изобретения, которые перенимают его родители и которые, насколько это возможно, формируют новый человеческий язык на земле; а частично - это его более или менее успешное подражание словам, которые он слышит от родителей. Но инстинкт *подражания жестам* развивается раньше, чем инстинкт подражания звукам, - разве что сочувственный плач младенца, когда он слышит другой плач, можно считать подражанием звуку. Профессор Прейер рассказывает, что на пятнадцатой неделе его ребенок подражал выпячиванию губ отца. Различные достижения младенчества, такие как "похлопывание пирожков", "пока-пока", "задувание свечи" и т. д., обычно не выходят за рамки первого года жизни. Позже появляются всевозможные подражательные игры, в которых веселится детство, игра в "лошадку", "солдатики" и т. д. и т. п. И с этого времени человек, по сути, *является* подражательным животным. Вся его образованность и, собственно, вся история цивилизации зависят от этой черты, которую усиливают его сильные склонности к соперничеству, ревности и приобретательству. *Humani nihil a me alienum puto*, - таков девиз каждого представителя вида; он заставляет его, когда другой индивид демонстрирует силу или превосходство любого рода, быть беспокойным до тех пор, пока он сам не сможет продемонстрировать это. Но помимо этого вида подражания, психологические корни которого весьма сложны, существует и более непосредственная склонность говорить, ходить и вести себя как другие, обычно без какого-либо сознательного намерения это делать. И есть подражательная тенденция, которая проявляется в больших людских массах, порождает паники, оргии и неистовства, и которой могут активно противостоять лишь редчайшие индивиды. Подобная подражательность свойственна человеку, как и другим стадным животным, и является инстинктом в полном смысле этого слова, представляя собой слепой импульс к действию, как только возникает определенное восприятие. Особенно трудно не подражать, когда мы видим, как это делают другие люди, не подпрыгивать, не смеяться, не смотреть и не бежать в определенном направлении. Некоторые загипнотизированные субъекты должны автоматически подражать любому движению, которое их оператор делает на их глазах.^[372] Удачная мимикрия доставляет и зрителям, и мимику своеобразное эстетическое удовольствие. Драматический импульс, тенденция выдавать себя за кого-то другого, содержит это удовольствие от мимикрии как один из своих элементов. Другой элемент, по-видимому, заключается в особом чувстве силы, которое возникает при растягивании собственной личности, чтобы включить в нее личность незнакомого человека. У маленьких детей этот инстинкт часто не знает границ. В течение нескольких месяцев на третьем году жизни одного из моих детей он буквально почти никогда не появлялся собственной персоной. Он всегда говорил: "Сыграем в то, что я такой-то, а ты такой-то, а стул такой-то, а потом мы сделаем то-то и то-то". Если вы называли его по имени, Х., то неизменно получали в ответ: "Я не Х., я гиена, или лошадь-телега", или еще какой-нибудь притворный объект. Через некоторое время он отказался от этого импульса; но пока он продолжался, все выглядело так, словно это был автоматический результат идей, часто подсказанных восприятием, которые приводили к непреодолимым двигательным эффектам. Подражание переходит в

Подражание или соперничество, очень интенсивный инстинкт, особенно распространенный среди маленьких детей или, по крайней мере, особенно нескрываемый. Это известно каждому. Девять десятых работы в мире делается с его помощью. Мы знаем,

что если мы не выполним задание, то его выполнит кто-то другой и получит по заслугам, поэтому мы его выполняем. Она имеет очень мало общего с сочувствием, а скорее с драчливостью, которую мы в свою очередь и рассмотрим.

Драчливость; гнев; обида. Во многих отношениях человек - самый безжалостно свирепый из зверей. Как и у всех стадных животных, "две души", как говорит Фауст, "живут в его груди": одна - общительность и услужливость, другая - ревность и враждебность к своим товарищам. Хотя в целом он не может жить без них, но в отношении некоторых индивидуумов часто получается так, что он не может жить и с ними. Будучи вынужденным быть членом племени, он все же имеет право решать, насколько это в его силах, из каких еще членов должно состоять племя. Убийство нескольких несносных членов часто улучшает шансы тех, кто остается. А уничтожение соседнего племени, от которого не исходит ничего хорошего, а только конкуренция, может существенно улучшить положение всего племени. Отсюда - кровавая колыбель, *bellum omnium contra omnes*, в которой воспитывалась наша раса; отсюда - непостоянство человеческих связей, легкость, с которой вчерашний враг становится союзником дня сегодняшнего, сегодняшний друг - врагом завтрашнего; Отсюда тот факт, что мы, потомственные представители успешных исполнителей одной сцены резни за другой, должны, какими бы более мирными добродетелями мы ни обладали, все еще носить в себе, готовые в любой момент вспыхнуть, тлеющие и зловещие черты характера, с помощью которых они пережили столько резни, причиняя вред другим, но сами оставаясь невредимыми.

Симпатия - это эмоция, об инстинктивности которой психологи ведут жаркие споры, причем некоторые из них утверждают, что она не является примитивным даром, а, по крайней мере, первоначально, является результатом быстрого расчета хороших последствий для нас самих от сочувственного поступка. Такой расчет, сначала осознанный, по мере привыкания становился все более неосознанным и, наконец, при содействии традиций и ассоциаций, мог побудить к действиям, которые невозможно отличить от непосредственных импульсов. Вряд ли стоит доказывать ошибочность этой точки зрения. Некоторые формы сочувствия, например, матери с ребенком, несомненно, примитивны, а не разумные прогнозы относительно питания, жилья и другой поддержки, которую можно получить в старости. Опасность для ребенка слепо и мгновенно побуждает мать к действиям тревоги или защиты. Угроза или вред взрослому любимому или другу возбуждают нас соответствующим образом, часто вопреки всем велениям благоразумия. Правда, сочувствие не обязательно вытекает из самого факта стадности. Скот не поможет раненому товарищу, напротив, он скорее отправит его на тот свет. Но собака вылизет другого больного и даже принесет ему еду, а симпатия обезьян доказана многими наблюдениями. Итак, мы можем утверждать, что у человека вид страданий или опасности для других людей вызывает непосредственный интерес и сразу же побуждает, если никакие осложнения не мешают, к действиям по оказанию помощи. В этом нет ничего необъяснимого или патологического - ничего, что оправдывало бы отнесение профессора Бейна к "фиксированным идеям" безумия, как "противоречащим регулярным отправлениям воли". Она может быть столь же примитивной, как и любая другая "исходящая", и может быть обусловлена случайно выбранной вариацией, столь же вероятно, как стадность и материнская любовь, даже по мнению Спенсера, обусловлены такими вариациями.

Правда, симпатия особенно подвержена торможению со стороны других инстинктов, которые могут быть вызваны ее стимулом. Путник, которого спас добрый самаритянин, вполне мог вызвать такой инстинктивный страх или отвращение у священника и левита, которые проходили мимо него, что их сочувствие не могло выйти на первый план. Конечно,

привычки, разумные размышления и расчеты могут либо сдерживать, либо усиливать сочувствие, равно как и инстинкты любви или ненависти, если они существуют, к страдающему человеку. Охотничьи и драчливые инстинкты, когда они возбуждаются, также подавляют наше сочувствие абсолютно. Этим объясняется жестокость сборищ мужчин, преследующих друг друга, чтобы подманить или замучить жертву. Кровь приливает к глазам, и шансы на сочувствие исчезают.[373]

Охотничий инстинкт имеет столь же отдаленное происхождение в эволюции расы.[374] Охотничий и боевой инстинкты сочетаются во многих проявлениях. Они оба поддерживают эмоцию гнева; они объединяются в очаровании, которое истории о зверствах имеют для большинства умов; и совершенно слепое возбуждение, когда мы даем волю своей ярости, когда наша кровь на подъеме (возбуждение, интенсивность которого больше, чем у любой другой человеческой страсти, кроме одной), объяснимо только как импульс исконного характера, имеющий больше отношения к немедленной и непреодолимой тенденции к мышечной разрядке, чем к любым возможным воспоминаниям об эффектах опыта или ассоциации идей. Я говорю об этом потому, что удовольствие от бескорыстной жестокости считалось парадоксом, и писатели пытались показать, что оно не является примитивным атрибутом нашей природы, а скорее результатом тонкого сочетания других, менее злобных элементов ума. Это безнадежная задача. Если эволюция и выживание сильнейших вообще верны, то уничтожение добычи и соперников *должно было* быть одной из важнейших примитивных функций человека, инстинкты борьбы и преследования *должны были* стать укоренившимися. Определенные восприятия *должны были* сразу же, без вмешательства умозаключений и идей, вызывать эмоции и двигательные разряды; и оба последних должны были, исходя из природы случая, быть очень бурными, а потому, когда их не контролировали, доставляли сильное удовольствие. Именно потому, что человеческая кровожадность - такая примитивная часть нас, ее так трудно искоренить, особенно когда в качестве развлечения обещают драку или охоту.[375]

Как говорит Рошфуко, в несчастьях наших друзей есть нечто такое, что не вызывает у нас полного отвращения; и апостол мира почувствует, как его охватывает некий злобный трепет и наслаждается викарной жестокостью, когда он обращается к колонке своей газеты, в верхней части которой крупными буквами написано "Шокирующее зверство". Посмотрите, как толпа стекается вокруг уличной потасовки! Подумайте об огромной ежегодной продаже револьверов людям, ни один из тысячи которых не имеет серьезного намерения их использовать, но у каждого из которых плотоядное самосознание приятно щекочет мысль, когда он сжимает рукоятку своего оружия, что он будет довольно опасным клиентом. Видите, какая благородная команда сопровождает каждого великого драчуна - паразиты, которым кажется, что слава его жестокости передалась им, и чья заветная надежда со дня на день устроить какой-нибудь сет-то, в котором они смогут разделить восторг, не терпя боли! Первые удары на призовой драке вызывают тошноту у утонченного зрителя; но вскоре его кровь начинает течь в пользу одной из сторон, и тогда ему кажется, что другого нельзя достаточно избить и изувечить - утонченный зритель хотел бы сам усилить удары. Над зловещими кровавыми оргиями некоторых развращенных и безумных людей пусть будет занавес, как и над свирепостью, с которой могут быть оживлены вполне порядочные люди, когда (например, при разграблении города) возбуждение от долгожданной победы, внезапная свобода грабежа и похоти, заражение толпы, порыв подражать и превзойти - все это вместе взятое раздувает слепое опьянение инстинкта убийства и доводит его до крайности. Нет! Те, кто пытается объяснить это сверху вниз, как если бы это было следствием

быстро угадываемых последствий победы и приятных чувств, связанных с ними в воображении, упустили корень дела. Наша свирепость слепа и может быть объяснена только *снизу*. Если бы мы могли проследить ее по нашей линии происхождения, то увидели бы, что она все больше и больше принимает форму фатального рефлекторного ответа и в то же время все больше и больше становится чистой и непосредственной эмоцией, которой она является.^[376]

В детстве она принимает такую форму. Мальчики, которые вырывают лапки кузнечикам и крылья бабочкам, разделяют каждую пойманную лягушку, совершенно не *задумываются* об этом. Эти существа манят их к увлекательному занятию, которому они вынуждены поддаться. С ними все так же, как с "мальчиком-извергом" Джесси Помером, который перерезал горло маленькой девочке, "просто чтобы посмотреть, как она будет себя вести". Нормальными провокаторами импульса являются все живые звери, большие и маленькие, к которым не сформировалась противоположная привычка, все человеческие существа, в которых мы видим определенное *намерение* по отношению к *нам*, и большое количество людей, которые оскорбляют нас императивно, либо своим видом, либо походкой, либо каким-то обстоятельством в их жизни, которое нам не нравится. Подавленные сочувствием и размышлениями, вызывающими импульсы противоположного рода, цивилизованные люди теряют привычку проявлять свои драчливые инстинкты совершенно естественным образом, и мимолетное чувство гнева с его сравнительно слабыми телесными выражениями может быть пределом их физической боеспособности. Подобное чувство, однако, может быть вызвано самыми разными объектами. Неодушевленные предметы, сочетания цвета и звука, плохие счета за проезд могут вызывать у людей, сочетающих в себе привередливый вкус и вспыльчивый темперамент, настоящие приступы ярости. Хотя часто говорят, что женский пол менее драчлив, чем мужской, это различие, по-видимому, связано скорее с масштабами двигательных последствий импульса, чем с его частотой. Женщины обижаются и злятся, если не сказать больше, легче, чем мужчины, но их гнев сдерживается страхом и другими принципами их природы, чтобы не выражаться в ударах. Охотничий инстинкт у них, по-видимому, значительно слабее, чем у мужчин. Последний инстинкт легко ограничивается привычкой к определенным объектам, которые становятся законной "дичью", в то время как другие вещи обходятся стороной. Если охотничий инстинкт совсем не проявлять, он может даже полностью угаснуть, и человек может с удовольствием оставить в живых дикое существо, хотя мог бы легко его убить. Такой тип сейчас встречается довольно часто, но нет сомнений, что в глазах дитя природы такой человек будет выглядеть таким моральным монстром.

Страх - это реакция, вызываемая теми же объектами, которые вызывают свирепость. Антагонизм между ними - интересное исследование динамики инстинктов. Мы и боимся, и желаем убить все, что может нас убить; и вопрос о том, какому из этих двух импульсов мы последуем, обычно решается одним из тех *сопутствующих обстоятельств* конкретного случая, руководствоваться которыми - признак высших психических натур. Конечно, это вносит неопределенность в реакцию; но эта неопределенность встречается как у высших животных, так и у людей, и не должна восприниматься как доказательство того, что мы менее инстинктивны, чем они. Страх имеет телесные проявления чрезвычайно энергичного характера и стоит, наряду с вожделением и гневом, в ряду трех самых возбуждающих эмоций, к которым способна наша природа. Прогресс от животного к человеку характеризуется не чем иным, как уменьшением частоты подходящих поводов для страха. В цивилизованной жизни, в частности, наконец-то стало возможным для большого количества

людей пройти путь от колыбели до могилы, ни разу не испытав приступа подлинного страха. Многим из нас нужен приступ психического заболевания, чтобы узнать значение этого слова. Отсюда столько слепо оптимистичной философии и религии. Жестокости жизни становятся "как сказка, в которой мало смысла, хотя слова сильны"; мы сомневаемся, что кто-то из нас действительно был в пасти тигра, и приходим к выводу, что ужасы, о которых мы слышим, - это лишь некий гобелен для покоев, в которых мы лежим в мире с собой и с миром.

Как бы то ни было, страх - это подлинный инстинкт, один из самых ранних, проявляющихся у человеческого ребенка. Особенно часто его вызывают *шумы*. Большинство шумов из внешнего мира для ребенка, выросшего в доме, не имеют точного значения. Они просто пугают. Процитируем хорошего наблюдателя М. Переса:

"Дети в возрасте от трех до десяти месяцев реже пугаются зрительных, чем слуховых впечатлений. У кошек, начиная с пятнадцатого дня, все происходит наоборот. Ребенок трех с половиной месяцев в разгар пожара, при виде пожирающего пламени и разрушенных стен, не выказал ни удивления, ни страха, но улыбнулся женщине, которая заботилась о нем, пока его родители были заняты. Однако шум трубы пожарных, которые приближались, и стук колес паровоза заставили его вздрогнуть и заплакать. В этом возрасте я еще ни разу не видел младенца, испугавшегося вспышки молнии, даже сильной; но я видел многих из них, встревоженных голосом громовержца..... Таким образом, у ребенка без опыта страх приходит скорее через уши, чем через глаза. Естественно, что у животных, приспособленных к восприятию опасности на расстоянии, этот эффект должен быть обратным или уменьшенным. Соответственно, хотя я никогда не видел, чтобы ребенок испугался при первом виде огня, я много раз видел, как молодые собаки, молодые кошки, молодые цыплята и молодые птицы пугаются таким образом..... Несколько лет назад я подобрал потерявшуюся кошку в возрасте около года. Через несколько месяцев после этого, с наступлением холодов, я зажег огонь в решетке моего кабинета, который был ее приемной комнатой. Сначала она очень испуганно смотрела на пламя. Я поднес ее к огню. Она отпрыгнула и побежала прятаться под кровать. Хотя огонь зажигали каждый день, только к концу зимы мне удалось уговорить ее остаться на стуле рядом с ним. На следующую зиму, однако, все опасения исчезли..... Итак, давайте сделаем вывод, что существуют наследственные предрасположенности к страху, которые не зависят от опыта, но которые опыт может в итоге очень сильно ослабить. У человеческого младенца, как мне кажется, они особенно связаны с ухом".[377]

Влияние шума на усиление любого ужаса, который мы можем испытывать во взрослом возрасте, очень заметно. *Завывание* во время шторма, будь то на море или на суше, является основной причиной нашего беспокойства, когда мы подвергаемся ему. Писатель с интересом наблюдал за собой, когда лежал в постели и не мог уснуть из-за ветра на улице, как неизменно каждый его громкий порыв на мгновение останавливал его сердце. Собака, нападающая на нас, гораздо страшнее из-за издаваемых ею звуков.

Незнакомые люди и *незнакомые животные*, как большие, так и маленькие, вызывают страх, но особенно люди или животные, угрожающе приближающиеся к нам. Это совершенно инстинктивно и предшествует опыту. Некоторые дети плачут от ужаса при первом же взгляде на кошку или собаку, и часто в течение нескольких недель их невозможно заставить прикоснуться к ней. Другие же захотят приласкать его почти сразу. Некоторые виды

"паразитов", особенно пауки и змеи, вызывают необычайно трудно преодолимый страх. Невозможно сказать, насколько эта разница инстинктивна, а насколько является результатом рассказов, услышанных об этих существах. То, что страх перед "паразитами" созревает постепенно, мне показалось доказанным на примере моего собственного ребенка, которому я дала живую лягушку один раз в возрасте шести-восьми месяцев, а второй раз - когда ему было полтора года. В первый раз он быстро схватил ее и, удерживая, несмотря на ее сопротивление, наконец, засунул ее голову себе в рот. Затем он позволил ей заползти к себе на грудь и забраться на лицо, не выказывая при этом тревоги. Но во второй раз, хотя он не видел лягушку и не слышал ни одной истории о лягушке в промежутках, его почти невозможно было побудить прикоснуться к ней. Другой ребенок, которому исполнился год, охотно взял в руку несколько очень крупных пауков. В настоящее время он боится, но тем временем был подвергнут обучению в детской комнате. Один из моих детей с самого рождения ежедневно виделся с домашней собакой мопсом, и никогда не проявлял ни малейшего страха, пока ему не исполнилось (если я правильно помню) около восьми месяцев. Затем инстинкт внезапно развился, причем с такой силой, что привычка не оказала никакого смягчающего воздействия. Она кричала всякий раз, когда собака входила в комнату, и в течение многих месяцев боялась прикоснуться к ней. Нет нужды говорить, что никакие изменения в неизменно дружелюбном поведении мопса не имели никакого отношения к этой перемене в чувствах ребенка.

Прейер рассказывает, как маленький ребенок закричал от страха, когда его поднесли к *морю*. Большим источником ужаса в младенчестве является одиночество. Телеология этого очевидна, как очевидна и телеология выражения ужаса младенца - неизменного крика, когда он просыпается и обнаруживает, что остался один.

Черные предметы, а особенно *темные места*, норы, пещеры и т. д., вызывают особый жуткий страх. Этот страх, как и страх одиночества, "потерянности", объясняется, в некотором роде, опытом предков. Шнайдер отмечает:

"Факт, что люди, особенно в детстве, боятся зайти в темную пещеру или мрачный лес. Это чувство страха возникает, конечно, отчасти из-за того, что мы легко подозреваем, что в этих местах могут скрываться опасные звери - подозрение, вызванное историями, которые мы слышали и читали. Но, с другой стороны, совершенно точно, что этот страх при определенном восприятии также передается по наследству. Дети, которых тщательно оберегали от всех историй о привидениях, тем не менее пугаются и плачут, если их завести в темное место, особенно если там раздаются звуки. Даже взрослый человек может легко заметить, что в одиноком лесу ночью его охватывает неприятная робость, хотя он может быть твердо убежден, что рядом нет ни малейшей опасности.

"Это чувство страха возникает у многих людей даже в собственном доме после наступления темноты, хотя оно гораздо сильнее в темной пещере или лесу. Факт такого инстинктивного страха легко объясним, если учесть, что наши предки-дикари на протяжении бесчисленных поколений привыкли встречаться в пещерах с опасными зверями, особенно с медведями, и по большей части подвергались нападению таких зверей ночью и в лесу, и что таким образом возникла и унаследовалась неразрывная связь между восприятием темноты пещер и леса и страхом".[378]

Высокие места вызывают страх особого тошнотворного рода, хотя здесь, опять же, индивидуумы сильно различаются. Совершенно слепой инстинктивный характер

двигательных импульсов здесь проявляется в том, что они почти всегда совершенно неразумны, но разум бессилен их подавить. То, что они являются просто случайной особенностью нервной системы, как, например, морская болезнь или любовь к музыке, не имеющей никакого телеологического значения, кажется более чем вероятным. Страх, о котором идет речь, настолько сильно варьируется от человека к человеку, а его пагубные последствия настолько очевиднее, чем его польза, что трудно понять, как он может быть избранным инстинктом. Человек анатомически является одним из самых приспособленных животных для лазания по высоте. Лучшим психическим дополнением к этому оборудованию, казалось бы, должна быть "ровная голова", когда он там, а не страх оказаться там вообще. На самом деле телеология страха до определенного момента весьма сомнительна. Профессор Моссо в своей интересной монографии "Страх" (переведенной на французский язык) приходит к выводу, что многие его проявления следует считать скорее патологическими, чем полезными; Бэйн в нескольких местах высказывает то же мнение; и это, я думаю, несомненно, та точка зрения, которой должен придерживаться любой наблюдатель без *априорных* предрассудков. Определенная доля робости, очевидно, адаптирует нас к миру, в котором мы живем, но *пароксизм страха*, несомненно, совершенно вреден для того, кто является его жертвой.

Страх перед сверхъестественным - одна из разновидностей страха. Трудно выделить какой-либо нормальный объект для этого страха, если только это не настоящее привидение. Но, несмотря на общества психических исследований, наука еще не приняла призраков, поэтому мы можем лишь сказать, что определенные *представления* о сверхъестественном, связанные с реальными обстоятельствами, вызывают особый вид ужаса. Этот ужас, вероятно, можно объяснить как результат комбинации более простых ужасов. Чтобы довести призрачный ужас до максимума, должны соединиться многие обычные элементы страшного, такие как одиночество, темнота, необъяснимые звуки, особенно мрачного характера, движущиеся фигуры, различимые наполовину (или, если различимые, то ужасающего вида), и головокружительное смятение ожиданий. Последний элемент, *интеллектуальный*, очень важен. У нас в крови возникает странное эмоциональное "свертывание", когда мы видим, что процесс, с которым мы хорошо знакомы, намеренно принимает незапланированный оборот. Сердце любого человека перестанет биться, если он увидит, что его стул безвольно скользит по полу. Низшие животные, похоже, чувствительны к таинственно-исключительному, как и мы сами. Мой друг профессор У. К. Брукс из Университета Джона Хопкинса рассказал мне о том, как его большая и благородная собака была напугана до эпилептического припадка, когда кость волочилась по полу на нитке, которую собака не видела. Дарвин и Романс рассказывали о подобных случаях. [379] Идея сверхъестественного предполагает, что обычное должно быть сведено на нет. В сверхъестественное ведьмы и хобгоблины привносят другие элементы, вызывающие страх, - пещеры, слизь и тину, паразитов, трупы и тому подобное. [380] Человеческий труп обычно вызывает инстинктивный страх, который, несомненно, в некоторой степени объясняется его таинственностью, и который быстро рассеивается при знакомстве. Но, учитывая тот факт, что трупные, рептильные и подземные ужасы играют столь специфическую и постоянную роль во многих кошмарах и формах бреда, кажется не совсем неразумным спросить, не могли ли эти формы ужасающих обстоятельств в прежние времена быть более нормальными объектами окружающей среды, чем сейчас. Обычному самоуверенному эволюционисту не составит труда объяснить эти ужасы и пейзажи, которые их вызывают, как рецидивы сознания пещерных людей - сознания, которое обычно накладывается на нас опытом более позднего времени.

Существуют и некоторые другие патологические страхи, а также определенные особенности в выражении обычного страха, которые могут получить объяснительный свет от условий предков, даже инфра-человеческих. При обычном страхе человек может либо бежать, либо оставаться в полупарализованном состоянии. Последнее состояние напоминает нам о так называемом инстинкте избегания смерти, который проявляется у многих животных. Доктор Линдсей в своей работе "Разум у животных" говорит, что это должно требовать большого самообладания от тех, кто его практикует. Но на самом деле это вовсе не симулирование смерти и не требует никакого самообладания. Это просто паралич ужаса, который оказался настолько полезным, что стал наследственным. Хищный зверь не считает неподвижную птицу, насекомое или ракообразное мертвым. Он просто не замечает их вообще, потому что его органы чувств, как и наши, гораздо сильнее возбуждаются от движущегося объекта, чем от неподвижного. Это тот же инстинкт, который заставляет мальчика, играющего в "шпиона", затаить дыхание, когда искатель находится рядом, и который заставляет самого хищного зверя во многих случаях неподвижно поджидать свою жертву или бесшумно "преследовать" ее, чередуя быстрые приближения с периодами неподвижности. Это противоположно инстинкту, который заставляет нас вскакивать и двигать руками, когда мы хотим привлечь внимание кого-то, проходящего вдаль, и заставляет потерпевшего кораблекрушение моряка бешено махать тряпкой на плоту, где он плыл, когда появляется далекий парус. Так не связана ли в какой-то мере с этим старым инстинктом неподвижность некоторых меланхоликов, обезумевших от общей тревоги и страха перед всем? Они не могут *объяснить причину* своего страха двигаться, но неподвижность позволяет им чувствовать себя безопаснее и комфортнее. Не таково ли психическое состояние "притворяющегося" животного?

И снова возьмем странный симптом, который в последние годы описывается под довольно абсурдным названием "*агорафобия*". Пациента охватывает сердцебиение и ужас при виде любого открытого места или широкой улицы, которую ему приходится пересекать в одиночку. Он дрожит, у него подгибаются колени, он может даже упасть в обморок при одной мысли об этом. При достаточном самообладании он иногда достигает цели, держась под прикрытием движущегося транспорта или присоединяясь к группе других людей. Но обычно он обходит площадь по бокам, прижимаясь к домам так близко, как только может. Эта эмоция не имеет смысла для цивилизованного человека, но когда мы замечаем хроническую агорафобию наших домашних кошек и видим, как цепко многие дикие животные, особенно грызуны, цепляются за укрытия, и решаются на бросок через открытое пространство только в качестве отчаянной меры - даже в этом случае они ищут любой камень или пучок сорняков, которые могут дать кратковременное убежище, - когда мы видим это, мы испытываем сильное искушение спросить, не вызван ли такой странный вид страха в нас случайным воскрешением, через болезнь, своего рода инстинкта, который мог у некоторых из наших предков играть постоянную и в целом полезную роль?

Присвоение или приобретательство. Зачатки приобретательства можно увидеть в импульсе, который проявляют совсем маленькие дети: они хватают или выпрашивают любой предмет, который привлекает их внимание. Позже, когда они начинают говорить, одними из первых слов, которые они выделяют, становятся "я" и "мое".^[381] Их первые ссоры друг с другом происходят из-за вопросов собственности; и родители близнецов вскоре узнают, что для спокойствия в доме полезно покупать все подарки в беспристрастных двух экземплярах. О более позднем развитии инстинкта собственности мне нет нужды говорить. Все знают, как трудно не возжелать любую приятную вещь, которую мы видим, и как сладость вещи часто остается для нас желчной, пока она принадлежит другому. Когда вещь принадлежит другому, желание присвоить ее часто превращается в желание причинить ему вред - то, что

называется *завистью*, или *ревностью*. В цивилизованной жизни импульс к владению обычно сдерживается различными соображениями и переходит в действие только при обстоятельствах, узаконенных привычкой и общим согласием, что является дополнительным примером того, как одна инстинктивная тенденция может быть подавлена другими. Разновидностью собственнического инстинкта является стремление к созданию коллекций одинаковых вещей. Он сильно отличается у отдельных людей и наглядно показывает, как взаимодействуют инстинкт и привычка. И хотя коллекция каких-либо вещей, например почтовых марок, не обязательно должна быть начата каким-то конкретным человеком, но если ее случайно начнет человек с инстинктом коллекционирования, то, скорее всего, она будет продолжена. Главный интерес объектов в глазах коллекционера заключается в том, что они представляют собой коллекцию и что они принадлежат ему. Соперничество, конечно, разжигает эту, как и любую другую страсть, но предметы для мании коллекционирования не обязательно должны быть такими, которые пользуются общим спросом. Мальчики собирают все, что видят, как собирает другой мальчик, - от кусочков мела и персиковых косточек до книг и фотографий. Из ста студентов, которых я опрашивал, только четверо или пятеро никогда ничего не собирали. [382]

Ассоциативная психология отрицает существование какого-либо слепого первобытного инстинкта присвоения и объясняет любую приобретательность, во-первых, желанием получить "удовольствие", которое могут доставить предметы, которыми они владеют; и, во-вторых, ассоциацией идеи приятности с *обладанием* вещью, даже если первоначально удовольствие от нее было получено только в результате ее траты или уничтожения. Таким образом, скупец предстает перед нами как тот, кто перенес на золото, с помощью которого он может купить блага этой жизни, все эмоции, которые могли бы дать сами блага; и кто впоследствии любит золото ради него самого, предпочитая средство получения удовольствия самому удовольствию. Можно не сомневаться, что многое из этого анализа при более широком взгляде на факты было бы развеяно. Скупец" - это абстракция. Скупердяи бывают разные. Обычный тип, чрезмерно скупой человек, просто демонстрирует психологический закон, согласно которому потенциальное часто имеет гораздо большее влияние на наш разум, чем реальное. Мужчина не женится сейчас, потому что это ставит крест на его неопределенных потенциальных возможностях выбора партнера. Он предпочитает последнее. Он не будет пользоваться открытым огнем или носить свою хорошую одежду, потому что может наступить день, когда ему придется пользоваться печью или одеваться в поношенное пальто, "и где он тогда будет?". Для него лучше реальное зло, чем страх перед ним; и так же обстоит дело со всеми несчастными. Лучше жить бедно сейчас, имея *возможность* жить богато, чем жить богато, рискуя потерять эту возможность. Эти люди ценят свое золото не ради него самого, а ради его силы. Демонетизируйте его, и посмотрите, как быстро они от него избавятся! Теория ассоцианизма в их отношении полностью ошибочна: им нет никакого дела до золота как *такового*.

У других скряг с этим предпочтением силы перед действием сочетается гораздо более инстинктивный элемент простой склонности к коллекционированию. Каждый собирает деньги, и когда человек мелочного склада поражен манией коллекционирования ради этой цели, он обязательно становится скрягой. Здесь снова полностью виновата ассоциативная психология. Инстинкт накопительства широко распространен как среди животных, так и среди людей. Профессор Силлиман так описывает один из кладов калифорнийской лесной крысы, сделанный в пустой печке незанятого дома:

"Я обнаружил, что снаружи он полностью состоит из шипов, уложенных симметрично, так, чтобы острия гвоздей были направлены наружу. В центре этой

массы находилось гнездо, состоящее из мелко разделенных волокон конопляной пакли. В переплетении с шипами лежали: около двух дюжин ножей, вилок и ложек; все мясницкие ножи, три штуки; большой разделочный нож, вилка и сталь; несколько больших кисетов с табаком,... старый кошелек, содержащий немного серебра, спички и табак; почти все мелкие инструменты из шкафов для инструментов, несколько больших шнеков,... все это, должно быть, было перенесено на некоторое расстояние, поскольку первоначально они хранились в разных частях дома..... Внешний корпус серебряных часов был выброшен в одну часть кучи, стекло тех же часов - в другую, а работа - в третью".[383]

В каждом приюте для умалишенных инстинкт коллекционирования развивается столь же абсурдным образом. Некоторые пациенты проводят все свое время, подбирая с пола булавки и накапливая их. Другие собирают кусочки ниток, пуговицы или тряпки и очень дорожат ими. Так вот, "Мизер", который в народном воображении и в мелодрамах *является одним из лучших* монстров убожества и мизантропии, - это всего лишь один из таких психически ненормальных людей. Его интеллект во многих вопросах может быть ясным, но его инстинкты, особенно инстинкт собственности, безумны, и их безумие имеет не больше отношения к ассоциации идей, чем прецессия равноденствий. На самом деле его накопительство обычно направлено на деньги; но оно также включает в себя почти все остальное. Недавно в одном из городов Массачусетса умер скряга, который в основном копил газеты. В итоге они так заполнили все комнаты его большого дома от пола до потолка, что его жилое пространство ограничилось несколькими узкими каналами между ними. Сейчас, когда я пишу, в утренней газете публикуется отчет о том, как городской совет здравоохранения опустошил логово скряги в Бостоне. О том, что именно копил его владелец, рассказывается следующим образом:

"Он собрал старые газеты, оберточную бумагу, неработоспособные зонтики, трости, куски обычной проволоки, брошенную одежду, пустые бочки, куски железа, старые кости, битую посуду, разбитые горшки и целые охапки такого мусора, который можно найти только на городской "свалке". Пустые бочки были заполнены, полки заполнены, все дыры и углы заполнены, и, чтобы сделать больше места для хранения, "отшельник" покрыл свою кладовую сетью веревок и подвесил на веревках столько, сколько они могли вместить его диковинных коллекций. Невозможно было придумать ничего, чего бы не было в этой комнате. Как пильщик дров, старик никогда не выбрасывал ни пильного полотна, ни деревянных баксов. Баксы болели ревматизмом и не могли стоять на ногах, а пильные полотна были изношены почти до середины. Некоторые из них были раздроблены на две части, но их концы были бережно сохранены и убраны подальше. Как угольщик, старик никогда не выбрасывал ни одной изношенной корзины, и в кладовой стояли десятки остатков старых вещей, залатанных холстом и веревочными нитями. Там было не менее двух десятков старых шляп, меховых, суконных, шелковых, соломенных и т. д."

Конечно, в голове скупца может быть множество "ассоциаций идей" по поводу вещей, которые он накапливает. Он - мыслящее существо и должен ассоциировать вещи, но, если бы за всеми его идеями не стоял совершенно слепой импульс в этом направлении, такие практические результаты никогда не были бы достигнуты.[384]

Клептомания, как ее называют, - это неконтролируемый импульс к присвоению, возникающий у людей, чьи "ассоциации идей", естественно, были бы противодействующего рода. Клептоманы часто быстро восстанавливают или разрешают восстановить то, что они

взяли; таким образом, импульс не должен быть направлен на сохранение, а только на то, чтобы взять. Но в других случаях накопительство осложняет результат. Один джентльмен, с чьим случаем я знаком, после смерти обнаружил в своем сарае клад всевозможных предметов, в основном сундучных, но в том числе серебряных изделий, которые он украл из собственной столовой, и посуды, которую он украл из собственной кухни и для которой впоследствии купил заменители на свои деньги.

Конструктивность - такой же подлинный и непреодолимый инстинкт в человеке, как в пчеле или бобре. Какие бы вещи ни были пластичными для его рук, эти вещи он должен переделать в формы по своему усмотрению, и результат переделки, каким бы бесполезным он ни был, доставляет ему больше удовольствия, чем исходная вещь. Мания маленьких детей ломать и разбирать на части все, что им дают, чаще всего является выражением зачаточного конструктивного, а не разрушительного импульса. Блоки - это игрушки, от которых они меньше всего устают. Одежда, оружие, инструменты, жилища и произведения искусства - результат открытий, к которым ведет пластический инстинкт; каждый человек начинает с того, на чем остановились его предшественники, и традиция сохраняет все, что однажды было получено. Одежда, если в ней нет необходимости из-за холода, представляет собой не что иное, как попытку переделать человеческое тело - попытку, которая еще лучше проявляется в различных татуировках, зубных потолках, шрамах и других увечьях, которые практикуются в дикарских племенах. Что касается жилья, то нет никаких сомнений в том, что инстинкт поиска укромного уголка, открытого только с одной стороны, в который можно удалиться и быть в безопасности, у человека столь же специфичен, как и инстинкт птиц строить гнездо. Не обязательно в виде укрытия от сырости и холода, но он чувствует себя менее уязвимым и более дома, когда не закрыт полностью, чем когда лежит весь на улице. Конечно, утилитарное происхождение этого инстинкта очевидно. Но если в настоящее время придерживаться голых фактов и не проследивать происхождение, то следует признать, что этот инстинкт существует сейчас и, вероятно, существовал всегда, с тех пор как человек стал человеком. На нем воспитываются привычки самого сложного вида. Но даже среди этих привычек мы видим, как проявляется слепой инстинкт; как, например, в том, что мы симулируем укрытие внутри укрытия, ставя кровати в комнатах головой к стене и никогда не ложась в них по-другому - точно так же, как собаки предпочитают забираться под мебель или на нее, чтобы спать, вместо того чтобы лежать посреди комнаты. Первыми жилищами были пещеры и листовенные гроты, улучшенные руками; и сегодня мы видим, как дети, играя в диких местах, с огромным удовольствием находят такие убежища и устраивают там "свой дом".

Игра. Импульс к особым играм, безусловно, инстинктивен. Мальчик не может не бежать за другим мальчиком, который провоцирующе бежит рядом с ним, так же как котенок не может не бежать за катящимся мячиком. Ребенок, пытающийся взять в руки предмет, который, как он видит, подбирает другой ребенок, и тот, в свою очередь, пытается удрать с призом, - такие же рабы автоматических побуждений, как два цыпленка или рыбы, из которых один взял в рот большой кусок и удрал с ним, а другой бросился за ним в погоню. Все простые активные игры - это попытки получить возбуждение, вызванное определенными примитивными инстинктами, притворяясь, что повод для их проявления есть. Они включают в себя подражание, охоту, борьбу, соперничество, приобретение и строительство, сочетаемые различными способами; их особые правила - это привычки, обнаруженные случайно, отобранные умом и распространяемые традицией; но если бы они не были основаны на

автоматических импульсах, игры потеряли бы большую часть своей изюминки. Полы несколько различаются по своим игровым импульсам. Как говорит Шнайдер:

"Маленький мальчик подражает солдатам, лепит глину в печи, строит дома, делает повозку из стульев, скачет верхом на палке, забивает гвозди молотком, запрягает своих братьев и товарищей и играет в машиниста сцены, или позволяет кому-то другому захватить себя в качестве дикой лошади. Девочка же, напротив, играет со своей куклой, моет и одевает ее, гладит, прижимает и целует, укладывает в кроватку и укладывает, поет ей колыбельную песню или разговаривает с ней, как с живым существом..... Тот факт, что в игровом импульсе существует половое различие, что мальчик получает больше удовольствия от лошади, всадника и солдата, чем от куклы, в то время как с девочкой все наоборот, является доказательством того, что существует наследственная связь между восприятием определенных вещей (лошади, куклы и т.д.) и чувством удовольствия, а также между этим последним и импульсом к игре."[\[385\]](#)

Есть и другой вид человеческой игры, в которую вступают высшие эстетские чувства. Я имею в виду любовь к празднествам, церемониям, испытаниям и т. д., которая, похоже, является универсальной для нашего вида. У самых низких дикарей есть свои танцы, более или менее формально проводимые. Различные религии имеют свои торжественные обряды и упражнения, а гражданская и военная власть символизирует свое величие шествиями и празднествами различного рода. У нас есть свои оперы, вечеринки и маскарады. Общим элементом всех этих церемониальных игр, как их можно назвать, является волнение от согласованных действий в составе организованной толпы. Одни и те же действия, совершенные в толпе, кажутся гораздо более значимыми, чем в одиночку. Прогулка с народом в праздничный день, экскурсия, чтобы выпить пива или кофе на популярном "курорте" или в обычном зале для игры в мяч - вот примеры этого. Мы не только получаем удовольствие от того, что видим столько незнакомых людей, но и ощущаем явную стимуляцию от того, что чувствуем свою причастность к их коллективной жизни. Восприятие их - это стимул, а наша реакция на него - это стремление присоединиться к ним и делать то, что делают они, и нежелание первыми уйти и вернуться домой в одиночестве. Это кажется примитивным элементом в нашей природе, поскольку трудно проследить какую-либо ассоциацию идей, которая могла бы привести к нему; хотя, если допустить, что он существует, очень легко понять, какую пользу он может принести племени, способствуя быстрым и энергичным коллективным действиям. Формирование армий и военные экспедиции были бы одними из его плодов. В церемониальных играх он является лишь импульсивной отправной точкой. Что именно будет делать толпа, зависит по большей части от инициативы отдельных людей, закрепленной подражанием и привычкой, продолженной традицией. Сотрудничество других эстетических удовольствий с играми, церемониальными или другими, имеет большое значение для выбора тех, которые станут стереотипными и привычными. Особая форма возбуждения, названная профессором Бейном эмоцией *преследования*, удовольствием *крецендо*, является душой многих обычных игр. Огромное значение игровой деятельности в жизни человека слишком очевидно, чтобы о нем можно было только упоминать.[\[386\]](#)

Любопытство. Уже довольно низко среди позвоночных мы видим, что любой объект может возбудить внимание, если он только *новый*, и что за вниманием может последовать приближение и исследование ноздрями, губами или прикосновением. Любопытство и страх образуют пару антагонистических эмоций, которые могут быть пробуждены одним и тем же

внешним предметом и, очевидно, оба полезны для их обладателя. Зрелище их чередования часто бывает достаточно забавным, как, например, робкие подходы и испуганные взмахи колес, которые делают овцы или крупный рогатый скот в присутствии нового объекта, который они исследуют. Я видел, как аллигаторы в воде вели себя точно так же по отношению к человеку, сидящему на берегу перед ними - постепенно приближались, пока он оставался неподвижным, и неистово отступали, как только он делал движение. Поскольку новые объекты всегда *могут* быть полезными, лучше, чтобы животное не боялось их *абсолютно*. Но поскольку они могут быть и вредными, лучше, чтобы он не относился к ним совершенно равнодушно, а в целом оставался "на волоске", выяснял как можно больше о них и о том, что они могут принести, прежде чем успокоиться в их присутствии. Некая подобная восприимчивость к возбуждению и раздражению просто новизной, как таковой, любой подвижной особенности окружающей среды должна составлять инстинктивную основу всего человеческого любопытства; хотя, конечно, надстройка поглощает вклад от стольких других факторов эмоциональной жизни, что первоначальный корень может быть трудно найти. С тем, что называют научным любопытством, и с метафизическим удивлением практический инстинктивный корень, вероятно, не имеет ничего общего. Стимулами здесь являются не объекты, а способы представления об объектах; а эмоции и действия, которые они вызывают, следует отнести ко многим другим эстетским проявлениям, чувствительным и двигательным, как к *случайным* особенностям нашей психической жизни. Философский мозг реагирует на несоответствие или пробел в своих знаниях так же, как музыкальный мозг реагирует на диссонанс в услышанном. В определенном возрасте чувствительность к конкретным пробелам и удовольствие от решения конкретных загадок достигают своего максимума, и именно тогда запасы научных знаний закладываются легче и естественнее всего. Но эти эффекты могут не иметь ничего общего с тем, для чего изначально был предназначен мозг; и, вероятно, только через несколько столетий, когда религиозные верования и экономическое применение науки стали играть заметную роль в конфликтах одной расы с другой, они могли помочь "отобрать" для выживания определенный тип мозга. Мне придется рассмотреть этот вопрос о случайных и дополнительных способностях в [главе XXVIII](#).

Общительность и застенчивость. Как стадное животное, человек возбуждается как от отсутствия, так и от присутствия себе подобных. Одиночество для него - одно из величайших зол. Одинокое заключение многие считают слишком жестоким и противоестественным способом пытки, чтобы цивилизованные страны могли его принять. Для человека, долгое время прозябающего на необитаемом острове, вид человеческого следа или человеческой фигуры вдалеке был бы самым бурным и волнующим событием. При болезненных состояниях психики одним из самых распространенных симптомов является страх остаться одному. Этот страх может быть снят присутствием маленького ребенка или даже младенца. В известном писателю случае гидрофобии пациент настаивал на том, чтобы в его комнате постоянно находились соседи, настолько сильным был его страх одиночества. У стайного животного ощущение, что он одинок, возбуждает его к активной деятельности. Мистер Гальтон так описывает поведение южноафриканского скота, за которым у него была такая хорошая возможность наблюдать:

"Хотя бык не испытывает особой привязанности или интереса к своим собратьям, он не может вынести даже кратковременной разлуки со своим стадом. Если его отделяют от него хитростью или силой, он проявляет все признаки душевной агонии; он всеми силами стремится вернуться обратно, а когда ему это удастся, он погружается в его середину, чтобы омыть все свое тело комфортом ближайшего окружения".[\[387\]](#)

Человек также возбуждается от присутствия себе подобных. *Причудливые* действия собак, встречающих незнакомых собак, не лишены параллели в нашей собственной конституции. Мы не можем встречать незнакомцев без определенного напряжения или разговаривать с ними точно так же, как со своими знакомыми. Особенно если незнакомец - важная персона. Бывает, что мы не только не хотим встречаться с ним взглядом, но и не можем собраться с духом и соблюсти хоть какую-то справедливость в его присутствии.

"Это странное душевное состояние, - пишет Дарвин, [388] , - распознается главным образом по покраснению лица, отворачиванию или опусканию глаз и неловким, нервным движениям тела. Застенчивость, по-видимому, зависит от чувствительности к мнению, хорошему или плохому, других людей, особенно в отношении внешнего облика. Незнакомые люди ничего не знают и не интересуются нашим поведением или характером, но они могут, и часто делают это, критикуя нашу внешность..... Сознание того, что в одежде есть что-то особенное или даже новое, или на лице, а особенно на лице, есть какие-то незначительные изъяны, которые могут привлечь внимание незнакомцев, делает застенчивого человека невыносимо стеснительным. [389] С другой стороны, в тех случаях, когда речь идет о поведении, а не о внешности, мы гораздо чаще стесняемся в присутствии знакомых, чьим мнением мы в той или иной степени дорожим, чем в присутствии незнакомых людей..... Некоторые люди, однако, настолько чувствительны, что один только акт разговора почти с любым человеком достаточен, чтобы пробудить их самосознание, и результатом этого является легкий румянец. Одобрение... вызывает застенчивость и румянец гораздо охотнее, чем одобрение..... Очень застенчивые люди редко стесняются в присутствии тех, с кем они хорошо знакомы и в чьем добром мнении и симпатии они вполне уверены; например, девушка в присутствии своей матери..... Застенчивость... тесно связана со страхом; однако она отличается от страха в обычном смысле слова. Застенчивый человек боится внимания незнакомцев, но вряд ли можно сказать, что он их боится; он может быть смелым, как герой в бою, и при этом не быть уверенным в себе по пустякам в присутствии незнакомцев. Почти каждый человек чрезвычайно нервничает, когда впервые выступает перед публичным собранием, и большинство мужчин остаются такими на протяжении всей своей жизни".

Как замечает мистер Дарвин, реальный страх перед определенными последствиями может входить в этот "сценический страх" и усложнять застенчивость. Так и наша робость перед важной персоной может быть осложнена тем, что профессор Бейн называет "подневольным ужасом", основанным на представлении определенных опасностей, если мы не сможем угодить. Но и сценический страх, и подневольный ужас могут существовать при самых неопределенных предчувствиях опасности, и, по сути, когда разум говорит нам, что для тревоги нет никаких оснований. Поэтому мы должны признать определенную долю чисто инстинктивного беспокойства и сдержанности, вызванных сознанием того, что мы стали объектом для чужих глаз". Далее мистер Дарвин продолжает: "Застенчивость появляется в очень раннем возрасте. В одном из моих собственных детей, которому было два года и три месяца, я заметил следы того, что, несомненно, казалось застенчивостью, направленной на себя, после отсутствия дома в течение всего лишь одной недели". Каждый родитель замечал подобное. Учитывая деспотическую власть правителей в диких племенах, уважение и благоговение, должно быть, с незапамятных времен были эмоциями, вызываемыми определенными людьми; а сценический страх, подневольный ужас и застенчивость, должно быть, имели такие же широкие возможности для проявления, как и в настоящее время. Могли ли эти импульсы когда-либо быть полезными и отобранными для пользы - вопрос, на

который, кажется, можно ответить только отрицательно. По-видимому, они являются чистыми помехами, как обморок при виде крови или болезни, морская болезнь, головокружение на высоких местах и некоторые брезгливости эстетского вкуса. Это случайные эмоции, несмотря на которые мы живем. Но они, по-видимому, играют важную роль в формировании двух других склонностей, об инстинктивном характере которых ведется немало споров. Я имею в виду чистоплотность и скромность, к которым мы должны перейти, но не раньше, чем скажем пару слов о другом импульсе, тесно связанном с застенчивостью. Я имею в виду...

Скрытность, которая, хотя часто и обусловлена разумным расчетом и страхом предать свои интересы каким-то более или менее определенным образом, нередко является слепой склонностью, не служащей никакой полезной цели, и является настолько упрямой и неискоренимой частью характера, что вполне заслуживает места среди инстинктов. Его естественные стимулы - незнакомые люди, особенно те, кого мы уважаем. Его реакцией является прекращение того, что мы говорим или делаем при приближении таких незнакомцев, часто с притворством, что мы говорили или делали не это, а, возможно, что-то другое. Часто к этому добавляется склонность к лживости, когда нас просят рассказать о себе. У многих людей первым побуждением, когда раздается звонок в дверь или неожиданно объявляется посетитель, является желание выскочить из комнаты, чтобы не быть "пойманным". Когда человек, на которого мы смотрели, замечает нас, нашим непосредственным побуждением может быть посмотреть в другую сторону и сделать вид, что мы его не заметили. Многие друзья признавались мне, что такое часто случается с ними при встрече на улице, особенно с незнакомыми людьми. Поклон - это вторичная коррекция первичного притворства, что мы не видим другого человека. Вероятно, большинство читателей узнают в себе, по крайней мере, *начало*, зарождающуюся склонность, во многих случаях, действовать каждым из этих нескольких способов. То, что "начало" нейтрализуется второй мыслью, доказывает, что оно исходит из более глубокой области, чем мысль. Несомненно, в каждом человеке есть врожденный импульс к сокрытию любовных связей, а приобретенный импульс к сокрытию денежных дел, похоже, у многих почти одинаково силен. Следует отметить, что даже в тех случаях, когда привычка к сокрытию информации является рефлексивной и осознанной, ее мотивом гораздо реже является определенное благоразумие, чем смутное неприятие того, что в святость человека вторгаются, а его личные проблемы испытывают и перелистывают другие люди. Так, некоторые люди никогда не оставят вещь с написанным на ней именем там, где ее могут подобрать другие - даже в лесу нельзя бросать на землю старый конверт. Многие обрывают все листы книги, в которой они читают одну главу, чтобы никто не узнал, какую именно они выделили, и все это без *определенного* представления о вреде. Импульс к сокрытию чаще провоцируется вышестоящими, чем равными или нижестоящими. Как по-разному общаются мальчики, когда рядом нет их родителей! Слуги видят больше характеров своих хозяев, чем хозяева слуг.[390] Там, где мы скрываемся от равных и близких, вероятно, всегда присутствует элемент благоразумного предвидения. *Коллективная тайна*, загадка, входит в эмоциональный интерес многих игр и является одним из элементов того значения, которое люди придают масонству разного рода, будучи восхитительным помимо любой цели.

Чистота. Видя, насколько грязными могут быть дикари и исключительные личности среди цивилизованных людей, философы сомневаются, существует ли подлинный инстинкт чистоты, и не ответственны ли воспитание и привычка за то, что он есть. Если бы это был

инстинкт, то его стимулом была бы грязь, а характерной реакцией - избегание контакта с ней и очищение от нее после контакта. Если некоторые животные чистоплотны, то и люди *могут* быть такими же, и нет никаких сомнений в том, что некоторые виды материи отвратительны от природы, как на вид, так и на осязание и запах - например, экскременты и гнилые вещи, кровь, гной, внутренности и больные ткани. Верно, что отвращение к этим вещам может быть подавлено очень легко, например, медицинским образованием; и так же верно, что импульс к их очищению может быть подавлен таким незначительным препятствием, как мысль о холода при омовении или необходимость встать для его совершения. Верно и то, что побуждение к чистоте, привычно сдерживаемое, достаточно быстро устаревает. Но ни один из этих фактов не доказывает, что побуждения к чистоте никогда не было. [391] Кажется, что он есть во всех случаях; и тогда он особенно поддается внешнему влиянию: ребенок имеет свою собственную степень брезгливости по отношению к тому, что он должен трогать или есть, и впоследствии он либо ожесточается, либо становится еще более привередливым под влиянием привычек, которые он вынужден приобретать, и примеров, среди которых он живет.

Примеры действуют на него таким образом, что особенно дурно пахнущий, катаральный или паршивый товарищ становится для него весьма оскорбительным, а в другом он видит одиозность такого количества грязи, против которого он не стал бы возражать, будь она на его собственной коже. То, что *нам не нравится в других то, что мы терпим в себе*, - это закон нашей эстетической природы, в котором не может быть никаких сомнений. Но как только в дело вступают обобщение и рефлексия, это суждение о других приводит к новому отношению к себе. "Кто научил вас вежливости? Невежливые", - это, кажется, китайская пословица. Сформировавшееся у нас понятие "грязный человек" становится понятием, под которое мы лично не хотим подпадать; поэтому в моменты, когда пробуждается наше социальное самосознание, мы "умываемся" и приводим себя в порядок так, как не побуждает к этому инстинктивная природа. Но стандарт чистоты, достигнутый таким образом, вряд ли выйдет за рамки взаимной терпимости членов племени друг к другу, а значит, может содержать в себе немало фактической грязи.

Скромность, стыд. Существует ли инстинктивное стремление скрывать определенные части тела и определенные действия, пожалуй, еще более открыто для сомнений, чем инстинкт чистоты. Антропологи отрицают это, а в абсолютной бесстыдности младенчества и многих дикарских племен, казалось, находят хорошую основу для своих взглядов. Следует, однако, помнить, что младенчество ничего не доказывает и что в том, что касается сексуальной скромности, сам сексуальный импульс работает прямо против нее в моменты возбуждения и по отношению к определенным людям; и что привычки к нескромности, приобретенные с этими людьми, могут навсегда подавить в нем всякий импульс к скромности по отношению *к ним*. Этим можно объяснить большое количество фактической нескромности, даже если бы первоначальный скромный импульс существовал. С другой стороны, скромный импульс, если он действительно существует, должен быть признан имеющим необычайно плохо определенную сферу влияния, как в отношении присутствий, которые его вызывают, так и в отношении поступков, к которым он приводит. Этнология показывает, что у него очень мало собственного хребта, и он легко следует моде и примеру. И все же трудно видеть повсеместное распространение своего рода дани стыду, пусть даже извращенному - например, когда женская скромность заключается в том, чтобы прикрывать только лицо, или нескромность - в том, чтобы появляться перед незнакомцами не накрашенным, - и считать, что она не имеет никакого импульсивного корня. Итак, что же

может быть импульсивным корнем? Я полагаю, что, во-первых, это застенчивость, чувство страха, которое могут внушать нам незнакомые люди, как объяснялось выше. Такие люди и являются первоначальным стимулом для нашей скромности.^[392] Но действия скромности совершенно отличаются от действий застенчивости. Они заключаются в сдерживании определенных телесных функций и прикрытии определенных частей тела; и почему же такие действия неизбежно возникают? То, что в человеческом животном, как таковом, *может* существовать "слепой" и непосредственный автоматический импульс к таким ограничениям и прикрытиям в вызывающих уважение присутствиях, - это возможность, которую трудно опровергнуть. Но на основании фактов кажется более вероятным, что действия скромности подсказываются нам окольными путями; и что, даже в большей степени, чем действия чистоты, они возникают в результате применения к себе во втором случае суждений, которые в первую очередь относятся к нашим товарищам. Нелегко поверить, что даже среди самых голых дикарей необычная степень цинизма и непристойности в человеке не должна порождать определенную степень презрения и удешевлять его в глазах ближнего. Человеческая природа достаточно однородна, чтобы мы могли быть уверены, что везде сдержанность должна вызывать определенное уважение и что люди, страдающие от любой вольности, - это люди, которых другие не уважают. Не быть похожим на таких людей, таким образом, было бы одним из первых решений, предложенных социальным самосознанием дитяти природы, только что вышедшему из нерефлексивного состояния. И это решение, вероятно, впервые приобрело бы действительную остроту, когда общественное самосознание было бы доведено до настоящего приступа застенчивости присутствием какого-нибудь человека, которого важно было не отвратить и не вызвать недовольства. Общественное мнение, конечно же, будет продолжать строить свои положительные заповеди на этом зародыше; и, благодаря множеству примеров и опыта, ритуал скромности будет расти, пока не достигнет новоанглийского уровня чувствительности и диапазона, заставляя нас говорить "желудок" вместо "живот", "конечность" вместо "нога", "удалиться" вместо "лечь спать" и запрещая называть собаку женского пола по имени.

По сути, это равносильно признанию того, что, хотя скромность в той или иной форме является естественной и неизбежной чертой человеческой жизни, она не обязательно должна быть инстинктом в чистом и простом эксцито-моторном смысле этого слова.

Любовь. Из всех склонностей сексуальные импульсы имеют наиболее очевидные признаки инстинктивности, в смысле слепой, автоматической и необучаемой. Телеология, заложенная в них, часто расходится с желаниями индивидов; действия совершаются без какой-либо видимой причины, а только потому, что так велит природа. Здесь, если вообще когда-либо, мы должны были бы найти те характеристики фатальности, безошибочности и единообразия, которые, как нам говорят, делают действия, совершаемые инстинктом, классом, столь совершенно отличным от других. Но так ли это? Факты говорят об обратном: половой инстинкт особенно подвержен проверке и изменениям из-за незначительных различий в индивидуальном стимуле, из-за внутреннего состояния самого агента, из-за приобретенных привычек и из-за антагонизма противоположных импульсов, действующих на разум. Один из них - обычная застенчивость, о которой мы недавно рассказывали; другой - то, что можно назвать *антисексуальным инстинктом*, инстинктом личной изоляции, фактической отталкивающей для нас идеей интимного контакта с большинством людей, которых мы встречаем, особенно с людьми нашего собственного пола.^[393] Таким образом, получается, что эта сильнейшая из всех страстей, далеко не самая "непреодолимая", может быть, наоборот, самой трудной для реализации, и что люди, в которых сильны тормозящие

влияния, могут пройти через всю жизнь и никогда не найти случая для ее удовлетворения. Невозможно найти лучшего доказательства истинности того положения, с которого мы начали изучение инстинктивной жизни в человеке, что нестандартность поведения может быть вызвана как наличием слишком большого количества инстинктов, так и отсутствием какого-либо из них вообще.

Инстинкт личной изоляции, о котором мы уже говорили, сильнее проявляется у мужчин по отношению друг к другу и сильнее у женщин по отношению к мужчинам. У женщин он называется робостью и должен быть положительно преодолен процессом ухаживания, прежде чем сексуальный инстинкт подавит его и займет свое место. Как показал Дарвин в своей книге "Происхождение человека и половой отбор", этот инстинкт сыграл важную роль в улучшении всех видов высших животных и в значительной степени ответственен за ту степень целомудрия, которую может продемонстрировать человеческая раса. Однако она ярко иллюстрирует закон подавления инстинктов привычками: однажды прервавшись с одним человеком, она не склонна проявлять себя вновь; а прервавшись, как у проститутки, с разными людьми, она может и вовсе угаснуть. Привычка также закрепляет ее в нас по отношению к определенным людям: ничто не вызывает такого неприятия, как мысль о тесном личном контакте с теми, кого мы давно знаем в почтительном и отдаленном виде. Пристрастие древних и современных восточных людей к формам неестественного порока, представление о которых вызывает у нас ужас, - это, вероятно, просто пример того, как этот инстинкт может быть подавлен привычкой. Вряд ли можно предположить, что древние обладали даром природы, склонностью, которой мы лишены, и были жертвами того, что сегодня является патологическим отклонением, присущим только отдельным людям. Более вероятно, что у них инстинкт физического отвращения к определенному классу объектов был подавлен в раннем возрасте *привычками*, сформированными под влиянием *примера*; и тогда своего рода сексуальный аппетит, зародышевой возможностью которого, скорее всего, обладает большинство мужчин, развивался неограниченно. То, что его аномальное развитие может сдерживать нормальное развитие, представляется хорошо известным медицинским фактом. А то, что направление полового инстинкта на одного индивида имеет тенденцию подавлять его применение к другим индивидам, - это закон, на котором, хотя и с многочисленными исключениями, основан весь *режим* моногамии. Эти детали немного неприятны для обсуждения, но они так прекрасно демонстрируют правильность общих принципов, в свете которых был сделан наш обзор, что невозможно было обойти их вниманием.

Ревность, несомненно, инстинктивна.

Родительская любовь - инстинкт, более сильный у женщины, чем у мужчины, по крайней мере в раннем детстве ее объекта. Мне остается лишь процитировать живое описание этого инстинкта у Шнайдера:

"Как только жена становится матерью, все ее мысли и чувства, все ее существо изменяется. До этого момента она думала только о собственном благополучии, об удовлетворении своего тщеславия; весь мир казался ей созданным только для нее; все, что происходило вокруг нее, замечалось лишь постольку, поскольку имело отношение к ней самой; она требовала от каждого, чтобы он проявлял к ней интерес, уделял ей необходимое внимание и по возможности исполнял ее желания.

Теперь, однако, в центре мира уже не она сама, а ее ребенок. Она не думает о собственном голоде, ей нужно сначала убедиться, что ребенок сыт. Для нее не имеет значения, что она сама устала и нуждается в отдыхе, пока она видит, что сон ребенка нарушен; как только он зашевелится, она просыпается, хотя теперь ее не могут разбудить и более сильные звуки. Она, которая раньше не выносила малейшей небрежности в одежде и прикасалась ко всему в перчатках, позволяет младенцу пачкать себя и не стесняется брать его за ручки голыми руками. Теперь она с величайшим терпением относится к уродливому, вопящему младенцу (*Schreihals*), тогда как до сих пор любой диссонансный звук, любой мало-мальски неприятный звук заставлял ее нервничать. Каждая конечность все еще отвратительного маленького существа кажется ей прекрасной, каждое движение наполняет ее восторгом. Одним словом, она перенесла весь свой эгоизм на ребенка и живет только им. Так, по крайней мере, происходит со всеми нетронутыми, естественно воспитанными матерями, которых, увы, становится все меньше; и так происходит со всеми матерями высших животных. Материнские радости кошки, например, не скрыть. С выражением бесконечного комфорта она протягивает передние лапы, чтобы предложить свои соски детям, и с восторгом шевелит хвостом, когда маленькие голодные рты тянут и сосут. Но не только прикосновение, не только голый вид потомства доставляет бесконечный восторг, не только потому, что мать думает, что ребенок когда-нибудь вырастет большим и красивым и принесет ей много радости, но и потому, что она получила от природы инстинктивную любовь к своим детям. Она сама не знает, почему она так счастлива, почему вид ребенка и забота о нем так приятны, не больше, чем юноша может объяснить, почему он любит девушку и так счастлив, когда она рядом. Мало кто из матерей, заботясь о своем ребенке, задумывается о том, что материнская любовь направлена на сохранение вида. Такая мысль может возникнуть в голове отца, но редко - в голове матери. Последняя чувствует только... что это вечное наслаждение - держать существо, которое она произвела на свет, защищая его на руках, одевать его, мыть, укачивать его во сне или утолять его голод".

До сих пор достойный Шнайдер, к словам которого можно добавить следующее замечание: страстная преданность матери - да и самой матери, пожалуй, - больному или умирающему ребенку - это, пожалуй, самое прекрасное нравственное зрелище, которое только может представить человеческая жизнь. Противостоящая любой опасности, побеждающая любые трудности, преодолевающая любую усталость, женская любовь здесь непобедимо превосходит все, что может продемонстрировать мужчина.

Это наиболее яркие тенденции, которые можно назвать инстинктивными у человека.^[394] Заметим, что *ни одно млекопитающее, даже обезьяна, не демонстрирует столь обширный набор*. При идеально правильном развитии каждый из этих инстинктов запускать бы привычку к определенным объектам и подавлял бы привычку к другим. Обычно так и происходит; но при одностороннем развитии цивилизованной жизни случается, что своевременный возраст проходит в своеобразном голодании на объекты, и человек вырастает с пробелами в психической конституции, которые будущий опыт никогда не сможет заполнить. Сравните состоявшегося джентльмена с бедным городским ремесленником или торговцем: в подростковом возрасте первому предлагались предметы, соответствующие его растущим интересам, телесным и умственным, как только эти интересы пробуждались, и, как следствие, он был вооружен и оснащен по всем правилам, чтобы

встретить мир. Спорт пришел на помощь и завершил его образование там, где не хватало настоящих вещей. Он вкусил все стороны человеческой жизни, будучи моряком, охотником, спортсменом, ученым, борцом, болтуном, денди, человеком дела и т. д., и все это в одном лице. Над юностью городского бедняка не висело таких золотых возможностей, а в зрелом возрасте у него не осталось и желания к большинству из них. К счастью для него, если пробелы - единственная аномалия, которую преподносит ему инстинктивная жизнь; извращения слишком часто являются плодом его неестественного воспитания.

[360] Эта глава уже появлялась (почти в том виде, в каком она сейчас напечатана) в виде журнальных статей в Scribner's Magazine и в Popular Science Monthly за 1887 год.

[361] П. А. Чедборн: Instinct, p. 28 (New York, 1872).

[362] "Было бы очень простодушно полагать, что пчелы следуют за своей королевой, защищают ее и заботятся о ней, потому что они знают, что без нее улей вымрет. Запах или облик их королевы явно приятен пчелам, поэтому они так любят ее. Не основывается ли всякая истинная любовь на приятных ощущениях в гораздо большей степени, чем на представлениях о пользе?" (G. H. Schneider, Der Thierische Wille, p. 187.) *Априори* нет никаких оснований предполагать, что *любое* ощущение не может вызвать у *какого-либо* животного эмоций и импульсов. Нам кажется неестественным, что запах должен непосредственно возбуждать гнев или страх, а цвет - вожделение. Однако есть существа, для которых некоторые запахи так же страшны, как и звуки, и, вполне вероятно, другие, для которых цвет является таким же сексуальным раздражителем, как и форма.

[363] Der Thierische Wille, pp. 282-3.

[364] В инстинктах млекопитающих и даже низших существ нет того единообразия и непогрешимости, которые еще поколение назад считались неотъемлемыми характеристиками. Миниатюрное исследование последних лет обнаружило непрерывность, переход, вариации и ошибки, где бы оно их ни искало, и решило, что то, что называется инстинктом, обычно является лишь тенденцией действовать способом, который *в среднем* довольно постоянен, но который не обязательно должен быть математически "истинным". См. по этому вопросу "Происхождение видов" Дарвина: Romanes's Mental Evol., chaps. xi to xvi incl., and Appendix; W. L. Lindsay's Mind in Lower Animals, vol. i. 133-141: ii. chaps. v, xx; and K. Semper's Conditions of Existence in Animals, where a great many instances will be found.

[365] Spalding, Macmillan's Magazine, Feb. 1878, p. 287.

[366] *Ibid.* p. 289.

[367] Полностью эти случаи описаны в "Mental Evolution in Animals", pp. 213-317.

[368] Transactions of American Neurological Association, vol. i. p. 129 (1875).

[369] "Мистер Сполдинг, - говорит мистер Льюс (Problems of Life and Mind, prob. i. chap. ii. § 22, note), - рассказывает мне о своем друге, который выращивал гусят на кухне, вдали от воды; когда этой птице исполнилось несколько месяцев и ее отнесли к пруду, она не только отказалась идти в воду, но, когда ее бросили, выскочила обратно, как это сделала бы курица. Здесь инстинкт был полностью подавлен". См. аналогичное наблюдение над утятами в книге T. R. R. Stebbing: Essays on Darwinism (London, 1871), p. 73.

[370] Senses and Intellect. 3-е изд. стр. 413-675.

[371] Nature, xii. 507 (1875).

[372] См. замечательные педагогические замечания о том, что нужно *самому делать* то, чего вы хотите добиться от своих учеников, а не просто говорить им об этом: Baumann, Handbuch der Moral (1879), p. 32 ff.

[373] О сочувствии много написано в книгах по этике. Очень хорошая недавняя глава принадлежит Тосу Фаулеру (Thos. Fowler: Принципы морали, часть ii. глава ii).

[374] "Теперь я должен обратиться к очень общей страсти, которая возникает у мальчиков, получивших естественное воспитание, особенно в деревне. Всем известно, какое удовольствие получает мальчик при виде бабочки, рыбы, краба или другого животного, или птичьего гнезда, и какая у него сильная склонность к разрыванию, разламыванию, открыванию и уничтожению всех сложных предметов, как он с удовольствием вырывает крылья и ноги у мух и мучает то одно, то другое животное, как жадно крадет тайные лакомства, с какой неодолимой силой влечет его разграбление птичьих гнезд без малейшего намерения съесть яйца или птенцов. Этот факт давно известен и ежедневно отмечается учителями; но объяснение этих импульсов, которые следуют за простым восприятием объектов, без какого-либо представления о будущем удовольствии, которое можно получить, до сих пор никем не дано, а между тем эти импульсы очень легко объяснить. Во многих случаях скажут, что мальчик тянется к вещам из любопытства. Совершенно верно: но откуда берется это любопытство, это непреодолимое желание все открыть и посмотреть, что внутри? Что заставляет мальчика вынимать яйца из гнезда и уничтожать их, когда он и не думает их есть? Это последствия наследственного инстинкта, настолько сильного, что предупреждения и наказания не могут ему противостоять". (Schneider: Der Menschliche Wille, p. 224. См. также Der Thierische Wille, pp. 180-2).

[375] Неудивительно, что, учитывая факты истории и эволюции животных, именно особый объект - кровь - должен был стать стимулом для особого интереса и возбуждения. Странно, что от ее вида люди падают в обморок. Тем более странно, что ребенок, увидевший, как течет кровь, сразу же пугается гораздо сильнее, чем от простого ощущения пореза. Рогатый скот часто, хотя и не всегда, приходит в яростное возбуждение от запаха крови. У некоторых ненормальных людей вид или мысль о ней вызывают жуткое возбуждение. "Однажды вечером Б. и его отец были у соседа, и, разбирая яблоки, старик случайно порезал руку так сильно, что из нее обильно потекла кровь. Было замечено, что Б. стал беспокойным, нервным, бледным и претерпел особые изменения в поведении. Воспользовавшись рассеянностью, вызванной происшествием, Би сбежал из дома и направился на соседний фермерский двор, где перерезал горло лошади, убив ее". Доктор Д. Х. Тьюк, комментируя случай этого человека ("Журнал психических наук", октябрь, 1885 г.), говорит о влиянии крови на него - вся его жизнь была одной цепью трусливых злодеяний - и продолжает: "Нет сомнений, что у некоторых людей она представляет собой очарование. Мы можем говорить о *мании крови*. Доктор Сэвидж некоторое время назад поместил в Вифлеемскую больницу мужчину из Франции, одним из первых симптомов безумия которого была жажда крови, которую он пытался удовлетворить, отправляясь на скотобойню в Париже. У человека, чей случай я привожу в пример, была та же страсть к злорадству по поводу крови, но у него не было приступов острой мании. Вид крови явно доставлял ему удовольствие, и в любой момент кровь пробуждала в нем самые худшие элементы его натуры. Легко вспомнить случаи, когда убийцы, несомненно безумные, описывали сильное удовольствие, которое они испытывали от теплой крови детей."

[376] "Бомбоннель, подкатившись с пантерой к границе оврага, убирает голову от открытой пасти животного и непомерным усилием скатывает ее в пропасть. Он встает, ослепленный, отплевываясь кровью, не понимая, в чем дело. Он думает только об одном - что, скорее всего, умрет от ран, но перед смертью должен отомстить пантере. Я не думал о своей боли", - рассказывает он. Одержимый яростью, которая охватила меня, я выхватил свой охотничий нож и, не понимая, что стало со зверем, стал искать ее со всех сторон, чтобы продолжить борьбу". В таком положении меня и нашли арабы, когда прибыли". (Цитируется по Guyan, La Morale sans Obligation, etc., p. 210.)

[377] Psychologie de l'Enfant, pp. 72-74. В рассказе Р. Хартманна ("Антропоидные обезьяны", Международная научная серия, том lii (Нью-Йорк, 1886), стр. 265) о молодой горилле, цитируемом по Фалькенштейну, говорится следующее: "Ему очень не нравились странные звуки. Гром, дождь, падающий на крышу, и особенно протяжная нота трубы или труба приводили его в такое возбуждение, что вызывали внезапное поражение органов пищеварения, и было целесообразно держать его на расстоянии. Когда он был немного нездоров, мы использовали эту музыку с таким же успехом, как если бы мы применяли чистящее лекарство".

[378] Der Menschliche Wille, p. 224.

[379] Cp. Romanes. Mental Evolution, etc., p. 156.

[380] В "Overland Monthly" за 1887 год мистер Э. К. Сэндфорд опубликовал интереснейшую статью о творчестве Лоры Бриджмен. Среди прочих воспоминаний о своем раннем детстве, когда она еще ничего не знала о языке жестов, замечательная слепоглухонемая записала на своем причудливом языке следующее: "Мой отец [он был фермером и, вероятно, сам занимался разделкой скота] часто заходил на кухню, принося с собой убитых животных, и много раз клал их на одну из сторон комнаты. Когда я это видел, то вздрагивал от ужаса, потому что не понимал, в чем дело. Я ненавидел приближаться к мертвым. Однажды утром я отправилась на небольшую прогулку с мамой. Я зашла в уютный домик на некоторое время. Меня привели в комнату, где стоял гроб. Я положила руку в гроб и почувствовала что-то странное. Это меня неприятно напугало. Я обнаружила что-то мертвое, тщательно завернутое в шелковый х'д'к'ф. Должно быть, это было тело, которое обладало жизненной силой..... Я не решился осмотреть тело, потому что был в замешательстве".

[381] Недавно я видел, как мальчик пяти лет (ему рассказали историю Гектора и Ахилла) учил своего младшего брата, трех лет, играть Гектора, а сам должен был играть Ахилла и преследовать его вокруг стен Трои. Вооружившись, Ахиллес выступил вперед с криком "Где мой Патроклос?". Тогда будущий Гектор, отвлекшись от своей роли, закричал: "Где мой Патроклос? Мне нужен Патроклос! Мне нужен Патроклос!" - и прервал игру. О том, что это может быть за Патроклос, он, конечно, не имел ни малейшего представления - достаточно было того, что у его брата был такой, чтобы он тоже стал претендовать на него.

[382] В "The Nation" за 3 сентября 1886 года президент Г. С. Холл рассказал о статистическом исследовании бостонских школьников, проведенном мисс Вилтсе, из которого следует, что только девятнадцать из двухсот двадцати девяти не делали коллекций.

[383] Цитируется в Lindsay, "Mind in Lower Animals", vol. ii. p. 151.

[384] Cp. Flint, Mind, vol. i. pp. 330-383; Sully, ibid. p. 567. Большинство людей, вероятно, испытывают импульс хранить бесполезные вещи, старые инструменты, части некогда

полезных приборов и т. д.; но обычно он либо подавляется в самом начале размышлениями, либо, если ему поддаться, предметы вскоре становятся неприятными и выбрасываются.

[385] Der Menschliche Wille, p. 205.

[386] Профессор Лазарус (Die Reize des Spieles, Berlin, 1883, p. 44) отрицает, что у нас есть *инстинкт* игры, и говорит, что корень дела в *отвращении к незанятости*, которая заменяет мнимое занятие, когда нет настоящего. Несомненно, это так, но почему именно такие формы мнимого занятия? *Элементы* всех телесных игр и церемониальных игр даются прямыми эксцито-моторными стимулами - так же, как когда щенки гоняются друг за другом, а ласточки устраивают парламент.

[387] Inquiries into Human Faculty, p. 72.

[388] Expression of the Emotions (New York, 1873), p. 330.

[389] "Уверенность в том, что мы хорошо одеты, - сказала одна очаровательная женщина, - дает нам такой душевный покой, по сравнению с которым утешения религии - ничто".

[390] Теккерей в своей изысканной "круглой" статье "О меловом знаке на двери" говорит: "Истину обычно узнаешь только от равных; так что, мой добрый мистер Холишейд, не говорите со мной о привычной откровенности молодого итонца высокого происхождения, иначе у меня сложится собственное мнение о *вашей* откровенности или проницательности, когда вы это сделаете. Нет, Том Боулинг - душа чести, он верен Черноглазому Сьюзану с тех пор, как они расстались на старой лестнице в Уоппинге; но неужели вы полагаете, что в разговоре с адмиралом Нельсоном, к. к. Б., Том совершенно откровенен, знаком и не лезет на рожон? Между Томом и адмиралом есть секреты, умолчания, ложь, если хотите, - между *вашей* командой (слугами) и *их* капитаном. Я знаю, что нанимаю достойного, чистоплотного, приятного и добросовестного мужчину или женщину-лицемера за столько-то гиней в год, чтобы он делал для меня то-то и то-то. Если бы он был не лицемером, я бы послал его по своим делам".

[391] Безумный симптом, называемый "мизофобией", или страхом перед нечистотами, который заставляет пациента мыть руки, возможно, сто раз в день, вряд ли можно объяснить, если не предположить, что это примитивный импульс к самоочищению, который является, так сказать, конвульсивным преувеличением.

[392] "Мы часто видим, что скромность появляется только в присутствии иностранцев, особенно одетых европейцев. Только перед ними индианки в Бразилии прикрываются поясом, только перед ними женщины на Тиморе скрывают свое лоно. В Австралии мы наблюдаем то же самое". (Th. Waitz, Anthropologie der Naturvölker, vol. i. p 358.) Автор приводит библиографические ссылки, которые я опускаю.

[393] Большинству из нас даже неприятно садиться на стул, еще теплый от чужого тела. Для многих неприятно рукопожатие.

[394] Некоторые, конечно, сочтут этот список слишком большим, другие - слишком маленьким. Поскольку границы инстинкта переходят в рефлекторное действие вниз, а в приобретенную привычку или предполагаемую деятельность вверх, вероятно, всегда будут возникать споры о том, что именно включать в этот класс. Добавим ли мы в список инстинктов склонность ходить по бордюрному камню или любой другой узкой тропинке? Вычесть ли из него скрытность, обусловленную застенчивостью или страхом? Кто знает? Между тем наш физиологический метод обладает тем неоценимым преимуществом, что

подобные вопросы ограничения не имеют ни теоретического, ни практического значения. Факты, однажды отмеченные, не имеют большого значения, как они названы. Большинство авторов дают более короткий список, чем тот, что приведен в тексте. Френологи добавляют к своему списку "чувств" липкость, житейскую привязанность, любовь к одобрению и т. д. и т. п., которые в основном совпадают с нашим списком инстинктов. Фортлаге в своей "Системе психологии" относит к *трибам* все вегетативные физиологические функции. Сантлус (Zur Psychologie der Menschlichen Triebe, Leipsic, 1864) утверждает, что существует всего три инстинкта: "бытия", "функции" и "жизни". Инстинкт бытия он подразделяет на *животный*, охватывающий деятельность всех органов чувств, и *психический*, охватывающий действия интеллекта и "трансэмпирического сознания". Инстинкт функции он делит на *сексуальный*, *склонный* (дружба, привязанность, честь) и *моральный* (религия, филантропия, вера, истина, нравственная свобода и т. д.). Инстинкт жизни включает в себя *сохранение* (питание, движение), *общительность* (подражание, юридические и этические договоренности) и *личный интерес* (любовь к независимости и свободе, приобретательство, самозащита). Такой запутанный список показывает, насколько велики преимущества физиологического анализа, который мы использовали.

ГЛАВА XXV.[395]

ЭМОЦИИ.

Говоря об инстинктах, невозможно отделить их от сопутствующих им эмоциональных возбуждений. Объекты гнева, любви, страха и т. д. не только побуждают человека к внешним поступкам, но и вызывают характерные изменения в его поведении и облике, а также специфическим образом влияют на дыхание, кровообращение и другие органические функции. Когда внешние действия подавляются, эти последние эмоциональные проявления все равно остаются, и мы читаем гнев на лице, хотя удар может и не быть нанесен, а страх выдает себя в голосе и цвете, хотя можно подавить все остальные признаки.

Инстинктивные реакции и эмоциональные проявления, таким образом, незаметно переходят друг в друга. Каждый объект, возбуждающий инстинкт, вызывает и эмоцию. Эмоции, однако, отстают от инстинктов тем, что эмоциональная реакция обычно заканчивается в собственном теле субъекта, в то время как инстинктивная реакция способна пойти дальше и вступить в практические отношения с возбуждающим объектом.

Эмоциональные реакции часто вызываются объектами, с которыми мы не имеем никаких практических дел. Например, смешной или красивый объект - это не обязательно объекты, с которыми мы что-то делаем; мы просто смеемся или восхищаемся, в зависимости от ситуации. Таким образом, класс эмоциональных импульсов гораздо больше, чем класс инстинктивных импульсов, обычно называемых так. Его стимулы более многочисленны, а выражения более внутренние и тонкие, и зачастую менее практичные. Однако физиологический план и сущность этих двух классов импульсов одинакова.

Как и в случае с инстинктами, так и в случае с эмоциями, одного лишь воспоминания или воображения об объекте может быть достаточно, чтобы освободить возбуждение. Размышляя об оскорблении, можно разозлиться сильнее, чем в момент его получения; мы больше плачем по умершей матери, чем когда она была жива. В оставшейся части главы я буду использовать слово "*объект* эмоций" безразлично для обозначения того, что физически присутствует, или того, о чем просто думается.

Было бы утомительно перечислять весь список реакций, которыми характеризуются различные эмоции. Для этого необходимо обратиться к специальным трудам. Однако несколько примеров их разнообразия должны найти здесь свое место. Начну с проявлений Скорби, как их описывает датский физиолог К. Ланге:[396]

"Главной особенностью физиогномики горя является, пожалуй, его парализующее воздействие на волевые движения. Этот эффект ни в коем случае не столь экстремален, как тот, который производит испуг, он редко превышает ту степень ослабления, которая заставляет затрачивать усилия на выполнение действий, обычно совершаемых с легкостью. Другими словами, это чувство усталости; и (как при любой усталости) движения совершаются медленно, тяжело, без сил, неохотно, с напряжением и ограничиваются минимально возможными. Это накладывает свой отпечаток на внешность скорбящего: он ходит медленно, неустойчиво, волоча ноги и свесив руки. Его голос слаб и не имеет резонанса из-за слабой активности дыхательных мышц и гортани. Он предпочитает сидеть неподвижно, погрузившись в себя и молча. Тонус или "скрытая иннервация" мышц поразительно снижена. Шея согнута, голова свисает ("склоняется" от горя), расслабление щечных и челюстных мышц делает лицо длинным и узким, челюсть может даже отвисать. Глаза кажутся большими, как это всегда бывает при параличе *круговой* мышцы, но часто они могут быть частично прикрыты верхним веком, которое опускается вследствие ослабления собственного *леватора*. С этим состоянием слабости волевого нервно-мышечного аппарата всего тела сосуществует, как уже говорилось выше, как и во всех состояниях подобной двигательной слабости, субъективное ощущение усталости и тяжести, чего-то, что тяготит человека; человек чувствует себя "опущенным", "угнетенным", "отягощенным", он говорит о своем "грузе печали", он должен "выстоять" под ним, так же как он должен "сдерживать" свой гнев. Многие из них "поддаются" печали до такой степени, что буквально не могут стоять прямо, но опускаются или опираются на окружающие предметы, падают на колени или, подобно Ромео в монашеской келье, в отчаянии бросаются на землю.

"Но эта слабость всего волевого двигательного аппарата (так называемого аппарата "животной" жизни) - лишь одна сторона физиологии горя. Другая сторона, едва ли менее важная, а по своим последствиям, возможно, даже более, относится к другому подразделению двигательного аппарата, а именно к произвольным или "органическим" мышцам, особенно тем, которые находятся в стенках кровеносных сосудов, и польза которых заключается в том, что они, сокращаясь, уменьшают калибр последних. Эти мышцы и их нервы, образующие вместе "вазомоторный аппарат", действуют в горе противоположно волевому двигательному аппарату. Вместо того чтобы быть парализованными, как последние, сосудистые мышцы сокращаются сильнее, чем обычно, так что ткани и органы тела становятся бескровными. Непосредственным следствием бескровности является бледность и худоба, а бледный цвет и осунувшиеся черты лица - это те особенности, которые, в сочетании с расслаблением лица, придают жертве горя характерную физиономию, и часто создают впечатление истощения, которое наступает слишком быстро, чтобы быть возможным из-за реального нарушения питания или истощения, не компенсированного восстановлением. Другим регулярным следствием бескровности кожи является ощущение холода и дрожь. Постоянный симптом горя - чувствительность к холоду и трудности с сохранением тепла. В горе внутренние органы, как и кожа, несомненно, подвержены анемии. Это, конечно, не очевидно для глаза, но многие явления доказывают это. Например, уменьшение

количества различных выделений, по крайней мере тех, которые доступны наблюдению. Рот становится сухим, язык липким, появляется горький привкус, который, судя по всему, является лишь следствием сухости языка. [У кормящих женщин молоко уменьшается или вовсе высыхает. Есть одно из наиболее регулярных проявлений горя, которое, по-видимому, противоречит другим физиологическим явлениям, - это плач с обильным выделением слез, опухшим покрасневшим лицом, красными глазами и усиленным выделением из слизистой оболочки носа".

Далее Ланге предполагает, что это может быть реакцией на ранее суженное вазомоторное состояние. Это объяснение кажется вынужденным. Дело в том, что проявления горя изменчивы. Плач может быть как мгновенным, так и не мгновенным, особенно у женщин и детей. Некоторые мужчины никогда не могут плакать. У всех, кто умеет плакать, чередуются слезные и сухие фазы, бури рыданий сменяются периодами затишья; а сморщенное, холодное и бледное состояние, которое так хорошо описал Ланге, скорее характерно для сильного осевшего горя, чем для острой душевной боли. Здесь мы имеем две различные эмоции, обе вызванные одним и тем же объектом, но затрагивающие разных людей или одного и того же человека в разное время и *испытывающие* совершенно разные *ощущения* в течение всего времени, о чем может свидетельствовать сознание любого человека. Во время приступа плача возникает возбуждение, которое не лишено определенного резкого удовольствия; но нужно быть гением счастья, чтобы обнаружить хоть крупицу искупительного качества в ощущении сухой и сжатой печали.- Наш автор продолжает:

"Если мелкие сосуды легких сужаются так, что эти органы становятся анемичными, мы имеем (как обычно бывает при таких условиях) ощущение недостаточного дыхания и угнетения грудной клетки, и эти мучительные ощущения усиливают страдания страдальца, который ищет облегчения в длинных затяжных вздохах, инстинктивно, как и каждый, кому не хватает дыхания по какой-либо причине.[\[397\]](#)

"Анемия мозга при горе проявляется в интеллектуальной инертности, тупости, чувстве умственной усталости, напряжении и неспособности к работе, часто в бессоннице. Действительно, именно анемия двигательных центров мозга лежит в основе всего того ослабления волевых способностей к движению, которое мы описали в первом случае".

Мне кажется, что в этом описании доктор Ланге слишком упрощает и универсализирует явления, и в частности, он, скорее всего, переборщил с анемией. Но как бы то ни было, его рассказ может служить хорошим образцом описательной работы, к которой привели эмоции.

Возьмем другую эмоцию, страх, и прочитаем, что говорит мистер Дарвин о ее последствиях:

"Страх часто предшествует изумлению и настолько сродни ему, что в обоих случаях мгновенно возбуждаются органы зрения и слуха. В обоих случаях глаза и рот широко открываются, а брови поднимаются. Испуганный человек сначала стоит как статуя, неподвижно и бездыханно, или приседает, как будто инстинктивно желая скрыться от наблюдения. Сердце бьется быстро и сильно, так что прощупывается или стучит о ребра; но очень сомнительно, что оно работает более эффективно, чем обычно, чтобы обеспечить больший приток крови ко всем частям тела; ведь кожа мгновенно становится бледной, как при начинающемся обмороке. Эта бледность

поверхности, однако, вероятно, в значительной степени или исключительно обусловлена воздействием на вазомоторный центр таким образом, чтобы вызвать сужение мелких артерий кожи. О том, что кожа сильно страдает при чувстве сильного страха, можно судить по тому, каким удивительным образом из нее немедленно выделяется пот. Это выделение тем более примечательно, что поверхность кожи в этот момент холодная, отсюда и термин "холодный пот", тогда как потогонные железы начинают действовать, когда поверхность кожи нагревается. Волоски на коже также встают дыбом, а поверхностные мышцы дрожат. В связи с нарушенной работой сердца дыхание учащается. Слюнные железы работают несовершенно; рот становится сухим и часто открывается и закрывается. Я также заметил, что при легком страхе возникает сильная склонность к зевоте. Один из наиболее заметных симптомов - дрожание всех мышц тела; часто это проявляется в первую очередь на губах. По этой причине, а также из-за сухости во рту голос становится хриплым, невнятным или вовсе пропадает. 'Obstupui steteruntque comæ, et vox faucibus hæsit.'... Когда страх перерастает в агонию ужаса, мы наблюдаем, как и при всех сильных эмоциях, разнообразные результаты. Сердце бьется дико или не может работать, и наступает обморок; появляется бледность, похожая на смертельную; дыхание затруднено; крылья ноздрей широко расширены; судорожное движение губ, дрожь впалых щек, глотание и перехват горла; выпученные и выпяченные глазные яблоки фиксируются на объекте ужаса; или они могут беспокойно перекашиваться из стороны в сторону, *huc illuc volens oculos totumque pererrat*. Зрачки, как говорят, чрезвычайно расширены. Все мышцы тела могут стать ригидными или же быть брошены в конвульсивные движения. Руки попеременно сжимаются и разжимаются, часто с судорожными движениями. Руки могут быть вытянуты вперед, как будто для предотвращения страшной опасности, или дико вскинута над головой. Преподобный мистер Хагенауэр наблюдал это последнее действие у испуганного австралийца. В других случаях возникает внезапная и неконтролируемая тенденция к стремительному бегству; она настолько сильна, что самые смелые солдаты могут быть охвачены внезапной паникой".[398]

Наконец, возьмите Ненависть и прочтите описание ее возможных эффектов, данное Сигом. Мантегацца:[399]

"Отведение головы назад, отведение туловища; вытягивание вперед рук, как бы для самозащиты от ненавистного объекта; сужение или закрытие глаз; поднятие верхней губы и закрытие носа - все это элементарные движения отворачивания. Далее следуют угрожающие движения, такие как: напряженное нахмуривание; широко раскрытые глаза; демонстрация зубов; скрежет зубов и сжатие челюстей; открытый рот с выдвинутым языком; сжатые кулаки; угрожающее действие рук; топот ног; глубокие вдохновения-дыхание; рычание и различные крики; автоматическое повторение одного слова или слога; внезапная слабость и дрожание голоса; плевки. И наконец, различные разнообразные реакции и вазомоторные симптомы: общая дрожь; судороги губ и лицевых мышц, конечностей и туловища; акты насилия над собой, например, кусание кулаков или ногтей; сардонический смех; яркое покраснение лица; внезапная бледность лица; крайнее расширение ноздрей; вставание волос на голове".

Если бы мы проанализировали весь список эмоций, названных людьми, и изучили их органические проявления, мы бы просто проследили изменения элементов, которые включают в себя эти три типичных случая. Ригидность этой мышцы, расслабление той,

сужение артерий здесь, расширение там, дыхание того или иного рода, замедление или учащение пульса, секреция этой железы и сухость той, и т. д., и т. п. Более того, мы должны были обнаружить, что наши описания не имеют абсолютной истины; что они применимы только к среднему человеку; что каждый из нас, почти каждый, имеет какую-то личную идиосинкразию выражения, смеется или рыдает не так, как его сосед, краснеет или бледнеет там, где другие этого не делают. Мы должны обнаружить подобную вариативность в объектах, которые вызывают эмоции у разных людей. Шутки, над которыми один взрывается от смеха, вызывают у другого тошноту, а третьему кажутся кошунственными; случаи же, ошеломляющие меня страхом или стыдливостью, как раз и дают вам полное ощущение легкости и силы. Внутренние оттенки эмоционального чувства, более того, бесконечно сливаются друг с другом. Язык выделил некоторые из них, такие как ненависть, антипатия, враждебность, неприязнь, отвращение, злость, злоба, мстительность, отвращение и т. д. и т. п.; но в словарях синонимов мы находим эти чувства, различающиеся скорее по соответствующим объективным стимулам, чем по их сознательному или субъективному тону.

Результатом всего этого потока является то, что чисто описательная литература по эмоциям - одна из самых утомительных частей психологии. И не только утомительная, но вы чувствуете, что ее подразделы в значительной степени либо фиктивны, либо не важны, и что ее претензии на точность являются притворством. Но, к сожалению, психологических работ об эмоциях, которые не были бы просто описательными, очень мало. Когда эмоции описываются в романах, они интересуют нас, потому что нас заставляют разделить их. Мы познакомились с конкретными объектами и чрезвычайными ситуациями, которые их вызывают, и любой знающий штрих самоанализа, который может украсить страницу, находит быстрый и чувственный отклик. Признанные литературные произведения афористической философии также освещают нашу эмоциональную жизнь и доставляют нам приступообразное наслаждение. Но что касается "научной психологии" эмоций, то, возможно, я слишком увлекся чтением классических работ на эту тему, но я с таким же удовольствием прочитал бы словесные описания форм скал на ферме в Нью-Гэмпшире, как и снова пролистал бы их. Они нигде не дают центральной точки зрения, дедуктивного или генеративного принципа. Они различают, уточняют и конкретизируют *бесконечно*, никогда не переходя на другой логический уровень. В то время как прелесть всей подлинно научной работы заключается в том, чтобы подниматься на все более глубокие уровни. Нет ли выхода с этого уровня индивидуального описания в случае с эмоциями? Я верю, что выход есть, но боюсь, что немногие им воспользуются.

Проблема с эмоциями в психологии заключается в том, что их слишком часто рассматривают как абсолютно индивидуальные вещи. Пока они рассматриваются как множество вечных и священных психических сущностей, подобно старым неизменным видам в естественной истории, все, что *можно* с ними сделать, - это благоговейно каталогизировать их отдельные характеры, моменты и эффекты. Но если рассматривать их как продукты более общих причин (как "виды" сейчас рассматриваются как продукты наследственности и вариаций), то простое различение и каталогизация приобретают вспомогательное значение. Имея гусыню, несущую золотые яйца, описание каждого уже снесенного яйца становится второстепенным делом. Теперь общие причины эмоций, несомненно, физиологические. Профессор О. Ланге из Копенгагена в брошюре, из которой я уже цитировал, опубликовал в 1885 году физиологическую теорию их формирования и обусловленности, которую я уже затрагивал в предыдущем году в статье в журнале Mind. Ни один из критических замечаний, которые я слышал в ее адрес, не заставил меня усомниться в ее истинности. Поэтому следующие несколько страниц я посвящаю объяснению того, что она собой представляет. В первую очередь я ограничусь тем, что можно назвать *более*

грубыми эмоциями - горем, страхом, яростью, любовью, - в которых каждый признает сильную органическую реверберацию, а затем расскажу о более *тонких* эмоциях или о тех, чья органическая реверберация менее очевидна и сильна.

ЭМОЦИЯ СЛЕДУЕТ ЗА ТЕЛЕСНЫМ ВЫРАЖЕНИЕМ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В БОЛЕЕ ГРУБЫХ ЭМОЦИЯХ.

Наш естественный способ думать об этих более грубых эмоциях заключается в том, что ментальное восприятие какого-то факта возбуждает ментальный аффект, называемый эмоцией, и что это последнее состояние ума дает начало телесному выражению. Моя теория, напротив, состоит в том, что *телесные изменения следуют непосредственно за восприятием возбуждающего факта, и что наше ощущение тех же изменений по мере их возникновения и есть эмоция*. Здравый смысл говорит: мы теряем состояние, сожалеем и плачем; мы встречаем медведя, пугаемся и убегаем; нас оскорбляет соперник, мы злимся и бьем. Гипотеза, которую нам предстоит защищать, гласит, что такой порядок последовательности неверен, что одно психическое состояние не сразу вызывается другим, что между ними сначала должны быть телесные проявления, и что более рационально утверждать, что мы сожалеем, потому что плачем, сердимся, потому что ударяем, боимся, потому что дрожим, а не то, что мы плачем, ударяем или дрожим, потому что сожалеем, сердимся или боимся, в зависимости от случая. Без телесных состояний, следующих за восприятием, оно было бы чисто когнитивным по форме, бледным, бесцветным, лишенным эмоционального тепла. Мы можем увидеть медведя и решить, что лучше бежать, получить оскорбление и счесть правильным ударить, но на самом деле не должны *испытывать* страха или гнева.

Высказанная в такой грубой форме, гипотеза наверняка встретит немедленное недоверие. И все же не требуется ни многочисленных, ни надуманных рассуждений, чтобы смягчить ее парадоксальный характер и, возможно, убедить в ее истинности.

Начнем с того, что ни один читатель последних двух глав не будет склонен сомневаться в том, что *объекты действительно вызывают телесные изменения с помощью предорганизованного механизма, или в том, что эти изменения настолько бесконечно многочисленны и тонки, что весь организм можно назвать резонатором*, который каждое изменение сознания, каким бы незначительным оно ни было, может вызвать реверберацию. Различные перестановки и комбинации, которым подвержена эта органическая деятельность, делают абстрактно возможным, чтобы ни один оттенок эмоции, каким бы незначительным он ни был, не имел телесного отзвука, столь же уникального, как и само психическое настроение, если брать его в целом. Огромное количество частей, изменяющихся в каждой эмоции, делает столь трудным для нас хладнокровное воспроизведение полного и целостного выражения любой из них. Мы можем поймать трюк с волевыми мышцами, но потерпеть неудачу с кожей, железами, сердцем и другими внутренностями. Как искусственно имитируемый чих лишен чего-то реального, так и попытка имитировать эмоцию в отсутствие ее нормальной провоцирующей причины может оказаться довольно "пустой".

Следующее, на что следует обратить внимание, это то, что *каждое из телесных изменений, каким бы оно ни было, ощущается, остро или неясно, в тот момент, когда оно происходит*. Если читатель никогда не обращал внимания на этот вопрос, ему будет интересно и удивительно узнать, сколько различных локальных телесных ощущений он может обнаружить в себе как характерные для различных эмоциональных настроений. Пожалуй, было бы слишком ожидать, что он остановит прилив сильного порыва страсти ради

такого любопытного анализа; но он может наблюдать более спокойные состояния, и здесь можно предположить, что то, что верно в отношении большего, верно и в отношении меньшего. Весь наш кубический объем ощутимо живой; и каждая его частица вносит свои пульсации чувств, тусклые или острые, приятные, болезненные или сомнительные, в то ощущение личности, которое каждый из нас неизменно носит с собой. Удивительно, какие мелочи акцентируют внимание на этих комплексах чувств. Когда вас беспокоит какая-нибудь мелкая неприятность, вы можете обнаружить, что в центре вашего телесного сознания находится сужение, часто совсем незначительное, глаз и бровей. При кратковременном смущении что-то в глотке заставляет сглотнуть, прочистить горло или слегка кашлянуть; и так далее, сколько угодно примеров. Если нас интересует общее представление, а не детали, я не буду задерживаться на их обсуждении, но, приняв к сведению, что каждое изменение, которое происходит, должно ощущаться, я пойду дальше.

Теперь я перехожу к изложению важнейшего положения всей моей теории, которое заключается в следующем: *Если мы воображаем какую-то сильную эмоцию, а затем пытаемся абстрагировать от нашего сознания все ощущения ее телесных симптомов, мы обнаруживаем, что у нас ничего не осталось*, никаких "вещей разума", из которых можно было бы составить эмоцию, и что холодное и нейтральное состояние интеллектуального восприятия - это все, что остается. Правда, хотя большинство людей, когда их спрашивают, говорят, что их интроспекция подтверждает это утверждение, некоторые упорно продолжают утверждать, что это не так. Многих невозможно заставить понять вопрос. Когда вы просите их вывести всякое чувство смеха и склонности к смеху из их сознания смехотворности объекта, а затем сказать вам, на что будет похоже ощущение его смехотворности, будет ли оно чем-то большим, чем восприятие того, что объект принадлежит к классу "смешных", они упорно отвечают, что предложенная вещь физически невозможна, и что они всегда *должны* смеяться, если видят смешной объект. Конечно, предлагаемая задача не является практической - увидеть смешной объект и уничтожить свою склонность к смеху. Это чисто умозрительная задача - вычесть определенные элементы чувства из эмоционального состояния, которое должно существовать во всей своей полноте, и сказать, что представляют собой оставшиеся элементы. Я не могу не думать, что все, кто правильно понимает эту проблему, согласятся с изложенным выше предложением. Что за эмоция страха останется, если не будет ни учащенного сердцебиения, ни поверхностного дыхания, ни дрожащих губ, ни ослабевших конечностей, ни гусиной плоти, ни висцеральных волнений, мне совершенно невозможно представить. Можно ли представить себе состояние ярости и вообразить, что в груди не бурлит, лицо не покраснело, ноздри не расширены, зубы не стиснуты, нет побуждения к энергичным действиям, а вместо них - вялые мышцы, спокойное дыхание и безмятежное лицо? Настоящий автор, например, точно не может. Ярость полностью испарилась, как и ощущения от ее так называемых проявлений, и единственное, что можно предположить на ее место, - это хладнокровный и беспристрастный судебный приговор, ограниченный исключительно интеллектуальной сферой, о том, что определенный человек или люди заслуживают наказания за свои грехи. Точно так же и горе: чем бы оно было без слез, без рыданий, без удушья в сердце, без боли в грудной кости? Бесчувственное осознание того, что некоторые обстоятельства плачевны, и ничего более. Каждая страсть, в свою очередь, рассказывает одну и ту же историю. Чисто бесплотная человеческая эмоция - это ничто. Я не говорю, что это противоречие в природе вещей или что чистые духи обязательно обречены на холодную интеллектуальную жизнь; но я говорю, что для *нас* эмоции, отделенные от всех телесных ощущений, немыслимы. Чем внимательнее я изучаю свои состояния, тем больше убеждаюсь, что какие бы настроения, привязанности и страсти я ни испытывал, они на самом деле обусловлены и состоят из тех телесных изменений, которые мы обычно называем их выражением или следствием; и тем

больше мне кажется, что если бы я стал телесно анестетиком, то был бы исключен жизни привязанностей, как суровых, так и нежных, и влачил бы существование лишь в познавательной или интеллектуальной форме. Такое существование, хотя оно и было идеалом древних мудрецов, слишком апатично, чтобы к нему стремились те, кто родился после возрождения поклонения чувственности несколько поколений назад.

Пусть этот взгляд не называют материалистическим. Она не более и не менее материалистична, чем любая другая точка зрения, утверждающая, что наши эмоции обусловлены нервными процессами. Ни один читатель этой книги вряд ли восстанет против такого утверждения, пока оно выражено в общих чертах; и если кто-то все же найдет материализм в защищаемом сейчас тезисе, то это должно быть связано с особыми процессами, на которые он ссылается. Это *сенсационные* процессы, процессы, обусловленные внутренними токами, возникающими в результате физических событий. Такие процессы, правда, всегда рассматривались платонизаторами в психологии как имеющие в себе нечто специфически базовое. Но наши эмоции всегда должны быть *внутренне* такими, какие они есть, какова бы ни была физиологическая подоплека их появления. Если они являются глубокими, чистыми, достойными, духовными фактами по любой мыслимой теории их физиологического источника, они остаются не менее глубокими, чистыми, духовными и достойными уважения по этой нынешней сенсационной теории. Они несут в себе свою собственную внутреннюю меру ценности; и так же логично использовать современную теорию эмоций для доказательства того, что сенсационные процессы не обязательно должны быть мерзкими и материальными, как и использовать их мерзость и материальность в качестве доказательства того, что такая теория не может быть истинной.

Если такая теория верна, то каждая эмоция - это результат суммы элементов, и каждый элемент вызван физиологическим процессом, уже хорошо известным. Все элементы - это органические изменения, и каждый из них является рефлекторным эффектом возбуждающего объекта. Теперь сразу же возникают определенные вопросы - вопросы, сильно отличающиеся от тех, которые были единственно возможными без этого взгляда. Это были вопросы классификации: "Какие существуют роды эмоций, а какие - виды?" или описания: "Каким выражением характеризуется каждая эмоция?". Теперь же вопросы носят *каузальный характер*: "Какие изменения возбуждает этот объект и какие изменения возбуждает этот объект?" и "Как получилось, что они возбудили именно эти изменения, а не другие?". Мы переходим от поверхностного к глубокому уровню исследования. Классификация и описание - низшая ступень науки. Они отходят на второй план, как только формулируются вопросы генезиса, и остаются важными лишь постольку, поскольку облегчают нам ответы на них. Теперь, когда генезис эмоции объясняется как возбуждение объектом множества рефлекторных актов, которые тут же ощущаются, *мы сразу же видим, почему нет предела числу возможных различных эмоций, которые могут существовать, и почему эмоции разных людей могут неограниченно различаться* как по своей структуре, так и по объектам, которые их вызывают. Ведь в рефлекторном действии нет ничего сакраментального или вечно фиксированного. Возможен любой вид рефлекторного воздействия, а рефлексы, как известно, варьируются бесконечно.

"Мы все видели, как люди немеют, вместо того чтобы говорить от радости; видели, как испуг пускает кровь в голову своей жертвы, вместо того чтобы сделать ее бледной; видели, как горе беспокойно бежит по улицам, вместо того чтобы сидеть, склонившись и немо, и т. д. и т. п., и это вполне естественно, ведь одна и та же причина может по-разному действовать на кровеносные сосуды разных людей

(поскольку они не всегда реагируют одинаково), более того, импульс на пути через мозг к вазомоторному центру испытывает разное влияние различных более ранних впечатлений в виде воспоминаний или ассоциаций идей".[400]

Короче говоря, *любая классификация эмоций считается такой же истинной и такой же "естественной", как и любая другая*, если только она служит какой-то цели; а такой вопрос, как "Каково "реальное" или "типичное" выражение гнева или страха?", как видно, вообще не имеет объективного смысла. Вместо него мы теперь имеем вопрос о том, как могло появиться то или иное "выражение" гнева или страха; и это реальный вопрос физиологической механики, с одной стороны, и истории - с другой, на который (как и на все реальные вопросы), по сути, можно ответить, хотя ответ может быть трудно найти. На одной из последующих страниц я расскажу о попытках ответить на него, которые были предприняты.

ТРУДНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ ТЕОРИИ.

Таким образом, я достаточно полно изложил то, что кажется мне наиболее плодотворным способом представления об эмоциях. Следует признать, что пока это лишь гипотеза, лишь *возможная* истинная концепция, и что для ее однозначного доказательства еще многого не хватает. Единственный способ принудительно опровергнуть ее, однако, заключался бы в том, чтобы взять какую-нибудь эмоцию и проявить в ней качества чувства, которые должны быть *явно* дополнительными ко всем тем, которые могли бы быть получены от органов, затронутых в тот момент. Но обнаружить с уверенностью такие чисто духовные качества чувств было бы, очевидно, задачей, непосильной для человека. У нас, как говорит профессор Ланге, нет абсолютно никакого непосредственного критерия, по которому можно было бы отличить духовные чувства от телесных; и, добавлю, чем больше мы обостряем наше самоанализ, тем более *локализованными* становятся все наши качества чувств (см. выше, т. I, с. 300) и тем труднее, следовательно, становится их различение.[401]

С другой стороны, положительным доказательством теории было бы, если бы нам удалось найти субъекта, абсолютно анестетичного внутри и снаружи, но не паралитика, так что объекты, вызывающие эмоции, могли бы вызывать у него обычные телесные проявления, но который, будучи опрошенным, сказал бы, что не испытывает никаких субъективных эмоциональных привязанностей. Такой человек подобен тому, кто, поскольку он ест, кажется посторонним голодным, но впоследствии признается, что у него совсем не было аппетита. Подобные случаи найти крайне сложно. В медицинской литературе, насколько мне известно, описаны всего три случая. В знаменитом случае с Ремигиусом Лейнсом журналисты не упоминают о его эмоциональном состоянии. В случае доктора Г. Винтера[402] говорится, что пациент был инертным и флегматичным, но никакого особого внимания, как я узнал от доктора В., не было уделено его психическому состоянию. В необычном случае, о котором сообщает профессор Штрюмпель (о котором я должен упомянуть позже в другой связи)[403], мы читаем, что пациент, пятнадцатилетний ученик сапожника, полностью анестетик, внутри и снаружи, за исключением одного глаза и одного уха, проявлял *стыд* по случаю загрязнения своей постели и *горевал*, когда перед ним ставили ранее любимое блюдо, при мысли, что он больше не может чувствовать его вкус. Доктор Штрюмпель также любезно сообщил мне, что в некоторых случаях он проявлял *удивление, страх и гнев*. Однако, наблюдая за ним, ни одна из теорий, подобных нынешней, не пришла ему в голову; и всегда остается вероятность того, что, как он хладнокровно удовлетворял свои естественные аппетиты и потребности, не испытывая никаких внутренних чувств, так и его эмоциональные проявления могли сопровождаться совершенно холодным сердцем.[404] Любой новый случай генерализованной анестезии должен быть тщательно изучен на

предмет внутренней эмоциональной чувствительности в отличие от "выражений" эмоций, которые могут быть вызваны обстоятельствами.

Рассмотренные возражения.

Позвольте мне теперь обратить внимание на несколько возражений. Ответы на них сделают теорию еще более правдоподобной.

Первое возражение. Нет никаких реальных доказательств, можно сказать, для предположения, что конкретные восприятия *действительно* производят широко распространенные телесные эффекты посредством своего рода непосредственного физического воздействия, предшествующего возбуждению эмоций или эмоциональных идей.

Ответ. Такие свидетельства, несомненно, есть. Слушая поэзию, драму или героическое повествование, мы часто удивляемся кожной дрожи, которая, как внезапная волна, нахлынула на нас, и сердечным толчкам и лакримальным выделениям, которые неожиданно настигают нас через определенные промежутки времени. При прослушивании музыки то же самое происходит с еще большей очевидностью. Если мы внезапно видим в лесу темную движущуюся фигуру, наше сердце замирает, а дыхание перехватывает мгновенно и еще до того, как возникнет хоть какая-то внятная мысль об опасности. Если наш друг подходит к краю пропасти, у нас возникает хорошо известное чувство "всеохватности", и мы отшатываемся назад, хотя точно *знаем, что* он в безопасности, и не представляем себе его падения. Писатель хорошо помнит свое изумление, когда он, будучи мальчиком семи или восьми лет, упал в обморок при виде лошади, истекающей кровью. Кровь была в ведре с палкой, и, если память его не обманывает, он помешивал ее и видел, как она капает с палки, не испытывая никаких чувств, кроме детского любопытства. Внезапно мир потемнел перед его глазами, в ушах зашумело, и он больше ничего не знал. Он никогда не слышал, чтобы вид крови вызывал обморок или недомогание, и у него было так мало отвращения к ней и так мало опасений, что она может представлять какую-либо другую опасность, что даже в том нежном возрасте, как он хорошо помнит, он не мог не удивляться, как простое физическое присутствие ведра с багровой жидкостью могло вызвать у него такие грозные телесные эффекты".

Профессор Ланге пишет:

"Никому еще не приходило в голову отделить эмоции, вызванные необычайно громким звуком, от истинных внутренних чувств. Никто не решается назвать его своего рода испугом, и он проявляет обычные признаки испуга. И все же он ни в коем случае не связан с мыслью об опасности, не обусловлен ассоциациями, воспоминаниями или другими психическими процессами. Явления полета следуют за шумом немедленно, без малейшего следа "духовного" страха. Многие люди так и не могут привыкнуть стоять рядом с пушкой, когда она стреляет, хотя прекрасно понимают, что опасности нет ни для них самих, ни для других - просто звук слишком силен для них".[\[405\]](#)

Представьте себе два стальных ножа, острые грани которых пересекаются под прямым углом и двигаются туда-сюда. Вся наша нервная организация "на грани" при этой мысли; и все же какая эмоция может быть здесь, кроме самого неприятного нервного ощущения или страха, что оно может возникнуть еще больше? Весь фонд и капитал эмоций здесь - это

бессмысленный телесный аффект, который немедленно вызывают лопатки. Этот случай типичен для класса: когда идеальная эмоция, казалось бы, предшествует телесным симптомам, она часто является ничем иным, как предвосхищением самих симптомов. Тот, кто уже падал в обморок при виде крови, может наблюдать за подготовкой к хирургической операции с неконтролируемым замиранием сердца и тревогой. Он предвкушает определенные чувства, и это предвкушение ускоряет их появление. В случаях болезненного ужаса испытуемые часто признаются, что больше всего они боятся самого страха. В различных формах того, что профессор Бейн называет "нежными эмоциями", хотя соответствующий объект обычно должен быть непосредственно созерцаем, прежде чем эмоция может быть вызвана, иногда размышление о симптомах самой эмоции может иметь тот же эффект. У сентиментальных натур мысль о "тоске" вызовет настоящую "тоску". И, не говоря уже о более грубых примерах, воображение матери о ласках, которыми она одаривает своего ребенка, может вызвать спазм родительской тоски.

В подобных случаях мы ясно видим, как эмоция начинается и заканчивается тем, что мы называем ее эффектами или проявлениями. Она не имеет никакого психического *статуса*, кроме как либо яркого ощущения проявлений, либо представления о них; и последние, таким образом, составляют весь ее материал, сумму и содержание. И эти случаи должны заставить нас увидеть, как во всех случаях ощущение проявлений может играть гораздо более глубокую роль в формировании эмоции, чем мы склонны предполагать.

Лучшим доказательством того, что непосредственной причиной эмоций является физическое воздействие на нервы, служат *те патологические случаи, в которых эмоция не имеет объекта*. Одним из главных достоинств предлагаемой мною точки зрения является то, что мы можем так легко сформулировать с ее помощью патологические случаи и нормальные случаи по общей схеме. В каждом приюте мы находим примеры абсолютно немотивированного страха, гнева, меланхолии или сомнения, а в других - столь же немотивированную апатию, которая сохраняется, несмотря на все внешние причины, по которым она должна уступить. В первых случаях мы должны предположить, что нервный механизм настолько "лабилен" в каком-то одном эмоциональном направлении, что почти каждый стимул (каким бы неподходящим он ни был) заставляет его расстраиваться в этом направлении и вызывать определенный комплекс чувств, из которых состоит психическое тело эмоции. Так, если неспособность сделать глубокий вдох, трепетание сердца, своеобразные изменения в эпигастрии, ощущаемые как "прекардиальная тревога", непреодолимая тенденция принять несколько приземистое положение и сидеть неподвижно, а также, возможно, другие висцеральные процессы, которые сейчас не известны, спонтанно возникают вместе у определенного человека; его ощущение от их сочетания - это эмоция ужаса, и он становится жертвой того, что известно как патологический страх. Друг, у которого периодически случаются приступы этого самого мучительного из всех заболеваний, говорит мне, что в его случае вся драма, кажется, сосредоточена в области сердца и дыхательного аппарата, что его основное усилие во время приступов - это взять под контроль свои инспирации и замедлить сердце, и что как только он достигает глубокого дыхания и держит себя прямо, ужас, *ipso facto*, кажется, уходит. [406]

Эмоция здесь - не что иное, как ощущение телесного состояния, и она имеет чисто телесную причину.

"Все врачи, которые много занимались общей практикой, видели случаи диспепсии, когда постоянное плохое настроение и периодические приступы ужаса делали состояние пациента до крайности плачевным. Я часто наблюдал эти случаи, внимательно следил за ними и никогда не видел более сильных страданий, чем те, которые я наблюдал во время этих приступов..... Таким образом, человек страдает от того, что мы называем нервной диспепсией. Однажды, предположим, в середине дня, без всякого предупреждения или видимой причины, у него случается один из этих приступов ужаса. Первое, что чувствует человек, - это сильный, но неясный дискомфорт. Затем он замечает, что его сердце бьется слишком сильно. В это же время по его телу и конечностям один за другим проходят толчки или вспышки, как от электрических разрядов, настолько сильные, что почти болезненные. Затем через несколько минут он впадает в состояние сильнейшего страха. Он ничего не боится, он просто боится. Его разум совершенно ясен. Он ищет причину своего жалкого состояния, но не видит ее. Вскоре его ужас становится таким, что он сильно дрожит и издает слабые стоны; его тело влажное от пота, рот совершенно сухой; на этой стадии в его глазах нет слез, хотя страдание очень сильное. Когда кульминация приступа достигнута и пройдена, наблюдается обильное слезотечение, или же психическое состояние, при котором человек плачет при малейшей провокации. На этом этапе выделяется большое количество бледной мочи. Затем работа сердца снова становится нормальной, и приступ проходит".[407]

И снова:

"Бывают вспышки ярости настолько беспочвенные и безудержные, что все должны признать их проявлением болезни. Для неспециалиста-медика вряд ли что-то может быть более поучительным, чем наблюдение за таким патологическим приступом ярости, особенно когда он проявляется в чистом виде, без смешения с другими психическими нарушениями. Такое случается при довольно редком заболевании под названием транзиторная мания. Предрасположенный к ней пациент - в остальном вполне разумный человек - внезапно, без малейшей внешней провокации, подвергается нападению и впадает (говоря словами последнего автора по этому вопросу, O. Schwartzer, Die transitorische Tobsucht, Wien, 1880) "в пароксизм дичайшей ярости, со страшным и слепым яростным порывом творить насилие и разрушать". Он бросается на окружающих, наносит удары, пинает и бьет всех, кого может схватить, швыряет все предметы, на которые может наложить руки, ломает и крушит то, что находится рядом с ним, рвет одежду, кричит, воет и ревет, с глазами, которые вспыхивают и закатываются, и проявляет при этом все те симптомы вазомоторного застоя, которые мы привыкли считать сопутствующими гневу. Лицо красное, опухшее, щеки горячие, глаза выпуклые, белки налиты кровью, сердце бьется неистово, пульс 100-120 ударов в минуту. Артерии шеи полны и пульсируют, вены набухли, течет слюна. Приступ длится всего несколько часов и заканчивается внезапно сном от 8 до 12 часов, по пробуждении от которого пациент полностью забывает о случившемся".[408]

В этих (внешне) беспричинных эмоциональных состояниях особые пути, которые являются взрывными, разряжаются любым и каждым входящим ощущением. Как во время морской болезни каждый запах, каждый вкус, каждый звук, каждый взгляд, каждое движение, каждое осязаемое переживание усиливает тошноту, так и болезненный ужас или гнев усиливается каждым ощущением, возбуждающим нервные центры. Абсолютный покой - единственное лечение на данный момент. Кажется, невозможно не признать, что во всем этом телесное

состояние играет ведущую роль, а психические эмоции следуют за ним. *Интеллект*, по сути, может быть настолько мало затронут, что все это время будет играть роль хладнокровного зрителя и отмечать отсутствие реального объекта для эмоций.^[409]

Несколько слов из Хенле могут завершить мой ответ на это первое возражение:

"Не кажется ли вам, что возбуждение телесных нервов встречает идеи на полпути, чтобы поднять последние на высоту эмоций? [Обратите внимание, как справедливо это выражает нашу теорию!] То, что это так, доказывают случаи, в которых отдельные нервы, когда они особенно раздражены, участвуют в эмоциях и определяют их качество. Когда человек страдает от открытой раны, любое тягостное или ужасное зрелище вызывает боль в ране. У страдающих сердечными заболеваниями развивается психическая возбудимость, которая часто непонятна самим пациентам, но которая происходит от того, что сердце может биться. Я сказал, что качество эмоций определяется органами, способными принимать в них участие. Так же, как мрачное предчувствие, справедливо основанное на умозаклечениях о созвездиях, будет сопровождаться чувством угнетения в груди, так и аналогичное чувство угнетения, вызванное заболеванием органов грудной клетки, будет сопровождаться беспочвенными предчувствиями. Такая незначительная вещь, как пузырек воздуха, поднимающийся из желудка через пищевод, задерживающийся на несколько минут и оказывающий давление на сердце, способна во время сна вызвать кошмар, а во время бодрствования - смутное беспокойство. С другой стороны, мы видим, что радостные мысли расширяют кровеносные сосуды и что соответствующее количество вина, поскольку оно расширяет сосуды, также располагает нас к радостным мыслям. Если и шутка, и вино действуют вместе, то они дополняют друг друга, производя эмоциональный эффект, и наши требования к шутке тем скромнее, чем большую часть задачи берет на себя вино".^[410]

Второе возражение. Если наша теория верна, то необходимым следствием из нее должно быть следующее: любое добровольное и хладнокровное возбуждение так называемых проявлений особой эмоции должно давать нам саму эмоцию. Однако этого (говорится в возражении) не происходит. Актер может прекрасно симулировать эмоцию и при этом быть внутренне холодным; и все мы можем притворяться, что плачем, и не чувствовать горя; и симулировать смех, не будучи веселыми".

Ответ. В большинстве эмоций этот тест неприменим, так как многие из проявлений находятся в органах, над которыми мы не имеем добровольного контроля. Например, мало кто, притворяясь плачущим, может пролить настоящие слезы. Но в тех пределах, в которых это можно проверить, опыт скорее подтверждает, чем опровергает следствие из нашей теории, на котором основывается настоящее возражение. Каждый знает, как усиливает панику бегство, как поддаваясь симптомам горя или гнева, человек усиливает сами страсти. Каждый приступ рыданий усугубляет горе, вызывает другой приступ, еще более сильный, пока, наконец, отдых не сопровождается вялостью и видимым истощением механизмов. В гневе, как известно, мы "доводим себя" до кульминации, повторяя вспышки экспрессии. Откажитесь от выражения страсти, и она угаснет. Отсчитайте десять, прежде чем выплеснуть свой гнев, и его повод покажется смешным. Свист для поддержания мужества - не просто фигура речи. С другой стороны, сидите весь день в хандре, вздыхайте и отвечайте на все унылым голосом, и ваша меланхолия затянется. В нравственном воспитании нет более

ценной заповеди, чем эта, как знают все, кто имеет опыт: если мы хотим победить в себе нежелательные эмоциональные наклонности, мы должны усердно и в первую очередь хладнокровно пройти через *внешние движения* тех противоположных склонностей, которые мы предпочитаем культивировать. Наградой за настойчивость непременно станет исчезновение угрюмости или депрессии и появление вместо них настоящей жизнерадостности и доброты. Разгладьте брови, сделайте глаза ярче, сократите спинную, а не брюшную часть корпуса, говорите в мажорном ключе, делайте искренние комплименты, и ваше сердце должно быть действительно холодным, если оно постепенно не оттает!

Это признают все психологи, только они не видят всей важности этого явления. Профессор Бейн пишет, например:

"Мы обнаруживаем, что слабая [эмоциональная] волна... приостанавливается внутри, если ее задержать снаружи; токи мозга и возбуждение центров угасают, если внешнему порыву противостоять во всех точках. Именно благодаря такому сдерживанию мы имеем привычку подавлять жалость, гнев, страх, гордость во многих пустяковых случаях. Если это так, то факт, что подавление фактических движений имеет тенденцию к подавлению нервных токов, которые их вызывают, так что за внешним затишьем следует внутреннее. Этого эффекта не было бы в любом случае, *если бы не существовало некоторой зависимости церебральной волны от свободной внешней вентиляции или манифестации.....* С помощью того же вмешательства мы можем вызвать дремлющее чувство. Разыгрывая внешние проявления, мы постепенно заражаем нервы, ведущие к ним, и, наконец, пробуждаем диффузный ток своего рода действием *ab extra.....* Таким образом, нам иногда удается принять веселый тон духа, заставив себя напустить на себя уморительный вид".[\[411\]](#)

У нас есть масса других свидетельств подобного эффекта. Берк в своем трактате "О возвышенном и прекрасном" так пишет о физиогномисте Кампанелле:

"Этот человек, похоже, не только вел очень точные наблюдения за человеческими лицами, но и был большим специалистом в подражании тем, которые были хоть сколько-нибудь примечательны. Когда ему взбрело в голову проникнуть в склонности тех, с кем ему приходилось иметь дело, он составлял свое лицо, свой жест и все свое тело, насколько мог, в точное подобие человека, которого намеревался изучить; а затем внимательно наблюдал, какой склад ума тот, как ему казалось, приобретает в результате этой перемены. Так что, говорит мой автор, он мог вникать в склонности и мысли людей так же эффективно, как если бы сам был переодет в этих людей. Я часто замечал [Берк продолжает от своего лица], что, подражая взглядам и жестам разгневанных, или спокойных, или испуганных, или смелых людей, я невольно обнаруживал, что мой ум обращен к той страсти, внешнему виду которой я старался подражать; более того, я убежден, что этого трудно избежать, даже если стараться отделить страсть от соответствующих ей жестов".[\[412\]](#)

Против этого следует сказать, что многие актеры, идеально имитирующие внешние проявления эмоций в лице, походке и голосе, заявляют, что вообще не испытывают никаких эмоций. Другие же, по словам мистера Вм. Арчера, который провел среди них весьма поучительное статистическое исследование, утверждают, что эмоции роли овладевают ими, когда они хорошо ее играют.[\[413\]](#) Таким образом:

"Я часто бледнею, - пишет мисс Изабель Бейтман, - во время сцен ужаса или сильного волнения. Мне говорили об этом много раз, и я чувствую, как мне становится очень холодно, я дрожу и бледнею в волнительных ситуациях". "Когда я играю ярость или ужас, - пишет мистер Лайонел Бро, - мне кажется, я действительно бледнею. У меня пересыхает во рту, язык прилипает к нёбу". Например, в "Бобе Акресе" (в последнем акте) мне приходится постоянно увлажнять рот, иначе я становлюсь невнятным. Мне приходится "глотать комок", как я это называю". Все артисты, имевшие большой опыт работы с эмоциональными партиями, абсолютно единодушны..... "Игра с мозгом, - говорит мисс Алья Мюррей, - гораздо менее утомительна, чем игра с сердцем. Авантюристка нагружает тело гораздо меньше, чем сочувствующая героиня. Мышечные нагрузки имеют сравнительно небольшое значение"... "Эмоции во время актерской игры, - пишет мистер Хоу, - вызывают потоотделение гораздо сильнее, чем физические нагрузки. Я всегда обильно потею, когда играю Джозефа Поверхность, которая не требует почти никакого напряжения"... "Я страдаю от усталости, - пишет мистер Форбс Робертсон, - пропорционально количеству эмоций, через которые мне пришлось пройти, а не от физических нагрузок. Хотя я играю Отелло, - пишет мистер Коулман, - с семнадцати лет (в девятнадцать я имел честь играть Мавра в роли Яго у Макриди), но, как бы я ни старался, это единственная роль, роль из ролей, которая всегда оставляет меня физически слабым. Мне никогда не удавалось найти пигмент, который бы оставался на моем лице, хотя я перепробовал все существующие средства. Даже титанический Эдвин Форрест сказал мне, что в "Отелло" он всегда сбит с ног, и я слышал, как Чарльз Кин, Фелпс, Брук, Диллион говорили то же самое. С другой стороны, я часто играл Ричарда III, не сбиваясь с ног".[414]

Объяснение расхождений между актерами, вероятно, заключается в том, о чем говорят эти цитаты. *Визуальная и органическая* часть выражения может быть подавлена у одних людей, но не у других, и от этого, вероятно, зависит основная часть испытываемых эмоций. Коклен и другие актеры, которые внутренне холодны, вероятно, способны полностью повлиять на диссоциацию. Профессор Сикорский из Киффа опубликовал важную статью о мимике безумцев в *Neurologisches Centralblatt* за 1887 год. Много занимаясь мимикой, он говорит следующее:

"Когда я сокращаю мышцы лица в любой мимической комбинации, *я не испытываю никакого эмоционального возбуждения*, так что мимика в полном смысле слова искусственная, хотя и совершенно безупречная с выразительной точки зрения".[415]

Однако из контекста мы узнаем, что практика профессора С. перед зеркалом развила в нем такую виртуозность в управлении лицевыми мышцами, что он может полностью игнорировать их естественную ассоциацию и сокращать их в любом порядке группировки, по обе стороны лица изолированно, и каждую в отдельности. Вероятно, у него мимика лица является полностью ограниченной и локализованной вещью, без симпатических изменений любого рода в других местах.

Третье возражение. Проявление эмоций, не усиливая их, приводит к их прекращению. Ярость испаряется после хорошей вспышки; это *сдерживаемые* эмоции, которые "действуют в мозгу как безумие".

Ответ. В этом возражении не проводится различия между тем, что ощущается *во время* проявления, и тем, что ощущается *после* проявления. *Во время* проявления эмоция ощущается всегда. При нормальном ходе вещей это, будучи естественным каналом разрядки, истощает нервные центры, и наступает эмоциональное спокойствие. Но если слезы или гнев просто подавляются, а объект скорби или ярости остается неизменным перед мысленным взором, то ток, который должен был бы проникнуть в обычные каналы, переходит в другие, поскольку ему необходимо найти какой-то выход. Впоследствии это может привести к другим и худшим последствиям. Так, мстительная задумчивость может смениться вспышкой негодования; сухой жар может поглотить того, кто хотел бы плакать, или, как говорит Данте, он может превратиться в камень внутри; а затем слезы или приступ бури могут принести благодарное облегчение. Это происходит, когда ток достаточно силен, чтобы попасть в патологический путь, когда нормальный заблокирован. В этом случае лучше всего сразу же излить душу. Но здесь, снова процитируем профессора Бейна:

"Нет ничего более очевидного, чем тот факт, что эмоция может быть слишком сильной, чтобы ей противостоять, и мы только тратим силы впустую. Если мы действительно в состоянии остановить поток, то причин для воздержания от этой попытки не больше, чем в случае с более слабыми чувствами". И, несомненно, *привычный* контроль над эмоциями не может быть достигнут без систематического сдерживания, распространяющегося как на слабых, так и на сильных".

Когда мы учим детей подавлять свои эмоциональные разговоры и проявления, это не значит, что они могут больше *чувствовать* - совсем наоборот. Дело в том, что они могут больше *думать*; ведь в определенной степени все токи, которые отводятся из нижележащих областей, должны повышать активность мыслительных трактов мозга. При апоплексии и других повреждениях мозга мы получаем противоположное состояние - препятствие, а именно, прохождение токов среди мыслеобразов, а вместе с этим и повышенную склонность объектов запускать нисходящие токи в органы тела. Следствием этого являются слезы, смех и вспыльчивость при самых незначительных провокациях, сопровождающиеся пропорциональной слабостью логического мышления и силы волевого внимания и решения, - как раз то, от чего мы пытаемся отучить ребенка. Правда, про некоторых людей мы говорим, что "они бы больше чувствовали, если бы меньше выражали". А у другой категории людей взрывная энергия, с которой страсть проявляется в критических случаях, кажется, коррелирует с тем, как они сдерживают ее в промежутках. Но это всего лишь эксцентричные типы характера, и внутри каждого типа преобладает закон, описанный в последнем абзаце. Сентименталист устроен таким образом, что "фонтанирование" - это его нормальный способ самовыражения. Остановка "порыва" лишь в ограниченной степени приведет к тому, что его место займет более "реальная" деятельность; в основном же это просто приведет к вялости. С другой стороны, задумчивый и желчный "дремлющий вулкан", пусть он подавляет выражение своих страстей как хочет, будет считать их угасшими, если они вообще не получают выхода; если же редкие случаи, которые он считает достойными их вспышки, будут множиться, то по мере жизни они будут становиться все интенсивнее. В целом я не вижу, чтобы это третье возражение имело какой-либо вес.

Если наша гипотеза верна, она заставляет нас глубже, чем когда-либо, осознать, насколько сильно наша душевная жизнь связана с телесной, в самом строгом смысле этого слова. Восторг, любовь, честолюбие, негодование и гордость, рассматриваемые как чувства, - плоды одной почвы с самыми грубыми телесными ощущениями удовольствия и боли. Но читатель помнит, что в самом начале мы согласились утверждать это только в отношении того, что мы тогда называли "грубыми" эмоциями, и что те внутренние состояния эмоциональной чувствительности, которые на первый взгляд лишены телесных результатов, должны быть оставлены вне нашего рассмотрения. Теперь мы должны сказать пару слов об этих последних чувствах, "более тонких" эмоциях, как мы тогда договорились их называть.

БОЛЕЕ ТОНКИЕ ЭМОЦИИ.

Это моральные, интеллектуальные и эстетические чувства. Созвучия звуков, цветов, линий, логические последовательности, телеологические соответствия воздействуют на нас с удовольствием, которое, кажется, укоренено в самой форме представления, и не заимствовано ни из каких отголосков, доносящихся из глубины мозга. Гербартианские психологи различали чувства, обусловленные *формой*, в которую могут быть облечены представления. Математическая демонстрация может быть такой же "красивой", а акт правосудия - таким же "аккуратным", как рисунок или мелодия, хотя красота и аккуратность, казалось бы, не имеют никакого отношения к ощущениям. Итак, у нас есть, или некоторым из нас кажется, что есть, подлинно *церебральные* формы удовольствия и неудовольствия, очевидно, не согласующиеся по способу производства с "более грубыми" эмоциями, которые мы анализировали. И наверняка читатели, которых наши доводы до сих пор не убеждали, теперь начнут удивляться этому признанию и считать, что тем самым мы отказываемся от всего нашего дела. Раз музыкальные восприятия, раз логические идеи могут сразу же вызывать ту или иную форму эмоционального чувства, скажут они, то не естественнее ли предположить, что в случае так называемых "более грубых" эмоций, вызываемых другими видами объектов, эмоциональное чувство столь же непосредственно, а телесное выражение - нечто более позднее и дополнительное?

В ответ на это мы должны сразу же настаивать на том, что эстетическая эмоция, *чистая и простая*, удовольствие, доставляемое нам определенными линиями и массами, сочетаниями цветов и звуков, является абсолютно сенсационным опытом, оптическим или аурикулярным чувством, которое является первичным, а не обусловленным отголоском других последовательно вызванных ощущений. К этому простому первичному и непосредственному удовольствию от определенных чистых ощущений и их гармоничных сочетаний можно, правда, *добавить* вторичные удовольствия; и в практическом наслаждении произведениями искусства широкими массами человечества эти вторичные удовольствия играют большую роль. Однако чем более *классическим* является вкус человека, тем менее важны вторичные удовольствия по сравнению с первичными ощущениями, которые он получает.^[416] Классицизм и романтизм ведут свои битвы по этому поводу. Сложное внушение, пробуждение просторов памяти и ассоциаций, возбуждение нашей плоти живописной тайной и мраком делают произведение искусства *романтическим*. Классический вкус клеймит эти эффекты как грубые и безвкусные и предпочитает голую красоту оптических и слуховых ощущений, не украшенную поделками или листвой. Для романтического ума, напротив, непосредственная красота этих ощущений кажется сухой и тонкой. Я, конечно, не обсуждаю, какая точка зрения верна, а лишь

показываю, что необходимо различать первичное чувство красоты, как чистое привходящее разумное качество, и вторичные эмоции, которые к нему прививаются.

Сами эти вторичные эмоции, несомненно, в большинстве своем состоят из других входящих ощущений, вызванных диффузной волной рефлекторных эффектов, которые вызывает красивый объект. Свечение, толчок в грудь, дрожь, полнота дыхания, трепетание сердца, дрожь по спине, увлажнение глаз, шевеление в гипогастрии и еще тысяча неназванных симптомов могут возникнуть в тот момент, когда красота *возбуждает* нас. Эти симптомы возникают и тогда, когда нас возбуждают нравственные чувства, такие как пафос, великодушие или мужество. Голос срывается, и рыдания поднимаются в борющейся груди, или ноздри расширяются, а пальцы сжимаются, в то время как сердце бьется, и т. д. и т. п.

Что касается этих составляющих более тонких эмоций, то последние не являются исключением из нашего отчета, а скорее его дополнительной иллюстрацией. Во всех случаях интеллектуального или морального восторга мы обнаруживаем, что, если с одной лишь мыслью об объекте и познанием его качества не сочетается какая-то телесная реверберация; если мы не смеемся над аккуратностью демонстрации или остроумием; если мы не трепещем при виде справедливости или не дрожим при виде великодушия, наше душевное состояние вряд ли можно назвать эмоциональным вообще. На самом деле это просто интеллектуальное восприятие того, как определенные вещи должны называться - хорошими, правильными, остроумными, щедрыми и т. п. Такое судейское состояние ума следует отнести к осознанию истины; это *когнитивный* акт. На самом деле, однако, моральное и интеллектуальное познание почти никогда не существуют без сопровождения. Телесный резонатор работает, как покажет тщательный самоанализ, гораздо чаще, чем мы обычно предполагаем. И все же, когда долгое знакомство с определенным классом эффектов, даже эстетических, притупило простую эмоциональную возбудимость настолько же, насколько обострило вкус и суждения, мы получаем интеллектуальную эмоцию, если ее можно назвать таковой, чистой и незапятнанной. И сухость ее, бледность, отсутствие всякого сияния, как это может быть в уме опытного критика, не только показывает нам, насколько она отличается от "грубых" эмоций, которые мы рассматривали вначале, но и заставляет подозревать, что почти вся разница заключается в том, что телесный резонатор, вибрирующий в одном случае, в другом немой. "Не так уж плохо" - это, как правило, высший предел одобрительного выражения у человека с отменным вкусом. Говорят, что "*Rien ne me choque*" было высшей похвалой Шопена новой музыке. Сентиментальный обыватель почувствовал бы и должен был бы почувствовать ужас, попав в сознание такого критика, увидев, насколько холодны, тонки, лишены человеческой значимости мотивы симпатии или антипатии, которые там преобладают. Способность сделать красивое пятно на стене перевешивает все содержание картины; глупый прием слов сохраняет поэму; совершенно бессмысленное соответствие последовательности в одном музыкальном произведении сводит на нет всю "выразительность" в другом.

Помню, как в пронзительный февральский день в Венецианской академии перед знаменитым "Успением" Тициана более часа сидела английская пара; и когда я, гонимый холодом из комнаты в комнату, решил поскорее выйти на солнечный свет и оставить картины, но перед уходом благоговейно приблизился к ним, чтобы узнать, какими высшими формами восприимчивости они могут быть наделены, я услышал лишь женский голос, пробормотавший: "Какое *удрученное* выражение на ее лице! Какое самоотречение! Как *недостойно* она чувствует себя за оказанную ей честь!" Их честные сердца все это время согревал отблеск надуманных чувств, от которого старого Тициана просто стошнило бы. Мистер Рёскин где-то делает ужасное для него признание, что религиозные люди, как

правило, мало интересуются картинами, а если и интересуются, то, как правило, предпочитают худшие из них лучшим. Да! В каждом искусстве, в каждой науке есть острое восприятие *правильности* или *неправильности* определенных отношений, и есть эмоциональный всплеск и трепет, вытекающие из этого. И это две вещи, а не одна. В первом случае речь идет о том, что эксперты и мастера находятся у себя дома. Второе сопровождается телесными волнениями, которые они вряд ли ощущают, но которые в полной мере могут испытать *критики* и обыватели, у которых критическое мышление находится на самом низком уровне. Чудеса науки, о которых написано так много назидательной популярной литературы, склонны быть "caviare" для людей в лабораториях. И даже сама божественная философия, которую простые смертные считают столь "возвышенным" занятием из-за обширности ее данных и перспектив, для самого практического философа слишком склонна быть лишь оттачиванием и ужесточением, делом "очков", прикручивания вещей, разделения волосков и "намерения", а не "объема" концепций. Эмоций здесь очень мало, кроме усилий по настройке внимания и чувства легкости и облегчения (в основном в дыхательном аппарате), когда несоответствия преодолены и мысли некоторое время идут гладко. Эмоции и познание, похоже, расходятся даже в этом последнем отступлении; а мозговые процессы, насколько мы можем судить, почти лишены ощущений, пока не призовут на помощь нижележащие части.

ДЛЯ ЭМОЦИЙ НЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОЗГОВЫХ ЦЕНТРОВ.

Если нейронный процесс, лежащий в основе эмоционального сознания, таков, как я пытался доказать сейчас, физиология мозга становится более простым делом, чем предполагалось до сих пор. Сенсорные, ассоциативные и моторные элементы - вот все, что должен содержать этот орган. Физиологи, которые в течение последних нескольких лет так усердно изучали функции мозга, ограничивали свои объяснения его когнитивными и волевыми функциями. Разделив мозг на сенсорные и моторные центры, они пришли к выводу, что их деление точно соответствует анализу, проведенному эмпирической психологией в отношении перцептивной и волевой частей разума на их простейшие элементы. Но эмоции были настолько проигнорированы во всех этих исследованиях, что можно предположить, что если бы этих исследователей попросили дать теорию о них в терминах мозга, они должны были бы ответить, либо что они еще не думали об этом предмете, либо что им было так трудно выдвинуть четкие гипотезы, что этот вопрос относится к проблемам будущего, за которые можно будет взяться только после того, как будут окончательно решены более простые проблемы настоящего.

И все же уже сейчас можно с уверенностью сказать, что из двух вещей, касающихся эмоций, одна должна быть верной. Либо их мозговым центром являются отдельные и особые центры, воздействующие только на них, либо они соответствуют процессам, происходящим в двигательных и сенсорных центрах, которые уже были названы, или в других, подобных им, еще не известных. Если первое, то мы должны отвергнуть существующую точку зрения и считать, что кора головного мозга - это нечто большее, чем поверхность "проекции" для каждого чувствительного места и каждой мышцы тела. Если же дело обстоит иначе, мы должны спросить, является ли эмоциональный процесс в сенсорном или двигательном центре совершенно особым, или же он похож на обычные процессы восприятия, местом которых эти центры уже признаны. Если теория, которую я отстаивал, верна, то последняя альтернатива - это все, чего она требует. Если предположить, что кора головного мозга содержит части, возбуждаемые изменениями в каждом специальном органе чувств, в каждом участке кожи, в каждой мышце, каждом суставе и каждой висце, и не содержит абсолютно ничего другого, у нас все равно остается схема, способная представить процесс

эмоций. Объект падает на орган чувств, воздействует на часть коры головного мозга и воспринимается; или иначе последний, возбуждаясь внутренне, порождает представление о том же объекте. Быстрые, как вспышка, рефлекторные токи проходят по своим заранее намеченным каналам, изменяют состояние мышц, кожи и сосудов; и эти изменения, воспринимаемые, как и исходный объект, во многих участках коры головного мозга, соединяются с ним в сознании и превращают его из объекта простого восприятия в объект эмоционально-ощутимый. При этом не нужно прибегать к новым принципам, не нужно ничего постулировать за пределами обычных рефлекторных цепей, а местные центры в той или иной форме признаются всеми существующими.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ.

Способность к восстановлению в памяти эмоций, как и всех чувств низших органов чувств, очень мала. Мы можем вспомнить, что пережили горе или восторг, но не то, как это горе или восторг ощущались. Эта трудная *идеальная* оживляемость, однако, с лихвой компенсируется в случае с эмоциями очень легкой *фактической* оживляемостью. То есть мы можем вызвать не воспоминания о старом горе или восторге, а новые горе и восторг, вызвав живую мысль об их волнующей причине. Причина теперь только идея, но эта идея производит те же органические иррадиации, или почти те же, которые были произведены ее оригиналом, так что эмоция снова становится реальностью. Мы "перехватили" ее. Стыд, любовь и гнев особенно часто возрождаются под влиянием идей об их объекте. Профессор Бейн признает^[417], что "в своем строгом характере собственно эмоций они [эмоции] обладают минимальной оживляемостью; но, будучи всегда объединенными с ощущениями высших органов чувств, они разделяют превосходную оживляемость зрелищ и звуков". Но он не указывает на то, что ожившие виды и звуки могут быть *идеальными*, не переставая быть отчетливыми; в то время как эмоция, чтобы быть отчетливой, должна снова стать реальной. Профессор Бейн, кажется, забывает, что "идеальная эмоция" и реальная эмоция, вызванная идеальным объектом, - две совершенно разные вещи.

Эмоциональный темперамент, с одной стороны, и живое воображение объектов и обстоятельств, с другой, являются, таким образом, условиями, необходимыми и достаточными для обильной эмоциональной жизни. Каким бы эмоциональным ни был темперамент, если воображение бедно, поводы для запуска эмоциональных поездов не будут реализованы, и жизнь будет холодной и сухой. Возможно, это причина, по которой лучше, чтобы у человека мыслящего не было слишком сильной способности к визуализации. У него меньше шансов, что эмоциональные помехи нарушат ход его размышлений. Следует помнить, что мистер Гальтон обнаружил, что члены Королевского общества и Французской академии наук не обладают достаточными способностями к визуализации. Если говорить о себе, то сейчас, в возрасте 46 лет, я гораздо менее способен к визуализации, чем в прежние годы; и я склонен считать, что относительная вялость моей эмоциональной жизни в настоящее время связана с этим фактом в той же степени, что и с наступающим оцепенением инертной старости или с рутинной оседлой профессиональной и домашней жизни. Я говорю так потому, что время от времени у меня возникают вспышки прежних, более сильных зрительных образов, и я замечаю, что эмоциональный комментарий, если можно так выразиться, становится тогда гораздо более острым, чем обычно. Пациент Шарко, случай которого приведен выше на с. 58 и далее, жаловался на неспособность к эмоциональным переживаниям после того, как его оптические образы исчезли. Смерть его матери, которая в прежние времена вызвала бы у него душевную боль, оставила его совершенно холодным; в значительной степени, как он сам предполагает, потому, что он не

мог сформировать определенный визуальный образ этого события и влияния потери на остальных членов семьи дома.

Остается отметить еще одно общее свойство эмоций: *Они притупляются при повторении быстрее, чем любой другой вид чувств.* Это объясняется не только общим законом "приспособления" к стимулу, который, как мы видели, действует в отношении всех чувств, но и тем особым фактом, что "диффузная волна" рефлекторных воздействий всегда имеет тенденцию становиться более узкой. Создается впечатление, что это, по сути, временная схема, на основе которой могут возникнуть точные и определенные реакции. Чем больше мы упражняемся в чем-либо, тем меньше мышц мы задействуем; точно так же, чем чаще мы встречаем какой-либо объект, тем определеннее мы думаем и ведем себя по отношению к нему, и тем меньше органическое возмущение, которое он вызывает. Когда мы увидели его в первый раз, мы, возможно, вообще не могли ни действовать, ни думать, и у нас не было никакой реакции, кроме органического возмущения. Результатом были эмоции изумления, удивления или любопытства. Теперь мы смотрим на него, не испытывая абсолютно никаких эмоций.^[418] Эта тенденция к экономии нервных путей, по которым распространяются наши ощущения и идеи, является основой для роста эффективности, готовности и мастерства. Где бы был генерал, хирург, председательствующий, если бы их нервные токи продолжали бежать вниз, в внутренности, вместо того чтобы идти в ногу среди их извилин? Но то, что они приобретают от этого закона для практики, они теряют, надо признать, для чувств. Для измученного и опытного человека чувство удовольствия, которое он получает от свободного и мощного потока мыслей, преодолевающих препятствия по мере их возникновения, является единственной компенсацией той свежести сердца, которой он когда-то наслаждался. Этот свободный и мощный поток означает, что мозговые пути ассоциаций и памяти все больше и больше организуются в нем, и что через них стимул отводится в нервы, которые ведут просто к пишущему пальцу или говорящему языку.^[419] Поезда интеллектуальных ассоциаций, воспоминания, логические связи могут, однако, быть в высшей степени объемными. Среди воспоминаний могут быть и прошлые эмоции. Чем больше всех этих поездов может запустить в нас объект, тем богаче наша когнитивная близость с ним. Это мозговое ощущение богатства, похоже, само по себе является источником удовольствия, возможно, даже помимо *эйфории*, которая время от времени возникает в органах дыхания. Если *существует* такая вещь, как чисто духовная эмоция, то я склонен ограничить ее этим мозговым чувством изобилия и легкости, этим ощущением, как назвал бы его сэр У. Гамильтон, беспрепятственной и не слишком напряженной активности мысли. В обычных условиях это прекрасное и безмятежное, но не возбужденное состояние сознания. При определенных видах опьянения оно становится возбуждающим, причем может быть очень сильным. Я с трудом могу представить себе более неистовое возбуждение, чем то, которое сопровождается сознанием видения абсолютной истины и которое характеризует приход в себя после опьянения азотнокислым газом. Хлороформ, эфир и алкоголь - все они вызывают это углубляющееся чувство постижения истины; и со всеми ними это может быть "сильная" эмоция; но с ней приходят также всевозможные странные телесные ощущения и изменения в приходящей чувствительности. Я не могу утверждать, что эмоция не зависит от них. Однако я признаю, что если необходимо сохранить ее независимость, то эти теоретические восторги кажутся тем местом, с которого следует начать защиту.

ГЕНЕЗИС РАЗЛИЧНЫХ ЭМОЦИЙ.

На предыдущей странице (стр. 453-4) я сказал, что два вопроса, и только два, важны, если мы рассматриваем эмоции как ощущения, вызванные диффузной волной.

(1) *Какие особые диффузные эффекты возбуждают различные особые объективные и субъективные переживания? и*

(2) *Как они их возбуждают?*

Все работы по физиогномике и выражению лица представляют собой попытки ответить на первый вопрос. Естественно, что наиболее пристальное внимание уделяется воздействию на лицо. Читателя, желающего получить подробности, дополнительные к тем, что приведены выше на с. 443-7, мы отсылаем к работам, упомянутым в примечании ниже.[420]

Что касается вопроса 2, то за последние годы был достигнут небольшой прогресс в ответе на него. Несомненными являются два момента:

a. Выразительные мышцы лица даны нам не просто ради выражения;[421]

b. Каждая мышца не задействована исключительно для какой-то одной эмоции, как считали некоторые авторы.

Некоторые выразительные движения можно объяснить как *ослабленные повторения движений, которые раньше* (когда они были сильнее) *были полезны для субъекта*. Другие являются такими же ослабленными повторениями движений, которые в других условиях были *физиологически необходимыми эффектами*. Примером последних реакций могут служить нарушения дыхания при гнев и страхе - органические реминисценции, как бы отголоски в воображении ударов человека, предпринимающего серию боевых усилий, задыхающегося в стремительном полете. Таково, по крайней мере, предположение мистера Спенсера, которое нашло одобрение. И он же первым, насколько мне известно, предположил, что другие движения в гнев и страхе могут быть объяснены зарождающимся возбуждением ранее полезных действий.

"Иметь в легкой степени, - говорит он, - такие психические состояния, которые сопровождают получение ран и испытываются во время бегства, значит находиться в состоянии, которое мы называем страхом. А иметь в легкой степени такие психические состояния, которые предполагают процессы ловли, убийства и поедания, значит иметь желания ловить, убивать и есть". То, что склонности к действиям есть не что иное, как зарождающиеся возбуждения психических состояний, связанных с этими действиями, доказывается естественным языком склонностей. Страх, когда он силен, выражается в криках, в попытках убежать, в сердцебиении, в дрожи; и это лишь те проявления, которые сопутствуют реальному страданию от зла, которого боятся. Разрушительная страсть проявляется в общем напряжении мускульной системы, в скрежете зубов и выпячивании когтей, в расширении глаз и ноздрей, в рычании; и это слабые формы действий, сопровождающих убийство добычи. К таким объективным свидетельствам каждый может добавить субъективные. Каждый может засвидетельствовать, что психическое состояние, называемое страхом, состоит из мысленных представлений определенных болезненных результатов; и что состояние, называемое гневом, состоит из мысленных представлений действий и впечатлений, которые возникли бы при причинении определенной боли".[422]

О страхе мне еще предстоит сказать. Между тем принцип *возрождения в ослабленной форме реакций, полезных при более жестоком обращении с объектом, вызывающим эмоцию*, нашел множество применений. Такой незначительный симптом, как оскал или усмешка, одностороннее обнажение верхних зубов, объясняется Дарвином как пережиток тех времен,

когда у наших предков были большие клыки, и они разжимали их (как это делают сейчас собаки) для нападения. Точно так же поднятие бровей при внешнем внимании, открытие рта при изумлении, по мнению того же автора, происходят от полезности этих движений в крайних случаях. Поднятие бровей сопровождается открыванием глаз для улучшения зрения; открывание рта - при напряженном слушании, а также при учащенном дыхании, которое предшествует мускульным усилиям. Расширение ноздрей в гневе Спенсер интерпретирует как отголосок того, как дышали наши предки, когда во время боя их "рот был заполнен частью тела противника, которая была захвачена(!)". Дрожь от страха, по предположению Мантегацца, вызвана необходимостью согреть кровь(!). Покраснение лица и шеи Вундт называет компенсаторным приспособлением для снятия кровяного давления в мозгу, которое приносит с собой одновременное возбуждение сердца. Выделение слез объясняется как этим автором, так и Дарвином как аналогичное средство отвода крови. Сокращение мышц вокруг глаз, которое примитивно используется для защиты этих органов от чрезмерного прилива крови во время приступов крика в младенчестве, сохранилось во взрослой жизни в форме хмурого взгляда, который мгновенно появляется на бровях, когда что-нибудь трудное или неприятное представляется либо для мысли, либо для действия.

"Поскольку привычка сжимать брови сохранялась у младенцев на протяжении бесчисленных поколений в начале каждого приступа плача или крика, - говорит Дарвин, - она стала прочно ассоциироваться с зарождающимся ощущением чего-то тревожного или неприятного. Следовательно, при подобных обстоятельствах он может продолжаться и в зрелом возрасте, хотя никогда не перерастет в приступ плача". Крик или плач начинают добровольно сдерживаться в раннем возрасте, в то время как хмурый взгляд практически никогда не сдерживается в любом возрасте".[423]

Прерывистые истечения, составляющие смех, по мнению доктора Геккера, имеют целью противодействовать анемии мозга, которая, как он полагает, возникает в результате воздействия радостного или комического стимула на сосудодвигательные нервы.[424] Улыбка - это слабый остаток смеха. Плотное закрытие рта при любом усилии полезно для удержания воздуха в легких, чтобы зафиксировать грудную клетку и дать твердую основу для вставки мышц боков. Соответственно, мы видим, как губы сжимаются при каждом незначительном поводе для решимости. Кровяное давление должно быть высоким во время сексуальных объятий; отсюда учащенное сердцебиение, а также склонность к ласкам, которая сопровождает нежные эмоции в их более слабых формах. Можно привести и другие примеры, но и этих вполне достаточно, чтобы показать сферу применения принципа возрождения полезного действия в слабой форме.

Другой принцип, которому Дарвин, возможно, не придает достаточной справедливости, можно назвать принципом *сходной реакции на аналогичные стимулы-ощущения*. Существует целый словарь описательных прилагательных, общих для впечатлений, относящихся к разным сферам чувств: впечатления всех классов *сладки*, впечатления всех классов *богаты* или *тверды*, ощущения всех классов *остры*. Вундт и Пидерит, соответственно, объясняют многие из наших наиболее выразительных реакций на моральные причины как символические вкусовые движения. Как только возникает какое-либо переживание, связанное с ощущением сладкого, или горького, или кислого, выполняются те же движения, которые были бы результатом вкусовых ощущений.[425] "Все душевные состояния, которые язык обозначает метафорами горький, резкий, сладкий, сочетаются, таким образом, с соответствующими мимическими движениями рта".

Безусловно, эмоции отвращения и удовлетворения выражаются именно таким мимическим образом. Отвращение - это зарождающееся срыгивание или рвота, выражающаяся часто в гримасе губ и носа; удовлетворение сопровождается сосательной улыбкой или вкусовыми движениями губ. В свободной, хотя и усвоенной работе Мантегацца делается попытка, гораздо менее успешная, привлечь глаз и ухо в качестве дополнительных источников символически выразительной реакции. Обычный жест отрицания - например, движение головы вокруг своей оси из стороны в сторону - это реакция, которую изначально использовали младенцы, чтобы не дать неприятностям попасть в рот, и которую можно наблюдать в совершенстве в любой детской.[426] Сейчас она вызывается там, где стимулом является лишь нежелательная мысль. Точно так же кивок вперед при утверждении происходит по аналогии с взятием пищи в рот. Связь выражения морального или социального презрения или неприязни, особенно у женщин, с движениями, имеющими совершенно определенную первоначальную обонятельную функцию, слишком очевидна, чтобы ее комментировать. Подмигивание - это эффект любого угрожающего сюрприза, а не только того, что подвергает глаза опасности; и мгновенное отведение глаз очень склонно быть первым симптомом реакции на неожиданно нежелательное предложение - этих примеров движений, выразительных по аналогии, может быть достаточно.

Но если некоторые из наших эмоциональных реакций можно объяснить двумя указанными принципами - и читатель сам почувствовал, насколько предположительным и ошибочным в некоторых случаях является это объяснение, - то остается множество реакций, которые вообще не поддаются такому объяснению, и их мы должны пока записать в разряд чисто идиопатических эффектов стимула. Среди них - воздействие на внутренности и внутренние железы, сухость во рту, диарея и тошнота от страха, нарушения в работе печени, которые иногда приводят к желтухе после чрезмерной ярости, выделение мочи при возбуждении сангвиника, сокращение мочевого пузыря при страхе, зияние при ожидании, "ком в горле" при горе, щекотание и глотание при смущении, "прекордиальное беспокойство" при страхе, изменения зрачка, различные виды потливости кожи, холодной или горячей, местной или общей, и ее покраснение, а также другие симптомы, которые, вероятно, существуют, но слишком скрыты, чтобы быть замеченными или названными. Кажется, что даже изменения кровяного давления и сердцебиения во время эмоционального возбуждения могут, вместо того чтобы быть телеологически обусловленными, оказаться чисто механическими или физиологическими излияниями через самые простые дренажные каналы - пневмогастрии и симпатические нервы, которые при обычных обстоятельствах являются такими каналами.

Мистер Спенсер утверждает, что *самые мелкие* мышцы должны быть такими каналами; и приводит примеры хвоста у собак, кошек и птиц, ушей у лошадей, хохолка у попугаев, лица и пальцев у человека, как первых органов, приводимых в движение эмоциональными стимулами.[427] Этот принцип (если он существует) с еще большей легкостью применим к мышцам мелких артерий (хотя и не совсем к сердцу); в то время как большая изменчивость симптомов кровообращения позволяет предположить, что они определяются причинами, в которые полезность не входит. Ускорение работы сердца, правда, легко объясняется наследственной привычкой, органической памятью о более сильном возбуждении; и Дарвин высказывается в пользу этой точки зрения (см. его "Выражение" и т. д., стр. 74-5). Но, с другой стороны, мы имеем так много случаев реакций, которые, можно сказать, бесспорно патологические, и которые никогда не могли быть полезными или вытекать из того, что было полезным, что я думаю, что мы должны быть осторожны, чтобы продвинуть наши объяснения измененного сердцебиения слишком далеко в телеологическом направлении. Дрожь,

которая встречается при многих возбуждениях, помимо ужаса, является, по мнению г-на Спенсера и Сиг. Мантегацца, вполне патологична. Так же как и другие сильные симптомы террора. Профессор Моссо, подводя итог своему исследованию, пишет следующее:

"Мы увидели, что чем серьезнее становится опасность, тем больше преобладают по количеству и эффективности реакции, положительно вредные для животного. Мы уже видели, что дрожь и паралич делают его неспособным к бегству или обороне; мы также убедились, что в самые решающие моменты опасности мы менее способны видеть [или думать], чем когда мы спокойны. Перед лицом таких фактов мы должны признать, что все явления страха не могут быть объяснены "отбором". Их крайние степени - это болезненные явления, свидетельствующие о несовершенстве организма. Можно почти сказать, что природа не смогла создать вещество, которое было бы достаточно возбудимым, чтобы составить мозг и спинной мозг, и в то же время не должно было бы так возбуждаться при исключительной стимуляции, чтобы переходить в своих реакциях те физиологические границы, которые полезны для сохранения существа".[428]

Профессор Бэйн, если я не ошибаюсь, уже давно высказывался о страхе в подобном ключе.

Мистер Дарвин объясняет многие эмоциональные проявления тем, что он называет принципом антитезы. Согласно этому принципу, если определенный стимул побуждает к определенному набору движений, то противоположный по ощущениям стимул побуждает к прямо противоположным движениям, хотя в остальном они могут не иметь ни смысла, ни значения. Именно таким образом Дарвин объясняет выражение бессилия, поднятые брови и пожатые плечи, опущенные руки и раскрытые ладони как противоположность нахмуренным бровям, откинутым назад плечам и сжатым кулакам ярости, которая является эмоцией силы. Несомненно, определенное количество движений может быть сформулировано в соответствии с этим законом; но выражает ли он *причинный* принцип, более чем сомнительно. Большинство критиков считают его наименее удачным из всех догадок Дарвина на эту тему.

Подводя итог, можно сказать, что мы видим причину некоторых эмоциональных реакций; для других можно предположить возможную причину; но остаются и такие, для которых невозможно придумать никакой правдоподобной причины. Это могут быть реакции, которые являются чисто механическими результатами того, как устроены наши нервные центры, реакции, которые, хотя и постоянно присутствуют в нас сейчас, могут быть названы случайными в смысле их происхождения. На самом деле в таком сложном организме, как нервная система, *должно быть* множество подобных реакций, сопутствующих другим, развившимся ради пользы, но которые сами никогда бы не развились независимо, какой бы пользой они ни обладали. Морская болезнь, любовь к музыке, к различным интоксикантам, да что там, вся эстетическая жизнь человека, должна быть связана с этим случайным происхождением.[429] Было бы глупо полагать, что ни одна из реакций, называемых эмоциональными, не могла возникнуть таким *квазислучайным* образом.

Это все, что я хочу сказать об эмоциях. Если попытаться назвать каждую конкретную из них, местом обитания которой является человеческое сердце, то очевидно, что предел их количества лежит в интроспективном словаре искателя: каждая раса людей нашла названия для некоторых оттенков чувств, которые другие расы оставили без внимания. Если же мы попытаемся разбить эмоции, перечисленные таким образом, на группы, в соответствии с их сходством, то опять-таки очевидно, что возможны любые группировки, в зависимости от

того, какой характер мы выберем в качестве основы, и что все группировки будут одинаково реальны и истинны. Единственный вопрос заключается в том, подходит ли эта или та группировка для нашей цели? Читатель может классифицировать эмоции по своему усмотрению: печальные или радостные, стенические или астенические, природные или приобретенные, вызванные одушевленными или неодушевленными предметами, формальные или материальные, чувственные или идеальные, непосредственные или рефлекторные, эгоистические или неэгоистические, ретроспективные, перспективные или непосредственные, органические или экологически обусловленные, и многое другое. Все это деления, которые были предложены на практике. У каждого из них есть свои достоинства, и каждое объединяет некоторые эмоции, которые другие разделяют. За более полным изложением и другими классификационными схемами я обращаюсь к приложению к книге Бэйна "Эмоции и воля", а также к статьям Мерсье, Стэнли и Рида об эмоциях в "Mind", vol. ix, x и xi. В томе ix. p. 421 также есть статья оплакиваемого Эдмунда Гурни, в которой он критикует точку зрения, которую я продолжаю отстаивать в этой главе.

[395] Части этой главы уже появлялись в статье, опубликованной в 1884 году в журнале Mind.

[396] Ueber Gemüthsbewegungen, uebersetzt von H. Kurella (Leipzig, 1887).

[397] Бронхиальные трубки могут быть сокращены, так же как и разветвления легочной артерии. Среди антропологических трудов профессора Й. Хенле есть изящная статья "Естественная история вдоха", в которой он представляет наши вдохи как результат борьбы между красными мышцами скелета, ребер и диафрагмы и белыми мышцами легких, которые стремятся сузить калибр дыхательных трубок. "В нормальном состоянии первые легко побеждают, но в других условиях они либо побеждают с трудом, либо терпят поражение..... Контрастные эмоции выражаются столь же контрастно, спазмом и параличом неокрепших мышц, и по большей части одинаково во всех органах, которые ими снабжены, как артерии, кожа и бронхиальные трубки. Контраст между эмоциями обычно выражают, разделяя их на возбуждающие и угнетающие. Примечательно, что депрессивные эмоции, такие как страх, ужас, отвращение, усиливают сокращение этих гладких мышц, в то время как возбуждающие эмоции, такие как радость, гнев и т. д., заставляют их расслабляться. Контраст температур действует аналогичным образом: холод - как угнетающие, а тепло - как возбуждающие эмоции. Холод вызывает бледность и "гусиную плоть", тепло разглаживает кожу и расширяет сосуды. Если обратить внимание на неприятное настроение, вызванное напряженным ожиданием, волнением перед публичным выступлением, досадой на незаслуженное оскорбление и т. д., то окажется, что страдающая часть его концентрируется главным образом в груди и заключается в болезненности, которую трудно назвать болью, ощущаемой в середине груди и обусловленной неприятным сопротивлением, оказываемым движениям вдоха, и устанавливающей предел их протяженности. Недостаточность диафрагмы навязывается сознанию, и мы пытаемся с помощью внешних волевых мышц груди сделать более глубокий вдох. [Если это не удастся, неприятность ситуации усиливается, поскольку к душевному страданию добавляется телесно отвратительное ощущение нехватки воздуха, легкая степень удушья. Если же, напротив, внешние мышцы преодолевают сопротивление внутренних, в груди становится легче. Нам кажется, что мы говорим символически, когда говорим о камне, отягощающем сердце, или о бремени, сброшенном с груди. Но на самом деле мы выражаем лишь точный факт, ибо при каждом вдохе мы должны были бы поднимать весь вес атмосферы (около 820 кг), если бы воздух не уравновешивал его, поступая в наши легкие". Не следует забывать, что торможение инспираторного центра, подобное тому, которое возникает при возбуждении верхнего

гортанного нерва, возможно, играет определенную роль в этих явлениях (Р. 55.). Очень интересное обсуждение затрудненного дыхания и его связи с тревогой и страхом см. в "Случае гидрофобии", написанном жалобщиком Тосом Б. Кертисом в "Бостонском мед. и хирургич. журнале", 7 и 14 ноября. Journal, 7 и 14 ноября 1878 г., и замечания по этому поводу Джеймса Дж. Путнама, там же. 21 ноября.

[398] Происхождение эмоций, Дарвин, стр. 290-2.

[399] La Physionomie et l'Expression des Sentiments (Paris, 1885), p. 140.

[400] Lange, *op. cit.* p. 75.

[401] Профессор Хёфдинг в своем превосходном трактате по психологии признает (с. 342) смешение телесных ощущений с чисто духовными аффектами в эмоциях. Однако он не обсуждает трудности различения духовных аффектов (и даже не показывает, что справедливо их учитывает) в своем утверждении о том, что они существуют.

[402] Ein Fall von allgemeiner Anæsthesie (Heidelberg, 1882).

[403] Ziemssen's Deutsches Archiv für klinische Medicin, xxii. 321.

[404] Не очень редкие случаи истерической гемианестезии не являются достаточно полными, чтобы использовать их в этом исследовании. Более того, последние исследования, о которых было рассказано в главе IV, показывают, что истерическая анестезия - это не реальное отсутствие чувствительности, а "диссоциация", как называет ее М. Пьер Жане, или отщепление определенных ощущений от остального сознания человека, причем этот *остаток* образует то "я", которое остается связанным с обычными органами выражения. Отщепленное сознание образует вторичное "я"; и М. Жане пишет мне, что не видит причин, по которым ощущения, чья "диссоциация" от тела сознания делает пациента практически анестетиком, не могли бы, тем не менее, вносить вклад в эмоциональную жизнь пациента. Они по-прежнему способствуют функции локомоции; у его пациента Л. не было атаксии, несмотря на анестезию. М. Джанет пишет мне, говоря о своей пациентке Л., перенесшей анестезию, что она, похоже, "страдала от галлюцинаций". "Я часто укалывал или обжигал ее без предупреждения и когда она меня не видела. Она не двигалась и, очевидно, ничего не чувствовала. Но если после этого при движении она замечала свою раненую руку и *видела* на коже маленькую капельку крови, образовавшуюся в результате небольшого пореза, она начинала кричать и причитать, как будто ей было очень больно. "Моя кровь течет, - сказала она однажды, - я, *должно быть*, очень страдаю! Она страдала от галлюцинаций. Подобные страдания очень характерны для истериков. Им достаточно получить малейший намек на изменения в своем теле, как воображение заполняет все остальное и придумывает изменения, которые не ощущались". См. замечания, опубликованные позднее в "Психологическом автоматизме" Джанета, стр. 214-15.

[405] *Op. cit.* p. 63.

[406] Следует признать, что существуют случаи болезненного страха, при которых объективно сердце не испытывает особого беспокойства. Однако они ничего не доказывают против нашей теории, поскольку, конечно, возможно, что корковые центры, обычно воспринимающие страх как комплекс сердечных и других органических ощущений, вызванных реальными телесными изменениями, при заболевании мозга должны возбуждаться в *первую очередь* и вызывать галлюцинацию наличия этих изменений, -

галлюцинацию страха, следовательно, сосуществующую со сравнительно спокойным пульсом и т. д. Я говорю, что это возможно, поскольку мне неизвестны наблюдения, которые могли бы проверить этот факт. Транс, экстаз и т. д. дают аналогичные примеры, не говоря уже об обычных сновидениях. При всех этих условиях можно иметь самые живые субъективные ощущения, как зрительные, так и слуховые, или более висцеральные и эмоциональные, как результат чистой нервно-центральной активности, и при этом, как я полагаю, с полным периферическим покоем.

[407] P. M. Бакке: *Man's Moral Nature* (N. Y., 1879), p. 97.

[408] Lange, *op. cit.* p. 61.

[409] Я склонен думать, что в некоторых истериформных состояниях горя, ярости и т. д. висцеральные нарушения менее сильны, чем те, которые переходят во внешнее выражение. В этом случае мы имеем грандиозную словесную демонстрацию с пустотой внутри. В то время как сторонние наблюдатели сочувствуют или бледнеют от тревоги, субъект все время дает себе волю, но чувствует свою неискренность и задается вопросом, как долго он сможет продолжать это представление. Приступы часто бывают удивительно внезапными. Лечение здесь заключается в том, чтобы запугать пациента более сильной волей. Выходите из себя, если он выходит из себя - "Нет, если вы будете говорить, я буду разглазывать не хуже вас". Это те случаи, когда при сравнительно небольшом количестве реальных субъективных эмоций наблюдаются значительные телесные проявления, которые могут быть использованы для дискредитации теории, выдвинутой в тексте. Вероятно, *висцеральные* проявления в этих случаях непропорционально малы по сравнению с проявлениями голосовых органов. Состояние субъекта чем-то напоминает состояние актера, который не чувствует своей роли".

[410] *Op. cit.* p. 73.- Ланге делает большой акцент на невротических препаратах, как части своего доказательства того, что влияния физического характера на тело являются первыми по порядку в производстве эмоций.

[411] Эмоции и воля, стр. 361-2.

[412] Цитируется Дугалдом Стюартом, *Elements, etc.* (Hamilton's ed.), iii. 140. Фехнер (*Vorschule der Aesthetik*, 156) говорит о себе почти то же самое: "На собственном опыте можно убедиться, что *подражание* телесному выражению психического состояния помогает нам понять его гораздо лучше, чем простое созерцание..... Когда я иду позади незнакомого мне человека и как можно точнее имитирую его походку и посадку, у меня возникает любопытнейшее впечатление, что я чувствую то, что должен чувствовать сам человек. Идти, спотыкаясь и переваливаясь, по моде молодой женщины, приводит человека, так сказать, в женское расположение духа".

[413] "Анатомия актерского мастерства" в *Longman's Magazine*, vol. xi. pp. 266, 375, 498 (1888), после переиздания в виде книги.

[414] P. 394.

[415] P. 496.

[416] Даже ощущения низших органов чувств могут иметь такое вторичное сопровождение, обусловленное пробуждением ассоциативных связей, вызывающих отголоски. Вкус может изрядно потрясти нас призраками "опустевших банкетных залов", которые он внезапно вызывает; или запах может заставить нас почувствовать себя почти больными, когда он

навевает воспоминания о "садах, которые превратились в руины, и домах удовольствий, которые превратились в пыль". "В Пиренеях, - рассказывает М. Гийо, - после летнего дня, проведенного в пути до крайней степени усталости, я встретил пастуха и попросил у него немного молока. Он пошел и принес из своей хижины, под которой протекал ручей, кувшин с молоком, погруженный в воду и сохранявший почти ледяную холодность. Выпив это свежее молоко, *в которое все горы вложили свои ароматы* и каждый глоток которого, казалось, давал новую жизнь, я, конечно, испытал ряд чувств, для обозначения которых недостаточно слова "*приятный*". Это было похоже на пасторальную симфонию, воспринимаемую не ухом, а вкусом" (цит. по "Современным проблемам эстетики" Ф. Паулана, с. 63). - Сравните дифирамб о виски полковника Р. Ингерсолла, которому президентская кампания 1888 года принесла такую известность: "Я посылаю вам немного самого замечательного виски, которое когда-либо сгоняло скелет с пиршества или рисовало пейзажи в мозгу человека. В нем смешались души пшеницы и кукурузы. В нем вы найдете солнечный свет и тень, которые гонятся друг за другом по полям, дыхание июня, песнь жаворонка, ночные росы, богатство лета и богатое содержание осени - все это золотое от заключенного в нем света. Выпейте его, и вы услышите голоса мужчин и девиц, поющих "Дом урожая", смешивающиеся со смехом детей. Выпейте его, и вы почувствуете в своей крови звездные рассветы, мечтательные, тауновые сумерки многих прекрасных дней. В течение сорока лет эта жидкая радость хранилась в счастливых шестах дуба, желая коснуться губ человека" - именно так я должен ответить на критику мистера Гурни в адрес моей теории. Мой "взгляд", - говорит этот писатель (Mind, ix. 425), - "далеко смешивает две вещи, которые, по моему мнению, музыкальная психология должна различать - чувственный эффект простых потоков или масс тонко окрашенного звука и отличительную музыкальную эмоцию, для которой *форма* последовательности звуков, ее мелодическая и гармоническая индивидуальность, даже реализованная в полной тишине, является жизненно важным и существенным объектом. Именно с первыми из этих двух совершенно разных вещей наиболее заметно связаны физические реакции, шевеление волос - покалывание и дрожь -..... Если говорить о себе, есть много музыки, от которой я получал столько же эмоций при безмолвном представлении, сколько при исполнении лучшим оркестром; но именно с последним состоянием я почти исключительно связываю кожное покалывание и шевеление волос. Но назвать мое наслаждение *формой, нотой за нотой* мелодии простым критическим "суждением о правильности" [см. ниже, с. 473] означало бы отказать мне в возможности выразить факт простого и интимного выражения на английском языке. Это квинтэссенция эмоций..... Существуют сотни других музыкальных произведений... которые я оцениваю как *правильные*, не получая ни йоты эмоций. Для целей эмоций они для меня как геометрические демонстрации или как акты честности, совершенные в Перу". Бетховенская правильность, о которой далее говорит Гурни, как о чем-то отличном от правильности Клементи (даже когда соответствующие произведения слышны только в идее), вероятно, является чисто *слуховой-сенсорной* вещью. Клементи-правильность также; только, по причинам, которые невозможно установить, форма Клементи не дает такого же чисто слухового удовлетворения, как форма Бетховена, и может быть лучше описана, возможно, негативно, как *не-правильность*, то есть свободная от положительно неприятного акустического качества. В таких музыкальных организациях, как у мистера Гурни, чисто акустическая форма дает настолько интенсивное чувственное наслаждение, что низшая телесная реверберация не имеет значения. Но я повторяю, что не вижу в фактах, которые приводит мистер Гурни, ничего, что заставило бы поверить в существование эмоций, не связанных с какими-либо *сенсорными процессами*.

[417] В его главе "Идеальная эмоция", к которой читатель обращается за более подробной информацией по этому вопросу.

[418] Те чувства, которые профессор Бейн называет "эмоциями относительности", возбуждение от новизны, удивление, восторг свободы, ощущение силы, едва ли переживут повторение опыта. Но, как объясняется далее в тексте и как говорит Гете, цитируемый профессором Хёффдингом, это происходит потому, что "душа внутренне увеличивается, сама того не зная, и уже не может быть заполнена тем первым ощущением. Человек думает, что он потерял, но на самом деле он приобрел. То, что он потерял в восторге, он приобрел во внутреннем росте". "Это, - как добавляет сам профессор Хёффдинг, используя красивую фигуру речи, - с нашими девственными чувствами, как с первым вдохом новорожденного, при котором легкие расширяются так, что уже никогда не могут быть опустошены до такой же степени. Ни один последующий вдох не может быть таким же, как этот первый". Что касается эмоционального притупления, сравните "Психологию" Хёффдинга, vi. E., и "Эмоции и воля" Бейна, глава iv. первой части.

[419] Месье Паулан в небольшой работе, полной точных наблюдений над деталями ("Аффективные феномены и их проявления"), как мне кажется, скорее переворачивает истину с ног на голову своей формулой, что эмоции обусловлены торможением импульсивных тенденций. *Один* вид эмоций, а именно беспокойство, раздражение, дистресс, действительно возникает, когда сдерживается какая-либо определенная импульсивная тенденция, и все иллюстрации М. П. взяты из этого рода. Другие эмоции сами по себе являются первичными импульсивными тенденциями диффузного типа (включающими, как справедливо говорит М. П., *множество феноменов*); и как раз в той мере, в какой все больше и больше этих многочисленных тенденций сдерживаются и заменяются несколькими узкими формами разрядки, первоначальная эмоция имеет тенденцию к исчезновению.

[420] Список старых работ по этому вопросу приведен в работе Мантегацца "Физиономия и выражение", гл. I; другие - в первой главе Дарвина. Анатомия выражения" Белла, "La Paura" Моссо, "Wissenschaftliches System der Mimik und Physiognomik" Пидерита, "Mécanisme de la Physionomie Humaine" Дюшена - это, помимо Ланге и Дарвина, самые полезные работы, с которыми я знаком. Сравните также Сюлли: Sensation and Intuition, chap. ii.

[421] Следует, однако, помнить, что в той мере, в какой половой отбор мог сыграть роль в формировании человеческого организма, отбор выразительных лиц должен был увеличить среднюю подвижность человеческого лица.

[422] Психол., § 213.

[423] Плач в детстве - почти такой же регулярный симптом гнева, как и горя, что объясняет (по принципам Дарвина) хмурый вид гнева. Мистер Спенсер объясняет гневный хмурый взгляд как возникший в результате выживания сильнейших, благодаря его полезности для защиты от солнца, когда человек участвует в смертельной схватке(!). (Профессор Моссо возражает против любого объяснения хмурого взгляда его полезностью для зрения, утверждая, что во время эмоционального возбуждения он связан с расширением зрачка, которое очень неблагоприятно для отчетливого зрения, и что это должно было быть изжито естественным отбором, если бы естественный отбор был способен исправить хмурый взгляд (см. La Paura, глава ix. § vi). К сожалению, этот очень способный автор говорит так, будто все эмоции воздействуют на зрачок одинаково. Страх, конечно, заставляет его расширяться. Но Гратиолет цитирует Дарвина и других авторов, утверждающих, что зрачки *сужаются* в гнев. Я не проводил собственных наблюдений по этому вопросу, а более раннюю работу Моссо о зрачке (Турин, 1875) я не видел. Я должен повторить вместе с Дарвином, что нам нужны более детальные наблюдения по этому вопросу.

[424] Physiologie u. Psychologie des Lachens und des Komischen (Berlin, 1873), pp. 13, 15.

[425] Эти движения объясняются телеологически, в первую очередь, усилиями, которые язык вынужден прилагать, чтобы приспособиться к лучшему восприятию или избеганию сапидного тела. (Cp. *Physiol. Psych.*, ii. 423.)

[426] Профессор Хенле выводит отрицательное мотание головой из зарождающейся дрожи и отмечает, насколько удачным является сокращение, например, когда дама отказывается от партнера в бальном зале. Хлопанье в ладоши для аплодисментов он объясняет как символическое сокращение объятий. Выпячивание губ (*der prufende Zug*), которое сопровождает всевозможные сомнительные и вопросительные состояния ума, доктор Пидерит выводит из *дегустационного* движения, которое мы можем наблюдать на губах любого человека, когда он решает, хорошее ли вино или нет.

[427] *Loc. cit.* § 497. Почему мышцы морды собаки не являются более подвижными, чем они есть, г-н Спенсер не может объяснить, как и то, почему различные стимулы должны иннервировать эти маленькие мышцы таким различным образом, если простой дренаж является единственным задействованным принципом. Чарльз Белл объяснил особую роль лицевых мышц в выражении лица тем, что они являются *вспомогательными мышцами дыхания*, управляемыми нервами, чье происхождение близко к дыхательному центру в продолговатом мозге. Они являются дополнением к *голосу*, и, как и он, их функция - *коммуникация*. (См. "Анатомию экспрессии" Белла. Приложение Александра Шоу).

[428] *La Paura*, Appendice, p. 295.

[429] См. ниже, с. 627.

ГЛАВА XXVI.[430]

ВОЛЯ.

Желание, стремление, воля - это состояния ума, которые известны каждому и которые никакое определение не может сделать более понятными. Мы желаем чувствовать, иметь, делать, всевозможные вещи, которые в данный момент не чувствуем, не имеем и не делаем. Если вместе с желанием приходит чувство, что достижение невозможно, мы просто *желаем*; но если мы верим, что цель в наших силах, мы *желаем*, чтобы желаемое чувствовалось, имелось или делалось реально; и оно становится реальным, либо сразу после желания, либо после выполнения определенных предварительных условий.

Единственные цели, которые следуют *непосредственно* за нашим желанием, - это движения нашего собственного тела. Какие бы *чувства* и *ощущения* мы ни желали получить, они приходят как результат предварительных движений, которые мы совершаем для этой цели. Этот факт слишком хорошо известен, чтобы нуждаться в иллюстрации; поэтому мы можем начать с утверждения, что единственными *непосредственными* внешними эффектами нашей воли являются телесные движения. Механизм производства этих волевых движений - вот что нам предстоит изучить сейчас. Эта тема включает в себя множество отдельных моментов, которые трудно расположить в каком-либо непрерывном логическом порядке. Я буду рассматривать их последовательно в порядке удобства, надеясь, что в конце читатель получит ясное и связное представление.

Движения, которые мы изучали до сих пор, были автоматическими и рефлекторными, и (во всяком случае, в первом случае их выполнения) не предвиделись агентом. Движения, к изучению которых мы сейчас обращаемся, будучи желанными и задуманными заранее, конечно же, выполняются с полным предвидением того, какими они должны быть. Отсюда следует, что *волевые движения должны быть вторичными, а не первичными функциями нашего организма*. Это первый момент, который необходимо понять в психологии воли. Рефлекторные, инстинктивные и эмоциональные движения являются первичными. Нервные центры устроены так, что определенные стимулы приводят в действие определенные взрывные части; и существо, впервые проходящее через один из этих взрывов, испытывает совершенно новый опыт. На днях я стоял на железнодорожной станции с маленьким ребенком, когда мимо пронесся поезд. Ребенок, находившийся у края платформы, вздрогнул, вздрогнул, судорожно задышал, побледнел, разразился плачем, судорожно подбежал ко мне и спрятал лицо. Я не сомневаюсь, что этот подросток был поражен своим поведением почти так же, как и поезд, и даже больше, чем я, стоявший в стороне. Конечно, если такая реакция происходила много раз, мы узнаем, чего от себя ожидать, и можем предвидеть свое поведение, даже если оно остается таким же непроизвольным и неконтролируемым, как и раньше. Но если при так называемом добровольном действии его необходимо предвидеть, то из этого следует, что ни одно существо, не наделенное прорицательской силой, не может совершить действие добровольно в первый раз. Ну а мы не в большей степени наделены пророческим видением того, какие движения нам под силу, чем пророческим видением того, какие ощущения мы способны получить. Как мы должны ждать, пока нам дадут ощущения, так мы должны ждать, пока движения будут выполняться непроизвольно, [431] прежде чем мы сможем составить представление о том, что из себя представляют те или иные вещи. Все наши возможности мы познаем на собственном опыте. Когда определенное движение, произошедшее однажды случайным, рефлекторным или непроизвольным образом, оставило в памяти образ самого себя, тогда это движение можно снова желать, предлагать в качестве цели и сознательно волеизъявлять. Но невозможно понять, как оно могло возникнуть раньше.

Таким образом, запас представлений о различных возможных движениях, оставленный в памяти опытом их непроизвольного выполнения, является первой предпосылкой волевой жизни.

Теперь одно и то же непроизвольно выполненное движение может оставить в памяти множество различных представлений о себе. Если оно совершается другим человеком, мы, конечно, *видим* его или *чувствуем*, если движущаяся часть ударяется о другую часть нашего тела. Точно так же мы имеем слуховое представление о его эффектах, если оно производит звуки, как, например, когда это одно из движений, совершаемых при вокале или игре на музыкальном инструменте. Все эти *отдаленные* эффекты движения, как мы можем их назвать, также производятся движениями, которые мы сами выполняем; и они оставляют в нашем сознании бесчисленное множество идей, по которым мы отличаем каждое движение от остальных. Оно *выглядит* отчетливо; оно *ощущается* отчетливо в какой-то отдаленной части тела, по которой оно ударяет; или оно *звучит* отчетливо. Этих отдаленных воздействий, строго говоря, было бы достаточно, чтобы снабдить разум необходимым запасом идей.

Но в дополнение к этим впечатлениям от удаленных органов чувств, когда мы сами совершаем движение, у нас есть еще один набор впечатлений, а именно те, которые исходят от частей, которые на самом деле двигаются. Эти *кинестетические* впечатления, как их называет доктор Бастиан, представляют собой многочисленные *резидентные* эффекты движения. Наши мышцы снабжены не только афферентными, но и эфферентными нервами, а сухожилия, связки, суставные поверхности и кожа вокруг суставов очень чувствительны и, будучи растянутыми и сжатыми способами, характерными для каждого конкретного движения, дают нам столько же характерных ощущений, сколько существует движений, которые можно выполнить.

Именно благодаря этим резидентным впечатлениям мы осознаем *пассивные движения* - *движения*, сообщаемые нашим конечностям другими людьми. Если вы лежите с закрытыми глазами, а другой человек бесшумно переводит вашу руку или ногу в любое произвольно выбранное положение, вы получаете точное ощущение того, какое это положение, и можете немедленно воспроизвести его в руке или ноге с противоположной стороны. Точно так же человек, внезапно пробудившийся от сна в темноте, осознает, как он лежит. По крайней мере, так происходит, когда нервный аппарат в норме. Но в случае болезни мы иногда обнаруживаем, что резидентные впечатления не могут нормально возбудить центры, и тогда чувство отношения теряется. Только недавно патологоанатомы начали изучать эти анестезии с той деликатностью, которой они требуют; и нам, несомненно, предстоит еще многое узнать о них. Кожа может быть анестезией, мышцы могут не чувствовать судорожной боли, которая возникает при прохождении через них фарадических токов, и при этом ощущение пассивного движения может сохраняться. На самом деле оно кажется более упорным, чем другие формы чувствительности, поскольку сравнительно часто встречаются случаи, когда все другие чувства в конечности, кроме этого чувства отношения, утрачиваются. В [главе XX](#) я пытался доказать, что суставные поверхности, вероятно, являются наиболее важным источником кинестетических ощущений. Но определение их особого органа безразлично для нашего сегодняшнего поиска. Достаточно знать, что существование этих ощущений нельзя отрицать.

Когда чувства пассивного движения, а также все другие чувства конечности утрачиваются, мы получаем такие результаты, как в следующем рассказе профессора А. Штрюмпеля о его замечательном мальчике-анестетике, единственными источниками чувств которого были правый глаз и левое ухо:[\[432\]](#)

"Пассивные движения могли быть запечатлены на всех конечностях в наибольшей степени, не привлекая внимания пациента. Только при сильном насильственном гиперэкстензии суставов, особенно коленных, возникало тупое смутное ощущение напряжения, но оно редко было точно локализовано. Мы часто, перевязав глаза пациента, носили его по комнате, укладывали на стол, придавали его рукам и ногам самые фантастические и, по-видимому, самые неудобные положения, не вызывая у него ни малейшего подозрения. Выражение изумления на его лице, когда снятие платка разом обнажило его положение, не поддается описанию словами. Только когда его голову заставили свесить вниз, он сразу же заговорил о головокружении, но не смог назвать его причину. Позже по звукам, связанным с манипуляциями, он иногда догадывался, что с ним делают что-то особенное..... Он не чувствовал мышечной усталости. Если, закрыв глаза, мы просили его поднять руку и держать ее поднятой, он делал это без проблем. Однако через одну-две минуты рука начинала дрожать и опускаться без его ведома. Он все еще утверждал, что способен держать ее в поднятом состоянии..... Пассивное удерживание пальцев не оказывало на него

никакого влияния. Ему постоянно казалось, что он открывает и закрывает руку, тогда как на самом деле она была неподвижна".

Или мы читаем о таких случаях, как:

"Добровольные движения невозможно оценить в тот момент, когда пациент перестает фиксировать их глазами. Так, после того как он закрыл глаза, если попросить его полностью или частично пошевелить одной из конечностей, он делает это, но не может сказать, большое или маленькое, сильное или слабое движение, или даже произошло ли оно вообще. А когда он открывает глаза, например, после движения ноги справа налево, то заявляет, что имел весьма неточное представление о степени произведенного движения..... Если, намереваясь выполнить определенное движение, *я помешаю ему*, он не воспринимает этого и считает, что конечность приняла то положение, которое он намеревался ей придать".[433]

Или вот это:

"Пациент, закрыв глаза в середине неотработанного движения, оставался с конечностью в том положении, в котором она находилась при закрытых глазах, и не завершил движение должным образом. Затем после нескольких колебаний конечность постепенно опустилась под действием своего веса (чувство усталости отсутствовало). Пациент не знал об этом и, открыв глаза, удивился измененному положению конечности".[434]

Подобное состояние можно легко воспроизвести экспериментально у многих гипнотических субъектов. Достаточно во время гипнотического транса сказать соответствующим образом настроенному человеку, что он не может чувствовать свою конечность, и он не будет знать, в какое положение вы можете ее перевести.[435]

Все эти случаи, как спонтанные, так и экспериментальные, показывают абсолютную необходимость *направляющих ощущений* какого-то рода для успешного выполнения объединенной серии движений. На самом деле легко понять, что, как в случае автоматической цепи движений (см. выше, т. I, с. 116), каждое последующее движение цепи должно быть разряжено впечатлением, которое производит следующее предыдущее, будучи выполненным, так и в случае добровольной цепи мы должны знать при каждом движении, *где мы находимся в ней*, если мы хотим разумно решить, каким должно быть следующее звено. Человек, не чувствующий своих движений, мог бы никогда не вести себя так хорошо, и все же вскоре заблудиться и сбиться с пути.[436] Но пациенты, подобные описанным, не получающие кинестетических впечатлений, все же могут руководствоваться зрением. Так, Штрюмпель говорит о своем мальчике:

"Всегда можно было наблюдать, как его взгляд был направлен сначала на предмет, находящийся перед ним, затем на его собственную руку; и как он никогда не переставал следовать за последней во время всего ее движения. Все его волевые движения происходили под неусыпным руководством глаза, который, как незаменимый проводник, никогда не был не верен своим функциям".

Так и в случае с Лэндри:

"При открытых глазах он легко противопоставляет большой палец каждому из остальных пальцев; при закрытых глазах движение противопоставления происходит, но большой палец лишь случайно встречается с пальцем, который он

ищет. При открытых глазах он способен, не задумываясь, свести обе руки вместе; но когда глаза закрыты, руки ищут друг друга в пространстве и встречаются лишь случайно".

В известном старом случае анестезии Чарльза Белла женщина могла спокойно держать своего ребенка на руках только до тех пор, пока смотрела на него. Я сам воспроизвел подобное состояние у двух гипнотических субъектов, чьи рука и кисть были сделаны анестезией, не будучи парализованными. Они могли писать свои имена, когда смотрели, но не когда глаза были закрыты. Современный способ обучения глухонемых артикуляции заключается в том, что они становятся внимательными к определенным гортанным, губным, грудным и другим ощущениям, воспроизведение которых становится руководством для их вокализации. В норме именно отдаленные ощущения, которые мы получаем ухом, не дают нам сбиться с пути в нашей речи. Явления афазии показывают, что так оно и есть.[\[437\]](#)

Это, пожалуй, все, что нужно сказать о существовании пассивных ощущений движения и их незаменимости для нашей волевой деятельности. Следовательно, мы можем считать несомненным, что независимо *от того, есть ли в сознании что-то еще в тот момент, когда мы сознательно желаем совершить определенное действие, там должна быть ментальная концепция, состоящая из воспоминаний-образов этих ощущений, определяющих, о каком именно действии идет речь.*

Так есть ли что-то еще в сознании, когда мы желаем совершить действие? В этой главе мы должны двигаться от более простых к более сложным случаям. Мой первый тезис, соответственно, заключается в том, что *не должно быть ничего другого, и что в совершенно простых добровольных действиях в сознании нет ничего другого, кроме кинестетической идеи, таким образом определенной, о том, каким должно быть действие.*

Согласно мощной традиции в психологии, для мысленного определения волевого акта необходимо нечто дополнительное к этим образам пассивных ощущений. Конечно, должен существовать особый ток энергии, идущий из мозга в соответствующие мышцы во время акта; и этот исходящий ток (как предполагается) должен иметь в каждом конкретном случае ощущение *sui generis*, связанное с ним, иначе (как утверждается) разум никогда не сможет сказать, какой именно ток, ток к этой мышце или ток к той, является правильным для использования. Это ощущение тока исходящей энергии получило у Вундта название *ощущения иннервации*. *Я не верю в его существование* и должен приступить к критике этого понятия, которая, боюсь, может оказаться для некоторых утомительной.

На первый взгляд, в чувстве иннервации есть нечто чрезвычайно правдоподобное. Пассивные ощущения движения, с которыми мы до сих пор имели дело, возникают после его выполнения. Но там, где движение сложное и точное, мы, по сути, *заранее* остро осознаем количество и направление энергии, которую оно должно задействовать. Достаточно поиграть в кегли или бильярд, или бросить мяч, чтобы уловить свою волю в процессе, так сказать, предварительной балансировки возможных усилий и идеальной репетиции различных мышечных сокращений, почти правильных, пока она не получит именно то, что ей нужно, когда она скажет: "Теперь вперед!". Это предчувственное взвешивание настолько похоже на череду пробных выплесков силы во внешний мир, за которыми следует коррекция, как раз вовремя, чтобы избежать необратимого поступка, что мысль о том, что его

сопровождают *исходящие* нервные токи, а не просто остатки былой пассивной чувствительности, является наиболее естественной.

Соответственно, мы видим, что большинство авторов считают существование иннервации чувств само собой разумеющимся. Бэйн, Вундт, Гельмгольц и Мах защищают их наиболее явно. Но, несмотря на авторитет, которым заслуженно пользуются такие авторы, я не могу не думать, что в данном случае они ошибаются, - что разрядка в двигательных нервах нечувствительна, и что *все наши представления о движении*, включая те усилия, которые оно требует, а также те, которые касаются его направления, его протяженности, его силы и его скорости, *являются образами периферических ощущений, либо "удаленных", либо живущих в движущихся частях, либо в других частях, которые симпатически действуют с ними в результате "диффузной волны"*.

Априори, как я покажу, нет причин, по которым должно существовать сознание двигательного разряда, и есть причины, по которым такого сознания быть не должно. Таким образом, *презумпция* говорит против существования чувства иннервации; и бремя доказывания этого лежит на тех, кто в него верит. Если положительные эмпирические доказательства, которые они предлагают, также окажутся недостаточными, тогда их дело падет на землю, и чувство, о котором идет речь, должно быть исключено из суда.

Прежде всего, позвольте мне показать, что *предположение о наличии чувства иннервации является излишним*.

Я не могу не подозревать, что схоластический предрассудок, согласно которому "следствие должно каким-то образом уже *содержаться* в причине", имеет отношение к тому, что психологи так готовы признать чувство иннервации. Если исходящий ток является следствием, то какой психический предшественник может содержать или предвещать его лучше, чем ощущение его? Но если мы посмотрим шире и рассмотрим психические предшественники нашей деятельности в целом, то увидим, что схоластическая максима повсеместно разрушается и что ее проверка в данном случае скорее нарушает, чем иллюстрирует общее правило. В диффузной волне, в рефлекторном действии и в эмоциональном выражении движения, которые являются следствиями, никоим образом не сдерживаются предвосхищением стимулов, которые являются их причиной. Последние являются субъективными ощущениями или объективными восприятиями, которые ни в малейшей степени не напоминают и не предвосхищают движения. Но мы их получаем, и - престо! Вот они, движения! Они выбивают нас из колеи, они удивляют нас. Как показано в главе "Инстинкт", это просто повод для удивления, что такие телесные последствия должны следовать за такими психическими предшественниками. Мы объясняем эту загадку *tant bien que mal* с помощью наших эволюционных теорий, говоря, что удачные вариации и наследственность постепенно привели к тому, что эта конкретная пара терминов должна была вырасти в единую последовательность. Между тем, почему *вообще* любое состояние сознания должно предшествовать движению, мы не знаем - эти две вещи кажутся по сути прерывными. Но если состояние сознания должно быть, то почему тогда оно может, насколько мы можем судить, быть как одним видом состояния, так и другим. Для человека (все мышцы которого в определенных случаях сокращаются от внезапного прикосновения или звука) глотать верблюда и напрягать мошку - значит полагать, что в другом случае представление о чувствах, которые должны быть вызваны их сокращением, является недостаточным ментальным сигналом для последнего, и настаивать на том, что необходим дополнительный предшественник в виде "ощущения исходящей разрядки".

Нет! Насколько мы можем судить, и в свете общей аналогии, кинестетические идеи, как мы их определили, или образы входящих ощущений положения и движения, с такой же *вероятностью*, как и любые ощущения иннервации, являются последними психическими предшественниками и детерминантами различных токов, идущих вниз в мышцы из мозга. Вопрос "*Каковы предшественники и детерминанты?*" - это вопрос факта, который должен решаться на основе любых эмпирических данных, которые могут быть найдены. [438]

Но прежде чем рассматривать эмпирические данные, позвольте мне показать, что существует *определенная априорная причина, по которой кинестетические образы должны быть последними психическими предшественниками исходящих токов, и почему мы должны ожидать, что эти токи будут нечувствительными; почему, короче говоря, сои-дизантное чувство иннервации не должно существовать.*

В психологии существует общий принцип, согласно которому сознание покидает все процессы, в которых оно больше не может быть полезным. Тенденция сознания к минимуму усложнений является фактически доминирующим законом. Закон упрощения в логике - лишь наиболее известный его пример. Мы становимся бессознательными по отношению к каждому чувству, которое бесполезно в качестве знака, ведущего нас к цели, и там, где достаточно одного знака, другие отпадают, а этот остается, чтобы работать в одиночку. Мы наблюдаем это во всей истории восприятия чувств и овладения каждым искусством. Мы не обращаем внимания на то, каким глазом мы видим, потому что между нашими движениями и каждым изображением на сетчатке сформировалась устойчивая механическая ассоциация. Наши движения - это цели нашего видения, а наши изображения на сетчатке - сигналы к этим целям. Если каждый образ сетчатки, каким бы он ни был, может автоматически подсказать движение в нужном направлении, то зачем нам знать, правый это глаз или левый? Это знание было бы излишним усложнением. Так и при овладении любым искусством или добровольными функциями. Меткий стрелок в конце концов думает только о точном положении цели, певец - только об идеальном звуке, балансир - только о точке столба, колебаниям которого он должен противостоять. У всех этих людей связанный механизм стал настолько совершенным, что каждое изменение в мыслях о цели функционально соотносится с одним движением, предназначенным для ее достижения. Пока они были тирольцами, они думали не только о цели, но и о средствах: стрелок - о положении своего ружья или лука, или о весе своего камня; пианист - о видимом положении ноты на клавиатуре; певец - о горле или дыхании; балансир - о ногах на канате, руке или подбородке под шестом. Но мало-помалу им удавалось отбросить все это лишнее сознание, и они становились уверенными в своих движениях ровно настолько, насколько это удавалось.

Теперь, если мы проанализируем нервный механизм волевого действия, то увидим, что в силу этого принципа экономности сознания двигательный разряд должен быть лишен чувства. Если мы назовем непосредственный психический предшественник движения его *психической подсказкой*, то все, что необходимо для неизменности последовательности со стороны движения, - это *фиксированная связь* между каждой конкретной психической подсказкой и одним конкретным движением. Для того чтобы движение было произведено с совершенной точностью, достаточно, чтобы оно мгновенно подчинилось своему собственному мысленному сигналу и ничему другому, и чтобы этот мысленный сигнал был неспособен пробудить какое-либо другое движение. Теперь *самое простое* возможное устройство для производства добровольных движений будет заключаться в том, что воспоминания-образы отличительных периферийных эффектов движения, будь то

резидентные или удаленные,[439] сами по себе должны составлять психические сигналы, и что никакие другие психические факты не должны вмешиваться или смешиваться с ними. Для миллиона различных волевых движений нам потребуется миллион различных процессов в коре головного мозга (каждый из которых соответствует идее или памяти-образу одного движения) и миллион различных путей разряда. Тогда все будет однозначно определено, и если идея верна, то и движение будет верным. Все, что *следует* за идеей, может быть совершенно нечувствительным, а сама двигательная разрядка может осуществляться бессознательно.

Сторонники чувства иннервации, однако, утверждают, что сам двигательный разряд должен ощущаться, и что именно он, а не представление об отличительных эффектах движения, должен быть надлежащим ментальным сигналом. Таким образом, в жертву приносится принцип экономии, а вся экономия и простота теряются. Ибо что можно получить, если вставить эту эстафету чувств между идеей движения и самим движением? Ничего с точки зрения экономии нервных путей; ведь для того, чтобы связать миллион идей движения с миллионом двигательных центров, каждый из которых имеет специфическое чувство иннервации, связанное с его разрядом, их нужно столько же, сколько для того, чтобы связать тот же миллион идей с миллионом бесчувственных двигательных центров. И ничего в отношении точности; ведь единственный мыслимый способ, которым чувства иннервации могли бы способствовать точности, - это дать уму, чье представление о движении было смутным, своего рода стадию остановки с более четкими образами, на которой он мог бы собраться с мыслями, прежде чем произнести свое *решение*. Но не только сознательное различие наших кинестетических идей гораздо резче, чем те оттенки различий между ощущениями иннервации, которые кто-либо выдает за таковые, но даже если бы это было не так, невозможно понять, как разум с нечетко задуманной идеей мог бы определить из множества *Innervationsgefühle*, если бы они не были так резко дифференцированы, какая из них точно соответствует этой идее, а какая нет. С другой стороны, остро задуманная идея *непосредственно* пробудит отчетливое движение так же легко, как и отчетливое чувство иннервации. Если чувства могут сбиться с пути из-за неясности, то, конечно, чем меньше ступеней чувства, тем надежнее мы будем действовать. Поэтому мы должны, исходя только из *априорных* соображений, рассматривать *Innervationsgefühl* как чистую помеху и полагать, что периферийные представления о движении являются достаточными ментальными сигналами.

Таким образом, презумпция говорит против иннервации чувств, поэтому те, кто отстаивает их существование, обязаны доказать это положительными доказательствами. Доказательства могут быть прямыми или косвенными. Если бы мы могли интроспективно ощутить их как нечто явно отличное от периферических ощущений и идей движения, существование которых никто не отрицает, это было бы прямым и убедительным доказательством. К сожалению, его не существует.

Не существует интроспективных доказательств ощущения иннервации. Где бы мы ни искали его и думали, что уловили, мы обнаруживаем, что на самом деле получили периферийное ощущение или образ - образ того, что мы чувствуем, когда иннервация закончилась, и движение находится в процессе выполнения или уже выполнено. Например, наша идея поднять руку или согнуть палец - это ощущение, более или менее яркое, того, что чувствует поднятая рука или согнутый палец. Другого ментального материала, из которого можно было бы составить такое представление, не существует. Мы не можем иметь никакого

представления о движении наших ушей, пока наши уши не двигаются; это верно и для любого другого органа.

Со времен Юма в психологии стало общим местом, что мы знакомы только с внешними результатами нашего волевого усилия, но не со скрытыми внутренними механизмами нервов и мышц, которые оно в первую очередь приводит в действие.^[440] Верующие в чувство иннервации с готовностью признают это, но, похоже, едва ли догадываются о его последствиях. Мне кажется, что одним из непосредственных следствий должно быть сомнение в существовании спорного чувства. Тот, кто говорит, что, поднимая руку, он не знает, сколько мышц он сокращает, в какой последовательности и с какой степенью интенсивности, выразительно заявляет о колоссальной степени неосознанности процессов двигательной разрядки. Каждая отдельная мышца, во всяком случае, не может иметь четкого ощущения иннервации. Вундт,^[441] который так широко использует эти гипотетические ощущения в своей психологической конструкции пространства, сам вынужден признать, что они не имеют качественных различий, а ощущаются одинаково во всех мышцах и различаются только по степени интенсивности. Они используются разумом как проводники не *того, какое* движение, а *того, насколько сильное* движение он совершает или должен совершить. Но разве это не лишает их существования вообще?^[442]

Ведь если что и очевидно для интроспекции, так это то, что степень силы наших мышечных сокращений полностью раскрывается нам афферентными ощущениями, исходящими от самих мышц и их вставок, от близости суставов и от общей фиксации гортани, груди, лица и тела на феномене усилия, объективно рассматриваемого. Когда мы думаем об определенной степени энергии сокращения, а не о другой, эта сложная совокупность афферентных ощущений, составляющих материал нашей мысли, делает совершенно точным и отчетливым наш мысленный образ точной силы движения, которое должно быть сделано, и точной величины сопротивления, которое должно быть преодолено.

Пусть читатель попробует направить свою волю к определенному движению, а затем обратит внимание на то, что *представляет собой* направление воли. Было ли это чем-то сверх представления о различных чувствах, которые вызовет это движение? Если абстрагироваться от этих ощущений, останется ли какой-нибудь знак, принцип или средство ориентации, с помощью которого воля может иннервировать нужные мышцы с нужной интенсивностью и не сбиваться на неправильные? Отбросьте эти образы результата, и, не оставив нам полного набора направлений, в которые может устремиться наша воля, вы оставите наше сознание в абсолютном и полном вакууме. Если я хочу написать "Петр", а не "Павел", то это мысль об определенных цифровых ощущениях, об определенных буквенных звуках, об определенных появлениях на бумаге, и ни о чем другом, что непосредственно предшествует движению моего пера.

Если я хочу произнести слово "*Павел*", а не "*Петр*", то мысль о том, что мой голос донесется до моего уха, и определенные мышечные ощущения в языке, губах и гортани направляют это произнесение. Все это - приходящие ощущения, и между мыслью о них, с помощью которой акт мысленно конкретизируется со всей возможной полнотой, и самим актом нет места для какого-либо третьего порядка психических явлений. Есть, правда, *fiat*, элемент согласия, или решимости, что акт должен последовать. Это, несомненно, для читателя, как и для меня, составляет суть добровольности акта. В дальнейшем эта *воля* будет рассмотрена более подробно. Здесь же им можно полностью пренебречь, поскольку он является постоянным коэффициентом, одинаково влияющим на все добровольные действия и неспособным

служить для их различения. Никто не станет утверждать, что его качество меняется в зависимости от того, используется правая рука, например, или левая.

Итак, предвосхищение сенсорных последствий движения, а также (в некоторых случаях) предчувствие того, что эти последствия станут реальными, - единственное психическое состояние, которое интроспекция позволяет нам распознать как предтечу наших волевых действий. Нет никаких интроспективных свидетельств того, что эфферентный разряд сопровождается каким-либо более поздним или сопутствующим чувством. Различные степени сложности, с которыми дается команда, представляют собой чрезвычайно важное осложнение, о котором мы поговорим далее.

Читатель может покачать головой и сказать: "Но неужели вы всерьез хотите сказать, что вся эта удивительно точная подстройка силы моего действия к его целям не является делом исходящей иннервации? Вот пушечное ядро, а вот коробка из картона: мгновенно и точно я поднимаю каждое из них со стола, шар не отказывается подниматься, потому что моя иннервация была слишком слабой, коробка не взлетает резко в воздух, потому что она была слишком сильной. Могут ли представления о различных сенсорных эффектах движения в этих двух случаях быть так тонко предвосхищены в сознании? Или, будучи там, можно ли считать достоверным, что они должны, без посторонней помощи, так тонко направлять стимуляцию бессознательных двигательных центров к их работе?" Даже так! Я отвечаю на оба вопроса. Мы имеем чрезвычайно тонкое предвосхищение сенсорных эффектов. Иначе почему нас охватывает удивление, если кто-то наполнил легкую на вид коробку песком до того, как мы попытались ее поднять, или подложил вместо знакомого нам пушечного ядра раскрашенную деревянную имитацию? *Удивление* может возникнуть только при получении ощущений, отличных от тех, которые мы ожидаем. Но на самом деле, когда мы хорошо знаем предметы, малейшее отличие от ожидаемого веса удивит нас или, по крайней мере, привлечет наше внимание. С незнакомыми предметами мы начинаем ожидать веса, который можно предположить по их внешнему виду. Ожидание этого ощущения иннервирует наш лифт, и мы "устанавливаем" его сначала довольно маленьким. Мгновение проверяет, не слишком ли он мал. Наше ожидание возрастает, т. е. мы в мгновение ока думаем о том, чтобы поднять грудь и зубы, подтянуть спину и почувствовать более сильные ощущения в руках. Быстрее, чем мы думали, они у нас есть, и вместе с ними в воздух поднимается ноша. [443] Бернхард [444] показал грубым экспериментальным способом, что наша оценка величины сопротивления так же тонко градуирована, когда наша воля пассивна, а конечности заставляют сокращаться путем прямой локальной фарадизации, как и когда мы сами иннервируем их. Феррье [445] повторил и проверил эти наблюдения. Они не допускают большой точности, и не следует делать на них слишком большой акцент в любом случае; но, по крайней мере, они имеют тенденцию показывать, что никакой дополнительной деликатности нашему восприятию не добавило бы сознание эфферентного процесса, даже если бы он существовал.

Поскольку прямых интроспективных доказательств иннервации чувств не существует, есть ли косвенные или косвенные доказательства? Их предлагается много, но при критическом рассмотрении они распадаются. Давайте посмотрим, что это такое. Вундт говорит, что если бы наши двигательные ощущения имели афферентную природу,

"следовало бы ожидать, что они будут увеличиваться и уменьшаться в зависимости от количества внешней или внутренней работы, фактически выполняемой при сокращении. Однако это не так, но сила двигательных ощущений чисто пропорциональна силе *импульса* к движению, который исходит из центрального органа, иннервирующего двигательные нервы. Это может быть доказано

наблюдениями врачей в случаях болезненного изменения мышечного эффекта. Пациент, чья рука или нога наполовину парализована, так что он может двигать конечностью только с большим усилием, отчетливо ощущает это усилие: конечность кажется ему тяжелее, чем раньше, как будто нагружена свинцом; поэтому у него возникает ощущение, что совершается большая работа, чем раньше, и все же совершаемая работа либо такая же, либо еще меньше. Только для того, чтобы добиться хотя бы этого эффекта, он должен провести более сильную иннервацию, более сильный двигательный импульс, чем раньше".[446]

При полном параличе пациенты также осознают, что им приходится прилагать огромные усилия, чтобы двигать конечностью, которая остается абсолютно неподвижной на кровати, и от которой, конечно, не может исходить никаких афферентных мышечных или других ощущений.[447]

Но д-р Ферьер в своей книге "Функции мозга" (Am. Ed. pp. 222-4) очень легко опровергает эту линию аргументации. Он сказал:

"Необходимо, однако, *полностью* исключить движения, прежде чем можно будет принять такое объяснение [как у Вундта]. Итак, хотя гемиплегический пациент не может пошевелить парализованной конечностью, хотя он и сознает, что старается изо всех сил, все же окажется, что он совершает мощные мышечные усилия какого-то рода". Вульпиан обратил внимание на тот факт, и я неоднократно в этом убеждался, что когда гемиплегический пациент хочет сомкнуть парализованный кулак, то, пытаясь это сделать, он бессознательно выполняет это действие здоровой рукой. Исключить такой источник осложнений практически невозможно, и если не принимать его во внимание, можно сделать весьма ошибочные выводы о причине ощущения усилия. В факте мышечного сокращения и сопутствующих центростремительных впечатлений, даже если действие не является таким, как хотелось бы, условия для сознания усилия существуют без того, чтобы мы были вынуждены рассматривать его как зависящее от центральной иннервации или исходящих токов.

"Однако легко провести простой эксперимент, который удовлетворительно объяснит ощущение усилия, даже если полностью исключить эти бессознательные сокращения другой стороны, как это делают гемиплегики.

"Если читатель вытянет правую руку и удержит указательный палец в положении, необходимом для нажатия на курок пистолета, он может, не двигая пальцем, а просто поверив, ощутить сознание затраченной энергии. Вот, таким образом, явный случай осознания энергии без фактического сокращения мышц одной или другой руки и без какого-либо ощутимого телесного напряжения. Если читатель снова проведет эксперимент и обратит пристальное внимание на состояние своего дыхания, он заметит, что сознание усилия совпадает с фиксацией мышц грудной клетки и что пропорционально количеству энергии, которое он ощущает, он держит гортань закрытой и активно сокращает дыхательные мышцы. Пусть он положит палец, как раньше, и *продолжит дышать* все время, и он обнаружит, что, сколько бы он ни направлял свое внимание на палец, он не будет испытывать ни малейших признаков осознания усилия, пока он фактически не пошевелит самим пальцем, и тогда оно будет относиться локально к действующим мышцам. Только когда этот существенный и постоянно присутствующий дыхательный фактор, как это было раньше, упускается из виду, сознание усилия может быть с какой-либо степенью правдоподобия приписано исходящему току. В сокращении дыхательных мышц есть

необходимые условия для центростремительных впечатлений, и они способны породить общее ощущение усилия. Когда эти активные усилия прекращаются, сознание усилия никогда не возникает, за исключением тех случаев, когда оно обусловлено локальным сокращением группы мышц, на которые направлено внимание, или другими мышечными сокращениями, бессознательно вступающими в игру при попытке.

"Я не могу найти ни одного случая осознания усилия, которое не объяснялось бы одним или другим из указанных способов. Во всех случаях сознание усилия обусловлено реальным фактом мышечного сокращения. То, что оно зависит от центростремительных впечатлений, возникающих при сокращении, я уже пытался показать. Когда пути центростремительных впечатлений или мозговые центры разрушаются, от мышечного чувства не остается и следа. То, что центральные органы для восприятия впечатлений, возникающих при мышечном сокращении, отличаются от тех, которые посылают двигательный импульс, уже было установлено. Но когда Вундт утверждает, что этого не может быть, потому что тогда ощущения всегда бы шли в ногу с энергией мышечных сокращений, он упускает из виду такой важный фактор, как фиксация дыхательных мышц, которая является основой общего ощущения усилия во всех его различных степенях".

К этим замечаниям Феррье мне нечего добавить.^[448] Любой может проверить их, и они убедительно доказывают, что сознание мышечного усилия, невозможное без движения, которое *где-то совершается*, должно быть афферентным, а не эфферентным ощущением; следствием, а не предшественником самого движения. Представление о величине мышечного напряжения, необходимого для выполнения определенного движения, может быть, следовательно, не чем иным, как предвосхищением ощутимых последствий этого движения.

Вытесненное таким образом из тела в целом, где же еще может найтись косвенное доказательство чувства иннервации? Где, как не в мышцах глаза, из небольшого отступления которых оно считает себя неуязвимым. Тем не менее, и эта крепость должна пасть, причем под самым легким обстрелом. Но прежде чем пробовать бомбардировку, давайте вспомним наши общие принципы, касающиеся оптического головокружения, или иллюзорной видимости движения предметов.

Мы считаем, что объект движется при двух различных обстоятельствах:

1. Когда его изображение движется на сетчатке, а мы знаем, что глаз неподвижен.
2. Когда его изображение неподвижно на сетчатке, а мы знаем, что глаз движется. В этом случае нам кажется, что мы *следим* за объектом.

В любом из этих случаев ошибочное суждение о состоянии глаза приводит к оптическому головокружению.

Если в первом случае мы думаем, что глаз неподвижен, в то время как на самом деле он движется, мы получаем движение изображения на сетчатке, которое считаем вызванным реальным движением объекта наружу. Так бывает, когда смотришь на стремительную воду, или через окна движущегося железнодорожного вагона, или когда поворачиваешься на пятках от головокружения. Глаза, не желая двигаться, совершают ряд произвольных вращений, продолжая те, которые они должны были совершить ранее, чтобы удержать

объекты в поле зрения. Если объекты кружились справа от нас, то при повороте на неподвижные предметы наши глаза все равно будут медленно двигаться вправо. Изображение на сетчатке при этом будет двигаться так же, как изображение объекта, проплывающего слева. Мы пытаемся поймать его, добровольно и быстро поворачивая глаза влево, когда произвольный импульс снова поворачивает глаза вправо, продолжая кажущееся движение; и так игра продолжается. (См. выше, [стр. 89-91.](#))

Если в случае 2 нам кажется, что глаза движутся, а на самом деле они неподвижны, мы будем считать, что следим за движущимся объектом, в то время как на самом деле мы фиксируем неподвижный объект. Иллюзии такого рода возникают после внезапного и полного паралича специальных глазных мышц, и приверженцы чувства эфферентной иннервации рассматривают их как *experimenta crucis*. Гельмгольц пишет:[\[449\]](#)

"Когда наружная прямая мышца правого глаза или ее нерв парализованы, глаз больше не может быть повернут в правую сторону. Пока пациент поворачивает его только в носовую сторону, он совершает регулярные движения и правильно воспринимает положение объектов в поле зрения. Но как только он пытается повернуть его наружу, то есть вправо, он перестает подчиняться его воле, стоит неподвижно на середине своего пути, и предметы кажутся летящими вправо, хотя положение глаза и изображение на сетчатке остаются неизменными."[\[450\]](#)

"В этом случае за усилием воли не следует ни действительного движения глаза, ни сокращения мышцы, о которой идет речь, ни даже усиления ее напряжения. Волевой акт не произвел абсолютно никакого эффекта за пределами нервной системы, и все же мы судим о направлении линии зрения так, как если бы воля осуществляла свое нормальное воздействие. Мы считаем, что она переместилась вправо, а поскольку изображение на сетчатке не изменилось, мы приписываем объекту то же движение, которое ошибочно приписали глазу..... Эти явления не оставляют места для сомнений в том, что мы судим о направлении линии взгляда только по усилию воли, с которым мы стремимся изменить положение наших глаз. Есть также некоторые слабые ощущения в веках... и, кроме того, при чрезмерных боковых вращениях мы чувствуем утомляющее напряжение в мышцах. Но все эти ощущения слишком слабы и расплывчаты, чтобы быть полезными для восприятия направления. Тогда мы чувствуем, какой импульс воли и насколько сильный мы применяем, чтобы повернуть глаз в заданное положение".

Частичный паралич той же мышцы, *парез*, как его еще называют, кажется, еще более убедительно указывает на тот же вывод, что воля к иннервации ощущается независимо от всех ее афферентных результатов. Я процитирую рассказ одного из недавних авторитетов,[\[451\]](#) о последствиях этого происшествия:

"Когда нерв, идущий к глазной мышце, например, к наружной прямой мышце одной стороны, впадает в состояние пареза, первым результатом является то, что тот же волевой стимул, который при нормальных обстоятельствах, возможно, повернул бы глаз в крайнее положение наружу, теперь способен произвести лишь умеренное вращение наружу, скажем, на 20°. Если теперь, закрыв здоровый глаз, пациент посмотрит на объект, расположенный так далеко от паретичного глаза, что последний должен повернуться на 20°, чтобы увидеть его отчетливо, пациент будет чувствовать себя так, как будто он переместил его не только на 20° в сторону, но и в крайнее боковое положение, поскольку импульс иннервации, необходимый для приведения его в поле зрения, является совершенно сознательным действием, в то

время как уменьшенное состояние сокращения паретичной мышцы находится в настоящее время вне поля зрения сознания. Тест, предложенный фон Грейфом, - локализация с помощью чувства осязания - служит для того, чтобы сделать очевидной ошибку, которую совершает пациент. Если мы попросим его быстро коснуться предмета, на который он смотрит, указательным пальцем руки с той же стороны, то линия, по которой движется палец, не будет линией зрения, направленной на 20° наружу, а приблизится к крайней возможной линии зрения".

Каменщик, у которого парализована наружная прямая мышца левого глаза, будет бить молотком по руке, а не по долоту, пока опыт не научит его мудрости.

Похоже, что здесь суждение о направлении *могло* возникнуть только из-за чрезмерной иннервации прямой мышцы, когда на объект смотрят. Все афферентные ощущения должны быть идентичны тем, которые испытывает глаз, когда все в порядке и суждение правильное. Глазное яблоко поворачивается на 20° как в одном, так и в другом случае, изображение падает на ту же часть сетчатки, давление на глазное яблоко и напряжение кожи и конъюнктивы одинаковы. Есть только одно ощущение, которое *может* меняться и привести нас к ошибке. Это чувство должно быть усилием, которое делает воля, умеренным в одном случае, чрезмерным в другом, но в обоих случаях это эфферентное чувство, чистое и простое.

Каким бы красивым и ясным ни казалось это рассуждение, оно основано на неполном перечне афферентных данных. Все авторы упустили из виду, что происходит в *другом* глазу. Он закрыт во время экспериментов, чтобы избежать двойного изображения и других осложнений. Но если изучить его состояние в этих обстоятельствах, то окажется, что в нем происходят изменения, которые должны привести к сильным афферентным ощущениям. И учет этих ощущений в одно мгновение разрушает все выводы, которые авторы, которых я цитировал, основывают на их предполагаемом отсутствии. Это я сейчас и покажу.[\[452\]](#)

Возьмем сначала случай полного паралича и предположим, что поражен правый глаз. Предположим, пациент желает перевести взгляд на объект, расположенный в крайней правой части поля зрения. Как прекрасно показал Геринг, оба глаза двигаются благодаря общему акту иннервации, и в данном случае оба двигаются вправо. Но парализованный правый глаз останавливается на середине своего пути, и объект все еще кажется далеким от точки фиксации. Тем временем левый глаз, хотя и прикрытый, продолжает вращение, пока не будет достигнут его крайний правый предел. Наблюдателю, смотрящему обоими глазами, будет казаться, что левый прищурился. Конечно, это непрерывное и экстремальное вращение вызывает афферентные ощущения движения глазного яблока вправо, которые на мгновение преобладают над слабыми ощущениями центрального положения в больном и незакрытом глазу. Пациент ощущает левым глазным яблоком, как будто он следует за объектом, который, как он видит правой сетчаткой, он не догоняет. Здесь присутствуют все условия оптического головокружения: неподвижное изображение на сетчатке и ошибочное убеждение, что глаза движутся.

Возражение, что ощущение в левом глазном яблоке не должно вызывать убежденности в том, что правый глаз движется, будет рассмотрено в ближайшее время. А пока обратимся к случаю простого пареза с кажущейся транслокацией поля зрения.

Здесь правый глаз успешно фиксирует объект, но наблюдение за левым глазом открывает наблюдателю тот факт, что он так же сильно щурится внутрь, как и в первом случае.

Направление, в котором палец пациента указывает на объект, - это направление этого косящего и прикрытого левого глаза. Как говорит Грейфе (хотя он и не понимает истинного значения своего собственного наблюдения), "кажется, никто не обратил достаточного внимания на то, насколько существенно совпадают направление линии взгляда второго отклоняющегося глаза [т. е. левого] и линия направления указательного пальца".

Одним словом, транслокация была бы вполне объяснима, если бы мы предположили, что ощущение определенной степени вращения левого глазного яблока способно подсказать пациенту положение объекта, изображение которого попадает только на правую сетчатку.[453] Можно ли, в таком случае, спутать ощущение в одном глазу с ощущением в другом? Несомненно, может, поскольку не только Дондерс и Адамюк своими вивисекциями, но и Геринг своими изысканными оптическими экспериментами доказали, что иннервационный аппарат обоих глаз един и что они функционируют как один орган - двойной глаз, по Герингу, или то, что Гельмгольц называет *циклопенаугом*. Чувства сетчатки этого двойного органа, иннервируемого по отдельности, естественно, не различаются, поскольку мы не знаем, принадлежат ли они левой сетчатке или правой. Мы используем их только для того, чтобы определить, где находятся их объекты. Требуется длительная практика, специально направленная на то, чтобы научить нас, на какую сетчатку падают ощущения в отдельности. Точно так же различные ощущения, возникающие при изменении положения глазных яблок, используются исключительно как признаки положения объектов; непосредственно фиксируемый объект привычно локализуется на пересечении двух оптических осей, но без какого-либо отдельного осознания с нашей стороны, что положение одной оси отличается от другой. Все, что мы осознаем, - это консолидированное ощущение определенного "напряжения" в глазных яблоках, сопровождающееся восприятием того, что именно так далеко впереди и так далеко справа или слева находится объект, который мы видим. Таким образом, "мышечный" процесс в одном глазу с такой же вероятностью может сочетаться с ретиальным процессом в другом глазу, как и два процесса в одном глазу, которые могут так сочетаться.

Еще одно косвенное доказательство в пользу иннервации чувств приводит профессор Мах, который говорит следующее:

"Если мы стоим на мосту и смотрим на текущую внизу воду, мы обычно чувствуем себя в покое, в то время как вода кажется движущейся. Длительное созерцание воды, однако, обычно приводит к тому, что мост вместе с наблюдателем и окружающей средой внезапно начинают двигаться в направлении, противоположном движению воды, в то время как сама вода принимает вид неподвижной. *Относительное* движение объектов в обоих случаях одинаково, и, следовательно, должно быть какое-то адекватное *физиологическое* основание, почему иногда одна, иногда другая их часть ощущается как движущаяся. Для того чтобы удобно исследовать этот вопрос, я сконструировал простой аппарат, который представлен на рис. 86. Масляная ткань с простым рисунком горизонтально натянута на два цилиндра (каждый длиной 2 метра и на расстоянии 3 футов друг от друга) и поддерживается в равномерном движении с помощью кривошипа. Поперек ткани и на высоте около 30 см над ней натянута нить с узлом х, , которая служит точкой фиксации для глаза наблюдателя. Если наблюдатель *следит* глазами за движением полотна, он видит его в движении, а себя и окружающее пространство -

в покое. Но если он смотрит на узел, то вскоре ему кажется, что вся комната движется в противоположном направлении от полотна, в то время как последнее как бы стоит на месте. Это изменение способа смотреть происходит за более или менее короткое время в зависимости от сиюминутного настроения человека, но обычно это занимает несколько секунд. Если вы однажды поймете суть, то сможете заставить эти два вида чередоваться по своему усмотрению. Любое следование за масляной тканью делает наблюдателя неподвижным; любая фиксация узла или невнимание к масляной ткани, так что ее рисунок становится размытым, приводит его в кажущееся движение".[454]

Профессор Мах объясняет этот феномен следующим образом:

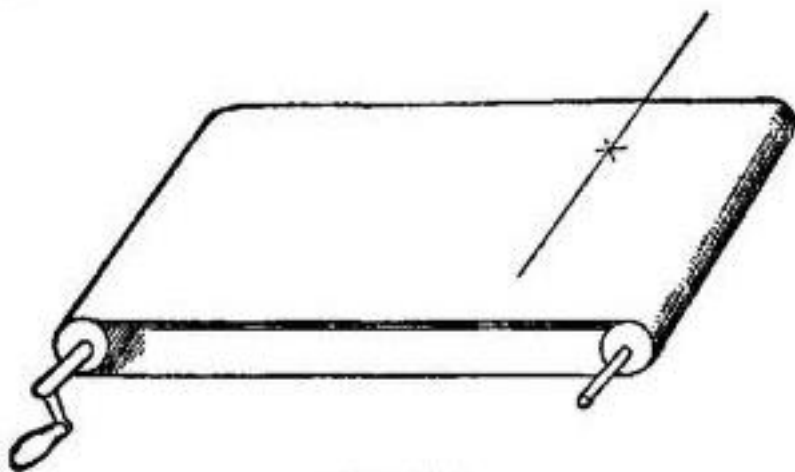


Рис. 86.

"Движущиеся объекты, как хорошо известно, оказывают на глаз своеобразную двигательную стимуляцию, они привлекают наше внимание, и мы смотрим им вслед. Если взгляд действительно следует за ними... мы предполагаем, что они движутся. Но если глаз, вместо того чтобы следить за движущимися объектами, остается в неподвижном состоянии, то, должно быть, постоянный стимул к движению, который он получает, нейтрализуется столь же постоянным током иннервации, поступающим в его двигательный аппарат. Но именно это и произошло бы, если бы неподвижно зафиксированная точка сама равномерно двигалась в другом направлении, а мы следили бы за ней глазами. Когда это происходит, все неподвижные предметы, на которые мы смотрим, должны казаться в движении".[455]

Узел *x*, струна, мы сами и все наше неподвижное окружение, по мнению Маха, кажутся находящимися в движении, потому что мы постоянно иннервируем наши глазные яблоки, чтобы противостоять *сопротивлению*, оказываемому на них рисунком или текущими волнами. Я сам много раз повторял это наблюдение над текущими потоками, но мне никогда не удавалось добиться полной иллюзии, описанной Махом. Я ощущаю движение моста и своего тела, но река никогда не кажется абсолютно остановившейся: она по-прежнему движется в одном направлении, в то время как я плыву в другом. Но какой бы ни была иллюзия - частичной или полной, - объяснение ее, отличное от объяснения профессора Маха, кажется мне более естественным. Считается, что иллюзия прекращается, когда наше внимание полностью фиксируется на движущейся масляной ткани, и мы воспринимаем ее такой, какая она есть; и возобновляется, наоборот, когда мы воспринимаем масляную ткань как смутно движущийся фон позади объекта, который мы непосредственно фиксируем и

положение которого относительно нашего собственного тела остается неизменным. Однако именно такое сознание мы имеем всякий раз, когда сами несемся в автомобиле, на лошади или в лодке. Когда мы и наши вещи движутся в одну сторону, *весь фон* движется в другую. Поэтому я скорее должен объяснить иллюзию профессора Маха как сходную с иллюзией на железнодорожных станциях, описанной выше на [странице 90](#). Другой поезд движется, но из-за него наш кажется движущимся, потому что, заполняя собой окно, он на время становится общим фоном. Так и здесь, вода или масляная ткань является для нас фоном *überhaupt* всякий раз, когда нам кажется, что мы движемся над ней. Относительное движение, ощущаемое сетчаткой, приписывается тому из ее компонентов, на который мы смотрим в большей степени сам по себе и в меньшей - как на простой *repoussoir*. Это может быть узел над сукном или мост под нашими ногами, а может быть, напротив, узор на сукне или поверхность бурлящего потока. Аналогичные изменения могут быть произведены в видимом движении луны и облаков, сквозь которые она светит, путем аналогичного изменения внимания. Такие изменения, однако, в нашем представлении о том, какая часть зрительного поля является основным объектом, а какая - фоном, по-видимому, не связаны с ощущениями иннервации. Поэтому я не могу рассматривать наблюдение профессора Маха как доказательство существования этих ощущений.[\[456\]](#)

Таким образом, косвенное доказательство чувства иннервации распадается, как и интроспективное. Но мы можем не только опровергнуть эксперименты, призванные доказать его существование, но и привести эксперименты, которые его опровергают. Человек, который добровольно двигает конечностью, в любом случае должен иннервировать ее, и если он чувствует иннервацию, то должен быть в состоянии использовать это чувство для определения того, что происходит с конечностью, даже если сама конечность анестезирована. Если же конечность полностью анестезирована, то получается, что он вообще не знает, какую работу она совершает при сокращении - другими словами, у него нет восприятия количества иннервации, которую он испытывает. Пациент, обследованный господами Гли и Марилье, прекрасно это продемонстрировал. Все его руки и туловище до пупка были нечувствительны как поверхностно, так и глубоко, но руки не были парализованы:

"Мы берем три каменные бутылки - две из них пустые и весят по 350 граммов каждая; третья наполнена ртутью и весит 1850 граммов. Мы просим Л... оценить их вес и сказать, какая из них тяжелее. Он заявляет, что находит их все три одинаковыми. С интервалом в несколько дней мы провели две серии по шесть экспериментов в каждой. Результат всегда был один и тот же. Эксперимент, надо ли говорить, был организован таким образом, что он не мог быть информирован ни на глаз, ни на слух. Он даже заявил, держа в руке бутылку с ртутью, что она не имеет веса..... Мы последовательно кладем ему в руку (его глаза все еще забинтованы) кусочек моделировочного воска, палочку из твердого дерева, толстую трубку из индийской резины, газету, сложенную вдоль и скомканную, и заставляем его сжимать эти несколько предметов. Он не чувствует никакой разницы в сопротивлении и даже не воспринимает, что что-то находится в его руке".[\[457\]](#)

М. Глей в другом месте[\[458\]](#) приводит эксперименты доктора Блоха, которые доказывают, что ощущение, которое мы имеем о положении наших конечностей, абсолютно ничем не обязано чувству иннервации. Доктор Блох стоял напротив угла экрана, стороны которого составляли угол около 90°, и пытался расположить руки симметрично, или так, чтобы обе они попадали на соответствующие места двух сторон экрана, которые для этой цели были отмечены квадратами. Отметив среднюю ошибку, ассистент пассивно подносил одну руку к

месту на своей стороне экрана, а другой активно искал соответствующее место на противоположной стороне. Точность соответствия оказалась столь же высокой, как и при добровольной иннервации обеих рук, показывая, что сознание иннервации в первом из двух экспериментов ничего не добавляет к ощущению положения конечностей. Затем доктор Блох попробовал, зажав определенное количество страниц книги между большим и указательным пальцами одной руки, зажать такое же количество между теми же пальцами другой руки. Он сделал это так же хорошо, когда пальцы были раздвинуты индийской резиной, как и когда им не мешали, показывая, что физиологически гораздо больший ток иннервации, необходимый в первом случае, никак не повлиял на сознание сделанного движения, во всяком случае, на его пространственный характер.[459]

В целом, таким образом, кажется настолько вероятным, насколько это вообще возможно, что этих чувств иннервации не существует. Если двигательные клетки являются отдельными структурами, то они так же нечувствительны, как и двигательные нервные стволы после перерезания задних корешков. Если же они не являются отдельными структурами, а представляют собой лишь последние сенсорные клетки, те, что находятся в "устье воронки"[460], то их сознание - это только кинестетические идеи и ощущения, и это сознание сопровождает скорее нарастание активности в них, чем ее разрядку. Таким образом, все содержание и материал нашего сознания - сознание движения, как и всего остального, - имеет периферическое происхождение и пришло к нам в первую очередь через периферические нервы. Если спросят, что мы выигрываем от этого сенсационного вывода, я отвечу, что мы выигрываем, во всяком случае, простоту и единообразие. В главах "Пространство", "Вера", "Эмоции" мы обнаружили, что ощущения гораздо богаче, чем принято считать; и данная глава, похоже, в этом смысле совпадает с ними. Далее, что касается того, что сенсуализм - это унижительная вера, которая упраздняет всякую внутреннюю оригинальность и спонтанность, то здесь следует сказать, что сторонники внутренней спонтанности, возможно, отворачиваются от ее настоящей цитадели, когда они от ее имени борются за сознание энергии, которая выражается в исходящей разрядке. Пусть такого сознания нет; пусть все наши мысли о движениях носят сенсационный характер; все равно в подчеркивании, выборе и поддержке одного из них, а не другого, в обращении к нему со словами: "Будь для меня реальностью", есть широкие возможности для проявления нашей внутренней инициативы. Здесь, как мне кажется, следует провести истинную границу между пассивными материалами и активностью духа. Проводить ее между идеями, связанными с исходящей и входящей нейронной волной, - это, конечно, ложная стратегия.[461]

Если представления, с помощью которых мы отличаем одно движение от другого, в момент принятия решения о том, какое из них мы будем выполнять, всегда имеют сенсорное происхождение, то возникает вопрос: "Какого сенсорного порядка они должны быть?" Вспомним, что мы различали два порядка кинестетических впечатлений: *дистантные*, производимые движением на глаз, ухо, кожу и т. д., и *резидентные*, производимые на сами движущиеся части, мышцы, суставы и т. д. Так вот, только ли резидентные образы образуют то, что я называл психической подсказкой, или отдаленные тоже подойдут?

Не может быть никаких сомнений в том, что мысленная подсказка может быть либо изображением резидентного, либо удаленного типа. Хотя на начальном этапе обучения движению кажется, что резидентные ощущения должны сильно опережать сознание (см. с.

487), в дальнейшем это не обязательно так. Правило, на самом деле, заключается в том, что они имеют тенденцию все больше и больше исчезать сознания, и чем больше мы практикуемся в движении, тем более "отдаленными" становятся идеи, которые формируют его ментальную подсказку. Нас *интересует только* то, что задерживается в нашем сознании; от всего остального мы избавляемся так быстро, как только можем. Наши резидентные ощущения движения, как правило, не представляют для нас никакого существенного интереса. Что нас интересует, так это цели, которые движение должно достичь. Такой целью обычно является внешнее впечатление на глаз или ухо, а иногда на кожу, нос или нёбо. Теперь позвольте идее цели определенно связать себя с правильной двигательной иннервацией, и мысль о *резидентных* эффектах иннервации станет такой же большой помехой, какой, как мы раньше считали, будет ощущение самой иннервации. Разум в этом не нуждается; достаточно одной лишь цели.

Идея цели, таким образом, все больше и больше стремится сделать себя вседостаточной. Или, во всяком случае, если кинестетические идеи вообще вызываются, они настолько поглощаются яркими кинестетическими ощущениями, которые тут же настигают нас, что мы не успеваем осознать их отдельное существование. Когда я пишу, я не предвкушаю, как вещь, отличную от моих ощущений, ни внешнего вида, ни цифровых ощущений букв, которые слетают с моего пера. Слова звучат в моем мысленном ухе, так сказать, до того, как я их напишу, но не в моем мысленном глазу или руке. Это происходит из-за быстроты, с которой часто повторяющиеся движения следуют за мысленным сигналом. Цель, на которую согласились, как только она была задумана, иннервирует непосредственно центр первого движения цепи, ведущей к ее достижению, и затем вся цепь гремит *квазирефлекторно*, как это было описано на стр. 115-6 тома I.

Читатель, несомненно, поймет, что так происходит во всех беглых и беспрекословных добровольных действиях. Единственный особый шаг - в самом начале исполнения. Человек говорит себе: "Я должен сменить рубашку", - и непроизвольно снимает пальто, а его пальцы привычным образом работают над пуговицами жилета и т. д.; или мы говорим: "Я должен спуститься вниз", - и не успеваем оглянуться, как уже встаем, идем и поворачиваем ручку двери; все это благодаря идее цели, соединенной с серией направляющих ощущений, которые последовательно возникают. Действительно, кажется, что мы не достигаем точности и уверенности в достижении цели, когда мы озабочены идеальным сознанием средств. Мы идем по бревну тем лучше, чем меньше думаем о положении наших ног на нем. Мы подаем или ловим мяч, мы стреляем или рубим, тем лучше, чем менее осязательно и мускулисто (чем меньше жителя), и чем более исключительно оптически (чем более отдаленно) наше сознание. Держите *глаз* на месте, куда целитесь, и ваша рука достанет его; думайте о руке, и вы, скорее всего, не попадете в цель". Доктор Саутард обнаружил, что он может более точно нащупать место острием карандаша при помощи визуальной, а не тактильной мысленной подсказки. В первом случае он смотрел на небольшой предмет и закрывал глаза, прежде чем попытаться дотронуться до него. Во втором случае он *помещал* его с закрытыми глазами, а затем, убрав руку, пытался прикоснуться к нему снова. Средняя ошибка при осязании (когда результаты были наиболее благоприятными) составила 17,13 мм. Со зрением она составила всего 12,37 мм.[462] - Все это - простые результаты интроспекции и наблюдения. Благодаря каким нейронным механизмам они стали возможны, на данном этапе нам не нужно спрашивать.

В *главе XVIII* мы видели, как сильно различаются люди в отношении их умственного воображения. В том типе воображения, который французские авторы называют *тактильным*, вероятно, кинестетические идеи более заметны, чем в моем случае. Мы не

должны ожидать слишком большого единообразия в отдельных описаниях и не должны слишком спорить о том, какое из них "действительно" отражает процесс.[463]

Я полагаю, что теперь мне стало ясно, что такое "идея движения", которая должна предшествовать ему, чтобы оно было добровольным. Это не мысль об иннервации, которой требует движение. Это предвосхищение ощутимых последствий движения, реальных или отдаленных, а иногда и очень отдаленных. Такие предвосхищения, по меньшей мере, определяют, *какими* должны быть наши движения. Я все время говорил так, как будто они также могут определять, *какими* они будут. Это, несомненно, смутило многих читателей, потому что, конечно, кажется, что во многих случаях воления, помимо простого представления о движении, требуется еще и особый фиаат, или согласие на движение; и этот фиаат я полностью исключил из своего рассказа. Это приводит нас к следующему пункту в психологии воли. Теперь, когда мы избавились от столь утомительного предварительного материала, его легче рассматривать.

ИДЕОМОТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Вопрос заключается в следующем: *Достаточно ли одной лишь идеи о разумных последствиях движения (с. 497), или же должен быть дополнительный психический предшественник в виде решения, согласия, волевого мандата или другого синонимичного явления сознания, прежде чем движение может последовать?*

Отвечаю: Иногда достаточно одной лишь идеи, но иногда необходимо вмешательство дополнительного сознательного элемента в форме решения, мандата или выраженного согласия, который предшествует движению. Случаи без фиата представляют собой более фундаментальную, потому что более простую разновидность. Остальные связаны с особыми сложностями, которые должны быть подробно рассмотрены в соответствующее время. Пока же обратимся к идеомоторному *действию*, как его называют, или к последовательности движений при одной только мысли о них, как к типу процесса воления.

Там, где движение следует *безоговорочно и немедленно* за представлением о нем в сознании, мы имеем идеомоторное действие. В этом случае мы ничего не знаем между замыслом и исполнением. Между ними, конечно, происходят всевозможные нервно-мышечные процессы, но мы о них совершенно ничего не знаем. Мы думаем о действии, и оно совершается; и это все, что интроспекция говорит нам о данном вопросе. Доктор Карпентер, который впервые использовал, как мне кажется, название идеомоторного действия, отнес его, если я не ошибаюсь, к диковинкам нашей психической жизни. На самом деле это не курьез, а просто нормальный процесс, лишенный маскировки. Во время разговора я замечаю булавку на полу или пылинку на рукаве. Не прерывая разговора, я смахиваю пыль или подбираю булавку. Я не принимаю никакого явного решения, но само восприятие объекта и мимолетное представление о действии, кажется, сами по себе приводят к последнему. Точно так же, сидя за столом после ужина, я время от времени беру из блюда орехи или изюм и ем их. Мой ужин, как положено, уже закончился, и в пылу беседы я едва ли осознаю, что делаю, но восприятие фрукта и мимолетное представление о том, что я могу его съесть, кажется, фатально приводят к этому акту. Здесь, конечно, нет никакого явного решения; не больше, чем во всех тех привычных движениях, приходах и перестановках, которые заполняют каждый час дня и которые приходящие ощущения провоцируют так мгновенно, что часто трудно решить, не называть ли их рефлекторными, а не добровольными действиями. В главе IV мы видели, что промежуточные термины

привычной серии действий, ведущих к цели, склонны быть такого рода *квазиавтоматическими*. Как говорит Лотце:

"Мы видим при письме или игре на фортепиано множество очень сложных движений, быстро следующих одно за другим, побудительные репрезентации которых едва ли на секунду оставались в сознании, конечно, недостаточно долго, чтобы пробудить какое-либо другое воление, кроме общего - безропотного подчинения себя переходу представления в действие. Все действия нашей повседневной жизни происходят именно так: Вставание, ходьба, разговор - все это никогда не требует отчетливого импульса воли, но в достаточной мере осуществляется чистым потоком мысли".[464]

Во всем этом определяющим условием непоколебимой и устойчивой последовательности действия, по-видимому, является *отсутствие в сознании моего противоречивого представления*. Либо в сознании вообще ничего нет, либо то, что там есть, не противоречит. Гипнотизируемый субъект осознает первое состояние. Спросите его, о чем он думает, и десять к одному он ответит "ни о чем". Следствием этого является то, что он верит всему, что ему говорят, и совершает все действия, которые ему предлагают. Внушение может быть голосовой командой, а может быть выполнением перед ним требуемого движения. В определенных условиях гипнотические субъекты повторяют все, что слышат от вас, и имитируют все, что видят, как вы делаете. Доктор Фере утверждает, что некоторые бодрствующие люди невротического типа, если на их глазах неоднократно закрывать и открывать руку, вскоре начинают испытывать соответствующие ощущения в собственных пальцах, а затем начинают неудержимо выполнять те движения, которые они видят. При таких условиях "подготовки" доктор Фере обнаружил, что его испытуемые могли сжимать ручной динамометр гораздо сильнее, чем когда их резко приглашали сделать это. Несколько *пассивных* повторений движения позволяют многим ослабленным пациентам выполнять его активно и с большей силой. Эти наблюдения прекрасно показывают, как простое ускорение кинестетических представлений эквивалентно определенному напряжению, направленному на разрядку центров.[465]

Мы знаем, что такое встать с постели морозным утром в комнате без огня, и как сам жизненный принцип внутри нас протестует против этого испытания. Наверное, большинство людей по утрам лежали по часу, не в силах собраться с силами. Мы думаем, как опоздаем, как пострадают обязанности дня; мы говорим: "Я *должен* встать, это позорно" и т. д.; но все равно теплая кушетка кажется слишком вкусной, холод снаружи - слишком жестоким, и решение теряет силу и откладывается снова и снова, как только кажется, что оно на грани того, чтобы сломить сопротивление и перейти к решающему действию. Как же нам *удается* подняться в таких обстоятельствах? Если обобщить мой собственный опыт, то чаще всего мы встаем без всякой борьбы или решения. Мы вдруг обнаруживаем, что встали. Происходит удачный провал в сознании; мы забываем и тепло, и холод; мы впадаем в некую задумчивость, связанную с прожитым днем, в ходе которой у нас мелькает мысль: "Холло! Я не должен больше лежать здесь" - мысль, которая в этот счастливый момент не пробуждает никаких противоречивых или парализующих предложений и, следовательно, немедленно производит соответствующие двигательные эффекты. Именно острое сознание как тепла, так и холода в период борьбы парализовало тогда нашу активность и удерживало нашу идею подняться в состоянии *желания*, а не *воли*. В тот момент, когда эти тормозящие идеи прекратились, первоначальная идея начала действовать.

Этот случай, как мне кажется, содержит в миниатюрной форме данные для целой психологии воления. Именно размышляя над этим феноменом на собственном опыте, я впервые убедился в истинности доктрины, которую излагаю на этих страницах и которую мне нет нужды иллюстрировать дальнейшими примерами.^[466] Причина, по которой эта доктрина не является самоочевидной истиной, заключается в том, что у нас так много идей, которые не приводят к действию. Но мы увидим, что в каждом таком случае, без исключения, это происходит потому, что другие идеи, присутствующие одновременно, лишают их импульсивной силы. Но даже здесь, когда движение не может *полностью состояться* из-за противоположных идей, оно все равно *зарождается*. Еще раз процитируем Лотце:

"Зритель сопровождает бросок бильярдного шара или выпад фехтовальщика легкими движениями руки; необученный рассказчик рассказывает свою историю с помощью многочисленных жестикующих; читатель, погруженный в чтение батальной сцены, чувствует, как легкое напряжение проходит по его мышечной системе, как бы в такт действиям, о которых он читает. Эти результаты становятся тем заметнее, чем больше мы поглощены размышлениями о движениях, которые их вызывают; они становятся слабее ровно настолько, насколько сложное сознание, находящееся под властью толпы других представлений, выдерживает переход от мысленного созерцания к внешнему действию".

Игра желаний", выставки так называемого "чтения мыслей", или, правильнее сказать, чтения мышц, ставшие в последнее время столь модными, основаны на этом зарождающемся повиновении мышечных сокращений идее, даже когда сознательное намерение состоит в том, что никаких сокращений не должно происходить.^[467]

Тогда мы можем с уверенностью утверждать, что *каждое представление движения в какой-то степени пробуждает реальное движение, которое является его объектом; и пробуждает его в максимальной степени, когда ему не мешает это сделать антагонистическое представление, присутствующее в сознании одновременно.*

Выраженный фиат, или акт мысленного согласия на движение, появляется тогда, когда требуется нейтрализовать антагонистическую и тормозящую идею. Но в том, что при простых условиях нет необходимости в явном согласии, читатель должен теперь убедиться. Однако, чтобы он не разделял распространенное предубеждение, что добровольное действие без "напряжения силы воли" - это Гамлет с опущенной ролью принца, я сделаю еще несколько замечаний. Первое, от чего следует отталкиваться в понимании добровольного действия и возможности его возникновения без волевого решения, - это тот факт, что сознание *по самой своей природе импульсивно*.^[468] У нас нет ощущения или мысли, а затем мы должны *добавить* к ним что-то динамическое, чтобы получить движение. Каждый импульс чувства, который мы испытываем, является коррелятом какой-то нейронной активности, которая уже на пути к тому, чтобы вызвать движение. Наши ощущения и мысли - это лишь срезы, так сказать, токов, существенным следствием которых является движение, и которые не успевают войти в один нерв, как уже выходят из него в другом. Популярное представление о том, что простое сознание как таковое по сути не является предвестником активности, что последняя должна быть результатом какого-то дополнительного "волевого усилия", является очень естественным выводом из тех особых случаев, когда мы думаем о действии в течение неопределенно долгого времени без того, чтобы это действие

происходило. Такие случаи, однако, не являются нормой; это случаи торможения со стороны антагонистических мыслей. Когда блокировка снимается, мы чувствуем, что внутренняя пружина как будто разжимается, и это дополнительный импульс или *побуждение*, при котором действие действительно удастся. О блокировке и ее освобождении мы еще поговорим. Наша высшая мысль полна этим. Но там, где нет блокировки, естественно, нет и перерыва между мыслительным процессом и двигательной разрядкой. *Движение - это естественный непосредственный эффект чувства, независимо от того, каково качество этого чувства. Так происходит в рефлекторном действии, так происходит в эмоциональном выражении, так происходит в волевой жизни.* Таким образом, идеомоторное действие - это не парадокс, который нужно смягчать или объяснять. Оно подчиняется типу всех сознательных действий, и с него следует начинать объяснение действий, в которые вовлечена особая воля.

Вскользь можно заметить, что торможение движения не в большей степени связано с выраженным усилием или командой, чем его выполнение. И то, и другое *может* потребовать его. Но во всех простых и обычных случаях, как присутствие одной идеи побуждает к движению, так и присутствие другой идеи препятствует его осуществлению. Попробуйте почувствовать себя так, как будто вы сгибаете палец, держа его при этом прямым. Через минуту он будет довольно сильно покалывать от воображаемого изменения положения; однако он не будет ощутимо двигаться, потому что *его неподвижность* - это тоже часть того, что вы имеете в виду. Отбросьте *эту* идею, думайте о движении чисто и просто, без всяких перерывов; и вот, готово! оно происходит без всяких усилий.

Таким образом, поведение бодрствующего человека всегда является результатом действия двух противоположных нервных сил. С невообразимой тонкостью одни токи среди клеток и волокон его мозга играют на его двигательных нервах, в то время как другие токи, столь же невообразимо тонкие, играют на первых токах, препятствуя или помогая им, изменяя их направление или скорость. В итоге получается, что, хотя токи всегда должны заканчиваться отводом через *некоторые* двигательные нервы, они отводятся иногда через один набор, иногда через другой; а иногда они поддерживают равновесие так долго, что поверхностный наблюдатель может подумать, что они вообще не отводятся. Однако такой наблюдатель должен помнить, что с физиологической точки зрения жест, выражение бровей или изгнание дыхания являются движениями в той же мере, что и акт локомоции. Дыхание короля убивает так же, как и удар убийцы; и изливание тех потоков, которыми сопровождается волшебный невесомый поток наших идей, не всегда должно быть взрывным или иным физически заметным.

ДЕЙСТВИЕ ПОСЛЕ ОБДУМЫВАНИЯ.

Теперь мы можем описать, *что происходит в процессе обдуманного действия*, или когда в сознании присутствует множество идей, связанных друг с другом антагонистическими или благоприятными способами.^[469] Одна из таких идей - идея действия. Сама по себе эта идея побудила бы к движению; однако некоторые из дополнительных соображений, присутствующих в сознании, блокируют двигательную разрядку, а другие, наоборот, побуждают ее совершить. В результате возникает то своеобразное чувство внутреннего беспокойства, которое называется *нерешительностью*. К счастью, оно слишком знакомо, чтобы нуждаться в описании, ибо описать его было бы невозможно. Пока оно длится, пока перед взором предстают различные объекты, мы, как говорят, *размышляем*; и когда, наконец, первоначальное внушение либо преобладает и заставляет движение состояться, либо окончательно подавляется его антагонистами, мы, как говорят, *принимаем решение*, или *произносим свой добровольный приказ* в пользу того или иного курса. Усиливающие и

препятствующие идеи называются *причинами или мотивами*, по которым принимается решение.

Процесс обдумывания содержит бесконечное количество степеней усложнения. В каждый момент его мы осознаем чрезвычайно сложный объект, а именно существование всей совокупности мотивов и их конфликт, как объясняется на с. 275 тома I. Из этого объекта, совокупность которого все время осознается более или менее смутно, в один момент на переднем плане более или менее резко выделяются одни части, в другой момент - другие, вследствие колебаний нашего внимания и "ассоциативного" потока наших идей. Но какими бы резкими ни были причины на переднем плане, как бы близки они ни были к тому, чтобы прорвать плотину и понести двигательные последствия своим путем, фон, как бы смутно он ни ощущался, всегда присутствует; и его присутствие (пока длится нерешительность) служит эффективным сдерживающим фактором для бесповоротной разрядки. Размышления могут длиться неделями и месяцами, периодически занимая разум. Мотивы, которые еще вчера казались полными настоящей силы, крови и жизни, сегодня кажутся странно слабыми, бледными и мертвыми. Но не сегодня-завтра вопрос будет решен окончательно. Что-то подсказывает нам, что все это временно; что ослабленные причины снова станут сильными, а сильные ослабнут; что равновесие еще не достигнуто; что проверка наших причин, а не подчинение им, все еще в порядке дня, и что мы должны подождать некоторое время, терпеливо или нетерпеливо, пока наше решение не будет принято "навсегда и окончательно". Эта склонность, сначала к одному, потом к другому будущему, оба из которых мы представляем как возможные, напоминает колебания материального тела в пределах его упругости. Есть внутреннее напряжение, но нет внешнего разрыва. И это состояние, что совершенно очевидно, способно продолжаться неопределенно долго, как в физической массе, так и в сознании. Однако если упругость уступит, если плотина когда-нибудь прорвется, и потоки прорвут кору, колебания закончатся, и решение будет принято бесповоротно.

Решение может быть принято одним из многих способов. Я попытаюсь вкратце описать наиболее характерные его типы, предупредив читателя, что это лишь интроспективный рассказ о симптомах и явлениях, а все вопросы о причинно-следственных связях, будь то нейронные или духовные, отнесены на более позднюю страницу.

Конечно, конкретные причины, побуждающие к действию или против него, в конкретных случаях бесконечно разнообразны. Но некоторые мотивы действуют более или менее постоянно. Один из них - *нетерпение к состоянию размышления*; или, выражаясь иначе, готовность действовать или принимать решения только потому, что действие и решение как таковые приятны и снимают напряжение сомнений и колебаний. Так получается, что мы часто принимаем любое решение, которое наиболее ярко предстает перед нашим мысленным взором, в тот момент, когда этот импульс к решительным действиям становится экстремальным.

Против этого импульса выступает *страх перед необратимостью*, который часто порождает тип характера, неспособный к быстрой и энергичной решимости, за исключением, возможно, внезапной активности. Эти два противоположных мотива огибают любые другие мотивы, которые могут присутствовать в момент, когда решение неизбежно, и стремятся ускорить или замедлить его принятие. Конфликт этих мотивов в той мере, в какой они влияют на принятие решения, - это конфликт по поводу того, *когда* оно должно произойти. Один говорит "сейчас", другой - "еще нет".

Еще один постоянный компонент мотивационной паутины - это стремление упорствовать в принятом решении. Нет более поразительного различия в человеческом характере, чем разница между решительными и нерешительными натурами. Ни физиологические, ни психические основания этого различия еще не проанализированы. Симптом ее заключается в том, что если у нерешительных людей все решения носят временный характер и могут быть отменены, то у решительных они принимаются раз и навсегда и больше не нарушаются. Теперь в рассуждениях каждого человека представление одной альтернативы часто входит с такой внезапной силой, что увлекает воображение исключительно за собой и производит кажущееся решение в свою пользу. Эти преждевременные и надуманные решения, конечно, известны всем. Они часто кажутся нелепыми в свете последующих соображений. Но нельзя отрицать, что в решительном типе характера случайность того, что одно из них однажды было принято, впоследствии становится дополнительным мотивом к более истинным причинам, по которым его не следует отменять, а если оно временно отменено, то почему его следует принять снова. Как много из нас упорно придерживаются опрометчивого курса, который, если бы не минутное безрассудство, мы никогда бы не выбрали, просто потому, что не любим "передумывать".

ПЯТЬ ТИПОВ РЕШЕНИЙ.

Переходя к форме самого решения, мы можем выделить четыре основных типа. Первый можно назвать *разумным типом*. Он относится к тем случаям, когда аргументы за и против определенного курса постепенно и почти неощутимо укладываются в сознании и в конце концов приводят к четкому балансу в пользу одной альтернативы, которую мы затем принимаем без усилий и ограничений. Пока это рациональное уравнивание книг не завершено, мы спокойно ощущаем, что доказательства еще не все собраны, и это держит в напряжении. Но однажды мы просыпаемся с ощущением, что все правильно видим, что дальнейшее промедление не прольет нового света на этот вопрос и что лучше решить его *сейчас*. В этом легком переходе от сомнений к уверенности мы кажемся себе почти пассивными; "причины", которые решают нас, кажутся вытекающими из природы вещей и не зависящими от нашей воли. Однако у нас есть совершенное ощущение *свободы*, поскольку мы лишены какого-либо чувства принуждения. Убедительной причиной для принятия решения в таких случаях обычно является открытие, что мы можем отнести дело к *классу*, в отношении которого мы привыкли действовать безошибочно и определенным стереотипным образом. В целом можно сказать, что значительная часть любого обсуждения состоит в переборе всех возможных вариантов *концепции* совершения или несовершения действия, о котором идет речь. Как только мы натываемся на концепцию, позволяющую применить некий принцип действия, который является фиксированной и стабильной частью нашего "Я", наше состояние сомнения заканчивается. Властные люди, которым приходится принимать множество решений в течение дня, носят с собой набор классификаций, каждая из которых имеет свои моторные последствия, и под них они стремятся, насколько это возможно, подвести каждую новую чрезвычайную ситуацию, когда она возникает. Именно там, где чрезвычайная ситуация относится к беспрецедентному виду, к которому, следовательно, не применимы никакие "сухие" максимы, мы чувствуем себя в наибольшей растерянности и огорчены неопределенностью нашей задачи. Однако, как только мы видим путь к привычной классификации, мы снова успокаиваемся. *В действии, как и в рассуждениях, главное - поиск правильной концепции.* Конкретные дилеммы не приходят к нам с наклеенными на спину ярлыками. Мы можем называть их разными именами. Мудрый человек - тот, кому удается найти имя, наиболее подходящее для конкретного случая. Разумный" персонаж - это

тот, у кого есть запас стабильных и достойных целей, и кто не принимает решения о каком-либо действии, пока спокойно не выяснит, будет ли оно полезным или вредным для любой из них.

В следующих двух типах решений окончательное решение принимается до того, как собраны все доказательства. Часто случается так, что не находится никаких первостепенных и авторитетных причин для принятия того или иного решения. И то и другое кажется делом Добра, и нет судьи, который бы определил, какое добро должно уступить место другому. Мы устаем от долгих колебаний и неопределенности, и может наступить час, когда мы почувствуем, что даже плохое решение лучше, чем вообще никакого. В таких условиях часто случается, что какое-то случайное обстоятельство, наложившись в определенный момент на нашу умственную усталость, нарушает равновесие в сторону одной из альтернатив, и тогда мы чувствуем себя приверженцами этой альтернативы, хотя противоположная случайность в то же самое время могла бы привести к противоположному результату.

Во *втором типе* случаев наше чувство до некоторой степени состоит в том, что мы позволяем себе дрейфовать с безразличным молчаливым согласием в направлении, случайно определенном *извне*, с убеждением, что, в конце концов, мы могли бы с таким же успехом придерживаться этого курса, как и другого, и что в любом случае все обязательно обернется достаточно правильно.

В *третьем типе* решимость кажется столь же случайной, но она приходит изнутри, а не извне. Часто случается, что, когда отсутствие императивного принципа вызывает недоумение и отвлекает внимание, мы обнаруживаем, что действуем как бы автоматически, и словно по спонтанному разряду нервов, в направлении одного из рогов дилеммы. Но это ощущение движения так возбуждает нас после невыносимого застоя, что мы с нетерпением бросаемся в него. "Вперед!" - внутренне взываем мы, "пусть хоть небеса рухнут". Эта безрассудная и ликующая поддержка энергии, которая настолько мало предугадана нами, что мы чувствуем себя скорее пассивными зрителями, радующимися проявлению какой-то посторонней силы, чем добровольными агентами, - слишком резкий и бурный тип решения, чтобы часто встречаться у смиренных и хладнокровных натур. Но он, вероятно, часто встречается у людей с сильными эмоциональными способностями и неустойчивым или колеблющимся характером. А у людей, потрясающих мир, Наполеонов, Лютеров и т. д., в которых упорная страсть сочетается с кипучей деятельностью, когда по какой-то случайности выход страсти был заблокирован угрызениями совести или опасениями, решение, вероятно, часто бывает такого катастрофического рода. Наводнение совершенно неожиданно прорывает плотину. Того, что это происходит так часто, вполне достаточно, чтобы объяснить склонность этих персонажей к фаталистическому настроению ума. А фаталистическое настроение само по себе непременно усиливает силу энергии, только что начавшей свой захватывающий путь разрядки.

Существует и *четвертая форма* решения, которая часто завершает размышления так же внезапно, как и третья. Она наступает, когда под влиянием какого-то внешнего опыта или необъяснимого внутреннего заряда *мы внезапно переходим от легкого и беспечного к трезвому и напряженному настроению*, а может быть, и в другую сторону. Вся шкала ценностей наших побуждений и импульсов тогда претерпевает изменения, подобные тем, которые производит на вид изменение уровня наблюдателя. Наиболее отрезвляющими агентами могут быть объекты горя и страха. Когда один из них воздействует на нас, все "легкие фантастические" представления теряют свою движущую силу, а все торжественные -

множественно умножаются. Следствием этого является мгновенный отказ от более тривиальных проектов, которыми мы занимались, и мгновенное практическое принятие более мрачной и серьезной альтернативы, которая до этого не могла получить согласия нашего разума. Все эти "перемены в сердце", "пробуждения совести" и т. д., которые делают из многих из нас новых людей, можно отнести к этой категории. Характер резко поднимается на другой "уровень", и размышлениям приходит конец.[\[470\]](#)

В *пятом и последнем типе* решения чувство, что все доказательства собраны и что разум уравновесил книги, может либо присутствовать, либо отсутствовать. Но в любом случае, принимая решение, мы чувствуем себя так, как если бы мы сами своим волевым актом наклонили балку; в первом случае - добавив свое живое усилие к весу логического разума, который, взятый сам по себе, кажется бессильным сделать акт разрядкой; во втором - как некий творческий вклад чего-то вместо разума, который делает работу разума. Медленное мертвое колебание воли, которое ощущается в этих случаях, делает их субъективно совершенно иным классом, чем все три предыдущих класса. Что означает это колебание воли с метафизической точки зрения, к каким выводам о силе воли, отличной от мотивов, может привести это усилие, нас пока не касается. Субъективно и феноменально *ощущение усилия*, отсутствующее в прежних решениях, сопровождает эти. Будь то тоскливое смирение ради сурового и голого долга со всеми видами богатых мирских удовольствий или тяжелая решимость, что из двух взаимоисключающих поездов будущих фактов, оба из которых сладки и хороши, но между которыми нет строго объективного или императивного принципа выбора, один навсегда станет невозможным, а другой - реальностью, - это пустынный и едкий поступок, экскурсия в одинокую моральную пустыню. При внимательном рассмотрении его главное отличие от трех предыдущих случаев заключается в том, что в тех случаях разум в момент принятия решения о победоносной альтернативе полностью или почти полностью упускал из виду другую, тогда как здесь обе альтернативы постоянно находятся в поле зрения, и в самом акте убийства побежденной возможности выбирающий осознает, как много в этот миг он теряет для себя. Это сознательное вбивание шипа в свою плоть; и чувство *внутреннего усилия*, которым сопровождается этот акт, - элемент, который ставит четвертый тип решения в сильный контраст с тремя предыдущими и делает его совершенно особым психическим явлением. Подавляющее большинство человеческих решений - это решения без усилий. В сравнительно немногих из них, у большинства людей, усилие сопровождает конечный акт. Я думаю, нас вводят в заблуждение, полагая, что усилия встречаются чаще, чем это есть на самом деле, из-за того, что *во время обдумывания* мы так часто ощущаем, как много усилий потребовалось бы, чтобы принять решение *сейчас*. Позже, когда решение принимается с легкостью, мы вспоминаем об этом и ошибочно полагаем, что тогда тоже были приложены усилия.

Существование усилия как феноменального факта в нашем сознании, конечно, не может быть подвергнуто сомнению или отрицанию. С другой стороны, его значение - это вопрос, по которому существуют серьезнейшие разногласия. От его интерпретации зависят такие важные вопросы, как существование духовной причинности, и такие масштабные, как всеобщее предопределение или свобода воли. Поэтому нам необходимо тщательно изучить условия, при которых возникает ощущение волевого усилия.

ОЩУЩЕНИЕ УСИЛИЯ.

Когда некоторое время назад ([с. 526](#)) я сказал, что *сознание* (или нейронный процесс, который ему сопутствует) *по своей природе импульсивно*, я добавил в примечании оговорку,

что оно должно быть достаточно интенсивным. Теперь существуют замечательные различия в способности разных видов сознания возбуждать движение. Интенсивность одних чувств практически склонна быть ниже точки разрядки, в то время как интенсивность других - выше ее. Говоря "практически склонна", я имею в виду "склонна" при обычных обстоятельствах. Эти обстоятельства могут быть привычными запретами, как то комфортное ощущение *dolce far niente*, которое дает каждому из нас определенную дозу лени, только чтобы быть преодоленным остротой импульсивного толчка; или они могут заключаться в естественной инерции, или внутреннем сопротивлении, самих двигательных центров, делающих взрыв невозможным, пока не будет достигнуто и преодолено определенное внутреннее напряжение. Эти условия могут варьироваться у разных людей и у одного и того же человека время от времени. Нейронная инерция может то ослабевать, то усиливаться, а привычные запреты уменьшаться или увеличиваться. Интенсивность определенных мыслительных процессов и стимулов также может меняться независимо друг от друга, а определенные пути ассоциаций становятся более или менее первичными. Таким образом, возникают большие возможности для изменения фактической импульсивной эффективности определенных мотивов по сравнению с другими. Именно там, где обычно менее эффективный мотив становится более эффективным, а обычно более эффективный - менее эффективным, действия, обычно не требующие усилий, или воздержание, обычно легкое, либо становятся невозможными, либо осуществляются, если вообще осуществляются, с затратой усилий. Немного больше описания прояснит, что это за случаи.

Существует определенное нормальное соотношение в импульсивной силе различных видов побуждений, которое характеризует то, что можно назвать обычным здоровьем воли, и от которого отступают только в исключительные моменты или исключительные личности. Состояния ума, которые обычно обладают наибольшей импульсивностью, - это либо те, которые представляют собой объекты страсти, аппетита или эмоций - объекты инстинктивной реакции, короче говоря; либо это чувства или идеи удовольствия или боли; либо идеи, которым по какой-либо причине мы привыкли подчиняться, так что привычка реагировать на них укоренилась; либо, наконец, по сравнению с идеями более отдаленных объектов, это идеи объектов, присутствующих или близких в пространстве и времени. По сравнению с этими различными объектами все далекие соображения, все высоко абстрактные концепции, непривычные причины и мотивы, чуждые инстинктивной истории расы, имеют мало или вообще не имеют импульсивной силы. Они преобладают, если вообще преобладают, благодаря усилиям; и нормальная, в отличие от патологической, сфера усилий, таким образом, обнаруживается везде, где правят бал неинстинктивные мотивы поведения.

Здоровая воля, кроме того, требует определенного усложнения процесса, который предшествует решению или действию. Каждый стимул или идея, одновременно с пробуждением собственного импульса, должны вызывать другие идеи (связанные и вытекающие) с их импульсами, и действие должно следовать, ни слишком медленно, ни слишком быстро, как результат всех задействованных таким образом сил. Даже когда решение принимается очень быстро, перед тем, как принять решение, происходит своего рода предварительный осмотр местности и видение того, какой курс будет наилучшим. А там, где воля здорова, *видение должно быть правильным* (то есть мотивы должны в целом находиться в нормальном или не слишком необычном соотношении друг с другом), и *действие должно подчиняться руководству видения.*

Нездоровье воли, таким образом, может проявляться по-разному. Действие может последовать за стимулом или идеей слишком быстро, не оставляя времени для пробуждения сдерживающих ассоциаций - тогда мы имеем поспешную волю. Или, хотя помощники могут появиться, соотношение, в котором обычно находятся импульсивные и тормозящие силы, может быть искажено, и тогда мы имеем извращенную волю. Извращение, в свою очередь, может быть вызвано одной из многих причин - слишком большой или слишком малой интенсивностью здесь; слишком большой или слишком малой инертностью там; слишком большой или слишком малой тормозящей силой в другом месте. Если мы сравним все внешние симптомы извращенности вместе, то они разделятся на две группы, в одной из которых нормальные действия невозможны, а в другой - ненормальные и неудержимые. Вкратце мы можем назвать их соответственно препятствующей и взрывной волей.

Однако следует помнить, что, поскольку результат действия всегда зависит от соотношения обструктивных и взрывных сил, мы никогда не можем определить по внешним симптомам, какой причиной вызвано извращение воли человека - увеличением одного компонента или уменьшением другого. Человек может стать взрывоопасным с такой же легкостью, потеряв привычные тормоза, как и получив больше импульсивного пара; и он может найти вещи невозможными как из-за ослабления первоначального желания, так и из-за появления новых львов на пути. Как говорит доктор Клаустон, "водитель может быть настолько слаб, что не может управлять хорошо сломанными лошадьми, или лошади могут быть настолько твердолобыми, что ни один водитель не сможет их запрячь". В некоторых конкретных случаях (будь то взрывная или препятствующая воля) трудно сказать, вызвана ли проблема тормозными или импульсивными изменениями. В целом, однако, мы можем сделать правдоподобную догадку об истине.

ВЗРЫВНАЯ ВОЛЯ.

Существует, например, нормальный тип характера, в котором импульсы, кажется, так быстро выливаются в движения, что запреты не успевают возникнуть. Это 'dare-devil' и 'mercurial' темпераменты, переполненные оживлением и кипящие разговорами, которые так распространены в латинской и кельтской расах, и с которыми хладнокровный и длинноголовый английский характер образует столь заметный контраст. Эти люди кажутся нам обезьянами, а мы им - рептилиями. Совершенно невозможно определить, кто из них обладает наибольшей жизненной энергией, если речь идет о препятствующем и взрывном индивидууме. Взрывной итальянец с хорошим восприятием и интеллектом будет представлять собой совершенно потрясающего человека, с таким внутренним капиталом, который мог бы быть спрятан внутри заторможенного янки и едва ли позволил бы вам узнать, что он там есть. Он будет королем своей компании, будет петь все песни и произносить все речи, вести вечеринки, устраивать розыгрыши, целовать всех девушек, драться с мужчинами, а если понадобится, то и вести за собой все напрасные надежды и предприятия, так что постороннему наблюдателю покажется, что в его мизинце больше жизни, чем может быть во всем теле правильного рассудительного человека. Но у рассудительного человека все эти возможности и многое другое готовы вырваться наружу тем же или даже более бурным способом, стоит только снять тормоза. Именно отсутствие угрызений совести, последствий, соображений, чрезвычайное упрощение умственных перспектив каждого момента придает взрывному индивидууму такую двигательную энергию и легкость; это не обязательно большая интенсивность каких-либо его страстей, мотивов или мыслей. По мере психической эволюции сложность человеческого сознания возрастает, а вместе с ней множатся и запреты, которым подвергается каждый импульс. Но преобладание торможения имеет как плохую, так и хорошую сторону; и если импульсы человека в основном

упорядочены, а также стремительны, если у него есть мужество принять их последствия и интеллект, чтобы довести их до успешного конца, он тем лучше для своей волосистой организации и для того, чтобы не быть "измученным бледным слепком мысли". Многие из самых успешных военных и революционеров в истории принадлежали к этому простому, но быстро соображающему импульсивному типу. Проблемы даются гораздо труднее рефлексующим и заторможенным умам. Они, правда, могут решить гораздо более масштабные проблемы; и они могут избежать многих ошибок, которым подвержены импульсивные люди. Но когда последние не совершают ошибок, или когда они всегда способны их исправить, их тип является одним из самых привлекательных и незаменимых среди человеческих типов.[\[471\]](#)

В младенчестве и в определенных условиях истощения, а также при особых патологических состояниях тормозная сила может не сдерживать взрывы импульсивной разрядки. Тогда мы имеем взрывной темперамент, временно реализованный в индивидууме, который в другое время может быть относительно заторможенным типом. Я не могу сделать лучше, чем скопировать несколько страниц из превосходной работы доктора Клаустона:[\[472\]](#)

"Возьмите ребенка шести месяцев, и у него совершенно нет такой мозговой силы, как умственное торможение; ни одно желание или склонность не останавливается умственным актом. В годовалом возрасте у большинства детей отчетливо проявляются зачатки великой способности к самоконтролю. Они сопротивляются желанию схватить газовое пламя, не расстраивают кувшин с молоком, подчиняются приказу сидеть спокойно, когда им хочется побегать, - все это благодаря высшему психическому торможению. Но сила контроля развивается так же постепенно, как и движения рук..... Посмотрите на более сложный акт, который любой компетентный физиолог признает автоматическим и неподвластным никаким обычным тормозным силам, например, достаточно раздражать и дразнить ребенка одного или двух лет, и он внезапно набросится на вас; внезапно ударите человека, и он либо совершит акт защиты или нападения, либо и то и другое, совершенно автоматически и без возможности контролировать себя. Поставьте перед годовалым ребенком яркую заманчивую игрушку, и она будет мгновенно присвоена. Поставьте холодную воду перед умирающим от жажды человеком, и он возьмет и выпьет ее, не имея сил поступить иначе. Истощение нервной энергии всегда уменьшает тормозную силу. Кто не осознает этого? Раздражительность - одно из проявлений этого. У многих людей запас резервной мозговой силы - самого ценного из всех качеств мозга - настолько мал, что он быстро расходуется, и вы сразу же видите, что они очень быстро теряют способность к самоконтролю. Они становятся ангелами или демонами в той же мере, в какой они свежи или усталы. Тот избыток энергии или силы сопротивления, который у нормально развитых людей обеспечивает, что умеренные излишества во всех направлениях не причиняют большого вреда, пока они не повторяются слишком часто, у этих людей отсутствует, переутомление, чрезмерное пьянство или мелкие дебоши оставляют их на милость их болезненных импульсов без силы сопротивления..... Горе тому, кто слишком часто или слишком близко к концу расходует свой избыточный запас торможения мозга!...

Физиологическое слово "торможение" можно использовать как синоним психологического и этического выражения "самоконтроль", или "воля", когда она осуществляется в определенных направлениях. Для большинства форм психических заболеваний характерна утрата самоконтроля, но эта утрата обычно является частью общего психического расстройства с меланхолическими, маниакальными, дементными или бредовыми симптомами в качестве главного проявления болезни.

Есть и другие случаи, не столь многочисленные, где потеря способности к торможению является главным и, безусловно, наиболее выраженным симптомом..... Я буду называть эту форму "тормозным безумием". Некоторые из этих случаев имеют неконтролируемые импульсы к насилию и разрушению, другие - к убийству, третьи - к самоубийству, не вызванному подавленными чувствами, четвертые - к актам животного удовлетворения (сатириазис, нимфомания, эротомания, скотоложство), пятые - к употреблению слишком большого количества алкоголя (дипсомания), пятые - к поджиганию вещей (пиромания), пятые - к воровству (клептомания), пятые - к аморальности всех видов. Импульсивные наклонности и болезненные желания бесчисленны в своем роде. Многие из этих разновидностей безумия получили отдельные названия. Выкапывать и поедать трупы (некрофилизм), уходить из дома и сбрасывать с себя ограничения общества (планомания), вести себя как дикий зверь (ликантропия) и т. д. Действие по импульсу во всех этих направлениях может происходить из-за потери контролирующей силы в высших отделах мозга или из-за чрезмерного развития энергии в определенных частях мозга, которые нормальная сила торможения не может контролировать. Водитель может быть настолько слаб, что не может управлять хорошо вымуштрованными лошадьми, или лошади могут быть настолько твердолобыми, что ни один водитель не сможет их запрячь. Оба состояния могут быть вызваны чисто мозговыми расстройствами... или могут быть рефлекторными..... Это, человек, воля могут на время перестать существовать. Наиболее яркими примерами этого являются убийства, совершенные во время сомнамбулизма или эпилептической бессознательности, или действия, совершенные в гипнотическом состоянии. В таких случаях сознательное стремление к достижению цели полностью отсутствует. В других случаях сознание и память присутствуют, но нет силы, способной сдерживать действия. Самый простой пример - когда имбецил или слабоумный, увидев что-то блестящее, присваивает это себе, или когда он совершает непристойные сексуальные действия. Через болезнь в такое же состояние может попасть и ранее здравомыслящий и энергичный человек. Мотивы, которые заставили бы других людей не совершать подобных поступков, у таких людей не действуют. Я знал человека, который воровал, и он говорил, что не испытывает сильной тяги к предмету, который он присвоил, по крайней мере сознательно, но его воля была в состоянии покоя, и он не мог сопротивляться обычному желанию обладания, свойственному всей человеческой природе."

Не только те, кого технически относят к имбецилам и слабоумным, демонстрируют эту стремительность импульсов и медлительность торможения. Спросите половину обычных пьяниц, которых вы знаете, почему они так часто становятся жертвами искушения, и они ответят, что чаще всего не могут этого сказать. Это своего рода головокружение. Их нервные центры превратились в шлюзовой путь, патологически разблокируемый каждым мимолетным представлением о бутылке и стакане. Они не жаждут напитка; вкус его может даже показаться отвратительным; и они прекрасно предвидят угрызения совести на следующий день. Но когда они думают о спиртном или видят его, то обнаруживают, что готовятся выпить, и не останавливают себя: большего они сказать не могут. Точно так же человек может вести жизнь, непрерывно занимаясь любовью или предаваясь сексуальным утехам, хотя то, что побуждает его к этому, скорее похоже на предположения и представления о возможностях, чем на какую-то чрезмерную силу в его привязанностях или похоти. Он может быть даже физически импотентным все это время. Пути естественного (или, может быть, неестественного) импульса настолько извилисты у этих персонажей, что малейшее повышение уровня иннервации приводит к переполнению. В патологии это

состояние называется "раздражительной слабостью". Фаза, известная как зарождение или латентность, настолько коротка в возбуждении нервных тканей, что в них не успевает накопиться напряжение; следствием этого является то, что при всей возбудимости и активности, количество реально задействованных чувств может быть очень незначительным. Истерический темперамент - это площадка *par excellence* этого неустойчивого равновесия. Один из таких субъектов будет преисполнен, казалось бы, самого искреннего и устоявшегося отвращения к определенной линии поведения, а в следующее мгновение последует за толчком искушения и погрузится в него по самую шею. Профессор Рибо удачно назвал главу, в которой он описывает истерический темперамент в своей небольшой интересной монографии "Болезни воли", "Le Règne des Caprices".

Беспорядочное и импульсивное поведение может, с другой стороны, возникнуть там, где нервные ткани сохраняют свой правильный внутренний тонус, а тормозная сила нормальна или даже необычайно велика. В таких случаях *сила импульсивной идеи сверхъестественно возвышается*, и то, что для большинства людей было бы мимолетным предположением о возможности, превращается в грызущую, жаждущую настоятельной необходимости действовать. Работы о безумии полны примеров этих болезненных настойчивых идей, в упорной борьбе с которыми душа несчастной жертвы часто потеет в агонии, пока, наконец, не будет сметена. Один пример может служить примером для многих; М. Рибо цитирует его из Кальмейля:[\[473\]](#)

"Гленадаль, потеряв отца в младенчестве, воспитывался матерью, которую обожал. В шестнадцать лет его характер, до того добрый и послушный, изменился. Он стал мрачным и неразговорчивым. Мать засыпала его вопросами, и в конце концов он решил сделать признание. "Тебе, - сказал он, - я обязан всем, я люблю тебя всей душой, но уже некоторое время меня не покидает мысль убить тебя. Не допустите столь ужасного несчастья, если вдруг когда-нибудь искушение одолеет меня: позвольте мне поступить на службу". Несмотря на настойчивые уговоры, он остался тверд в своем решении, отправился в армию и стал хорошим солдатом. И все же тайный импульс побуждал его без конца дезертировать, чтобы вернуться домой и убить свою мать. По окончании срока службы эта мысль была так же сильна, как и в первый день. Он записался на новый срок. Инстинкт убийства сохранился, но сменил жертву. Он больше не думал об убийстве матери - ужасный импульс день и ночь направлял его на невестку. Чтобы противостоять второму импульсу, он обрек себя на вечное изгнание. В это время в полк прибыл один из его старых соседей. Гленадаль признался во всех своих бедах. Успокойся, - сказал тот. Ваше преступление невозможно; ваша невестка только что умерла". При этих словах Гленадаль поднимается, как освобожденный пленник. Радость переполняет его сердце. Он отправляется в дом своего детства, который не посещал столько лет. Но, приехав туда, он видит, что его невестка жива. Он вскрикивает, и страшный порыв снова захватывает его как добычу. В тот же вечер он заставляет брата связать его. Возьми крепкую веревку, свяжи меня, как волка в сарае, и иди и расскажи доктору Кальмейлю....". От него он добился приема в приют для умалишенных. Вечером накануне поступления он написал директору заведения: "Сэр, я стану обитателем вашего дома. Я буду вести себя там, как в полку. Вы будете думать, что я выздоровел. Возможно, в какие-то моменты я буду притворяться, что это так. Никогда не верьте мне. Никогда не выпускайте меня ни под каким предлогом. Если я буду просить об

освобождении, удвойте бдительность; единственное, на что я потрачу свою свободу, - это на преступление, которое я ненавижу".[474]

Тяга к выпивке у настоящих дипсоманов, к опиуму или хлоралу у тех, кого подчинили себе, имеет такую силу, о которой нормальные люди не могут составить никакого представления. "Если бы в одном углу комнаты стоял бочонок с ромом, а между ним и мной стояла пушка, постоянно выпускающая ядра, я не смог бы удержаться от того, чтобы пройти перед этой пушкой, чтобы достать ром"; "Если бы по одну руку от меня стояла бутылка бренди, а по другую зияла адская яма, и я был бы уверен, что меня туда вытолкнут, как только я приму один бокал, я не смог бы удержаться": подобные заявления часто встречаются в устах дипсоманьяков. Доктор Масси из Цинциннати рассказывает о таком случае:

"Несколько лет назад в одном из богадельных домов этого штата был помещен любитель спиртного. В течение нескольких дней он придумывал различные способы достать ром, но безуспешно. Однако в конце концов он наткнулся на один, который оказался успешным. Он отправился в дровяной двор заведения, положил одну руку на блок, а другой, держа топор, снес его одним ударом. С поднятым обрубок он вбежал в дом и закричал: "Принесите ром! Принесите ром! У меня рука отвалилась!". В суматохе и суматохе по этому случаю принесли чашу рома, в которую он окунул кровоточащий член своего тела, а затем, поднеся чашу ко рту, свободно выпил и ликующе воскликнул: "Теперь я доволен". Доктор Дж. Э. Тернер рассказывает о человеке, который, находясь на лечении от пьянства, в течение четырех недель тайно пил спирт из шести банок с болезненными образцами. Когда его спросили, почему он совершил этот отвратительный поступок, он ответил: "Сэр, мне так же невозможно контролировать этот больной аппетит, как и пульсацию своего сердца".[475]

Любовную страсть можно назвать мономанией, которой подвержены все мы, какими бы здравомыслящими мы ни были. Она может сосуществовать с презрением и даже ненавистью к "объекту", который ее вызывает, и пока она длится, вся жизнь человека меняется под ее воздействием. Так, Альфьери описывает борьбу своей необычайно мощной тормозящей силы с ненормально возбужденными импульсами по отношению к некой даме:

"Презренный в собственных глазах, я впал в такое состояние меланхолии, которое, если бы продолжалось долго, неизбежно привело бы к безумию или смерти. Я продолжал носить свои позорные оковы до конца января 1775 года, когда мой гнев, который до сих пор так часто сдерживался в рамках, вырвался наружу с величайшей жестокостью. Возвращаясь однажды вечером из оперы (самого скучного и утомительного развлечения в Италии), где я провел несколько часов в ложе женщины, которая попеременно была объектом моей антипатии и моей любви, я твердо решил навсегда освободиться от ее ига. Опыт научил меня, что бегство, не позволяя мне упорствовать в своих решениях, наоборот, ослабляет и разрушает их; поэтому я был склонен подвергнуть себя еще более суровому испытанию, полагая, что в силу упрямства и особенностей моего характера я непременно добьюсь успеха, приняв такие меры, которые заставили бы меня приложить наибольшие усилия. Я решил никогда не покидать дом, который, как я уже говорил, находился как раз напротив этой дамы; смотреть на ее окна, видеть, как она каждый день входит и выходит, слушать звук ее голоса, хотя твердо решил, что никакие прямые или косвенные ухаживания с ее стороны, никакие нежные воспоминания или, короче, любые другие средства, которые могут быть использованы, никогда больше не должны склонять меня к возрождению нашей дружбы. Я был полон решимости

умереть или освободиться от своего позорного рабства. Чтобы придать твердость своей цели и сделать невозможным колебания, не вменяемые мне в бесчестье, я сообщил о своей решимости одному из моих друзей, который был очень привязан ко мне и которого я высоко ценил. Он сетовал на душевное состояние, в которое я впал, но, не желая оправдывать мое поведение и видя невозможность побудить меня отказаться от него, на некоторое время перестал бывать в моем доме. В нескольких строчках, которые я адресовал ему, я кратко изложил принятое мною решение и в качестве залога своего постоянства послал ему длинный локон своих безобразных рыжих волос. Я нарочно отрезал их, чтобы не выходить на улицу, так как в то время никто, кроме клоунов и моряков, не появлялся на людях с короткими волосами. В заключение я попросил его укрепить и поддержать мою стойкость своим присутствием и примером. Оказавшись таким образом в изоляции в собственном доме, я запретил себе всякое общение и провел первые пятнадцать дней, издавая самые страшные причитания и стоны. Некоторые из моих друзей приходили навестить меня и, казалось, сочувствовали моему положению, возможно, потому, что я сама не жаловалась; но моя фигура и весь вид свидетельствовали о моих страданиях. Желая почитать что-нибудь, я прибежал к газетам, целые страницы которых я часто перелистывал, не понимая ни одного слова..... Более двух месяцев, до конца марта 1775 года, я провел в состоянии, граничащем с безумием; но примерно в это время мне в голову пришла новая идея, которая помогла унять мою меланхолию".

Это была идея поэтического сочинения, в которой Альфьери описывает свои первые попытки, предпринятые при этих болезненных обстоятельствах, и продолжает:

"Единственное благо, которое принесла мне эта прихоть, заключалось в том, что я постепенно отстранился от любви и пробудил свой разум, который так долго оставался бездействующим. Я больше не находил нужным привязывать себя веревками к стулу, чтобы не дать себе возможности покинуть мой дом и вернуться в дом моей госпожи. Это был один из приемов, которые я придумал, чтобы силой сделать себя мудрым. Шнуры были спрятаны под большой мантией, в которую я был закутан, и только одна рука оставалась свободной. Из всех, кто пришел посмотреть на меня, ни один не заподозрил, что я связан таким образом. Я оставался в таком положении целыми часами, и только Элиасу, который был моим тюремщиком, была доверена тайна. Он всегда освобождал меня, как ему было велено, когда пароксизмы моей ярости стихали. Из всех причудливых методов, которые я использовал, самым любопытным было появление в театре в маскараде под конец карнавала. В образе Аполлона я осмелился предстать с лирой, на которой играл, как умел, и спел несколько плохих куплетов собственного сочинения. Такая наглость была диаметрально противоположна моему характеру. Единственное оправдание, которое я могу найти для подобных сцен, - это моя неспособность противостоять властной страсти. Я чувствовал, что необходимо поставить непреодолимый барьер между ее объектом и мной; и я видел, что сильнее всего был позор, которому я подвергнуть себя, возобновив привязанность, которую я так публично превратил в посмешище".[476]

Часто настойчивая мысль бывает пустяковой, но она может изматывать пациента всю его жизнь. Его руки грязные, их нужно помыть. Он *знает*, что они не грязные, но, чтобы избавиться от дразнящей мысли, моет их. Однако через мгновение эта мысль возвращается,

и несчастная жертва, которая ничуть не заблуждается в *интеллектуальном плане*, в итоге проводит у умывальника весь день. Или его одежда не "правильно" надета, и, чтобы прогнать эту мысль, он снимает и снова надевает ее, пока его туалет не займет два или три часа времени. Большинство людей имеют потенцию к этому заболеванию. Мало кому не случилось, ложась в постель, подумать о том, что он, возможно, забыл запереть входную дверь или выключить газ в подъезде. И мало кто из нас не вставал, чтобы повторить это действие, не столько потому, что верил в реальность своего упущения, сколько потому, что только так мог прогнать тревожные сомнения и заснуть.^[477]

ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ВОЛЯ.

Разительным контрастом со случаями, когда торможение недостаточно или импульс в избытке, являются те, в которых импульс недостаточен или торможение в избытке. Всем нам знакомо состояние, описанное на с. 404 тома I, когда разум на несколько мгновений, кажется, теряет способность фокусироваться и не может собрать свое внимание на каком-либо определенном предмете. В такие моменты мы сидим, уставившись в пустоту, и ничего не делаем. Объекты сознания не удается затронуть быстро или пробить кожу. Они есть, но не достигают уровня эффективности. Это состояние неэффективного присутствия является нормальным состоянием *некоторых* объектов у каждого из нас. Сильная усталость или истощение могут сделать его состоянием почти всех объектов; а апатия, похожая на ту, что возникает в этом случае, признается в психушках под названием *абулия* как симптом психического заболевания. Здоровое состояние воли требует, как уже говорилось выше, чтобы и видение было правильным, и действия подчинялись его руководству. Но в болезненном состоянии, о котором идет речь, зрение может быть совершенно незатронутым, интеллект ясным, а действие либо не следует, либо следует каким-то другим путем. "*Video meliora proboque, deteriora sequor*" - это классическое выражение последнего состояния ума. К первому относится название "*абулия*". Пациенты, говорит Гислен,

"способны внутренне, мысленно, волеизъявляться в соответствии с велениями разума. Они испытывают желание действовать, но они бессильны действовать так, как им хотелось бы..... Их воля не может преодолеть определенные границы: можно сказать, что сила действия в них заблокирована: *Я-воля* не трансформируется в импульсивное воление, в активную решимость. Некоторые из этих пациентов сами удивляются бессилию, которым поражена их воля. Если предоставить их самим себе, они проводят целые дни в своей постели или на стуле. Если с ними заговаривают или возбуждают их, они выражаются правильно, хотя и кратко; и довольно хорошо разбираются в вещах".^[478]

В *главе XXI*, как вы помните, говорилось, что ощущение реальности, с которым объект обращается к разуму, пропорционально (помимо всего прочего) его эффективности как стимула для воли. Здесь мы получаем обратную сторону истины. Те идеи, объекты, соображения, которые (в этих летаргических состояниях) не доходят до воли, не влекут за собой кровь, кажутся, таким образом, далекими и нереальными. Связь реальности вещей с их эффективностью в качестве мотивов - это история, которая еще никогда не была полностью рассказана. Моральная трагедия человеческой жизни почти полностью происходит от того, что разрывается связь, которая обычно должна существовать между видением истины и действием, и что это острое чувство действенной реальности не присоединяется к определенным идеям. Люди различаются не только по своим чувствам и

представлениям. Их представления о возможностях и идеалах не так далеки друг от друга, как можно было бы предположить, исходя из различий в их судьбах. Ни один класс не имеет лучших чувств и не чувствует более постоянно разницу между высшим и низшим путем в жизни, чем безнадежные неудачники, сентименталисты, пьяницы, интриганы, "мертвецы", чья жизнь - одно длинное противоречие между знанием и действием, и кто, полностью владея теорией, никогда не может удержать свои хромые характеры в вертикальном положении. Никто не вкушает плодов с древа познания так, как они; по сравнению с ними упорядоченные и благополучные обыватели, которых они поносят, - младенцы. И все же их нравственное знание, всегда ворчащее и грохочущее на заднем плане, - разбирающееся, комментирующее, протестующее, тоскующее, полурешающее, - никогда не решается полностью, никогда не переводит свой голос из минора в мажор, свою речь из сослагательного наклонения в повелительное, никогда не снимает заклęcia, не берет штурвал в свои руки. В таких персонажах, как Руссо и Рестиф, кажется, что все импульсивное действие находится в руках низших мотивов. Подобно поездкам, имеющим право на проезд, они сохраняют за собой исключительное владение трассой. Более идеальные мотивы существуют рядом с ними в изобилии, но они никогда не включаются, и на поведение человека они влияют не больше, чем на скорый поезд влияет путник, стоящий на обочине и требующий, чтобы его взяли на борт. Они - инертный аккомпанемент до конца времен; и сознание внутренней пустоты, возникающее от привычки видеть лучшее, чтобы делать худшее, - одно из самых печальных чувств, которые человек может пронести с собой через эту долину слез.

Теперь мы посмотрим, когда именно усилие усложняет воление. Это происходит всякий раз, когда более редкий и идеальный импульс призван нейтрализовать другие, более инстинктивные и привычные; это происходит всякий раз, когда сдерживаются сильно взрывные тенденции или преодолеваются сильно препятствующие условия. В жизни не так уж много в нем нуждается *âme bien née*, дитя солнечного света, при рождении которого феи сделали свои подарки. Герой и невротик, напротив, нуждаются. Теперь мы спонтанно представляем себе усилие при всех этих обстоятельствах как активную силу, добавляющую свою силу к силе мотивов, которые в конечном итоге преобладают. Когда внешние силы воздействуют на тело, мы говорим, что результирующее движение происходит по линии наименьшего сопротивления или наибольшей тяги. Но любопытно, что наш спонтанный язык никогда не говорит о воле и усилии подобным образом. Конечно, если мы исходим из *априорных представлений* и определяем линию наименьшего сопротивления как линию, по которой движутся, то физический закон должен действовать и в психической сфере. Но во всех трудных случаях воления мы чувствуем себя так, как будто линия, выбранная, когда преобладают более редкие и идеальные мотивы, является линией большего сопротивления, и как будто линия более грубых мотивов является более проницательной и легкой, даже в тот самый момент, когда мы отказываемся следовать ей. Тот, кто под ножом хирурга подавляет крики боли, или тот, кто ради долга подвергает себя общественному порицанию, чувствует себя так, словно следует линии наибольшего временного сопротивления. Он говорит о победе и преодолении своих импульсов и искушений.

Но нерасторопный, пьяница, трус никогда не говорят о своем поведении подобным образом или утверждают, что они сопротивляются своей энергии, преодолевают свою трезвость, побеждают свое мужество и так далее. Если в целом классифицировать все источники действия как склонности, с одной стороны, и идеалы - с другой, то чувственник никогда не говорит о своем поведении, что оно является результатом победы над своими идеалами, а

моралист всегда говорит о своем поведении как о победе над своими склонностями. Чувственный человек использует термины бездействия, говорит, что он забывает свои идеалы, глух к долгу и т. д.; эти термины, кажется, подразумевают, что идеальные побуждения как *таковые* могут быть аннулированы без энергии или усилий, и что самая сильная тяга лежит в русле склонностей. В сравнении с этим идеальный импульс кажется тихим голосом, который необходимо искусственно усиливать, чтобы он возобладал. Усилие - это то, что усиливает его, создавая впечатление, что, в то время как сила склонности, по сути, является фиксированной величиной, идеальная сила может быть различной. Но что определяет величину усилия, когда с его помощью идеальный мотив одерживает победу над большим чувственным сопротивлением? Величина самого сопротивления. Если чувственная склонность мала, то и усилие невелико. Последнее *становится большим* благодаря наличию великого антагониста, которого нужно преодолеть. И если бы потребовалось краткое определение идеального или нравственного действия, то ни одно из них не могло бы лучше соответствовать действительности, чем это: *Это действие по линии наибольшего сопротивления*.

Факты могут быть наиболее кратко символизированы таким образом: Р означает склонность, I - идеальный импульс, а Е - усилие:

$I \text{ само по себе} < P.$

$I + E > P.$

Другими словами, если Е добавляется к I, то Р сразу же оказывает наименьшее сопротивление, и движение происходит несмотря на него.

Но Е не является неотъемлемой частью I. Оно кажется случайным и неопределенным заранее. Мы можем сделать больше или меньше, как нам заблагорассудится, и *если* мы сделаем достаточно, то сможем превратить наибольшее психическое сопротивление в наименьшее. Таково, по крайней мере, впечатление, которое спонтанно производят на нас факты. Но мы не будем сейчас обсуждать истинность этого впечатления; давайте лучше продолжим наше описание.

УДОВОЛЬСТВИЕ И БОЛЬ КАК ИСТОЧНИКИ ДЕЙСТВИЯ.

Объекты и мысли об объектах начинают наше действие, но удовольствия и боль, которые приносит действие, изменяют его ход и регулируют его; а позже мысли об удовольствиях и боли приобретают импульсивную и тормозящую силу. Не то чтобы мысль об удовольствии сама по себе была удовольствием, обычно бывает наоборот - *nessun maggior dolore, как* говорит Данте, и не то чтобы мысль о боли была болью, ибо, как говорит Гомер, "скорбь часто бывает потом развлечением". Но поскольку нынешние удовольствия являются огромными стимулами, а нынешние боли - огромными тормозами любого действия, которое к ним приводит, то мысли об удовольствиях и болях занимают место среди мыслей, обладающих наибольшей импульсивной и тормозящей силой. Точное соотношение этих мыслей с другими мыслями, таким образом, является вопросом, требующим определенного внимания.

Если движение кажется нам приятным, мы повторяем его до тех пор, пока длится удовольствие. Если оно причиняет нам боль, то мышечные сокращения мгновенно прекращаются. В этом последнем случае торможение настолько полное, что человеку почти невозможно медленно и осознанно резать или калечить себя - его рука непобедимо

отказывается причинять боль. И есть множество удовольствий, которые, как только мы начинаем их вкушать, делают почти обязательным продолжение той деятельности, которой они обусловлены. Это влияние удовольствий и боли на наши движения настолько широко и основательно, что преждевременная философия решила, что это наши единственные стимулы к действию, и что там, где они, казалось бы, отсутствуют, их не замечают только потому, что они находятся так далеко среди "более отдаленных" образов, побуждающих к действию.

Однако это большая ошибка. Как бы ни было важно влияние удовольствий и боли на наши движения, они далеко не единственные наши стимулы. Например, к проявлениям инстинкта и эмоциональной экспрессии они не имеют абсолютно никакого отношения. Кто улыбается, чтобы получить удовольствие от улыбки, или хмурится, чтобы получить удовольствие от хмурого взгляда? Кто краснеет, чтобы избежать дискомфорта от того, что не краснеет? Или кто в гневе, горе или страхе побуждается к движениям, которые он совершает, из-за удовольствия, которое они приносят? Во всех этих случаях движения фатально разряжаются *из-за vis a tergo*, которое стимул оказывает на нервную систему, настроенную именно на такую реакцию. Объекты нашего гнева, любви или ужаса, поводы для наших слез и улыбок, ли они присутствуют в наших чувствах или просто представлены в идее, обладают этой своеобразной импульсивной силой. *Импульсивное свойство* психических состояний - это атрибут, за которым мы не можем идти. В одних состояниях ума ее больше, чем в других, в одних она проявляется в этом направлении, в других - в том. Чувства удовольствия и боли обладают им, восприятия и воображения фактов - тоже, но ни те, ни другие не обладают им исключительно или специфически. Суть любого сознания (или нейронного процесса, лежащего в его основе) состоит в том, чтобы вызывать какое-то движение. То, что с одним существом и объектом оно должно быть одного рода, а с другими - другого, - это проблема, которую должна объяснить эволюционная история. Как бы ни возникли фактические импульсы, теперь они должны быть описаны в том виде, в каком они существуют; и те люди, которые подчиняются любопытному узкому телеологическому суеверию, считают себя обязанными интерпретировать их в каждом случае как эффекты тайного подстрекательства к удовольствию и отвращения к боли.[\[479\]](#)

Возможно, для *размышлений* такая узкая телеология оправдывает себя, удовольствия и боль могут казаться единственными *понятными и разумными* мотивами действий, единственными мотивами, по которым мы *должны* действовать. Это *этическое* предложение, в пользу которого можно сказать многое. Но это не *психологическое* предложение; из него ничего не следует относительно мотивов, по которым мы, собственно говоря, *и* действуем. Эти мотивы обеспечиваются бесчисленными объектами, которые иннервируют наши волевые мышцы в процессе, столь же автоматическом, как и тот, что разжигает жар в нашей груди. Если мысль об удовольствии может побудить к действию, то, несомненно, это могут сделать и другие мысли. Только опыт может определить, какие мысли побуждают к действию. Главы об инстинктах и эмоциях показали нам, что имя им - легион; и с этим вердиктом мы должны оставаться довольными, а не стремиться к иллюзорному упрощению ценой половины фактов.

Если в этих наших *первых* действиях удовольствия и боль не играют никакой роли, то столь же мало они играют роли и в наших последних действиях, или в тех искусственно приобретенных представлениях, которые стали привычными. Вся повседневная рутина жизни, одевание и раздевание, приход и уход с работы или выполнение различных операций, совершенно не связана с удовольствием и болью, разве что в редких случаях. Это

идеомоторное действие. Как я дышу не для удовольствия от дыхания, а просто обнаруживаю, *что* дышу, так и пишу не для удовольствия от письма, а просто потому, что однажды начал и, находясь в состоянии интеллектуального возбуждения, которое продолжает выходить наружу, обнаруживаю, *что* пишу по-прежнему. Кто станет притворяться, что, когда он празднично перебирает пальцами рукоять ножа за столом, он делает это ради удовольствия, которое это ему доставляет, или боли, которой он таким образом избегает. Мы делаем все это потому, что в данный момент не можем ничего с этим поделать; наша нервная система так устроена, что переполняется именно таким образом; и для многих наших праздничных или чисто "нервных" и суетливых действий мы не можем найти абсолютно никакой *причины*.

Или что сказать о застенчивом и необщительном человеке, который в упор получает приглашение на небольшую вечеринку? Для него это отвратительно, но ваше присутствие действует на него принуждающе, он не может придумать оправдания и соглашается, проклиная себя за свой поступок. Тот необычайно *sui compos*, кто каждую неделю своей жизни не впадает в какую-нибудь подобную оплошность. Подобные случаи *voluntas invita* показывают не только то, что все наши поступки нельзя рассматривать как следствия представляемого удовольствия, но и то, что их нельзя даже отнести к случаям представляемого *блага*. Класс "блага" содержит гораздо больше общезначимых побуждений к действию, чем класс "удовольствия". Удовольствия часто привлекают нас только потому, что мы считаем их товарами. Так, например, мистер Спенсер призывает нас ценить удовольствия за их влияние на здоровье, которое представляется нам благом. Но почти так же мало, как под формой удовольствий, наши поступки неизменно предстают перед нами под формой *благ*. Все болезненные импульсы и патологические фиксированные идеи - примеры обратного. Именно плохость поступка придает ему головокружительное очарование. Снимите запрет, и влечение прекратится. Во времена моего обучения в университете один студент выбросился из окна верхнего этажа одного из зданий колледжа и едва не погиб. Другой студент, мой друг, ежедневно проходил мимо этого окна, входя и выходя из своей комнаты, и испытал страшное искушение подражать этому поступку. Будучи католиком, он рассказал об этом своему директору, который сказал: "Хорошо! Если ты должен, то должен", - и добавил: "Давай, делай это", тем самым мгновенно подавив его желание. Этот директор знал, как прислуживать больному уму. Но нам не нужно обращаться к больным умам за примерами случайной искушающей силы простого плохого и неприятного как такового. Каждый, у кого где-нибудь есть рана или боль, например, болит зуб, будет время от времени нажимать на него, чтобы вывести боль. Если мы находимся рядом с новым видом вони, мы должны понюхать его снова, чтобы еще раз убедиться, насколько он плох. В этот самый день я снова и снова повторял про себя словесный джиггл, в безвкусной глупости которого заключался секрет его призрачной силы. Я ненавижу ее, но не мог прогнать.

Верующие в теорию удовольствия и боли должны, таким образом, если они откровенны, делать большие исключения в применении своего верования. Действия, основанные на "фиксированных идеях", соответственно, являются ужасным камнем преткновения для откровенного профессора Бейна. Идеи в его психологии выполняют не импульсивную, а лишь "направляющую" функцию, в то время как

"Для придания импульса воле необходим соответствующий стимул, а именно, некоторое разнообразие удовольствия и боли. Интеллектуальная связь недостаточна для того, чтобы заставить поступок подняться по мановению идеи (за исключением случаев "*idée fixe*")"; но "если какое-либо *удовольствие* возникает или продолжается при выполнении действия, которое мы ясно представляем себе, то

причинно-следственная связь тогда завершена; присутствуют и направляющая, и движущая силы".[480]

Удовольствия и боль являются для профессора Бейна "*подлинными* импульсами воли".[481]

"Без предшествующего приятного или болезненного чувства - фактического или идеального, первичного или производного - воля не может быть стимулирована. Через все маскировки, которыми окутано то, что мы называем мотивами, можно обнаружить что-то от одного или другого из этих двух главных условий".[482]

Соответственно, когда профессор Бейн находит исключение из этого правила, он отказывается называть это явление "*подлинно добровольным импульсом*". Исключениями, по его мнению, "*являются никогда не угасающая спонтанность, привычки и фиксированные идеи*".[483] Фиксированные идеи "*пересекают надлежащий курс воления*".[484]

"*Бескорыстные импульсы* полностью отличны от достижения удовольствия и избегания боли..... Теория бескорыстного действия, в той единственной форме, в которой я могу ее представить, предполагает, что действие воли и достижение счастья не совпадают".[485]

Симпатия "имеет то общее с Неподвижной идеей, что она вступает в противоречие с регулярными отходами воли в пользу наших удовольствий".[486]

Таким образом, профессор Бейн признает все основные факты. Удовольствие и боль являются мотивами лишь части нашей деятельности. Но он предпочитает дать той части деятельности, исключительно которую побуждают эти чувства, название "*регулярных оттоков*" и "*подлинных импульсов*" воли,[487] а все остальное рассматривать как парадоксы и аномалии, о которых нельзя сказать ничего рационального. Это равносильно тому, чтобы взять один вид рода, назвать его только родовым именем и приказать остальным координатным видам найти себе любые имена. По сути, это всего лишь словесная игра. Насколько больше способствует ясности и проницательности то, что мы берем *род* "источники действия" и рассматриваем его как единое целое; а затем выделяем в нем виды "удовольствие и боль" и все остальные виды, которые могут быть найдены!

Правда, в отношении удовольствия к действию есть одно осложнение, которое отчасти оправдывает тех, кто делает его исключительным стимулом. Это осложнение заслуживает нашего внимания.

Импульс, который разряжается немедленно, обычно совершенно *нейтрален* по отношению к удовольствию или боли - например, дыхательный импульс . Однако если такой импульс задерживается какой-либо внешней силой, возникает сильное чувство *беспокойства* - например, одышка при астме. И в той мере, в какой сила, задерживающая импульс, преодолевается, наступает *облегчение* - например, когда мы снова делаем вдох после того, как астма утихает. Облегчение - это удовольствие, а беспокойство - боль; и таким образом получается, что вокруг всех наших импульсов, просто как таковых, крутятся как бы вторичные возможности приятных и болезненных ощущений, связанные с тем, каким образом акт разрешается осуществить. Эти *удовольствия и боли от достижения, исполнения или реализации* существуют независимо от того, какова изначальная причина действия. Мы радуемся, когда успешно избавляемся от опасности, хотя мысль о радости, конечно, не была тем, что побудило нас к побегу. Мы также радуемся, когда преодолеваем шаги на пути к желаемому чувственному наслаждению, и эта радость - удовольствие, дополнительное к

первоначально предложенному. С другой стороны, мы огорчены и недовольны, когда любая деятельность, как бы она ни была начата, пресекается в процессе реального осуществления. Мы испытываем "беспокойство" до тех пор, пока разрядка не начнется снова. И это так же верно, если действие нейтрально или его результатом является только боль, как и если оно предпринято ради удовольствия. Мотылек, вероятно, так же раздражен, если ему мешают попасть в пламя лампы, как и *руэ*, если его прерывают во время дебоша; и мы огорчаемся, если нам мешают совершить какое-то совершенно неважное действие, которое не доставило бы нам заметного удовольствия, если бы было совершено, только потому, что само предотвращение неприятно.

Давайте теперь назовем удовольствие, ради которого можно совершить поступок, *преследуемым удовольствием*. Из этого следует, что даже если поступок не преследует никакого удовольствия, сам по себе он может быть *самой приятной линией* поведения, когда импульс уже возник, благодаря случайному удовольствию, которое сопутствует его успешному совершению, и боли, которая могла бы возникнуть при его прерывании. Однако *приятный поступок* и поступок, *преследующий удовольствие*, сами по себе являются двумя совершенно разными понятиями, хотя они и объединяются в одно конкретное явление, когда удовольствие сознательно преследуется. Я не могу не думать, что именно *смещение преследуемого удовольствия с простым удовольствием от достижения* делает теорию действия, основанную на удовольствии, столь правдоподобной для обычного ума. Мы чувствуем импульс, независимо от того, откуда он исходит; мы начинаем действовать; если нам мешают, мы чувствуем неудовольствие, а если удастся - облегчение. Действие в *русле данного импульса* всегда на время оказывается приятным; и обычный гедонист выражает этот факт, говоря, что мы действуем ради сопутствующего удовольствия. Но кто не видит, что для того, чтобы удовольствие такого рода было возможным, *импульс должен уже существовать как независимый факт?* Удовольствие от успешной деятельности - это *результат* импульса, а не его *причина*. Вы не можете получить удовольствие от достижения, если вам не удалось предварительно привести свой импульс в движение каким-то предыдущим способом.

Правда, в особых случаях (настолько сложен человеческий ум) *удовольствие от достижения может само стать преследуемым удовольствием*; и эти случаи составляют еще один пункт, на котором теория удовольствия склонна сплоховать. Возьмем игру в лапту или охоту на лис. Кто хладнокровно желает добыть лису ради нее самой или заботится о том, попадет ли мяч в те или иные ворота? Однако по опыту мы знаем, что если нам удастся однажды вызвать в себе импульсивное возбуждение, будь то стремление догнать лису или доставить мяч к определенной цели, то успешный выход его за пределы противодействующих сдержек наполнит нас необычайной радостью. Поэтому мы намеренно и искусственно вводим себя в горячее импульсивное состояние. Для его возбуждения требуется присутствие различных условий, вызывающих инстинкт; но мало-помалу, как только мы оказываемся на поле, он достигает своего пароксизма, и мы пожинаем плоды наших усилий в виде удовольствия от успешного достижения, которое гораздо больше, чем мертвая лиса или забитый в ворота мяч, было целью, которую мы изначально преследовали. Так часто бывает и с обязанностями. Многие действия совершаются с тяжестью, и только после их завершения появляется удовольствие, радость от того, что с ними покончено. Подобно Гамлету, мы говорим о каждом таком очередном задании,

"О проклятая злоба!
что я родился, чтобы все исправить!"

а затем часто добавляем к первоначальному импульсу, побудившему нас к действию, еще один: "Мы будем так рады, когда покончим с этим", и эта мысль также имеет свою импульсивную подоплеку. Но из того, что удовольствие от достижения *может* превратиться в преследуемое удовольствие по случаю, не следует, что везде и всегда это удовольствие должно быть тем, к чему стремятся. Однако философы удовольствия, похоже, именно это и предполагают. С таким же успехом они могли бы предположить, что, поскольку ни один пароход не может выйти в море без случайного потребления угля и поскольку некоторые пароходы могут время от времени выходить в море, чтобы *попробовать* свой уголь, следовательно, ни один пароход не *может* выйти в море ни по какому другому мотиву, кроме как по мотиву потребления угля.[488]

Как нам не нужно действовать ради получения удовольствия от достижений, так и нам не нужно действовать ради избавления от беспокойства, связанного с арестом. Это беспокойство вызвано тем, что действие *уже имеет тенденцию к совершению* по другим причинам. И именно эти первоначальные основания побуждают к его продолжению, даже если беспокойство от ареста может иногда усиливать их побудительную силу.

В заключение хочу сказать, что я далек от того, чтобы отрицать исключительную значимость и важность той роли, которую удовольствия и боль, как ощущаемые, так и представляемые, играют в мотивации нашего поведения. Но я должен настаивать на том, что это не исключительная роль, и что координально с этими психическими объектами бесчисленное множество других обладает точно такой же импульсивной и ингибирующей силой.[489]

Если необходимо дать единое название состоянию, от которого зависит импульсивное и ингибирующее качество объектов, лучше назвать его *интересным*. 'Интересное' - это название охватывает не только приятное и болезненное, но и болезненно увлекательное, утомительно преследующее и даже просто привычное, поскольку внимание обычно движется по привычным линиям, а то, на что мы обращаем внимание, и то, что нас интересует, - это синонимичные понятия. Кажется, что мы должны искать секрет импульсивности идеи не в каких-то особых отношениях, которые она может иметь с путями двигательной разрядки, - ведь *все* идеи имеют отношения с некоторыми такими путями, - а скорее в предварительном явлении, в *срочности*, а именно в том, с какой она способна *заставить внимание и доминировать в сознании*. Если она однажды станет доминировать, пусть никаким другим идеям не удастся ее вытеснить, и все двигательные эффекты, принадлежащие ей по природе, неизбежно возникнут - ее импульс, короче говоря, будет дан в нагрузку и проявится как само собой разумеющееся. Это то, что мы видели в инстинкте, в эмоциях, в обычном идеомоторном действии, в гипнотическом внушении, в болезненной импульсивности и в *voluntas invita*, - побуждающая идея - это просто та, которая владеет вниманием. То же самое происходит, когда удовольствие и боль являются двигательными стимулами - они вытесняют из сознания другие мысли в то же время, когда они вызывают свои собственные характерные "волевые" эффекты. То же самое происходит в момент *принятия решения* во всех пяти описанных нами типах "решения". Короче говоря, не видно ни одного случая, в котором непоколебимое пребывание в сознании не было бы главным условием импульсивной силы. Еще более очевидно, что это главное условие тормозящей силы. Что сдерживает наши импульсы, так это простое размышление о причинах обратного - именно их присутствие в сознании накладывает вето и делает невозможным совершение поступков, в противном случае соблазнительных. Если бы мы только могли *забыть* о своих угрызениях, сомнениях, страхах, какую ликующую энергию мы должны были бы на какое-то время проявить!

ВОЛЯ - ЭТО СВЯЗЬ МЕЖДУ РАЗУМОМ И ЕГО "ИДЕЯМИ".

Таким образом, после всех этих предисловий, заканчивая рассмотрение более *интимной* природы волевого процесса, мы все больше и больше вынуждены рассматривать исключительно условия, при которых идеи преобладают в сознании. С преобладанием, однажды установленным как факт, мотивирующей идеи *психология* воления должным образом прекращается. Движения, которые за этим следуют, являются исключительно физиологическими явлениями, следующими по физиологическим законам за нейронными событиями, которым соответствует идея. *Воление* прекращается с преобладанием идеи; а последует ли за этим действие или нет - вопрос совершенно несущественный, если говорить о самом волении. Я хочу писать, и за этим следует действие. Я хочу чихнуть, и этого не происходит. Я хочу, чтобы дальний стол скользнул по полу в мою сторону; этого также не происходит. Мое волевое представление не в большей степени может побудить мой центр чихания, чем стол к деятельности. Но в обоих случаях это такое же истинное и хорошее желание, каким оно было, когда я желал писать.^[490] Одним словом, воление - это чистый и простой психический или моральный факт, который абсолютно завершен, когда есть устойчивое состояние идеи. Наблюдение за движением - явление внешнее, зависящее от исполнительных ганглиев, функция которых лежит за пределами разума.

В танце святого Витта, при локомоторной атаксии, представление движения и согласие на него происходят нормально. Но низшие исполнительные центры нарушены, и хотя представления разряжают их, они не разряжают их так, чтобы воспроизвести точные ощущения, которые ожидалось. При афазии пациент представляет себе определенные слова, которые он хотел бы произнести, но когда он открывает рот, то слышит, как он произносит совершенно непредусмотренные звуки. Это может привести его в ярость и отчаяние, а страсти лишь показывают, насколько неповрежденной остается его воля. Паралич идет только на шаг дальше. Связанный с ним механизм не только нарушен, но и полностью разорван. Волевое усилие возникает, но рука остается неподвижной, как стол. Парализованный осознает это по отсутствию ожидаемых изменений в афферентных ощущениях. Он старается изо всех сил, т. е. мысленно формирует ощущение мышечного "усилия", соглашаясь с тем, что оно должно произойти. Так и происходит: он хмурится, вздымает грудь, сжимает другой кулак, но парализованная рука остается пассивной, как и прежде.^[491]

Таким образом, мы приходим к *сути нашего исследования воли, когда спрашиваем, посредством какого процесса мысль о каком-либо объекте стабильно преобладает в сознании*. Если мысли преобладают без усилий, мы уже достаточно изучили в нескольких главах об ощущениях, ассоциациях и внимании законы их появления в сознании и их пребывания в нем. Мы не будем повторять эту тему, так как знаем, что интерес и ассоциация - это те слова, на которые, пусть даже с учетом их ценности, должны опираться наши объяснения. С другой стороны, когда преобладание мысли сопровождается феноменом усилия, дело обстоит гораздо менее однозначно. Уже в главе о внимании мы отложили окончательное рассмотрение добровольного внимания с усилием на более позднее время. Теперь мы довели дело до того, что видим, что внимание с усилием - это все, что подразумевает любой случай воления. *Короче говоря, основное достижение воли, когда она наиболее "добровольна", заключается в том, чтобы обратить внимание на сложный объект и удерживать его перед мысленным взором*. Это действие - *фиат*; и это просто физиологический инцидент, что, когда объект таким образом посещается, должны возникнуть немедленные двигательные последствия. *Решимость*, чьи предполагаемые двигательные последствия не должны наступать до тех пор, пока не будет выполнено какое-

то, возможно, далекое будущее условие, включает все психические элементы двигательного факта, кроме слова "сейчас"; и то же самое происходит со многими нашими чисто теоретическими убеждениями. Мы видели в соответствующей главе, как в конечном счете вера означает лишь своеобразную занятость ума и отношение к себе, ощущаемое в том, во что верится; и мы знаем, что в случае многих верований требуется постоянное усилие внимания, чтобы удерживать их в этой ситуации и защищать от вытеснения противоречивыми идеями.^[492] (Сравните выше, с. 321.)

Усилие внимания, таким образом, является важнейшим феноменом воли.^[493] Каждый читатель на собственном опыте должен знать, что это так, ибо каждый читатель наверняка чувствовал, как его охватывает какая-нибудь пламенная страсть. Что представляет собой трудность для человека, находящегося под влиянием неразумной страсти, действовать так, как если бы страсть была неразумной? Конечно, физической трудности нет. Физически так же легко избежать драки, как и начать ее, прикарманить свои деньги, как и растратить их на свои амуры, уйти от кокетки, как и подойти к ее двери. Трудность заключается в том, чтобы заставить идею мудрого поступка вообще остаться в нашем сознании. Когда на нас накатывает какое-либо сильное эмоциональное состояние, в голове не возникает никаких образов, кроме тех, что соответствуют этому состоянию. Если случайно возникают другие, они тут же подавляются и вытесняются. Если мы радостны, мы не можем продолжать думать о тех неопределенностях и рисках неудачи, которые изобилуют на нашем пути; если мы угрюмы, мы не можем думать о новых триумфах, путешествиях, любви и радостях; если мы мстительны, мы не можем думать об общности природы нашего угнетателя с нами самими. Охлаждающие советы, которые мы получаем от других, когда нас охватывает лихорадка, - самое неприятное и раздражающее явление в жизни. Ответить мы не можем, поэтому мы злимся; ибо по какому-то инстинкту самосохранения, которым обладает наша страсть, она чувствует, что эти холодные предметы, если они однажды только получают пристанище, будут работать и работать, пока не выморозят самую жизненную искру из всего нашего настроения и не разрушат наши воздушные замки до основания. Таково неизбежное влияние разумных идей на других - если *только они могут быть услышаны в тишине*; и, соответственно, страсть всегда и везде стремится помешать их тихому голосу быть услышанным. "Позвольте мне не думать об этом! Не говорите со мной об этом!" Это внезапный крик всех тех, кто в порыве страсти воспринимает некоторые отрезвляющие соображения, готовые остановить их в середине карьеры. "*Hæc tibi erit janua leti*", - чувствуем мы. В этой ванне с холодной водой есть что-то настолько ледяное, что-то, что кажется настолько враждебным движению нашей жизни, настолько чисто отрицательным, в Разуме, когда она кладет свой трупный палец на наше сердце и говорит: "Стой! брось! отстань! вернись! сядь!", что неудивительно, что для большинства мужчин это успокаивающее влияние кажется на данный момент служителем смерти.

Однако волевой человек - это тот, кто непоколебимо слышит тихий голос и, когда приходит мысль о смерти, смотрит ей в лицо, соглашается с ее присутствием, цепляется за нее, утверждает ее и держится за нее, несмотря на множество волнующих мысленных образов, которые восстают против нее и хотят изгнать ее из сознания. Поддерживаемый таким образом решительным усилием внимания, сложный объект со временем начинает вызывать своих сородичей и единомышленников и в итоге полностью меняет расположение сознания человека. А вместе с сознанием меняется и его действие, поскольку новый объект, прочно завладев полем его мыслей, безошибочно производит свои собственные двигательные эффекты. Трудность заключается в том, чтобы завладеть этим полем. Хотя спонтанное движение мысли направлено в другую сторону, внимание должно оставаться напряженным на одном объекте, пока, наконец, он не *вырастет*, чтобы с легкостью удерживаться перед

мысленным взором. Это напряжение внимания и есть основной акт воли. И работа воли в большинстве случаев практически завершается, когда мы обеспечиваем присутствие в нашей мысли естественно нежелательного объекта. Далее вступает в действие таинственная связь между мыслью и двигательными центрами, и, как мы не можем даже предположить, повиновение телесных органов следует само собой.

Из всего этого видно, что непосредственная точка приложения волевого усилия лежит исключительно в психическом мире. Вся драма - это психическая драма. Вся трудность - это умственная трудность, трудность с объектом нашей мысли. Если я могу использовать слово "*идея*", не наводя на мысль об ассоцианизме или гербартианских баснях, я скажу, что это идея, к которой прикладывается наша воля, идея, которая, если мы ее отпустим, ускользнет, но которую мы не отпустим. Согласие на безраздельное присутствие идеи - вот единственное достижение усилия. Его единственная функция - внедрить это чувство согласия в сознание. И для этого есть только один способ. Идея, с которой нужно согласиться, не должна мерцать и гаснуть. Ее нужно постоянно держать перед умом, пока она не *заполнит* его. Такое заполнение ума идеей с ее созвучными ассоциациями *есть* согласие с идеей и с фактом, который эта идея представляет. Если эта идея является идеей или включает в себя идею собственного телесного движения, то мы называем полученное таким трудом согласие двигательным волевым усилием. Ибо здесь природа мгновенно "*поддерживает*" нас и сопровождает нашу внутреннюю готовность внешними изменениями со своей стороны. Она не делает этого ни в одном другом случае. Жаль, что она не быть более щедрой и не создать мир, другие части которого так же мгновенно подчинялись бы нашей воле!

На [странице 531](#), описывая "разумный тип" решения, было сказано, что оно обычно приходит, когда найдена правильная концепция дела. Однако там, где правильная концепция является антиимпульсивной, вся интеллектуальная изобретательность человека обычно направлена на то, чтобы вытеснить ее из поля зрения и найти названия для чрезвычайных ситуаций, с помощью которых можно освятить предрасположенность момента, а лень или страсть могут царить бесконтрольно. Сколько оправданий находит пьяница при каждом новом искушении! То это новая марка спиртного, которую интересы интеллектуальной культуры в таких вопросах обязывают его испытать; то ему наливают, и грех тратить его впустую; то другие пьют, и было бы невежливо отказываться; то это нужно, чтобы заснуть, или чтобы просто справиться с работой; Или он не пьет, а потому что ему так холодно; или сегодня Рождество; или это средство побудить его принять более сильное решение в пользу воздержания, чем все, которые он принимал до сих пор; или это только один раз, а раз не считается, и т. д., и т. д., *ad libitum* - в сущности, *это* все, что угодно, кроме *пьянства*. *Это* та концепция, которая не останется без внимания бедной души. Но если он однажды сумеет вычленил этот способ представления из всех других возможных способов представления о различных возможностях, которые возникают, если сквозь толчею и грязь он будет придерживаться того, что это и есть пьянство и ничего другого, он вряд ли останется таковым надолго. Усилие, с помощью которого ему удастся постоянно держать в уме правильное *имя*, оказывается его спасительным нравственным поступком.[\[494\]](#)

Везде функция усилия одна и та же: продолжать утверждать и принимать мысль, которая, если бы была предоставлена самой себе, ускользнула бы. Оно может быть холодным и плоским, когда спонтанный ментальный дрейф направлен на возбуждение, или большим и тяжелым, когда спонтанный дрейф направлен на отдых. В одном случае усилия направлены на подавление взрывчатки, в другом - на пробуждение заторможенной воли. У измученного

моряка на затонувшем корабле воля заторможена. Одна из его идей - это мысли о больных руках, о безымянном истощении всего организма, которое влечет за собой акт дальнейшей откачки, и о том, как приятно погрузиться в сон. Другая - о голодном море, поглощающем его. "Скорее бы ноющая работа!" - говорит он; и тогда это становится реальностью, несмотря на подавляющее влияние относительно роскошных ощущений, которые он получает от неподвижного лежания. Но точно таким же по форме было бы его согласие лежать и спать. Часто именно мысль о сне и о том, что к нему приводит, труднее всего удержать перед мысленным взором. Если пациент, страдающий бессонницей, может контролировать вихревую гонку своих мыслей, не думая *ни о чем* (что можно сделать), или представлять себе одну букву за другой в стихах Священного Писания или поэзии, медленно и монотонно произносимых, то почти наверняка и здесь последуют конкретные телесные эффекты, и сон придет. Проблема заключается в том, чтобы удержать ум на ряде объектов, которые по природе своей столь бессодержательны. *Поддерживать представление, думать* - вот, в общем, единственное нравственное действие, как для импульсивных, так и для тех, кому мешают, как для здравомыслящих, так и для сумасшедших. Большинство маньяков знают, что их мысли безумны, но находят их слишком настойчивыми, чтобы им противостоять. По сравнению с ними здравые истины настолько смертельно трезвы, настолько трупны, что лунатик не может вынести, чтобы посмотреть им в лицо и сказать: "Пусть только они будут моей реальностью!" Но при достаточном усилии, как говорит доктор Уиган,

Такой человек может на некоторое время *взять себя в руки* и определить, что представления расстроенного мозга не должны проявляться". Известно много случаев, подобных тому, что рассказал Пинель, когда заключенный тюрьмы Бичетр, выдержав долгий перекрестный допрос и продемонстрировав все признаки восстановленного рассудка, подписал свое имя на бумаге, разрешающей его выписку, "Иисус Христос", а затем пустился во все капризы, связанные с этим заблуждением. По выражению джентльмена, чей случай приводится в одной из первых частей этой работы [Уигана], он "крепко держался" во время экзамена, чтобы достичь своей цели; достигнув ее, он снова "опускал руки" и, даже *осознав* свое заблуждение, не мог его контролировать. Я заметил, что таким людям требуется значительное время, чтобы довести себя до уровня полного самоконтроля, что это усилие - болезненное напряжение ума..... Когда их выбивает из колеи случайное замечание или они измотаны длительностью экзамена, они *отпускают себя* и не могут собраться снова без подготовки. Лорд Эрскин рассказывает историю о человеке, который подал иск против доктора Манро за то, что тот заключил его в тюрьму без причины. Он подвергся самому тщательному допросу со стороны адвоката ответчика, не обнаружив никаких признаков безумия, пока один из джентльменов не спросил его о принцессе, с которой он переписывался в вишневом соке, и он мгновенно сошел с ума".[495]

Одним словом, *конечным пунктом психологического процесса волеия, точкой, к которой непосредственно прикладывается воля, всегда является идея*. Во все времена существуют идеи, от которых мы шарахаемся, как испуганные лошади, как только видим их запретный профиль на пороге нашей мысли. *Единственное сопротивление, которое может испытать наша воля, - это сопротивление, которое такая идея оказывает тому, чтобы на нее вообще обратили внимание*. Обратить на нее внимание - это волевой акт, и единственный внутренний волевой акт, который мы когда-либо совершаем.

Я изложил эту мысль таким сверхпростым образом, потому что больше всего на свете хочу подчеркнуть тот факт, что воление - это прежде всего отношение не между нашим Я и внепсихической материей (как до сих пор утверждают многие философы), а между нашим Я и нашими собственными душевными состояниями. Но когда некоторое время назад я говорил о том, что наполнение разума идеей эквивалентно согласию с объектом идеи, я сказал нечто, что читатель, несомненно, подверг сомнению в то время, и что, несомненно, теперь требует некоторой квалификации, прежде чем мы пойдем дальше.

Безоговорочно верно, что если какая-либо мысль заполняет исключительно разум, то такое заполнение является согласием. Мысль, во всяком случае, на это время, увлекает за собой человека и его волю. Но не факт, что мысль *должна* заполнять ум исключительно для того, чтобы в нем было согласие; ведь мы часто соглашаемся на что-то, думая о других вещах, даже о враждебных; и мы видели, что именно то, что отличает наш "пятый тип" решения от других типов (см. с. 534), - это сосуществование с торжествующей мыслью других мыслей, которые подавляли бы ее, если бы не усилие, которое заставляет ее преобладать. Таким образом, усилие *присутствия* - это только часть того, что охватывает слово "воля"; оно охватывает также усилие *согласия* с чем-то, на что наше внимание не совсем полно. Часто, когда объект завладел исключительно нашим вниманием, и его двигательные результаты уже готовы проявиться, кажется, что ощущение их неизбежной необратимости само по себе достаточно, чтобы запустить тормозящие идеи и заставить нас приостановиться. Тогда нам требуется новое усилие, чтобы побороть внезапно охватившую нас нерешительность и продолжить работу. Таким образом, хотя внимание является первым и основополагающим элементом воления, *выраженное согласие с реальностью того, на что обращено внимание*, часто представляет собой дополнительный и совершенно иной феномен.

Собственное сознание читателя, конечно, подсказывает ему, что именно обозначают эти мои слова. И я свободно признаюсь, что не в силах продолжить анализ этого вопроса или объяснить в других терминах, в чем состоит это согласие. Это субъективный опыт *sui generis*, который мы можем обозначить, но не определить. Мы стоим здесь точно так же, как и в случае с верой. Когда идея *жалит* нас определенным образом, вызывает определенную электрическую связь с нашим "я", мы верим, что *это* реальность. Когда она жалит нас по-другому, устанавливает другую связь с нашим Я, мы говорим: *пусть это будет* реальностью. Слова "есть" и словам "пусть будет" соответствуют особые установки сознания, которые тщетно пытаться объяснить. Показательное и повелительное наклонения - такие же конечные категории мышления, как и грамматика. Качество реальности", которое эти настроения придают вещам, не похоже на другие качества. Это отношение к нашей жизни. Оно означает *наше* принятие вещей, *нашу* заботу о них, *нашу* поддержку им. По крайней мере, это то, что оно практически означает для нас; что оно может означать сверх того, мы не знаем. И переход от простого рассмотрения объекта как возможного к решению или желанию, чтобы он был реальным; изменение от колеблющегося к стабильному личному отношению к нему; от состояния "безразличия" к тому, в котором "мы имеем дело", - одна из самых знакомых вещей в жизни. Мы можем частично перечислить его условия; и мы можем частично проследить его последствия, особенно то важное, что, когда ментальный объект является движением нашего собственного тела, он реализует себя вовне, когда произошло ментальное изменение, о котором идет речь. Но само изменение как субъективное явление - это нечто, что мы не можем выразить более простыми словами.

ВОПРОС О "СВОБОДЕ ВОЛИ".

Говоря об этом, мы должны избавить наш разум от сказочной войны отдельных агентов, называемых "идеями". Мозговые процессы могут быть агентами, и мысль как таковая может

быть агентом. Но то, что в обычной психологии называется "идеями", - не что иное, как части общего *объекта* представления. Все, что находится перед умом одновременно, какой бы сложной ни была система вещей и отношений, является одним объектом для мысли. Таким сложным объектом может быть "А и Б и их взаимная несовместимость и тот факт, что только один может быть истинным или может стать истинным, несмотря на недопустимость или нежелательность обоих"; и там, где мысль обдумывает, ее объект всегда имеет такую форму, как эта. Когда же мы переходим от обдумывания к решению, этот общий объект претерпевает изменения. Мы либо полностью отбрасываем А и его отношения к Б и думаем исключительно о Б; либо, подумав о том и другом как о возможностях, далее думаем, что А невозможно, а Б есть или вскоре будет реальным. В любом случае перед нашей мыслью *возникает новый* объект; и если усилие существует, то оно возникает там, где переход от первого объекта ко второму затруднен. В этом случае наша мысль, кажется, поворачивается, как тяжелая дверь на ржавых петлях; только в той мере, в какой усилие кажется спонтанным, оно поворачивается не как будто с чьей-то помощью, а как будто благодаря внутренней активности, рожденной по случаю, самой по себе.

Психологи, обсуждавшие "мышечное чувство" на международном конгрессе в Париже в 1889 году, в конце концов согласились, что им необходимо прийти к лучшему пониманию этого проявления внутренней активности в тот момент, когда принимается решение. М. Фуйе в статье, которую я нахожу скорее интересной и наводящей на размышления, чем последовательной или убедительной,^[496] похоже, сводит наше чувство активности к тому, что мы *существуем как мыслящие существа*. По крайней мере, так я перевожу его слова.^[497] Но мы видели в главе X, как трудно нащупать процесс мышления как таковой и отличить его от некоторых объектов потока. М. Фуйе признает это; но я не думаю, что он полностью осознает, насколько сильной была бы позиция человека, который предположил бы (см. т. I. с. 301), что само ощущение моральной активности, сопровождающее появление определенных "объектов" перед разумом, есть не что иное, как некоторые другие объекты, - ограничения, а именно, в бровях, глазах, горле и дыхательном аппарате, присутствующие тогда, но отсутствующие в других импульсах субъективных изменений. Если бы это было правдой, то часть, во всяком случае, активности, которую мы осознаем в усилиях, казалась бы просто активностью нашего тела; и многие мыслители, вероятно, пришли бы к выводу, что это "решает претензии" на внутреннюю активность и отбрасывает все представление о ней как о лишнем в психологической науке.

Я не вижу своего пути к такой крайней точке зрения; хотя я должен повторить признание, сделанное на стр. 296-7 тома I, что я не *вполне* понимаю, как мы пришли к нашей непоколебимой вере в то, что мышление существует как особый вид нематериального процесса наряду с материальными процессами мира. Однако несомненно, что только *постулируя* такое мышление, мы делаем вещи в настоящее время понятными; и несомненно, что ни один психолог до сих пор не отрицал *факта* мышления, причем отрицалась лишь его динамическая сила. Но если мы постулируем факт мышления вообще, я полагаю, что мы должны постулировать и его силу; и я не вижу, как мы можем справедливо уравнивать его силу с простым существованием и сказать (как, кажется, говорит М. Фуйе), что для мыслительного процесса *продолжать вообще* - это деятельность, и деятельность везде одна и та же; ибо некоторые шаги вперед в этом процессе кажутся *prima facie* пассивными, а другие шаги (например, когда объект приходит с усилием) кажутся *prima facie* активными в высшей степени. Поэтому, если мы признаем, что наши мысли *существуют*, мы должны признать, что они существуют в том виде, в котором они появляются, как вещи, а именно, которые накладываются друг на друга, иногда с усилием, а иногда с легкостью; единственные вопросы заключаются в том, является ли усилие, где оно существует,

фиксированной функцией *объекта*, которую последний налагает на мысль? Или же оно является такой независимой "переменной", что при постоянном объекте его можно сделать больше или меньше?

Она, конечно, кажется нам неопределенной, и как будто даже при неизменном объекте мы можем сделать больше или меньше, по нашему выбору. Если оно действительно неопределенно, то наши будущие действия неоднозначны или непредопределенны: говоря обычным языком, *наша воля свободна*. Если же количество усилий не неопределенно, а фиксированно связано с самими объектами, так, что какой бы объект ни заполнял наше сознание в любой момент, он от вечности был обязан заполнять его тогда-то и тогда-то и вынуждать нас именно к тем усилиям, ни больше, ни меньше, которые мы ему даем, - тогда наша воля не свободна, и все наши действия предreshены. *Таким образом, вопрос факта в споре о свободе воли предельно прост*. Он связан исключительно с количеством усилий внимания или согласия, которые мы можем приложить в любой момент. Являются ли продолжительность и интенсивность этих усилий неизменными функциями объекта или нет? Как я только что сказал, *кажется*, будто усилие - это независимая переменная, будто в каждом конкретном случае мы можем приложить больше или меньше усилий. Когда человек пускает свои мысли в дни и недели, пока наконец они не достигают кульминации в каком-нибудь особенно грязном, трусливом или жестоком поступке, трудно убедить его, в разгар его раскаяния, что он не мог обуздать их; трудно заставить его поверить, что вся эта добрая вселенная (на которую так влияет его поступок) требовала и требовала этого от него в тот роковой момент, и от вечности сделала невозможным что-либо другое. Но, с другой стороны, есть уверенность, что все его волевые *усилия* являются результатом интересов и ассоциаций, сила и последовательность которых механически определяются структурой этой физической массы, его мозга; и общая непрерывность вещей и монистическая концепция мира могут привести к неотразимому постулату, что такой маленький факт, как усилие, не может составить реального исключения из подавляющего господства детерминистского закона. Даже в волевом усилии мы сознаем, что альтернатива также возможна. Здесь это, несомненно, заблуждение; почему же оно не является заблуждением повсюду?

Я считаю, что вопрос о свободе воли неразрешим на строго психологических основаниях. После того, как определенное количество усилий внимания было отдано идее, очевидно, невозможно сказать, *могло ли быть* отдано больше или меньше. Чтобы сказать это, мы должны были бы подняться к предшествующим усилиям и, определив их с математической точностью, доказать, по законам, о которых мы в настоящее время даже не догадываемся, что единственное количество последующих усилий, которое *могло бы* соответствовать им, - это точное количество, которое действительно было сделано. Измерения, будь то психические или нейронные величины, и дедуктивные рассуждения, подобные тому, что подразумевает этот метод доказательства, несомненно, навсегда останутся за пределами человеческой досягаемости. Ни один серьезный психолог или физиолог не рискнет даже предположить, как их можно было бы практически осуществить. Поэтому мы снова вынуждены прибегать к грубым доказательствам интроспекции, с одной стороны, со всеми ее возможностями обмана, и, с другой стороны, к *априорным* постулатам и вероятностям. Тот, кто любит взвешивать приятные сомнения, не должен торопиться с решением. Как Мефистофель Фаусту, он может сказать себе: "*dazu hast du noch eine lange Frist*", потому что из поколения в поколение доводы, приводимые с обеих сторон, будут становиться все более объемными, а дискуссия - все более утонченной. Но если наш спекулятивный восторг менее остер, если любовь к *parti pris* перевешивает любовь к открытости вопросов, или если, как говорит гениальный французский философ, "*любовь к жизни, которая не зависит от*

множества дискуссий", пробуждается в нас, жаждущих ощущения либо мира, либо власти, - тогда, рискуя ошибиться, мы должны спроецировать на одну из альтернативных точек зрения атрибут реальности для нас; Мы должны настолько заполнить свой разум идеей о нем, чтобы она стала нашим твердым убеждением. Настоящий автор делает это в отношении альтернативы свободы, но поскольку основания его мнения скорее этические, чем психологические, он предпочитает исключить их из данной книги.[498]

Однако можно сказать несколько слов о логике вопроса. Самое большее, что может сделать любой аргумент в пользу детерминизма, - это сделать его ясной и соблазнительной концепцией, которую глупо не принять, пока человек придерживается великого научного постулата, что мир должен быть одним непрерывным фактом и что предсказание всех без исключения вещей должно быть идеально, даже если не фактически, возможным.

Моральный постулат о Вселенной, постулат о том, что то, что должно быть, может быть, и что плохие поступки не могут быть предопределены, но хорошие должны быть возможны вместо них, заставляет человека придерживаться противоположной точки зрения. Но когда научные и моральные постулаты так противоречат друг другу, а объективных доказательств нет, единственным выходом остается добровольный выбор, ибо сам скептицизм, если он систематический, также является добровольным выбором. Если же воля не детерминирована, то кажется вполне уместным, что вера в ее неопределенность должна быть добровольно выбрана из числа других возможных верований. Первым делом свободы должно быть утверждение самой себя. Если индетерминизм является фактом, мы не должны надеяться на какой-либо другой способ достижения истины. Поэтому сомнение в этой конкретной истине, вероятно, будет открыто для нас до конца времен, и самое большее, что может сделать верующий в свободу воли, - это показать, что детерминистские аргументы не являются принудительными. То, что они соблазнительны, я отрицаю до последнего; не отрицаю я и того, что могут потребоваться усилия, чтобы сохранить веру в свободу, когда на нее давят, в здравом уме.

Однако существует *фаталистический аргумент* в пользу детерминизма, который в корне порочен. Когда человек раз за разом отпускает себя, он легко убеждается в огромном преобладании влияния обстоятельств, наследственных привычек и временных телесных предрасположенностей над тем, что может показаться спонтанностью, рожденной для данного случая. "Все есть судьба, - говорит он, - все есть результат того, что уже существовало. Даже если момент кажется оригинальным, это всего лишь непостоянные молекулы, пассивно кувыркающиеся на заранее намеченном пути. Бесполезно сопротивляться дрейфу, тщетно искать какую-то новую силу; и, пожалуй, меньше, чем где-либо еще под солнцем, в решениях, которые я принимаю, есть что-то действительно мое". На самом деле это не аргумент в пользу простого детерминизма. В нем чувствуется некая сила, которая могла бы изменить ситуацию от одного момента к другому, если бы только была достаточно сильна, чтобы противостоять приливу. Человек, который так ощущает *бессилие* свободного усилия, имеет самое острое представление о том, что под ним подразумевается, и о его возможной независимой силе. Иначе как бы он мог так осознавать ее отсутствие и ее последствия? Но подлинный детерминизм занимает совершенно иную позицию; он утверждает не *бессилие*, а *немыслимость* свободы воли. Он допускает нечто феноменальное, *называемое* свободным усилием, которое, *как представляется*, поддерживает прилив, но утверждает это как *часть прилива*. Вариации усилия не могут быть независимыми, утверждает он; они не могут возникнуть *ex nihilo* или прийти из четвертого

измерения; они являются математически фиксированными функциями самих идей, которые и есть прилив. Фатализм, который достаточно ясно представляет себе усилие как независимую переменную, которая могла бы прийти из четвертого измерения, если *бы* пришла, но которая *не* приходит, является очень сомнительным союзником детерминизма. Он сильно воображает ту самую возможность, которую детерминизм отрицает.

Но что в не меньшей степени, чем немыслимость абсолютно независимых переменных, убеждает современных людей науки в том, что их усилия должны быть predeterminedены, так это преемственность последних с другими явлениями, в predeterminedенности которых никто не сомневается. Решения с усилием так постепенно сливаются с решениями без него, что нелегко сказать, где лежит предел. Решения без усилий снова сливаются с идеомоторными, а те - с рефлекторными актами, так что возникает почти непреодолимый соблазн набросить формулу, охватывающую так много случаев, на абсолютно все. Там, где есть усилие, как и там, где его нет, сами идеи, составляющие предмет размышлений, возникают в сознании благодаря механизму ассоциаций. И этот механизм, по сути, представляет собой систему дуг и путей, рефлекторную систему, независимо от того, есть ли среди ее составляющих усилие или нет. Рефлекторный путь - это, в конце концов, универсальный способ представления о бизнесе. Чувство *легкости* - это пассивный результат того, как разворачиваются мысли. Почему же чувство усилия не является таким же? Профессор Липпс в своем восхитительно четком детерминистском изложении, не признавая, что ощущение усилия свидетельствует о приращении затраченной силы, объясняет его как признак того, что сила утрачена. По его словам, мы говорим об усилении всякий раз, когда сила тратит себя (полностью или частично) на нейтрализацию другой силы и тем самым не достигает своего возможного внешнего эффекта. Внешний эффект антагонистической силы, однако, также в соответствующей мере не достигает цели, "так что нет усилия без противодействия, ... а усилие и противодействие означают лишь то, что причины взаимно лишают друг друга эффективности".[499] Там, где силы являются идеями, оба их набора, строго говоря, являются местом приложения усилий - как тех, которые имеют тенденцию к взрыву, так и тех, которые имеют тенденцию к их сдерживанию. Мы, однако, называем более многочисленную массу идей *собой*; и, говоря о ее усилиях как о *наших* усилиях, а о меньшей массе идей как о *сопротивлении*,[500] мы говорим, что наши усилия иногда преодолевают сопротивления, создаваемые инерцией препятствий, а иногда сопротивления, создаваемые импульсами взрывной воли. На самом деле и усилие, и сопротивление - наши, и отождествление нашего "я" с одним из этих факторов - иллюзия и уловка речи. Я не понимаю, как кто-то может не признать (особенно когда мифологический динамизм отдельных "идей", которого придерживается профессор Липпс, переводится в динамизм мозговых процессов) завораживающую простоту такого взгляда, как его. Я также не понимаю, почему *для научных целей* нужно отказываться от него, даже если неопределенные количества усилий действительно имеют место. Перед индетерминизмом наука просто *останавливается*. Тогда она может полностью абстрагироваться от него; ведь в импульсах и запретах, с которыми приходится иметь дело, уже существует большее поле единообразия, чем она когда-либо сможет практически обработать. Ее предвидение никогда не сможет предсказать, даже если усилия будут полностью predeterminedены, фактический способ разрешения каждой отдельной чрезвычайной ситуации. Психология будет психологией,[501] и наука наукой, как и всегда (столько же и не больше) в этом мире, независимо от того, будет ли свобода в нем истинной или нет. Науке, однако, необходимо постоянно напоминать, что ее цели не являются единственными целями и что порядок единой причинности, который она использует и, следовательно, правильно постулирует, может быть вплетен в более широкий порядок, на который она вообще не претендует.

Поэтому мы можем полностью исключить вопрос о свободе воли из нашего рассмотрения. Как мы уже говорили в главе VI (т. I. с. 453), действие свободного усилия, если бы оно существовало, могло бы заключаться только в том, чтобы удерживать перед сознанием какой-то один идеальный объект или часть объекта чуть дольше или чуть интенсивнее. Среди альтернатив, которые представляются как *подлинные возможности*, , таким образом, сделала бы эффективной одну. [502] И хотя такое ускорение одной идеи может быть *морально и исторически значимым*, все же, если рассматривать его *динамически*, это будет операция среди тех физиологических бесконечно малых величин, которыми расчет должен вечно пренебрегать.

Но, отбросив вопрос о количестве наших усилий как такой, который психология никогда не сможет решить на практике, я должен сказать несколько слов о необычайно интимном и важном характере, который феномен усилий принимает в наших собственных глазах как отдельных людей. Конечно, мы измеряем себя по многим стандартам. Наша сила и наш интеллект, наше богатство и даже наша удача - все это согревает наше сердце и заставляет нас чувствовать себя подходящими для жизни. Но глубже всех этих вещей, способных обойтись без них, лежит ощущение количества усилий, которые мы можем приложить. В конце концов, это всего лишь эффекты, продукты и отражения внешнего мира внутри нас. Но усилия кажутся принадлежащими совершенно другой сфере, как если бы они были основной вещью, которой мы *являемся*, а те - лишь внешними проявлениями, которые мы *носим в себе*. Если "поиск сердца и поводов" - цель этой человеческой драмы, то искомое - это усилие, которое мы можем приложить. Тот, кто не может сделать ничего, - всего лишь тень; тот, кто может сделать много, - герой. Огромный мир, опоясывающий нас, ставит перед нами всевозможные вопросы и подвергает всевозможным испытаниям. На некоторые из них мы отвечаем простыми действиями, а на некоторые вопросы - четко сформулированными словами. Но самый глубокий вопрос, который когда-либо задавался, не допускает иного ответа, кроме тупого поворота воли и сжимания сердечных струн, когда мы говорим: "*Да, пусть будет так!*" Когда перед нами предстает ужасный объект или когда жизнь в целом открывает перед нами свои темные бездны, никчемные люди среди нас полностью теряют контроль над ситуацией и либо спасаются от ее трудностей, отводя внимание, либо, если они не могут этого сделать, превращаются в податливые массы простодушия и страха. Усилия, необходимые для того, чтобы встретиться лицом к лицу с такими объектами и согласиться с ними, оказываются им не под силу. Но героический ум поступает иначе. Для него эти объекты тоже злое и ужасны, нежелательны, несовместимы с желанными вещами. Но он может противостоять им, если это необходимо, не теряя при этом связи с остальной жизнью. Мир, таким образом, находит в героическом человеке достойную пару и товарища; и усилия, которые он способен приложить, чтобы удержать себя в вертикальном положении и сохранить сердце непоколебимым, являются прямым мерилем его ценности и функции в игре человеческой жизни. Он может *выдержать* эту Вселенную. Он может встретиться с ней и сохранить веру в нее в присутствии тех же особенностей, которые повергают в уныние его более слабых собратьев. Он может найти в ней изюминку, но не благодаря "страусиной забывчивости", а благодаря чистой внутренней готовности смотреть в лицо миру, где есть эти сдерживающие объекты. И тогда он становится одним из хозяев и повелителей жизни. С ним отныне нужно считаться, он - часть человеческой судьбы. Ни в теоретической, ни в практической сфере мы не заботимся и не обращаемся за помощью к тем, у кого нет головы для риска или смысла жить на опасном краю. Наша религиозная жизнь больше, а наша практическая жизнь меньше, чем раньше, находится на опасном краю. Но как наша храбрость часто является рефлексом чужой храбрости, так и наша вера, как говорит Макс Мюллер, может быть верой в чью-то другую веру. Мы черпаем новую жизнь из героического примера. Пророк как никто другой испил чашу горечи, но его лицо так непоколебимо, и он

говорит такие могучие слова ободрения, что его воля становится нашей волей, и наша жизнь загорается по его примеру.

Таким образом, не только наша нравственность, но и наша религия, насколько она осознанна, зависит от усилий, которые мы можем приложить. *"Так будет или не будет?"* - это самый прощупывающий вопрос, который нам когда-либо задавали; нам задают его каждый час дня, причем как о самых больших, так и о самых маленьких, как о самых теоретических, так и о самых практических вещах. Мы отвечаем не словами, а *согласием или несогласием*. Что же удивительного в том, что эти бессловесные ответы должны казаться нам самыми глубокими органами общения с природой вещей! Что удивительного, если усилия, требуемые ими, являются мерилom нашей ценности как людей! Что удивительного, если то количество, которое мы отводим им, является тем единственным, строго недооцененным и оригинальным вкладом, который мы вносим в мир!

ВОСПИТАНИЕ ВОЛИ.

Воспитание воли можно понимать как в широком, так и в более узком смысле. В более широком смысле оно означает всю подготовку человека к нравственному и благоразумному поведению и обучение приспособлению средств к целям, включающее "ассоциацию идей" во всех ее разновидностях и сложностях, вместе со способностью подавлять импульсы, не имеющие отношения к желаемым целям, и инициировать движения, способствующие их достижению. Именно приобретение этих способностей я и подразумеваю под воспитанием воли в узком смысле слова. И только в этом смысле стоит рассматривать этот вопрос.^[503]

Поскольку волевое движение - это движение, которому предшествует представление о себе, проблема воспитания воли - это проблема того, как представление о движении может вызвать само движение. Это, как мы видели, вторичный процесс; ибо, как мы ни обставлены, у нас не может быть *априорной* идеи движения, идеи движения, которое мы еще не совершили. Прежде чем возникнет идея, движение должно произойти вслепую, неожиданным образом и оставить после себя идею. *Рефлекторное, инстинктивное или случайное выполнение движения* должно, другими словами, предшествовать его волевому выполнению. Рефлекторные и инстинктивные движения уже были рассмотрены в достаточной степени для целей данной книги. Случайные" движения упоминаются, чтобы включить *квазислучайные* рефлексы от внутренних причин, или движения, возможно, возникающие в результате переполнения питания в специальных центрах, как профессор Бейн постулирует в своем объяснении тех "спонтанных разрядов", которые он ставит так много в его выведении добровольной жизни.^[504]

Теперь, *как может сенсорный процесс, который ранее произвел движение, разряд, когда возбужден снова, в центр для самого движения?* При первоначальном возникновении движения двигательная разрядка была первой, а сенсорный процесс - вторым; теперь при добровольном повторении сенсорный процесс (возбужденный в слабой или "идейной" форме) приходит первым, а двигательная разрядка - второй. Рассказать, как это происходит, значило бы ответить на проблему воспитания воли в физиологических терминах. Очевидно, что проблема заключается в образовании *новых путей*, и остается только выдвигать гипотезы, пока не найдем те, которые, казалось бы, охватывают все факты.

Как образуется новый путь? Все пути - это пути разряда, и разряд всегда происходит в направлении наименьшего сопротивления, независимо от того, является ли клетка, которая разряжается, "моторной" или "сенсорной". Пути наименьшего сопротивления - это пути инстинктивной реакции; и я выдвигаю в качестве первой гипотезы, что *все эти пути идут в одну сторону, то есть от "сенсорных" клеток к "моторным" и от моторных клеток к*

мышцам, никогда не принимая обратного направления. Например, двигательная клетка никогда не пробуждает сенсорную клетку напрямую, а только через входящий ток, вызванный телесными движениями, к которым приводит ее разряд. А сенсорная клетка всегда разряжается или обычно стремится разрядиться в сторону двигательной области. Пусть это направление называется направлением "вперед". Я называю этот закон гипотезой, но на самом деле он является неопровержимой истиной. Ни одно впечатление или идея глаза, уха или кожи не приходит к нам, не вызвав движения, даже если это движение - не более чем аккомодация органа чувств; и все наши поезда ощущений и чувственных образов чередуются с двигательными процессами, большинство из которых мы практически не осознаем. Другой способ изложить правило состоит в том, чтобы сказать, что, в первую очередь, или по связи, все токи через мозг направляются к роландической области, и там они иссякают и никогда не возвращаются к себе. С этой точки зрения различие между сенсорными и моторными клетками не имеет принципиального значения. Все клетки являются двигательными; мы просто называем те из них, которые находятся в роландической области, ближе к устью воронки, двигательными клетками *par excellence*.

Следствием этого закона является то, что "сенсорные" клетки не пробуждают друг друга связно; то есть ни одно из ощущаемых свойств вещей не имеет никакой тенденции заранее, до опыта, пробудить в нас идею о любых других ощущаемых свойствах, которые в природе вещей могут сопутствовать ему. Нет никакого априорного вызова одной "идеи" другой; единственные априорные соединения - это идей с движениями. Все внушения одного чувственного факта другому происходят по вторичным путям, которые сформировал опыт.

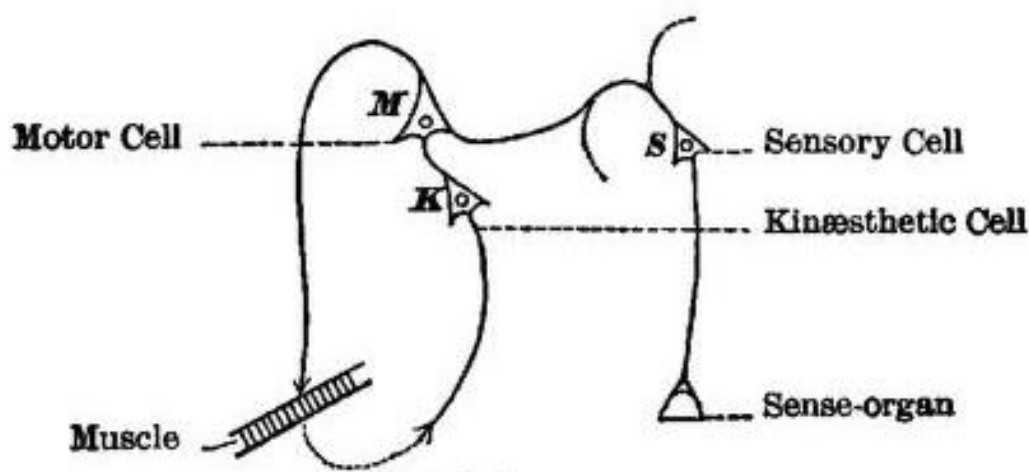


Рис. 87.

На схеме (рис. 87)[505] показано, что происходит в нервной системе, идеально сведенной к минимально возможным терминам. Стимул, достигающий органа чувств, пробуждает сенсорную клетку S; она по связанному или инстинктивному пути разряжает двигательную клетку M, которая заставляет мышцу сокращаться; сокращение вызывает вторую сенсорную клетку K, которая может быть органом либо "резидентного" или "кинестетического", либо "дистанционного" ощущения. (Если бы это был весь нервный механизм, то движение, начавшись, было бы самоподдерживающимся и прекращалось бы только тогда, когда его части были бы исчерпаны. И именно это, по мнению М. Пьера Жане, происходит в каталепсии. Каталептический пациент анестетичен, лишен речи, неподвижен. Сознание, насколько мы можем судить, упразднено. Тем не менее, конечности сохраняют любое положение, внушенное им извне, и сохраняют его так долго, что если это напряженное и

неестественное положение, то это явление рассматривается Шарко как один из немногих убедительных тестов против притворства гипнотических субъектов, поскольку гипнотики могут быть сделаны каталептиками, и затем держать свои конечности вытянутыми в течение длительного времени, совершенно недостижимого для бодрствующей воли. М. Жане считает, что во всех этих случаях глубинные идеологические процессы в мозге временно выходят из строя. Например, кинестетическое ощущение поднятой руки возникает у пациента, когда оператор поднимает руку, это ощущение разряжается в двигательную клетку, которая через мышцу воспроизводит ощущение и т. д., токи бегут по этому замкнутому кругу, пока не ослабевают настолько, что член медленно опускается. Мы можем назвать этот круг от мышцы к К, от К к М, и от М к мышце снова "двигательным кругом". *Мы все должны быть каталептиками и никогда не останавливать начавшееся мышечное сокращение, если бы не другие процессы, протекающие одновременно, не тормозили бы это сокращение. Таким образом, торможение - это не случайность, а неотъемлемый и постоянный элемент нашей мозговой жизни.* Интересно отметить, что доктор Мерсье, идя другим путем рассуждений, также пришел к выводу, что мы обязаны исключительно внешним торможениям нашей способностью остановить начавшееся движение.[506]

Одним из главных препятствий для выброса К в М, по-видимому, является болезненное или иным образом неприятное качество самого ощущения К; и наоборот, когда это ощущение отчетливо приятно, этот факт имеет тенденцию способствовать выбросу К в М и поддерживать начальный двигательный круг. Как ни велика роль, которую удовольствие и боль играют в нашей психической жизни, мы должны признаться, что совершенно ничего не знаем об их церебральных условиях. Трудно представить себе, что они имеют особые центры; еще труднее придумать своеобразные формы процессов в каждом центре, которыми могут быть обусловлены эти ощущения. И пусть кто угодно пытается представить мозговую деятельность исключительно в механических терминах, я, например, считаю совершенно невозможным перечислять факты и при этом не упоминать о психической стороне, которой они обладают. Как бы ни обстояло дело с другими дренажными токами и разрядами, дренажные токи и разряды мозга не являются чисто физическими фактами. Они являются *психофизическими* фактами, и их духовное качество, по-видимому, является кодeterminантой их механической эффективности. Если механическая деятельность в клетке, усиливаясь, доставляет удовольствие, она, кажется, усиливается тем быстрее, чем больше этот факт; если она доставляет неудовольствие, неудовольствие, кажется, гасит деятельность. Таким образом, психическая сторона феномена, подобно аплодисментам или шипению на зрелище, кажется поощрительным или отрицательным *комментарием* к тому, что приносит механизм. Душа ничего не представляет сама; ничего не *создает*; находится во власти материальных сил для всех *возможностей*; но среди этих возможностей она *выбирает*; и, усиливая одни и сдерживая другие, она выступает не как "эпифеномен", а как нечто, от чего пьеса получает моральную поддержку. Поэтому я без колебаний буду ссылаться на действенность сознательного комментария, когда нет строго механической причины, почему ток, выходящий из клетки, должен идти по одному пути, а не по другому.[507] Но *существование* тока и его *склонность* к тому или иному пути я считаю необходимым объяснить с помощью механических законов.

Рассмотрев теперь нервную систему, сведенную к минимально возможным условиям, в которой все пути связаны между собой, а возможности торможения не являются внешними, а обусловлены исключительно приятностью или неприятностью вызываемого чувства, давайте обратимся к условиям, при которых могут образовываться новые пути. Потенциал

Те же принципы применимы и к отношениям К и М. М, лежащий в направлении вперед, истощает К, и путь КМ, даже если это не первичный или связанный путь, становится вторичным или привычным. В дальнейшем К может быть возбужден любым способом (не так, как раньше, от S или извне), и все равно он будет стремиться разрядиться в М; или, выражаясь еще раз в психических терминах, *представление о чувственных эффектах движения М станет непосредственным предшествующим условием для производства самого движения.*

Здесь, таким образом, мы получаем ответ на наш первоначальный вопрос о том, как сенсорный процесс, который в первый раз, когда он произошел, был эффектом движения, может впоследствии фигурировать как причина этого движения.

По этой схеме очевидно, что клетка, которую мы обозначили К, может быть местом как резидентного, так и дистантного ощущения, вызванного двигательным разрядом. Она может быть безразлично тактильной, зрительной или слуховой клеткой. Представление о том, что *чувствует* рука, когда ее поднимают, может заставить ее подняться; но не в меньшей степени это может сделать представление о каком-то звуке, который она издает при подъеме, или о каком-то *оптическом* впечатлении, которое она производит. Таким образом, мы видим, что "мысленная подсказка" может принадлежать любому из различных чувств; и что то, что наши диаграммы заставляют нас предполагать, на самом деле происходит; а именно, что в наших движениях, таких как речь, например, у некоторых из нас именно тактильные, а у других акустические, *эффекторные* или запоминающие образы, кажется, наиболее заинтересованы в начале артикуляции (Vol. I. pp. 54-5). Однако *примитивными* "стартерами" всех наших движений являются вовсе не *Effectsbilder*, а ощущения и объекты, а затем и идеи, вытекающие из них.

Обратимся теперь к более сложным и последовательно соединенным движениям, которые чаще всего встречаются нам в реальной жизни. Объектом нашей воли редко бывает одно мышечное сокращение; почти всегда это упорядоченная последовательность сокращений, заканчивающаяся ощущением, которое говорит нам о том, что цель достигнута. Но несколько сокращений в этой последовательности не являются отдельными волевыми действиями; каждое предыдущее, скорее, похоже, по ощущениям, которые оно вызывает, вызывает последующее, как это было описано в главе VI, где мы говорили о том, что привычные одновременные движения обусловлены серией вторично организованных рефлекторных дуг (том I. стр. 116). Первое сокращение - это то, на которое есть четкое желание, и после его желания мы позволяем остальным звеньям цепи двигаться по собственному желанию. Как же происходит такое упорядоченное сочетание движений? Или, другими словами, как впервые формируются пути между одним двигательным центром и другим, так что разрядка первого центра заставляет остальные разряжаться в нужном порядке по всей линии?

Это явление предполагает быстрое чередование двигательных разрядов и возникающих в результате афферентных впечатлений в течение всего времени, пока оно длится. Они должны быть связаны в одном определенном порядке; и этот порядок должен быть однажды усвоен, то есть он должен быть выбран и удерживаться все более и более исключительно из множества других случайных порядков, которые сначала представлялись. Случайные афферентные впечатления отпадали, а те, что казались правильными, отбирались и

складывались в цепочку. Цепочка, которой мы активно обучаемся сами, нанизывая друг на друга множество правильных впечатлений, ничем существенно не отличается от цепочки, которой мы пассивно учимся у кого-то другого, дающего нам впечатления в определенном порядке. Итак, чтобы сделать наши идеи более точными, давайте возьмем для примера конкретное конкатенированное движение, и пусть это будет декламация алфавита, который кто-то в детстве научил нас произносить наизусть.

До сих пор мы видели, как идея звука или артикуляционного ощущения А может заставить нас сказать "А", Б - "Б" и так далее. Но теперь мы хотим увидеть, *почему ощущение того, что А произносится, должно заставить нас сказать "Б", почему ощущение того, что Б произносится, должно заставить нас сказать "В" и так далее.*

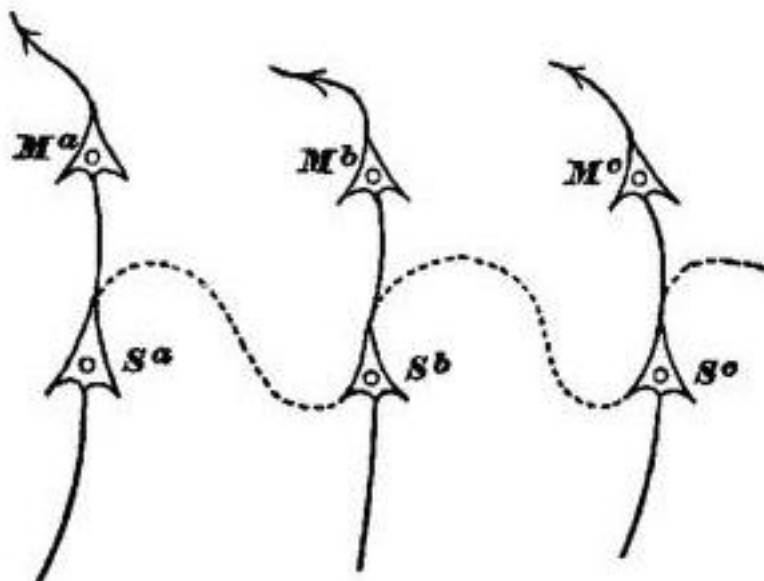


Рис. 89.

Чтобы понять это, мы должны вспомнить, что произошло, когда мы впервые выучили буквы в их порядке. Кто-то повторял нам А, В, С, D снова и снова, и мы подражали звукам. Сенсорные клетки, соответствующие каждой букве, пробуждались последовательно таким образом, что каждая из них (в силу нашего второго закона) должна была "истощить" клетку, только что возбужденную, и оставить путь, по которому эта клетка стремилась впоследствии разрядиться в клетку, которая ее истощила. Пусть S^a , S^b , S^c на рисунке 89 обозначают три такие клетки. Каждая последующая из них, разряжаясь двигателем вперед, получает ток от предыдущей, S^b - от S^a , а S^c - от S^b . Клетка S^b , осушив таким образом S^a , если S^a снова возбуждается, стремится разрядиться в S^b ; в то время как S^c , осушив S^b , S^b позже разряжается в S^c , и т.д., и т.п. - все через пунктирные линии. Пусть теперь в уме возникнет мысль о букве А, или, другими словами, пусть будет вызвана S^a : что произойдет? Ток проходит от S^a не только в двигательную клетку M^a для произнесения этой буквы, но и в клетку S^b . Когда мгновение спустя эффект от разряда M^a возвращается по афферентному нерву и снова возбуждает S^a , эта последняя клетка оказывается заблокированной от повторного разряда в M^a и воспроизведения "первичного моторного круга" (что в данном случае было бы продолжением произнесения буквы А), в силу того, что процесс в S^b , который уже идет полным ходом и имеет тенденцию к разрядке в свой собственный моторный ассоциат M^b , является, *в существующих условиях*, более сильным каналом для отвода возбуждения S^a . В результате M^b разряжается и произносит букву В; в то же время S^c получает часть переполнения S^b , мгновение спустя, когда звук В попадает в ухо, разряжается в

двигательную клетку для произнесения С, путем повторения того же механизма, что и раньше; и так далее *ad libitum*. На рисунке 90 представлен весь комплекс процессов, происходящих в организме.

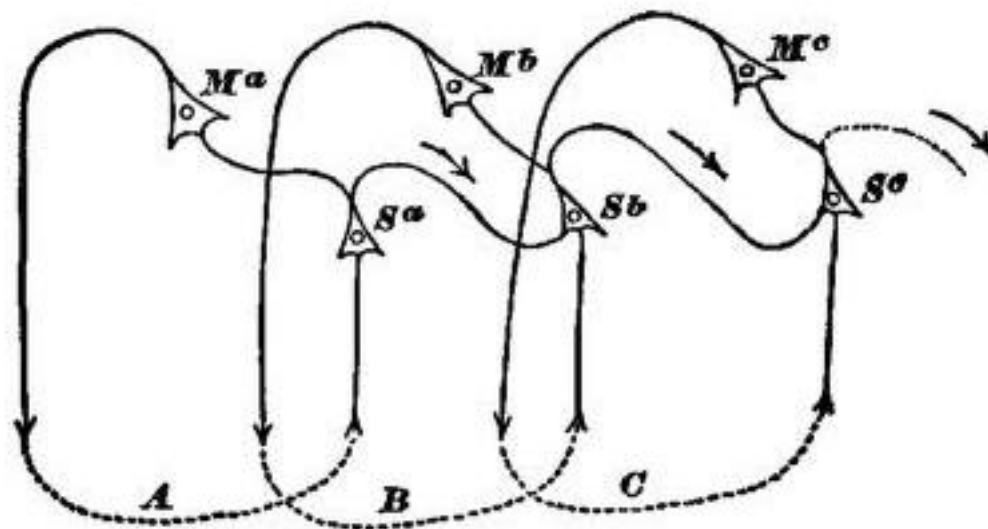


Рис. 90.

Единственное, что не сразу понятно, - это причина, по которой "при существующих условиях" путь от S^a к S^b должен быть более сильным каналом для оттока возбуждения S^a . Если бы клетки и волокна на рисунке составляли весь мозг, мы могли бы предположить либо механическую, либо психическую причину. Механическая причина может заключаться в общем законе, согласно которому клетки типа S^b и M^b , чье возбуждение находится в фазе нарастания, являются более сильными дренажами, чем клетки типа M^a , которые только что разрядились; или она может заключаться в том, что иррадиация тока за пределы S^b в S^c и M^c уже началась; и в еще более далеком законе, согласно которому дренаж имеет тенденцию к направлению наиболее широких иррадиаций. Любое из этих предположений было бы достаточной механической причиной, почему, сказав однажды А, мы не должны говорить его снова. Но мы не должны забывать, что у этого процесса есть и психическая сторона, и закрывать глаза на возможность того, что *чувства*, вызываемые зарождающимися токами, могут быть причиной того, что одни из них мгновенно тормозятся, а другие помогают течь. Нет сомнений в том, что еще до того, как мы произнесли одну букву, общее намерение произнести алфавит уже существует; нет сомнений и в том, что этому намерению соответствует широко распространенное предвосхищающее нарастание напряжений по всей системе клеток и волокон, которые впоследствии должны быть возбуждены. Пока этот рост напряжения *ощущается как приятный*, каждый ток, который его увеличивает, усиливается, а каждый ток, который его уменьшает, сдерживается; и это может быть главным из "существующих условий", которые делают дренажный канал от S^a к S^b временно таким сильным.^[511]

Новые пути между сенсорными клетками, образование которых мы изучали, - это пути "ассоциации", и теперь мы видим, почему ассоциации всегда идут в прямом направлении; почему, например, мы не можем произнести алфавит в обратном направлении, и почему, хотя S^b разряжается в S^c , нет никакой тенденции к тому, чтобы S^c разряжалась в S^b , или, по крайней мере, не больше, чем к тому, чтобы она разряжалась в S^a .^[512] В соответствии с принципами, на которые мы ссылались, первые сформированные пути должны были идти от клеток, которые только что разрядились, к клеткам, которые разряжаются; и теперь, чтобы заставить токи идти в другую сторону, мы должны пройти через новое обучение нашим

буквам с их обратным порядком. Тогда между чувствительными клетками будет два набора ассоциативных путей, любой из которых возможен. Я изобразил их на рис. 91, опустив для простоты моторные особенности. Пунктирные линии - это пути в обратном направлении, вновь организованные после восприятия ухом букв в порядке С В А.

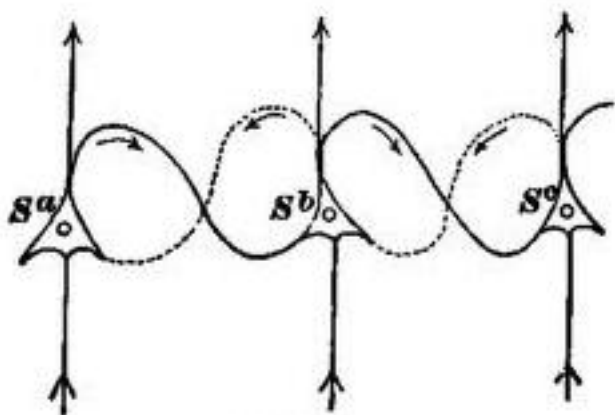


Рис. 91.

Те же принципы объясняют образование новых путей, последовательно объединяемых в сколь угодно большом количестве, но было бы глупо претендовать на иллюстрацию более сложными примерами. Поэтому я вернусь к случаю с ребенком и пламенем (т. I, с. 25), чтобы показать, насколько легко он поддается объяснению как "чисто кортикальная операция" (там же, с. 80). Вид пламени стимулирует корковый центр S^1 , который по инстинктивному рефлекторному пути разряжается в центр M^1 для хватательного движения. Это движение вызывает ощущение ожога, так как его последствия возвращаются в центр S^2 ; и этот центр по второму соединительному пути разряжается в центр M^2 , центр отведения руки. Движение отведения руки стимулирует центр S^3 , и это, насколько мы понимаем, последнее, что происходит. Теперь, когда ребенок в следующий раз увидит свечу, кора головного мозга будет располагать вторичными путями, которые оставил первый опыт. S^2 , будучи стимулированной сразу после S^1 , осушила последнюю, и теперь S^1 разряжается в S^2 до того, как успел произойти разряд M^1 ; другими словами, вид пламени наводит на мысль об ожоге до того, как он произведет свои собственные естественные рефлекторные эффекты. В результате происходит торможение M^1 или его обгон до завершения $M^{(2)}$. Характерная физиологическая особенность всех этих приобретенных систем путей заключается в том, что вновь формирующиеся сенсорные иррадиации все время *тянут вперед* и тем самым разрушают "двигательные круги", которые в противном случае могли бы образоваться. Но, даже не считая каталепсии, мы видим, как "двигательный круг" время от времени возвращается. Младенец, научившийся выполнять простое движение по собственному желанию, не обращая внимания на другие движения, не выходящие за его пределы, повторяет его, пока не устанет. Как повторяют они каждое новое выученное слово! И мы, взрослые, часто ловим себя на том, что повторяем какое-то бессмысленное слово снова и снова, если однажды случайно начинаем произносить его "рассеянно", то есть не задумываясь о том, к какому последующему ряду слов оно может относиться.

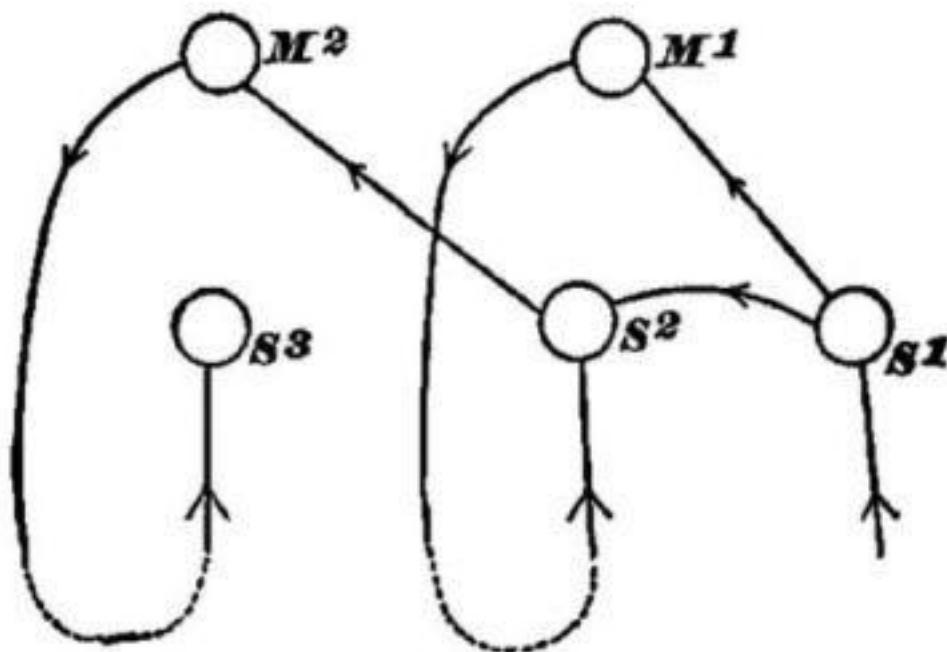


Рис. 92.

Еще одно замечание, прежде чем завершить эти слишком затянувшиеся физиологические рассуждения. Уже (т. I. с. 71) я пытался объяснить причину, по которой коллатеральная иннервация должна установиться после потери мозговой ткани, и почему поступающие стимулы должны через некоторое время снова находить выход по своим прежним путям. Теперь я могу объяснить это немного лучше. Пусть S^1 - это слуховой центр собаки, когда она получает команду "Дай лапу". Раньше он разряжался в двигательный центр M^1 , разряд которого S^2 представляет собой кинестетический эффект; но теперь M^1 был разрушен в результате операции, так что S^1 разряжается, как может, в другие движения тела, скулит, поднимает неправильную лапу и т. д. Кинестетический центр S^2 тем временем был разбужен приказом S^1 , и разум бедного животного покалывает ожидание и желание определенных приходящих ощущений, которые полностью расходятся с теми, которые дают реально выполняемые движения. Ни одно из этих ощущений не вызывает "двигательного круга", поскольку они неприятны и тормозны. Но когда, по случайному стечению обстоятельств, S^1 и S^2 разряжаются в путь, ведущий через M^2 , по которому снова подается лапа, и S^2 возбуждается, наконец, как извне, так и изнутри, торможения не происходит, и образуется "двигательный круг": S^1 разряжается в M^2 снова и снова, и путь от одного места к другому настолько углубляется, что в конце концов становится организованным как регулярный канал излияния при возбуждении S^1 . Никакой другой путь не имеет шансов быть организованным в такой же степени.

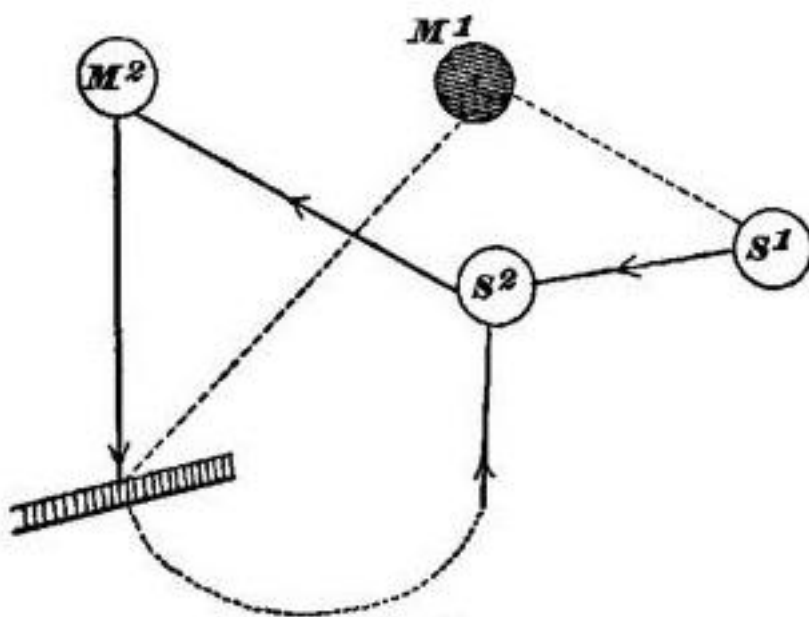


Рис. 93.

[430] Части этой главы были опубликованы в эссе под названием "Ощущение усилия", опубликованном в юбилейных мемуарах Бостонского общества естественной истории в 1880 году, а части - в журнале Scribner's Magazine за февраль 1888 года.

[431] В настоящее время я абстрагируюсь от изучения действий, наблюдая, как их совершают другие, ради простоты и чтобы не отвлекаться от сути вопроса.

[432] Deutsches Archiv f. Klin. Medicin, xxii. 321.

[433] Ландри: Mémoire sur la Paralyse du Sens Musculaire, Gazette des Hôpitaux, 1855, p. 270.

[434] Tàkacs: Ueber die Verspätung der Empfindungsleitung, Archiv für Psychiatrie, Bd. x. Heft 3, p. 533. Относительно всех подобных случаев см. замечания, сделанные выше на [стр. 205-6](#).

[435] Proceedings of American Soc. for Psychical Research, p. 95.

[436] В действительности в некоторых случаях без кинестетического впечатления движение даже не может быть правильно начато. Так, д-р Штрюмпель рассказывает, как, перевернув руку мальчика, он согнул мизинец вместо указательного пальца, когда его глаз был закрыт. "Когда ему приказывают указать, например, левой рукой влево, рука обычно поднимается прямо вперед, а затем неуверенно блуждает по комнате, иногда принимая правильное положение, а затем снова покидая его. Аналогично с нижними конечностями. Если пациент, лежа в постели, должен был сразу после завязывания глаз положить левую ногу на правую, то часто случалось, что он переставлял ее дальше влево, и она лежала на краю кровати в, по-видимому, самом невыносимо-неудобном положении. Поворот головы справа налево или в сторону определенных предметов, известных пациенту, также происходил правильно только тогда, когда пациент непосредственно перед перевязкой глаза специально освежал свое представление о том, каким должно быть требуемое движение". В другом анестетике доктора Штрюмпеля (описанном в том же очерке) рука вообще не могла двигаться, пока не открывались глаза, каким бы энергичным ни было волевое усилие. Вариации в этих истерических случаях очень велики. Некоторые пациенты вообще не могут пошевелить анестезируемой частью, когда глаза закрыты. Другие прекрасно двигают ею и даже могут

писать непрерывные предложения рукой с анестетиком. Причины таких различий еще не до конца изучены. М. Бинэ предполагает (*Revue Philosophique*, xxv. 478), что у тех, кто вообще не может двигать рукой, ощущение света необходимо как "динамогенный" агент (см. выше, [р. 377](#)); и что у тех, кто может умело двигать ею, анестезия - это только псевдонечувствительность, и что конечностью на самом деле управляет диссоциированное или вторичное сознание. Последнее объяснение, безусловно, верно. Профессор Г. Э. Мюллер (*Pflüger's Archiv*, xlv. 90) ссылается на индивидуальные различия в воображении, чтобы объяснить случаи, когда люди вообще не могут писать. По его словам, кинестетические образы, как их правильно называть, могут быть слабыми, а оптические - недостаточно сильными, чтобы дополнить их без "подпитки" со стороны ощущений. Наблюдение Джанет о том, что истерические анестезии могут сопровождаться амнезией, вполне оправдывает предположение Мюллера. Теперь нам необходимо детальное изучение отдельных случаев. Тем временем статья Бине, на которую мы уже ссылались, и статья Бастиана в *Brain* за апрель 1887 года содержат важные обсуждения этого вопроса. В одной из последующих заметок я еще раз вернусь к этой теме (см. [с. 520](#)).

[437] Профессор Бонис обнаружил, что точность, с которой пел один тенор, не пропала, когда его голосовые связки были обезболены кокаином. Он делает вывод, что направляющие ощущения здесь находятся в самих мышцах гортани. Гораздо более вероятно, что они находятся в ухе. (*Beaunis, Les Sensations Internes* (1889), p. 253).

[438] Как ощущение жара, например, является последним психическим предшественником потоотделения, как ощущение яркого света - сужением зрачка, как вид или запах трупа - движением отвращения, как воспоминание о промахе - румянцем, так и представление об ощутимых эффектах движения может быть самым движением. Правда, мысль о потливости обычно не заставляет нас потеть, равно как и мысль о покраснении не заставляет нас краснеть. Но в некоторых тошнотворных состояниях мысль о рвоте вызывает рвоту; и своего рода последовательность, которая в этом случае реализуется лишь в исключительных случаях, может быть правилом для так называемых добровольных мышц. Все зависит от нервных связей между центрами идей и проводящими путями. Они могут отличаться в зависимости от типа центра. Они в значительной степени отличаются у разных людей. Многие люди никогда не краснеют при мысли о своих промахах, а только когда совершают их на самом деле; другие краснеют при мысли, а некоторые не краснеют вообще. По словам Лотце, у некоторых людей "можно плакать по собственному желанию, пытаясь вызвать в тройничном нерве то особое ощущение, которое обычно предшествует слезам". Некоторым удается даже добровольно потеть, живо вспоминая характерные кожные ощущения и добровольно воспроизводя неопишное чувство расслабления, которое обычно предшествует потоку пота". (*Med. Psych.*, p. 303.) Более распространенным типом исключительных случаев является тот, в котором мысль о *стимуле*, а не о его воздействии, провоцирует эффект. Так, мы читаем о людях, которые сокращают зрачки по своему желанию, сильно представляя себе яркий свет. Один джентльмен однажды сообщил мне (как ни странно, я не могу вспомнить, кто он был, но у меня сложилось впечатление, что он был медиком), что он может потеть по своему желанию, представляя себя на краю пропасти. Потные ладони от страха иногда можно вызвать, представив себе ужасный объект (см. *Maouvrier* в *Rev. Phil.*, xxii. 203). Один из моих студентов, чьи глаза слезились, когда он сидел в кресле дантиста перед ярким окном, теперь может пролить слезы, если снова представит себе эту ситуацию. Несомненно, можно собрать большое количество подобных идиосинкразических случаев. Они учат нас тому, как сильно различаются центры по своей способности к разрядке через определенные каналы. Все, что нам нужно, чтобы объяснить различия, наблюдаемые между психическими предшественниками добровольных и

непроизвольных движений, это то, что центры, производящие представления о разумных последствиях движения, должны быть в состоянии стимулировать первые, но быть вне связи со вторыми, если только не у исключительных индивидов. Известен случай с полковником Таунсендом, который мог остановить свое сердце по желанию. См. по этому вопросу D. H. Tuke: *Illustrations of the Influence of the Mind on the Body*, chap. xiv. § 3; также J. Braid: *Наблюдения над трансом или человеческой гибернацией* (1850). Последний случай добровольного управления сердцем был описан доктором С. А. Пизом в "Бостонском медицинском и хирургическом журнале" от 30 мая 1889 года.

[439] Профессор Харлесс в статье, которая во многом предвосхищает то, что я хочу сказать (*Der Apparat des Willens*, in *Fichte's Zeitschrift f. Philos.*, Bd. 38, 1861), использует удобное слово *Effectsbild* для обозначения этих образов.

[440] Лучшее современное изложение, которое мне известно, принадлежит Жакку (Jaccoud: *Des Paraplégies et de l'Ataxie du Mouvement* (Paris, 1864), p. 591.

[441] Leidesdorf u. Meynert's *Vierteljsch. f. Psychiatrie*, Bd. i. Heft i. S. 36-7 (1867). *Physiologische Psychologie*, 1st ed. S. 316.

[442] Профессор Фуйе, защищающий их в *Revue Philosophique*, xxviii, 561 и далее, также признает (p. 574), что они одинаковы, каким бы ни было движение, и что все наше различие *того, какое* движение мы иннервируем, является афферентным, состоящим из ощущений после и сенсорных образов до акта.

[443] Ср. Souriau в *Rev. Philosophique*, xxii. 454.- Профессор Г. Э. Мюллер так описывает некоторые из своих экспериментов с гириями: Если после того, как мы несколько раз поднимали гирю весом 8000 граммов, нам вдруг дают гирю весом всего 500 граммов, "то эта последняя гиря поднимается со скоростью, которая поражает каждого наблюдателя, так что сосуд для гири со всем его содержимым часто летит высоко вверх, как будто он несет за собой руку, и энергия, с которой он поднимается, иногда настолько непропорциональна весу, что содержимое сосуда вываливается на стол, несмотря на механические препятствия, которые должен преодолеть такой результат. Более наглядного доказательства того, что проблема здесь заключается в неправильной адаптации двигательного импульса, привести невозможно". *Pflüger's Archiv*, xlv. 47. См. также с. 57 и цитату из Геринга на той же странице.

[444] *Archiv für Psychiatrie*, iii. 618-635. Бернхардт, как ни странно, считает, что его эксперименты опровергают существование афферентных мышечных ощущений, а не эфферентной иннервации - видимо, потому, что, по его мнению, особое возбуждение от электричества должно подавлять все другие афферентные ощущения от этой части. Но гораздо естественнее интерпретировать его результаты по-другому, даже если не принимать во внимание уверенность, которую дают другие доказательства существования пассивных мышечных ощущений. Эти другие доказательства, после того как они были исчерпывающе обобщены Саксом в "Архиве Райхерта и Дю Буа" (1874), с. 174-188, в части анатомических и физиологических оснований вновь поставлены под сомнение Мейсом (Mays, *Zeitschrift f. Biologie*, Bd. xx.

[445] *Functions of the Brain*, p. 228.

[446] *Vorlesungen über Menschen und Thierseele*, i. 222.

[447] В некоторых случаях мы получаем противоположный результат. Д-р Х. Чарлтон Бастиан (*British Medical Journal* (1869), p. 461, примечание), заявляет:

"Спросите человека, чьи нижние конечности полностью парализованы, сознает ли он, когда неэффективно желает пошевелить одной из этих конечностей, что тратит энергию в какой-либо степени, пропорциональной той, которую он испытал бы, если бы его мышцы естественно реагировали на его волю. Он скорее скажет нам, что у него есть только ощущение своего полного бессилия, и что его волеизъявление - это просто ментальный акт, не несущий в себе никаких ощущений затраченной энергии, подобных тем, которые он привык испытывать, когда его мышцы находятся в мощном действии, и из этого действия и его последствий только, как я думаю, он может вывести любое адекватное понятие о сопротивлении".

[448] Можно добавить слова Мюнстерберга: "При поднятии предмета в руке я не могу обнаружить никаких ощущений волевой энергии. В первую очередь я ощущаю легкое напряжение в области головы, но то, что это происходит от сокращения мышц головы, а не от ощущения мозговой разрядки, доказывается тем простым фактом, что при движении правой руки я получаю напряжение в правой части головы, тогда как двигательная разрядка происходит в противоположной части мозга..... При максимальных сокращениях мышц тела и конечностей возникают, как бы для их усиления, особые сокращения мышц лица [особенно хмурого и сжимающего зубы] и напряжения кожи головы. Эти симпатические движения, ощущаемые особенно на той стороне, которая делает усилие, возможно, являются непосредственной причиной того, что мы приписываем осознание максимального сокращения мышц области головы и называем это сознанием силы, а не периферическим ощущением". (Die Willenshandlung (1888), pp. 73, 82.) Работа герра Мюнстерберга - это маленький шедевр, который появился уже после того, как был написан мой текст. Мне придется неоднократно обращаться к ней снова, и я сердечно рекомендую читателю ее самое тщательное опровержение Innervationsgefühl-теории.

[449] Physiologische Optik, p. 600.

[450] [Здесь предполагается, что левый и здоровый глаз закрыты. Если оба глаза смотрят на одно и то же поле, возникают двойные изображения, которые еще больше запутывают суждение. Пациент, однако, учится видеть правильно, прежде чем пройдет много дней или недель.- W. J.]

[451] Alfred Graefe, in Handbuch der gesamten Augenheilkunde, Bd. vi. pp. 18-21.

[452] Профессор Г. Э. Мюллер (Zur Grundlegung der Psychophysik (1878), p. 318) был первым, кто объяснил этот феномен в том виде, в котором он представлен в тексте. Еще не будучи знакомым с его книгой, я опубликовал свое собственное подобное объяснение два года спустя.

Профессор Мах в своей удивительно оригинальной работе "Beiträge zur Analyse der Empfindungen", p. 57, описывает искусственный способ получения транслокации и объясняет эффект также чувством иннервации. "Поверните глаза, - говорит он, - как можно дальше влево и прижмите к правым сторонам орбит два больших комка шпаклевки. Если затем попытаться как можно быстрее посмотреть вправо, то это удастся, из-за неполной сферической формы глаз, только несовершенно, и предметы, следовательно, покажутся смещенными очень значительно вправо. *Голая воля* смотреть вправо придает всем изображениям на сетчатке большее *правое значение*, если выражаться коротко. Эксперимент поначалу вызывает удивление." - Я с сожалением должен сказать, что сам не могу добиться успеха - не знаю, по какой причине. Но даже там, где он удался, мне кажется, что условия слишком сложны, чтобы можно было с уверенностью делать теоретические выводы профессора Маха. Замазка, вдавленная в орбиту, и давление глазного яблока на нее

должны вызывать периферические ощущения, достаточно *сильные*, во всяком случае (если только они правильного рода), чтобы оправдать любое количество ложных восприятий положения нашего глазного яблока, совершенно помимо иннервационных ощущений, которые, как предполагает профессор Мах, сосуществуют.

[453] Иллюзию, в принципе аналогичную той, что была у обсуждаемого пациента, можно вызвать экспериментально у любого человека способом, который описал Геринг в своей работе "Lehre von Binocularen Sehen", pp. 13-14. Я процитирую рассказ Гельмгольца об этом, который особенно ценен как исходящий от верующего в *Innervationsgefühl*: "Пусть два глаза сначала смотрят параллельно, затем пусть правый глаз будет закрыт, в то время как левый по-прежнему смотрит на бесконечно удаленный объект *a*. Направления обоих глаз останутся неизменными, и *a* будет видно на своем месте. Теперь подведите левый глаз к точке *f* [игла в эксперименте Геринга], лежащей на оптической оси между ним и *a*, только очень близко. Положение левого глаза и его оптической оси, а также место изображения на сетчатке... совершенно не изменяются при этом движении. Но следствием этого является кажущееся движение объекта - движение влево. Как только мы снова учитываем расстояние, объект возвращается на свое прежнее место. Теперь в этом эксперименте изменяется только положение закрытого правого глаза: его оптическая ось, когда делается попытка приспособиться к точке *f*, также сходится к этой точке..... И наоборот, я могу заставить свои оптические оси расходиться, даже с закрытыми глазами, так что в приведенном выше эксперименте правый глаз должен повернуться далеко вправо от *a*. Это расхождение достигается медленно, и поэтому не дает мне иллюзорного движения. Но когда я внезапно ослабляю усилия, направленные на ее достижение, и правая оптическая ось возвращается в параллельное положение, я сразу же вижу, как объект, который фиксирует левый глаз, меняет свое положение влево. Таким образом, не только положение видящего глаза *a*, но и закрытого глаза *b* влияет на наше суждение о направлении, в котором находится видимый объект. Если открытый глаз остается неподвижным, а закрытый смещается вправо или влево, то объект, видимый открытым глазом, кажется, также смещается вправо или влево" (Physiol. Optik, pp. 607-8.).

[454] Beiträge zur Analyse der Empfindungen, p. 65.

[455] P. 68.

[456] Интерпретацией, приведенной в тексте, я обязан моему другу и бывшему студенту, мистеру Э. С. Дроуну, которому я поручил наблюдать это явление еще до того, как сам его заметил. Относительно колебаний в нашей интерпретации относительного движения сетчатки и кожи см. выше, с. 173.

Герр Мюнстерберг приводит дополнительные доводы против ощущения иннервации, из которых я процитирую несколько. Во-первых, все наши представления о движении - это *слабые* представления, напоминающие тем самым копии ощущений в памяти. Если бы они были ощущениями исходящего разряда, они были бы оригинальными состояниями сознания, а не копиями; и по аналогии должны были бы быть *яркими*, как другие оригинальные состояния. - Во-вторых, наши неполосатые мышцы не дают никаких ощущений при сокращении и не могут быть сокращены по желанию, отличаясь таким образом *двумя* особенностями от волевых мышц. Что может быть естественнее, чем предположить, что эти две особенности связаны друг с другом и что причина, по которой мы не можем, например, произвольно сократить кишечник, заключается в том, что у нас нет памяти-образа того, как ощущается его сокращение? Если бы предполагаемая иннервация-ощущение всегда была "ментальной подсказкой", то непонятно, почему мы могли бы не иметь ее даже там, где, как

здесь, сами сокращения не ощущаются, и почему она не могла бы вызвать сокращение. (Die Willenshandlung, pp 87-8.)

[457] Revue Philosophique, xxiii. 442.

[458] *Ibid.* xx. 604.

[459] Герр Штернберг (Pflüger's Archiv, xxxvii. p. 1) считает, что он доказывает чувство иннервации тем фактом, что, когда мы желаем сделать движение, мы обычно думаем, что оно сделано. Мы уже познакомились с некоторыми из этих фактов на [стр. 105-6](#), выше. С. цитирует Экснера о том, что если мы помещаем кусок твердой резины между задними зубами и кусаем, то наши передние зубы как бы приближаются друг к другу, хотя физически это невозможно. Он предлагает следующий эксперимент: Положите ладонь на стол так, чтобы указательный палец перекрывал его край и был максимально отогнут назад, в то время как стол удерживает остальные пальцы вытянутыми; затем попробуйте, не глядя, согнуть конечный сустав указательного пальца. У вас не получится, но вы думаете, что у вас получится. И здесь иннервация, по мнению автора, ощущается как выполненное движение. Мне кажется, как я уже говорил в предыдущем месте, что во всех этих случаях иллюзия обусловлена устойчивой ассоциацией идей. Обычно за нашим желанием двигаться всегда следовало ощущение, *что* мы двигаемся, за исключением тех случаев, когда одновременно возникало ощущение внешнего сопротивления. В результате, когда мы не чувствуем внешнего сопротивления, а мышцы и сухожилия напрягаются, неизменно связанная с этим идея оказывается достаточно интенсивной, чтобы быть галлюцинаторной. В эксперименте с зубами сопротивление, с которым мы обычно сталкиваемся при сокращении жевательных мышц, является мягким. Мы не смыкаем зубы на такой вещи, как твердая резина, ни разу за миллион раз; поэтому, когда мы это делаем, мы представляем себе привычный результат. Люди с *ампутированными конечностями* чаще всего продолжают чувствовать их так, как будто они все еще там, и, более того, могут дать себе ощущение, что двигают ими по своему желанию. Пожизненная сенсорная ассоциация с идеей "поработать пальцами ног", например (не корректируемая никакими противоположными ощущениями, поскольку реальное ощущение отсутствия движения не может исходить от несуществующих пальцев), следует за идеей и проглатывает ее. Человек думает, что его пальцы ног "работают" (см. Proceedings of American Soc. for Psych. Research, p. 249).

Герр Лёб также приходит на помощь чувству иннервации, приводя свои собственные наблюдения, сделанные после написания моего текста, но они убеждают меня не больше, чем аргументы других. Факты Лёба таковы (Pflüger's Archiv, xlv. p. 1): Если мы стоим перед вертикальной поверхностью и, держа руки *на разной высоте*, одновременно совершаем ими движения, которые кажутся нам одинаково сильными, то то движение всегда оказывается действительно короче, которое совершается той рукой, мышцы которой (в силу положения руки) уже более сокращены. Тот же результат получается, когда руки несимметричны в боковом направлении. Лёб предполагает, что обе руки сокращаются в силу общей иннервации, но что, хотя эта иннервация относительно менее эффективна на более сокращенной руке, наше *ощущение* ее равной силы преодолевает различие входящих ощущений движения, которые обе конечности посылают обратно, и заставляет нас думать, что пространства, которые они пересекают, одинаковы. "Ощущение степени и направления наших добровольных движений зависит, соответственно, от импульса нашей воли к движению, а не от ощущений, вызываемых движением в активном органе". Если это элементарный закон, который называет Лёб, то почему он проявляется только при одновременном движении обеих рук? Почему не тогда, когда одна *и* та же рука совершает *последовательные* движения? И особенно почему не тогда, когда обе руки двигаются

симметрично или на одном уровне, но *одна из них утяжелена*? Взвешенная рука, несомненно, требует более сильной иннервации, чем невзвешенная, чтобы пройти равное расстояние вверх; и все же, как признается Лёб, мы не склонны переоценивать путь, который она проходит в этих обстоятельствах. Дело в том, что иллюзия, которую изучал Лёб, является сложным результатом многих факторов. Одним из них, как мне кажется, является инстинктивная тенденция *возвращаться к типу двусторонних движений детства*. Во взрослой жизни мы двигаем руками по большей части попеременно; но в младенчестве свободные движения рук почти всегда одинаковы с обеих сторон, симметричны, когда направление движения горизонтальное, и с руками на одном уровне, когда оно вертикальное. Наиболее естественной иннервацией при быстром выполнении движений является та, которая приводит движения к этой форме. Между тем, наша *оценка* длины, пройденной двумя руками, в основном основана, как это обычно бывает при оценке с закрытыми глазами (см. более раннюю работу Лозба "*Untersuchungen über den Fühlraum der Hand*" в Pflüger's Archiv, xli. 107), на кажущуюся скорость и продолжительность движения. Продолжительность одинакова для обеих рук, поскольку движения начинаются и заканчиваются одновременно. Скорости двух рук в условиях эксперимента практически невозможно сравнить. Хорошо известно, как несовершенно мы различаем *веса*, когда "поднимаем" их одновременно, по одному в каждой руке; и Г. Э. Мюллер хорошо показал (Pflüger's Archiv, xlv. 57), что скорость подъема является основным фактором, определяющим наше суждение о весе. Вряд ли можно представить себе более неблагоприятные условия для точного сравнения длины двух движений, чем те, которые определяют обсуждаемые эксперименты. Единственным заметным признаком является продолжительность, которая позволяет сделать вывод о равенстве двух движений. Поэтому мы считаем их равными, хотя врожденная тенденция наших двигательных центров не позволяет им быть таковыми.

[460] Это мнение ни в коем случае не является неправдоподобным. См. т. I. с. 65.

[461] Мэн де Биран, Ройер Коллар, сэр Джон Гершель, д-р Карпентер, д-р Мартино - все они, кажется, утверждают, что существует ощущение силы, благодаря которому, осознавая внешнее сопротивление нашей воле, мы убеждаемся в существовании внешнего мира. Я считаю, что каждое периферийное ощущение дает нам внешний мир. Насекомое, ползающее по нашей коже, производит на нас такое же "внешнее" впечатление, как и сто фунтов, лежащие на спине. Я читал критику моих взглядов М. А. Бертраном (*La Psychologie de l'Effort*, 1889); но поскольку он, похоже, считает, что я полностью отрицаю *чувство* усилия, я не могу извлечь из нее никакой пользы, несмотря на его очаровательную манеру говорить.

[462] Боудич и Саутард в "Журнале физиологии", т. iii. No. 3. В ходе этих экспериментов было установлено, что максимальная точность достигается, когда между определением местоположения объекта глазом или рукой и началом прикосновения к нему проходит две секунды. Когда метка находилась одной рукой, а другая рука должна была ее коснуться, ошибка была значительно больше, чем когда одна и та же рука и находила, и касалась ее.

[463] Такую же осторожность следует проявлять и при обсуждении патологических случаев. Существуют замечательные расхождения в воздействии периферической анестезии на волевые усилия. Такие случаи, как я цитировал в тексте (стр. 490), далеко не единственный тип. В этих случаях пациенты могли точно двигать конечностями, когда глаза были открыты, и неточно, когда они были закрыты. В других случаях, однако, пациенты, находящиеся под наркозом, *вообще не могут двигать конечностями*, когда глаза закрыты. (Сообщения о двух таких случаях см. в Bastian в "Brain", Binet в Rev. Philos., xxv. 478.) М. Бинэ объясняет эти

случаи (истерические) как требующие "динамогенного" стимула света (см. выше, с. 377). Они, однако, *могут* быть случаями такого врожденного дефекта оптического воображения, что "ментальная подсказка" обычно была "тактильной"; и когда эта тактильная подсказка не срабатывает из-за функциональной инертности кинестетических центров, единственной оптической подсказкой, достаточно сильной для определения разряда, должно быть фактическое *ощущение* глаза. - Существует еще третий класс случаев, в которых конечности потеряли всякую чувствительность, даже для движений, пассивно запечатленных, но в которых добровольные движения могут быть точно выполнены даже при закрытых глазах. MM. Binet и Féré сообщили о некоторых из этих интересных случаев, которые встречаются среди истерических гемианестетиков. Например, они могут писать по своему желанию, хотя их глаза закрыты и они не чувствуют, что пишут, а многие из них не знают, когда это начинается или прекращается. Когда их просят многократно написать букву *a*, а затем сказать, сколько раз они ее написали, некоторые из них могут определить число, а некоторые - нет. Некоторые из них признаются, что руководствуются зрительным воображением того, что делают. Ср. Archives de Physiologie, Oct. 1887, pp. 363-5. Теперь, на первый взгляд, кажется, что чувства исходящей иннервации должны существовать в этих случаях и учитываться. Нет никаких других направляющих впечатлений, ни непосредственных, ни отдаленных, о которых бы пациент знал; и если бы не было чувств иннервации, письмо казалось бы чудесным. Но если такие ощущения присутствуют в этих случаях и достаточны для того, чтобы точно направлять последовательность движений, то почему они не достаточны в тех других анестетических случаях, когда движения становятся беспорядочными при закрытых глазах? *Иннервация* есть, иначе не было бы никаких движений; почему же *ощущение* иннервации исчезло? Правда, как полагает М. Бине (Rev. Philos., xxiii. p. 479), заключается в том, что эти случаи не являются аргументами в пользу чувства иннервации. Это патологические курьезы; и пациенты на самом деле не анестетики, а жертвы той любопытной диссоциации или отщепления одной части их сознания от остальных, которую мы только начинаем понимать, благодаря господам Джанету, Бине и Гурни, и в которой отщепленная часть (в данном случае кинестетические ощущения) может, тем не менее, оставаться и производить свои обычные эффекты. Сравните с тем, что было сказано выше, с. 491.

[464] Medicinische Psychologie, p. 293. В своей восхитительно острой главе о воле этот автор наиболее четко отстаивает позицию, согласно которой то, что мы называем мышечным напряжением, является афферентным, а не эфферентным чувством: "Мы должны утверждать повсеместно, что в мышечном чувстве мы ощущаем не *силу, направляющуюся для* производства эффекта, а только *страдание*, уже произведенное в наших подвижных органах, мышцах, после того как сила, ненаблюдаемым нами образом, оказала на них свое причинное воздействие" (p. 311). Как часто битвы психологии приходится вести заново, каждый раз с более тяжелыми армиями и большими поездами, хотя и не всегда с такими способными генералами!

[465] Ch. Féré: Sensation et Mouvement (1887), глава iii.

[466] Профессор А. Бэйн (Senses and Intellect, pp 336-48) и д-р В. Б. Карпентер (Mental Physiology, chap. vi) приводят множество примеров.

[467] Полный отчет эксперта об "игре желания" см. в статье мистера Стюарта Камберленда: A Thought-reader's Experiences in the Nineteenth century, xx. 867. М. Глей привел хороший пример идеомоторного действия в "Бюллетенях Общества физиологической психологии" за 1889 год. Скажите человеку, чтобы он сосредоточенно думал об определенном имени, и, сказав, что вы затем заставите ее написать его, дайте ей в руки карандаш, а сами возьмите

ее за руку. После этого она, вероятно, произвольно напишет имя, полагая, что вы заставляете ее это сделать.

[468] Здесь я абстрагируюсь от того, что для того, чтобы импульсивность была в полной мере эффективной, необходима определенная *интенсивность* сознания. В двигательных процессах, как и во всех других естественных вещах, существует инерция. У некоторых людей и в определенное время (болезнь, усталость) инерция необычайно велика, и тогда мы можем иметь идеи действия, которые не приводят к видимым действиям, а разряжаются в просто зарождающиеся склонности к деятельности или в эмоциональное выражение. Инерция моторных частей здесь играет ту же роль, что и в других случаях, когда речь идет об антагонистических идеях. Мы рассмотрим эту ограничительную инерцию позже, она, очевидно, не вносит никаких существенных изменений в закон, который излагает текст.

[469] Я использую здесь общепринятую фразеологию просто для удобства. Читатель, ознакомившийся с главой IX, всегда поймет, когда услышит о многих идеях, одновременно присутствующих в уме и действующих друг на друга, что на самом деле имеется в виду ум с одной идеей перед ним, о многих объектах, целях, причинах, мотивах, связанных друг с другом, одни гармонично, другие антагонистично. С этой осторожностью я не буду колебаться, время от времени впадая в популярную локковскую речь, хотя я и считаю ее ошибочной.

[470] Мое внимание к этому классу решений впервые выразительно обратил мой коллега, профессор К. К. Эверетт.

[471] В прекрасной статье "Психические качества спортсмена" в "Гарвардском ежемесячнике", том vi. стр. 43, мистер А. Т. Дадли отводит первое место быстрому импульсивному темпераменту. "Спросите его, как в каком-нибудь сложном трюке он совершил определенное действие, почему он толкнул или дернул в определенный момент, и он скажет вам, что не знает; он сделал это по инстинкту; или, скорее, его нервы и мышцы сделали это сами собой..... Вот отличительная черта хорошего игрока: хороший игрок, уверенный в своей подготовке и практике, в критической игре полностью доверяет своему импульсу и не продумывает каждый ход. Плохой игрок, не доверяя своим импульсивным действиям, вынужден все время тщательно обдумывать. Таким образом, он не только упускает возможности из-за своей медлительности в понимании всей ситуации, но и, будучи вынужденным все время быстро думать, в критические моменты становится растерянным; в то время как первоклассный игрок, не пытаясь рассуждать, а действуя согласно импульсу, постоянно отличается и играет лучше под большим давлением".

[472] Т. Б. Клаустон, Клинические лекции о психических заболеваниях (Лондон, 1883), с. 310-318.

[473] В его *Maladies de la Volonté*, p. 77.

[474] О других случаях "импульсивного помешательства" см. в книге Г. Модсли "Ответственность при психических заболеваниях", с. 133-170, и в книге Форбса Уинслоу "Непонятные болезни ума и мозга", главы vi, vii, viii.

[475] Цитируется Г. Берром в статье "Безумие от опьянения" в "N. Y. Psychological and Medico-Legal Journal", Dec. 1874.

[476] Автобиография, издание Хауэллса (1877), стр. 192-6.

[477] См. статью о настойчивых и фиксированных идеях доктора Каулза в "Американском журнале психологии", i. 222; и еще одну статью о так называемом безумии сомнения доктора Кнаппа, там же, iii. 1. Последняя содержит частичную библиографию по данному вопросу.

[478] Цитируется Риботом, *op cit.* p. 39.

[479] Глупость старомодной философии удовольствия *согревает глаза*. Возьмем, к примеру, объяснение профессором Бейном общительности и родительской любви с помощью удовольствия от прикосновения: "Осязание - это фундаментальное и родовое чувство..... Даже после дифференциации остальных чувств первичное чувство продолжает оставаться ведущей восприимчивостью разума. Мягкое теплое прикосновение, если и не является первоклассным воздействием, то, по крайней мере, приближается к нему. Совокупная сила мягкого прикосновения и тепла достигает значительного уровня массового удовольствия; в то же время могут существовать тонкие влияния, не сводимые к этим двум главам, такие, которые мы, ничего не зная о них, называем магнитными или электрическими. Возбуждение от взятия ребенка на руки - это нечто, выходящее за рамки простого теплового прикосновения; оно может подняться до экстатической высоты, и в этом случае, однако, могут присутствовать сопутствующие ощущения и идеи..... В простом нежном чувстве, не сексуальном, нет ничего, кроме чувства прикосновения, чтобы удовлетворить его, если только мы не предполагаем оккультного магнетического влияния..... Одним словом, наши любовные утехы начинаются и заканчиваются в чувственном контакте. Прикосновение - это и альфа, и омега привязанности. Как конечное и удовлетворяющее ощущение, *ne plus ultra*, оно должно быть удовольствием высшей степени..... Почему к близнему должно расти более живое чувство, чем к многолетнему фонтану? [Это "должно" просто восхитительно с современной эволюционной точки зрения]. Должно быть, в общении с другими разумными существами есть источник удовольствия, помимо помощи, которую они оказывают в получении жизненно необходимых вещей. Чтобы объяснить это, я не могу предложить ничего, кроме первичного и независимого удовольствия от животных объятий". [Заметьте, это сказано не о сексуальном интересе, а об "Общительности в целом"]. "За это удовольствие каждое существо готово чем-то заплатить, даже если оно только братское. Определенное количество материальной выгоды является условием полной сердечности ответных объятий, полной реализации этой первобытной радости. В отсутствие этих условий удовольствие от дарения... едва ли может быть объяснено; мы прекрасно знаем, что без этой помощи оно было бы весьма скудным чувством у таких существ, как мы сами..... Мне кажется, что в основе [родительского инстинкта] должно лежать то интенсивное удовольствие от объятий малыша, которое, как мы видим, характеризует родительское чувство во всем мире. Такое удовольствие, возникнув, будет ассоциироваться с преобладающими чертами и аспектами молодых и придавать всему этому очень большой интерес. Ради удовольствия родитель обнаруживает необходимость питать его объект и начинает рассматривать функцию служения как часть или условие удовольствия" (Emotions and Will, pp. 126, 127, 132, 133, 140). Профессор Бейн не объясняет, почему атласная подушка, хранящаяся при температуре около 98° F., в целом не будет доставлять нам удовольствие дешевле, чем это делают наши друзья и дети. Правда, подушке может не хватать "оккультного магнетического влияния". Большинство из нас скажет, что ни кожа младенца, ни кожа друга не обладают ими, если бы в ней уже не было нежности. Юноша, который чувствует, как его охватывает экстаз, когда случайно к нему прикасается шелковая ладонь или даже "подол одеяния" его кумира, вряд ли почувствовал бы это, если бы его заранее не поразили Купидон. Любовь порождает экстаз, а не экстаз - любовь. А что касается остальных, то может ли быть так, что все наши социальные добродетели проистекают из стремления получить чувственное удовольствие от рукопожатия или пощечины?

[480] Emotion and Will, p. 352. Но даже собственное описание Бейна опровергает его формулу, поскольку идея предстает как "движущая", а удовольствие - как "направляющая" сила.

[481] P. 398.

[482] P. 354.

[483] P. 355.

[484] P. 390.

[485] Pp. 295-6.

[486] P. 121.

[487] Ср. также примечание Бейна к "Анализу Джаса. Mill's Analysis, vol. ii. p. 305.

[488] Насколько яснее была голова Юма, чем у его учеников! "Неоспоримо доказано, что даже страсти, обычно считающиеся эгоистичными, переносят разум за пределы себя непосредственно к объекту; что хотя удовлетворение этих страстей доставляет нам удовольствие, однако перспектива этого удовольствия не является причиной страстей, а, напротив, страсть предшествует удовольствию, и без первой вторая никогда не могла бы существовать" и т. д. (Очерк о различных видах философии, § 1, примечание в конце).

[489] В пользу мнения, изложенного в тексте, можно привести H. Sidgwick, Methods of Ethics, book i. chap. iv; T. H. Green, Prolegomena to Ethics, bk. iii. chap. i. p. 179; Carpenter, Mental Physiol., chap vi; J. Martineau, Types of Ethical Theory, part ii, bk. i, chap. ii. i, and bk. ii, branch i. chap. i. i. § 3. Против него см. Лесли Стивен, Наука этики, глава ii. § ii; H. Spencer, Data of Ethics, §§ 9-15; D. G. Thompson, System of Psychology, part ix, and Mind, vi. 62. Также Bain, Senses and Intellect, 738-44; Emotions and Will, 436.

[490] Это предложение написано от собственного сознания автора. Но многие говорят, что если они не верят в последующие эффекты, как в случае со столом, то они не могут этого желать. Они "не могут волевым усилием заставить стол двигаться". Это личное различие может быть отчасти вербальным. Разные люди могут придавать разный оттенок слову "воля". Но я склонен думать, что мы различаемся и психологически. Когда человек знает, что у него нет власти, его желание чего-либо называется *желанием*, а не *волей*. Чувство бессилия подавляет волю. Только абстрагировавшись от мысли о невозможности, я могу представить себе, как стол скользит по полу, сделать телесное "усилие", которое я совершаю, и заставить его придвинуться ко мне. Возможно, некоторые люди не в состоянии выполнить эту абстракцию, и образ неподвижного стола на полу подавляет противоречивый образ его движения, который и является объектом волеизъявления.

[491] Обычный паралич возникает во время сна. Во сне мы завещаем всевозможные движения, но редко выполняем их. В кошмаре мы осознаем неисполнение и делаем мышечное "усилие". Это, по-видимому, происходит ограниченным образом, ограничиваясь закрытием проглотки и производя дыхательное беспокойство, которое будит нас.

[492] Как решения, так и убеждения имеют, конечно, непосредственные двигательные последствия квазиэмоционального рода, изменения дыхания, положения, движения внутренней речи и т. д.; но эти движения не являются *объектами*, на которые решено или в которые верят. Движения в общем волении - это волевые объекты.

[493] Это *волевое* усилие, чистое и простое, следует тщательно отличать от *мышечного* усилия, с которым его обычно путают. Последнее состоит из всех тех периферийных ощущений, которые может вызывать мышечное "напряжение". Эти ощущения, когда они массивны, а тело не "свежее", весьма неприятны, особенно если сопровождаются остановкой дыхания, переполненной головой, синяками на коже пальцев рук, ног или плеч и напряженными суставами. И только *как неприятные*, ум должен прилагать *волевые* усилия, чтобы стабильно представлять их реальность и, следовательно, воплощать ее в жизнь. То, что они становятся реальными благодаря мышечной активности, - чисто случайное обстоятельство. Солдат, стоящий неподвижно, когда по нему стреляют, ожидает неприятных ощущений от своей мышечной пассивности. Действие его воли, поддерживающее это ожидание, идентично тому, которое требуется для болезненного мышечного усилия. То, что трудно для обоих, - *это встретиться с идеей как с реальностью*.

Там, где не требуется больших мышечных усилий или где "свежесть" очень велика, волевые усилия не требуются для поддержания идеи движения, которая приходит и остается в силу более простых законов ассоциации. Чаще всего, однако, мышечное усилие включает в себя и волевое усилие. Измученный усталостью, мокрый и следящий за происходящим моряк на затонувшем судне бросается на землю, чтобы отдохнуть. Но едва его конечности успевают расслабиться, как в ушах снова звучит приказ "К насосам!". Должен ли он, может ли он подчиниться ему? Не лучше ли просто оставить больное тело лежать, и пусть корабль идет ко дну, если хочет? Так он и лежит, пока отчаянным усилием воли не встает на ноги и не возвращается к своей задаче. Опять же, есть случаи, когда *фиат* требует больших волевых усилий, хотя мышечные нагрузки незначительны, например, встать с постели и искупаться холодным утром.

[494] Ср. "Никомахову этику" Аристотеля, vii. 3; также обсуждение доктрины "Практического силлогизма" в издании этой работы сэра А. Гранта, 2-е изд. т. I. p. 212 и далее.

[495] The Duality of the Mind, pp. 141-2. Другой случай из той же книги (стр. 123): "Джентльмен почтенного происхождения, отличного образования и большого состояния, занятый в одном из высших отделов торговли... и побужденный ввязаться в одну из правдоподобных спекуляций того времени... был полностью разорен. Как и другие люди, он лучше переносил внезапное поражение, чем долгую череду мелких несчастий, и то, как он вел себя в этой ситуации, вызывало безграничное восхищение его друзей. Однако он удалился в строгое уединение и, не имея больше возможности проявлять великодушие и потакать благожелательным чувствам, составлявшим счастье его жизни, заменяя их дневными грезами, постепенно впал в состояние раздражительного уныния, от которого постепенно оправился лишь с потерей рассудка. Теперь он воображал себя обладателем огромного богатства и без конца отдавал свое мнимое богатство. С тех пор он держит себя в руках и ведет жизнь не просто счастливую, а блаженную; рассуждает здраво, читает газеты, где каждая история о беде привлекает его внимание, и, имея в запасе множество чистых чеков, заполняет один из них солидной суммой, отправляет его страдальцу и садится ужинать с радостным убеждением, что заслужил право на небольшое потворство удовольствиям стола; И все же в серьезном разговоре с одним из своих старых друзей он вполне осознает свое реальное положение, но это убеждение настолько болезненно, *что он не позволяет себе в него поверить*."

[496] 'Le Sentiment de l'Effort, et la Conscience de l'Action,' in Revue Philosophique, xxviii. 561.

[497] P. 577.

[498] В несколько популярной форме их можно найти в лекции "Дилемма детерминизма", опубликованной в "Унитарном обозрении" (Бостон) за сентябрь 1884 г. (vol. xxii. p. 193).

[499] См. Grundtatsachen des Seelenlebens, pp. 594-5; и сравните заключение нашей собственной главы о внимании, т. I. стр. 448-454.

[500] Так, по крайней мере, я интерпретирую слова профессора Липпса: "Wir wissen uns naturgemäss in jedem Streben umsomehr aktiv, je mehr unser *ganzes* Ich bei dem Streben beheiligt ist," u. s. w. (p. 601).

[501] Такие высказывания, как у г-на Спенсера: "Психические изменения либо соответствуют закону, либо нет. Если нет, то эта работа, как и все работы на эту тему, - полная бессмыслица: никакая наука психология невозможна" (Principles of Psychology, i. 503), - не выдерживают критики. Работа мистера Спенсера, как и все другие "работы по этому вопросу", рассматривает те общие условия *возможного* поведения, в которые должны укладываться все наши реальные решения, независимо от того, малы или велики их усилия. Как бы близко психические изменения ни соответствовали закону, можно с уверенностью сказать, что индивидуальные истории и биографии никогда не будут написаны заранее, какой бы "развитой" ни стала психология.

[502] В детерминистской литературе можно найти множество *карикатур* на те предположения, которых требует свобода воли. В качестве примера можно привести следующий отрывок из книги Джона Фиска "Космическая философия" (т. ii. гл. xvii): "Если воления возникают без причины, то из этого неизбежно следует, что мы не можем вывести из них характер предшествующих состояний чувств. Поэтому, если совершено убийство, у нас *априори* не больше оснований подозревать злейшего врага, чем лучшего друга убитого. Если мы видим, как человек прыгает из окна четвертого этажа, мы должны остерегаться слишком поспешных выводов о его безумии, поскольку он может быть просто исполнителем своей свободной воли; интенсивная любовь к жизни, заложенная в человеческой груди, как кажется, не связана с попытками самоубийства или самосохранения. Таким образом, мы не можем создать никакой теории человеческих действий. Бесчисленные эмпирические максимы повседневной жизни, являющиеся воплощением унаследованной и организованной мудрости многих поколений, становятся совершенно некомпетентными, чтобы направлять нас; и ничто из того, что может сделать любой человек, никогда не должно вызывать удивления. Мать может задушить своего первенца, скупец может выбросить в море свое давно заветное золото, скульптор может разбить на куски свою недавно законченную статую, не испытывая при этом никаких иных чувств, кроме тех, которые прежде заставляли их лелеять, копить и создавать.

"Изложить эти выводы - значит опровергнуть их предпосылки. Вероятно, ни одного защитника доктрины свободы воли нельзя побудить принять их, даже чтобы спасти теорему, с которой они неразрывно связаны. И все же дилеммы не избежать. Воления либо обусловлены, либо нет. Если они не обусловлены, то неумолимая логика приводит нас к только что упомянутым абсурдам. Если же они обусловлены, то доктрина свободы воли аннигилируется..... По правде говоря, непосредственные следствия доктрины свободной воли настолько шокируют не только философию, но и здравый смысл, что если бы не точное мышление - явление довольно редкое, то было бы необъяснимо, как вообще можно было бы приписывать такую догму. Это лишь один из многих случаев, когда силой одних только слов людей удерживали в состоянии хронического заблуждения..... Пытаясь, как это делают философы свободной воли, разрушить науку истории, они по неумолимой логике вынуждены

вместе с ней разрушить кардинальные принципы этики, политики и юриспруденции. Политическая экономия, если жестко придерживаться их теории, будет немногим лучше; а психология превратится в хаотичный жаргон..... Отрицание причинности - это утверждение случайности, и "между теорией случайности и теорией права не может быть никакого компромисса, никакой взаимности, никакого заимствования и кредитования". Писать историю по методу, предложенному доктриной свободной воли, было бы совершенно невозможно" - Все это происходит оттого, что мистер Фиск не различает возможности, которые действительно искушают человека, и те, которые его совсем не искушают. Свобода воли, как и психология, имеет дело исключительно с первыми возможностями.

[503] О воспитании воли с педагогической точки зрения см. статью Г. Стэнли Холла в "Принстонском обозрении" за ноябрь 1882 г. и некоторые содержащиеся в ней библиографические ссылки.

[504] См. его "Эмоции и воля", "Воля", гл. i. Название случайных движений я заимствую из Sully, Outlines of Psychology, p. 593.

[505] Этот и последующие рисунки чисто схематичны, и не следует думать, что они связаны с какой-либо теорией о протоплазматических процессах и процессах осевого цилиндра. Последние, по мнению Гольджи и других, выходят из основания клетки, и в каждой клетке есть только один. Только они образуют нервную сеть. Читатель, конечно, понимает, что ни одна из гипотетических конструкций, которые я привожу с этого момента и до конца главы, не предлагается в качестве однозначного объяснения происходящего. Все, к чему я стремлюсь, - это дать понять в более или менее символической форме, что формирование новых путей, усвоение привычек и т. д. *каким-то* механическим образом мыслимо. Сравните с тем, что было сказано в томе I. стр. 81, прим.

[506] The Nervous System and the Mind (1888), pp. 75-6.

[507] Сравните Vol. I. pp. 137, 142.

[508] То есть направление к двигательным клеткам.

[509] Эта схема мозга, как ни странно, придает определенную основу реальности тем отвратительно сказочным представлениям гербартианских *Vorstellungen*. Гербарт говорит, что когда одна идея тормозится другой, она сливается с ней и затем помогает ей подняться в сознание. Таким образом, торможение является основой ассоциации в обеих схемах, поскольку "осушение", о котором говорится в тексте, равносильно торможению активности клеток, которые осушаются, и это торможение заставляет подавляемое оживать подавляющее в последующих случаях.

[510] См. яркий отрывок в Münsterberg: Die Willenshandlung, pp. 144-5.

[511] Эксперименты Л. Ланге и Мюнстерберга с "укороченным" или "мускулистым" временем реакции (см. т. I. с. 432) показывают, насколько мощным фактом в динамическом плане является эта предвосхищающая подготовка целого набора возможных дренажных каналов.

[512] Даже когда гранки этих страниц проходят через мои руки, я получаю Heft 2 "Zeitschrift für Psychologie u. Physiologie der Sinnesorgane", в котором неумный молодой Мюнстерберг публикует эксперименты, показывающие, что между последовательными идеями не существует никакой ассоциации, кроме промежуточных движений. Поскольку мои объяснения предполагали, что более ранняя возбужденная *сенсорная* клетка истощает более позднюю, его эксперименты и выводы, если бы они были обоснованными, разрушили

бы все мои гипотезы. Поэтому я могу (в этот поздний момент) только отослать читателя к статье герра М., надеясь сам рассмотреть эту тему в другом месте.

ГЛАВА XXVII.

ГИПНОТИЗМ.

СПОСОБЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ВОСПРИИМЧИВОСТЬ.

Гипнотический, месмерический или магнетический транс *может быть вызван различными способами, причем* у каждого оператора есть свой метод. Самый простой - оставить субъекта в одиночестве, сказав ему, что если он закроет глаза, расслабит мышцы и, насколько это возможно, будет думать о свободе, через несколько минут он "уйдет". Вернувшись через десять минут, вы можете обнаружить, что он действительно загипнотизирован. Брейд заставлял своих подопытных смотреть на яркую кнопку, которую держали у их лба, пока их глаза самопроизвольно не закрывались. Старые гипнотизеры делали "пассы" по лицу и телу в нисходящем направлении, но без контакта. Поглаживание кожи головы, лица, рук и кистей, особенно области вокруг бровей и глаз, даст тот же эффект. Смотреть в глаза испытуемому до тех пор, пока они не опустятся, заставить его слушать тиканье часов или просто заставить его закрыть глаза на минуту, пока вы описываете ему ощущение погружения в сон, "говорите ему о сне", - эти методы одинаково эффективны в руках некоторых операторов; в то время как с подготовленными испытуемыми любой метод, от которого они были приведены предыдущим внушением к ожиданию результатов, будет успешным.^[513] Прикосновение к объекту, который, как им говорят, был "намагничен", питье "намагниченной" воды, получение письма с приказом заснуть и т. д. - вот средства, которые часто использовались. Недавно М. Льежуа загипнотизировал некоторых своих подопечных на расстоянии 1 1/2 километра, сообщив им об этом по телефону. С некоторыми испытуемыми, если заранее сказать им, что в определенный час определенного дня они будут загипнотизированы, предсказание исполняется. Некоторые истеричные пациенты немедленно впадают в гипнотическую каталепсию от любого сильного ощущения, например от удара в гонг или от вспышки интенсивного света в глазах. Давление на определенные части тела (названные М. Питресом *зонами гипноза*) быстро вызывает гипнотический сон у некоторых истериков. Эти зоны, которые различаются у разных людей, чаще всего находятся на лбу и около корня больших пальцев. Наконец, люди, находящиеся в обычном сне, могут быть переведены в гипнотическое состояние словесным внушением или контактом, выполненным так мягко, чтобы не разбудить их.

Некоторые операторы, по-видимому, более успешны, чем другие, в достижении контроля над своими подопечными. Мне сообщили, что мистер Гурни (который внес ценный вклад в теорию гипноза) никогда не мог сам загипнотизировать человека и был вынужден использовать для своих наблюдений чужих испытуемых. С другой стороны, доктор Либо утверждает, что гипнотизирует 92 % всех желающих, а Веттерстранд из Стокгольма говорит, что среди 718 человек нашлось только 18, на которых он не смог повлиять. Некоторые из этих различий, несомненно, связаны с разницей в личном "авторитете" оператора, ведь главным условием успеха является то, что объект должен с уверенностью *ожидать*, что его загипнотизируют. Многое также зависит от такта оператора в интерпретации физиономий своих подопечных, чтобы отдавать правильные команды и "наседать" на субъекта в

подходящие моменты. Эти условия объясняют тот факт, что операторы становятся тем более успешными, чем больше они работают. Бернгейм утверждает, что тот, кто не гипнотизирует 80 процентов людей, которых он пробует, еще не научился работать так, как должен. Обладают ли некоторые операторы помимо этого особой "магнетической силой" - это вопрос, который я пока оставляю нерешенным.[514] Дети до трех или четырех лет, а также безумцы, особенно идиоты, необычайно трудно поддаются гипнозу. По-видимому, это объясняется невозможностью заставить их постоянно фиксировать свое внимание на идее предстоящего транса. Все возрасты старше младенчества, вероятно, в равной степени поддаются гипнозу, как и все расы и оба пола. Определенное количество умственных тренировок, достаточное для того, чтобы помочь концентрации внимания, кажется благоприятным условием, как и некоторое кратковременное безразличие или пассивность по отношению к результату. Сила или слабость воли не имеют абсолютно никакого отношения к делу. Частые трансы чрезвычайно повышают восприимчивость субъекта, и многие, кто сначала сопротивлялся, после нескольких попыток поддаются. Доктор Молл утверждает, что ему не раз удавалось добиться успеха после сорока бесплодных попыток. Некоторые специалисты считают, что каждый человек в принципе поддается гипнозу, единственной трудностью является более привычное присутствие у некоторых людей мешающих психических забот, которые, однако, могут быть внезапно в какой-то момент устранены.

Транс можно мгновенно развеять, сказав бодрым голосом: "Хорошо, проснитесь!" или слова подобного содержания. В Сальпетриере испытуемых пробуждают, дуя на веки. Пассы вверх оказывают пробуждающее действие; обрызгивание холодной водой - тоже. Все, что угодно, разбудит пациента, который ожидает, что его разбудят этим предметом. Скажите ему, что он проснется, досчитав до пяти, и он это сделает. Скажите ему, что он проснется через пять минут, и он, скорее всего, сделает это точно, даже если прервет тем самым какое-то захватывающее гистрионное представление, которое вы, возможно, предложили. Как говорит доктор Молл, любая теория, претендующая на объяснение физиологии гипнотического состояния, должна учитывать тот факт, что такая простая вещь, как услышать слово "проснитесь!", положит этому конец.

ТЕОРИИ О ГИПНОТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ.

Интимную природу гипнотического состояния, когда оно однажды вызвано, вряд ли можно назвать понятной. Не вдаваясь в подробности споров, можно сказать, что относительно него существует три основных мнения, которые мы можем назвать соответственно теориями

1. Животного магнетизма;
2. невроза; и наконец
3. Суггестии.

Согласно *теории животного магнетизма*, существует прямой переход силы от оператора к субъекту, в результате чего последний становится марионеткой первого. В настоящее время от этой теории отказались в отношении всех обычных гипнотических явлений, и некоторые люди придерживаются ее лишь в качестве объяснения некоторых эффектов, встречающихся в исключительных случаях.

Согласно *теории неврозов*, гипнотическое состояние является особым патологическим состоянием, в которое впадают некоторые предрасположенные пациенты, и в котором специальные физические агенты имеют силу вызывать особые симптомы, совершенно независимо от того, что субъекты мысленно ожидают этого эффекта. Профессор Шарко и его коллеги из больницы Сальпетриер признают, что это состояние редко встречается в типичной форме. Тогда они называют его *le grand hypnotisme* и говорят, что оно сопровождается заболеванием гистерозэпилепсией. Если пациентка, подверженная этому виду гипноза, слышит внезапный громкий шум или неожиданно смотрит на яркий свет, она впадает в *каталептический* транс. Ее конечности и тело не оказывают никакого сопротивления передаваемым им движениям, но постоянно сохраняют навязанные установки. Глаза пристально смотрят, наблюдается нечувствительность к боли и т.д. и т.п. Если насильно закрыть веки, то каталептическое состояние сменяется *летаргическим*, характеризующимся кажущимся отсутствием сознания и абсолютным мышечным расслаблением, за исключением тех случаев, когда мышцы разминаются или сухожилия задеваются рукой оператора, или на определенные нервные стволы оказывается давление. Тогда мышцы, о которых идет речь, или те, которые питаются от того же нервного ствола, вступают в более или менее устойчивое тоническое сокращение. Шарко называет этот симптом нервно-мышечной возбудимостью. Летаргическое состояние может быть вызвано, *прежде всего*, неподвижным взглядом на что-либо или давлением на закрытые глазные яблоки. Трение по макушке заставит пациентку перейти из любого из двух предыдущих состояний в *сомнамбулическое*, в котором она бдительна, разговорчива и восприимчива ко всем предложениям оператора. Сомнамбулическое состояние также может быть вызвано, *прежде всего*, фиксированным взглядом на небольшом предмете. В этом состоянии четко ограниченные мышечные сокращения, характерные для летаргии, не следуют за вышеописанными манипуляциями, но вместо них возникает тенденция к ригидности целых участков тела, которая может иногда перерасти в общий столбняк, и которая вызывается легким прикосновением к коже или дуновением на нее. М. Шарко называет это кожно-мышечной повышенной возбудимостью.

Описано множество других симптомов, которые, как предполагают их наблюдатели, не зависят от психического ожидания, из которых я упомяну только самые интересные. Если открыть глаза пациентки в состоянии летаргии, она впадает в каталепсию. Если открыть только один глаз, то соответствующая половина тела становится каталептической, в то время как другая половина остается в летаргии. Аналогично, если потереть одну сторону головы, пациент может стать гемилетаргическим или гемикаталептическим и гемисомнамбулическим. Приближение магнита (или некоторых металлов) к коже вызывает перенос этих полусостояний (и многих других) на противоположные стороны. Считается, что автоматическое повторение каждого услышанного звука ("*эхолалия*") вызывается давлением на нижние шейные позвонки или на эпигастрий. *Афазия* возникает при потирании головы в области речевого центра. Давление за затылком определяет *движения подражания*. Гейденхайн описывает ряд любопытных автоматических тенденций к движению, которые вызываются поглаживанием различных частей позвоночного столба. Часто отмечаются и некоторые другие симптомы, такие как покрасневшее лицо и холодные руки, блестящие и выпученные глаза, расширенные зрачки. Также отмечаются расширенные сосуды сетчатки и спазм аккомодации.

Теория суггестии отрицает существование какого-либо особого гипнотического состояния, заслуживающего названия транса или невроза. Все симптомы, описанные выше, а также те,

которые будут описаны далее, являются результатом той психической восприимчивости, которой мы все в той или иной степени обладаем, поддаваясь внешнему внушению, утверждая то, что мы твердо представляем себе, и действуя в соответствии с тем, что нас заставляют ожидать. Телесные симптомы пациентов Сальпетриера - это результат ожиданий и тренировок. Первые пациенты случайно делали определенные вещи, которые их врачи считали типичными и заставляли повторять. Последующие испытуемые "подхватили" и последовали установленной традиции. В доказательство этого приводится тот факт, что классические три стадии и сгруппированные в них симптомы до сих пор спонтанно возникали *только* в Сальпетриере, хотя они могут быть вызваны намеренным внушением у пациентов в любом месте. Глазные симптомы, покрасневшее лицо, ускоренное дыхание и т. д., как утверждают, не являются симптомами перехода в гипнотическое состояние как такового, а просто последствиями нагрузки на глаза при использовании метода разглядывания яркого объекта. Они отсутствуют у испытуемых в Нанси, где используется простое словесное внушение. Различные рефлекторные эффекты (афазия, эхолалия, имитация и т. д.) - это всего лишь привычки, вызванные влиянием оператора, который бессознательно побуждает испытуемого двигаться в том направлении, в котором он хотел бы, чтобы он двигался. Влияние магнита, противоположные эффекты пассов вверх и вниз и т. д. объясняются аналогичным образом. Даже то сонное и инертное состояние, наступление которого кажется главным условием развития дальнейших симптомов, объясняется тем, что разум ожидает его наступления; в то время как его влияние на другие симптомы не физиологическое, а психическое, его легкая реализация путем внушения просто побуждает субъекта ожидать, что последующие внушения будут реализованы с такой же легкостью. Таким образом, радикальные защитники теории внушения вынуждены отрицать само существование гипнотического состояния, в смысле особого трансоподобного состояния, которое лишает пациента спонтанности и делает его пассивным к внушениям извне. Сам транс - это лишь одно из внушений, и многие испытуемые могут демонстрировать другие гипнотические явления без предварительной индукции этого состояния.

Можно сказать, что теория внушения в настоящее время одерживает победу над теорией невроза, которой придерживались в Сальпетриере, с ее тремя состояниями и определенными симптомами, которые, как предполагалось, вызываются физическими агентами, не зависящими от сотрудничества с сознанием субъекта. Но одно дело говорить об этом, и совсем другое - утверждать, что не существует никакого особого физиологического состояния, достойного названия гипнотического транса, никакого особого состояния нервного равновесия, "гипотаксии", "диссоциации" или как бы вы ни называли его, во время которого восприимчивость субъекта к внешним внушениям выше, чем в обычное время. Все факты доказывают, что до тех пор, пока пациент не перейдет в это состояние, похожее на транс, внушение дает очень незначительные результаты, но когда оно переходит в это состояние, сила внушения не имеет границ. Данное состояние имеет много общего с обычным сном. Вполне вероятно, что все мы проходим через него мимоходом, когда засыпаем; и можно было бы наиболее естественно описать обычные отношения оператора и субъекта, сказав, что первый удерживает второго между бодрствованием и сном, разговаривая с ним достаточно, чтобы его дремота не стала глубокой, но не так, чтобы разбудить его. Гипнотизированный пациент, *предоставленный самому себе*, либо крепко заснет, либо полностью проснется. Трудность гипнотизирования рефрактерных людей заключается в том, чтобы поймать их в нужный момент перехода и сделать его постоянным. Фиксация взгляда и расслабление мышц тела вызывают гипнотическое состояние так же, как и облегчают наступление сна. Первые стадии обычного сна характеризуются

своеобразным рассеянным вниманием. Перед сознанием возникают образы, совершенно не соответствующие нашим обычным представлениям и привычкам мышления. Последние либо исчезают вовсе, либо отходят, как бы инертно на задний план сознания, позволяя несоответствующим образам царить в одиночестве. Эти образы приобретают, кроме того, исключительную живость; они становятся сначала "гипнагогическими галлюцинациями", а затем, по мере углубления сна, сновидениями. Теперь "моноидеизм", или, иначе, бессилие и неспособность "сплотиться" со стороны фоновых идей, которые таким образом характеризуют сомнолентность, несомненно, являются результатом особых физиологических изменений, происходящих в мозге в это время. Точно так же и подобный моноидеизм, или разобщенность господствующей фантазии с другими мыслями, которые могли бы выступать в качестве ее "редукторов", которые характеризуют гипнотическое сознание, должны быть в равной степени обусловлены особыми мозговыми изменениями. Термин "гипнотический транс", который я использую, ничего не говорит нам о том, что это за изменение, но он обозначает факт его существования и, следовательно, является полезным выражением. Большая живость гипнотических образов (если судить по их двигательным эффектам), забвение их при возвращении к нормальной жизни, резкое пробуждение, воспоминание о них в последующих трансах, анестезия и гиперстезия, которые встречаются так часто, все это указывает в сторону от нашей простой доверчивости и "внушаемости" в бодрствующем состоянии как типа, по которому следует интерпретировать эти явления, и заставляет нас скорее обратиться к сну и сновидениям или к тем более глубоким изменениям личности, которые известны как автоматизм, двойное сознание или "вторая" личность в качестве истинных аналогов гипнотического транса.[515] Даже самые лучшие гипнотические субъекты проходят через всю жизнь, не подозревая, что обладают такой замечательной восприимчивостью, пока в ходе целенаправленного эксперимента это не становится очевидным. Оператор фиксирует их глаза или внимание на короткое время, чтобы развить благоприятную фазу, удерживает их в ней разговорами, и, *находясь в этом состоянии*, делает их марионетками всех своих внушений. Но ни одно обычное внушение в бодрствующей жизни никогда не брало такой контроль над разумом.

Поэтому теорию внушения можно считать правильной, если признать трансовое состояние ее предпосылкой. Три состояния Шарко, странные рефлексы Гейденхайна и все другие телесные явления, которые называли прямыми следствиями трансового состояния, таковыми не являются. Они являются продуктами внушения, причем трансовое состояние не имеет никаких особых внешних симптомов; но без трансового состояния эти особые внушения никогда бы не были успешно сделаны.[516]

СИМПТОМЫ ТРАНСА.

Этим объясняется совершенно неопределенный набор симптомов, которые были собраны вместе как характерные для гипнотического состояния. Закон привычки доминирует над гипнотическими субъектами даже больше, чем над бодрствующими. Любая личная особенность, любой трюк, случайно попавший в первый раз к одному субъекту, может, привлекая внимание, стать стереотипом, послужить образцом для подражания, стать типом школы. Первый испытуемый обучает оператора, оператор обучает последующих испытуемых, и все они добросовестно сговариваются между собой, чтобы получить совершенно произвольный результат. При той необычайной проницательности и тонкости восприятия, которые субъекты часто демонстрируют в отношении всего, что касается оператора, с которым они находятся *в раппорте*, трудно держать их в неведении относительно того, чего он ожидает. Так случается, что человек легко проверяет на новых

субъектах то, что уже видел на старых, или любой желаемый симптом, о котором он мог слышать или читать.

Симптомы, впервые замеченные писателями, считались типичными. Но с увеличением числа наблюдаемых явлений важность большинства конкретных симптомов как признаков состояния уменьшилась. Это значительно облегчает нашу непосредственную задачу. Приступая к перечислению симптомов гипнотического транса, я могу ограничиться только теми, которые по своей сути интересны или значительно отличаются от нормальных функций человека.

Прежде всего, это *амнезия*. На ранних стадиях гипноза пациент помнит, что произошло, но с последующими сеансами он погружается в более глубокое состояние, за которым обычно следует полная потеря памяти. Его могут провести через самые яркие галлюцинации и драматические представления, он может проявлять самые сильные эмоции, но после пробуждения он не может вспомнить ничего. То же самое происходит при пробуждении от сна в разгар сновидения - оно быстро ускользает от памяти. Но так же, как нам может *напомнить* о нем или о его частях встреча с людьми или предметами, которые в нем фигурировали, так и гипнотический пациент при умелом внушении часто вспоминает, что произошло в его трансе. Одной из причин забывчивости, по-видимому, является разрыв связи представлений транса с системой представлений бодрствования. Память требует непрерывного ряда ассоциаций. М. Дельбёф, рассуждая подобным образом, будил своих испытуемых в разгар действия, начатого в трансе (мытьё рук, например), и обнаруживал, что они потом вспоминали транс. Действие, о котором идет речь, соединяло два состояния. Но часто можно заставить их вспомнить, просто сказав им во время транса, что они вспомнят. Кроме того, действия, совершенные в одном трансе, обычно вспоминаются либо спонтанно, либо по команде во время другого транса, при условии, что содержание этих двух трансов не является взаимно несовместимым.

Суггестивность. Пациент верит всему, что говорит ему гипнотизер, и делает все, что тот приказывает. Даже результаты, над которыми воля обычно не имеет контроля, такие как чихание, выделения, покраснение и побледнение, изменение температуры и сердцебиения, менструация, действие кишечника и т.д., могут произойти в результате твердых утверждений оператора во время гипнотического транса, и в результате убеждения части субъекта, что эти эффекты произойдут. Поскольку почти все феномены, которые еще предстоит описать, являются следствиями этой повышенной внушаемости, я не буду больше говорить об этом в общих чертах, а перейду к подробной иллюстрации этой особенности.

Воздействие на волевые мышцы кажется наиболее легко достижимым, и обычная процедура гипноза заключается в том, чтобы сначала спровоцировать их. Скажите пациенту, что он не может открыть глаза или рот, не может разжать руки или опустить поднятую руку, не может подняться со своего места или поднять с пола определенный предмет, и он тут же будет поражен абсолютным бессилием в этих вопросах. Эффект здесь, как правило, обусловлен *непроизвольным сокращением* мышц-антагонистов. Но с тем же успехом можно предложить *паралич*, например, руки, и в этом случае она будет совершенно спокойно висеть на боку у испытуемого. Каталептическая и тетаническая ригидность легко вызываются внушением, чему способствует работа с частями тела. Одно из любимых зрелищ на публичных выставках - вытянутый, жесткий как доска субъект с головой на одном стуле и пятками на другом. Каталептическое удержание внушенной позы отличается от добровольного принятия той же позы. Рука, добровольно вытянутая прямо, падает от

усталости максимум через четверть часа, а перед тем, как она упадет, страдание агента будет проявляться в колебаниях руки, нарушениях дыхания и т. д. Но Шарко показал, что рука, вытянутая в гипнотическом оцепенении, хотя и может быстро опуститься, но делает это медленно и без сопутствующей вибрации, в то время как дыхание остается совершенно спокойным. Он справедливо отмечает, что это свидетельствует о глубоких физиологических изменениях и является положительным доказательством против симуляции, если говорить о данном симптоме. Каталептический настрой, кроме того, может сохраняться в течение многих часов. Иногда выразительный настрой, сжатие кулака, сужение бровей постепенно вызывают симпатические действия других мышц тела, так что в конце концов с редким совершенством получается *tableau vivant* страха, гнева, презрения, молитвы или другого эмоционального состояния. Этот эффект, по-видимому, связан с внушением психического состояния первым сокращением. Заикание, афазия или неспособность произносить определенные слова, произносить определенные буквы легко поддаются внушению.

Галлюцинации всех чувств и *бред* всех мыслимых видов могут быть легко внушены хорошим субъектам. Эмоциональные эффекты при этом часто бывают настолько живыми, а пантомимические проявления настолько выразительными, что трудно не поверить в некую "психическую гипервозбудимость" как одно из сопутствующих гипнотическому состоянию явлений. Вы можете заставить субъекта думать, что он мерзнет или горит, чешется, покрыт грязью или мокрый; вы можете заставить его съесть картошку вместо персика или выпить чашку уксуса вместо бокала шампанского; [517] нашатырный спирт будет пахнуть для него как одеколонная вода; стул будет львом, палка от метлы - красивой женщиной, шум на улице - оркестровой музыкой и т.д. и т.п., без ограничений, кроме вашей изобретательности и терпения наблюдателей. [518] Иллюзии и галлюцинации являются *пиесами де-резистанс* на публичных выставках. Комический эффект достигает своего апогея, когда субъекту успешно предлагают превратить его в младенца, уличного мальчишку, молодую леди, одевающуюся для вечеринки, оратора или Наполеона Великого. Он может даже перевоплотиться в зверя или неодушевленную вещь, например, в стул или ковер, и в каждом случае будет исполнять все детали роли с искренностью и интенсивностью, редко встречающимися в театре. Совершенство исполнения в таких случаях является лучшим ответом на подозрение, что субъект может притворяться - настолько искусный притворщик, должно быть, давно нашел свою истинную функцию в жизни на сцене. Галлюцинации и гистрионный бред обычно проходят с определенной глубиной транса, и за ними следует полное забытие. Субъект пробуждается от них по команде оператора с внезапным удивлением, и некоторое время может казаться слегка ошеломленным.

Субъекты в этом состоянии получают и выполняют предложения о преступлении, совершают кражу, подлог, поджог или убийство. Девушка поверит, что она замужем за своим гипнотизером, и т. д. Однако несправедливо говорить, что в этих случаях субъект является чистой марионеткой, лишенной спонтанности. Его спонтанность, безусловно, не нарушается, пока речь идет о вещах, гармонично связанных с данным ему внушением. Он берет текст у своего оператора, но может значительно усилить и развить его в процессе исполнения. Его спонтанность теряется только в отношении тех систем идей, которые *противоречат* предложенному заблуждению. Последняя, таким образом, "систематизируется"; остальное сознание от нее отгораживается, исключается, диссоциируется. В крайних случаях остальной разум, кажется, фактически упраздняется, и гипнотический субъект становится буквально измененной личностью, существом в одном из тех "вторых" состояний, которые мы изучали в главе X. Но господство иллюзии часто не столь абсолютно. Если предлагаемая вещь слишком отвратительна, субъект может упорно сопротивляться и в результате нервно возбуждаться, вплоть до истерического приступа.

Противоречивые идеи дремлют на заднем плане и просто позволяют тем, кто находится на переднем плане, действовать до тех пор, пока не возникнет *реальная* чрезвычайная ситуация; тогда они отстаивают свои права. Как говорит М. Дельбёф, субъект добродушно отдается представлению, наносит удары кинжалом, который вы ему даете, потому что знает, что это такое, и стреляет из пистолета, потому что знает, что в нем нет шарика; но для настоящего убийства он не будет вашим человеком. Несомненно, верно, что субъекты часто прекрасно осознают, что играют роль. Они знают, что их действия абсурдны. Они знают, что галлюцинации, которые они видят, описывают и действуют, на самом деле не существуют. Они могут смеяться над собой; и они всегда признают ненормальность своего состояния, когда их спрашивают об этом, и называют его "сном". Часто можно заметить на их лице что-то вроде насмешливой улыбки, как будто они разыгрывают комедию, а придя в себя, они могут даже сказать, что все это время притворялись. Эти факты вводят в заблуждение ультраскептически настроенных людей настолько, что заставляют их сомневаться в подлинности любых гипнотических феноменов вообще. Но, за исключением сознания "сна", они не происходят в более глубоких условиях; а когда они происходят, то являются лишь естественным следствием того факта, что "моноидеизм" является неполным. Фоновые мысли все еще существуют, они способны *комментировать* внушения, но не способны подавлять их моторные и ассоциативные эффекты. Подобное состояние достаточно часто встречается в состоянии бодрствования, когда импульс увлекает нас, а наша "воля" удивленно смотрит на это, как бессильный зритель. Эти "притворщики" продолжают притворяться точно так же, каждый раз, когда вы их гипнотизируете, пока, наконец, они не вынуждены признать, что если притворство и существует, то оно сильно отличается от свободного добровольного притворства в часы бодрствования.

Настоящие ощущения могут быть отменены, равно как и предложены ложные. Ноги и груди могут быть ампутированы, дети рождены, зубы удалены, короче говоря, самые болезненные переживания перенесены, без какого-либо другого анестетика, кроме заверения гипнотизера, что никакой боли не будет ощущаться. Подобным образом могут быть уничтожены болезненные боли, излечены невралгии, зубная боль, ревматизм. Чувство голода было отменено, так что пациент не принимал пищу в течение четырнадцати дней. Наиболее интересными из этих предложенных анестезий являются те, которые ограничены определенными объектами восприятия. Так, субъекта можно сделать слепым к определенному человеку и только к нему, или глухим к определенным словам, но не к другим.^[519] В этом случае анестезия (или *негативная галлюцинация*, как ее еще называют) может стать *систематизированной*. Другие вещи, связанные с человеком, к которому человек ослеп, также могут быть закрыты от сознания. То, что он говорит, не слышно, его прикосновения не ощущаются, предметы, которые он берет из кармана, не видны и т. д. Предметы, которые он экранирует, видны, как если бы он был прозрачным. Факты о нем забываются, его имя не узнается при произнесении. Конечно, существует большое разнообразие в полноте этого систематического расширения предполагаемой анестезии, но можно сказать, что некоторая тенденция к этому всегда существует. Например, когда одна из конечностей испытуемого становится анестезией, воспоминания, а также ощущения ее движений часто кажутся ушедшими. Интересную степень этого явления можно найти в случае, описанном М. Бине, когда испытуемой было внушено, что некий М. К. невидим. Она по-прежнему видела М. К., но воспринимала его как незнакомца, потеряв память о его имени и своем существовании. Нет ничего проще, чем заставить испытуемых забыть свое имя и состояние в жизни. Это одно из тех внушений, которые наиболее быстро приносят успех, даже у совсем свежих людей. Можно также предложить систематизированную амнезию определенных периодов жизни: например, субъекта помещают туда, где он был десять лет назад, а прошедшие годы стирают из памяти.

Психическое состояние, которое сопровождает эти систематизированные анестезии и амнезии, очень любопытно. Анестезия не является подлинной сенсорной, так как если вы сделаете настоящий красный крест (скажем) на листе белой бумаги невидимым для гипнотического субъекта, и при этом заставите его пристально смотреть на точку на бумаге на кресте или рядом с ним, то, переведя взгляд на чистый лист, он увидит голубовато-зеленое изображение креста после него. Это доказывает, что она произвела впечатление на его чувствительность. Он *почувствовал* его, но не *воспринял*. Он активно игнорировал его, отказывался признать его, так сказать. Другой эксперимент доказывает, что для того, чтобы игнорировать крест, он должен сначала его *различить*. Сделайте штрих на бумаге или доске и скажите испытуемому, что его там нет, и он не увидит ничего, кроме чистой бумаги или доски. Затем, не глядя, окружите первоначальный штрих другими точно такими же штрихами и спросите, что он видит. Он укажет один за другим все новые штрихи и каждый раз будет опускать оригинальный, независимо от того, насколько многочисленными могут быть новые штрихи и в каком порядке они расположены. Точно так же, если первоначальный штрих, к которому он слеп, *удвоить* с помощью призмы в шестнадцать градусов, помещенной перед одним из его глаз (оба остаются открытыми), он скажет, что теперь видит *один* штрих, и укажет направление, в котором лежит изображение, видимое через призму.

Очевидно, что он не слеп ни в малейшей *степени к виду* штриха. Он слеп только к одному отдельному штриху такого рода в определенном положении на доске или бумаге, то есть к определенному сложному объекту; и, как ни парадоксально это говорить, он должен с большой точностью отличать его от других, подобных ему, чтобы оставаться слепым к нему, когда другие приближаются. Он "воспринимает" его, предварительно не видя его вообще! Как представить себе такое состояние ума, не так-то просто. Было бы гораздо проще понять этот процесс, если бы добавление новых штрихов делало первый видимым. Тогда два разных объекта воспринимались бы как совокупности: бумага с одним штрихом и бумага с двумя штрихами; и, будучи слепым к первому, человек видел бы все, что было во втором, потому что в первом случае он воспринимал бы его как другую совокупность.

Подобный процесс происходит иногда (не всегда), когда новые штрихи, вместо того чтобы быть простыми повторениями первоначальных, представляют собой линии, которые объединяются с ними в общий объект, скажем, человеческое лицо. Тогда субъект транса может вновь увидеть линию, к которой он ранее был слеп, воспринимая ее как часть лица.

Когда с помощью призмы перед одним глазом невидимая ранее линия становится видимой для этого глаза, а другой глаз закрыт или экранирован, его закрытие ничего не меняет; линия по-прежнему остается видимой. Но если призму убрать, линия исчезнет даже для того глаза, который мгновение назад ее видел, и оба глаза вернуться к своему первоначальному слепому состоянию.

Таким образом, в этих случаях мы имеем дело не с сенсорной анестезией и не с простой неспособностью замечать, а с чем-то гораздо более сложным, а именно с активным подсчетом и позитивным исключением определенных объектов. Это похоже на то, как человек "обрывает" знакомство, "игнорирует" претензии или "отказывается поддаваться влиянию" соображений, о существовании которых он по-прежнему знает. Так, любитель природы в Америке может не замечать и полностью игнорировать дощатые и рельсовые заборы и общую неухоженность дорог и наслаждаться красотой и живописностью других элементов пейзажа, в то время как для новоприбывшего европейца заборы настолько агрессивно присутствуют, что портят удовольствие.

Г-да Гурни, Джанет и Бине показали, что игнорируемые элементы сохраняются в отделенной части сознания испытуемых, которую можно определенным образом задействовать и заставить рассказать о себе (см. т. I. с. 209).

Гиперестезия органов чувств - такой же распространенный симптом, как и анестезия. На коже можно различить две точки на расстоянии меньше обычного. Чувство осязания настолько тонкое, что (как сообщил мне М. Дельбёф) субъект, просто положив на кончики пальцев чистую карту, взятую из пачки одинаковых, может снова выбрать ее из пачки по "весу". Здесь мы подходим к той черте, когда многим кажется, что для объяснения требуется нечто большее, чем обычные чувства, как бы они ни были обострены. Я видел, как монета из кармана оператора неоднократно выбиралась субъектом из кучи двадцати других, [520] по ее большому "весу" на языке субъекта. - Слуховая гиперестезия может позволить субъекту услышать тиканье часов или речь его оператора в далекой комнате. - Одним из самых необычных примеров зрительной гиперестезии является случай, описанный Бергсоном, в котором было доказано, что испытуемый, который, казалось, читал через корешок книги, которую держал и рассматривал оператор, на самом деле читал изображение страницы, отраженное на роговице последнего. Тот же испытуемый был способен различать невооруженным глазом детали микроскопического препарата. Такие случаи "гиперестезии зрения", о которых сообщали Тагет и Совер, когда испытуемые могли видеть вещи в зеркальном отражении от неотражающих тел или через непрозрачный картон, скорее относятся к "психическим исследованиям", чем к настоящей категории. - Обычным тестом зрительной гиперестезии в гипнозе является излюбленный прием, когда испытуемому дают галлюцинацию картины на чистом листе картона, а затем смешивают его с множеством других подобных листов. Субъект всегда найдет картинку на оригинальном листе снова и безошибочно распознает, если она была перевернута или вверх ногами, хотя посторонним людям приходится прибегать к хитрости, чтобы снова ее опознать. Испытуемый отмечает на карте особенности, слишком мелкие, чтобы их можно было обнаружить с помощью обычного зрения. [521] Если говорят, что зрители руководят его манерой поведения, дыханием и т. д., то это лишь еще одно доказательство его гиперестезии; ведь он, несомненно, осознает более тонкие личные признаки (особенно психических состояний своего оператора), чем мог бы заметить в состоянии бодрствования. Примеры этого можно найти в так называемом "магнитном *раппорте*". Так называется тот факт, что в глубоком трансе или в легком трансе, когда бы ни было сделано внушение, субъект глух и слеп ко всем, кроме оператора или тех зрителей, которых последний явно пробуждает к чувствам. Самые яростные призывы со стороны других людей для него как бы не существуют, в то время как он повинует самым слабым сигналам со стороны гипнотизера. Если он находится в состоянии каталепсии, его конечности сохраняют свое положение только тогда, когда их двигает оператор; когда их двигают другие, они падают и т. д. Еще более примечательным фактом является то, что пациент часто отвечает любому, к кому прикасается оператор, или на кого он даже указывает пальцем, каким бы скрытым образом это ни происходило. Все это рационально объяснимо ожиданием и внушением, если только признать, что его чувства обострены на все движения оператора. [522] Он часто проявляет сильное беспокойство и тревогу, если тот выходит из комнаты. Любимый эксперимент мистера Э. Гурни заключался в том, чтобы пропустить руки испытуемого через непрозрачный экран и заставить оператора указать на один палец. Этот палец тут же становился бесчувственным или негнущимся. Сторонний наблюдатель, указывающий одновременно на другой палец, никогда не делал его бесчувственным или жестким. Разумеется, избирательный *раппорт* с оператором был выработан у этих тренированных субъектов в гипнотическом состоянии, но феномен происходил с некоторыми из них и в состоянии бодрствования, даже когда их сознание было поглощено оживленной беседой с четвертым участником. [523] Признаюсь, что когда я увидел эти

эксперименты, я был впечатлен необходимостью признать между *эманациями* от разных людей различия, для которых у нас нет названия, и дискриминационную чувствительность к ним, о природе которой мы не можем составить четкого представления, но которая, кажется, развивается у некоторых субъектов под воздействием гипнотического транса. -Загадочные сообщения о действии магнитов и металлов, даже если они, как утверждают многие, вызваны непреднамеренным внушением со стороны оператора, несомненно, связаны с гиперэстетическим восприятием, поскольку оператор стремится как можно лучше скрыть момент, когда магнит вводится в игру, и все же субъект не только обнаруживает это в тот момент труднодостижимым образом, но может развивать эффекты, которые (в первом случае, конечно) оператор не ожидал найти. Односторонние контрактуры, движения, параличи, галлюцинации и т.д. переходят на другую сторону тела, галлюцинации исчезают или меняются на дополнительный цвет, предложенные эмоции переходят в свои противоположности и т.д. Многие итальянские наблюдения согласуются с французскими, и в итоге получается, что если в основе этого лежит бессознательное внушение, то пациенты демонстрируют чрезвычайно возвышенную способность угадывать, что именно от них требуется. Именно это гиперэстетическое восприятие нас сейчас и интересует.^[524] Пока еще нельзя сказать, что его *модус* определен.

Изменения в питании тканей могут быть произведены с помощью внушения. Эти эффекты приводят к терапевтическим - тема, которую я не собираюсь здесь рассматривать. Но я могу сказать, что нет никаких оснований сомневаться в том, что у некоторых избранных субъектов внушение застойных явлений, ожогов, волдырей, приподнятых папул, кровотечений из носа или кожи может вызвать эффект. Г-да Бонис, Бержон, Бернгейм, Бурру, Бюрот, Шарко, Дельбёф, Дюмонпалье, Фокашон, Форель, Ендрасик, Крафт-Эбинг, Льебо, Льежуа, Липп, Мабиль и другие недавно поручились за тот или иной из этих эффектов. Г-да Дельбёф и Льежуа аннулировали с помощью внушения эффект ожога, а другой - волдыря. Дельбёф пришел к своим экспериментам после того, как увидел в Сальпетриере ожог кожи, полученный внушением, и рассудил, что если мысль о боли может вызвать воспаление, то это должно быть потому, что боль сама по себе является воспалительным раздражителем, и что отмена ее при настоящем ожоге должна, следовательно, повлечь за собой отсутствие воспаления. Он применил настоящее прижигание (а также везиканты) к симметричным местам на коже, утверждая, что с одной из сторон боль не должна ощущаться. В результате на этой стороне образовался сухой ожог, от которого, как он уверяет, не осталось и следа, а на другой стороне - обычный волдырь с нагноением и последующим шрамом. Этим объясняется безобидность некоторых нападений на испытуемых во время транса. Для проверки симуляции часто прибегают к втыканию булавок в ногти или в язык, вдыханию крепкого аммиака и т. п. Эти раздражения, если они не ощущаются субъектом, похоже, не оставляют никаких последствий. Вспоминаются сообщения о невоспалительном характере ран, которые дервиши наносят себе во время своих благочестивых оргий. С другой стороны, покраснения и кровотечения на коже по определенным линиям, возникающие при проведении линий или надавливании на них предметами, заставляют по-новому взглянуть на дошедшие до нас рассказы о стигматах креста, появляющихся на руках, ногах, боках и лбу некоторых католических мистиков. Как это часто бывает, факт отрицается до тех пор, пока ему не дается желанная интерпретация. Тогда его с готовностью признают; и доказательства, которые считались совершенно недостаточными для обоснования претензий, пока церковь была заинтересована в их выдвижении, оказываются вполне

достаточными для современного научного просвещения, как только выясняется, что пресловутый святой может быть таким образом классифицирован как "случай истеро-эпилепсии".

Остаются еще две темы: постгипнотические эффекты внушения и эффекты внушения в состоянии бодрствования.

Постгипнотические, или отсроченные, внушения - это такие внушения, которые даются пациентам во время транса, чтобы вступить в силу после пробуждения. Они имеют успех у определенного числа пациентов, даже если исполнение назначено на отдаленный период - месяцы или даже год, как в одном случае, о котором сообщил М. Льежуа. Таким образом можно заставить пациента почувствовать боль, паралич, голод или жажду, галлюцинацию, положительную или отрицательную, или совершить какое-либо фантастическое действие после выхода из транса. Эффект, о котором идет речь, может наступить не сразу, а по истечении определенного промежутка времени, и этот промежуток может быть предоставлен субъекту для измерения, или может быть отмечен определенным сигналом. В тот момент, когда прозвучит сигнал или истечет время, субъект, который до этого момента находился в совершенно нормальном состоянии бодрствования, испытает предложенный эффект. Во многих случаях, повинаясь внушению, он, кажется, снова впадает в гипнотическое состояние. Это доказывается тем, что в момент окончания галлюцинации или внушенного представления он забывает о ней, отрицает все свои знания о ней и т. д.; и еще одним фактом, что он "внушаем" во время ее исполнения, то есть по команде получает новые галлюцинации и т. д. Мгновение спустя эта внушаемость исчезает. Однако нельзя сказать, что возвращение в транс является абсолютно необходимым условием для постгипнотического выполнения команд, поскольку субъект может не быть ни внушаемым, ни амнезийным, и может бороться всей силой своей воли с абсурдностью этого импульса, который он чувствует, поднимаясь в нем, но не знает почему. В этих случаях, как и в большинстве других, он забывает о том, что импульс был подсказан ему в предыдущем трансе; рассматривает его как возникший внутри себя; и часто импровизирует, поддаваясь ему, какой-нибудь более или менее правдоподобный или изобретательный мотив, чтобы оправдать его перед наблюдателями. Короче говоря, он действует со своим обычным чувством личной спонтанности и свободы; и неверующие в свободу воли, естественно, очень часто используют эти случаи в своих попытках показать, что она является иллюзией.

Единственной действительно загадочной особенностью этих отсроченных внушений является абсолютное неведение пациента в течение интервала, предшествующего их выполнению, о том, что они были заложены в его сознание. Они часто всплывают в назначенное время, даже если вы тщетно пытались заставить его вспомнить обстоятельства их возникновения. Наиболее важным классом постгипнотических внушений являются, конечно, те, которые касаются здоровья пациента - кишечника, сна и других телесных функций. Среди наиболее *интересных* (помимо галлюцинаций) - те, что касаются будущих трансов. Можно определить час и минуту или сигнал, по которому пациент по собственной воле снова погрузится в транс. Можно сделать его восприимчивым в будущем к другому оператору, который, возможно, не имел с ним успеха в прошлом. Или, что еще более важно в некоторых случаях, можно, внушив определенным людям, что впредь они никогда не смогут усыпить его, избавить его на все будущее время от гипнотических воздействий, которые могут быть опасны. Это, действительно, простая и естественная защита от тех "опасностей гипноза", о которых так туманно говорят неинформированные люди. Субъект, который знает, что он очень восприимчив, никогда не должен позволять себе быть очарованным

оператором, в чьей моральной деликатности он не уверен полностью; и он может использовать внушения доверенного оператора, чтобы защитить себя от вольностей, которые другие, зная его слабость, могут быть искушены взять с ним.

Механизм, с помощью которого команда сохраняется до момента ее выполнения, - загадка, вызвавшая множество дискуссий. Эксперименты Гурни и наблюдения М. Пьера Жане и других за некоторыми истеричными сомнабулами, кажется, доказывают, что она хранится в сознании; не просто органически зарегистрирована, но что *сознание, которое таким образом сохраняет ее, отделено, диссоциировано от остального разума субъекта*. Короче говоря, мы имеем здесь экспериментальное производство одного из тех "вторых" состояний личности, о которых мы так часто говорили. Только здесь второе состояние сосуществует, а также чередуется с первым. У Гурни возникла блестящая идея *задействовать* это второе сознание с помощью планшета. Он обнаружил, что некоторые люди, которые были одновременно гипнотическими субъектами и автоматическими писателями, если их руки положить на планшет (после пробуждения от транса, в котором они получили внушение о чем-то, что должно быть сделано позже), бессознательно записывали приказ или что-то связанное с ним. Это говорит о том, что нечто внутри них, способное выразить себя только через руку, продолжало думать о приказе, и, возможно, только о нем. Эти исследования открыли новый простор для возможных экспериментальных исследований так называемых "вторых" состояний личности.

Некоторые испытуемые в состоянии бодрствования кажутся почти такими же послушными внушению, как и во сне, или даже более послушными, по мнению некоторых наблюдателей. Не только мышечные феномены, но и изменения личности и галлюцинации регистрируются как результат простого утверждения со стороны оператора, без предварительной церемонии "намагничивания" или погружения в "месмерический сон". Однако, насколько мне известно, все они являются тренированными субъектами, и аффирмация, очевидно, должна сопровождаться концентрацией внимания пациента и его взглядом, пусть и кратковременным, в глаза оператора. Вероятно, поэтому необходимым условием успеха этих экспериментов является чрезвычайно быстрое наведение транса.

Теперь я упомянул обо всех наиболее важных явлениях гипнотического транса. Об их терапевтическом или судебно-медицинском значении здесь говорить не принято. Современная литература по этому вопросу довольно объемна, но большая ее часть состоит из повторений. Лучшим трудом по этому вопросу является "Гипнотизм" д-ра А. Молла (Берлин, 1889; только что переведен на английский язык, Нью-Йорк, 1890), который является чрезвычайно полным и разумным. Другие наиболее рекомендуемые труды приведены в примечании.^[525] Большинство из них содержат исторический очерк и обширную библиографию. Полная библиография была опубликована М. Дессуаром (Берлин, 1888).

^[513] Следует сказать, что методы, при которых пациент предоставлен самому себе, и методы простого словесного внушения сна (так называемый метод Нанси, введенный там же Либо), кажутся, где бы они ни применялись, наилучшими, так как они не влекут за собой ни одного из последующих неудобств, которые иногда следуют за напряжением глаз. Новому пациенту не следует сразу же давать множество различных внушений. Его следует время от времени будить, а затем снова гипнотизировать, чтобы избежать путаницы и возбуждения сознания. Прежде чем окончательно разбудить субъекта, следует *отменить* все иллюзорные

внушения, которые вы могли ему внушить, сказав ему, что все они исчезли и т. д., и что теперь вы собираетесь вернуть его к естественному состоянию. Головная боль, томление и т. д., которые иногда следуют за первым трансом или двумя, должны быть изгнаны в самом начале, оператор должен твердо заверить субъекта, что такие вещи *никогда не* происходят от гипноза, что субъект *не должен* их иметь и т. д.

[514] Определенные факты, казалось бы, указывают на это. Например, случай с человеком, описанный P. Despine, *Étude Scientifique sur le Somnambulisme*, p. 286 ff.

[515] Это состояние не *идентично* сну, хотя и аналогично ему в некоторых отношениях. Легкие стадии его, в частности, отличаются от сна и сновидений тем, что характеризуются почти исключительно *мышечной* неспособностью и компульсиями, которые не отмечаются в обычном сомнамбулизме, а *разум*, который путается в сомнамбулизме, в легком состоянии транса может вполне четко осознавать все происходящее.

[516] Слово "внушение" слишком часто употребляется, как будто оно объясняет все тайны: Когда субъект подчиняется, это происходит по причине "внушения оператора"; когда он оказывается несговорчивым, это происходит в результате "самовнушения", которое он сам себе сделал, и т. д. и т. п. То, что объясняет все, не объясняет ничего; и следует помнить, что в данном случае в объяснении *нуждается* тот факт, что в определенном состоянии субъекта внушения действуют так, как *не действуют ни в какое другое время*; что через них затрагиваются функции, которые обычно ускользают от действия бодрствующей воли; и что обычно все это происходит в состоянии, о котором не остается никаких воспоминаний.

[517] Последствием предложенного шампанского может быть полный приступ опьянения. Говорят, что внушением даже излечивали настоящее пьянство.

[518] За внушенной галлюцинацией может последовать негативный пост-образ, как если бы это был реальный объект. Это можно легко проверить на примере галлюцинации цветного креста на листе белой бумаги. Переходя к другому листу бумаги, испытуемый увидит крест дополнительного цвета. Галлюцинации были показаны ММ. Бине и Фере, что они удваиваются призмой или зеркалом, увеличиваются линзой и во многих других отношениях ведут себя оптически как реальные объекты. Эти моменты уже обсуждались на [с. 138](#) и далее.

[519] М. Льежуа объясняет распространенный выставочный трюк, когда после снятия пальто субъект не может снова засунуть руки в рукава, анестезией к необходимым частям пальто.

[520] При этом принимаются меры предосторожности против разницы температур и других оснований для внушения.

[521] Следует, однако, сказать, что способность стороннего наблюдателя отличать друг от друга немаркированные карты и листы бумаги гораздо выше, чем можно было бы предположить.

[522] Однако я должен повторить, что мы находимся на пороге, возможно, неизвестных сил и способов коммуникации. Гипнотизация на расстоянии, без каких-либо оснований для ожидания со стороны субъекта, что она будет испробована, кажется довольно хорошо установленной в некоторых очень редких случаях. В целом, информацию по этим вопросам можно найти в "Трудах Общества психологических исследований". Research, *passim*.

[523] И здесь восприятие должно происходить ниже порога обычного сознания, возможно, в одном из тех раздвоенных "я" или "вторых" состояний, существование которых нам так часто приходится признавать.

[524] Я сам проверил многие из описанных выше эффектов магнита на человеке с завязанными глазами, на котором я испытывал их впервые и который, как я полагаю, никогда не слышал о них раньше. Однако в тот момент, когда к завязанным глазам добавился непрозрачный экран, эффекты перестали совпадать с приближением магнита, так что создалось впечатление, будто в их производстве участвовало зрительное восприятие. Испытуемый исчез из поля моего зрения, так что я так и не смог прояснить эту загадку. Конечно, я сознательно не давал ему никаких намеков на то, что я искал".

[525] Бине и Фере, "Животный магнетизм", в Международной научной серии; А. Бернгейм. "Суггестивная терапия" (N. Y., 1889); J. Liégeois, "De la Suggestion" (1889); E. Gurney, две статьи в Mind, vol. ix.- При недавнем возрождении интереса к истории этого предмета, кажется, жаль, что восхитительно критическая и научная работа доктора Джона Кирсли Митчелла из Филадельфии должна оставаться относительно неизвестной. Она вполне достойна встать в один ряд с исследованиями Брейда. См. "Пять эссе" вышеупомянутого автора, под редакцией С. Вейра Митчелла, Филадельфия, 1859, с. 141-274.

ГЛАВА XXVIII.

НЕОБХОДИМЫЕ ИСТИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОПЫТА.

В этой заключительной главе я расскажу о том, что иногда называют *психогенезом*, и попытаюсь выяснить, насколько связи вещей во внешней среде могут объяснить нашу склонность думать и реагировать на определенные вещи определенным образом и никак иначе, даже если лично мы не имели никакого или почти никакого опыта в отношении данных вещей. Известно, что некоторые предложения являются *необходимыми*. Мы должны присоединить предикат "равный" к субъекту "противоположные стороны параллелограмма", если мы вообще мыслим эти термины вместе, в то время как нам ни в коем случае не нужно присоединять предикат "дождливый", например, к субъекту "завтра". Сомнительный вид соединения терминов, по всеобщему признанию, обусловлен "опытом"; определенный вид приписывается "органической структуре" разума. Эта структура, в свою очередь, предполагается так называемыми *априористами* как имеющая трансцендентное происхождение или, во всяком случае, не объяснимая опытом; в то время как эволюционные эмпирики полагают, что она также обусловлена опытом, только не опытом отдельного человека, а опытом его предков, как бы далеко в прошлое он ни уходил. Наши эмоциональные и инстинктивные наклонности, наши непреодолимые импульсы связывать определенные движения с восприятием или мыслью об определенных вещах, также являются особенностями нашей связанной психической структуры, и, как и необходимые суждения, интерпретируются априористами и эмпириками одинаково противоречиво.

В ходе этой главы я попытаюсь прояснить три вещи:

1) Что, принимая слово "опыт" в его универсальном понимании, опыт расы не в большей степени может обосновать наши необходимые или *априорные* суждения, чем опыт отдельного человека;

2) Что нет веских оснований считать, что наши инстинктивные реакции - это плоды воспитания наших предков в той же среде, переданные нам при рождении.

3) Что особенности нашей органической психической структуры вообще не могут быть объяснены нашим сознательным взаимодействием с внешней средой, а скорее должны пониматься как врожденные вариации, "случайные"[526] в первом случае, но затем передающиеся как фиксированные черты расы.

В целом, априористы описывают эти *факты* так, как я их отстаиваю, хотя я и выступаю (как будет показано далее) за натуралистический взгляд на их *причину*.

Первое, что я должен сказать, это то, что все школы (как бы они ни различались в остальном) должны допустить, что *элементарные качества* холода, тепла, удовольствия, боли, красного, синего, звука, тишины и т. д. являются изначальными, врожденными или *априорными* свойствами нашей субъективной природы, даже если они требуют прикосновения опыта, чтобы пробудить их к реальному сознанию, и дремлют без него до бесконечности.

Это так в любой из двух гипотез, которые мы можем выдвинуть относительно отношения чувств к реальностям, при прикосновении к которым они становятся живыми. Ибо, во-первых, если чувство *не* отражает реальность, которая его пробуждает и которой, как мы говорим, оно соответствует, если оно не отражает никакой реальности вне разума, то оно, конечно, является чисто ментальным продуктом. По самому своему определению оно не может быть ничем иным. Но, во-вторых, даже если оно в точности отражает реальность, все равно *это* не сама реальность, а ее дубликат, результат ментальной реакции. А то, что ум должен обладать способностью реагировать именно таким дублирующим образом, можно утверждать только как *гармонию* между его природой и природой истины вне его, гармонию, из которой следует, что качества обеих сторон совпадают.

Оригинальность этих *элементов*, таким образом, не является предметом спора. *Война философов относится исключительно к формам их сочетания*. Эмпирики утверждают, что эти формы могут следовать только за порядком сочетания, в котором элементы были первоначально пробуждены впечатлениями внешнего мира; априористы, напротив, настаивают, что *некоторые* способы сочетания, во всяком случае, следуют из природы самих элементов, и что никакое количество опыта не может изменить этот результат.

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД ОПЫТОМ?

Фраза "органическая структура психики" называет предмет спора. Имеет ли разум такую структуру или нет? *Упорядочено* ли его содержимое с самого начала, или же то расположение, которым оно может обладать, объясняется лишь тем, что опыт перетасовал его в абсолютно пластичном ложе? Первое, в чем следует убедиться, - это то, что когда мы говорим об "опыте", мы придаем этому слову определенное значение. *Опыт - это опыт чего-то постороннего, что должно произвести на нас впечатление*, будь то спонтанно или в результате наших собственных усилий и действий. Впечатления, как мы хорошо знаем, влияют на определенные порядки последовательности и сосуществования, а привычки ума копируют привычки впечатлений, так что наши образы вещей принимают временную и пространственную упорядоченность, напоминающую временную и пространственную упорядоченность снаружи. Единым внешним сосуществованиям и последовательностям

соответствуют постоянные соединения идей, случайным сосуществованиям и последовательностям - случайные соединения идей. Мы уверены, что огонь обожжет нас, а вода намочит, менее уверены, что после молнии грянет гром, совсем не уверены, что незнакомая собака будет лаять на нас или пропустит мимо. Таким образом, опыт формирует нас каждый час и делает из нашего разума зеркало временных и пространственных связей между вещами в мире. Принцип привычки в нас настолько *закрепляет* копию, что нам трудно даже представить, как внешний порядок может быть иным, чем он есть, и мы постоянно определяем по настоящему, каким должно быть будущее. Эти привычки к переходу от одной мысли к другой - особенности психической структуры, которые отсутствовали нас при рождении; мы можем видеть, как они растут под лекальным пальцем опыта, и мы можем видеть, как часто опыт отменяет свою собственную работу и заменяет прежний порядок новым. *Порядок опыта*", в этом вопросе о временных и пространственных связях вещей, является, таким образом, неоспоримой *vera causa* наших форм мышления. Он - наш воспитатель, наш суверенный помощник и друг; и его имя, обозначающее нечто, имеющее столь реальное и определенное применение, должно быть священным и не обремененным никаким расплывчатым смыслом.

Если бы все связи между идеями в сознании можно было интерпретировать как множество комбинаций чувственных данных, приводимых в порядок таким образом извне, то опыт в общепринятом и законном смысле этого слова был бы единственным создателем разума.

Эмпирическая школа в психологии в основном утверждает, что их можно интерпретировать именно так. До нашего поколения под этим понимался только опыт отдельного человека. Но когда сегодня кто-то говорит, что человеческий разум обязан своей нынешней формой опыту, он имеет в виду и опыт предков. Заявление мистера Спенсера об этом является самым ранним и заслуживает полного цитирования:[527]

"Предположение о том, что внутренние связки приспособляются к внешним постоянствам благодаря *накопленному* опыту этих внешних постоянств, находится в гармонии со всеми нашими фактическими знаниями о психических явлениях. Хотя в том, что касается рефлекторных действий и инстинктов, гипотеза опыта кажется недостаточной; однако ее кажущаяся недостаточность имеет место только там, где доказательства находятся вне пределов нашей досягаемости. Но даже здесь те немногие факты, которые мы можем получить, указывают на то, что автоматические психические связи возникают в результате регистрации *опыта, продолжающегося в течение многих поколений*.

"Вкратце дело обстоит так: Все согласны с тем, что все психические связи, кроме абсолютно неразрывных, определяются опытом. Их различная сила признается, при прочих равных условиях, пропорциональной *умножению опыта*. Неизбежным следствием является то, что *бесконечность переживаний* порождает неразрывные психические отношения. Хотя такая бесконечность опыта не может быть получена одним индивидуумом, она может быть получена последовательностью индивидуумов, образующих расу. И если в нервной системе существует передача наведенных тенденций, то можно сделать вывод, что *все психические отношения, какие бы они ни были*, от необходимых до случайных, являются результатом опыта соответствующих внешних отношений; и таким образом они приводятся в гармонию с ними.

"Таким образом, гипотеза опыта дает адекватное решение. Генезис инстинкта, развитие из него памяти и разума, закрепление рациональных действий и умозаключений в инстинктивных объясняются по *одному принципу*: сцепление

между психическими состояниями пропорционально *частоте повторения в опыте* отношений между отвечающими внешними явлениями.

"*Универсальный закон*, что при прочих равных условиях сцепление психических состояний пропорционально *частоте*, с которой они следовали друг за другом в опыте, дает объяснение так называемым "формам мысли", как только он дополняется законом, что *привычные* психические последовательности влекут за собой некоторую наследственную тенденцию к таким последовательностям, которая, при постоянных условиях, будет становиться кумулятивной в поколении за поколением. Мы видели, что установление этих сложных рефлекторных действий, называемых инстинктами, объяснимо на том принципе, что внутренние отношения, *путем постоянного повторения*, организуются в соответствие с внешними отношениями. Теперь мы должны заметить, что установление этих консолидированных, этих неразрывных, этих инстинктивных психических отношений, составляющих наши представления о пространстве и времени, объяснимо по тому же принципу. Ибо если даже на внешние отношения, *часто* испытываемые в течение жизни одного организма, устанавливаются внутренние отношения, которые становятся почти автоматическими, если такое сочетание психических изменений, как то, которое руководит дикарем при попадании стрелы в птицу, становится, путем постоянного повторения, настолько организованным, что выполняется почти без мысли о пройденных процессах приспособления, и если навыки такого рода передаются настолько далеко, что отдельные расы людей характеризуются особыми способностями, которые являются ничем иным, как частично организованными психическими связями; тогда, если существуют определенные внешние отношения, которые испытывают все организмы во все моменты их бодрствующей жизни - отношения, которые абсолютно постоянны, абсолютно универсальны - то будут установлены и отвечающие им внутренние отношения, которые абсолютно постоянны, абсолютно универсальны. Такие отношения мы имеем в Пространстве и Времени. Организация субъективных отношений, приспособленных к этим объективным отношениям, накапливалась не только в каждой расе существ, но и во всех последующих расах существ; и такие субъективные отношения, следовательно, стали более консолидированными, чем все остальные. Переживаемые в каждом восприятии и каждом действии каждого существа, эти связи между внешними существованиями должны, по этой причине, также откликаться связями между внутренними чувствами, которые, прежде всего, нерасторжимы. Будучи субстратами всех других отношений в *не-эго*, они должны отзываться представлениями, которые являются субстратами всех других отношений в *эго*. Будучи *постоянными и бесконечно повторяющимися* элементами мысли, они должны стать автоматическими элементами мысли - элементами мысли, от которых невозможно избавиться, - "формами интуиции".

"Таково, как мне кажется, единственно возможное примирение между гипотезой опыта и гипотезой трансценденталистов; ни одна из них сама по себе не выдерживает критики. Непреодолимые трудности представляет кантовская доктрина (как мы увидим далее); а антагонистическая доктрина, взятая сама по себе, представляет трудности столь же непреодолимые. Опираясь на безоговорочное утверждение о том, что до опыта разум является пустым местом, значит игнорировать вопросы: откуда берется способность организовывать опыт? откуда возникают различные степени этой способности у разных рас организмов и у разных особей одной и той же расы? Если при рождении не существует ничего, кроме пассивной восприимчивости к впечатлениям, то почему лошадь не поддается

обучению так же, как и человек? Если же утверждать, что разница между ними заключается в языке, то почему кошка и собака, воспитанные в одной семье, не достигают одинаковых степеней и видов интеллекта? В нынешнем понимании гипотеза опыта подразумевает, что наличие определенно организованной нервной системы - это обстоятельство, не имеющее никакого значения, - факт, который не нужно принимать во внимание! И все же это очень важный факт - факт, на который, в некотором смысле, указывала критика Лейбница и других, - факт, без которого ассимиляция опыта необъяснима. Во всем животном царстве в целом действия зависят от нервной структуры. Физиолог показывает нам, что каждое рефлекторное движение предполагает участие определенных нервов и ганглиев; что развитие сложных инстинктов сопровождается усложнением нервных центров и их комиссуральных связей; что одно и то же существо на разных стадиях, например личинка и имаго, меняет свои инстинкты по мере изменения нервной структуры; и что по мере продвижения к существам с высоким интеллектом происходит значительное увеличение размеров и сложности нервной системы. Из чего следует очевидный вывод? Он заключается в том, что способность координировать впечатления и выполнять соответствующие действия всегда предполагает наличие определенных нервов, расположенных определенным образом. В чем смысл человеческого мозга? В том, что множество *установленных* отношений между его частями означают столько же *установленных* отношений между психическими изменениями. Каждая из постоянных связей между волокнами мозговой массы отвечает какой-то *постоянной связи* явлений в опыте расы. Подобно тому, как организованная связь между сенсорными нервами ноздрей и двигательными нервами дыхательных мышц не только делает возможным чихание, но и, у только что родившегося младенца, предполагает чихание, которое будет совершено в будущем; Так, все организованные связи, существующие между нервами мозга младенца, не только делают возможными определенные комбинации впечатлений, но и подразумевают, что такие комбинации в будущем будут производиться - подразумевают, что во внешнем мире существуют отвечающие комбинации - подразумевают готовность к познанию этих комбинаций - подразумевают способности к их постижению. Верно, что возникающие в результате сложные психические изменения не происходят с той же готовностью и автоматической точностью, как в случае с простым рефлекторным действием - верно, что для их установления требуется определенный индивидуальный опыт. Но хотя это отчасти объясняется тем, что эти комбинации очень вовлечены, чрезвычайно разнообразны в своих способах возникновения, состоят из психических отношений, менее полно согласованных, и поэтому нуждаются в дальнейших повторениях для их совершенствования; в гораздо большей степени это объясняется тем, что при рождении организация мозга неполна и не прекращает своего спонтанного прогресса в течение двадцати или тридцати лет после этого. Те, кто утверждает, что знания являются результатом исключительно опыта индивидуума, игнорируя при этом психическую эволюцию, сопровождающую аутогенное развитие нервной системы, впадают в такую же ошибку, как если бы они приписывали весь рост и строение тела физическим упражнениям, забывая о врожденной склонности к принятию взрослой формы. Если бы младенец рождался с полностью сформированным мозгом, их позиция была бы менее несостоятельной. Но в данном случае постепенно растущий интеллект, проявляющийся на протяжении детства и юности, в большей степени обусловлен завершением формирования мозговой организации, чем индивидуальным опытом, и эта истина подтверждается тем, что

во взрослой жизни иногда проявляются высокие способности, которые во время обучения никогда не были задействованы. Несомненно, опыт, полученный индивидуумом, дает конкретный материал для всех мыслей. Несомненно, организованные и полуорганизованные структуры, существующие в нервах головного мозга, не могут дать никаких знаний, пока не будут представлены внешние отношения, которым они соответствуют. И, несомненно, ежедневные наблюдения и рассуждения ребенка помогают формированию тех вовлеченных нервных связей, которые находятся в процессе спонтанной эволюции; точно так же, как его ежедневные шалости помогают развитию его конечностей. Но сказать это - совсем другое дело, чем утверждать, что его интеллект полностью *порожден* его опытом. Это совершенно неприемлемая доктрина - доктрина, которая делает наличие мозга бессмысленным, доктрина, которая делает идиотизм необъяснимым.

"В том смысле, что в нервной системе существуют определенные заранее установленные отношения, отвечающие отношениям в окружающей среде, в доктрине "форм интуиции" есть истина - не та истина, которую предполагают ее защитники, а параллельная истина. Соответствуя абсолютным внешним отношениям, в структуре нервной системы устанавливаются абсолютные внутренние отношения - отношения, которые потенциально присутствуют еще до рождения в виде определенных нервных связей; которые предшествуют индивидуальному опыту и не зависят от него; и которые автоматически раскрываются вместе с первыми познаниями. И, как здесь понимается, это не только эти фундаментальные отношения, которые таким образом предопределены, но и множество других отношений более или менее постоянного типа, которые врожденно представлены более или менее полными нервными связями. Но эти предопределенные внутренние отношения, хотя и не зависят от опыта отдельного человека, не являются независимыми от опыта вообще: они были определены опытом предшествующих организмов. Из общего аргумента вытекает следствие, что человеческий мозг - это организованный регистр *бесконечно многочисленных* впечатлений, полученных в ходе эволюции жизни, или, скорее, в ходе эволюции той серии организмов, через которую был достигнут человеческий организм. Последствия наиболее *равномерного и частого* из этих опытов последовательно закладывались, основные и процентные, и постепенно составили тот высокий интеллект, который скрыт в мозгу младенца - который младенец в последующей жизни упражняет и, возможно, усиливает или еще более усложняет - и который, с небольшими дополнениями, он закладывает будущим поколениям. Так и получается, что европеец наследует на двадцать-тридцать кубических дюймов больше мозга, чем папуас. Так случается, что способности, например к музыке, которые едва ли существуют в некоторых низших человеческих расах, становятся врожденными в высших. Так происходит, что из дикарей, не умеющих считать до количества пальцев и говорящих на языке, содержащем только существительные и глаголы, в конце концов появляются наши Ньютоны и Шекспиров".

Это блестящее и соблазнительное утверждение, и в нем, несомненно, есть большая доля истины. К сожалению, оно не вдается в детали; а когда детали будут тщательно изучены, как это вскоре должно произойти с нами, многие из них окажутся необъяснимыми таким простым способом, и тогда перед нами встанет выбор: либо отрицать эмпирическое происхождение некоторых наших суждений, либо расширить значение слова опыт, чтобы включить эти случаи в число его последствий.

ДВА СПОСОБА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СТРУКТУРЫ МОЗГА.

Если мы примем первый вариант, то столкнемся с противоречивыми трудностями. Философия опыта с незапамятных времен была противником теологического образа мышления. Слово "опыт" окружено ореолом антисверхъестественности, поэтому, если кто-то выражает недовольство любой функцией, которую ему приписывают, к нему относятся так, как будто он может быть одушевлен только верностью катехизису или каким-то образом иметь в сердце интересы обскурантизма. Я совершенно уверен, что только на этом основании то, что я буду говорить дальше, сделает эту главу закрытой для многих моих читателей. "Он отрицает опыт!" - воскликнут они, - "отрицает науку; верит в то, что разум создан чудом; является обычным старым приверженцем врожденных идей! Хватит! Мы больше не будем слушать эту допотопную чепуху". Как ни прискорбно терять читателей, способных на такое массовое ученичество, я чувствую, что определенное значение слова "опыт" даже важнее, чем их компания. Опыт не означает все естественные, в отличие от всех сверхъестественных причин. Он означает определенный вид естественного агентства, наряду с которым вполне могут существовать и другие, более необычные природные агентства. С научным анимусом антисупернатурализма мы должны согласиться, но мы должны освободиться от его словесных идолов и жупелов.

У природы есть множество способов добиться того же эффекта. Она может сделать "прирожденного" рисовальщика или певца, направив в определенное русло в подходящий момент молекулы человеческой яйцеклетки; или она может произвести на свет ребенка без способностей и заставить его провести трудоемкие, но успешные годы в школе. Она может заставить наши уши звенеть от звука колокола или от дозы хинина; заставить нас видеть желтый цвет, расстелив перед глазами поле лютиков или подмешав в еду немного порошка сантонина; наполнить нас ужасом перед определенным окружением, сделав его действительно опасным, или ударом, вызывающим патологические изменения в нашем мозге. Очевидно, что для обозначения этих двух способов действия нам нужны два слова. В одном случае природные агенты производят восприятия, которые познают самих агентов; в другом случае они производят восприятия, которые познают что-то другое. То, чему учит разум "опыт", в первом случае - это *порядок самого опыта*: "внутреннее отношение" (по выражению Спенсера) "соответствует" "внешнему отношению", которое его породило, помня и зная последнее. Но в случае *другого* рода естественных агентств то, что преподается уму, не имеет ничего общего с самим агентством, а связано с каким-то другим внешним отношением. Альтернативы можно выразить с помощью схемы. В обозначает наш человеческий мозг посреди мира. Все маленькие "о" со стрелками, исходящими от них, - это природные объекты (например, закаты и т. д.), которые производят на него впечатление через органы чувств и в строгом смысле слова дают ему *опыт*, приучая его по привычке и ассоциации к порядку своих путей. Все маленькие *иксы* внутри мозга и все маленькие *иксы* вне его - это другие природные объекты и процессы (в яйцеклетке, в крови и т. д.), которые в равной степени изменяют мозг, но не формируют его для познания себя. *Звон в ушах* не раскрывает свойств хинина; музыкальная одаренность не учит эмбриологии; болезненный страх (возможно, перед одиночеством) - патологии мозга; но то, как грязный закат и дождливый рассвет соединяются в сознании, копирует и учит последовательности закатов и дождей во внешнем мире.

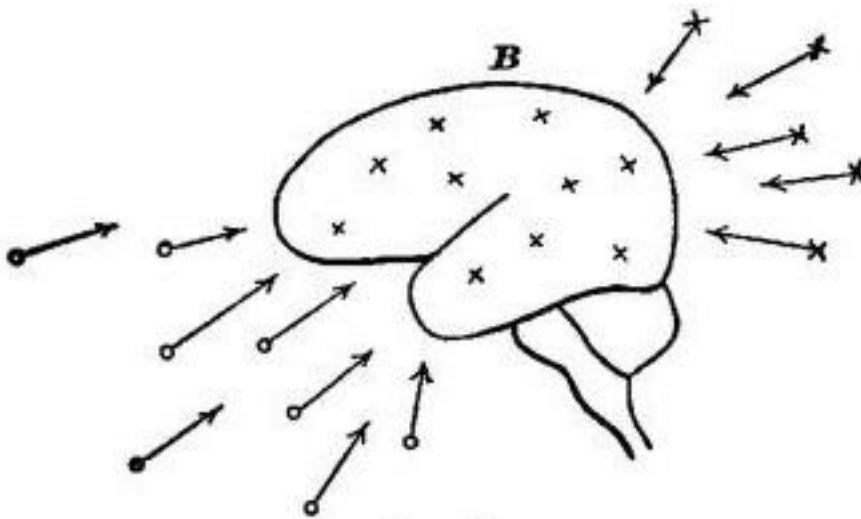


Рис. 94.

В зоологической эволюции мы имеем два способа, с помощью которых раса животных может стать более приспособленной к окружающей среде.

Во-первых, так называемый способ "адаптации", при котором окружающая среда может сама изменять своего обитателя, тренируя, закаляя и приучая его к определенным последовательностям, и эти привычки, как часто утверждается, могут стать наследственными.

Во-вторых, способ "случайных вариаций", как назвал его г-н Дарвин, при котором некоторые молодые особи рождаются с особенностями, помогающими им и их потомству выжить. В том, что *подобные* вариации имеют тенденцию становиться наследственными, никто не сомневается.

Первый способ мистер Спенсер называет прямым, второй - косвенным, равновесием. Оба равновесия, конечно, должны быть естественными и физическими процессами, но они принадлежат к совершенно разным физическим сферам. Прямое влияние - это очевидные и доступные вещи. Причины вариаций у молодняка, напротив, молекулярны и скрыты. Прямые воздействия - это "опыт" животного, в самом широком смысле этого слова. Там, где под их влиянием находится *психический* организм, они являются *сознательными* переживаниями и становятся *объектами*, а также причинами своих следствий. То есть эффект состоит в тенденции самого переживания к воспоминанию или к тому, чтобы его элементы впоследствии соединялись в воображении так же, как они соединялись в переживании. На диаграмме эти переживания представлены исключительно буквами "о". X, с другой стороны, обозначают косвенные причины модификации психики - причины, которые мы не осознаем сразу как таковые и которые не являются непосредственными *объектами* производимых ими эффектов. Некоторые из них - молекулярные случайности, произошедшие до рождения; некоторые - побочные и отдаленные комбинации, непреднамеренные сочетания, можно сказать, более прямых эффектов, произведенных в нестабильной и запутанной ткани мозга. Таким результатом, несомненно, является восприимчивость к музыке, которой обладают некоторые люди в настоящее время. Она не имеет зоологического значения; она не соответствует никакому объекту в естественной среде; это чистый *случай* наличия органа слуха, случай, зависящий от таких непостоянных и несущественных условий, что у одного

брата он может быть, а у другого - нет. Точно так же и с восприимчивостью к морской болезни, которая, отнюдь не будучи порождена долгим опытом общения с ее "объектом" (если можно назвать объектом качающуюся палубу), надолго аннулируется таким образом. Наша высшая эстетическая, моральная и интеллектуальная жизнь, похоже, состоит из привязанностей этого побочного и случайного рода, которые проникли в разум по черной лестнице, или, скорее, вообще не проникли в разум, а тайно родились в доме. Никто не может успешно рассматривать психогенез или факторы психической эволюции, не проводя различия между этими двумя путями, которыми атакуется разум. Путь "опыта" - это входная дверь, дверь пяти чувств. Агенты, воздействующие на мозг таким образом, немедленно становятся *объектами* разума. Другие агенты - нет. Было бы просто глупо говорить о двух людях, обладающих, возможно, одинаковым мастерством в рисовании, один из которых - необучаемый природный гений, а другой - просто упрямый заводила в студии, что оба они обязаны своим мастерством "опыту". Причины их мастерства кроются в совершенно разных природных циклах причинно-следственных связей.[\[528\]](#)

В дальнейшем, с разрешения читателя, я буду ограничивать слово "опыт" процессами, которые влияют на сознание через "парадную дверь" простых привычек и ассоциаций. То, какими могут быть эффекты "черного хода", вероятно, станет яснее по мере продвижения вперед; поэтому я сразу перейду к рассмотрению фактической ментальной структуры, которую мы обнаруживаем.

ГЕНЕЗИС ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕНТАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ.

- Мы находим: 1. Элементарные виды ощущений и чувства личной активности;
2. Эмоции; желания; инстинкты; представления о ценности; эстетические представления;
3. Идеи времени, пространства и числа;
4. Идеи различия и сходства, а также их степени.
5. Идеи причинной зависимости между событиями; цели и средства; субъекта и атрибута.
6. Суждения, утверждающие, отрицающие, сомневающиеся, предполагающие любую из вышеперечисленных идей.
7. Суждения о том, что первые суждения логически включают, исключают или безразличны друг к другу.

Теперь мы можем с самого начала предположить, что все эти формы мышления имеют *естественное* происхождение, если только сможем до него добраться. Это предположение должно быть сделано в самом начале любого научного исследования, иначе нет никакого соблазна продолжать. Но первое предположение об их происхождении, на которое мы можем наткнуться, - это ловушка. Все эти психические привязанности являются способами познания объектов. Большинство психологов сегодня считают, что объекты сначала каким-то естественным образом породили мозг из своей среды, а затем запечатлели в нем эти различные познавательные привязанности. Но как? Обычный эволюционистский ответ на этот вопрос чрезвычайно прост. Идея большинства спекулянтов, похоже, заключается в том, что, поскольку *сейчас* для знакомства со сложным объектом достаточно, чтобы он просто *присутствовал* перед нами достаточно часто, справедливо предположить, что при достаточном количестве времени *простое присутствие* различных объектов и отношений, подлежащих познанию, должно завершиться познанием последних, и что таким образом вся ментальная структура была развита от первого до последнего. Любой рядовой

спенсерианец скажет вам, что подобно тому, как опыт синих объектов вызывает в нашем уме синий цвет, а твердые объекты заставляют его ощущать твердость, так и присутствие в мире больших и малых объектов дает ему понятие о размере, движущиеся объекты заставляют его осознать движение, а объективные последовательности учат его времени. Точно так же в мире с различными впечатляющими вещами разум должен был приобрести чувство различия, в то время как похожие части мира, когда они падали на него, зажигали в нем восприятие сходства. Внешние последовательности, которые иногда срабатывали, а иногда не срабатывали, естественно, порождали в нем сомнительные и неопределенные формы ожиданий и в конечном итоге приводили к дизъюнктивным формам суждений; в то время как гипотетическая форма "если *a*, то *b*" непременно вытекала из последовательностей, которые были неизменны во внешнем мире. С этой точки зрения, если бы внешний порядок вдруг изменил свои элементы и формы, у нас не было бы никаких способностей, чтобы познать новый порядок. В лучшем случае мы почувствуем некое разочарование и замешательство. Но постепенно новое присутствие будет действовать на нас так же, как и старое; и со временем возникнет другой набор психических категорий, приспособленных для познания изменившегося мира.

Это представление о том, что внешний мир неизбежно создает некий ментальный дубликат самого себя, если мы только дадим ему время, настолько легко и естественно в своей расплывчатости, что трудно понять, как начать его критиковать. Однако очевидно одно: *способ, которым мы знакомимся со сложными объектами, ничуть не похож на тот, которым выростали первоначальные элементы нашего сознания.* Правда, новый вид животного должен быть только представлен мне, чтобы его образ навсегда запечатлелся в моем сознании; но это потому, что я уже обладаю категориями для познания каждого из его атрибутов и памятью для прослеживания порядка их сочетания. Теперь у меня есть готовые категории для всех возможных объектов. Объекты должны лишь пробудить их от дремоты. Но совсем другое дело - объяснить сами категории. Я думаю, мы должны признать, что происхождение различных элементарных чувств - это очень сложная история, даже после того, как появилась некая нейронная ткань для внешнего мира, чтобы начать свою работу. Простого существования вещей, которые нужно знать, как правило, недостаточно для того, чтобы их познать. Наши абстрактные и общие открытия обычно приходят к нам как удачные фантазии: и только *после переворота* мы обнаруживаем, что они соответствуют какой-то реальности. То, что непосредственно породило их, было предшествующими мыслями, с которыми и с мозговыми процессами которых эта реальность не имела ничего общего.

Почему так не могло быть с первоначальными элементами сознания, ощущений, времени, пространства, сходства, различия и других отношений? Почему они не могли появиться на свет "черным ходом", в результате таких физических процессов, которые лежат скорее в сфере морфологической случайности, внутреннего суммирования эффектов, чем в сфере "разумного присутствия" объектов? Почему бы им, короче говоря, не быть чистыми *идиосинкразиями*, спонтанными вариациями, приспособленными по счастливой случайности (теми из них, которые сохранились) к познанию объектов (то есть к руководству нами в наших активных действиях с ними), не являясь в каком-либо понятном смысле непосредственными производными от них? Думаю, что по мере дальнейшего изложения эта точка зрения будет становиться все более и более правдоподобной.[\[529\]](#)

Все эти элементы являются субъективными дубликатами внешних объектов. Они не являются внешними объектами. Вторичные качества среди них ни один образованный человек не считает даже похожими на объекты. Их *природа* в большей степени зависит от реагирующего мозга, чем от стимулов, которые его вызывают. Это в еще большей степени

относится к природе удовольствия и боли, усилия, желания и отвращения, а также к таким чувствам, как чувство причины и сущности, отрицания и сомнения. Таким образом, перед нами истонченное богатство внутренних форм, происхождение которых окутано тайной, и которые, во всяком случае, не были просто "внушены" извне, в любом разумном смысле слова "внушать".

Их временные и пространственные отношения, однако, впечатлены извне, поскольку две внешние вещи, по крайней мере, эволюционный психолог должен считать похожими на наши мысли о них, - это время и пространство, в котором находятся объекты. *Временные и пространственные отношения между вещами штампуют копии самих себя внутри.* Вещи, сопоставленные в пространстве, производят на нас впечатление, и мы продолжаем думать о них как о сопоставленных. Вещи, последовательные во времени, накладывают отпечаток своей последовательности на нашу память. И таким образом, через опыт в законном смысле этого слова можно действительно объяснить огромное количество наших ментальных привычек, многие из наших абстрактных убеждений, а также все наши представления о конкретных вещах и способах их поведения. Такие истины, как то, что огонь горит, а вода мокнет, что стекло преломляется, тепло растапливает снег, рыбы живут в воде и умирают на суше, и тому подобное, составляют не малую часть самого утонченного образования, а среди грубых и низших людей являются всеобъемлющим образованием. Здесь разум пассивен и подчинен, он является подневольной копией, фатально и непреклонно созданной извне. Заслуга школы ассоцианизма состоит в том, что она увидела широкую сферу влияния соседства во времени и пространстве; и их преувеличенное применение принципа простого соседства не должно ослеплять нас в отношении той прекрасной услуги, которую он оказал психологии в их руках. Что касается значительной части нашего мышления, то его можно сформулировать как простое множество *привычек*, навязанных нам извне. Степень связности наших внутренних отношений в этой части нашего мышления пропорциональна, по выражению мистера Спенсера, степени связности внешних отношений; причины и объекты нашего мышления едины; и мы, в таком случае, являемся тем, чем нас хотели бы видеть материалистические эволюционисты, - просто отрезками и созданиями нашей среды, и ничем больше.[\[530\]](#)

Но теперь сюжет сгущается, поскольку образы, навешанные нашей памяти внешними стимулами, не ограничиваются одними лишь временными и пространственными отношениями, в которых они первоначально возникли, но возрождаются различными способами (в зависимости от запутанности мозговых путей и нестабильности их тканей) и образуют вторичные комбинации, такие как *формы суждения*, которые, взятые сами по себе, не согласуются ни с формами, в которых существует реальность, ни с формами, в которых переживания постигают нас, но которые, тем не менее, могут быть объяснены тем, как переживания постигают разум, одаренный памятью, ожиданием и возможностью испытывать сомнение, любопытство, веру и отрицание. Конъюнкции опыта происходят более или менее неизменно, вариативно или никогда. Представление об одном термине порождает фиксированное, колеблющееся или отрицательное ожидание другого, давая утвердительные, гипотетические, дизъюнктивные, вопросительные и отрицательные суждения, суждения актуальности и возможности о тех или иных вещах. Отделение атрибута от субъекта во всех суждениях (что нарушает способ существования природы) может быть аналогичным образом объяснено фрагментарным порядком, в котором наши восприятия приходят к нам: смутное ядро постепенно становится более детальным по мере того, как мы

все больше и больше обращаемся к нему. Эти конкретные вторичные ментальные формы были достаточно справедливо объяснены ассоцианистами, начиная с Юма и ниже.

Ассоцианисты также пытались объяснить дискриминацию, абстрагирование и обобщение частотой, с которой атрибуты приходят к нам в соединенном виде. По-моему, с гораздо меньшим успехом. В главе о дискриминации я, в рамках "закона диссоциации под воздействием различных сопутствующих факторов", попытался объяснить как можно больше пассивным порядком опыта. Но читатель видел, как много осталось для активного интереса и неизвестных сил. В главе "Воображение" я аналогичным образом попытался отдать должное теории обобщения и абстракции "смешанных образов". Поэтому здесь мне не нужно больше говорить об этих вопросах.

ГЕНЕЗИС ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК.

Наши "научные" способы осмысления внешней реальности являются в высшей степени абстрактными. Суть вещей для науки не в том, какими они кажутся, а в том, что атомы и молекулы движутся друг к другу и друг от друга по странным законам. Нигде учет внутренних отношений, порождаемых внешними пропорционально частоте встреч с последними, не дает такого вопиющего сбоя, как в случае с научными концепциями. Порядок научного мышления совершенно не соответствует ни тому, как существует реальность, ни тому, как она предстает перед нами. Научное мышление идет исключительно путем отбора и акцентирования. Мы разбиваем сплошное множество фактов на отдельные сущности, представляем себе в целом то, что существует только в частности, и своими классификациями не оставляем ничего в естественном соседстве, но разделяем смежное и соединяем то, что разводится полюсами. Реальность *существует* как *пленум*. Все ее части одновременны, каждая из них так же реальна, как и любая другая, и каждая так же необходима для того, чтобы сделать целое именно тем, что оно есть, и ничем иным. Но мы не можем ни переживать, ни мыслить этот *пленум*. То, что мы переживаем, то, что *предстает перед нами*, - это хаос фрагментарных впечатлений, перебивающих друг друга;^[531] то, что мы *мыслим*, - это абстрактная система гипотетических данных и законов.^[532]

Эта своего рода научная алгебра, как ни мало она напоминает данную нам реальность, оказывается (как ни странно) применимой к ней. То есть она дает выражения, которые в определенных местах и в определенное время могут быть переведены в реальные величины или интерпретированы как определенные части хаоса, обрушивающегося на наш разум. Таким образом, она становится практическим руководством для наших ожиданий, а также теоретическим наслаждением. Но я не понимаю, как можно назвать наши системы непосредственными результатами "опыта" в обычном смысле этого слова. Каждая научная концепция - это в первую очередь "спонтанная вариация" в чьем-то мозгу.^[533] На одну, оказавшуюся полезной и применимой, приходится тысяча тех, что погибли из-за своей никчемности. Их генезис схож со вспышками поэзии и остроумия, которые в равной степени порождает нестабильность мозговых путей. Но если поэзия и остроумие (как и наука древних) сами оправдывают свое существование и не нуждаются в дальнейших испытаниях, то "научные" концепции должны доказывать свою ценность, будучи "проверенными". Это испытание, однако, является причиной их *сохранения*, а не причиной их *производства*; и можно с таким же успехом объяснить происхождение шуток Артемуса Уорда "сцеплением" субъектов с предикатами пропорционально "устойчивости внешних отношений", которым они "соответствуют", как и рассматривать генезис научных концепций таким же надуманно-нереальным образом.

Наиболее устойчивые внешние отношения, в которые верит наука, вообще никогда не являются предметом опыта, но должны быть выведены из-под опыта путем процесса элиминации, то есть игнорирования условий, которые всегда присутствуют. *Элементарные* законы механики, физики и химии - все они такого рода. Принцип единообразия в природе - такого рода; его приходится *искать* под и вопреки самым непокорным внешним проявлениям; и наша убежденность в его истинности гораздо больше похожа на религиозную веру, чем на согласие с демонстрацией. Единственные связи, которые опыт в прямом смысле этого слова производит в нашем сознании, - это, как мы утверждали некоторое время назад, ближайшие законы природы и привычки конкретных вещей, что тепло растапливает лед, что соль сохраняет мясо, что рыба умирает в воде, и тому подобное.^[534] Такие "эмпирические истины", как эти, мы признали, составляют огромную часть человеческой мудрости. Научные истины должны гармонизировать с этими истинами, иначе они будут отброшены как бесполезные; но они возникают в сознании не таким пассивным ассоциативным путем, каким возникают более простые истины. Даже те опыты, которые используются для доказательства научных истин, по большей части являются искусственными лабораторными опытами, полученными уже после того, как истина была предположена. Вместо того чтобы опыт порождал "внутренние отношения", внутренние отношения - это то, что порождает опыт.

То, что происходит в мозгу после того, как опыт сделал все возможное, - это то, что происходит в любой материальной массе, которая была сформирована внешней силой, - например, в любом пудинге или ступке, которые я могу сделать своими руками. Придание формы извне приводит элементы в столкновения, которые освобождают новые внутренние силы, чтобы те в свою очередь оказывали свое воздействие. И случайные иррадиации и переселения наших идей, которые *накладываются на опыт* и составляют нашу свободную умственную игру, полностью обусловлены этими вторичными внутренними процессами, которые сильно различаются в разных мозгах, даже если мозги подвергаются совершенно одинаковым "внешним отношениям". Высшие мыслительные процессы обязаны своим существованием причинам, которые в гораздо большей степени соответствуют закисанию и брожению теста, застыванию раствора или оседанию осадка в смеси, чем манипуляциям, с помощью которых эти физические агрегаты были соединены. Изучение подобных ассоциаций и рассуждений показало нам, что все превосходство человека зависит от того, насколько легко в его мозгу могут быть разорваны пути, проторенные наиболее часто встречающимися внешними связями. Причины этой неустойчивости, причины, по которым то эта точка, то та становится в нем местом разрыва, нам казались совершенно неясными. (Vol. I. p. 580; Vol. II. [p. 364](#).) Единственное, что ясно в этой особенности, - это ее интерстициальный характер и уверенность в том, что для ее объяснения не достаточно простого обращения к человеческому "опыту".

Когда мы переходим от научных к эстетическим и этическим системам, каждый с готовностью признает, что, хотя элементы и являются предметом опыта, своеобразные формы отношений, в которые они вплетены, не согласуются с порядком пассивно воспринимаемого опыта. Мир эстетики и этики - это идеальный мир, утопия, мир, которому внешние отношения упорно противоречат, но который мы столь же упорно стремимся сделать реальным. Почему мы так упорно стремимся изменить данный порядок природы? Да просто потому, что другие отношения между вещами гораздо интереснее для нас и очаровательнее, чем просто частота их временных и пространственных конъюнкций. Все эти другие отношения - вторичные, порожденные мозгом, "спонтанные вариации" нашей чувствительности, когда определенные элементы опыта и определенные расположения во времени и пространстве приобретают приятность, которая иначе не ощущалась бы. Правда,

привычные расположения также могут стать приятными. Но эта приятность привычного ощущается как подражание и подделка настоящего внутреннего соответствия; и признак ума состоит в том, чтобы никогда не принимать одно за другое.

Среди объектов нашего мышления существуют идеальные и внутренние отношения, которые ни в коем случае не могут быть истолкованы как воспроизведение порядка внешнего опыта. В эстетической и этической сферах они противоречат этому порядку - и ранний христианин с его Царством Небесным, и современный анархист с его абстрактной мечтой о справедливости скажут вам, что существующий порядок должен погибнуть, корни и ветви, прежде чем может наступить истинный порядок. Особенность тех отношений между объектами нашей мысли, которые называют "научными", состоит в том, что, хотя они не более являются внутренним *воспроизведением* внешнего порядка, чем этические и эстетические отношения, они все же не противоречат этому порядку, а, возникнув в результате игры внутренних сил, оказываются - по крайней мере, некоторые из них, а именно те, которые сохранились достаточно долго, чтобы быть предметом записи, - *соответствующими* временным и пространственным отношениям, на которые влияют наши впечатления.

Другими словами, хотя материалы природы медленно и неутешительно поддаются нашему переводу в этические формы, но более охотно в эстетические; переводу в научные формы они поддаются с относительной легкостью и полнотой. Перевод, правда, вероятно, никогда не будет закончен. Перцептивный порядок не сдается и не возникает подходящей концептуальной замены ему по одному лишь нашему приказу.^[535] Часто это смертельная борьба; и многие ученые могут сказать, подобно Иоганну Мюллеру, после расследования: "*Es klebt Blut an der Arbeit*". Но победа за победой убеждает нас в том, что главная гибель нашего врага - это поражение.^[536]

ГЕНЕЗИС ЧИСТЫХ НАУК.

Теперь я в общих чертах изложил отношение естественных наук к опыту, так называемому, и завершу то, что должен сказать, вернувшись к этой теме на следующей странице. Сейчас же я перейду к так называемым *чистым* или *априорным наукам* - классификации, логике и математике. Мой тезис относительно них состоит в том, что они даже в меньшей степени, чем естественные науки, являются следствиями порядка мира в том виде, в каком он приходит в наш опыт. Чистые науки выражают *исключительно* результаты сравнения; *сравнение не является мыслимым эффектом порядка, в котором переживаются внешние впечатления, - это одна из доморощенных (р. 627) частей нашей ментальной структуры; поэтому чистые науки образуют совокупность предложений, к генезису которых опыт не имеет никакого отношения.*

Во-первых, рассмотрим природу сравнения. *Отношения сходства и различия между вещами не имеют ничего общего с временным и пространственным порядком, в котором мы можем их ощущать.* Предположим, сто существ созданы Богом и одарены способностями памяти и сравнения. Предположим, что на каждом из них запечатлен один и тот же набор ощущений, но в разном порядке. Пусть некоторые из них не испытывают ни одного ощущения более одного раза. Пусть у одних повторяется это, а у других - то. Пусть преобладают все возможные перестановки. А затем пусть шоу волшебных фонарей угаснет, и существа останутся в пустоте вечности, не имея ничего, кроме своих воспоминаний, над

которыми можно поразмышлять. Неизбежно во время долгого отдыха они начнут играть с предметами своего опыта, переставлять их, составлять из них классификационные ряды, помещать серый между белым и черным, оранжевый между красным и желтым и проследивать все прочие степени сходства и различия. И эта новая конструкция будет абсолютно идентичной у всех ста существ, причем разнообразие последовательности исходного опыта не будет иметь никакого значения в отношении этой перестановки. Любая форма последовательности даст один и тот же результат, потому что этот результат выражает отношение между *внутренней природой* ощущений; и для этого вопрос об их внешней последовательности совершенно неважен. Черный цвет будет отличаться от белого так же сильно в мире, в котором они всегда находятся близко друг к другу, как и в том, в котором они всегда находятся далеко друг от друга; так же сильно в том, в котором они появляются редко, как и в том, в котором они появляются постоянно.

Но сторонник "устойчивых внешних отношений" все же может вернуться к обвинению: Именно благодаря им мы уверены, что белое и черное различаются, скажет он; ведь в мире, где черное иногда походит на белое, а иногда отличается от него, мы никогда не могли бы быть так уверены. Именно потому, что в этом мире черное и белое *всегда* различались, ощущение их различия стало необходимой формой мышления. Пара цветов, с одной стороны, и чувство различия, с другой, неразрывно переживаемые не только нами, но и нашими предками, стали неразрывно связаны в сознании. Не в силу какой-то существенной структуры разума, которая делала различие единственным возможным чувством, которое они могли вызывать; нет, а потому, что они просто различались так часто, что в конце концов породили в нас неспособность представить себе, что они делают что-то другое, и заставили нас принять такой сказочный рассказ, как только что представленный, о существах, для которых одного опыта было бы достаточно, чтобы заставить нас почувствовать необходимость этой связи.

Я не знаю, согласился бы с этим мистер Спенсер или нет; да мне и не важно, ибо есть тайны, которые требуют решения больше, чем смысл слов этого туманного писателя. Но для меня такое объяснение наших суждений о различиях абсолютно невразумительно. Мы находим черное и белое разными, говорится в объяснении, *потому что мы всегда их так находили*. Но почему мы всегда их так находили? Почему различия должны были появляться в наших головах так неизменно при мысли о них? Должна быть либо субъективная, либо объективная причина. Субъективная причина может быть только в том, что наш разум был так устроен, что чувство различия было единственным возможным видом сознательного перехода между черным и белым; объективная причина может быть только в том, что различие всегда было там, с этими цветами, вне разума, как объективный факт. Субъективная причина объясняет внешнюю частоту внутренней структурой, а не внутреннюю структуру - внешней частотой; и таким образом отказывается от теории опыта. Объективная причина просто говорит, что если внешнее различие существует, то разум должен знать его - что вообще не является объяснением, а просто апелляцией к тому факту, что разум каким-то образом знает, что существует.

Единственное, что можно сделать, - это отказаться от притворного объяснения и сослаться на то, что чувство различия возникло, несомненно, естественным путем, но каким-то непонятным нам способом. Во всяком случае, оно возникло по черному ходу; и, с самого начала, оказалось единственным способом реакции, с помощью которого сознание могло

ощутить переход от одного понятия к другому из того, что (вследствие этой самой реакции) мы теперь называем контрастной парой.

Замечая различия и сходства вещей, а также их степени, разум ощущает свою собственную активность, за что и получил название *сравнения*. Ему не нужно сравнивать свои материалы, но если его побудить к этому, он может сравнить их только с одним результатом, и это неизменное следствие природы самих материалов. Таким образом, различие и сходство - это отношения между идеальными объектами, или понятиями как таковыми. Чтобы узнать, различаются ли черное и белое, мне не нужно обращаться к миру опыта; достаточно одних лишь представлений. *То, что я понимаю под черным, отличается от того, что я понимаю под белым, независимо от того, существуют ли такие цвета вне моего сознания или нет.* Если они когда-нибудь будут существовать, они *будут* отличаться. Белые вещи могут чернеть, но их чернота будет отличаться от их белизны, пока я понимаю под этими тремя словами что-то определенное.^[537]

В дальнейшем я буду называть все предложения, выражающие временные и пространственные отношения, эмпирическими предложениями; а все предложения, выражающие результаты сравнения, я буду называть рациональными предложениями. Последнее обозначение в некотором смысле произвольно, поскольку сходство и различие обычно не считаются единственными рациональными отношениями между вещами. Однако далее я покажу, как много других рациональных отношений, которые обычно считаются различными, могут быть сведены к этим, так что мое определение рациональных предложений в итоге, я надеюсь, окажется менее произвольным, чем это кажется сейчас.

РЯДЫ РАВНОМЕРНОГО РАЗЛИЧИЯ И ОПОСРЕДОВАННОГО СРАВНЕНИЯ.

В главе XII мы увидели, что разум может в разные моменты означать одно и то же и что он постепенно вступает во владение запасом постоянных и фиксированных значений, идеальных объектов, или концепций, некоторые из которых являются универсальными качествами, как черное и белое в нашем примере, а некоторые - индивидуальными вещами. Теперь мы видим, что не только объекты являются постоянным ментальным достоянием, но и результаты их сравнения тоже постоянны. Объекты и их различия вместе образуют неизменную систему. *Одни и те же объекты, сравниваемые одним и тем же способом, всегда дают одни и те же результаты;* если результат не тот же, значит, объекты не те, которые имелись в виду изначально.

Этот последний принцип, который мы можем назвать *аксиомой постоянного результата*, действует во всех наших умственных операциях, не только когда мы сравниваем, но и когда мы складываем, делим, классифицируем или выводим заключение по какому-либо вопросу любым мыслимым способом. В самом общем виде это выражается так: *"Одно и то же, с которым оперируют одним и тем же способом, дает одно и то же"*. В математике оно принимает форму "равное прибавляется к равному или вычитается из равного, равное дает равное" и тому подобное. Мы еще встретимся с этим.

Следующее, что мы замечаем, - это то, что *операция сравнения может быть повторена в своих собственных результатах*; другими словами, мы можем думать о различных сходствах и различиях, которые мы находим, и сравнивать их друг с другом, создавая

различия и сходства более высокого порядка. Таким образом, ум осознает наборы сходных различий и формирует серии терминов с одинаковым видом и количеством различий между ними, терминов, которые, сменяя друг друга, сохраняют постоянное направление последовательного увеличения. Это ощущение постоянного направления в серии операций мы рассматривали в главе XIII (с. 490) как кардинальный ментальный факт. "А отличается от В отличается от С отличается от D и т. д." составляет серию только тогда, когда различия имеют одно и то же направление. В любой такой серии различий все термины отличаются от своих предшественников одинаковым образом. Знакомыми примерами являются числа 1, 2, 3, 4, 5,... ноты хроматической гаммы в музыке. Как только разум воспринимает такой ряд как единое целое, он понимает, что два термина, взятые на расстоянии друг от друга, отличаются больше, чем два термина, взятые вместе, и что любой один термин отличается больше от отдаленного, чем от близкого преемника, и это независимо от того, какими могут быть термины или каков может быть род различия, при условии, что он всегда одного и того же рода.

Этот принцип опосредованного сравнения можно кратко (хотя и неясно) выразить формулой "большее, чем большее, есть большее, чем меньшее" - слова "больше" и "меньше" означают просто степени увеличения в постоянном направлении различий. Такая формула охватывала бы все возможные случаи, например, раньше, чем раньше, - это раньше, чем позже, хуже, чем плохо, - это хуже, чем хорошо, восток от востока - это восток от запада; и т. д., и т. п., *ad libitum*.^[538] Символически мы могли бы написать ее как $a b c < < < d \dots$ и сказать, что любое количество промежуточных звеньев может быть исключено, не обязывая нас изменять что-либо в том, что остается написанным.

Принцип опосредованного сравнения является лишь одной из форм закона, который действует во многих сериях однородно связанных терминов, - закона, согласно которому пропуск промежуточных терминов оставляет отношения неизменными. Эта аксиома пропуска промежуточных терминов или переноса отношений встречается, как мы вскоре увидим, в логике как фундаментальный принцип умозаключения, в арифметике как фундаментальное свойство числовых рядов, в геометрии как свойство прямой, плоскости и параллели. В целом это, похоже, самый широкий и глубокий закон человеческого мышления.

В некоторых списках терминов в результате сравнения можно обнаружить отсутствие различий или равенство вместо различий. Здесь также можно обойтись без посредников и продолжить опосредованное сравнение с общим результатом, выраженным аксиомой опосредованного равенства, "равные равны", которая является великим принципом математических наук. И это тоже результат остроты ума, причем совершенно независимо от того, в каком порядке связаны между собой переживания. Символически, опять же: $a = b = c = d \dots$, с теми же последствиями в отношении исключения терминов, которые мы видели ранее.

КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ РЯД.

Таким образом, мы имеем довольно сложную систему необходимых и неизменных идеальных истин сравнения, систему, применимую к терминам, пережитым в любом порядке последовательности или частоты, или даже к терминам, никогда не пережитым или не подлежащим переживанию, как, например, воображаемые конструкции ума. Эти истины сравнения приводят к классификациям. По какой-то неизвестной причине для разума является большим эстетическим наслаждением нарушать порядок опыта и классифицировать материалы в последовательном порядке, переходя от ступени к ступени

различий, и неустанно созерцать пересечения и иносказания серий между собой. Первые шаги в большинстве наук носят чисто классификационный характер. Там, где факты легко укладываются в богатые и запутанные ряды (как это происходит с растениями, животными и химическими соединениями), один лишь вид этих рядов наполняет разум удовлетворением *sui generis*; и мир, *реальные* материалы которого естественным образом поддаются последовательной классификации, - это более рациональный мир, мир, с которым разум будет чувствовать себя более близким, чем с тем, в котором этого нет. Дозволюционные натуралисты, поколение которых едва ли ушло из жизни, считали, что классификации - это окончательное проникновение в разум Бога, наполняющее нас преклонением перед его путями. Тот факт, что природа позволяет нам их создавать, был доказательством присутствия его Мысли в ее лоне. Поскольку факты опыта *не* поддаются последовательной классификации, следовательно, опыт пока не может быть рациональным, по крайней мере, в том смысле, которого мы жаждем.

ЛОГИЧЕСКАЯ СЕРИЯ.

С функцией сравнения тесно связана функция *суждения, предикации или субституции*. На самом деле эти элементарные интеллектуальные функции настолько перекликаются друг с другом, что зачастую лишь вопрос практического удобства заключается в том, назовем ли мы данную умственную операцию именем одной или другой. В результате сравнения образуются группы сходных вещей, а в дальнейшем (через различение и абстрагирование) - представления о том, в каких *аспектах* эти сходства проявляются. Группы - это *роды* или *классы*, а аспекты - *характеристики* или *атрибуты*. Атрибуты снова можно сравнивать, формируя роды более высокого порядка, и выделять их признаки; таким образом, мы получаем новый вид серии - *предикацию, или вид, включающий вид*. Так, лошади - четвероногие, четвероногие - животные, животные - машины, машины - изнашивающиеся и т. д. В таком ряду, как этот, несколько соединений терминов могли быть сделаны первоначально в разное время и при разных обстоятельствах. Но память может свести их вместе впоследствии; и всякий раз, когда это происходит, наша способность воспринимать последовательное увеличение делает нас сознательными их как единую систему последовательных терминов, объединенных одним и тем же отношением.^[539]

Теперь, когда мы осознаем это, мы можем осознать дополнительное отношение, которое имеет высочайшее интеллектуальное значение, поскольку на нем строится вся структура логики. *Принцип опосредованной предикации или субсуммирования* - это всего лишь аксиома о пропущенных посредниках, примененная к серии последовательных предикаций. Он выражает тот факт, что любой более ранний термин в серии стоит к любому более позднему термину в том же отношении, в котором он стоит к любому промежуточному термину; другими словами, то, что *имеет атрибут, имеет все атрибуты этого атрибута*; или, более кратко говоря, то, что *имеет вид, имеет вид этого вида*. Небольшое объяснение этого утверждения прояснит все, что оно подразумевает.

В главе "Рассуждение" мы узнали, что является основным мотивом для абстрагирования атрибутов и их предикации. Дело в том, что наши разнообразные практические цели требуют от нас в разное время задействовать различные аспекты реальности. Но для них мы должны быть удовлетворены тем, что "видим ее целиком" и всегда одинаково. Цель, однако, делает один аспект существенным; поэтому, чтобы избежать рассеивания внимания, мы обращаемся с реальностью так, как если бы на данный момент она была ничем иным, как этим аспектом, и оставляем в покое его дополнительные детерминации. Короче говоря, мы заменяем аспект всей реальностью. *Для нашей цели* аспект можно заменить целым и рассматривать их как одно и то же; а слово *is* (которое соединяет целое с его аспектом или

атрибутом в категорическом суждении) выражает (помимо всего прочего) проведенную операцию идентификации. Предикация-серия a есть b , b есть c , c есть d ,... для определенных практических целей близко напоминает уравнения-серии $a = b$, $b = c$, $c = d$, и т.д.

Но какова наша цель в предикации? В конечном счете, это может быть все, что угодно; но в ближайшем будущем и немедленно это всегда удовлетворение определенного любопытства относительно того, связан или нет данный объект с этой конечной целью. Обычно эта связь не очевидна, и мы обнаруживаем, что объект S относится к виду, связанному с P , только после того, как сначала выясним, что он относится к виду M , который сам по себе связан с P . Так, чтобы закрепить наши идеи на примере, у нас есть любопытство (наша конечная цель - покорение природы), как может двигаться Сириус. Не очевидно, является ли Сириус такой вещью, которая движется по линии зрения, или нет. Однако когда мы обнаруживаем, что он представляет собой нечто вроде , в спектре которого водородная линия смещена, и когда мы размышляем о том, что *это* нечто представляет собой нечто, движущееся в пределах прямой видимости, мы приходим к выводу, что Сириус движется. Каким бы ни был атрибут Сириуса, Сириус - это Сириус; его прилагательное может заменить его собственное прилагательное в нашем мышлении, и это без ущерба для нашего знания, *если мы придерживаемся определенной цели*.

Обратите внимание, что это устранение промежуточных видов и передача "есть" по линии - результат нашего понимания самого значения слова "есть" и структуры любого ряда терминов, связанных этим отношением. Это не имеет никакого отношения к тому, чем является или не является любая конкретная вещь; но, *чем бы ни была* любая данная вещь, мы видим, что она также является чем бы *то* ни было, неограниченно. Постичь в одном представлении последовательность "есть" - значит постичь это отношение между терминами, которые они соединяют; точно так же, как постичь список последовательных равных - значит постичь их *взаимное* равенство во всем. Таким образом, принцип опосредованного замещения выражает отношения идеальных объектов как таковых. Он может быть обнаружен умом, оставленным наедине с любым набором значений (как бы они ни были получены изначально), из которых одни являются предикативными по отношению к другим. Как только мы выстраиваем их в последовательную линию, мы видим, что можем отказаться от посредников, обращаться с отдаленными терминами так же, как с близкими, и ставить род на место вида. Это показывает, что *принцип опосредованного замещения не имеет никакого отношения ни к конкретному порядку нашего опыта, ни к внешним сосуществованиям и последовательностям терминов*. Если бы он был всего лишь порождением привычки и ассоциации, мы были бы вынуждены считать его не имеющим универсальной силы; ведь каждый час в течение дня мы встречаем вещи, которые считаем относящимися к тому или иному виду, но позже узнаем, что они не обладают ни одним из свойств вида, что они *не* принадлежат к роду. Однако вместо того, чтобы корректировать принцип с помощью этих случаев, мы корректируем случаи с помощью принципа. Мы говорим, что если вещь, которую мы называли M , не обладает свойствами M , то мы либо ошиблись, назвав ее M , либо ошиблись в свойствах M ; или же что она больше не M , а изменилась. Но мы никогда не говорим, что это M без свойств M . Ибо, представляя себе вещь как принадлежащую к виду M , я имею в виду, что она *должна* обладать свойствами M , быть принадлежащей к виду M , даже если я никогда не смогу найти в реальном мире ничего, что было бы M . Этот принцип проистекает из моего восприятия того, что *означает* множество последовательных "есть". Это восприятие может быть не более подтверждено одним набором или ослаблено другим набором внешних фактов, чем восприятие того, что черное - не белое, может быть подтверждено тем, что снег никогда не чернеет, или ослаблено тем, что фотобумага чернеет, как только вы кладете ее на солнце.

Абстрактная схема последовательных предикаций, расширяемая до бесконечности, со всеми вытекающими из нее возможностями подмены, является, таким образом, неизменной системой истины, вытекающей из самой структуры и формы нашего мышления. *Если* какие-либо реальные понятия действительно вписываются в такую схему, они подчиняются ее законам; подчиняются *ли* они - это вопрос к фактам природы, ответ на который может быть получен только эмпирическим путем. *Формальная логика* - это название науки, которая в скелетной форме прослеживает все отдаленные отношения терминов, связанных друг с другом последовательными "и", и перечисляет их возможности взаимной замены. Нашему принципу опосредованного замещения она дала различные формулировки, лучшей из которых, пожалуй, является такое широкое выражение: *то же самое может быть заменено на то же самое в любой умственной операции*. [540]

Обычный логический ряд содержит всего три термина - "Сократ, человек, смертный". Но у нас также есть "сориты" - Сократ, человек, животное, машина, сбитый, смертный и т. д. - и представлять их как силлогизмы с подавленными терминами - это нарушение психологии. Основанием существования логики вообще является наша способность воспринимать любой ряд как целое, и чем больше в нем терминов, тем лучше. Это синтетическое сознание единого направления продвижения через множество терминов - это, по-видимому, то, чего не могут достичь животные и низшие люди, и то, что дает нам наша необыкновенная сила рационального мышления. Ум, способный воспринять ряд "и" как единое целое - объекты, связанные ими, могут быть идеальными или реальными, физическими, ментальными или символическими, безразлично - может также применить к нему принцип пропущенных посредников. *Таким образом, логический список по своему происхождению и сущностной природе подобен тем классификационным спискам, которые мы уже описывали ранее.* Рациональное предложение", лежащее в основе всех рассуждений, *диктум de omni et nullo* во всех различных формах, в которых он может быть выражен, фундаментальный закон мышления, является, таким образом, *лишь результатом функции сравнения* в уме, который по счастливой случайности воспринял ряд из более чем двух терминов одновременно. [541] Таким образом, *и систематическая классификация, и логика оказываются случайными результатами простой способности различать различие и сходство*, а эта способность - вещь, к которой *порядок опыта*, как его правильно называть, не имеет абсолютно никакого отношения.

Но как же так получилось (можно спросить), что, когда систематические классификации имеют столь малое теоретическое значение - ведь представление о вещах в соответствии с их простыми степенями сходства всегда уступает другим способам представления, когда они могут быть получены, - логические отношения между вещами должны стать таким мощным двигателем для работы с фактами жизни?

В главе XXII уже приводилась причина (см. с. 335, выше). Этот мир *мог бы* быть миром, в котором все вещи различаются и в котором те свойства, что есть, конечны и не имеют дальнейших предикатов. В таком мире было бы столько видов, сколько отдельных вещей. Мы никогда не смогли бы подвести новую вещь под старый вид; а если бы и смогли, то никаких последствий не последовало бы. Или, опять же, это может быть мир, в котором бесчисленное множество вещей имеет вид, но в котором ни одна конкретная вещь не остается в одном виде долго, а все объекты находятся в потоке. И в этом случае, хотя мы могли бы подводить итоги и делать выводы, наша логика не имела бы для нас практической пользы, поскольку предметы наших предложений менялись бы, пока мы говорили. В таких мирах логические отношения существовали бы и были известны (несомненно), как и сейчас, но они составляли

бы лишь теоретическую схему и не были бы полезны для жизни. Но наш мир - не такой мир. Это очень своеобразный мир, который играет на руку логике. По крайней мере, *некоторые* из вещей, которые в нем содержатся, имеют тот же вид, что и другие вещи; *некоторые* из них всегда остаются такими же, какими они были когда-то; а некоторые их свойства неразрывно связаны между собой и всегда встречаются вместе. *Какие именно* вещи являются этими последними, мы узнаем на опыте в строгом смысле этого слова, а результаты опыта воплощаются в "эмпирических предложениях". Всякий раз, когда мы встречаем такую вещь, наша проницательность отмечает, что она определенного рода; наше обучение немедленно вспоминает род этого рода, затем род *того* рода, и так далее; так что одно мгновение размышлений может заставить нас понять, что вещь относится к роду настолько отдаленному, что мы никогда не смогли бы непосредственно уловить связь. Полет к этому последнему виду *над головами посредников* является существенной чертой интеллектуальной операции. Очевидно, он является чистым результатом нашего чувства восприятия последовательного увеличения; и, в отличие от нескольких предложений, которые составляют серию (и которые могут быть эмпирическими), он не имеет ничего общего с временным и пространственным порядком, в котором вещи были пережиты.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.

Вот и все, что *касается априорной* необходимости, называемой систематической классификацией и логическим выводом. Другими соединениями данных, которые выдаются за *априорные* необходимости мышления, являются *математические* суждения и некоторые метафизические предложения. Последние мы рассмотрим далее. Что касается математических суждений, то все они являются "рациональными предложениями" в смысле, определенном на [с. 644](#), поскольку выражают результаты сравнения и ничего более. Математические науки имеют дело исключительно со сходствами и равенствами, а не с сосуществованиями и последовательностями. Поэтому они, в первую очередь, не имеют никакой связи с порядком опыта. Математика сравнивает числа и большие величины, что приводит к арифметике и геометрии соответственно.

Число, по-видимому, означает прежде всего штрихи нашего внимания при различении вещей. Эти штрихи остаются в памяти в виде групп, больших или малых, и эти группы можно сравнивать. Дискриминация, как мы знаем, психологически облегчается подвижностью вещи как целого ([с. 173](#)). Но внутри каждой вещи мы различаем части, так что количество вещей, которыми может быть любое данное явление, зависит в конечном счете от того, как мы его воспринимаем. Земной шар - один, если он не разделен на части; два, если он состоит из полушарий. Песчаная куча - это одна вещь или двадцать тысяч вещей, как нам удобнее ее считать. Мы развлекаем себя подсчетом *простых* штрихов, образующих ритмы, которые мы сравниваем и называем. Мало-помалу в нашем сознании формируется числовой ряд. Он, как и все списки терминов, в которых есть направление последовательного возрастания, несет в себе смысл тех опосредованных отношений между его терминами, которые мы выражаем аксиомой "большее, чем большее, есть большее, чем меньшее". Эта аксиома, по сути, является лишь способом утверждать, что термины действительно образуют возрастающий ряд. Но, помимо этого, нам известны и другие отношения между нашими ходами счета. Мы можем прерывать их, где захотим, и продолжать снова. При этом мы чувствуем, что прерывание не меняет самих штрихов. Мы можем считать 12 до конца; или считать 7, делать паузу, а затем считать 5, но все равно штрихи будут одинаковыми. Таким образом, мы проводим различие между актами счета и актами прерывания или группировки, как между неизменной материей и операцией простого перетасовывания, выполняемой над

ней. Материя - это исходные единицы или штрихи; , которые все способы группировки или комбинирования просто возвращают нам в неизменном виде. Короче говоря, *комбинации чисел - это комбинации их единиц*, что является фундаментальной аксиомой арифметики,[542] приводящей к таким следствиям, как $7 + 5 = 8 + 4$, потому что оба = 12. Сюда же относится общая аксиома опосредованного равенства, согласно которой равные из равных равны.[543] Принцип постоянства в наших значениях, если его применить к ходам счета, также порождает аксиому, что одно и то же число, оперированное (прерванное, сгруппированное) одним и тем же способом, всегда будет давать один и тот же результат или быть одним и тем же. А как иначе? Ведь ничего не изменилось.

Таким образом, арифметика и ее фундаментальные принципы не зависят от нашего опыта или устройства мира. Материя арифметики - это *умственная материя*; ее принципы вытекают из того факта, что материя образует ряд, который может быть разрезан нами как угодно, без изменения материи. Эмпирическая школа странным образом пыталась интерпретировать истины числа как результаты сосуществования внешних вещей. Джон Милль называет число физическим свойством вещей. Один", по мнению Милля, означает один вид пассивных ощущений, которые мы получаем, "два" - другой, "три" - третий. Одни и те же вещи, однако, могут вызывать у нас различные числовые ощущения. Три предмета, расположенные таким образом, ---, например, производят на нас иное впечатление, чем три предмета, расположенные таким образом, _-. Но опыт подсказывает нам, что каждый реальный объект-группа, который может быть расположен одним из этих способов, всегда может быть расположен и другим, и что $2 + 1$ и 3 , таким образом, являются способами нумерации вещей, которые "сосуществуют" неизменно друг с другом. Непокосимость нашей веры в их "сосуществование" (так Милль называет их эквивалентность) объясняется исключительно огромным количеством опыта, который мы имеем по этому поводу. Ведь все вещи, какие бы другие ощущения они нам ни давали, в любом случае дают нам числовые ощущения. Те числовые ощущения, которые одна и та же вещь может последовательно вызывать, - это числа, которые мы считаем равными друг другу; те, которые одна и та же вещь отказывается вызывать, - это те, которые мы считаем неравными.

Это настолько четкое изложение доктрины Милля, насколько я могу это сделать.[544] И ее несостоятельность написана на ее лицевой стороне. Горе арифметике, если бы это было единственным основанием для ее истинности! Одни и те же реальные вещи поддаются подсчету бесчисленным образом и переходят из одной числовой формы не только в ее эквивалент (как подразумевает Милль), но и в другую, как это может решить спорт физических случайностей или наш способ наблюдения. Как могло бы наше представление о том, что один и один - это вечно и обязательно два, сохраниться в мире, где каждый раз, когда мы добавляем одну каплю воды к другой, мы снова получаем не две, а одну? В мире, где каждый раз, когда мы добавляем каплю к крошке негашеной извести, мы получаем дюжину или даже больше, - разве оно не имело бы лучшего основания, чем такой опыт? В крайнем случае мы могли бы сказать, что один и один - это, *как правило*, два. Наши арифметические предложения никогда не имели бы того уверенного тона, которым они обладают сейчас. Этот уверенный тон обусловлен тем, что они имеют дело исключительно с абстрактными и идеальными числами. *То, что мы подразумеваем под единицей плюс единица, - это два*; мы делаем из этого два; и это по-прежнему означало бы два даже в мире, где *физически* (в соответствии с концепцией Милля) каждый раз, когда одна вещь соединяется с другой, возникает третья. Мы хозяева своих значений и различаем вещи, которые мы имеем в виду, и наши способы их получения, между самими штрихами нумерации и нашими их связками и разделениями.

Миллю следовало бы не только сказать: "Все вещи пронумерованы". Для доказательства своей точки зрения он должен был показать, что они *однозначно* пронумерованы, а это, как известно, не так. Однозначны только сами абстрактные числа, только те, которые мы создаем мысленно и привязываемся к ним как к идеальным объектам, всегда одним и тем же. Конкретная же природная вещь всегда может быть пронумерована самыми разнообразными способами. "Нам достаточно представить себе вещь, разделенную на четыре равные части (а все вещи можно представить себе разделенными таким образом)", - как вынужден говорить Милль, чтобы найти в ней число четыре, и так далее.

Отношение чисел к опыту подобно отношению "видов" в логике. До тех пор, пока опыт сохраняет свой вид, мы можем обращаться с ним с помощью логики. До тех пор, пока он сохраняет свое число, мы можем работать с ним с помощью арифметики. Однако, *если рассуждать здраво*, вещи постоянно меняют свои номера, так же как они меняют свои виды. Они постоянно распадаются и соединяются. Соединения и их элементы никогда не бывают численно одинаковыми, ибо элементов разумно много, а соединений разумно одно. Если мы не хотим, чтобы наша арифметика оставалась неприменимой к жизни, мы должны каким-то образом добиться большей числовой непрерывности, чем та, которую мы спонтанно находим. Поэтому Лавуазье открывает свои весовые единицы, которые остаются неизменными в соединениях и элементах, хотя объемные и качественные единицы изменились. Великое открытие! А современная наука превзошла его, отрицая, что соединения вообще существуют. Для науки не существует такого понятия, как "вода"; это лишь удобное название для H_2 и O , когда они переходят в положение $H-O-H$, а затем воздействуют на наши органы чувств новым способом. Современные теории атомов, тепла и газов - это, в сущности, лишь сильно искусственные приспособления для достижения того постоянства в количестве вещей, которое не покажет разумный опыт. "Чувственные вещи - это не те вещи, которые мне нужны, - говорит Наука, - потому что в своих изменениях они не будут сохранять свои числа неизменными". Чувственные качества не являются для меня качествами, потому что их с трудом можно вообще пронумеровать". Однако эти гипотетические атомы - вещи, эти гипотетические массы и скорости - качества для меня; они будут все время числиться".

Такими изощренными изобретениями и такой ценой для воображения людям удастся создать для себя мир, в котором реальные вещи должны быть принуждены *per fas aut nefas* по арифметическому закону.

Другая отрасль математики - *геометрия*. Ее объекты также являются идеальными творениями. Независимо от того, существуют ли в природе круги или нет, я могу знать, что я подразумеваю под кругом, и могу придерживаться своего значения; и когда я имею в виду два круга, я имею в виду две вещи одинакового вида. Аксиома постоянства результатов (см. выше, [с. 645](#)) действует и в геометрии. Одни и те же формы, обработанные одним и тем же способом (сложением, вычитанием или сравнением), дают одни и те же результаты - как же иначе? Аксиомы опосредованного сравнения ([с. 645](#)), логики ([с. 648](#)) и числа ([с. 654](#)) применимы к формам, которые мы представляем себе в пространстве, поскольку они похожи или отличаются друг от друга, образуют виды и являются исчисляемыми вещами. Но в дополнение к этим общим принципам, которые верны для пространственных форм так же, как и для других ментальных представлений, существуют определенные аксиомы, относящиеся исключительно к пространственным формам, которые мы должны кратко рассмотреть.

Три из них дают знаки тождества между прямыми линиями, плоскостями и параллелями. Прямые линии, имеющие две точки, плоскости, имеющие три точки, параллели к данной линии, имеющие одну точку, в целом совпадают. Одни говорят, что уверенность в этих аксиомах обусловлена многократным убеждением в их истинности, другие - что она обусловлена интуитивным знакомством со свойствами пространства. Это не так. Нам достаточно прямых линий, которые проходят через две точки только для того, чтобы снова разойтись, только мы не назовем их прямыми. Аналогично с плоскостями и параллелями. У нас есть определенное представление о том, что мы подразумеваем под каждым из этих слов; и когда нам предлагают нечто иное, мы видим разницу. Прямые линии, плоскости и параллели, как они изображаются в геометрии, - это всего лишь изобретения нашей способности воспринимать последовательное увеличение. Дальние продолжения этих форм, говорим мы, *должны* иметь такое же отношение к их последним видимым частям, какое те имели к еще более ранним частям. Отсюда следует (из аксиомы о пропуске промежуточных звеньев, которая действует во всех регулярных сериях), что части этих фигур, разделенные другими частями, должны совпадать по направлению, как и смежные части. Это единообразие направления, по сути, и есть все то, что заставляет нас заботиться об этих формах, придает им красоту и закрепляет их в нашем сознании. Но очевидно, что если две прямые или две плоскости, имеющие общий отрезок, разойдутся за пределы этого отрезка, то это произойдет только потому, что направление хотя бы одной из них изменилось. Расставание прямых и плоскостей *означает* изменение направления, означает принятие нового отношения к уже существующим частям; а принятие нового отношения означает прекращение быть прямой или плоскостью. Если мы понимаем под параллелью линию, которая никогда не встретится со второй линией; и если у нас есть одна такая линия, проведенная через точку, то любая новая линия, проведенная через эту точку, которая не совпадает с первой, должна быть наклонена к ней, а если наклонена, то должна приближаться ко второй, т.е. перестать быть параллельной ей. Здесь не нужны никакие свойства внеположного пространства: только определенное представление о едином направлении и постоянство в следовании своей точке.

Две другие аксиомы, свойственные геометрии, заключаются в том, что фигуры можно перемещать в пространстве без изменений, и что никакие изменения в способе деления данного пространства не изменяют его общего количества.^[545] Эта последняя аксиома аналогична той, которую мы обнаружили в числах. Целое равно его частям" - это сокращенный способ ее выражения. Человек не является тем же биологическим целым, если мы разрежем его на две части по шее, и тем же, если мы разделим его по лодыжкам; но геометрически он является тем же целым, независимо от того, в каком месте мы его разрезаем. Аксиома о том, что фигуры подвижны в пространстве, - это скорее постулат, чем аксиома. *Пока они* подвижны, между формами существуют определенные фиксированные равенства и различия, *независимо от того, где они расположены*. Но если бы перемещение в пространстве деформировало или увеличивало формы, то отношения равенства и т.д. всегда должны были бы выражаться с добавлением позиционной оценки. В предположении такого пространства, если бы законы его искривления и деформации были зафиксированы, можно было бы изобрести геометрию, столь же абсолютно определенную, как и наша. Однако она была бы гораздо сложнее нашей геометрии, которая делает простейшее возможное предположение; и, к счастью, обнаруживает, что это предположение, с которым пространство нашего опыта, кажется, соглашается.

С помощью этих принципов, играющих на руку друг другу, можно проследить взаимную эквивалентность огромного количества форм, даже таких, которые на первый взгляд почти не похожи друг на друга. Мы мысленно перемещаем и поворачиваем их, и обнаруживаем,

что их части накладываются друг на друга. Мы добавляем воображаемые линии, которые делят или увеличивают их, и обнаруживаем, что новые фигуры похожи друг на друга таким образом, что старые тоже эквивалентны. Таким образом, в итоге мы выражаем всевозможные формы в терминах других форм, расширяя наши знания о видах вещей, которыми являются некоторые другие виды вещей или к которым они эквивалентны.

В результате мы получаем новую систему ментальных объектов, которые можно рассматривать как идентичные для определенных целей, новую серию *эквивалентов*, почти бесконечно длинную, подобно серии эквивалентов между числами, часть которой выражает таблица умножения. И все это в первую очередь независимо от сосуществования и последовательности природы, а также независимо от того, были ли эти фигуры, о которых мы говорим, когда-либо пережиты внешне или нет.

СОЗНАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ - ОСНОВА РАЦИОНАЛЬНОСТИ.

Классификация, логика и математика - все это, таким образом, является результатом простой игры ума, сравнивающего свои представления, независимо от того, откуда они пришли. Существенным условием формирования всех этих наук является то, что мы должны были стать способными воспринимать ряды как таковые, различать их как однородные или неоднородные и как обладающие определенными направлениями того, что я назвал "возрастанием". Сознание серий - это человеческое совершенство, которое постепенно развивалось и сильно варьируется от человека к человеку. Его невозможно объяснить привычными ассоциациями с внешними впечатлениями, поэтому мы должны просто приписать его факторам, какими бы они ни были, внутреннего роста мозга. Однако, как только это сознание достигнуто, *опосредованное* мышление становится возможным; вместе с осознанием ряда может прийти осознание того, что исключение из него терминов оставит идентичные отношения между оставшимися терминами; таким образом, возникает восприятие отношений между вещами, настолько естественно разделенными, что в противном случае мы никогда бы не стали сравнивать их друг с другом.

Аксиома пропущенных посредников применима, однако, только к определенным конкретным сериям, и среди них к тем, которые мы рассмотрели, в которых повторяющееся отношение является либо различием, либо подобием, либо видом, либо числовым дополнением, либо продолжением в одном и том же линейном или плоском направлении. Таким образом, это не чисто формальный закон мышления, а вытекающий из природы предметов, о которых думают. Нельзя сказать, что во всех рядах однородно связанных терминов отдаленные члены связаны друг с другом так же, как и близкие; ведь это часто не соответствует действительности. Ряд А не В не С не D.... не позволяет проследить связь между удаленными терминами. Из двух отрицаний нельзя сделать никакого вывода. Также, если говорить конкретнее, любовник женщины вообще не любит своего возлюбленного, или противоречащий противоречащему противоречит тому, кому он противоречит. Убийца убийцы не убивает жертву последнего; знакомые или враги человека не обязательно должны быть знакомыми или врагами друг друга; две вещи, находящиеся поверх третьей вещи, не обязательно находятся друг на друге.

Все пропуски посредников и передача отношений происходят внутри однородных рядов. Но не все однородные серии допускают пропуск посредников и передачу отношений. Это зависит от того, какие это серии, от того, какие отношения они содержат. [546] Пусть не говорят, что это просто вопрос словесных ассоциаций, поскольку язык иногда позволяет нам переносить *название* отношения через пропущенные промежуточные звенья, а иногда нет; как, например, когда мы называем людей "прародителями" их отдаленных и

непосредственных потомков, но отказываемся называть их "отцами". Есть отношения, которые *по своей природе* переносимы, в то время как другие - нет. Отношение *условия*, например, является внутренне переносимым. То, что обуславливает условие, обуславливает то, что оно обуславливает - "причина причины есть причина следствия". Отношения отрицания и *фрустрации*, с другой стороны, не переносимы: то, что фрустрирует фрустрацию, не фрустрирует то, что она фрустрирует. Никакие терминологические изменения не отменят интимного различия между этими двумя случаями.

Ничто, кроме ясного взгляда на сами идеи, не покажет, применима ли к ним аксиома о пропущенных посредниках или нет. Их связи, непосредственные и отдаленные, вытекают из их внутренней природы. Мы пытаемся рассмотреть их определенным образом, привести их в определенные отношения, и обнаруживаем, что иногда нам это удается, а иногда нет. *Вопрос о том, существуют или нет внутренние и существенные связи между задуманными объектами как таковыми, на самом деле тождественен вопросу о том, можем ли мы получить какое-либо новое восприятие, мысленно соединив их вместе, или перейти от одного к другому посредством умственной операции, которая дает результат.* В случае одних идей и операций мы получаем результат; но в случае других - никакого результата. Там, где результат появляется, он обусловлен исключительно *природой* идей и операций. Возьмем, к примеру, голубизну и желтизну. Мы можем оперировать ими в одних случаях, но не в других. Мы можем сравнивать их, но не можем прибавить одно к другому или вычесть из него. Мы можем отнести их к общему виду, цвету, но мы не можем сделать один из них видом другого или вывести одно из другого. Это не имеет ничего общего с опытом. Ведь мы можем прибавить синий *пигмент* к желтому и снова вычесть его, и оба раза получим результат. Только мы прекрасно знаем, что это не сложение и не вычитание самих синих и желтых качеств или натур.[547]

Таким образом, невозможно отрицать тот факт, что *разум наполнен необходимыми и вечными отношениями, которые он находит между некоторыми своими идеальными представлениями и которые образуют детерминированную систему, не зависящую от порядка частот, в котором опыт может связывать исходные элементы представлений во времени и пространстве.*

Будем ли мы и дальше называть эти науки "интуитивными", "врожденными" или "априорными" органами истины или нет?[548] Лично я хотел бы это сделать. Но я не решаюсь использовать эти термины из-за одиозности, которой противоречивая история наделила их коннотацию для многих достойных людей. Самый политичный способ не оттолкнуть этих читателей - прославить имя бессмертного Локка. Ибо на самом деле на предыдущих страницах я не сделал ничего другого, кроме того, что немного прояснил учение четвертой книги Локка:

"Неизменность одних и тех же отношений между одними и теми же неизменными вещами - вот идея, которая показывает ему, что если три угла треугольника были однажды равны двум прямым углам, то они всегда будут равны двум прямым. И таким образом он приходит к уверенности, что то, что было однажды истинно в данном случае, истинно всегда; то, что идеи однажды согласовали, будет согласовано всегда..... На этом основании можно сказать, что конкретные демонстрации в математике дают общее знание. Если бы, таким образом,

представление о том, что одни и те же идеи вечно будут иметь одни и те же привычки и отношения, не было достаточным основанием знания, то не могло бы быть и знания общих положений в математике..... Все общее знание заключено только в наших собственных мыслях и состоит лишь в созерцании наших абстрактных идей. Там, где мы замечаем какое-либо согласие или несогласие между ними, там мы имеем общее знание; и, соединяя соответственно имена этих идей в предложения, мы можем с уверенностью произносить общие истины..... То, что однажды известно о таких идеях, будет вечно и навсегда истинным. Так что, что касается всех общих знаний, мы должны искать и находить их только в своем собственном разуме, и только изучение наших собственных идей обеспечивает нас этим. Истины, относящиеся к сущностям вещей (то есть к абстрактным идеям), вечны и могут быть выяснены только путем созерцания этих сущностей..... Знание есть следствие идей (какими бы они ни были), находящихся в нашем сознании, порождающих там некоторые общие предложения..... Такие предложения поэтому называются "вечными истинами"... потому что, будучи однажды сделаны относительно абстрактных идей так, чтобы быть истинными, они, когда бы они ни были снова сделаны, в любое время, прошедшее или грядущее, разумом, имеющим эти идеи, всегда будут истинными. Поскольку предполагается, что имена вечно обозначают одни и те же идеи, а одни и те же идеи неизменно имеют одинаковое отношение друг к другу, то предложения, касающиеся любых абстрактных идей, которые однажды стали истинными, должны быть вечными истинами".

Но что это за вечные истины, эти "соглашения", которые разум обнаруживает, едва рассмотрев свои собственные фиксированные значения, кроме того, что я сказал? - отношения сходства и различия, непосредственные или опосредованные, между терминами определенных серий. Классификация - это последовательное сравнение, логика - опосредованное подведение под понятие, арифметика - опосредованное равенство различных пучков движений внимания, геометрия - опосредованное равенство различных способов вырезания пространства. Ни одна из этих вечных истин ничего не говорит о фактах, о том, что есть или чего нет в мире. Логика не говорит, *существуют* ли Сократ, люди, смертные или бессмертные; арифметика не сообщает нам, где *находятся* 7, 5 и 12; геометрия не утверждает, что круги и прямоугольники *реальны*. Все, в чем эти науки нас убеждают, - это в том, что *если* эти вещи где-нибудь можно найти, то вечные истины будут получены из них. Соответственно, Локк не устает повторять, что

"универсальные положения, об истинности или ложности которых мы можем иметь определенное знание, не касаются существования..... Эти универсальные и самоочевидные принципы, будучи лишь нашим постоянным, ясным и отчетливым знанием наших собственных идей, более общих или всеобъемлющих, не могут уверить нас ни в чем, что проходит без разума; их уверенность основана лишь на знании каждой идеи самой по себе и ее отличии от других, относительно которых мы не можем ошибаться, пока они находятся в нашем сознании..... Математик рассматривает истину и свойства, принадлежащие прямоугольнику или кругу, только в том виде, в каком они представляются ему в его собственном уме. Ибо возможно, что он никогда в жизни не находил ни одного из них существующим математически, т.е. точно истинным. Но все же знания, которые он имеет о любых истинах или свойствах, относящихся к кругу или любой другой математической фигуре, тем не менее являются истинными и определенными даже о реально существующих вещах; потому что реальные вещи не имеют никакого более далекого отношения и не предназначены для обозначения любыми такими

предложениями, чем те, которые действительно согласуются с этими архетипами в его уме. Верно ли для идеи треугольника, что его три угла равны двум прямым? Это верно и для треугольника, где бы он ни существовал. Какая бы другая фигура ни существовала, не отвечающая в точности этой идее в его сознании, она не имеет никакого отношения к этому утверждению. И поэтому он уверен, что все его знания, касающиеся таких идей, являются реальными знаниями: потому что, представляя вещи не дальше, чем они согласуются с этими его идеями, он уверен, что то, что он знает об этих фигурах, когда они имеют лишь идеальное существование в его уме, будет справедливо и в отношении них, когда они имеют реальное существование в материи". Но "что какие-либо или какие-либо тела действительно существуют, это мы оставляем на усмотрение наших чувств, чтобы они открыли нам, насколько это возможно".[549]

Соответственно, Локк различает "умственную истину" и "реальную истину".[550] Первая интуитивно определена, вторая зависит от опыта. Только *гипотетически* мы можем утверждать интуитивные истины о реальных вещах, *предполагая*, что существуют реальные вещи, которые точно соответствуют идеальным предметам интуитивных предложений.

Если наши органы чувств подтверждают это предположение, все идет хорошо. Но обратите внимание на то, как странно упало в руках Локка достоинство *априорных* пропозиций. Древние считали, что они без лишних вопросов раскрывают конституцию реальности. Архетипические вещи существовали, как предполагалось, в тех отношениях, в которых мы должны были их мыслить. Необходимости разума служили гарантией бытия; и только во времена Декарта скептицизм настолько развился (в "догматических" кругах), что гарантия должна была быть обоснована, а истинность Божества должна была служить основанием для сохранения наших естественных представлений.

Но интуитивные пропозиции Локка не оставляют нас в отношении внешней реальности ничуть не лучше от того, что мы ими обладаем. Нам все еще приходится "обращаться к чувствам", чтобы узнать, какова реальность. Таким образом, обоснование интуитивистской позиции оказывается бесплодной победой. Вечные истины, на которые опирается сама структура нашего разума, сами по себе не обязательно опираются на внепсихическое бытие, и они, как утверждал позднее Кант,[551] законодательный характер даже для всего возможного опыта. Они интересны прежде всего как субъективные факты. Они стоят в ожидании в сознании, образуя прекрасную идеальную сеть; и самое большее, что мы можем сказать, это то, что мы *надеемся* обнаружить внешние реальности, на которые эта сеть может быть наброшена так, чтобы идеальное и реальное совпали.

И это возвращает нас к "науке", от которой мы так давно отвлеклись (см. с. 640). Наука считает, что она открыла внешние реальности, о которых идет речь. Атомы и эфир, не имеющие никаких свойств, кроме масс и скоростей, выражаемых числами, и траекторий, выражаемых аналитическими формулами, - вот, наконец, вещи, на которые можно набросить математико-логическую сеть, и, предполагая их вместо ощущаемых явлений, наука с каждым годом становится все более способной создавать для себя мир, о котором можно строить рациональные предложения. Разумные явления - это чистая иллюзия для механистической философии. Вещи" и качества, в которые мы инстинктивно верим, не существуют. Единственная реальность - это роящиеся твердые тела в вечном движении, волнообразном или непрерывном, чьи невыразительные и бессмысленные изменения образуют историю мира и выводятся из гипотетически предполагаемых первоначальных связей и

привычек движения. Тысячи лет назад люди начали приводить хаос природных последовательностей и сопоставлений в форму, которая могла бы показаться разумной. У них было множество идеальных прототипов рационального порядка: телеологические и эстетические связи между вещами, причинно-следственные и содержательные связи, а также логические и математические отношения. Наиболее перспективными из этих идеальных систем поначалу были, конечно, более богатые, сентиментальные. Самыми "лысыми" и наименее перспективными были математические; но история применения последних - это история неуклонно прогрессирующих успехов, в то время как история применения сентиментально богатых систем - это история относительного бесплодия и неудач.^[552] Возьмите те аспекты явлений, которые интересуют вас как человека больше всего, и классифицируйте их как совершенные и несовершенные, как цели и средства достижения целей, как высокие и низкие, красивые и уродливые, положительные и отрицательные, гармоничные и диссонирующие, пригодные и непригодные, естественные и неестественные и т. д., и все ваши результаты будут бесплодными. В идеальном мире вид "драгоценный" обладает характерными свойствами. То, что ценно, должно быть сохранено; недостойные вещи должны быть принесены в жертву ради него; исключения должны быть сделаны из-за него; его ценность является причиной действий других вещей и т. д. Но в реальном мире ничего из этого не должно происходить с вашим "драгоценным" предметом. Называйте природные вещи сколько угодно сентиментальными, моральными и эстетическими именами, из этого не следует никаких естественных последствий. Они могут быть того рода, который вы утверждаете, но не "рода": и последний великий создатель систем такого рода, Гегель, был вынужден прямо отречься от логики, чтобы делать хоть какие-то выводы из названий, которыми он называл вещи.

Но когда вы даете вещам математические и механические имена и называете их просто таким-то количеством твердых тел в таких-то положениях, описывающих такие-то пути с такими-то скоростями, все меняется. Ваша проницательность находит свое вознаграждение в подтверждении природой всех умозаключений, которые вы можете сделать в дальнейшем. Ваши "вещи" реализуют все *последствия* названий, под которыми вы их классифицировали. Современная механико-физическая философия, которой мы все так гордимся, потому что она включает в себя небулярную космогонию, сохранение энергии, кинетическую теорию тепла и газов и т.д. и т.п., начинается с того, что *единственными* фактами являются столкновения и движения первозданных твердых тел, а единственными законами - изменения движения, которые приносят изменения в столкновениях. Идеал, к которому стремится эта философия, - математическая формула мира, с помощью которой, если бы были известны все коллокации и движения в данный момент, можно было бы пересчитать их на любой желаемый момент в будущем, просто учитывая необходимые геометрические, арифметические и логические следствия. Как только мы получим мир в таком голом виде, мы сможем набросить нашу сеть *априорных* отношений на все его условия и переходить от одной его фазы к другой по внутренней мыслительной необходимости. Конечно, это мир с минимальным количеством рационального *материала*. Сентиментальные факты и отношения уничтожаются одним ударом. Но полученная рациональность настолько совершенна по *форме*, что для многих умов это искупает потерю и примиряет мыслителя с представлением о бесцельной вселенной, в которой все любимые людьми вещи и качества, *dulcissima mundi nomina*, - лишь иллюзии нашего воображения, прикрепленные к случайным облачкам пыли, которые будут рассеяны вечной космической погодой так же беспечно, как они были сформированы.

Распространенное представление о том, что "наука" навязана уму *ab extra* и что наши интересы не имеют никакого отношения к ее построениям, совершенно абсурдно. Стремление верить, что вещи мира принадлежат к видам, которые связаны между собой внутренней рациональностью, является родителем науки так же, как и сентиментальной философии; и оригинальный исследователь всегда сохраняет здоровое чувство того, насколько пластичны материалы в его руках.

"Раз и навсегда, - говорит Гельмгольц в начале своего небольшого труда, заложившего основы "сохранения энергии", - задача физических наук состоит в том, чтобы искать законы, с помощью которых конкретные процессы в природе могут быть отнесены к общим правилам и выведены из них снова. Такие правила (например, законы отражения или преломления света или законы Мариотта и Гей-Люссака для объемов газа), очевидно, являются не чем иным, как общими понятиями, охватывающими целые классы явлений. Их поиском занимается экспериментальный отдел нашей науки. Теоретический отдел, напротив, пытается открыть неизвестные причины процессов из их видимых следствий; пытается понять их с помощью закона причинности..... Конечная цель теоретической физики - найти последние *неизменные* причины процессов в природе. Действительно ли все процессы могут быть приписаны таким причинам, действительно ли, другими словами, *природа полностью разумна*, или существуют изменения, которые ускользают от закона необходимой причинности и попадают в область спонтанности или свободы, здесь не место для определения; но, во всяком случае, ясно, что наука, целью которой является сделать природу разумной [*die Natur zu begreifen*], должна начинать с *предположения* о ее разумности и выводить следствия в соответствии с этим предположением, пока неопровержимые факты не покажут ограниченность этого метода..... Постулат о том, что природные явления должны быть сведены к неизменным конечным причинам, далее формируется таким образом, что в качестве этих причин должны быть найдены *силы, неизменные временем*. Теперь в науке мы уже нашли части материи с неизменными силами (неразрушимыми качествами) и называли их (химическими) элементами. Если же мы представим себе мир, состоящий из элементов с неизменными качествами, то единственные изменения, которые могут оставаться возможными в таком мире, - это пространственные изменения, то есть движения, и единственные внешние отношения, которые могут изменять действие сил, тоже пространственные, или, другими словами, силы являются двигательными силами, зависящими для своего действия только от пространственных отношений. Еще точнее: явления природы должны быть сведены к [*zurückgeführt*, поняты как, классифицированы как] движения материальных точек с неизменными двигательными силами, действующими только в соответствии с пространственными отношениями..... Но точки не имеют никаких взаимных пространственных отношений, кроме расстояния, ... и двигательная сила, которую они оказывают друг на друга, не может вызывать ничего, кроме изменения расстояния - т.е. быть притягивающей или отталкивающей силой..... И ее интенсивность может зависеть только от расстояния. Так что, наконец, задача физики сводится к тому, чтобы отнести явления к неизменным притягательным и отталкивательным силам, интенсивность которых меняется с расстоянием. Решение этой задачи было бы в то же время условием полной разумности природы".[553]

Субъективный интерес, приведший к предположению, не может быть выражен более откровенно. Что делает предположение "научным", а не просто поэтическим, что делает

Гельмгольца и ему подобных *первооткрывателями*, так это то, что вещи в природе, оказывается, ведут себя так, как если бы они были такого рода, как предполагалось. Они ведут себя так, как вели бы себя простые рисующие и движущие атомы; и пока они достаточно четко переведены в молекулярные термины, чтобы проверить это, пока некий фантастически идеальный объект, а именно математическая сумма, содержащая их взаимные расстояния и скорости, оказывается постоянной во всех их движениях. Эта сумма называется полной энергией рассматриваемых молекул. Ее постоянство или "сохранение" дает название гипотезе о молекулах и центральных силах, из которой она была логически выведена.

Возьмите любую другую математико-механическую теорию, и с ней будет то же самое. Все они представляют собой перевод чувственного опыта в другие формы, замену предметов, между которыми существуют идеальные отношения вида, числа, формы, равенства и т. д., на предметы, между которыми таких отношений нет; в сочетании с заявлениями о том, что опытная форма ложна, а идеальная форма истинна, заявлениями, которые оправдываются появлением новых чувственных опытов именно в то время и в том месте, где, по логическому выводу, должны находиться их идеальные корреляты. Так, волновые гипотезы заставляют нас предсказывать кольца темноты и цвета, искажения, рассеивания, изменения высоты тона в движущихся от нас звуковых телах и т. д.; молекулярные гипотезы приводят к предсказаниям плотности пара, точки замерзания и т. д., - и все эти предсказания сбываются.

Таким образом, мир становится все более упорядоченным и рациональным для разума, который переходит от одной его черты к другой по дедуктивной необходимости, как только он представляет себе его состоящим из столь немногих и столь простых явлений, как тела, не имеющие никаких свойств, кроме числа и движения туда и обратно.

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ АКСИОМЫ.

Но наряду с этими идеальными отношениями между понятиями, которые проверяет мир, существуют и другие идеальные отношения, которые пока не проверяются. Я имею в виду те предложения (уже не выражающие просто результаты сравнения), которые сформулированы в таких метафизических и эстетических аксиомах, как "Принцип вещей един"; "Количество существования неизменно"; "Природа проста и неизменна"; "Природа действует кратчайшими путями"; "*Ex nihilo nihil fit*"; "Не может возникнуть ничего, что не было бы заложено"; "Что есть в следствии, то должно быть и в причине"; "Вещь может действовать только там, где она есть"; "Вещь может влиять только на другую вещь своего рода"; "*Cessante causa, cessat et effectus*"; "Природа не делает скачков"; "Вещи принадлежат к дискретным и постоянным видам"; "Ничто не существует и не происходит без причины"; "Весь мир рационально объясним"; и т.д., и т. д., и т. п. Подобные принципы, которые можно перечислять до бесконечности, [554] правильно называть *постулатами рациональности*, а не утверждениями факта. Если бы природа подчинялась им, она *была бы pro tanto* более понятной; а мы тем временем стремимся так представить себе ее явления, чтобы показать, что она им подчиняется. В определенной степени нам это удастся. Например, вместо "количества существования", столь смутно постулируемого как неизменное, природа позволяет нам предположить ту любопытную сумму расстояний и скоростей, которую за неимением лучшего термина мы называем "энергией". Вместо "следствия, содержащегося в причине", природа позволяет нам заменить "следствие - причиной", как только она позволяет нам представить себе и следствие, и причину как одни и те же молекулы,

находящиеся в двух последовательных положениях. -Но вокруг этих зарождающихся успехов (как и вокруг всего молекулярного мира, как только мы добавляем к нему в качестве "эффектов" те иллюзорные "вещи" здравого смысла, которые мы должны были уничтожить ради него) все еще простирается огромное поле иррационализированных фактов, элементы которых просто *находятся* вместе, и от одного к другому из которых мы не можем перейти никаким идеально "рациональным" путем.

Дело не в том, что эти более метафизические постулаты рациональности абсолютно бесплодны - хотя они были достаточно бесплодны, когда использовались, как использовали их схоласты, в качестве непосредственных пропозиций факта.[555] Они плодотворны как идеалы, заставляют нас волноваться и постоянно стремиться переделать мир чувств, пока его линии не станут более конгруэнтными с ними. Возьмем, к примеру, принцип "ничто не может произойти без причины". У нас нет определенного представления о том, что мы понимаем под причиной или в чем состоит причинность. Но этот принцип выражает требование *какой-то* более глубокой внутренней связи между явлениями, чем та, которая представляется нам просто привычной временной последовательностью. Слово "причина" - это, короче говоря, алтарь неизвестному богу; пустой пьедестал, все еще отмечающий место ожидаемой статуи. *Любая* действительно внутренняя связь последовательных терминов, если бы она была обнаружена, была бы принята за то, что должно было обозначать слово "причина". Поэтому мы ищем, ищем; и в молекулярных системах мы находим некую внутреннюю принадлежность в понятии тождества материи с изменением коллокации. Возможно, продолжая искать, мы сможем найти и другие виды внутренней принадлежности, даже между молекулами и теми "вторичными качествами" и т. д., которые они вызывают в нашем сознании.

Нельзя слишком часто повторять, что триумфальное применение любой из наших идеальных систем рациональных отношений к реальному миру оправдывает нашу надежду на то, что другие системы также могут быть найдены применимыми. Метафизика должна взять пример с физики, просто признав, что ее задача более сложная. Природа *может* быть переделана, нет, несомненно, будет переделана, причем далеко за пределами достигнутого в настоящее время уровня. Насколько далеко - это вопрос, на который может ответить только вся будущая история науки и философии.[556] Наша задача - психология, и мы не можем даже переступить порог этой большой проблемы.

Помимо ментальной структуры, которая приводит к таким метафизическим принципам, как только что рассмотренные, существует ментальная структура, которая выражает себя в

АЭСТЕТИЧЕСКИЕ И МОРАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ.

Эстетические принципы - это, по сути, такие аксиомы, как то, что нота хорошо звучит с третьей и пятой, или что картофель нужно солить. Мы раз и навсегда устроены так, что, когда перед нашим мысленным взором возникают определенные впечатления, одно из них как бы призывает или отталкивает другие в качестве своих спутников. В определенной степени принцип привычки объясняет эти эстетские связи. При многократном повторении связки ее термины становятся благодарными, или, по крайней мере, их нарушение становится неприятным. Но объяснять таким образом *все эстетические* суждения было бы абсурдно; ведь известно, как редко естественный опыт соответствует нашим эстетическим требованиям. Многие из так называемых метафизических принципов в основе своей являются лишь выражением эстетского чувства. Природа проста и неизменна; не делает

скачков, или делает только скачки; рационально понятна; не увеличивается и не уменьшается в количестве; вытекает из одного принципа и т. д. и т. п., - что выражают все эти принципы, кроме нашего чувства того, как приятно было бы нашему интеллекту, если бы он имел дело с природой такого рода? Субъективность этого чувства, конечно, вполне совместима с тем, что впоследствии Природа объективно также окажется такого рода.

Моральные принципы, заложенные в нашей психической структуре, столь же мало объяснимы в целом привычным опытом, породившим внутреннее единство. Правильность - это не *просто* обычность, неправильность - не *просто* странность, какими бы многочисленными ни были факты, на которые можно было бы сослаться для доказательства такой идентичности. Не являются моральными суждениями и те, которые неизменно и категорически внушаются нам общественным мнением. Наиболее характерные и специфически нравственные суждения, которые когда-либо приходится выносить человеку, возникают в беспрецедентных случаях и одиноких чрезвычайных ситуациях, когда никакие популярные риторические максимы не могут помочь, и только скрытый оракул может говорить; и он часто говорит в пользу поведения совершенно необычного и самоубийственного с точки зрения получения одобрения народа. Силы, подталкивающие к такому результату, - это тонкие гармонии и диссонансы между элементарными идеями, составляющими данные дела. Некоторые из этих гармоний, несомненно, связаны с привычкой; но в отношении большинства из них наша чувствительность, несомненно, должна быть явлением сверхнормального порядка, соотнесенным с мозговой функцией, столь же вторичной, как и та, которая воспринимает разнообразные совершенства сложных музыкальных композиций. Не в большей степени, чем более высокая музыкальная чувствительность, более высокая моральная чувствительность может быть объяснена частотой сцепления внешних отношений.^[557] Возьмем, к примеру, суждения о справедливости или равенстве. Инстинктивно человек судит обо всем по-разному, в зависимости от того, относится ли это к нему самому или к кому-то другому. Эмпирически он замечает, что все остальные поступают так же. Но постепенно в человеке зарождается суждение: "Для меня не может быть правильным ничего, что не было бы правильным для другого, находящегося в таком же положении"; или "Исполнение моих желаний по своей сути не более настоятельно, чем чьих-либо других"; или "Что разумно, чтобы другой делал для меня, то разумно и то, что я должен делать для него";^[558] и сразу же вся масса привычного опрокидывается. *Серьезно* опрокидывается она только в нескольких фанатичных головах. Но это происходит не с парадного хода, а с черного хода. Некоторые умы сверхъестественно чувствительны к логической последовательности и непоследовательности. Если они отнесли вещь к какому-то виду, они *должны* относиться к ней так же, как и к этому виду, иначе они будут чувствовать себя не в своей тарелке. Во многих отношениях мы действительно классифицируем себя с другими людьми, называя их и себя общим именем. Они сходятся с нами в том, что у них один и тот же Небесный Отец, что с ними не советовались по поводу их рождения, что они не должны сами благодарить или винить себя за свои природные дары, что у них одни и те же желания, боли и удовольствия, словом, во множестве фундаментальных отношений. Следовательно, *если эти вещи являются нашей сущностью*, мы должны быть заменяемы другими людьми, а они - нами, в любом предложении, в котором участвует любой из нас. Чем фундаментальнее и обычнее выбранная сущность и чем проще рассуждения,^[559] тем более дико радикальной и безусловной будет справедливость, к которой стремятся. Жизнь - это одна долгая борьба между выводами, основанными на абстрактных представлениях о случаях, и противоположными заключениями, подсказанными нашим инстинктивным восприятием их как отдельных фактов. Логический приверженец справедливости всегда кажется педантичным и механистичным человеку, который руководствуется тактом и конкретным

случаем, и обычно плохо аргументирует свои доводы. Иногда лучше путь абстрактного мыслителя, иногда - человека инстинкта. Но так же, как при изучении рассуждений мы не смогли установить никаких признаков, позволяющих отличить *правильную* концепцию конкретного случая от *путаницы* (см. с. 336, 350), так и здесь мы не можем дать общего правила для решения вопроса, когда морально полезно рассматривать конкретный случай как *sui generis*, а когда объединять его с другими в абстрактный класс.[560]

Адекватное рассмотрение того, как мы приходим к нашим эстетическим и моральным суждениям, потребовало бы отдельной главы, которую мне неудобно включать в эту книгу. Достаточно сказать, что эти суждения выражают внутренние гармонии и диссонансы между объектами мысли; и что, хотя часто повторяющиеся внешние сцепления часто кажутся гармоничными, все гармонии не возникают таким образом, а наше ощущение многих из них является вторичной и случайной функцией разума. Там, где утверждается, что реальный мир гармоничен, это, очевидно, просто постулаты рациональности, поскольку они выходят за пределы опыта. Примером таких постулатов могут служить этические постулаты, согласно которым индивидуальное и всеобщее благо едины, а счастье и добро обязательно объединяются в одном и том же субъекте.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО.

Теперь я подведу итог нашему прогрессу, кратко изложив наиболее важные выводы, к которым мы пришли.

Разум обладает врожденной структурой в том смысле, что определенные его объекты, если их рассматривать вместе определенным образом, дают определенные результаты; и что никакие другие способы рассмотрения и никакие другие результаты невозможны, если брать те же объекты.

Результатом являются "отношения", которые выражаются суждениями субсуммирования и сравнения.

Суждения субсуммирования сами подчинены *законам логики*.

Суждения сравнения выражаются в *классификациях*, а также в *науках арифметики и геометрии*.

Мнение мистера Спенсера о том, что наше сознание классификационных, логических и математических отношений между идеями обусловлено частотой, с которой соответствующие "внешние отношения" впечатляют наш разум, невразумительно.

Наше сознание этих отношений, несомненно, имеет естественный генезис. Но искать его следует скорее во внутренних силах, которые заставили мозг расти, а не в простых путях "частых" ассоциаций, которые внешние стимулы могли проложить в этом органе.

Но пусть наше чувство этих отношений возникло как угодно, сами отношения образуют фиксированную систему линий расщепления, так сказать, в сознании, по которым мы естественно переходим от одного объекта к другому; и объекты, связанные этими линиями расщепления, часто не связаны никакими регулярными временными и пространственными ассоциациями. Поэтому мы различаем эмпирический порядок вещей и рациональный

порядок их сравнения; и, насколько это возможно, мы стремимся перевести первый во второй, как более благоприятный для нашего интеллекта.

Любая классификация вещей по видам (особенно если виды образуют серии или последовательно влекут друг друга) является более рациональным способом представления о вещах, чем простое сопоставление или разделение их как индивидов во времени и пространстве, которое является порядком их грубого восприятия. Любое уподобление вещей терминам, между которыми возникают такие классификационные отношения с их отдаленными и опосредованными операциями, является способом приведения вещей в более рациональную схему.

Твердые тела в движении - это такие понятия; а механическая философия - это лишь способ представить себе природу так, чтобы расположить ее элементы вдоль некоторых более естественных линий расщепления нашей психической структуры.

Другими естественными линиями являются моральные и эстетические отношения. Философия все еще стремится представить себе вещи так, чтобы эти отношения также могли казаться существующими между ними.

До тех пор пока вещи не удастся так представить, моральные и эстетические отношения существуют только между *entia rationis*, терминами в разуме; а моральные и эстетические принципы остаются лишь постулатами, а не предложениями, по отношению к реальному внешнему миру.

Таким образом, существует большое количество *априорных* или интуитивно необходимых истин. Как правило, это истины только *сравнения*, и в первую очередь они выражают отношения между чисто ментальными понятиями. Природа, однако, действует так, как если бы некоторые из ее реалий были тождественны этим ментальным терминам. В той мере, в какой она это делает, мы можем делать *априорные* предложения относительно природных фактов. Цель как науки, так и философии состоит в том, чтобы сделать идентифицируемые термины более многочисленными. До сих пор было легче идентифицировать природные вещи с ментальными терминами механического, чем с ментальными терминами сентиментального порядка.

Самый широкий постулат рационализма заключается в том, что мир рационально осмыслен по образцу *некоторой* идеальной системы. Вся война философий ведется за этот пункт веры. Одни говорят, что уже видят путь к рациональности, другие - что он безнадежен в любом другом случае, кроме механического. Для некоторых сам факт существования мира кажется иррациональным. Для таких умов небытие было бы более естественной вещью, чем существование. Один философ, по крайней мере, говорит, что связанность вещей друг с другом в любом случае иррациональна и что мир отношений никогда не может быть осмыслен.^[561]

На этом я могу считать, что завершил программу, которую объявил в начале главы, в том, что касается *теоретической* части нашей органической ментальной структуры. Она не может быть обусловлена ни нашим собственным опытом, ни опытом наших предков. Теперь я перехожу к практической части нашей органической психической структуры. Здесь дела обстоят несколько иначе; и наш вывод, хотя он и лежит в том же направлении, не может быть выражен столь же уверенно.

Чтобы быть как можно более кратким и простым, я возьму случай инстинктов и, полагая, что читатель знаком с [главой XXIV](#), погружусь в *medias res*.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИНСТИНКТОВ.

Инстинкты должны были быть либо

- 1) Каждый из них был специально создан в законченном виде, либо
- 2) Постепенно развиваться.

Поскольку первая альтернатива в настоящее время устарела, я перехожу непосредственно ко второй. Два наиболее заметных предположения о том, как могли развиваться инстинкты, связаны с именами Ламарка и Дарвина.

Ламарк утверждает, что у животных есть *потребности*, и для их удовлетворения они приобретают *привычки*, которые постепенно превращаются во множество склонностей, которым они не могут ни противостоять, ни изменить. Эти *склонности*, однажды приобретенные, распространяются путем передачи молодым, так что они появляются в новых особях, предшествуя всем упражнениям. Таким образом, одни и те же эмоции, одни и те же привычки, одни и те же *инстинкты* сохраняются без изменений от одного поколения к другому, пока внешние условия существования остаются неизменными.^[562] Мистер Льюс называет это теорией "утраченного интеллекта". Слова мистера Спенсера яснее, чем слова Ламарка, поэтому я процитирую его:^[563]

"Если мы исходим из неоспоримого предположения, что каждая новая форма эмоций, появляющаяся у человека или расы, является модификацией какой-то ранее существовавшей эмоции или соединением нескольких ранее существовавших эмоций, то нам очень поможет знание того, что всегда является ранее существовавшими эмоциями. Например, когда мы обнаруживаем, что очень немногие, если вообще кто-либо из низших животных проявляет любовь к накоплению, и что это чувство отсутствует в младенчестве; когда мы видим, что младенец на руках проявляет гнев, страх, удивление, но при этом не проявляет желаний постоянного владения; и что животное, не имеющее эмоций приобретения, тем не менее может чувствовать привязанность, ревность, любовь к одобрению, - мы можем подозревать, что чувство, которое удовлетворяет собственность, состоит из более простых и глубоких чувств. Мы можем заключить, что, как в случае, когда собака прячет кость, в ней должно существовать перспективное удовлетворение голода, так и во всех случаях, когда что-либо приобретается или переходит в собственность, должно существовать идеальное возбуждение чувства, которое эта вещь будет удовлетворять. Далее мы можем заключить, что когда интеллект таков, что разнообразные предметы используются для различных целей; когда, как у дикарей, различные потребности удовлетворяются с помощью предметов, предназначенных для оружия, крова, одежды, украшений, - акт присвоения становится постоянно, вызывая приятные ассоциации, и поэтому доставляет удовольствие, независимо от цели, которой он служит. А когда, как в цивилизованной жизни, приобретаемая собственность не относится к одному порядку удовольствий, а способна служить всем удовольствиям, удовольствие от приобретения собственности становится более отчетливым от каждого из различных получаемых удовольствий - более полно дифференцируется в отдельную эмоцию.^[564] Хорошо известно, что на недавно открытых островах, не заселенных человеком, птицы настолько лишены страха, что позволяют сбивать себя палками, но с течением поколений они приобретают такой страх перед

человеком, что улетают при его приближении, и этот страх проявляется как у молодых, так и у старых. Если не приписывать это изменение уничтожению наименее пугливых и сохранению и размножению более пугливых, что, учитывая малое количество убитых человеком птиц, является недостаточной причиной, то его следует приписать накопленному опыту, и каждый опыт должен иметь свою долю в его производстве. Мы должны заключить, что в каждой птице, которая спасается от ран, нанесенных человеком, или встревожена криками других членов стаи, ... устанавливается ассоциация идей между человеческим аспектом и болью, прямой и косвенной, причиненной человеческими действиями. И мы должны далее заключить, что состояние сознания, побуждающее птицу взлететь, вначале является не более чем идеальным воспроизведением тех болезненных впечатлений, которые прежде следовали за приближением человека; что такое идеальное воспроизведение становится все более ярким и более массивным по мере увеличения болезненных переживаний, прямых или сочувственных; и что, таким образом, эмоция в ее зарождающемся состоянии есть не что иное, как совокупность возрожденных ранее пережитых болей. Поскольку в течение нескольких поколений молодые птицы этой расы начинают проявлять страх перед человеком, еще не получив от него травмы, неизбежно напрашивается вывод, что нервная система расы была органически изменена этими переживаниями; Нам остается только заключить, что когда молодая птица таким образом побуждается к полету, то это происходит потому, что впечатление, произведенное на ее чувства приближающимся человеком, влечет за собой, посредством зарождающегося рефлекторного действия, частичное возбуждение всех тех нервов, которые у ее предков были возбуждены при подобных условиях; что это частичное возбуждение сопровождается болезненным сознанием; и что возникающее таким образом смутное болезненное сознание представляет собой собственно эмоцию - эмоцию, *не разложимую на конкретные переживания и потому кажущуюся однородной.* Если таково объяснение факта в данном случае, то таково оно и во всех случаях. Если эмоция возникает здесь, то она возникает и во всех других случаях. Если это так, то мы должны сделать вывод, что эмоциональные модификации, демонстрируемые разными народами, и те высшие эмоции, по которым цивилизованные люди отличаются от дикарей, должны объясняться по одному и тому же принципу. И, заключив это, мы получаем серьезное основание подозревать, что эмоции в целом имеют раздельное происхождение".[565]

Очевидно, что слово "эмоция" здесь означает также инстинкт, - действия, которые мы называем инстинктивными, являются выражением или проявлением тех эмоций, генезис которых описывает мистер Спенсер. Если бы привычка могла приносить плоды за пределами индивидуальной жизни и если бы модификации, столь болезненно приобретаемые нервными системами родителей, могли быть найдены готовыми при рождении в нервных системах молодых, было бы трудно переоценить важность, как практическую, так и теоретическую, такого расширения ее владычества. В принципе, инстинкты можно было бы свести к "вторично-автоматическим" привычкам, а происхождение многих из них из предварительных экспериментов, сделанных во время жизни предков и усовершенствованных повторениями, дополнениями и ассоциациями в последующих поколениях, было бы сравнительно просто понять.

Современные исследователи инстинктов, соответственно, стараются обнаружить все факты, которые, казалось бы, должны подтвердить возможность такого объяснения. Список не очень длинный, если учесть, какой груз выводов приходится нести. Возьмем, к примеру, приобретательскую способность и страх перед человеком, о которых только что говорил Спенсер. Другими примерами последнего рода являются повышенная пугливость вальдшнепа, отмеченная за шестьдесят лет наблюдений мистером Т. А. Найтом, и большая пугливость, повсеместно проявляемая крупными, а не мелкими птицами, на что обратил внимание Дарвин. Затем мы можем добавить.

Склонность к "наведению", "поиску" и т.д. у спортивных собак, которая, во всяком случае, частично объясняется дрессировкой, но у хорошо воспитанных животных является врожденной. В этих породах считается дурным тоном, если помет молодых собак не был обучен в поле.

Покорность домашних пород лошадей и крупного рогатого скота.

Покорность молодняка прирученных кроликов - молодые дикие кролики непобедимо пугливы.

Молодые лисицы наиболее насторожены в тех местах, где на них наиболее жестоко охотятся.

Дикие утки, вылупившиеся от прирученных, улетают. Но если держать их рядом в течение нескольких поколений, молодые особи, как говорят, становятся ручными.[\[566\]](#)

Молодые дикари в определенном возрасте возвращаются в лес.

Английские борзые, вывезенные на высокогорное плато Мексики, поначалу не могли хорошо бегать из-за разреженного воздуха. Их потомство полностью справилось с этой проблемой.

Мистер Льюс где-то[\[567\]](#) рассказывает о щенке терьера, которого родители научили "попрошайничать", и который постоянно спонтанно бросался в позу попрошайки. Дарвин рассказывает о французском ребенке-сироте, который воспитывался вне Франции, но при этом *пожимал плечами*, как его предки.[\[568\]](#)

Музыкальные способности часто переходят из поколения в поколение в семьях музыкантов.

Наследственно эпилептические морские свинки Браун-Секара, чьи родители стали эпилептиками в результате хирургических операций на спинном мозге или седалищном нерве. Взрослые особи часто теряют часть задних пальцев на ногах, а молодняк, помимо эпилепсии, часто рождается с отсутствием соответствующих пальцев. У потомства морских свинок, у которых шейный симпатический нерв был перерезан с одной стороны, ухо будет больше, глазное яблоко меньше и т. д., как и у их родителей после операции. Пункция "рестиформного тела" продолговатого мозга у того же животного приведет к закупорке и увеличению одного глаза и гангрене одного уха. У детей таких родителей наблюдаются те же симптомы.

Физическая утонченность, нежные руки и ноги и т. д. появляются в семьях, хорошо воспитанных и богатых на протяжении нескольких поколений.

Нервный темперамент развивается и у потомков малоподвижных людей, работающих мозгом.

Опьяневшие люди производят на свет потомство, в разной степени деградирующее.

Близорукость вырабатывается в результате работы в помещении на протяжении многих поколений. В Европе она встречается у школьников в городах гораздо чаще, чем у детей того же возраста в деревне.

В последних случаях речь идет о наследовании структурных, а не функциональных особенностей. Но поскольку структура порождает функцию, можно сказать, что принцип тот же. Среди других наследств адаптивных[569] структурных изменений можно назвать:

Тип "янки".

Золотуха, рахит и другие болезни, связанные с плохими условиями жизни.

Вымя и постоянное молоко домашних пород коров.

Уши "модного" кролика, поникшие из-за отсутствия необходимости их вытягивать. Уши собак, ослов и т. д., у некоторых пород - тоже.

Устаревшие глаза кротов и различных пещерных животных.

Уменьшение размера костей крыльев у домашних уток, вызванное тем, что предки разучились летать.[570]

Вот примерно все факты, которые теми или иными авторами приводились в качестве доказательств в пользу теории происхождения инстинктов с "угасшим интеллектом".

Теория мистера Дарвина заключается в естественном отборе случайно возникших склонностей к действию.

"Было бы серьезнейшей ошибкой полагать, что большее число инстинктов было приобретено по привычке в одном поколении, а затем передавалось по наследству в последующих поколениях. Можно ясно показать, что самые замечательные инстинкты, с которыми мы знакомы, а именно инстинкты пчелы-улья и многих муравьев, не могли быть приобретены таким образом.[571] Все признают, что инстинкты так же важны, как и строение тела, для благополучия каждого вида в его нынешних условиях жизни. В изменившихся условиях жизни, по крайней мере, возможно, что незначительные изменения инстинкта могут быть выгодны для вида; и если удастся доказать, что инстинкты действительно изменяются так мало, то я не вижу никаких трудностей в том, чтобы естественный отбор сохранял и постоянно накапливал вариации инстинкта в любой степени, которая может быть выгодной. Именно таким образом, как я полагаю, возникли все самые сложные и удивительные инстинкты..... Я полагаю, что влияние привычки имеет весьма низкое значение по сравнению с эффектом естественного отбора того, что можно назвать случайными вариациями инстинктов, то есть вариаций, вызванных теми же неизвестными причинами, которые приводят к незначительным отклонениям в строении тела".[572]

Доказательства в пользу точки зрения мистера Дарвина слишком сложны, чтобы приводить их в этом месте. На мой взгляд, оно вполне убедительно. Если, имея в виду дарвиновскую теорию, перечитать список примеров, приведенных в пользу ламаркистской теории, можно

обнаружить, что многие из них не имеют отношения к делу, а некоторые свидетельствуют как в пользу одной, так и в пользу другой стороны. Это настолько очевидно во многих случаях, что нет нужды указывать на это подробно. Например, пожимающий плечами ребенок и умоляющий щенок доказывают, что это слишком. Это настолько уникальные примеры, что они скорее свидетельствуют о спонтанной вариации, чем о наследственной привычке. В других случаях наблюдения нуждаются в подтверждении, например, последствия отсутствия дрессировки в течение целого поколения у спортивных собак и скаковых лошадей, разница между молодыми дикими кроликами, рожденными в неволе, и молодыми прирученными, кумулятивный эффект многих поколений неволи на диких утках и т. д.

Аналогичным образом, повышенная настороженность крупных птиц, обитающих на островах, посещаемых людьми, вальдшнепа, лисиц может быть вызвана тем, что смелые семьи были уничтожены и не оставили после себя никого, кроме робких от природы, или просто индивидуальным опытом старших птиц, передаваемым на собственном примере молодым, так что возникла новая *воспитательная традиция*. - Случаи физической утонченности, нервного темперамента, типа янки и т.д. также требуют гораздо более разборчивого подхода, чем они пока получили от ламаркианцев. Нет никаких реальных доказательств того, что физическая утонченность и нервозность имеют тенденцию накапливаться из поколения в поколение в аристократических или интеллектуальных семьях; как нет и доказательств того, что изменения в этом направлении, которым подвергаются европейцы, пересаженные в Америку, не завершаются в первом поколении детей, выращенных на нашей земле. На мой взгляд, все факты указывают именно на это. Аналогичным образом, лучшее дыхание борзых, рожденных в Мексике, несомненно, объясняется послеродовой адаптацией грудной клетки щенков к более редкому воздуху.

Выраженная невротическая *дегенерация*, несомненно, может накапливаться от родителя к ребенку, и поскольку родитель обычно в этом случае становится хуже из-за своих собственных неправильных привычек жизни, возникает соблазн приписать ухудшение состояния ребенка этой причине. Это, опять же, поспешный вывод. Ведь невротическая дегенерация - это, несомненно, болезнь, первоначальные причины которой неизвестны; и, как и другие "случайные отклонения", она передается по наследству. Но в конечном итоге она заканчивается стерильностью; и мне кажется совершенно несправедливым делать из ее естественной истории какие-либо выводы в пользу передачи приобретенных особенностей. Дегенерация детей алкоголиков также не доказывает ничего в пользу того, что они унаследовали расшатанную нервную систему, которую алкоголь вызвал в их родителях: ведь яд обычно имеет шанс непосредственно повлиять на их собственные тела еще до рождения, воздействуя на зародышевую материю, из которой они формируются, пока она еще питается алкоголизированной кровью родителя. Кроме того, во многих случаях родители-алкоголики сами являются невротическими дегенератами, а пристрастие к алкоголю - лишь симптом их болезни, которую в той или иной форме они передают и своим детям.

Остаются еще наследственные мутации морских свинок. Но это настолько поразительные исключения из обычного правила поведения животных, что их вряд ли стоит использовать в качестве примера типичного процесса. Покорность домашнего скота, безусловно, отчасти обусловлена селекцией человека и т. д. и т. п. Одним словом, доказательства представляют собой довольно скудный набор.

К этому следует добавить, что авторы, пытавшиеся провести теорию передаваемой привычки с какими-либо подробностями, всегда вынуждены *где-то* признать необъяснимую вариативность. Так, Спенсер допускает, что

"Социальность может зародиться только там, где, благодаря некоторым незначительным изменениям, существует меньшая, чем обычно, тенденция к рассеиванию индивидов". Что незначительные вариации психической природы, достаточные для начала этого процесса, могут быть справедливо допущены, показывают нам все наши домашние животные: различия в их характерах и симпатиях бросаются в глаза. Социальность, начавшаяся таким образом, и выживание сильнейших, стремящихся всегда поддерживать и увеличивать ее, будет еще больше укрепляться благодаря наследуемым эффектам привычки".[573] И снова, говоря о чувстве жалости, мистер Спенсер отмечает: "Это чувство не является тем, которое возникло в результате наследственного воздействия опыта, а принадлежит к совершенно другой группе, которая объясняется просто выживанием сильнейших - естественным отбором случайных вариаций. В эту группу входят все телесные аппетиты, а также более простые инстинкты, половые и родительские, с помощью которых поддерживается любая раса и которые должны существовать до того, как начнутся более высокие процессы психической эволюции".[574]

В пользу теории передачи приобретенных привычек также приводились данные о наследовании манеры поведения и таких мелочей, как почерк, некоторые странные жесты, когда человек доволен, своеобразные движения во время сна и т. д. Как ни странно, но из всех вещей в мире эти уловки больше всего похожи на идиосинкразические вариации. Обычно это дефекты или странности, которым противодействовало бы воспитание человека, давление того, что он действительно *приобрел*, но которые слишком естественны, чтобы их можно было подавить, и прорываются через все искусственные барьеры, как в его детях, так и в нем самом.

Я оставляю свой текст практически в том виде, в каком он был написан в 1885 году. В то время я сделал предварительный вывод о том, что происхождение *большинства* наших инстинктов, безусловно, следует считать плодами "черного хода" генезиса, а не опыта предков в правильном значении этого термина. Вопрос о том, сыграли ли приобретенные привычки предков хоть какую-то роль в их возникновении, оставался открытым, и утверждать это было бы так же опрометчиво, как и отрицать. Однако уже до этого времени профессор Вейсман из Фрайбурга начал очень серьезную атаку на ламаркистскую теорию[575], и его полемика наконец-то вызвала такой широкий интерес среди натуралистов, что до сих пор почти безоговорочно принятая теория кажется почти на грани отказа.

Поэтому я добавлю некоторые из критических замечаний Вейсмана по поводу предполагаемых доказательств к своим собственным. Прежде всего, у него есть своя собственная увлекательная теория происхождения,[576] которая заставляет его считать *априори* невозможным, чтобы какая-либо особенность, приобретенная родителем в течение жизни, передалась зародышу. Здесь не место вдаваться в суть этой теории. Достаточно сказать, что она сделала его более резким критиком теории Ламарка и Спенсера, чем он мог бы быть в противном случае. Единственный способ, которым зародышевые продукты могут быть подвержены влиянию, находясь в теле родителя, - это, согласно Вейсману, хорошее или плохое питание. Благодаря этому они могут деградировать различными способами или полностью утратить жизненную силу. Они также могут быть заражены через кровь оспой, сифилисом или другими вирулентными заболеваниями, а в иных случаях - отравлены. Но

особенности нервной структуры и привычек родителей, с которыми они сами не родились, они никогда не смогут приобрести, разве что случайно, через какие-то случайные вариации своих собственных. *Случайные* вариации, конечно, перерастают в идиосинкразии, которые, как правило, передаются последующим поколениям в силу известного закона, в котором никто не сомневается.

Ссылаясь на часто звучащее утверждение, что рост одаренности в определенных семьях из поколения в поколение объясняется передающимся по наследству эффектом *упражнения* соответствующей способности (Бахи, Бернулли, Моцарты и т. д.), он резонно замечает, что одаренность, если ее поддерживать, должна была бы продолжать расти в течение неопределенного числа поколений. На самом же деле он быстро достигает максимума, а затем мы больше о нем не слышим, что всегда происходит, когда идиосинкразия подвергается воздействию разнообразных межродовых связей.

Наследственную эпилепсию и другие дегенерации оперированных морских свинок профессор Вейсман объясняет как результат *заражения* молодняка кровью родителей. Последние, по его мнению, претерпевают патологические изменения в результате первоначального травматического повреждения. Устаревание вышедших из употребления органов он вполне удовлетворительно объясняет, не ссылаясь на передачу прямых последствий использования, с помощью своей теории *панмиксии*, за которой я должен обратиться к его собственным трудам. Наконец, он подвергает тщательной критике истории, которые мы иногда слышим о наследственных увечьях у животных (уши и хвосты у собак и т. д.), и приводит длительную серию собственных экспериментов с мышами, которых он разводил на протяжении многих поколений, каждый раз отрезая хвосты обоим родителям, что несколько не влияло на длину хвоста, с которым продолжали рождаться молодые особи.

В конце концов, самым сильным аргументом в пользу ламаркистской теории остается *априорный*, на котором настаивает Спенсер в своей небольшой работе (кстати, самой солидной из всех, что он когда-либо написал) "Факторы органической эволюции". Поскольку, говорит мистер Спенсер, случайные вариации всех частей тела независимы друг от друга, если бы вся организация животных была обусловлена только такими случайными вариациями, то такое количество взаимной адаптации и гармонии, которое мы сейчас наблюдаем, вряд ли могло бы возникнуть за какое-то конечное время. Мы скорее должны предположить, что разнообразные части *приводили* другие части в гармонию с собой, *упражняя их ad hoc*, и что последствия этих упражнений сохранялись и передавались потомству. Это, конечно, является большим *предположением* против достаточности взгляда на селекцию исключительно случайных вариаций. Но следует признать, что в пользу противоположного мнения, что адаптивные изменения наследуются, у нас пока нет, пожалуй, ни одного однозначного доказательства.

Поэтому я должен закончить эту главу о генезисе нашей психической структуры, подтвердив свою убежденность в том, что так называемая философия опыта не смогла доказать свою точку зрения. Не больше, если принимать во внимание опыт предков, чем если ограничиться опытом индивида после рождения, можно поверить в то, что соединения понятий в сознании являются простыми копиями соответствующих соединений, навязанных ему окружающей средой. Это действительно верно в отношении небольшой части наших познаний. Но в отношении логико-математических, этических, эстетических и метафизических предложений такое утверждение не только не соответствует действительности, но и совершенно непонятно; ведь эти предложения ничего не говорят о временном и

пространственном порядке вещей, и трудно понять, как такие поверхностные и расплывчатые представления о них, как у Милля и Спенсера, могли быть когда-либо даны мыслящими людьми.

Причины нашей психической структуры, несомненно, естественны и связаны, как и все другие наши особенности, с причинами нашей нервной структуры. Наши интересы, наши тенденции внимания, наши двигательные импульсы, эстетские, моральные и теоретические комбинации, которыми мы наслаждаемся, степень нашей способности воспринимать схемы отношений, как и сами элементарные отношения, время, пространство, различие и сходство, и элементарные виды чувств, - все это выросло так, что в настоящее время мы не можем дать этому никакого отчета. Даже в самых ясных частях психологии наша проницательность достаточно незначительна. И чем искреннее человек стремится проследить реальный ход *психогенеза*, шаги, по которым мы как раса могли прийти к тем особым психическим свойствам, которыми обладаем, тем яснее он ощущает "медленно сгущающиеся сумерки, близкие к ночи".

КОНЕЦ.

[526] "Случайность" в дарвиновском смысле, как принадлежность к циклу причинности, недоступному современному порядку исследований.

[527] Этот отрывок находится в § 207 "Принципов психологии", в конце главы под названием "Разум". Я выделил курсивом некоторые слова, чтобы показать, что суть этого объяснения заключается в требовании *численно частых* переживаний. Значение этого замечания будет показано позже. (Ср. с. 641-2, далее.)

[528] Принципы биологии, часть iii. гл. xi, xii.- Гольц и Лоеб обнаружили, что собаки становятся мягкими по характеру, когда им отрезают затылочные и свирепыми, когда им отрезают лобные доли мозга. "Собака, которая изначально была в крайней степени перекрестной, никогда не терпела прикосновений к себе и даже отказывалась после двухдневного голодания взять кусок хлеба из моих рук, после двусторонней операции на затылочных долях стала совершенно доверчивой и безобидной. Он перенес пять операций на этих частях..... Каждая из них делала его более добродушным, так что в конце концов (как заметил Гольц о своих собаках) он позволил другим собакам забрать те самые кости, которые он грыз" (Loeb, Pflüger's Archiv, xxxix. 300). Курс доброго обращения и дрессировки мог бы дать аналогичный эффект. Но как нелепо называть две столь разные причины одним и тем же именем и оба раза говорить, что "опыт внешних отношений" воспитывает в звере добродушие. Однако именно так поступают практически все авторы, игнорирующие различие между "передней дверью" и "задней дверью" в способах производства психических изменений.

Одним из наиболее ярких проявлений этих "задних дверей" является *восприимчивость к очарованию пьянства*. Это (если понимать пьянство в самом широком смысле, как это делают трезвенники) - одна из самых глубоких функций человеческой природы. Половина поэзии и трагизма человеческой жизни исчезнет, если убрать алкоголь. Однако жажда его употребления такова, что в Соединенных Штатах Америки денежная стоимость его продаж равна стоимости продаж мяса и хлеба, вместе взятых. И все же, какое "внешнее отношение" предков ответственно за эту нашу своеобразную реакцию? Единственным "внешним

отношением" может быть только сам алкоголь, который, сравнительно говоря, появился в окружающей среде только вчера и который не только не создает, но и стремится искоренить любовь к себе из нашей психической структуры, позволяя выжить только тем семьям мужчин, в которых она не сильна. Любовь к пьянству - это чисто случайная восприимчивость мозга, сформировавшегося для совершенно иных целей, и причины ее возникновения следует искать в молекулярной сфере, а не в каком-либо возможном порядке "внешних связей".

[529] Мистер Грант Аллен в блестящей статье под названием "Идиосинкразия" ("Mind", viii. 498) стремится показать, что случайные морфологические изменения в мозге не могут, как можно предположить, привести к каким-либо психическим изменениям, которые бы *соответствовали среде обитания животного*. Если спонтанная вариация когда-либо действовала на мозг, то ее продукт, говорит мистер Аллен, должен быть идиотом или буйным сумасшедшим, а не служителем и толкователем природы. Только окружающая среда может изменить нас в направлении приспособления к себе. Но я думаю, что мы должны знать немного лучше, каковы молекулярные изменения в мозге, от которых зависит мышление, прежде чем так уверенно говорить о том, каким может быть эффект от их возможных вариаций. Мистер Аллен, надо сказать, предпринял похвальную попытку представить их в явном виде. Для меня его концепция остается слишком чисто анатомической. Между тем это эссе и еще одно, написанное тем же автором в журнале Atlantic Monthly, - это, вероятно, столь же серьезные попытки, как и все, которые были предприняты для радикального применения спенсеровской теории к фактам человеческой истории.

[530] В моих предыдущих главах о привычке, памяти, ассоциации и восприятии справедливость была восстановлена по отношению ко всем этим фактам.

[531] "Порядок природы, воспринимаемый с первого взгляда, представляет собой в каждый момент хаос, за которым следует другой хаос. Мы должны разложить каждый хаос на отдельные факты. Мы должны научиться видеть в хаотическом предшественнике множество отдельных предшественников, в хаотическом следствии - множество отдельных следствий. Это, если предположить, что это будет сделано, само по себе не скажет нам, какое из предшествующих следствий неизменно сопровождает каждое последующее. Чтобы определить это, мы должны попытаться отделить факты друг от друга, причем не только в нашем сознании, но и в природе. Однако сначала должен произойти ментальный анализ. И каждый знает, что в способе его выполнения один интеллект сильно отличается от другого". (J. S. Mill, Logic, bk. iii. chap. vii. § 1.)

[532] Я цитирую выступление под названием "Рефлекторное действие и теизм", опубликованное в "Унитарном обозрении" за ноябрь 1881 года и переведенное в "Философском критике" за январь и февраль 1882 года. "Замысливающий или теоретизирующий факультет работает исключительно ради целей, которые вовсе не существуют в мире впечатлений, получаемых посредством наших органов чувств, но задаются нашей эмоциональной и практической субъективностью. Он преобразует мир наших впечатлений в совершенно иной мир, в мир наших представлений; и это преобразование совершается в интересах нашей волевой природы, и ни для какой другой цели. Уничтожьте волевою природу, определенные субъективные цели, предпочтения, пристрастие к определенным эффектам, формам, порядкам, и не останется ни малейшего мотива для того, чтобы грубый порядок нашего опыта вообще подвергся переделке. Но поскольку мы обладаем развитой волевой конституцией, переделка должна быть осуществлена, от нее никуда не деться. Содержание мира *дается* каждому из нас в порядке, настолько чуждом нашим субъективным интересам, что мы едва ли можем усилием

воображения представить себе, на что оно похоже. Приходится полностью нарушать этот порядок, и, вычленив из него те предметы, которые нас волнуют, и связывая их с другими, находящимися далеко от нас, которые, как мы говорим, "принадлежат" им, мы можем вычленив определенные нити последовательности и тенденции, предвидеть конкретные обязательства и подготовиться к ним, наслаждаться простотой и гармонией на месте хаоса. Не является ли сумма вашего фактического опыта, взятая в данный момент и беспристрастно сложенная, полным хаосом? Шум моего голоса, свет и тени внутри комнаты и снаружи, шелест ветра, тиканье часов, различные органические чувства, которые вы, возможно, испытываете по отдельности, - разве все это не составляет единого целого? Не является ли единственным условием вашего душевного равновесия среди них то, что большинство из них должно стать для вас несуществующими, а несколько других - звуки, надеюсь, которые я произношу, - должны вызывать в вашей памяти места, не имеющие никакого отношения к этой сцене, ассоциаций, чтобы объединиться с ними в то, что мы называем рациональной мыслью? Рациональной потому, что она приводит к выводу, который мы можем оценить с помощью какого-то органа. У нас нет органа или способности оценить просто данный порядок. Реальный мир в том виде, в каком он дан в данный момент, - это совокупность всех его существ и событий. Но можем ли мы думать о такой сумме? Можем ли мы хоть на мгновение осознать, каким был бы срез всего существования в определенный момент времени? Пока я говорю, а мухи жужжат, морская чайка ловит рыбу в устье Амазонки, дерево падает в Адирондакской пустыне, человек чихает в Германии, лошадь умирает в Тартарии, а во Франции рождаются близнецы. Что это значит? Разве одновременность этих событий друг с другом и с миллионом других, столь же разрозненных, формирует рациональную связь между ними и объединяет их в нечто, что означает для нас мир? И все же именно такая сопутствующая современность, и ничто иное, является *реальным* порядком мира. Это порядок, с которым нам ничего не остается делать, как как можно быстрее от него избавиться. Как я уже сказал, мы разбиваем его: разбиваем на истории, разбиваем на искусства, разбиваем на науки; и тогда мы начинаем чувствовать себя как дома. Мы делаем десять тысяч отдельных серийных заказов. На любой из них мы можем реагировать так, как если бы остальные не существовали. Мы обнаруживаем среди его частей отношения, которые вообще никогда не были даны смыслу, - математические отношения, касательные, квадраты, корни и логарифмические функции, - и из бесконечного числа этих отношений мы называем некоторые существенными и законополагающими, а остальные игнорируем. Эти отношения существенны, но только *для нашей цели*, другие отношения столь же реальны и существуют, как и они; а наша цель - *простое представление и предвидение*. Разве простое зачатие и предвидение не являются субъективными целями, чистыми и простыми? Они являются целями того, что мы называем наукой; и чудо из чудес, чудо, которое еще не исчерпано никакой философией, заключается в том, что данный порядок поддается переделке. Он показывает себя пластичным для многих наших научных, многих наших эстетических, многих наших практических целей и задач". Ср. также Hodgson: *Philos. of Refl.*, ch. v; Lotze: *Logik*, §§ 342-351; Sigwart: *Logik*, §§ 60-63, 105.

[533] В статье "Великие люди, великие мысли и окружающая среда", опубликованной в *Atlantic Monthly* за октябрь 1880 года, читатель найдет несколько более ярких иллюстраций к этим замечаниям. Там я попытался показать, что и умственная, и социальная эволюция должны быть задуманы по дарвиновскому образцу, и что функция среды, правильно называемой так, гораздо больше состоит в *отборе* форм, производимых невидимыми силами, чем в *производстве* таких форм, - производство является единственной функцией, о которой думали эволюционисты додарвиновского периода, и единственной, на которую делают упор такие современные, как мистер Спенсер и мистер Аллен.

[534] "Совершенно верно, что наш мир опыта начинается с таких ассоциаций, которые заставляют нас ожидать, что то, что с нами произошло, произойдет снова. Эти ассоциации заставляют младенца искать молоко у кормилицы, а не у отца, ребенка верить, что яблоко, которое он видит, будет вкусным; и в то же время они заставляют его желать этого, они заставляют его бояться бутылки, в которой находится горькое лекарство. Но в то время как часть этих ассоциаций подтверждается частым повторением, другая часть разрушается противоречивым опытом; и мир становится для нас разделенным на две области, одна, в которой мы чувствуем себя как дома и с уверенностью ожидаем всегда одни и те же последовательности; другая наполнена чередующимися, изменчивыми, случайными событиями.....

"Случайность в широкой сфере является настолько повседневным делом, что мы не должны удивляться, если она иногда вторгается на территорию, где царит порядок. И то или иное олицетворение капризной силы случая легко помогает нам преодолеть трудности, которые дальнейшее размышление может обнаружить в исключениях. Да, действительно, Исключение обладает особым очарованием; это предмет удивления, *θαῦμα*, и доверие, с которым на этой первой стадии чистой ассоциации мы принимаем наши предполагаемые правила, сопровождается таким же доверием, с которым мы принимаем чудеса, которые им мешают.

"Вся история народных представлений о природе опровергает мысль о том, что мысль о всеобщем физическом порядке могла возникнуть в результате чисто пассивного восприятия и ассоциации отдельных восприятий. Как бы ни было неоспоримо, что все люди делают выводы от известных случаев к неизвестным, столь же несомненно, что эта процедура, если ограничиться феноменальными материалами, которые спонтанно предлагают себя, никогда не привела бы к вере в общее единообразие, а только к убеждению, что закон и беззаконие правят миром в пестром чередовании. С точки зрения строгого эмпиризма не существует ничего, кроме суммы конкретных восприятий с их совпадениями, с одной стороны, и противоречиями - с другой.

"То, что в мире существует больше порядка, чем кажется на первый взгляд, обнаруживается только после того, как этот порядок начинают искать. Первый импульс к его поиску исходит из практических потребностей: там, где нужно достичь цели, мы должны знать надежные средства, которые безошибочно обладают каким-либо свойством или приводят к результату. Но практическая потребность - это лишь первый повод для размышлений об условиях истинного знания; даже если бы такой потребности не было, все равно присутствовали бы мотивы, способные вывести нас за рамки простой ассоциации. Ибо не с одинаковым интересом, или, скорее, с одинаковым отсутствием интереса, человек созерцает те природные процессы, в которых подобное соединяется с подобным, и те, в которых соединяются подобное и неподобное; первые процессы гармонируют с условиями его мышления, вторые - нет; в первых его понятия, суждения, умозаключения применимы к реальности, во вторых они не имеют такого применения. И таким образом интеллектуальное удовлетворение, которое сначала приходит к нему без размышлений, в конце концов возбуждает в нем сознательное желание найти реализованными во всем феноменальном мире те рациональные непрерывности, единообразия и необходимости, которые являются фундаментальным элементом и руководящим принципом его собственной мысли." (С. Sigwart: *Logik*, ii. 380-2.)

[535] Ср. Hodgson: *Philosophy of Reflection*, book ii, chap. v.

[536] Стремление быть "научным" - это такой идол племени для нынешнего поколения, впитанный с молоком матери каждым из нас, что нам трудно представить себе существо, которое бы не чувствовало его, и еще труднее свободно относиться к нему как к совершенно особенному и одностороннему субъективному интересу, которым оно является. Но на самом деле даже немногие из культурных представителей расы разделяют это чувство; оно было изобретено всего лишь поколение или два назад. В средние века она означала лишь нечестивую магию; и то, как она и сейчас поражает восточных людей, очаровательно показано в письме турецкого кади английскому путешественнику с просьбой предоставить статистическую информацию, которое сэр А. Байярд печатает в конце своей "Ниневии и Вавилона". Документ слишком полон назидательности, чтобы не привести его полностью. Он гласит следующее:

"Мой славный друг и радость моей печени!

"То, о чем ты меня просишь, и трудно, и бесполезно. Хотя я провел все свои дни в этом месте, я не считал домов и не интересовался числом жителей; и что один человек грузит на своих мулов, а другой укладывает на дно своего корабля, это не мое дело. Но, прежде всего, что касается предыдущей истории этого города, то одному Богу известно, сколько грязи и беспорядка могли съесть неверные до прихода меча ислама. Нам невыгодно об этом спрашивать.

"О душа моя! О мой ягненок! Не ищи того, что тебя не касается. Ты пришла к нам, и мы приняли тебя: иди с миром".

"Истинно ты говорил много слов, и не было вреда, или говорящий был один, а слушающий - другой. По примеру народа твоего ты скитался из одного места в другое, пока не стал счастлив и доволен ни в одном. Мы (хвала Господу) родились здесь и никогда не хотели покидать это место. Возможно ли, чтобы идея о всеобщем общении между людьми произвела какое-либо впечатление на наше понимание? Боже упаси!

"Слушай, о сын мой! Нет мудрости, равной вере в Бога! Он создал мир, и неужели мы уподобимся Ему, пытаюсь проникнуть в тайны Его творения? Скажем ли мы: вот эта звезда вращается вокруг той звезды, а эта звезда с хвостом уходит и приходит через столько-то лет! Пусть идет! Тот, из чьей руки она вышла, будет направлять ее.

"Но ты скажешь мне: "Отойди, человек, ибо я более сведущ, чем ты, и видел больше вещей. Если же ты думаешь, что в этом отношении ты лучше меня, то добро пожаловать. Я славлю Бога, что не ищу того, что мне не нужно. Ты сведущ в том, о чем я не забочусь; а что касается того, что ты видел, то я плюю на это. Много ли знаний создадут тебе двойной живот, или ты будешь искать рай глазами?

О друг мой! Если хочешь быть счастлив, скажи: "Нет Бога, кроме Бога! Не делай зла, и тогда ты не будешь бояться ни людей, ни смерти, ибо непременно придет твой час!

"Кроткие духом" (Эль-Факир)

"Имаум Али Зади".

[537] "Если бы человек в лихорадке от сахара почувствовал горький вкус, который в другое время стал бы сладким, все же представление о горьком в его сознании было бы столь же ясным и отличным от представления о сладком, как если бы он вкусил только желчь. Не больше путаницы между двумя идеями - сладкой и горькой - вносит и то, что один и тот же вид тела производит в одно время одну, а в другое время другую идею посредством вкуса,

чем путаница между двумя идеями - белой и сладкой или белой и круглой, что один и тот же кусок сахара производит их обе в уме в одно и то же время". Очерк Локка, т. ii. гл. xi. § 3.

[538] Ср. Bradley, *Logic*, p. 226.

[539] Это осознание их как образующих единую систему и есть то, что мистер Брэдли подразумевает под актом *построения*, лежащим в основе всех рассуждений. Осознание дополнительного отношения, о котором я говорю в следующем абзаце моего текста, является тем, что этот автор называет актом *проверки*. Ср. Принципы логики, т. ii. ч. i. гл. iii.

[540] Реальности подпадают под него только в той мере, в какой они *оказываются* одинаковыми. Пока они не могут быть заменены друг другом для данной цели, они не одни и те же; хотя для других целей и в других отношениях они могут быть заменены, и тогда они будут рассматриваться как одни и те же. Разумеется, помимо цели, никакие реальности никогда не бывают абсолютно и абсолютно одинаковыми.

[541] Разум, другими словами, вышедший за *рамки дихотомического* стиля мышления, который, по утверждению Вундта, является основной формой человеческого мышления (*Physiol. Psych.*, ii. 312).

[542] Сказанное Грассманом выражено в фундаментальной аксиоме арифметики $(a + b) + 1 = a + (b + 1)$.

[543] Сравните с более технически выраженным эссе Гельмгольца "Zählen u. Messen" в "Philosophische Aufsätze", Ed. Zeller gewidmet (Leipzig, 1887), p. 17.

[544] Оригинальные высказывания см. в "Логике" Дж. С. Милля, т. ii. гл. vi. §§ 2, 3; и bk. iii. chap. xxiv. § 5.

[545] Само подразделение не занимает никакого места. В практическом опыте наши подразделения занимают пространство. Они потребляют его в наших геометрических фигурах. Но ради простоты в геометрии мы постулируем подразделения, которые нарушают опыт и не потребляют его.

[546] Ср. A. de Morgan: *Syllabus of a proposed System of Logic* (1860), pp. 46-56.

[547] Ср. "Эссе" Локка, т. II, гл. xvii. § 6.

[548] Некоторые читатели могут ожидать, что я погружусь в старый спор о том, являются ли *априорные* истины "аналитическими" или "синтетическими". Мне кажется, что это различие - одно из самых несчастных наследий Канта по той причине, что его невозможно сделать резким. Никто не скажет, что такие аналитические суждения, как "равноудаленные прямые нигде не могут пересечься", являются *чистыми* тавтологиями. Предикат - это несколько новый способ представления, а также именованная субъекта. В наших величайших трюизмах *есть нечто* "амплиативное", наше душевное состояние богаче после, чем до их произнесения. При этом вопрос "в какой момент новое состояние ума перестает быть *имплицитным* старому?" слишком туманен, чтобы на него можно было ответить. Единственным четким способом определения синтетических предложений было бы сказать, что они выражают отношение как минимум между *двумя данными*. Но трудно найти какое-либо предложение, которое нельзя было бы истолковать как делающее это. Даже словесные определения делают это. Такие кропотливые попытки, как последняя попытка г-на Д. Г. Томпсона доказать, что все необходимые суждения являются аналитическими (*System of Psychology*, ii. pp. 232 ff.), кажутся, соответственно, лишь *nugæ difficiles*, и не лучше, чем

пустая трата чернил и бумаги. Весь философский интерес исчезает из этого вопроса, как только перестают приписывать *любым априорным* истинам (будь то аналитические или синтетические) тот "законодательный характер для всего возможного опыта", в который верил Кант. Мы сами отрицали такой законодательный характер и утверждали, что сам опыт должен доказывать, могут или не могут его данные быть ассимилированы с теми идеальными понятиями, между которыми существуют *априорные* отношения. Таким образом, аналитико-синтетический спор для нас лишен всякого значения. В целом, лучшее из известных мне недавних изложений этого вопроса содержится в одной из работ А. Шпира, кажется, в его "Denken und Wirklichkeit", но сейчас я не могу найти страницу.

[549] Книга iv. гл. ix. § 1; vii. 14.

[550] Гл. v. §§ 6, 8.

[551] Кант, между прочим, допустил странную тактическую ошибку в своем способе показать, что формы нашей необходимой мысли заимствуются из опыта. Он настаивал на формах мышления, с которыми опыт в основном *согласен*, забывая, что единственными формами, которые ни в коем случае не могли бы быть результатами опыта, были бы такие, которые опыт *нарушал*. Первое, что должен сделать кантианец, - это обнаружить формы суждения, которым *не соответствует никакой* порядок в "вещах". Это действительно были бы свойства, присущие разуму. Этим замечанием я обязан герру А. Шпиру, в чьем "Denken und Wirklichkeit" оно где-то содержится. Я и сам уже в какой-то степени исходил, а на последующих страницах буду исходить еще дальше, чтобы показать оригинальность структуры разума таким образом.

[552] Однако даже во времена Беркли можно было написать следующее: "Как при чтении других книг мудрый человек предпочитает фиксировать свои мысли на смысле и применять его на практике, а не излагать их в грамматических замечаниях о языке, так и при изучении природы, как мне кажется, ниже достоинства ума добиваться точности в сведении каждого конкретного явления к общим правилам или показывать, как оно из них вытекает. Мы должны предложить себе более благородные цели, а именно: воссоздать и возвысить разум перспективой красоты, порядка, масштабов и разнообразия природных вещей: следовательно, путем соответствующих умозаключений расширить наши представления о величии, мудрости и благодетельности Творца" и т. д. и т. п. (Принципы человеческого знания, § 109.)

[553] Die Erhaltung der Kraft (1847), pp. 2-6.

[554] Возможно, самый влиятельный из всех этих постулатов заключается в том, что природа мира должна быть такой, чтобы о нем можно было делать огульные заявления.

[555] Рассмотрим, например, использование аксиом "*nemo potest supra seipsum*" и "*nemo dat quod non habet*" в этом опровержении "дарвинизма", которое я взял из часто используемого схоластического компендиума "Логика и метафизика" Либератора, 3-е изд. (Рим, 1880): "Hæc hypothesis... aperte contradicit principiis Metaphysicæ, quæ docent essentias rerum esse immutabiles, et effectum non posse superare causam. Et sane, quando, juxta Darwin, species inferior se evolvit in superiorem, unde trahit maiorem illam nobilitatem? Ex ejus carentia. At nihil dat quod non habet; et minus gignere nequit plus, aut negatio positionem. Præterea in transformatione quæ fingitur, nature prioris speciei, servatur aut destruitur? Si primum, mutatio erit tantum accidentalis, qualem reapse videmus in diversis stirpibus animantium. Sin alterum

asseritur, ut reapse fert hypothesis darwiniana, res tenderet ad seipsam destruendam; cum contra omnia naturaliter tendant ad sui conservationem, et nonnisi per actionem contrarii agentis corruant." Вопрос лишь в том, существуют или не существуют эти идеально правильные отношения между животными и растительными предками и потомками. Если нет, то что происходит? Просто то, что мы не можем продолжать классифицировать животные и растительные факты по *видам*, между которыми существуют эти идеальные отношения. Таким образом, мы больше не можем называть породы животных именем "вид"; не можем называть порождение видом "отдачи" или рассматривать потомка как "эффект" его предка. Идеальная схема терминов и отношений может оставаться, если хотите; но она должна оставаться чисто ментальной и неприменимой к жизни, которая "шагает своей походкой" независимо от идеальных схем. Большинство из нас, однако, предпочло бы усомниться в том, что такие абстрактные аксиомы, как "вещь не может стремиться к своему собственному разрушению", вообще выражают идеальные отношения важного рода.

[556] Сравните A. Riehl: Der Philosophische Criticismus, Bd. ii. Thl. i Abschn. i. Cap. iii. § 6.

[557] В качестве одного примера из тысячи исключительно тонкой идиосинкразии в этом отношении возьмем следующее: "Я должен уйти из общества. Я бы предпочел подвергнуться вдвое большей опасности от зверей и в десять раз большей опасности от камней. Я боюсь не боли, не смерти, а ненависти человека; в ней есть что-то настолько шокирующее, что я скорее соглашусь на любую травму, чем навлеку на себя или усилю ненависть человека, отомстив за нее..... Другой достаточной причиной для самоубийства является то, что сегодня утром я был не в духе с миссис Дуглас (не по ее вине). Я ничуть не изменил себе, но подумал, что подвергаться возможности такого события раз в год - достаточно плохо, чтобы сделать жизнь невыносимой. Позор от использования нетерпеливого слова для меня непреодолим". (Элтон Хэммонд, цитируется по "Дневнику Генри Крэбба Робинсона", т. I. с. 424).

[558] Сравните Г. Сиджвик, "Методы этики", кн. III. гл. xiii. § 3.

[559] Один джентльмен сказал мне, что у него есть убедительный аргумент в пользу открытия Гарвардской медицинской школы для женщин. Он заключался в следующем: "Разве женщины не являются людьми?" - и, разумеется, эта главная предпосылка должна была быть принята. "Тогда разве они не имеют права на все права человечества?" Мой друг сказал, что он никогда не встречал никого, кто бы успешно справился с этой аргументацией.

[560] Вы достигаете мефистофельской точки зрения, равно как и точки зрения справедливости, рассматривая случаи так, как если бы они строго относились к абстрактным классам. Чистый рационализм, полный иммунитет от предрассудков, заключается в отказе видеть, что рассматриваемый случай абсолютно уникален. Всегда можно рассматривать страну своего рождения, дом своих отцов, кровать, в которой умерла мать, да и саму мать, если понадобится, наравне со всеми другими особями стольких соответствующих родов. Он показывает мир в ясном морозном свете, из которого исчезают все туманы привязанности, все болотные огни сентиментальности. Тогда прямые и немедленные действия становятся легкими - свидетельство тому карьера Наполеона или Фредерика. Но всегда остается вопрос: "Не *стоит ли* сохранить туман и испарения?" Нелогичный отказ рассматривать некоторые конкретные вещи по закону их рода стал драмой человеческой истории. Упорное настаивание на том, что *tweedledum* - это *не tweedledee*, является костью и мозгом жизни. Посмотрите на евреев и шотландцев с их жалкими фракциями и сектантскими спорами, их лояльностью, патриотизмом и исключениями - их летописи стали классическим наследием, потому что в них принимали участие и пели гениальные люди. Вещь важна, если кто-то *считает* ее важной. Процесс истории состоит в том, что некоторые люди становятся

обладателями мании, что определенные особые вещи важны бесконечно, в то время как другие люди не могут согласиться с этим мнением. Шах Персии отказался от поездки на Дерби, заявив: "Мне уже известно, что одна лошадь может бежать быстрее другой". Он сделал вопрос "какая лошадь?" несущественным. Любой вопрос можно сделать несущественным, подведя все ответы под общую голову. Представьте себе, какими стали бы игры и скачки с мячом в колледже, если бы команды забыли об абсолютном отличии Гарварда от Йеля и считали бы их единым целым в высшем роде - колледжем. Суверенный путь к безразличию, будь то к злу или к благу, лежит через мысли о высшем роде. "Когда перед нами мясо, - говорит Марк Аврелий, стремясь к безразличию к *такому-то* благу, - мы должны получить впечатление, что это труп рыбы, а это труп птицы или свиньи; и еще, что этот фалерн - всего лишь немного виноградного сока, а эта пурпурная мантия - овечья шерсть, окрашенная кровью панцирной рыбы. Таковы эти впечатления, и они достигают самих вещей, проникают в них, и мы видим, что это за вещи. Точно так же мы должны действовать в жизни, и там, где есть вещи, которые кажутся наиболее достойными нашего одобрения, мы должны обнажить их, посмотреть на их никчемность и лишить их всех слов, которыми они превозносятся". (Перевод Лонга, vi. 13.)

[561] "*An sich, in seinem eignen Wesen, ist jedes reale Object mit sich selbst identisch und unbedingt*" - то есть, "*allgemeinste Einsicht a priori*" и "*allgemeinste aus Erfahrung*" - "*Alles erkennbare ist bedingt*". (А. Шпир: Denken und Wirklichkeit. Сравните также Гербарта и Гегеля).

[562] Philosophie Zoölogique, 3me partie, chap. v., "de l'Instinct".

[563] Следует сказать, что наиболее официальное высказывание г-на Спенсера об инстинкте содержится в его "Принципах психологии", в главе под этим названием. Доктор Романес переформулировал и раскритиковал доктрину этой главы в своей "Эволюции психики у животных", глава xvii. Я должен признаться в своей неспособности изложить ее неясность в понятных терминах. Он рассматривает инстинкты как дальнейшее развитие рефлекторных действий и как предтечу интеллекта, что, вероятно, верно для многих. Но когда он приписывает их формирование простому "умножению опыта", который, сначала простой, заставляет нервную систему "соответствовать внешним отношениям" с помощью простых рефлекторных действий, а затем сложный, заставляющий ее "соответствовать" с помощью "сложных рефлекторных действий", он становится слишком загадочным, чтобы следовать ему без более подробного ключа, чем дан. Все становится совершенно простым, если предположить, что рефлекторные действия являются случайными, сохранившимися врожденными идиосинкразиями.

[564] Это объяснение приобретательной способности отличается от нашего. Не отрицая того, что ассоцианизм верно описывает большую часть нашего чувства собственности, мы признали в дополнение к нему совершенно примитивную форму желания. (См. выше, с. 420 и далее.) Читатель должен сам решить, насколько правдоподобно это дело. Безусловно, все говорит в пользу того, что в нас есть амуры, совершенно не связанные со скрытым использованием присвоенных вещей. Источник их очарования лежит в их притягательности для нашего эстетического чувства, и мы хотим просто *владеть* ими. Блестящие, твердые, металлические, странные, красивые вещи; особенно любопытные вещи; естественные предметы, которые выглядят так, как будто они искусственные, или которые имитируют другие предметы, - они составляют класс вещей, которые люди хватают, как сороки хватают тряпки. Они просто завораживают нас. В каком доме нет ящика или шкафа, забитого бессмысленными вещами такого рода, с которыми никто не знает, что делать, но которые слепой инстинкт спасает из пепельницы? Посмотрите на людей, возвращающихся с прогулки по берегу моря или в лесу, каждый из которых несет с собой какой-нибудь *lusus*

naturæ в виде камня или ракушки, полоски коры или гриба странной формы, которые засоряют дом и с каждым днем становятся все более неприглядными, пока наконец разум не одерживает победу над слепой склонностью и не убирает их.

[565] Рецензия на книгу Бэйна в книге Н. Spencer: *Illustrations of Universal Progress* (New York, 1864), pp. 311, 315.

[566] Ribot: *De l'Herédité*, 2me éd. p. 26.

[567] Цитируется (без ссылки) в *Spencer's Biology*, vol. i. p. 247.

[568] *Expression of Emotions* (N. Y.), p. 287.

[569] Адаптивные" изменения - это изменения, вызванные непосредственным воздействием внешних условий на орган или организм. Иллюстрацией могут служить загорелый цвет лица, ороговевшие руки, мускулистая твердость.

[570] Об этих и других фактах см. Th. Ribot: *De l'Hérédité*; W. B. Carpenter: *Contemporary Review*, vol. 21, p. 295, 779, 867; Н. Spencer: *Princ. of Biol.* pt. ii. ch. v, viii, ix, x; pt. iii. ch. xi, xii; С. Darwin: *Animals and Plants under Domestication*, ch. xii, xiii. xiv; Sam'l Butler: *Life and Habit*; T. A. Knight: *Philos. Trans.* 1837; E. Dupuy: *Popular Science Monthly*, vol. xi. p. 332; F. Papillon; *Nature and Life*, p. 330; Crothers, in *Pop. Sci. M.*, Jan. (or Feb.) 1889.

[571] [Потому что, будучи проявленными у бесполох насекомых, эффекты простой практики не могут накапливаться из поколения в поколение - W. J.]

[572] *Origin of Species*, chap. vii.

[573] *Princ. of Psychol.*, ii. 561.

[574] *Ibid.* p. 263.

[575] *Ueber die Vererbung* (Jena, 1883). Очерки профессора Вейсмана о наследственности недавно (1889) были опубликованы на английском языке в собранном виде.

[576] Лучше всего это выражено в "*Очерке о продолжении рода*" (1885).
